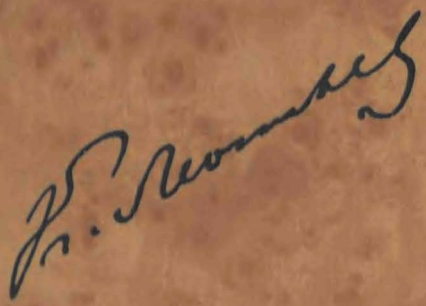
К. Леонтьев

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

3





К. Н. ЛЕОНТЬЕВ

Фотография 1867 года

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2001

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ТОМ ТРЕТИЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1864—1876 ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2001

УДК 8(47)82
ББК 84(05)
Л 47

Редакционная коллегия

С. Г. Бочаров, В. М. Камнев,
В. А. Котельников (главный редактор), Г. Б. Кремнев,
А. П. Мельников, О. В. Николаева, Н. Н. Скатов, А. Феррари,
О. Л. Фетисенко (заместитель главного редактора)

Тексты подготовили

В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко

Комментарии составили

Л. В. Дмитриева, В. А. Котельников,
Л. Н. Мурзенкова, О. Л. Фетисенко

При подготовке данного тома использованы материалы,
хранящиеся в Российском государственном архиве
литературы и искусства
и в Государственном литературном музее

© Издательство «Владимир Даль», 2001
© В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко,
подготовка текстов, составление
комментариев, 2001
© А. П. Мельников, оформление, 2001
© П. Палей, дизайн, 2001

ISBN 5-93615-004-6 (Т. 3)
ISBN 5-93615-011-9

ИЗ ЖИЗНИ ХРИСТИАН В ТУРЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Повести, собранные в эти две книжки, все из новогреческой жизни; юго-славяне являются в них разве мимоходом. Это, с одной стороны, совершенная случайность; хотя нельзя вместе с тем не заметить, что греческая жизнь больше юго-славянской бросается в глаза: она разнообразнее, полнее, цветистее, так сказать.

Несмотря на эту разницу в степени выразительности, *если только предположить*, что мне удалось изобразить более или менее верно картины греческой жизни нашего времени, то *в общих чертах* — эти рассказы могут дать приблизительное понятие и о быте славян в Турции.

Политические интересы могут быть в антагонизме у греков и болгар, у болгар и сербов в иных отношениях; государственно-национальные стремления и чувства могут привести все эти нации к самым разнородным политическим результатам; но общая физиономия быта, картины домашней жизни почти одни и те же у всех христиан Европейской Турции (за исключением молдо-валахов); привычки, личные вкусы, идеалы религиозные, эстетические, нравственные и т. д. имеют в себе нечто однородное, которое подходит под одно название *жизнь христиан в Турции*. Тому, кто не только видел, но и дал себе труд понять греков и юго-славян, тому стоит лишь картину их жизни противопоставить быту чисто мусульманскому, напр⟨имер⟩, французскому или даже русскому быту, чтобы согласиться со мной. Если только русский человек в силах отделить мысленно *идею политическую* от *бытового зрелища*, представляющегося ему по приезде его в Турцию, то он должен

согласиться с тем, что отношения между греками и юго-славянами напоминают с этой двойной точки зрения отношения поляков к великороссам, англичан к северо-американцам; т. е.: *согласия политического мало, — сходства бытового довольно много*; особенно при противопоставлении этих наций другим нациям, более отдаленным от них по историческому воспитанию или по племенному гению. Прусский дворянин прежнего времени мог быть во многом *политически* очень согласен с русским дворянином; и оба они — и пруссак и русский — были *политически же* ни в чем почти не согласны с дворянином польским; но по *физиономии бытовой*, по чертам лично-психическим поляк с русским ближе и сходнее, чем с прусским немцем. В романах Купера, Бичер-Стоу и даже в каких-нибудь очерках Брет-Гарта видно то же самое отношение к жизни, тот же самый англо-саксонский гений, который виден у Вальтер Скотта и Диккенса, с небольшими местными оттенками. А политический антагонизм Англии и Соединенных Штатов так известен, что об нем не идет много и говорить.

Это одно, а второе — вот что.

Надобно для ясности понимания христианского Востока проводить мысленно резкую черту между *эпической*, простонародной половиной всего греко-славянского міра и между той его половиной, которую вернее всего назвать *буржуазной* (ибо выражение *интеллигенция*, противопоставленное выражению *эпическая часть нации*, было бы в этом случае для народа уже слишком обидно). Вообще можно сказать без долгих объяснений, что *простой* народ на Востоке лучше нашего; он трезвее, опрятнее, наивнее, нравственнее в семейной жизни, живописнее нашего.

Общество же высшее, руководящее, обученное, надевшее вместо великолепных восточных одежд плохо скроенный, дешевый европейский сюртук *прогресса* — хуже нашего русского общества; оно ниже, грубее, однообразнее, скучнее.

Вот что я хотел сказать этим предисловием.

К. Леонтьев

ОЧЕРКИ КРИТА

I

Вчера была свадьба Николи́. Он служил года три сеисом (конюхом) у Г. Д. Отец его столяр в Хале́ппе; один брат золотых дел мастер, другой столяр, как отец. Критские мужчины почти все рослы; особенно горцы-сфакиоты издревле славятся своим ростом, а выходцев из гор Сфакия немало в Халеппе. Николи между другими не высок, и черты лица его гораздо хуже, чем у многих молодых соседей; зато у него большие, прекрасные глаза, одевается он всегда нарядно и отлично ездит верхом. Сто́ит полюбоваться, когда он крупною рысью гремит по деревенской мостовой в гору и под гору мимо окон своей невесты.

Ноги у него стройны и обуты в голубые чулки; красная куртка в обтяжку и без рукавов; синие шаровары широки как юбка и подобраны красными подвязками под колена; длинная феска набок; он хитер, ловок и отважен, но в обращении ласков и вежлив.

Он нажил кое-что, и отец построил ему около своего дома другой домик, с террасой и опрятным двором. Николи приготовил кровать с занавесами из легкой шолковой материи (вроде грубого полосатого газа), которую зовут *хашлама*; повесил ситцевые занавески на окнах; над дверями у него, как у патриота, портрет короля Георгия I; образа в углу; на дворе левкои, фиалки и кусты роз.

Три года он был женихом Елены, ходил в дом невесты каждый день и ночевал там нередко. Чтобы составить понятие об отношениях, которые бывают между критскими обрученными, иногда по нескольку лет сряду, нам сто́ит только представить себе отношения молодых парней к молодым девушкам в Украйне. Никто в частых свиданиях не видит там ничего дурного, и никто не мешает молодым людям проводить целые часы с глазу на глаз. Елена очень мила, бела, волосы каштановые, а глаза чорные, и она ими умеет искусно владеть; руки прекрасны, нежны; когда она танцует или говорит, то держит головку жеманно набок и представляется как бы усталою. Говорят, она капризна, а Николи сердит и ревнив, как все греки. Быть может, они будут ссориться, быть может, они будут несчастнее многих других соседей, которые живут так мирно... Но пока, на свадьбе, им весело и легко.

На дворе февраль, и скоро масленица; уже фиалки цветут, рощи седых маслин вокруг деревни мирны, густы и тенисты; с террасы виден город, море и корабли; мы на террасе у невесты в доме, и с утра уже в этом доме не смолкает музыка.

Греческие танцы не смыкаются в круг, как наши хороводы и болгарские танцы, а вьются длинною змеей. Апокорониотика, суста, сирто, — все эти танцы представляют разомкнутую цепь во сколько угодно человек; танец ведет обыкновенно мужчина, держа свою даму за руку или на платке. Танцуют, собственно, только двое передних, остальные под размер музыки двигаются за ними.

Вот танцует Илья-лавочник (бакал), толстый отец семейства, лет сорока. Что за добродушный молодец! Феска стоит колпаком кверху; свежий, усатый, круглолицый, он больше похож на казака из «Тараса Бульбы», чем на грека. Красный кушак его развязался, он его ловит и все пляшет; поскользнулся, упал, не смутился, опять вскочил и пляшет еще ловчее прежнего. Вот и другой молодой и богатый лавочник. У него много оливковых деревьев и магазин масла в городе. Жена у него молодая, стройная,

скромная. Весь он в темно-коричневом сукне; кушак синий, шолковый, и белая рубашка европейского покроя видна из-под богатого нарядного платья. Что за мужчина! Что за рост! какая стройность! Волосы и усы как смоль, а сам бел как блондинка; он танцует скромнее, чем Илья, как бы джентльмен или как человек более ровного нрава. Жених пляшет не слишком хорошо, и ростом теряет против других; но зато брат его, золотых дел мастер, мальчик лет двадцати, белый и нежно-румяный, белокурый красавец, так изящно выводит ногами, что все не налюбуются.* Жаль немного, что рядом с этими греками, которые превосходят все ваши ожидания своею живописностью, девушки и женщины в узких кринолинах и в коротких и плохо сшитых по-европейски платьях. Ахиллес и Парис пляшут с субретками! Впрочем, многие из этих девушек и деревенских дам очень милы и красивы, так что все-таки приятно смотреть.

Невеста одета лучше других: на ней белое кисейное платье с голубыми мушками, на голове повязан синий платочек, с золотыми блестками вокруг; на шее тяжелая серебряная турецкая цепь, и к поясу приколоты большие выпуклые часы (подарок жениха). Она в танцах не принимает участия и сидит внизу, в другой комнате. Вечером же у молодого в доме она, если захочет, будет танцовать.

Наконец приходит священник. В Турции чаще венчают дома, чем в церкви: привычка, оставшаяся от прежней боязни вести открыто в церковь невесту, которую на дороге мог безнаказанно похитить первый встречный турок, или если не похитить, то, по крайней мере, оскорбить или осрамить какою-нибудь выходкой. Это время страха прошло, а привычка венчать дома осталась.

Внизу, на небольшом дворе, обнесенном каменною оградой, поставили стол, покрыли его, убрали цветами, при-

---

* По воскресеньям я встречал его у обедни разодетого и в хороших башмаках на босу ногу до колен. Мне сказали в деревне, что он нарочно показывает свои икры, потому что они очень красивы.

готовили Евангелие и свечи; металлических венцов, как у нас, здесь в церкви нет, а надеваются простые венки, которые делаются дома; прежде венки эти делали из одних виноградных лоз, а теперь их украшают лентами, золотыми бумажками и т. п.

Вывели невесту; родными и близкими полон двор; дети и молодые люди посели и постали на ограде с ружьями и пистолетами наготове. Раздалась простая, полудикая, звонкая музыка, и между маслинами, по тропе от деревни, показался жених в толпе других молодцов, которые вели его за руки.

Поставили красивую, нарядную чету перед столом, надели на них венки, и наш добрый отец Хрисанф обвенчал их. Во все время венчания дети и молодежь палили холостыми зарядами из ружей и пистолетов, несмотря на то, что эта забава строго запрещена начальством.

Мы остались на плоской крыше, вместе с некоторыми гостями, и смотрели вниз; иные из гостей осыпали сверху толпу родных, жениха, невесту и священника конфетами. Это мне, признаюсь, не совсем понравилось, и сам священник раза два с неудовольствием взглянул наверх. Вокруг налоя новобрачных, как у нас, не водили.

По окончании венчания все поздравляли молодых, целовали их, целовали венки на их головах и дарили невесту. Около нее стояла подруга и собирала подарки: платочки, большие платки, материи на платья, серебряные талеры, золотые монеты. Мы тоже сошли вниз, поцеловали молодых и дали все по золотому в 10 франков.

Надо видеть прелесть этого и полуденного, и вместе полурусского праздника, в ясный и теплый зимний день; надо видеть это синее море с белою пеной, эти сады перед опрятными домами, людей цветущих, бодрых и красивых; надо знать, что эти люди нам братья по истории, что священник, который венчает молодца и красотку, не итальянец, а наш православный священник, что он молился в церкви за Россию во время Крымской войны и был за это заперт в тюрьму; надо слышать эти выстрелы, чтобы по-

нять, как редки в міре такие картины, которые пришлось нам в этот день видеть, и такие чувства, какие послал нам Бог в этот день испытать.

Эта свадьба обошлась, как-то по счастию, без *заптие* (турецкого жандарма). Обыкновенно один или несколько заптие присутствуют на всех деревенских и монастырских праздниках, для *предупреждения беспорядков* и для запрещения стрельбы. Случалось, что из многих тысяч ружей и пистолетов, разряженных на воздухе в разные минуты веселья в течение года, одно ружье или два пистолета бывали заряжены пулями, и кто-нибудь был ранен или убит.

Около меня сидел приятель мой Б., молодой грек с Ионических островов. Мы оба внимательно смотрели с террасы вниз на молодецкое веселье. Выстрелы гремели, и если кто мог подвергнуться случайной опасности, то, конечно, более всех мы, ибо мы были наверху, а все выстрелы были направлены снизу вверх, в двух шагах от дома. Нам было весело, и Б. наконец спросил:

— Как вам нравится этот род европейского деспотизма турецкой полиции: посягать на свободу многих, для того чтоб устранить случайную опасность от немногих, которые сами идут на нее с охотой?

— А если бы вас убили? — спросил я.

— Пускай хоть сейчас. Значит мой час пробил.

— Помилуйте, — возразил я, — что̀ же это за фатализм! Разве вы турок?

— А разве статистика не фатализм? — опять спросил Б.

— Пусть так, но изменение ее цифр в течение годов доказывает, что люди могут успехами разума ограничивать царство случайностей; общество, изменяясь само, может направлять и статистику...

— Куда? к скуке! — с ожесточением воскликнул Б. — О, Боже! когда же мы поймем это!..

— И в Англии полиция пробовала запрещать кулачные бои, — заметил я.

Б. вспыхнул.

— Да! Да что̀ взяли! — сказал он. — Англичане молодцы: они этих отеческих забот не понимают!

— Да вы, быть может, и напрасно, — сказал я ему в утешение, — обвиняете турок в неуместном прогрессе; быть может, турецкое начальство боится шумных сборищ из-за политических причин и не любит, когда ваши греки привыкают веселиться с оружием в руках.

— Когда бы так! — отвечал Б., вздыхая. — Когда бы так!

Мы просидели за полночь у молодого в доме, куда, вслед за невестой, пришли по захождении солнца; при нас нисколько не стеснялись и плясали до упада. Комната, и здесь довольно просторная, была опять полна народу, и, замечу мимоходом, критские простолюдины так опрятны и здоровы, что воздух в этой комнате был все время чист. Молодцы в синих шароварах, разноцветных куртках и фесках, все до одного были в белых европейских рубашках (хорошая сторона прогресса): они по очереди подходили к столу и пили вино, но ни один не был ни бесстыден, ни груб. Когда входила новая гостья, хотя бы она была последняя из села или чья-нибудь служанка, молодые люди спешили уступать ей свои места и, несмотря на утомление от пляски, стояли на ногах или садились кое-как на окна и друг другу на колена.

Танцы были разнообразнее, чем утром. Б. просил девушек проплясать один танец, которого имя я забыл, но который очень красив. Б. говорит, что эта пляска сохранилась еще от языческих празднеств. Шесть-семь девушек (в том числе и невеста) исполняли его очень хорошо; они брали друг друга за стан и, сплетаясь руками, двигались и вились лентой весьма изящно. Пожалели мы, что не были они одеты поживописнее; хотя бы так, как одевались они в старину, и как еще и теперь одеваются иные старые еврейки в Крите: юбка как европейская, на голове феска и длинный белый вуаль; обтянутая бархатная куртка, расшитая золотом, и турецкая шаль длинным кушаком по поясу.

Потом один старый портной плясал с нашею милою соседкой, молодою швеей Катериной, смирнский танец.

Старик летал соколом, а смуглая, ловкая Катерина, как скромная птичка, порхала перед ним и вокруг него. Вообще греческие танцы грациозны, но можно пожаловаться, что они слишком однообразны и важны. Смирнский танец — исключение: это вихрь, вроде нашего казачка, только, казалось мне, еще живее.

Турецкая музыка звонила часов пять-шесть без устали. Роздыха музыкантам почти не давали; когда не хотели плясать, пели под музыку греческие песни с турецким напевом. От времени до времени музыкантов обходили двое мальчиков: один вливал им в рот вино, другой нес на тарелке мелкие куски жареной баранины; он брал кусок вилкой и клал в рот музыкантам, чтобы не прерывать музыки. Каждый раз после закуски музыканты оживлялись, звонили, брянчали и барабанили крепче и крепче.

Я был рад, что из иностранцев, кроме нашего русского консула и нас, русских, никого на свадьбе не было. Английский консул живет также в Халеппе; однако его не пригласили: он и не пришел бы, вероятно, да никому из греков и в голову не придет приглашать его. Что̀ у него общего с деревенскими греками?

Нас вечером не ожидали. Все думали, что мы уже днем насмотрелись и устали. Какая была радость, когда мы пришли! Елена и сестра ее не отходили от молодой жены нашего секретаря; они держали ее руки, обнимали ее, шептали ей свои замечания и секреты и, наклоняясь к ее уху, брали ее руками за лицо.

Ночь была тепла и темна; мы пошли домой с фонарями по каменным тропинкам между садами.

II

Не все браки в Крите совершаются так правильно и согласно с желаниями и младших и старших, как брак Николи и Елены; похищения девиц здесь не редкость. Это не противоречит строгости семейного строя; напротив, по-

хищение и тайные браки почти везде являются естественными произведениями несколько строгого патриархального быта.

Как бы жизнь ни была проста и однообразна, но страсти и требования не могут не быть разнообразны и подчас враждебны друг другу. Семейный строй, советы и власть родителей уважаются; но любовь берет свое, и пылкость чувств нередко доводит до трагических развязок. Так, незадолго до моего приезда в Крит, младший брат того же Николи, на свадьбе которого я веселился, был без ума влюблен в старшую сестру Елены. Двум православным братьям на двух православных сестрах жениться нельзя. Николи, конечно, от Елены для него не отказался бы, и молодой человек отравился. Его, однако, успели спасти. Теперь он стал положительнее и помолвлен на очень богатой девушке из дальнего села. Третий брат тоже помолвлен. Я говорил с воскресшим юношей, и он сказал смеясь: «Жена Николи всех трех красивее и всех милее; моя невеста всех трех хуже собой, но смирная и богатая».

Недавно также в Канее случилось романтическое приключение. У одной небогатой вдовы мелкого торговца три дочери, одна лучше другой. В меньшую, которой едва шестнадцать лет, был давно влюблен двадцатитрехлетний юноша, сын приезжего с какого-то острова купца.

Родители молодца не хотели слышать о бедной невесте; вдова, разумеется, помогала дочери. Священники ни в городе, ни в окрестностях венчать против воли родителей жениха не соглашались. Раз утром богатые родители, проснувшись, узнали, что сын их женат; бросились к архиерею, но ни один из городских священников повинен не был, городские ворота на ночь запираются, и турки не пропустят никого, кроме консулов. Как же это сделалось? Молодые товарищи жениха привезли ночью морем в лодке из дальнего округа священника и, чтобы он не попался, одели его в албанскую одежду с фустанеллой. После свадьбы албанец исчез, и все поиски епископа были тщетны: ему не удалось открыть и наказать лихого иерея. Бо-

гатые родители уступили и помирились. Паша мог бы преследовать, по просьбе архиерея, свидетелей, которые привезли священника, но он не счел этого нужным. Их допрашивали слегка; они не сказали ничего, и дело кончилось благополучно для влюбленных. Я их видел потом на монастырском празднике в горах. Что за роскошная пара!

Иногда похищают девиц с оружием в руках. С месяц тому назад похитили так одну девушку в одной из соседних деревень. Девушку не хотели отдавать, поклонник ее был вне себя от страсти, собрал пять-шесть удальцов, вооружились и на рассвете приехали верхами на двор. Отца не было дома, дочь выбежала к жениху, братьев связали, но мать, женщина решительная, сорвала со стены пистолет и прицелилась в того, кто сажал дочь на мула. Молодой человек не осмелился поднять оружия на огорченную старуху, и она раздробила руку своему будущему зятю. Однако и с раздробленною рукой он обвенчался как-то в горах, а раз церковное таинство совершено — для грека все кончено; о гражданских формальностях здесь не думают.

Не всегда, впрочем, похищения бывают свидетельством любви. Случается, что бедные молодцы похищают богатых (сравнительно, конечно) невест с их согласия, а иногда даже против их воли. Надеются, что родители после уступят и дадут приданое.

Жители гор Сфакия, или Белых гор, особенно мастера на такую ловлю. Горы эти неприступны до того, что не только на лошадях туда не ездят, но и обыкновенный мул, как ни верна его нога, для Сфакии не годится. На этих стремнинах и утесах только те мулы хороши, которые на них родились и выросли. Почва там бесплодна; кроме овцеводства и охоты, почти нет промыслов; полгода стоит суровая зима. Само турецкое начальство не знает, что̀ делать, когда надо сбирать с сфакиотов подати. Эти Белые горы для Крита то же, что̀ Черногория для всего Балканского полуострова. И в древности сфакиоты славились как

стрелки из лука, теперь славятся как стрелки из ружья. Во время войны за независимость в 1821 и так далее годах они более всех других критян вредили туркам. Поэтому-то греки долин и городов, хотя в мирное время боятся их проделок, их воровства и разбоев и зовут их ворами (клефтами), но бранят их с какою-то дружескою, одобрительною улыбкой, и слово «клефт» произносят совсем не с тем чувством, с каким мы произносим слово «вор». Впрочем, это явление повторяется по всей Турции, и слово «клефт», как известно, и у нас стало достоянием поэзии. Сфакиоты необыкновенно рослы, красивы, сильны и легки. Я видел одного почти саженного старика-капитана, который начальствовал отрядом еще в двадцатых годах. Почтеннее, красивее и благодушнее старца трудно себе представить. Многие из горцев покидают, впрочем, надолго свои бесплодные скалы и предаются честным ремеслам в городах и селах; но есть и такие, для которых удаль и легкая добыча остаются навек милее.

А что̀ удалее и веселее, как похитить силой красивую и богатую девушку? В 1863 году одно такое похищение наделало много шуму по всему острову и неожиданно подало повод паше сделать решительный и почти неслыханный шаг, вступить в Белые горы с войском и собрать с факиотов подати.

Сфакиоты не ожидали этого. Они принуждены были принять пашу как нельзя лучше; паша обласкал капитанов и рассмотрел много затянувшихся дел. Что касается до солдат, то они приняты были ни враждебно, ни дружественно. Сфакиоты, при их приближении, покидали свои жилища, оставляя в деревнях только то, что̀ нужно было для пропитания отряда. Солдаты находили себе пищу, питье и ночлег в пустых домах. С тех пор Измаил-паша от поры до времени делает дружеский визит сфакиотам уже без войска. Довольны они или нет? Едва ли.

Но самое оригинальное из всех похищений случилось в Халеппе, лет семь тому назад, при Вели-паше, почти у ворот самого генерал-губернатора. У Вели-паши был

тогда в Халеппе дом, тот самый, в котором живет теперь английский консул. Дом этот построен *над переулком*, который туннелем проходит сквозь нижний этаж. Как раз за этим туннелем стоит старый дом родителей уже знакомой нам Елены (из этого туннеля любил выскакивать на лошади, мимо Елены, Николи). Семья Елены одна из самых бедных в Халеппе. Отец ее, седой старик, ходит всегда согнувшись, в толстом коричневом сукне, тогда как почти все остальные отцы семейства одеваются щеголями. Они очень бедны; но отсутствие приданого все дочери вознаграждают миловидностью и кокетством. Кроме Елены и Аргиро́ (из-за которой хотел отравиться младший брат Николи), была у старика еще старшая дочь, красивее всех. В нее влюбился без памяти молодой повеса, пьяница и драчун, из другой деревни. Девушке он не нравился, и она боялась его. Но повеса имел средства к жизни и умолял отца возлюбленной, обещая исправиться и быть добрым мужем. Старик, обремененный семьей и поденною работой, решился на меру не совсем похвальную. Он позволил повесе насильно похитить дочь. Ночью под туннель паши забрались товарищи; мать и все дочери спали; старик взял с собой жениха и постучал к старшей дочери; она узнала его голос и отворила дверь. Вместо отца на нее кинулся жених, всунул ей в рот платок, схватил ее на руки и на мула... Однако она успела закричать так громко, что соседи проснулись и выбежали. Но молодежь с своею прекрасною ношей уже умчалась вихрем из Халеппы. В деревне похитителя священник уже был готов, и девушка покорилась своей участи. Иные говорят, что она несчастна, что муж такой же пьяница и буян, каким был до брака; другие говорят, что «ничего, живут хорошо». Я видел ее, лицо ее свежее и не грустное; но это, конечно, еще не значит, чтоб она была счастлива.

Любопытно, что люди Вели-паши спали так крепко и беззаботно, что никто не слыхал ее крика. Паша, конечно, имел бы право обидеться дерзостью деревенской молоде-

жи; но в Турции люди иногда страдают за ничто, а иногда им сходит с рук проделки и поважнее этой.

Напомним кстати, что турецкое начальство по льготам, дарованным султанами иноверцам издавна, не имеет права вмешиваться в их семейные дела. В таких делах у православных всемогущее лицо до сих пор митрополит или епископ, а паша служит только исполнительною силой по его указанию.

III

Бедность здесь не ужасна и не гадка. В ней видно нечто суровое и мужественное. Горы, хижина, чистый воздух и прекрасный климат; здоровые, бронзовые дети. В тех вершинах, где полгода лежит снег, я не был и знаю, что люди там бедны: но и эта бедность не гнила и не грязна. Иначе, как бы сфакиоты могли быть первыми воинами и атлетами острова?

В подгородных деревнях, в Халеппе, Галате́, Анеркýру, Скалариа́ и такой бедности мало. В Халеппе я знал одного старика, почти нищего, который собирал по садам *улиток*, продавал их для кушанья и этим жил. Старик был дряхлый, но еще здоровый, и толстая ветхая одежда его не была грязна.

Знал я еще одну семью. Ее считали все несчастною. Отец тесал камни в Халеппе, мать смотрела за огородом и маленьким виноградником; мальчики, один восьми, другой семи-шести лет, пасли овец. Домик у них был очень мал и беден. Единственная комната была полна рабочих снарядов; станок, на котором мать ткала одежду себе и детям, занимал полжилища. Они поселились здесь недавно и жили особняком, одни, на горе. Гора эта камениста и суха; только зелень садика, разведенного бедною семьей, оживляет ее; внизу Халеппа: город виден весь, а там далекие селения, снежная Сфакия и море.

Я часто видел детей, Яни и Мано́ли, когда они пасли овец, всматривался в их лица, говорил с ними. Они привыкли ко мне, и каждый раз как завидят меня, бегут домой, приносят стклянку с померанцовою водой и брызжут на меня (обычное здесь приветствие), рвут между камнями пучки какой-то душистой травы, похожей и запахом и листьями на лавр, и подносят их мне. И Яни и Маноли были бы радостью живописцу. Они не знают ни башмаков, ни фески; когда слишком жарко — оборванный пестрый платок на голову, когда холодно — старый башлык из толстой *абы*. На золотых личиках их горят большие веселые глаза, — огонь и бархат чорный; темное сукно их одежды все в заплатках разноцветного ситца и полотна. Маноли скоро привык на заре стучаться в мою дверь и приносить овечье молоко для утреннего кофе; заходил и в комнату; я угощал его чаем; он сначала боялся, а потом съедал с двумя чашками столько хлеба, сколько мы съедим в два обеда; разговаривал о своих овцах, обещался летом приносить мне виноград, арбузы и дыни из отцовского огорода. Сколько чиновных петербургских отцов позавидовали бы бедному камнетесу, глядя на его крепкого, сияющего сына!

Раз Маноли случайно увидал себя в моем зеркале. Он никогда не видывал зеркала и до того испугался, что бросился бежать и долго не возвращался ко мне.

Чудак Б. рад этому.

— Если, — говорит он, — в двух шагах от Канеи, куда приходят австрийские пароходы и где веют флаги европейские, есть еще мальчики, которые не видали зеркала, то человечество, слава Богу, не скоро еще скажет свое последнее слово!

Маноли раз вздумал притравить свою собаку на ягненка; собака задушила ягненка. Отец прибил его за то больно и, конечно, поделом. Маноли рассердился и пропал. Прошли три дня в напрасных поисках по окрестностям. Отец принужден был просить помощи у полиции и со слезами умолял нашего консула пособить ему. Консул наш

послал сказать паше и просил его ускорить розыск. Заптие скоро напали на след Маноли: он *ночью один* ушел верст за двадцать к родным в горы!

Для Б. опять радость. Вот из таких-то мальчиков, которые боятся зеркала и не боятся убегать в горы ночью, выходят великие греческие *капитаны*, те капитаны, которые бились за свободу в 21-м году и опять поведут критских греков в бой, когда ударит час!*

Не знаю, прав ли мой восторженный товарищ, но я уверен, что ни у кого не заболит крепко душа, глядя на эту бедную, трудовую семью. Отец суров, мать смирна и молчалива, дети веселы и дики, и мы пожалеем их всем сердцем; но эта жалость имеет в себе нечто полное и свежее, ибо страдания и лишения не обезобразили здесь человека. Что-то шепчет: сто́ит жалеть, ибо можно помочь. Но есть другие страдания, другие лишения, ядовитые и зловонные; взирая на них, мы слышим только голос христианского рассудка, но разбитое и унылое сердце молчит. О! Как тот, кто жил в больших городах, знаком хорошо с этим бессильным молчанием сердца!..

Спустимся под гору по этому душистому зеленому оврагу. Вот в тени олив стоят в стороне три белые домика, перед каждым опрятный двор, и на дворах цветы. Вместо крыш — террасы, глиняные полы чище иного паркета. На белых стенах картины и портрет *будущего* короля Георгия I. Из отворенных дверей видна спальня. За кроватью, украшенной кисейною занавеской, видны образа и лампада; столики, диваны турецкие, комод и дешевые стулья, все блещет и словно веселится!

Это жилище моего соседа, столяра. Рябоватый высокий старик, силач, балагур и честнейший человек в мире; он живым примером опровергает поговорку: «Les grands parleurs sont toujours des petits faiseurs», он и *parleur* и *faiseur*. Целый день работает и целый день говорит. Нет у него своей работы, — он приходит ко мне; замечает в саду

---

* Час ударил, как доказали события последнего времени.

беспорядок, — чистит, метет, скоблит, поливает и говорит без умолку и о вере православной, и о том, что «турок — всегда турок», а русские настоящие христиане, и о том, как он далеко плавает в море. И конца нет! Жена его милая, веселая, опрятная старушка; и дочери, и сыновья хороши собой. Я каждый день, почти несколько месяцев сряду, видел эту семью и не уставал любоваться ею. Младший сын Маноли (это имя и *Яни* беспрестанно слышишь у греков), лет двадцати, особенно привлекателен, добр и даровит. У него большие способности к живописи, и теперь даже, не имея вовсе художественного образования, он порядочно пишет образа для церквей, и в той комнате, где родители его принимают гостей, стоит над дверями вырезанный из толстой бумаги и раскрашенный им очень аккуратно большой слон. Что̀ за мир в этой семье, что̀ за гостеприимство, что̀ за веселость! Что̀ за чистота во всем и на всем! Раз Маноли занемог, и я пришел посетить его. Он лежал на диване; домашняя одежда его, подушка под головой, *белое* бумажное одеяло, все было так опрятно, что я удивился.

Мой друг столяр халеппский не богат и не беден. Но я ездил и в другие деревни, бывал в домах богачей деревенских и обедывал у них. Везде одно, одни нравы, один общий дух; опрятность, простор, простота, радушие и ум. Везде вдыхаешь полною грудью благоухание здоровой, бодрой, искренней семейности.

Семь месяцев прожил я в Халеппе и не видал ни пьянства, ни грязного бесчинства, ни драк. Когда и бывают семейные распри, их стыдятся, их прячут. Здесь мужья не гоняются с кнутами и палками за растрепанными женами по улицам деревени; не видать разбитых лиц и пьяных женщин. Идеал семейный строг, но строг он не для одних младших и не для одних женщин. Грек ревниво охраняет свои права отца и мужа; но он и сам к себе строг. Любовниц он не берет, не пьянствует; седины его не грязнятся развратом. Детей, конечно, бьют самые добрые отцы; но возможно ли иногда и не прибить непо-

корного ребенка трудовому человеку, у которого за детьми нет ни нянек, ни наемных учителей? Когда вся семья иногда целый день на глазах и дети, при южной пылкости, шалят нестерпимо? Но бить женщин у критян срам, засмеют соседи.

Если б я стал описывать особо каждое из тех семейств, которые знаю, рассказ мой вышел бы слишком длинен. Одно еще можно сказать про всех, что самый взыскательный вкус, самый насмешливый ум не найдет в семейном счастье простого грека ничего тяжелого и смешного; ничего такого, что̀ вызвало бы улыбку жалости и пренебрежения. В прекрасном месте, чистая деревня, чистые дома, цветущие лица, свежие дети, красивые девушки, юноши еще красивее; молодцоватость, достоинство и радушие приема, набожность и преданность отчизне, политический смысл... Где найдем мы все это вместе?

ХРИЗО́

ПОВЕСТЬ ИЗ КРИТСКОЙ ЖИЗНИ

От Георгия Николаидиса к Александру Петровичу Б-ну (в Москву)

Корфу, декабря 10-го 1864 года.

Пароход наш пробудет здесь четыре часа. Я успею тебе написать отсюда. Давно ли это? Боже мой! Всего пять-шесть дней... Снега московские, Иван Великий, ваши санки, которые я так люблю, бедная Машенька. (Помнишь, как она мне говорила: «Какой же вы барин? Вы разве барин, — вы грек».) Потом Петербург; за Петербургом прусские поля, зелень, чуть покрытая морозом; немки, немцы; Бреславль и его древний собор; ночью в Вене — пуховое одеяло, слуги, которые, по правде сказать, больше похожи на секретарей посольства, чем на слуг; Св. Стефан, Триест... Русское все исчезло... Нет, виноват, не все... Под самой Веной, ночью, какой-то бедняк принял мои вещи в вагон, и когда я дал ему флорин, он схватился за ручку дверцы и спросил:

— Заховать вас, пане?

Откуда этот малоросс?..

Только здесь, в Корфу, я как будто приблизился снова к России... Лимонные деревья и розы в цвету, оливы, мои родные оливы, зеленее, чем летом. На улицах нельзя ходить в пальто... Ты скажешь: где ж Россия?

Где она? Когда я сошел с парохода, старик-лоцман, наш же грек, сказал мне:

— Зайдем вместе к Св. Спиридону и поклонимся мощам его, чтоб он нам до Сиры море хорошее дал...

Мы помолились, и тут я, на другом конце земли, посреди роз и лимонов, глядя на священников и на серебряную раку, почувствовал себя еще роднее русским, чем был в Москве... Ты смеешься, я знаю. Мне, конечно, не переделать тебя; но грек никогда таким материалистом не сделается, каким бывает русский студент. Я, впрочем, уверен, что и ты переменишься.

Ну, прощай. До самой Кандии не возьму уже пера в руки.

Прощай, мой добрый, мой верный друг, тысячу раз обнимаю тебя.

Твой Ник—с.

Января 25-го 1865 г., Халеппа.

Здравствуй, здравствуй, милый мой! Вот уже около месяца, как я на родине; всех увидал: отца, мать, брата и сестру, старых соседей и родных. Я долго не писал... Но, если бы ты знал, как здесь приятна лень! Что за край моя родина! Что за милый край! Как бы мне назвать мой божественный остров? Райский угол? Сад садов? Краса морей? Нет! Я назову его корзиной цветов на грозных волнах моря. Когда бы ты видел, что̀ такое здешний грек! Как чисто его жилище, какая наша Халеппа веселая! У моря дома́ все белые, чистые, вместо крыш террасы, все в зелени. Тут лимоны и померанцы цветут, как снегом осыпаны; и чтобы ты знал, что это не театр, а сама жизнь, на ветках сушится простое, бедное белье... Но что я тебе скажу еще? Говорить много нет сил.

Представь себе только небо синее, море бурное, вдали снег алмазный на горах, как на московских полях, а над головой как жар горит, все в розовых цветах, наше старое

персиковое дерево... Под оливами барашки гуляют и звенят бубенчиками!..

Довольно! Нет ни силы, ни охоты... Прощай. Ах, моя родина! Ах, мой Крит драгоценный! И как милы здесь девушки! и семья наша какая добрая, почтенная! Прощай!

Твой Ник—с.

10-го февраля.

Ты пишешь, что понимаешь мою любовь к родине. Неужели? Я, признаюсь, этого не ждал. Я вас, русских, не понимаю. Помнишь, когда наши товарищи студенты-поляки хвастали, как повстанцы бьют русское войско и как вешают русских, вы все молчали; я один вступился за вас, за вашу честь, и вы же смеялись надо мною и говорили: «Кто ж ныньче говорит о патриотизме!» Да, может быть, с тех пор и вы переменились!.. Ты просишь также, чтобы мои письма были длиннее и подробнее; просишь картин общественной жизни в Крите. Общественной жизни, мой друг, здесь нет; а есть дивная... народная жизнь; о ней я тебе буду писать с радостью. А пока я скажу тебе, что представился вашему консулу и познакомился с здешним русским секретарем. Консул, пожилой и чрезвычайно умный человек, принял меня прекрасно и приглашал обедать почаще; а секретарь ваш — твой контраст. Такого исступленного славянофила я еще и не видал. Он православный, с немецкою фамилией — Розенцвейг. Он ненавидит свое имя и на дружеских письмах подписывается «Разноцветов». У него чахотка, и он, бедный, едва ли долго проживет. Он это понимает сам и благодарит Бога за то, что ему придется умереть в таком прекрасном месте, как Крит.

Так ненавидеть все европейское, как ненавидит Розенцвейг, по-моему, даже странно. Я еще не могу понять его. Он говорит, например, что если б у него была дочь, то он

ее охотнее отдал бы замуж за молодого критского крестьянина, чем за богатого образованного европейца. Особенно французов не любит. Это не политическая вражда, а какой-то философский фанатизм! «Французская нация — это рак Европы!» — вот его слова. Я этого не понимаю. Французы, по-моему, благородны, они любят сами независимость и готовы помочь всем угнетенным народам. Розенцвейг говорит: «Что мне до этого за дело? Я бы и свободы из французских рук не принял!»

Спорить с ним я боюсь, потому что у него тогда начинается сильный кашель.

Право не знаю, что̀ тебе сказать. Не потому не знаю, что нечего, а потому, что очень много материала. С чего начать? Описать ли тебе нашу семью, отца, мать, мою милую сестру и братьев? Рассказать ли тебе, как приехал, кого я первого встретил? Или описать здешнее «la societé», и какие делал я визиты здешним иностранцам, и сколько раз слышал вопросы: «Как вы нашли вашу родину?» Или объяснить тебе, в каком положении Крит с политической точки зрения? Или описать тебе наши прогулки с Розенцвейгом по берегу моря и наши рассуждения? Для меня, по крайней мере, все это так занимательно, так ново, что я готов бы писать целые тетради, как я шел от пристани чрез гору домой, и какого цвета была земля на тропинке между травой, и сколько окон у нас в доме, и как взглянул Розенцвейг, когда я сказал о французах то-то и то-то... Готов описать и суды турецкие, и нравы наших греков, и наружность моей милой сестры...

Не знаю, что̀ предпочесть!

Начну хоть с сестры. Когда бы ты знал, как она очаровательна! Впрочем, нет: Розенцвейг от нее в восторге; но тебе бы она не понравилась; она слишком *не развита*, сказал бы ты. Пусть так!

Описать тебе ее я не могу. Что̀ я скажу: ей еще нет шестнадцати лет; зовут ее «Хризо́», и это значит по-гречески золото; она предобрая, так обо мне заботится и сама

мне стелет каждый вечер постель; сама подает мне кофе и варенье, зовет меня «Йоргаки», песни поет премило.

Лучше всего я переведу тебе одну песенку, которую она поет и которая к ней самой так идет, как будто про нее сочинена.

Внизу, в саду у моря,
У морского берега,
Живет девушка, которую я люблю.
Она белокурая и черноокая,
Белокурая она и черноокая.
И ей всего двенадцать лет,
Ей уже двенадцать лет, а свет дневной
ее не видал еще.
Только мать ее знает,
Мать ее знает и зовет:
«Моя гвоздичка!»
Моя гвоздичка, корешок мой гвоздичный,
Где, гвоздичка моя, теперь благоухаешь?

Розенцвейг заставляет сестру мою беспрестанно петь эту песню, все хвалит ее. Я было сказал ему раз:

— Жаль, что мать не согласилась отправить ее в Сиру на воспитание, отец хотел.

Розенцвейг рассердился и сказал:

— Полноте, что за предрассудок! Неужели учить по моде? она и так прелесть!

Что она наивна, это правда. Я подарил ей стереоскоп и недавно объяснял ей картинки; ей понравилась особенно одна, не знаю уж кто — немка или француженка в деревенской одежде, в коротком платье, — сбирает, стоя на лестнице, виноград. Она похвалила и, обращаясь к Розенцвейгу, который тоже тут был, сказала так серьезно:

— Какие у этих немок ноги красивые и толстые!

Я засмеялся, а Розенцвейг встал в восторге и воскликнул:

— Вот и толкуйте о ваших Афинах, о вашей Сире! Была бы она там, так вы бы этого от нее не слыхали.

Я нарочно, чтобы подразнить его немного, сказал было раз:

— Однако петербургская девица или дама не ей чета!

— Какая дама! — говорит, — я в Петербурге знал одну даму, Лизавету Гавриловну Бешметову; так она сама себя звала: *женщина-человек*, все искала обмена идей, а чтобы подать пример умеренности, носила все одно и то же платье из люстрина, цвета гусиного помета. И вы думаете, что я предпочту ее вашей сестре?

Я ожидал от него чего-нибудь подобного: я начинаю привыкать к нему и любить его.

И все наши халеппские греки его любят; между ними он очень популярен. Все они хвалят его и кончают свои похвалы одним и тем же.

— Одно слово, русский человек, хороший человек, православный человек! Жаль только, что больной такой.

Впрочем, ты не думай, что он какой-нибудь вялый или робкий. Нет, он молодец. Во-первых, он лихо ездит верхом. Вот тебе пример. К нашему дому прямой дороги снизу нет; да и вся деревня идет вниз — вверх, вверх—вниз, по горе и скалам. К нашему дому надо подъезжать или сверху или снизу, слезать с лошади и потом уж к воротам сходить по каменной лестнице. На днях Розенцвейг был у нас и привязал лошадь внизу; когда пришло время ему ехать, я велел меньшому брату подвести ему лошадь, а брат большой хитрец и шалун; он нарочно взвел лошадь прямо к воротам наверх. Розенцвейг вышел, посмотрел вниз; пятнадцать крупных скользких ступеней. Ничего не сказал, сел и стал спускаться. Лошадь у него молодая, пугливая, скользит, ржет... У меня сердце замерло, мать моя покачала головой и отвернулась; сестра тоже испугалась, отец был недоволен и начал бранить брата. Только старый дядя мой Яни, сказал:

— Ничего! Он знает. Русский человек!

Не довольно ли? Кажется, ты не можешь пожаловаться, что письмо мое коротко? Прощай, будь здоров и не забывай любящего тебя

Г. Н—са.

1 марта 1865 года.

Ты спрашиваешь, что же это такое Халеппа, Халеппа, Халеппа? А где она, ты не знаешь. Это правда, виноват; мне показалось, что весь мір должен знать мою бесценную Халеппу!

Халеппа — это деревня, в получасе ходьбы от города Канеи. А город Канея, это наш критский Петербург. Есть у нас и Москва — Ираклион, или Кандия, которую зовут также Мегало-Кастро. Ты, я думаю, читал (а вероятнее, что нет; ты все «Крафт-унд-Штофф» читаешь), что Кандию турки осаждали 25 лет и что под стенами ее погиб герцог де-Бофор, которого во время Фронды звали «le roi de la Halle» и который был так популярен между парижскою чернью.

Ираклион — наша древняя столица, в ней живет митрополит всего острова; там религиозное чувство сильнее; там и турки страшнее фанатизмом. А Канея — это Европа; здесь светская власть — паша, который говорит по-французски; здесь веют консульские флаги всех держав, здесь «la colonie européènne»; горсть купцов средней руки, докторов, шкиперов европейских, чиновников. Канея — наш Петербург, «рак Крита», по Розенцвейгу.

Не знаю, право, рак ли это, и съест ли он нашу национальную физиономию; но знаю только, что город грязен и душен, заперт в крепости, тесен, скучен. Но и в нем, если хочешь, есть своя поэзия; он напоминает описания и картины средних веков: узкие улицы, которые еще недавно (при Вели-паше), чуть-чуть не обагрились кровью... Экипажей нет; толпы пешеходов и верховых; все тяжести возят на мулах и ослах; одежды пестрые, речи шумные, лавки плохи. По захождении солнца ворота крепости запирают, и уж ни в город не пустят, ни из города не выпустят никого, конечно, кроме консулов и чиновников консульства, но и для тех отпирают такую маленькую калитку, что в нее и среднего роста человек проходит с большим трудом.

Я в Канею почти никогда не хожу. «La société» терпеть не могу; иностранцы здешние так самоуверенны, так гордо смотрят на турок и на греков, так презирают все восточное, а сами так пусты, суетны и алчны, что даже и не смешны; они даже и в злую комедию не годятся, в них ничего резкого нет. По желанию матери и по совету консула, я почти всем им сделал визиты: никто почти не заплатил мне их. С какой стати пожилым и *образованным* членам «de la colonie européènne» платить визит Йоргаки Николаидису, сыну лавочника, который торгует маслинами и мукой и носит шальвары и феску! А они не лавочники? Мой отец не им чета! Он бился с турками еще отроком, и на груди его один шрам благороднее их самодовольных лиц! Но то мой отец, а они европейцы! Они говорят по-французски; они книги торговые ведут по всем правилам бухгалтерии; они не носят фески и дорогих шальвар, как мой отец, а старые протертые сюртуки и панталоны... Моя сестра не умеет танцовать польку, а их дочери умеют. И когда бы ты видел, как они все дурны собой! Нет, прав мой бедный Розенцвейг. Я становлюсь его адептом и начинаю ненавидеть Запад.

Прощай! И писать больше не буду, пока не получу ответа, что ты согласен со мной!..

Твой Г. Н—с.

5-го апреля.

Я очень рад, что ты со мной согласен, хотя Розенцвейг, которому я показывал твое письмо, говорит, что у тебя на уме *другое*, а у нас *другое*. Ты говоришь, что западная буржуазия отживает свой век, и что у русских потому есть великая міровая будущность, что только в их среде могут развиться какие-то новые люди, чуждые всего того, что̀ теснит европейцев. Ты прибавляешь также, что будущность России в высшей степени космополитическая.

Что мне с вами делать? Ты одно, а добрый мой Разноцветов другое!

Много мне писать тебе некогда сегодня, я хотел только сдержать слово. Мы все сейчас едем в сады Серсепильи к двоюродному дяде моему Рустем-эффенди. Уж сын его Хафуз, мой любимый товарищ детства, привел для меня сам лихого коня, а для милой сестры моей — такого чистого, красивого и смирного осла, что просто игрушка... Все мы едем: отец, мать, братья, сестра, Хафуз и Розенцвейг с нами... И даже *она*... А! Вот еще на радость твоему космополитизму: *она* — еврейка, невестка банкира Самуила Нардеа. Радуйся же: сам я грек, дядя мой турок, у меня здесь два друга — один русский, другой турок, а предмет любви — роза Палестины...

Вот тебе «la sainte alliance des peuples!» Прощай, ослы наши кричат, и сестра уже зовет меня: «Йоргаки! Йоргаки! Мадам Нардеа пришла!» Вот счастье-то! Прощай.

Твой Г. Н—с.

16-го апреля.

Кто ж *она*? И как я полюбил ее? И как это возможно, чтоб у эллина был дядя турок? И с какой стати его сын Хафуз мне друг? И что такое Серсепилья?

Не знаю, достанет ли у тебя сил читать все это; но я берусь тебе все объяснить подробно.

Что такое Серсепилья? Это рай земной! Когда мы выходим с Розенцвейгом гулять, мы всегда сядем на горе за Халеппой и глядим на эти дальние оливковые рощи. Но что я скажу о них? Какие слова передадут тебе поэзию этого леса древних олив, деревень полуразрушенных и полудиких, стен, покрытых плесенью, цветов, которые ползут по стенам или ниспадают с террас?.. Издали картина величава и таинственна: над морем широких олив столбами возносятся тополи, белеют там и сям башни, стены больших зданий, и

стелется дым из незримых, убогих очагов... О, друг мой! Как прекрасна моя родина! Как прекрасен молодой грек, когда он в пышной и яркой одежде идет по тихой сельской улице гордою поступью! Как мила, как опрятна, как свободна в обращении и как чиста нравом наша девушка! Как величав, строг и прекрасен наш простой старик в высокой феске и седых усах! Слушай, друг мой: всякий любит свою родину сердцем... Но счастлив тот, кто может сказать, *за что* он любит ее! О, если бы в этой дивной стране, у этого прекрасного народа, были достойные вожди! Но их нет пока... и не знаем, откуда их ждать. И не думай, что я увлекаюсь только телесною красотой моих критян или храбростью их, или поэзией простого быта в живописной стране... Поверь мне, что нет. Мои греки без силы, без вождей, без помощи ждут освобождения и дождутся его. В глухих деревнях, в горах, до того неприступных, что мул, не рожденный в них, не смеет ступить на их стремнины, — и там эти красавцы и бандиты, которых рука так легко хватается за нож, и там они спешат учиться; и там заводят школы, выписывают учителей из Греции, похищают их ночью с оружием в руках, когда турки пытаются прервать эту связь со свободными Афинами. О, мой милый, русский друг! Люби моих братьев, критян; если ты холоден к поэзии и красоте и не в силах их любить, как Розенцвейг, за красоту и за высокое сочетание изящного и сурового в их чудной жизни, то люби их за гордые, свободолюбивые чувства, за пожирающий их сердца пламень независимости.

Твой Г. Н—с.

20-го апреля.

Итак, я не сдержал обещания, я не сказал тебе еще ни о первой моей встрече с *ней*, ни о Рустем-эффенди, ни о Хафузе. Если бы ты знал здешнюю жизнь так, как я знаю русскую, так мне было бы легко рассказывать тебе просто,

что̀ случилось со мной и с моими близкими. Но вы, русские, разве вы знаете, как живут здесь люди? Вы знаете последний переулок в Париже, но что̀ делают греки, как живут они, и почему живут они так, а не иначе, что̀ вам за дело! А народ наш любит вас и чтит ваше правительство. Только для вашего консула стоит в нашей халеппской скромной церкви кресло, обитое красным сукном; только к нему идут люди с поздравлением в праздники; только за вас нашего доброго сельского священника, отца Анатолия, во время Крымской войны заключили турки в тюрьму. За вас, за победу вашему оружию он громко молился в церкви... Только на ваш флаг с любовию и надеждой смотрит, вздыхая, мой отец... Только ваше имя с любовью произносится в самых диких ущельях гор, и, садясь за стол вашего чиновника, наш гордый островитянин шепчет, крестясь: «Вот в первый раз пришлось мне сесть за истинно-православную трапезу!»

Да, правда, и наши греки вас не знают, ни пороков, ни высоких ваших свойств не изучили, как бы должно. Но они верят в вашу силу, они любят вас, и старое добро ими не забыто. Прости же мне, что я все прерываю мой рассказ, прости моим беспорядочным порывам. Когда сердце полно, как совладеть с ним, добрый друг?.. Опять брошу письмо и начну его тогда, когда успокоюсь...

22-го апреля.

Довольно! Теперь я не скажу ни слова о моей родине. Я сейчас только вернулся от *нее*... Ее зовут Ревекка. Когда бы ты знал, какие у ней золотые волоса и как она сама бела и стройна! Она выросла в Константинополе, говорит хорошо по-гречески, читает Шиллера и по-турецки знает. И какая она хитрая и ловкая... Как она вьется передо мной, словно змейка, и скользит из рук! Я без ума от нее! Мужа ее нет; он торгует в Англии и приезжает сюда раз года в два, в три. Она живет у старика, своего свекра. Старик и

жена его смотрят за ней очень строго; однако с тех пор как они на лето переехали в Халеппу и наняли дом близко от нас, я нахожу средство видеться с ней часто. Я чувствую, что нравлюсь ей, но она ужасно лукава и так тонко и ловко защищается, что даже трудно выразить эту летучую игру слов, это движение взглядов! Например, она говорит мне на днях: «Я не люблю греков». — За что? — «Они такие сердитые; я боюсь их». И смотрит мне невинно прямо в глаза, как будто я не грек. А потом начнет хвалить брюнетов и говорить: «Какие здесь, в Крите, мальчики все хорошие. Черноглазые такие, щеки розовые, лица нежные; вот и ваш младший брат какой красивый!» А младший брат, все говорят, на меня похож. На днях она рассердилась на меня за то, что я дал на Пасху нашим халеппским детям денег и старый сюртук мой, *чтобы жечь жида*... Как жечь жида? (Ты в ужасе! вот и опять отступление; чем же я виноват?) Наши дети на Пасху, в самую ночь под Светлое Христово Воскресенье, делают из соломы большую куклу на церковном дворе, надевают на нее шляпу и старое еврейское платье, стреляют в нее из пистолетов, и кукла загорается. Хохот, радость и шум такие, что заглушают на миг церковное пение. И ко мне пришли дети и просили «на жида». Я дал им 5 руб. Ревекка узнала об этом, начала меня упрекать и бранить греков варварами и фанатиками. Я смеялся, и она, наконец, так рассердилась, что ушла с террасы и целую неделю не показывалась. Вчера я шел мимо их дома, она сидела за калиткой, в тени, вместе с свекровью, и работала. Я даже обрадовался, что она не одна. При свекрови она не покажет, что дружба наша уже доходит и до ссор! Я поклонился, и она поклонилась. Я сел и спросил, как ее здоровье. Она говорит:

— Дурно; ваш Крит такой вредный. От южного ветра голова все болит. И скука! Константинополь — вот это город. А здесь что?

Я говорю ей:

— Если угодно, мы для вас и Константинополь возьмем. Только не сердитесь.

— Если, — говорит она, — ваши греки возьмут Константинополь, так я туда никогда не поеду! Турки гораздо лучше вас...

Старуха тоже вмешалась и говорит:

— Нет, зачем же так хулить греков? И греки хорошие люди; правда, что уж если турок добрый родится, так уж лучше доброго турка нет человека на свете!

— А стихи какие у них хорошие есть, и песни, и поговорки, — говорит Ревекка. — А у вас что? Все *поли-кало́* и *поли-кало*. Вот у меня есть одна поговорка турецкая... (и она достала из кармана записку и подала мне). Прочтите...

Я читаю и вижу, что турецкие слова написаны латинскими буквами:

«Ге́ль, кузу́м, баришели́м; хе́р каба́т бенде́дер. Не́кадар каба́т сенде́ольсун, гене́ гёзю́м бенде́дер!»

Ни старуха, ни я по-турецки не знали, и Ревекка сперва прочла записку громко, с большим выражением, а потом перевела ее:

«Поди сюда, помиримся, мой ягненочек; вся вина моя. А если бы вина была и твоя, все-таки ты очи главы моей!»

— Прекрасно! Прекрасные слова! — сказала старуха.

А я от радости сам не свой; ответил, однако, с презрением, что ничего особенно хорошего в этих словах не вижу и, как будто раздосадованный, встал и простился. Старуха говорит:

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Ревекка это шутит.

А я говорю:

— Нет, мадам Нардеа всегда бранит моих соотечественников и хвалит турок. Я вижу, что она греков ненавидит!

А сам взял записку и домой пришел такой веселый, до поздней ночи все мне хотелось петь и играть с сестрой и братом.

Прощай. О Рустем-эффенди и о Хафузе в другой раз.

Это письмо не кончится, кажется, во веки веков. Рустем-эффенди и Хафуз насильно рвутся в него. Сегодня Хафуз прискакал к нам из Серсепильи весь бледный и дрожащим голосом вызвал моего отца в другую комнату. Долго шептались они, потом отец велел оседлать свою лошадь, и они уехали вместе. Мы все напугались; сестра стала плакать; наконец пришел мой младший брат Маноли и сказал, что Рустем-эффенди хотят за долги посадить в тюрьму, что корабль его с маслинами и другими товарами потонул, и заплатить нечем. А долгу больше 20 000 пиастров (это на ваши деньги немного побольше 1000 руб. сер.).

Отец ночевал у Рустема, вернулся рано утром и сказал мне:

— Слушай, Йоргаки, вот тебе 15 000 пиастров, сходи к Самуилу, возьми у него на два месяца еще 5000; вот тебе и расписка моя ему. А от Самуила поезжай прямо к дяде Рустему и отдай ему деньги. Да не забудь, много-много поклонов ему от меня. А я усну немного.

Я спросил:

— А расписки с него не надо?

— Что за расписка с Рустем-эффенди! — сказал отец.

Вот какие друзья мой отец и Рустем-эффенди! Когда еще в 21 году было в Крите восстание, отец был в горах с восставшими греками, а Рустем-эффенди тогда еще был молод и жил с женой (у критских турок всегда одна жена), с матерью и двумя сестрами в Рефимно и торговал спокойно. С инсургентами дрались войска, и Рустема, как одинокого мужчину в большой семье, не взяли в солдаты. Пришлось раз в горах нашим терпеть тяжкую нужду и голод. Стали думать, что̀ бы и где бы достать? Мой отец видит, что достать негде и что пропадут «христианские души» с голоду, или что придется поклониться паше и положить оружие; помолился он и пошел ночью в загородный дом Рустема. Стучится — не отворяют; громко сту-

стучать опасно: не услыхали бы соседи-турки. Помолился еще раз мой отец и полез на стенку. Подняли собаки лай.

— Кто там? кто там? — закричали женщины.

Рустем отворил окно и курок взвел.

— Кто там?

Отец сказал:

— Я.

— Да кто ты? Я тебя вижу и выстрелю; ты скажи имя, — спрашивает Рустем-эффенди.

Отец сказал свое имя.

— А! Милости просим! Огня, огня! Да потише, чтобы соседи не слышали.

Накормили, обогрели отца; навьючили ему на мула хлеба, сыру, табаку дали и отпустили, а Рустем-эффенди сказал ему на дорогу:

— Да спасет себя Бог, несчастный!

Только тетка-старуха, мать Рустема, вышла к отцу и долго ругала его и всех греков; проклинала и веру нашу, и нас самих, и всех гяуров, только все по-гречески и *тихо*, чтобы соседи не услыхали.

Вот с тех пор и дружба их. У Рустема-эффенди один только сын, тот Хафуз, о котором я уже писал. Такой он славный малый и молодец! Конечно, как и все здесь, человек простой, по-французски не знает, платья европейского не носит. Но по-восточному он довольно образован: по-турецки учился, что̀ здесь очень редко, и по-арабски читает хорошо. Между турками он слывет за ученого юношу. Мы с ним в детстве были самыми душевными друзьями; без Йоргаки Хафуз не хотел играть и без Хафуза Йоргаки. Первое наше удовольствие было босиком, засучив шаровары, морских ежей ловить в море, около камней; разрежем их и едим.

Только раз мы поссорились, и то я был виноват.

У меня была страсть камнями в других детей бросать. Сколько раз меня за это бил отец, привязывал руками к столбу и чубуком бил по пальцам, а все я не исправлялся. Раз я говорю Хафузу:

— Стань подальше, Хафуз, я в тебя камнем брошу.

— Не бросишь, — говорит Хафуз, — не смеешь. Я отцу скажу.

— Я твоего отца не боюсь; у меня тоже отец есть. Паликар! Скольких турок избил на войне!

— Твой отец гяур, а мой — Рустем-эффенди.

Я как швырну в него камнем и прошиб ему голову. Потекла кровь; Хафуз побежал домой с плачем, а я, чуть живой от страха, тоже домой бегу и спрятался в кладовой, где уголь клали. Слышу, ищут меня, отец кричит:

— Где этот негодяй! Постой-ка, я его палками вздую так, что и руки прочь отшибу!

А мать просит:

— Оставь, оставь, не пугай. Ведь он ребенок. Лучше, дай, я его сама отведу к Рустему-эффенди; пусть попросит прощенья.

— Нет, — говорит отец, — чтоб он был проклят! Чтобы душа его не спаслась!

— Не греши! — говорит мать. — Подумай, каково мне слушать!

Ушел, наконец, отец искать меня у соседей, а я к матери и вышел; она, не сказав ни слова, схватила меня за руку и бегом побежала со мной к Рустему-эффенди другою дорогой, чтоб отец не встретился.

Плачу я, думаю: последний мой час настал!

Пришел. Рустем-эффенди сидит на диване, курит наргиле́; суровый такой, печальный, жена его (красавица была) плачет тоже на диване; а Хафуз лежит; головка обвязана, к отцу на колени прилег, отец его обнял. Как вошла моя мать, как увидал меня Хафуз, так сейчас и закричал: «Йоргаки! Йоргаки пришел...» И как захохочет с радости, и язык мне показал.

Мать моя поклонилась низко Рустему и полу платья его поцеловала. Рустем все сурово глядит. Я зарыдал, а Хафуз кинулся ко мне и ну меня целовать: «Йоргаки! говорит, *море́* (глупый) Йоргаки! зажила моя головка!» Мать меня толкает, чтоб я поклонился Рустему, а Рустем

говорит мне: «Это, что ты в Хафуза камнем бросил, это тебе большой грех! Хафуз мальчик добрый и тебя очень любит. Пусть тебе Бог простит. А веру нашу ругать да про турок слова скверные говорить, за это знаешь что? Головку с тебя снимут да в Стамбул пошлют и на стену повесят!..»

А Хафуз перепугался: «Не хочу, не хочу! — кричит, — чтобы голова Йоргаки на стене была! А с кем же я ежей морских пойду завтра ловить?» Тут уже все старшие засмеялись, и Рустем дал мне поцеловать свою руку.

Вот наша единственная в детстве ссора с моим милым Хафузом.

Помнится, я писал тебе в одном из моих первых писем, что встретил его первого из знакомых, когда вышел на берег в Крит. Или нет? Если и повторю, не беда.

Когда я стал спускаться пешком с горы от Суды (это бухта) к нашей Халеппе и сошел уже на дорожку между оливами, слышу, кто-то едет вблизи верхом; мерно стучит лошадь по камням. Посторонился я дать ему дорогу... Вижу, молодой турок. Такой разодетый, оружие за поясом. Конь картина! Увидал меня, остановился, глядим друг на друга... «Кто бы это был?» — думал я. О Хафузе и в мыслях нет; но чувствую, что кто-то знакомый.

Вижу знакомые большие глаза, что-то несказанно-ласковое и доброе в лице, усы чуть пробиваются. Он меня первый узнал, постоял передо мной, засмеялся и говорит: «а ведь это ты, Йоргаки!..» Тут уж и я его узнал. Если бы ты знал, как я был рад!

Он сошел с лошади и пешком довел меня до нашего дома. С тех пор мы часто видимся. С Хафузом я хожу на охоту, с Розенцвейгом бродим пешком по скалам и судим о жизни и политике; с сестрой я песни пою, с отцом говорю о торговле и войне, с матерью — о святых местах в России, о Кремле и о Киеве, а с братьями — о разных грешных делах молодости... Все это так, но я все-таки не объяснил тебе, как может быть мне дядей Рустем-эффенди? У меня уже рука заболела. Но так и быть!

Не удивляйся, что Рустем-эффенди мне дядя: он двоюродный брат отцу. Вот рядом с нами живет одна старушка-христианка, так у ней старшая дочь — вдова турчанка, а младшие дети все христиане.

Наши критские турки все эллинской крови: деды их изменили вере в начале завоевания. Они и по-турецки не знают, и с нами бы жили как братья, если бы слабое и коварное правительство не старалось ссорить их с нами.

Но есть еще и другие, новые связи.

Во время восстания 1821 года часто и наши брали турчанок в плен, и турки наших жен и дочерей. Грек, если был добр, отпускал мусульманку, если был жесток, убивал ее, но прикоснуться к ней он считал смертным грехом; мусульманин, если хочешь (чтоб угодить твоему былому космополитизму), либеральнее, но потому лишь, что для него женщина не равна мужчине и, как нечто низшее, может быть в его гареме, сохраняя свою веру. Соседка наша, например, была сначала замужем за турком, прижила с ним старшую дочь, а когда война кончилась, она его покинула и вышла за грека. Старшая дочь захотела навсегда остаться в вере отца, и никто ее не тревожит. Она была тоже за турком, овдовела, вернулась к матери; вне дома она покрывается, а дома говорит с мужчинами без покрывала, как гречанка, и носит не шальвары, а платье.

Между нашими турками есть прекрасные люди. И когда взглянешь ты на наши добрые отношения и увидишь, как, обедая у нас, иные из них пьют с нами за здоровье короля Георгия, ты удивишься и скажешь: «где ж фанатизм? Где ж источник жалоб и восстаний?»

Да, мой друг, я вернулся на родину в минуту успокоения страстей. Но вот предо мной в глуши долин стоят разоренные деревни и развалины церквей, еще не обновленные со времени того кровавого погрома, когда бездушный Меттерних оторвал нас от свободных братьев. Не все турки, друг мой, похожи на Рустем-эффенди; поверь, искра злобы гнездится и здесь... Вот пред тобой престарелая гречанка, на лице ее, еще хранящем следы красоты,

видны глубокие шрамы. Турки привязали ее мужа когда-то к столбу, а ее обесчестили и изрезали ей щеки, чтобы никто уже не любовался ею! Вот камень в горном ущельи; на нем выбито семь крестов: здесь когда-то убиты семь монахов за то, что не успели скоро дать дорогу бею.

Ужасная память еще не вымерла в сердцах!

Конечно, Розенцвейг, вздыхая, говорит: «Ужасно! Но ужаснее ужасного бездушная пошлость! Завоевание есть зло, и турки — варвары, бесспорно; но благодаря их кровавому игу, воздух критской жизни полон высшего лиризма. Счастье горца-грека в цветущей семье не есть жалкое счастие голландского купца, а лишь благородный отдых юного подвижника!»

Больная мысль больного человека! но в иную минуту и я задумываюсь над ней с странным для меня самого удовольствием.

Вот тебе и этнография, мой строгий друг! Теперь прощай надолго: после такого письма, я думаю, можно и примолкнуть.

Твой Н—с.

20-го мая.

Май здесь хуже вашего, становится слишком жарко. Что̀ тебе сказать нового? Розенцвейгу лучше; он перестает почти вовсе кашлять. Остальное все то же. Отец мой с утра уезжает на муле в город и торгует в лавке. Мать шьет понемногу приданое для сестры. Сестра ей помогает. Братья тоже заняты: старший с отцом в лавке, а меньшой ходит в город, в училище. Все они заняты...

А я начинаю скучать. Без дела быть долго нельзя. А здесь одно дело — восстание. Как бы ни был хорош и способен народ, что̀ может он сделать, когда он прикован к гниющему цареградскому трупу!

Что̀ я предприму? Служить туркам? Быть может, и этим путем можно сделать многое для родины, но мне приятнее, чтобы мои руки были чисты. Уехать в Афины?

Афины и без того полны людей, чающих движения воды. Свободная Греция — это малое паровое судно, переполненное парами! Торговать здесь? На это и без меня столько охотников между греками. Торговый дух — это и сила и слабость греков. Думал я стать учителем. Но где? В горы уйти, в даль и глушь? Сознаюсь тебе, нет еще сил, я слишком еще жить хочу...

Здесь в Халеппе можно бы учить детей, не удаляясь от семьи, от Розенцвейга, от вашего консульства, где я провожу такие веселые вечера, где часто, внимая южной буре, от которой рвутся окна вон из рам, мы говорили о северных снегах, о Невском, о Кремле... Здесь и *она* всегда будет близко, хоть изредка да увижу ее и зимой. Но посуди сам, могу ли я действовать лукаво против нашего старика учителя Стефанаки, который язык знает еще лучше меня, а кроме языка и других первоначальных познаний что̀ нужно для здешних людей?.. И бедный Стефанаки такой добрый и честный, и почтенный, и забавный, что действовать против него нет сил, да нет и пользы.

Старик — великий патриот; не проходит дня, чтоб он не сказал, перекрестясь и возведя очи к небу: «Боже мой и Пресвятая Дева! Доживу ли я, чтоб увидать свободным Иерусалим, святыню православия, и Константинополь, кладезь византийской премудрости!» И между тем он кроток как агнец, и добр с детьми, и жизни в семье примерной, и сердцем до того мягок, что не может слышать слово «кровь». Отец мой нередко рассказывает при нем небылицы и хвалится, что с живого турка кожу снял в 1821 году... Тогда Стефанаки бледнеет, бледнеет и чуть не падает в обморок. И я буду интриговать против такого благородного старика!

Итак, одно есть дело — восстание! Но где средства? Где вожди? Европа спит в равнодушном мире. Россия?..

А здесь все так мирно и спокойно, и ярко, и кротко...

Но скучно, скучно, друг мой, без дела и в самой прелестной стороне!

Твой Н—с.

Когда бы, по крайней мере, я был уверен, что *она* меня точно любит! Но я не понимаю, что̀ это за женщина. Встретится со мной в чужом доме или к нам придет, самые лучшие взгляды ее, самые милые улыбки обращаются ко мне. Она не только вежлива со мной при других, она любезна и внимательна. У себя дома, с глазу на глаз, холодна и небрежна! Старуха (представь себе коршуна над добычей!) следит за нами как бдительный шпион, но иногда и она выходит из комнаты. Тогда я бросаюсь к Ревекке, умоляю или поцеловать, или прогнать меня из дома.

— Зачем прогнать? — говорит она с улыбкой, — вы наш хороший знакомый.

— Тогда поцелуйте раз!

— И это лишнее.

Нестерпимо! А то начнет хвалить мне своего мужа. Показывает мне его письма из Манчестера, сбирается ехать к нему в Англию; рассказывает, что она в него очень влюблена.

— Мой муж, мой муж...

Я, наконец, взбесился и сказал:

— Я думаю, ваш муж — ничтожный купец, скупой и скучный, больше ничего!

Она засмеялась и отвечала:

— Нет, он не глуп, а скуп и толст — это правда; я за него вышла по совету матери, потом немного полюбила. Конечно, видишь его каждый день; тогда он был моложе, собой лучше...

— А теперь, — говорю я, — можно бы и меня полюбить.

— Я люблю вас, отчего ж вас не любить? Вы мне зла никакого не сделали...

Ранит таким ответом в самую душу; и тут же елей на рану...

— А! забыла, хотела вам показать одну вещь!

И показала мне и перевела стих Гёте:

Я слишком стара, чтобы только шутить...
И слишком юна, чтобы жить без желаний...

А все-таки я достигну того, что желаю. Она будет моя!

Вчера я спросил у нее:

— Скажите, отчего вы так холодны? Вы знаете, как я люблю вас. И вы ко мне не равнодушны: я это вижу. Зачем же медлить моим счастием?

— У вас кровь горячая, а сердце холодное; а у меня кровь холодная, а сердце горячее, — отвечала она. — Скоро придет любовь, скоро и уйдет; я хочу, чтоб она долго, долго длилась!

Вот какова она! Вот школа терпенья, друг мой! Посуди ты сам! Прощай!

Твой Н—с.

P. S. Сейчас вернулся от нее. Я в восторге! Я решился поцеловать ее насильно... и не раз, а сто, тысячу раз. Она слегка сопротивлялась. Я думал: кончено! скажет она: «Так-то вы уважаете меня. Идите вон». Ничуть не бывало! Лицо ее горело; но сама она была на вид покойна; села на диван, взяла работу и спросила: «Вы в Афинах никогда не бывали?»

Я даже не ответил ей на это и вне себя от радости ушел домой. Вот она какая!

Июнь.

Поздравь, поздравь меня, мой друг, она меня любит, она *моя*! Даже холодность ее, и та восхищает меня! Когда я осыпаю ее ласками, она молча смотрит на меня, так тихо, как будто хочет сказать: «Что̀ с тобой? Это так просто и в порядке вещей!»

Когда, на рассвете, я пробирался от нее домой по садам и видел еще спящее очаровательное селенье наше,

дальний город и море, и зелень, — мне пришла непростительная для грека мысль... Я думал: «О! пусть хоть век царствуют над нами турки, лишь бы все греки были счастливы как я!»

Прощай и не жди писем долго.

Июнь.

Все хорошо. Но глаз коршуна все внимательнее и внимательнее следит за нами.

Уже Ревекка жаловалась мне на замечания злой старухи. Она грозится написать сыну и звать его сюда. Сам банкир предобрый старичок и не алчный; и Ревекку любит, и меня; но боится коршуна. Я сумел понравиться ему, он живал когда-то в Константинополе и любит хвалиться своими связями и тем, что не раз в белых перчатках езжал на посольские балы.

— С тех пор, — говорил он, — я и стал благородный. В Константинополе такой обычай: кто бывает у посланников, тот благородный.

Того банкира, который доставал ему билеты на балы, он зовет «благодетель».

На этой-то струне его сердца я и постараюсь чаще играть, чтобы привлечь его на нашу сторону; Ревекка делает то же.

Недавно она спросила у него при мне (но без старухи) позволенье связать мне кисет.

— Везде делают для знакомых работы. Вы, я знаю, человек образованный, позволите; но я боюсь свекрови.

— А ты ей не показывай, — сказал, смеясь, старик. — Наши старые женщины ослы; политического обращения не имеют. Сами говорить не умеют и думают, что как сел мужчина около женщины да посмеялся, так значит дурное что-нибудь и задумал. — Потом с беспокойством прибавил: — Ты смотри, Ревекка! Не показы-

вай ей ничего, знаешь... Порода их вся пресердитая! Отец ее даже с турками ссоры заводил...

— А вы бы не спускали ей, — сказал я.

— Не могу, — отвечал старик, — сердца нет у меня! Всегда, поверь мне, Йоргаки, я был боязлив. Вот и шишка на лбу; это от страха у меня вскочила. Один паша велел схватить меня и в тюрьму посадить. Как схватили меня кавассы и с лестницы вниз побежали со мной... с тех пор и стала шишка расти!

При таком свекре можно, конечно, и с коршуном помириться. Прощай.

Июль.

Проклятая старуха настояла на своем: Ревекку увезли в город и не пускают даже к родным. Вот уже месяц, как я ее не видал. На прощанье она мне сказала: «Лучше потерпим немного; кто захочет, найдет средство видеться. Не серди старуху, не ходи к нам часто; рассердится — и в Англию меня отправит».

Брожу я теперь, как тень. Скука, жар, безделье, лень. Розенцвейг тоже задумчив. Почти не говорит. Не знаю, чем все это кончится. Хоть бы ты чаще отвечал мне. Право, нестерпимая тоска! Южный ветер глаза жжет; вчера были три такие сильные подземные удара, что стена наша треснула. Когда бы землетрясение! Все лучше тоски.

23-го июля.

Мне было так скучно, так тяжело, с тех пор как Ревекку увезли родные в город и заперли на три ключа, что не было охоты писать даже к тебе. Но вчера случилось в нашем тесном кругу такое важное событие, что я не могу не сообщить его тебе. Розенцвейг посватался за мою сестру.

Вот как это было. Нас с ним пригласили франки на пикник в Серсепилью, в очаровательный сад Шекир-бея. Нам показалось неловко отказаться. Да и консул гнал нас туда и сердился, что мы неохотно отправляемся. Музыка была хороша, фонтаны журчали, птички кротко пели, цветники роскошно пестрели, краше восточных ковров. Я сначала танцовал, потом удалился в беседку с Розенцвейгом.

Мы сели.

— Не ехать ли домой? — спросил я.

— Нет, — ответил он, — неловко. Обидятся. А меня и без того уж они ненавидят...

Потом я сказал:

— Если бы в этом саду да с любимой женщиной прожить хоть месяц.

Розенцвейг на это сначала ничего не отвечал, потом сказал:

— Я и в таком маленьком саду, как ваш, готов свековать с любимою женщиной... Возьмем, например, хоть вашу сестру. Насколько она в своей простоте лучше этих европейских сорок, с которыми вы сейчас так глупо носились в вихре вальса!..

— Что̀ же, — я говорю, — особенного в моей сестре? Добрая, простая, правда, хорошенькая девочка, читать, писать кой-как умеет, песенки поет... вот и все!

Розенцвейг вспыхнул.

— Да когда ж люди поймут, что не все то изящно, что̀ принято нами?.. От вашей сестры дышит весной... Она сама песня! Читать! Писать! Стыдитесь! Когда я вижу, как она проходит мимо наших окон с корзинкой за диким салатом и, нагибаясь, напевает песни, — я без ума от нее... Знаете, мне даже нравится, что коса ее светлее передних волос, потому что она носит ее всегда на солнце поверх повязки... Все мне в ней нравится. Когда она склонит немного головку набок и так томно скажет: *ма́листа* (да, конечно), — это одно *малиста* может свести человека с ума! А вы разве не наблюдали, как она смотрит в небо, когда подает гостям варенье на подносе? Да где вам?

На то вы брат, чтобы ничего не видеть! Недаром вы и с нигилистом русским в переписке...

Я отвечал ему на это, шутя:

— Женитесь, если она такая прелесть...

— Вы не шутите?

Что̀ мне было делать? Я действительно пошутил, я никогда не думал, чтобы он решился на этот шаг.

Я сказал: «Как хотите: хотите, пусть будет шутка; а не хотите, пусть будет не шутка...»

Розенцвейг взял меня за руку и сказал:

— Ну, спасибо! Так завтра передайте это и родным.

Ушел из беседки и вскоре вовсе скрылся.

Я, право, не знаю, радоваться или нет?

Завтра поговорю прежде с Хризо: что̀ она скажет? Мне кажется, она должна счесть это за неслыханное счастье.

24-го июля.

Мне не удалось сразу передать сестре предложение Розенцвейга. Сегодня воскресенье, и она прямо от обедни ушла в гарем к Рустему-эффенди. Долго я ждал ее, от нетерпения ушел из дома и вернулся только к полудню. Хризо вернулась, и я застал ее перед зеркалом; она подходила и отходила от зеркала, поправляя новые золотые серьги с маленькими яхонтами. Я спросил:

— Что̀ ты делаешь?

— Видишь, серьги новые смотрю; думаю, как бы сделать, чтобы лучше светились.

— Кто ж тебе их дал?

— Старшая сестра Хафуза: Рустем-эффенди тебе кланяется много.

— А что̀ ж вы еще там в гареме делали?

— Сидели.

— Только сидели?

— Говорили. Зейнет, старшая сестра, говорит мне: когда бы ты, Хризо, мастику с водой мешала и лицо бы

этим каждое утро вытирала, ты бы еще лучше была; посмотри, как у тебя лоб будет блестеть!

— Нет, этого ты, Хризо, не делай, — заметил я. — Жених твой тебе хороших духов из Константинополя выпишет. Ты уж ими вытирайся, а не мастикой...

Сестра вся вспыхнула и растерялась:

— Кто, — говорит, — мой жених? У меня нет жениха.

— Как, — говорю я. — нет? А русский секретарь?.. Ты разве не знаешь, что ты ему сердце сожгла любовью?

— Ба! — сказала сестра, — он уж не молод.

— Как не молод? Ему всего тридцать лет.

— Я думала больше. Такой слабый, худой! Ба! что̀ за разговор!

— Да нет, — я говорю, — это не шутя... Ей-Богу, он просил меня сосватать его тебе. Чего ж ты хочешь? Человек молодой, православный, русский; будешь консульшей, большою дамой. Все жены франков притащатся к тебе с визитами...

Сестра слушала, слушала, все не верила и качала головой, и шептала: «чудное дело! Зачем бы этому быть!» Я опять стал настаивать, но она отвечала со слезами:

— Душка Йоргаки, я его не люблю и не хочу!

В этих слезах застала ее мать, вслед за матерью пришел и отец. Я сказал им в чем дело...

Отец, конечно, был очень польщен предложением Розенцвейга; улыбаясь лукаво, ободрил сестру, как будто и сомнения не могло быть в ее согласии. Он думал, что сестра плачет от смущения и неожиданности.

— Нехорошо ты сделал, Йоргаки, что ей сказал прежде, чем нам с матерью. Вот она, глупенькая, испугалась. Или, может быть, в России мода такая? Если у таких знатных господ, как русские, так делают, пускай и мы по моде пойдем! Ну, Хризо! Смотри, как станешь ты мадамой, нам, простым людям, бал задай. Я сам с тобой такую смирнио́тику* обработаю, что страх будет! Э! До каких пор стыдиться будешь?

---

* Смирнио́тика — смирнский танец.

— Я не стыжусь, — отвечала Хризо.

— Так что же молчишь?

— Я не хочу его.

— Что̀ с тобой! — сказала мать. — Человек тихий, высокую должность имеет.

— И выше еще пойдет, — перебил отец.

— И выше пойдет, — сказала мать. — Болен он; да и то поправился, кажется, теперь...

— Не хочу, — отвечала Хризо.

— Отчего?

— Не люблю.

Встала, опять заплакала и вышла. Мы переглянулись; пожал отец плечами; мать говорит:

— Вот будет нам стыд большой! Как же ему сказать?

— Постой, постой! — сказал отец. — Подумает два-три дня и поумнеет.

Но с Розенцвейгом ждать нельзя было и дня. Он требовал от меня «да» или «нет». Когда я рассказал ему искренно, как все было, он не удивился и как будто не огорчился нисколько; как сидел, погрузившись в большое кресло, так и остался. Только вздохнул и сказал сухо:

— Я, по правде сказать, этого не ожидал.

— Кто ж этого мог ожидать, — отвечал я.

— А следовало ожидать, — продолжал Розенцвейг, — большая ей охота за чахоточного идти. Что̀ она, «обмена идей», что ли, будет во мне искать? Она, поверьте, в кого-нибудь влюблена... И прекрасно делает.

Я ушел; он не пошевельнулся с кресла. Бедный Розенцвейг! Какая досада! Неужели она точно в кого-нибудь влюблена? Я до сих пор не замечал.

12-го августа.

Долго у нас было все по-прежнему. Я просил родных моих не говорить никому о том, что̀ случилось, хотя и боюсь, чтоб отец мой, по живости характера и отчасти из

тщеславия, не высказал кому-нибудь из приятелей свою досаду на дочь. Мне кажется, Рустем-эффенди уже знает об этом, потому что вчера встретил меня и, между прочим, лукаво спросил:

— А что̀, секретарь русский, как теперь, в своем здоровье?

Я говорю: «лучше».

— Хороший, — говорит, — человек; аккуратный человек; в срок все платит, что̀ из магазина у меня берет. И смирный человек; русские — люди хорошие.

Слушая эти похвалы, я подумал «Никогда он ни о русских не говорил, ни о Розенцвейге не спрашивал. Недаром это!»

Совестно было спросить у отца; однако решился. Отец оскорбился и божился, что он ни говорил никому. Мать очень осторожная; братья не знают ничего. Значит, сама Хризо похвалилась в гареме. Я хотел побранить ее, и пришлось как раз кстати. Иду домой, она из дверей Рустем-эффенди выходит.

Пришли домой; я говорю ей полушутя:

— Ты турчанкам, кажется, всю свою душу открываешь. Боюсь, чтобы ты не потурчилась сама.

Как она вспыхнет, как начнет плакать и упрекать меня! я не знал, что̀ и делать; насилу мать ее уговорила. Она тоже побожилась, что не говорила ничего.

Твой Н—с.

25-го августа.

Слава Богу, все как будто пришло в порядок. Я советовал родным не тревожить Хризо (сначала они ее упрекали), и с тех пор, как они ей ничего не говорят, она успокоилась, опять стала петь и меня опять зовет, склоняя головку набок: «Психи́-му, Йоргаки!» (душка моя, Йоргаки). Розенцвейг тоже не показывает ничего. Сначала он не

ходил к нам, а потом опять начал ходить. Первый раз, когда он пришел, родители мои были смущены, а отец так совестился, так часто прикладывал руку к сердцу, кланялся и улыбался, что я удивился. Обыкновенно он держит себя с большим достоинством. Милый Розенцвейг так хорошо и шутливо обошелся и с сестрой, что и она скоро привыкла к нему опять. Как будто ничего не бывало.

Итак, нового мало.

Впрочем, расскажу тебе, что я познакомился с одним купцом из Фессалии, который приехал сюда на короткое время по торговым делал. Презанимательный человек! Ему уже лет шестьдесят, но на вид больше сорока пяти не дашь. Огромные чорные бакенбарды; высокий, полный; немного глухой; оратор пламенный, но человек претонкий и предобрый. Все, кто его знают, хвалят его доброту, щедрость, веселость. Любимый предмет его речей — «la haute politique». О чем бы ни говорили, он кончит тем, что спросит:

— А будем сегодня говорить о политике?

— Говорите, мы готовы слушать.

Тогда он встает, расправляет бакенбарды и начинает сановито, внятно, медленно.

— ...Великая, православная Россия устами своей дальновидной дипломатии давно сказала: «Je me recueille». Мы тоже должны до того времени, пока ударит наш час, мы должны, говорю я, «nous recueillir». Запад достаточно доказал свое равнодушие к судьбам христиан! Англия доказала, что она не что иное, как первая мусульманская держава в міре! Франция ищет везде совратить нас в папство и лишить нас столь существенной черты нашей народности, как православие. Россия — великая, аристократическая, завоевательная нация...

Перебьешь его, скажешь, что Россия не аристократическая и не завоевательная нация, он кивнет головой, выслушает, погладит свои баки и опять начнет.

— ...Россия — нация великая, аристократическая, завоевательная; но русские не любят наук и искусств. Греки

издревле к этому способны; в благодарность за все благодеяния России... (ибо даже и то, что̀ мы видели от других, как, например, Наваринская битва или уступка Ионических островов были не следствием естественной к нам симпатии, а только мерой необходимости, чтоб ослабить нашу естественную симпатию к русским)... Итак, греки, столь способные к торговле и мореплаванию, в благодарность за благодеяния России, должны не только помочь ей в цивилизации Азии, но и развить просвещение, любовь к наукам и искусствам в самой России!

Оспорить его нет сил! Я говорю ему: «Что с вами! Очень нужно России наше просветительное содействие!..» Он опять кивнет головой:

— Россия — нация высокого, аристократического образования, но...

Однако не только Россию, как силу, но и самих русских он очень любит и даже к слабостям их относится с особенною любовью...

Надо, например, его видеть, когда он представляет в лицах, как у русских будто бы два голоса и два тона. Один для низших званием: «Вон! такой-сякой!» и потом нежно и расставляя руки: «Катерина Ивановна! Пожалуйте! Не угодно ли вам чаю?»

Представит, захохочет и воскликнет в восторге:

— Ужасно люблю, когда у людей есть народный характер!

Меня он очень занимает; он так своеобразен, что я не могу его наслушаться.

До следующей почты.

Твой Н—с.

15-го сентября.

Присутствие Дели-Петро меня оживило. И на что̀, в самом деле, мне жаловаться? В семье все утихло; я понемногу стал входить в торговые дела отца: исполняю его

поручения, езжу в горы, в Рефимно, в Ираклион. Вернусь, спешу в город, ищу увидеться с Ревеккой. Наша любовь все такая же ровная, таинственная и нежная. Она так умна, благоразумна и тверда; так удачно устраивает наши свидания: служанку в дом взяла гречанку, и она, конечно, за нас. Она дает мне добрые советы: это она убедила меня попробовать счастья в торговле. Наши встречи, препятствия, с которыми мы боремся, придают нашей любви самый романический характер. Нередко я ночую в соседнем доме у приятеля и перепрыгиваю над бездной с террасы на ее балкон; а чувства наши тихие, нетребовательные, как чувства двух верных супругов. Когда я горячусь, она только скажет по-турецки: «Яваш, яваш — эпси оладжак!» (Понемному, понемному все будет). И эти простые слова мне как бальзам на сердце!

Итак, друг мой, я успокоился, и писать почти нечего.

20 сентября.

Вчера еще утром хотел запечатать письмо; но вечером у нас с Дели-Петро был разговор, который не могу не передать тебе. Недавно он ездил в горный округ Сфакию, где, как уверял, у него родные. Мне показалось это подозрительным. Вчера я провожал его пешком от Халеппы до города и решился выпытать от него правду.

Я всю дорогу выпытывал у него: «будет ли что-нибудь?»

Долго он смеялся и шутил; наконец мы подошли к мосту, около которого, в бедных шалашах, живут под самыми стенами города полунагие сирийские арабы. Лагерь их спал, только один араб, завернувшись в бурнус и скрестя руки, стоял на мостике и глядел вдаль на море.

Дели-Петро остановился и указал на эти жалкие жилища.

— Все проходит, все рушится! — сказал он, — и эти люди были знамениты и просвещали мір... И мы снова

пройдем; но мы, по крайней мере, пройдем уже в третий раз, что не случалось еще ни с кем другим...

— Но у нас, — сказал я, — еще не было полного третьего возрождения.

— Яваш, яваш! — сказал он, как Ревекка...

Потом отвел меня дальше несколько шагов и шопотом, но внятно, начал так:

— Еще в этой бороде у Дели-Петро не прибавится и десяти седых волос, когда в храме Св. Софии пропоют снова православные попы: Христос Воскресе!

— А пока...

— Recueillez-vous! Recueillez-vous!

Он засмеялся, сжал мне крепко руку и ушел в город. А я пошел домой. Странно было подумать, что эти мирные оливковые рощи, где бродят ягнята, где слышатся только звуки бубенчиков, обагрятся снова кровью, как бывало в давние времена!

22-го сентября.

Сейчас я вернулся от Розенцвейга. Он прислал звать меня как можно скорей. Как бы ты думал что̀ он открыл, что подозревает? Он думает, что Хризо влюблена в Хафуза. Вот что̀ он рассказал. Сегодня перед вечером он ехал узким переулком около нашего сада. Лошадь его испугалась срубленных алоэ, и он долго мучился, чтобы заставить ее обойти их. Когда он наконец поравнялся с нашею калиткой, она вдруг отворилась. Из нее вышел поспешно Хафуз, а кто-то изнутри так поспешно ее захлопнул, что ущемил рукав его бурки.

Хафуз рвался и краснел; Розенцвейг нарочно остановился и спросил у него, кто из наших дома.

Он сказал: «никого, одна маленькая работница!» Розенцвейг отъехал, не спуская глаз, и в это время на помощь Хафузу показалась из калитки рука... и он узнал эту маленькую руку!

Это меня как громом сразило! Это ужасное несчастие! Здесь нравы строги, но и страсти пламенны; здесь шутить нельзя... О! Это было бы страшным ударом и для меня, и для всей нашей семьи...

Розенцвейг, увидав мое отчаяние, уговаривал меня не спешить; не говорить ни сестре, ни отцу, ни матери, а лишь следить за Хризо и Хафузом, убедиться прежде — прав ли он в своем подозрении.

Он заметил очень верно, что в Крите и юноши и девушки довольно стыдливы пред чужими и что смущение Хафуза и то, что Хризо спряталась, можно объяснить одною стыдливостью.

О! если б это было так!

Прощай — не жди писем, пока я не успокоюсь.

Твой Н—с.

P. S. Он угадал. Она любит Хафуза; я все открыл!

Прощай.

10-го января 1866 года. Константинополь.

Друг мой! В то время, когда я начинаю это письмо, знаешь ли, кто сидит у меня на диване, курит наргиле и напевает по-гречески наши критские песни?.. Знаешь ли, кто? Угадай... Мой брат — Хафуз, муж моей бедной сестры. Он пришел занять у меня денег. Когда он уйдет и я буду свободен, я напишу тебе все, как было, как я боролся до последнего часа... Но спасти ее я не мог — она турчанка и жена его!

Январь 11-го.

Теперь я один, и рассказ мой будет длинен. Сколько я перестрадал за это время и за себя, и за других — ты увидишь и постигнешь сам.

После разговора с Розенцвейгом я решился присматривать за сестрой. Случай помог мне. Чрез неделю, не более, отец и мать собрались ехать на праздник в горный монастырь. Сестра показывала вид, что тоже собирается. Но в то самое утро, когда уже все были готовы и ослы оседланы, она приняла печальный вид, повязалась белым платком и легла. Мать поверила, что у нее болит голова, и решилась оставить ее дома. Я вызвался пробыть с нею эти три дня. Хоть я и заметил, что она этому не обрадовалась, но не показал виду.

Как только родители наши уехали, Хризо моя повеселела; «слава Богу, говорила она, мне стало легче», встала с постели, но по временам еще трогала голову рукой и жалобно вздыхала. Все ее хитрости были пренеловкие.

— Что̀ ж мы будем делать? — сказал я. — Сегодня праздник. Если тебе лучше — давай веселиться. Не послать ли за Хафузом?

Хризо несколько смутилась, однако отвечала:

— Как хочешь. Только вели ему флейту принести. Он так хорошо играет: сестра его старшая, Зейнет, иногда слушает-слушает его и скажет: ах, пропади ты, Хафуз! как ты играешь сладко!

«Ну! — думаю себе, — и ты, однако, хитрая; но я еще хитрее тебя. И я грек недаром!»

Послали девочку-работницу за Хафузом. Он пришел тотчас, разодетый, так и горит и радостью, и молодостью, и красотой. Посмотрел я на него и подумал: «худо дело!»

Хризо подала ему сама варенье и кофе на лучшем нашем подносе; держала поднос пред ним и смотрела «в небо», как будто ничего между ними нет. Когда он взял кофе, Хризо поклонилась и сказала: «на здоровье». А он приложил руку к сердцу и к феске и не прервал со мной беседы.

Итак, все как следует: ни смущенья, ни неуместной радости. Я пригласил Хафуза завтракать с нами и велел вынести стол в сад. Сестра хотела служить нам сама, но я ее уговорил сесть лучше с нами. Она села; но все время беспо-

коилась, вставала, опять садилась, учила девочку, угощала Хафуза так мило и так искренно, что я поуспокоился.

После обеда Хафуз пел и играл на флейте. Сестра смеялась и напомнила ему слова Зейнет. Он тоже смеялся. Потом пришла молодая арабка Сайда, вольноотпущенная раба, у которой еще видны на шее знаки ран от побоев; веселая, почти безумная в веселости, она свистала, кричала и трещала языком, как лягушка вечером в воде кричит.

При ней стало еще веселее: Хафуз играл, Сайда плясала, шевелила спиной, стоя долго на месте, щелкала пальцами... Мы с сестрой смеялись.

Потом все четверо мы стали хором петь нашу греческую марсельезу:

О! мой длинный, острый меч...
И ты горное ружье мое, огневая птица,
Вы убиваете турка,
Уничтожаете тирана...

Хафуз не первый из критских турок, который поет, смеясь, эту песню... Что они чувствуют при этом, не знаю. Быть может, музыка им нравится...

Сайда опять рассмешила нас; прервала пение и сказала:

— Хафуз-ага, когда турок будем бить, я тебя не трону, а своего мужа убью.

— А что̀, — спросил Хафуз, — ревнив верно, бьет тебя?

— Ба! бить ему меня! Он меньше меня ростом...

— Так за что же?

— Вот за то, что короткий такой; я хочу мужа паликара, как ты, такого..

И защелкала опять языком, встала и простилась:

— Пойду, — говорит, — домой; будет мой короткий сердиться, что запоздала...

— А, боишься? — сказал Хафуз. — Так я нарочно с тобой вместе пойду. Может быть, муж нас увидит и прибьет тебя.

— Если так, так à la Franka пойдем вместе, Хафуз-ага! — схватила его под руку и пошла с ним через сад до калитки.

— Adieu, mademoiselle! — сказала она нам у калитки и подала мне руку. Потом обратилась к Хафузу: — подай Хризо à la Franka руку.

Хафуз, немного краснея, протянул руку. Хризо, опять нимало не смутясь, пожала ему руку.

Тогда мне пришла мысль... Я сказал сестре так, что Хафуз слышал:

— Я в русское консульство уйду на целый вечер; а ты бы пошла на вечер к соседке...

Хризо отвечала, что посидит дома.

Когда калитка заперлась за нашими гостями, она позвала служанку нашу и сказала ей:

— А ты, моя девочка, не скучай дома; поди с детьми на дорогу погуляй...

Я увидал, что моя хитрость удалась. Как только стемнело немного, я с величайшей осторожностью пробрался чрез задние тропинки и засел в глубокую рытвину, которая входит со стороны в наш сад. На краю ее, у стенки нашей, выросла большая смоковница; я сидел под ней и думал:

— Другой дороги Хафузу к нам нет! Я его увижу, а он не увидит меня.

Не просидел я и пяти минут, как Хафуз пришел и стал у нашей стенки.

Постоял, осмотрелся и начал тихонько насвистывать песню.

Хризо тотчас же вышла, и, облокотясь оба на ограду, они стали разговаривать.

— Видела ходжу? — спросил Хафуз.

— Видела.

— Что он говорил тебе?

— Много говорил. Хорошие слова все сказал. Говорил: «видишь, мы добрее христиан: христиане нашего пророка не почитают, а мы Иисуса почитаем. И Он был великий пророк».

— Хорошо, — сказал Хафуз. — А еще что́ он сказал?

— Сказал, мір на четырех столбах; один столб золотой — ваш ислам, второй серебряный столб — наша христианская вера, третий медный столб — вера еврейская, а свинцовый столб — франкская вера. У франков книг нет священных, так он сказал...

— И это хорошо сказал, — заметил Хафуз. — Другое дело, вы, христиане, другое дело франки.

После этого оба постояли молча.

— Не боишься? — спросил потом Хафуз.

— Боюсь, — сказала сестра.

— Не надо бояться. Отец мой согласился. Знаешь, как он жалеет меня, что́ ни захочу — все сделает. Посмотри, какой я тебе гаремлык отделаю! Что́ за шолковые диваны будут! В Константинополе куплю. Фередже́ и яшмак будешь на дворе носить: а дома — что́ хочешь; хочешь атласные шальвары; хочешь франкское платье...

— Что́ ты прикажешь — то я буду носить, — отвечала сестра. — Я буду тебя всегда слушаться. Когда ты будешь сердитый и закричишь на меня, я скажу: «Не гневись, господин мой», и поцелую твою руку и ко лбу прижму ее, как турчанки делают... Вот так...

Потом она вздохнула, помолчала и спросила:

— Ты верхом когда же ездил, что твои руки кожей пахнут?..

Дальше я не мог вытерпеть и вышел из засады.

Хафуз вынул нож.

— Стой, Хафуз, ножа не надо! — сказал я и взял его руку. — Ступай домой и образумься! Ступай скорей, пока не увидали люди.

Хафуз ушел; сестра упала на землю и закрылась руками. Я поднял ее и увел в дом. Она бросилась мне в ноги и просила не говорить ни слова отцу и матери, клялась, что оставит Хафуза, обещала, если я хочу, пойти в монастырь; предлагала запереть ее на ключ до приезда отца... Она до того рыдала и клялась и просила меня, что я обещал ей

молчать до тех пор, пока другой раз не замечу, запретил ей ходить в гарем Рустема-эффенди, и так как после этого нам вместе оставаться было тяжко, то я ушел к Розенцвейгу и рассказал ему все.

Он сказал:

— Она права. Я бы на ее месте сделал то же. Хафуз — прелесть!

— Так, по вашему мнению, надо им дать свободу?

— О! нет. Вы не имеете права на это, — отвечал он. — Вы обязаны ревниво охранять ваше собственное положение в крае. Терпимость уронит вас. К тому же твердые верования ваших родных не фанатизм, а только сила: безверие — болезнь и слабость, а не сила...

— Правда, — сказал я, — но как тяжко мне!

— На то жизнь и зовется жизнью, чтобы кипела борьба, — отвечал Розенцвейг. — Вот я не борюсь — и не живу.

Пока мы придумывали, какие взять меры, прибежала наша служанка и сказала в ужасе, что Хризо похитили из дома, и никто не знает, где она; никто не видел ее ни на дороге, ни на улице.

Посуди сам, что̀ я чувствовал! Отлагаю рассказ до завтра.

12-го января 1866 г. Константинополь.

Когда сразила меня эта весть, я ничего лучшего не нашел, как пойти прямо к Рустему-эффенди. Он скрыл, что уже знает о побеге сестры с его сыном и сказал с большим достоинством:

— Дитя мое! Я твоему отцу старый друг и не стану подучать дочь его огорчать родителей. Ты мой нрав знаешь. Что Хафуз твою сестру любит, и она его, я сам узнал недавно. В доме моем их нет, поверь мне. Я бы ее тотчас же к отцу воротил. Арабы, сын мой, люди тоже умные, и они говорят: «Дитя, которое любит и веселит своего отца,

прекраснее ветра пустыни, напоенного благоуханиями!» Посмотрим, не увез ли он ее в Серсепилью, а в городе ворота уже заперты.

Он велел сейчас же оседлать себе мула, и мы вместе поехали в Серсепилью. Войдя в свой дом, Рустем-эффенди грозно спросил сторожа; но сторож клялся, что Хафуз не приезжал и никто не был. С фонарем мы осмотрели все углы дома и пустой гаремлык. Не было никого. Я сказал:

— Останемся здесь ночевать и утром поедем в город и к паше.

— Оставайся, — сказал Рустем-эффенди, — а я уеду. К паше, сам ты знаешь, мне не следует идти жаловаться, что гречанка хочет ислам принять. И сына я тиранить не стану; вам другое дело; не он веру меняет, а девушка!

Велел постлать мне постель и уехал.

Спать я не мог и не больше как чрез час, среди ночи, воротился в Халеппу.

Мне все казалось, что она в самой Халеппе спрятана. Дома я достучаться не мог, потому что дом был пуст и девочка от страха ушла на ночь к соседке. Я перелез чрез ограду с большими усилиями и лошадь заставил перепрыгнуть через нее и до рассвета просидел на террасе. Едва только зажглась заря, я пошел будить соседей и расспрашивать. Никто не знал, никто не видал, но все были в волнении; некоторые из женщин плакали; мужчины брались повыломать двери всех гаремов в Халеппе и осмотреть. Но я успокоил их и советовал не подвергать себя бесполезно мщению турок. И сколько же было гаремов? всего пять: Рустема-эффенди, одного чиновника, одного старого ходжи и еще двух-трех беев. Я больше всех подозревал ходжу; но нельзя же было ломать его дверь, не зная правды! За что же пострадают мои товарищи без нужды? И все наши поиски в Халеппе были бы напрасны. Как я узнал уже после — Хризо с Хафузом были в ту ночь в Серсепилье, но у другого бея, в загородном доме; а на рассвете, пока сердце мое раздиралось от неизвестности

и горя, пока я бродил озябший по террасе в Халеппе, — они вместе пробрались в город, в гарем другого турка.

Я собрался в город; как вдруг мне пришли сказать, что дядя Яни узнал о побеге сестры и что он задумал, должно быть, что-то худое; спрятал пистолет в складки пояса и пошел пешком в Канею. Я послал к Розенцвейгу просить, чтобы кавасс погнался за дядей и позвал его в консульство, а сам тотчас кинулся за дядей вслед.

Догнал его на полдороге и остановил его.

— Куда?

— Сестру твою, псицу распутную, убить...

— У нее есть отец и братья... бейте ваших дочерей.

— Мои дочери не распутные... Пусти. Не ее, так его убью..

Прибежал кавасс; дядя спросил:

— Что̀ нужно от меня русскому консулу? Я не русский, я райя; я консула не знаю.

— Просит вас, — отвечал кавасс.

Дядя послушался, и Розенцвейг усовестил его.

Я поехал в город. В городе турки смелее, а греки боязливее; турок там гораздо больше. Один из них прямо мне сказал:

— Твоя сестра у Лигу́нис-бея в доме.

Я пошел туда, но бея не было дома, и я отправился в *конак* паши. Паша, сказали, с утра уехал в Суду.

— А меджлис?

— Сегодня пятница, нет меджлиса!

В отчаянии я поскакал опять в Халеппу, чтобы посоветоваться с Розенцвейгом или с кем-нибудь из наших соседей.

Едва только я из города, — вижу, едет мне навстречу сам паша в золоченой карете, кругом бегут человек десять арнаутов. Как только поравнялся он со мной, сейчас махнул рукой, велел остановиться и поманил меня.

Я, чтобы польстить ему, спрыгнул с лошади и подбежал к дверце.

Паша рассыпался в любезностях, подал мне руку из окошка и сказал по-французски:

— Я уже знаю, mon cher m-r Yorgaki, о деле вашей сестры. Я даже видел ее. Вы можете быть уверены, что я не допущу никакой несправедливости. Я терпеть не могу этих обращений, от них нам только хлопоты, больше ничего. Но вы знаете — духовенство везде одно. Une fois que les femmes et les prêtres s'en mêlent, il n'y a pas de force qui y tienne.

Я просил его пощадить старые годы отца и матери и наших и не оставлять сестры в руках мусульманского духовенства.

Он обещал еще раз и прибавил, смеясь, на прощанье:

— Il faut avouer cependant que ce diable de Hafouz n'a pas mauvais gout! Elle est charmante votre soeur!..

Любезность эта, это радушие ободрили меня, и я веселый вернулся домой. Соседи, которым я говорил, немного, однако, надежды возлагали на пашу и твердили:

— Не верь, Йоргаки, ныньче турки хитрее нас стали!

К вечеру приехали и наши из монастыря. Что̀ тут было — сам поймешь, я писать не стану. Мать вынесла горе тверже отца, она не отчаявалась в том, что еще можно будет освободить сестру. Отец же был в ужасном отчаянии: он плакал, бил себя в грудь. Хотел бежать прямо в русское, а оттуда в греческое консульство и просить помощи. Но священник наш остановил его и сказал:

— Разве не знаешь пашу? Проси его сам, быть может, сделает, а пойдешь к консулам, — лишь ожесточится; не ходи, райя, к чужой власти. Завтра подите с Йоргаки в меджлис. Христос и Матерь Божия, быть может, благословят вас на счастливое окончание!

На другой день мы рано с отцом пришли в конак. Сени уже были полны народа: просители, обвинители, свидетели, женщины, и наши, и турчанки, и еврейки, и арабы, носильщики масляных курдюков, оборванные, полунагие, все в масле, вооруженные арнауты — сидели, стояли и лежали в ожидании меджлиса и паши. Нас впустили в комнату секретаря. Долго мы ждали, наконец позвали и нас.

Паша сидел в кресле с чубуком. Это был уже не вчерашний любезный человек! Гордо ответил он нам на поклоны и не сразу предложил сесть... Но отца, который было бросился поцеловать его полу, он остановил благосклонным движением руки.

В комнате сидели, кроме паши, еще несколько беев, двое наших представителей, епископ, молла и муфти. Только у этих трех духовных сановников были чубуки, остальные курили папиросы.

Молчали: я принуждал себя сидеть и глядеть почтительно.

Наконец паша спросил моего отца:

— Ну, что̀ вы поделываете?

— Кланяюсь вашему превосходительству, нашему паше-господину.

— Et vous, m-r Yorgaki, vous allez bien aussi, j'espère?

— Parfaitement bien, excellence..

— Послать за вашею дочерью? — спросил паша.

Отец встал и поклонился.

Паша ударил в ладоши и велел своему драгоману привести сестру.

Хризо пришла с родною теткой Хафуза, матерью Лигунис-бея, у которого жила в гареме. На ней было новое розовое атласное феред̀же и покрывало на лице.

Вслед за ними притащился согбенный старик Феим-эффенди, дряхлый дервиш из секты ревущих, которые к христианам, по учению своему, благосклоннее других магометан. Я его встречал в Халеппе и догадался, что это именно он, а не кто другой проповедовал сестре о столбах золотых и свинцовых. Он старик смирный и полусонный, но и в его глазах есть искра плутовства.

Паша предложил жене бея и сестре сесть. Дервиш мой тоже приютился около них.

— Тебя как зовут? — спросил паша сестру мою.

— Фатьме, — отвечала она.

— Нет, скажи твое христианское имя...

— Хризо.

— Хорошо, Хризо. Ты дочь кир-Николаки из Халеппы?

— У меня теперь нет ни отца, ни матери. Ваше превосходительство мой отец, и я прошу вас много и много защитить меня и позволить мне остаться в той вере, которую я приняла...

Отец мой встал и дал волю своему гневу. Он укорял сестру, просил, клял ее, он спрашивал ее, наконец, чем недовольна она у него в доме, кто ее обидел и кто ее не любил и не жалел?

Сестра была тронута, она расправила свой вуаль и, оборотясь к отцу, бледная, дрожащим голосом сказала: «Простите мне, батюшка, я ни в чем вас не виню. Я добротой вашей много довольна, и матерью и братьями довольна, и худа ни от кого не видала. Только я желаю потурчиться».

Отец в отчаянии разорвал на себе жилет. Турки молча курили.

Епископ наш наконец решился заметить вполголоса, что «закон требует, чтобы желающий переменить веру был отдан своему духовному начальству на три дня для увещаний».

— Закона этого нет, — отвечал сухо паша, — но во внимание к почтенному характеру семьи господина Николаки я исполню этот обычай...

— Если сама девушка будет согласна, — заметил молла.

Паша ответил ему что-то по-турецки и обратился к сестре:

— Хочешь к епископу на три дня?

— Нет, я к епископу не желаю, — я желаю оттоманскую веру принять..

Тогда решился и я вмешаться; я видел, что отец убит и растерян от стыда и горя.

— Разве ты, Хризо, боишься, что мы тебя мучить будем? ни преосвященный, ни мы, кроме доброго слова, ничего тебе не скажем. Мы тебя и в Халеппу не будем

просить, ты три дня пробудешь в митрополии: приедет мать, и я буду там. Если ты от тех, кто тебя кормил и воспитывал, кроме доброго ничего не видала, надо же и пожалеть их. Если ты в своей новое вере тверда, так нечего тебе и бояться. Я думаю и сам молла-эффенди плохой мусульманки не твердой не желает... Подумай же, пожалей всех нас, а через три дня пусть будет по твоей воле...

Сестра плакала, качая головой.

— Надо пойти, — повторил я.

— Так я пойду, — сказала наконец сестра, вставая.

— Мы не принуждаем ее, — заметил сурово молла, — не надо и вам принуждать ее.

Муфти, человек светский, в зеленой чалме и в очках, только что из Стамбула, сказал, смеясь:

— Лишь бы на сердце было у нее хорошо, — а сколько нужно на земле правоверных и гяуров, это знает Бог!

Паша поморщился (я думаю, от неосторожного слова «гяур») и сказал сестре:

— Идите же, Хризо, на три дня; через три дня вы нам дадите здесь ответ. Деспóт-эффенди, извольте взять ее...

Молла с негодованием отвернулся, и лицо его выразило столько зверства, что я не вынес его взгляда и опустил глаза.

Так мы взяли Хризо на три дня к епископу.

В митрополии Хризо сначала совсем растерялась, лгала, клеветала на себя, опять оправдывалась, просила прощения; то падала на колени передо мной и говорила мне: «Йоргаки! пожалей меня!» То говорила наедине матери: «мать моя, свет мой! Радость ты моя! Очи ты мои! Пропала я, душа ты моя, матушка! Я девушка бесчестная! оставь меня! Я любовница его. Я давно потеряла честь мою!» То опять бросалась к ней и, сложив руки, умоляла ее не верить прежним словам: «Это я тебе солгала вчера! не верь, я не бесчестная. Он зла никакого не сделал».

Епископа сестра слушала со вниманием и почтением, вздыхала, когда он говорил ей о тяжком грехе и о вечной муке, призывала привычные с детства святые имена...

Я между тем зашел к Ревекке, и она опять дала мне добрый совет. Когда я рассказывал ей подробно обо всем, что̀ случилось, она очень сострадала, но не мне и родным нашим, а двум бедным любовникам.

— Лучше бы ты оставил их; от тебя дело много зависит. И чем вера турок не хороша? И у патриархов было много жен, и Богу одному, невидимому, они молятся. И разве не жалко тебе сестры? Пускай тайком убегут вместе в Константинополь; если хочешь, и я помогу им; а ты только не препятствуй.

Я сказал ей, что это невозможно.

Однако ей хотелось облегчить мое горе, и она, подумав, сказала:

— Если ж ты их хочешь развести непременно, сделай вот какую хитрость: обещай ей, что ты Хафуза обратишь в христианство, только с тем, чтоб она вернулась домой и не мучила отца и мать. Она успокоится; потом ушлите ее поскорей гостить в Афины или в Константинополь, если у вас есть там родные. Там она его забудет легче!

Я расцеловал ее руки и сделал все так, как она говорила.

— Слушай, Хризо, — сказал я. — Хафуз мне друг, ты знаешь. Потерпи месяц, вернись домой; вот тебе слово, мы его окрестим. Разве прошлого года не окрестился у нас в Халеппе ночью турок? А потом, чтобы ему худа здесь не было, мы вам денег дадим и ушлем отсюда!

Хризо, услыхав это, согласилась и на другой день в меджлисе отреклась от исламизма. Мне показалось, что паша был недоволен; он очень сухо и гордо простился с нами и не дал мне руки.

С торжеством увели мы Хризо в Халеппу. Епископ назначил ей по сту земных поклонов в день и дал ей книжку с молитвами; она прилежно читала, никуда не выходила, даже и в сад, и стыдилась показываться чужим.

Что̀ за праздник был в семье — изобразить трудно. Лица веселые, соседи радуются; отец, которому я рассказал о моей хитрости, хвалил меня всем и говорил: «Без Йоргаки мы было все пропали!» Дядя Яни всегда молчит, но и тот разверз свои уста:

— Политический человек, просвещенный! — сказал он про меня и выпил за мое здоровье раки́.

На другой же день после того как сестра объявила в меджлисе свое решение остаться христианкой, нас с отцом оскорбили на улице. Сначала два солдата стали нарочно на узком повороте и толкнули нас. Мы смолчали. Потом трое сирийских дервишей встретились нам на базаре и остановились перед нами. Смуглые лица их были свирепы; на всклоченных, курчавых головах не было ни фески, ни чалмы; полунагие тела их были покрыты шкурами, и один из них нес на плече тяжелую секиру; с ними шел знакомый мне Фазиль-бей, поэт из Дамаска.

Я любил его за его вежливость, за величавые приемы и за благородство, которым дышала вся его особа. Он часто беседовал со мной и хотел учить меня по-персидски.

— Если вы хотите узнать великую сладость, то изучите язык персидский; это язык истинных поэтов; а турецкий язык — язык военный, — говорил он мне не раз.

Я поклонился ему, но Фазиль-бей глядел на меня насмешливо, драпируясь в свою длинную мантию. Дервиши загородили нам дорогу. Отец попросил их дать нам пройти; они не слушали его; сотни глаз глядели на нашу встречу. Я схватил одного дервиша за грудь. Тогда двое других осыпали меня ругательствами. Они кричали в исступлении: «Московская собака! Разве мы, гяур, боимся тебя?» Грозились кулаками и секирой. Отец кротко уговаривал их, а поэт отстранил их величаво, как бы довольный уже и тем, что мы оскорблены и унижены.

Оружия при нас не было, и мы должны были отступить.

Основываясь на том, что я русский подданный, я хотел жаловаться паше чрез консула, но отец мой, боясь мщения,

упросил меня оставить дело так, благо главная наша цель достигнута.

Недели три у нас в доме все шло хорошо; сестра кончила свою эпитимью, сама стала заниматься домашними работами; говорила с нами, пропела уж раз и песню по-старому. Но раз (мы сидели с ней на террасе, она шила, я читал) подошел к ней серый котенок, которого подарил ей Хафуз и которого мы вовсе забыли — и стал ласкаться.

Хризо схватила котенка и вскрикнула:

— Кошечка, моя кошечка хорошая! Душу мою вырвать из меня ты пришла!

И рыдая, упала ниц.

После этого мы решились отправить ее в Константинополь; она не противилась, и я, надеясь лучше других развлечь и утешить ее, взялся сам везти ее. Ей сшили два новые шолковые платья; зная слабость наших к модным вещам, я обещал ей купить в Константинополе такую шляпку, какие сами посланницы носят. Она во всем слушалась меня, казалось, с удовольствием. Взяли мы с собой еще одну старушку, у которой в Константинополе был сын, и уехали на рассвете. Погода стояла теплая, море было гладко, и к вечеру мы уже были в Сире. Я повел ее гулять, показывал церкви; водил в Верхнюю Сиру, угощал мороженым. В церкви она помолилась усердно и поставила свечку, одной бедной женщине подала милостыню; шоколату попросила другую порцию, смеялась иногда.

«Слава Богу!» — думал я и благословил мою умную, хитрую Ревекку.

Из Сиры мы выехали утром на пароходе Ллойда. Капитан был очень ловкий и любезный человек, он окружал сестру вниманием с первой минуты нашего появления на пароходе. Я посоветовал сестре не стыдиться и быть свободною и разговорчивою как дома, и она послушалась меня, отвечала просто и мило капитану и сама его забавно расспрашивала:

— Есть у вас жена? — говорила она. — Где она?

— В Триесте, — отвечал капитан.

— Ба! — воскликнула Хризо, — и вы все так, без нее? И она без вас! Это очень неприятно!

Около полудня из кают первого класса вышел некто Хамид-паша; он ехал откуда-то чрез Сиру в Константинополь, недели две тому назад заболел, остался в Сире и теперь только тронулся снова в путь.

На нашего критского пашу он не был похож: толстый, седой, простой и молчаливый... все курил чубук и беспрестанно подзывал к себе армянина, юношу-красавца, который с поклонами и, казалось мне, с притворною робостью прислуживал ему. Паша его звал не иначе, как «дитя мое!»

Накурился паша, наелся и повеселел. Любовался на море и со мной заговорил.

— Это ваша фамилия (т. е. жена)? — спросил он, указывая пальцем на сестру.

Я отвечал, что это сестра моя, подозвал Хризо и пригласил ее сесть с нами.

Паша обратился к ней чрез драгомана с гордою благосклонностью.

— В первый раз в Стамбул едете?

— В первый раз.

— Аллах! Увидите там много хорошего! Все эти моды для кокон! И наш старый Стамбул посмотрите. Мечеть султан-Ахмета с шестью минаретами и Ай-София, которой равной в свете нет...

«Добряк этот паша!» — думал я, слушая его. Но к вечеру узнал от одного из наших спутников, что он долго был губернатором в Азии и отставлен за грабеж и тайные пытки, которым подвергал христиан. Он зимой приказывал обливать их холодною водой и держал их по целым неделям в узких и длинных шкапах, где нельзя было ни лечь, ни сесть, ни спать. Один из служителей его, чтобы выведать истину, исколол одному пастуху все ноги раскаленными щипчиками, которыми берут уголья для чубуков и сигар.

После этого рассказа добродушие Хамида стало для меня ненавистнее лукавой вежливости нашего паши. Како-

вы же должны быть растление и ложь этой политической развалины, которую зовут Турцией, если даже такой добрый (наверное, добрый) по природе старик, и тот является извергом и грабителем народа! С этими мыслями лег я спать. Я думал о сирийских дервишах, которые изругали меня, о заптие, которые меня толкнули, о страшных днях Вели-паши, когда запертые в стенах Канеи христиане искали прибежища в консульствах, а турки влачили по улицам труп удавленного грека,* и сердце мое дрогнуло за родину мою, и за родных, и за себя!

Сон мой пропал; пароход входил уже в Мраморное море, волна становилась сильнее, и я чувствовал себя дурно. Так мучился я почти до ночи. Уж было темно, когда мы подъехали к Золотому Рогу, и нас не впустили.

Я был рад тишине и стал засыпать, как вдруг ко мне в комнату постучался слуга и сказал, что сестра моя так громко плачет, что все спутницы ее испугались.

Встал я, спросил сквозь двери дамской комнаты: «что̀ с ней?», она отвечала: «Теперь я уж перестала плакать, это я, когда волна плескалась, испугалась и о матери вспомнила». Встало солнца, все проснулись, и Хризо вышла без слез, но печальная. Я взял ее вещи и ждал, пока паша сойдет со всею своею челядью в шлюпку.

Поравнялся с нами паша. Вдруг Хризо падает ему в ноги, хватает его полу и говорит:

— Паша-эффендим! Возьмите меня с собой! Я вас прошу! Возьмите меня в гарем ваш! Я хочу потурчиться, а родные не дают мне воли!

Паша с радостью просил ее встать и, обратясь ко мне, отечески сказал:

— Видишь, сын мой, я ей отказать не могу.

Все пассажиры, вся прислуга столпились около нас. Чубукчи паши хотели взять вещи сестры из моих рук. Я оттолкнул одного, схватил за ворот другого и кричал,

---

* См. «Хамид и Маноли».

что я русский подданный и чтобы сестры моей никто касаться не смел.

Паша сказал мне:

— Ты, сын мой, может быть, точно русский подданный, но сестра твоя райя, и я возьму ее. Султан, господин наш, даровал всем свободу веру менять. Не тебе же, сын мой, противиться воле султана.

Капитан вмешался и предложил мне продолжать спор на берегу, а на судне его не начинать бесчинства. Я вынужден был уступить, и сестра сошла в шлюпку паши. Я отдал ее вещи и видел, как заботливо армянин помогал ей войти в шлюпку, видел, как сам паша посадил ее около себя на особом ковре, тогда как даже драгоман его сидел далеко и почтительно.

Я спустился в другую шлюпку, и скоро каик паши исчез за большими судами. Мне послышалось только, будто сестра закричала: «Прощай, Йоргаки, прощай жизнь моя! Не сердись на меня несчастную!» Говорю: мне послышалось, потому что я был как убитый и даже на гребцов стыдился смотреть.

Когда я остался один в гостинице, раздраженное самолюбие мое строило тысячи планов; я хотел просить помощи у русского посольства, хотел собрать каких-нибудь бродяг, кефалонитов и албанцев, отыскать дом Хамида-паши, подкараулить сестру и похитить ее, или самого пашу схватить ночью и угрозами заставить его выдать Хризо.

Наконец я успокоился. Мне казалось, я сделал все, что̀ мог, и никто из родных не имеет права меня упрекать. Насиловать более волю и чувства сестры было свыше сил моих.

Я написал письмо отцу и решился ждать ответ.

Прождал две недели. Раз утром приходят ко мне два наши кандиота и говорят:

— Много поклонов вам, г. Йоргаки, от отца и матери. Письма не прислали; а как мы сюда ехали по делам, то отец ваш и приказал вам сказать, что дело вашей сестры очень огорчило его и вашу мать, и всех родных, и всех критских наших. Все на вас надеялись и были покой-

ны. И еще велели сказать: думали мы, что Йоргаки мужчина, как следует; а теперь мать ваша вторую неделю не ест хлеба и слова не говорит, и не плачет; все через вас...

— Что̀ ж мне было делать? — спросил я.

— Это ваше дело, — отвечали мне. — Может, вы и хорошо сделали; вы человек с воспитанием и лучше нашего и свет, и закон знаете. Мы вам говорим, что̀ ваши родители велели сказать. Дядя Яни ваш плюнул, когда слушал ваше письмо, и говорит про вас. «Если б Йоргаки был мужчина, он бы должен был и пашу в воду сбросить, и сестру убить, и людей всех. А там уже какая была его судьба, пусть Бог знает».

Слова эти меня так оскорбили и огорчили, что решился не возвращаться в Крит. Связь порвана! Я уже не надежда их, я не молодец, я не краса Халеппы, я не эллин! Бог с ними, если так! Я проживу и без них...

Вот уже более двух недель как Хафуз приехал сюда и женился на моей сестре. Они скоро возвратятся в Крит и будут жить в городе, пока это дело не забудется и опасность для них минует.

По праву брата, я посещаю ее, даю ей денег и дарю вещи... Душа моя ожесточена, и на днях, когда один из тех кандиотов, которые принесли мне проклятия и насмешки родных, зашел ко мне, я, назло ему и всем, рассказал, как идет к сестре восточная одежда, и какой Хафуз добрый муж, и сколько я заплатил за наргиле, который на днях подарил ему.

Дело сделано! Она ему жена, и я им брат навеки!

С родными я решился порвать все связи. Не виню и понимаю их; но я не виноват, что они не могут понять меня. Прощай!

Константинополь, марта 29-го 1866 года.

Я давно не писал тебе, я был слишком развлечен и занят. Я определился (на время, конечно) в контору к одному богатому греку. Он дает мне около ста рублей в

месяц. Часто бываю в русском посольстве у секретарей; греческий посланник обещает мне должность при греческом консульстве. Здесь меня все принимают прекрасно. Ваши секретари все немного злоязычны, но зато как умны и образованны! Самое злословие их свежо и полно соли. Вижу изредка и французов, но им далеко до ваших.

Сознаюсь тебе, я полюбил Константинополь; все мне нравится здесь: и Босфор, и смесь пышности с грязью, и туманные, дождливые дни, когда все дальние улицы так пусты и задумчивы, а в тесной Пере так толпится, спешит и торгует народ.

Одного мне здесь недостает: я не могу забыть Ревеку; я написал ей письмо, очень осторожное и полное темных намеков. Я узнал, что старуха умерла. Теперь ей будет свободнее. Когда бы хоть раз увидать ее!

21-го апреля 1866 года.

Поздравь меня! Поздравь меня!

Она здесь, мой друг! Вчера я встретил ее под руку с мужем. Когда бы видел ты, какою нежною царицей шла она. Она сама мне поклонилась и познакомила с мужем. Он пригласил бывать у них чаще. Старуха своею смертью спасла нас, не успела открыть глаза сыну.

Сейчас иду к ним. После припишу, что̀ будет хорошего.

Мужа не было дома. Они остаются в Константинополе навсегда.

Я так счастлив!

20-го июня.

Два месяца я тебе не писал. Дела мои идут прекрасно. Я поступил на службу в греческое консульство, пока без жалованья, но это только начало, и работы мало. Негоцианта моего также не оставляю. Грустно, что родные мне не

пишут вовсе, но я от других узнаю, что они все здоровы. Что ж делать; нельзя, чтобы все было хорошо, ты сам это знаешь!

Твой Н—с.

30-го июня.

Здесь начинают говорить, что в Крите будет восстание.

Битва при Садовой поразила всех. Непостижим иногда для меня политический такт наших греков! Простой работник, и тот понимает, что события в самой Америке не пройдут без влияния на судьбу нашего народа! Отовсюду гордый народ ждет знака для движения... Вчерашний вор и тот с восторгом жертвует для родины у брата же грека наворованные деньги!

Купец, тупой, скупой и скучный, спешит раскрыть свои сундуки, мать не жалеет сына, жена шлет молодого мужа на войну!

Так было уже раз, так будет снова, когда ударит час. Но неужели этот час так близок?.. Неужели буря близка? Не верю, но я желал бы верить и вспоминаю часто пламенные речи хаджи-Петро...

Посмотрим!

Твой Н—с.

2-го июля.

Я не могу оставаться здесь долее... Я должен ехать туда. Чем бы ни кончилось волнение умов, — я должен быть там, куда зовет меня все родное. Я сказал сегодня Ревекке, что уеду в Крит и пойду в охотники, если будет война. В первый раз я увидал ее в волнении. Она побледнела и спросила:

— Ты шутишь?

Я сам был взволнован, не отвечал ей ни слова и ушел домой.

Вчера Ревекка утром прислала мне записку и звала прийти скорей, пока мужа нет дома.

— Я не спала всю ночь, — сказала она мне. — Я тебя люблю. Если хочешь, я окрещусь и оставлю мужа. Только не уезжай отсюда.

Она подвела меня к комоду и вынула оттуда кучу бриллиантов.

— Это все мое, — сказала она. — Дом этот также мой. Есть у меня и деньги. Все это будет твое. Ты можешь служить на русской или греческой службе: будешь консулом, будешь, быть может, посланником. Ты мне говорил, что я создана для света. Не знаю, быть может, любовь тебя ослепила; но я знаю одно, что я никогда не заставлю тебя краснеть за себя. Вот мои последние слова! — прибавила она, краснея, и заплакала.

Я просил ее дать мне обдумать хоть два дня.

Вот уже третий день, друг мой, и я решился ехать... Никто из родных моих не знает, какую сокровенную жертву принесу я родине! Ты один ее узнаешь и поймешь.

Твой Н—с.

Халеппа, 30-го июля 1866 года.

Итак, друг мой, я опять в семье; в той же семье, в том же доме, — в Халеппе нашей. Те же добрые соседи наши, те же красавцы юноши, те же старики почтенные, те же девушки милые. Так же, как и два года тому назад, плещет море наше в берега; все зелено; цикады оглушают меня пением своим. Но в воздухе нечто иное, нечто высшее... Гроза близка... Представители наших восставших округов разошлись. Они ждут ответа от султана. Уже тысячи критян под оружием. Третьего дня мой старший брат поклонился отцу и матери, прося благословить его... Когда

бы ты видел наших критян, друг мой! Брат не плакал; не плакали и мы... Казалось, не на смерть, а на пышный брак отпускали его!

Прощай. Увидимся ли мы когда-нибудь?

Август.

Ты уже знаешь все, весть разнеслась повсюду, и оружие грянуло в наших горах... Прочти! о, прочти ты благородное воззвание к державам, которое, готовясь к ужасам битв, обнародовали мы! Ты увидишь, каков наш грек в бою... О, родина моя... Когда бы ты видел наших юношей... Когда бы ты видел, как я видел на днях двух братьев-отроков, вскормленных нашим священником. Прекрасные как ангелы, эти два мальчика-сироты пели в нашей скромной церкви. Им еще нет 17 лет, а они уже приняли благословение духовного отца своего и надели оружие... Сегодня мы простились с ними!

Август.

Кровь наша льется, но недаром! Турки бегут везде... Вчера была битва на горах у Проснеро. Я видел издали, как бежали турки, я видел дым ружей в кустах, видел, как наши львами ворвались в турецкий лагерь.

Утром я встал вне себя и ходил по террасе. Отец ехал в город. Я сказал ему, что не могу больше сносить мое позорное бездействие.

— Подожди, Йоргаки, в горах тяжко непривычному: настанут скоро холода, и северный ветер будет дуть, и снег будет падать. Останься при нас с матерью. Ты человек не боевой.

Не скажи отец последних слов, я бы остался, мне кажется. Но в этих словах я прочел ужасный укор, хуже которого нет для мужчины. Я вспомнил сестру, вспомнил

стыд свой... И едва уехал отец, я пошел к одному молодому соседу-столяру, который только что женился на богатой красавице из Рефимно. Я знал, что он задумал расстаться с женой и бежать в горы. Мы условились. Завтра нас не будет в Халеппе. Прощай, быть может, навсегда!..

Один Розенцвейг будет знать о моем намерении. Родные пусть узнают, когда моя рука уже обагрится вражьею кровью! Пусть скажут: «Мы ошиблись в Йоргаки, он *наш*».

Еще два последние слова. С Розенцвейгом мы простились. Он уже не встает с постели, дни его сочтены.

— Вот моя битва, вот моя кровь, — сказал он, показывая мне окровавленный платок. — Вам, — продолжал он, — вам дай Бог жить долго и украсить вашею деятельностью освобожденную отчизну. Я говорю вам: вы будете свободны... Но, если моя молитва может быть услышана, я молю Бога об одном, молю, чтоб Он сохранил вашу родину и после освобождения в той изящной и величавой простоте, в которой Он сподобил нас с вами еще застать ее! Когда бы не рак европеизма...

Он не кончил, махнул рукой, и мы простились.

Твой Н—с.

Сфакия, сентябрь.

Пишу тебе карандашом, на изломанном столе. Пароход наш «Аркадий» свезет его в Афины.

Мной все довольны здесь: я выношу ходьбу по камням лучше многих. Уже на долю моего ружья пало пятеро врагов; я еще не ранен. Зимвракаки думает уже поручить мне небольшой отряд. Дядя Яни, и тот уже помирился со мной.

— Э! — говорит он, — Йоргаки! Когда ты капитаном будешь, я под твое начальство пойду. Не послушаюсь, хвати меня по голове кулаком, как следует, либо рукоятью

ножа. А я поклонюсь тебе и скажу: «простите, господин капитан! Молодым для науки!»

Он заботится обо мне; ночью снимает с себя бурку и накрывает меня; из пищи что̀ есть лучшего, мне несет; смеется; шутит. Здесь он стал веселее, говорливее, но все так же неумолим и грозен.

Двоюродный брат мой, его сын, лет семнадцати, не более, едва покинул школу, — как поступил в другой отряд. Там он служил не более месяца, устал, заболел и остался жить и отдыхать в одной деревне. Узнал об этом дядя и послал ему сказать: «Встань, негодяй, и будь здоров! А если не встанешь и не возьмешь оружия, приду я сам к тебе и палкой так по тебе поиграю, что вся охота болеть пройдет!»

Брат встал и пошел в отряд.

Мы готовимся к большому сражению. Мы победим, — и если бы только вы, наши братья русские, не забыли нас... то мы будем свободны!..

Иногда с горем гляжу на наши пока еще цветущие долины, на наши белые деревеньки в зелени маслин...

Я знаю турок. Цветущие долины, веселые селения будут опустошены, и камня на камне не останется в них. Уже мало-помалу просыпается в них старинное зверство; уж гибнут в отдаленных жилищах беззащитные старики, и дети подвергаются поруганию...

Пусть так! меч вынут, мы не вложим его в ножны; мы погибнем все или будем свободны!

Пусть гибнут наши села, пусть гибнем мы, раны освобожденной родины моей заживут снова... Лишь на пажитях, упитанных кровью и слезами, растут и зреют те высокие духовные плоды, без которых жизнь народов была бы презренною жизнью робкого стада. Прощай, меня зовут!

Я верю, что буду жив, и письмо это не будет последним.

Твой Н—с.

Октябрь, Сфакия.

Два слова, друг мой! Холод становится нестерпим. Одеты мы, ты знаешь, не по-русски. Битва при Вафе́ проиграна. Наших было 500 человек. Турок пять тысяч. Ма́но, один из лучших наших афинских вождей, ранен и взят в плен; слышно, что турки хотят расстрелять его. Женщины наши и дети толпами бегут из сел к берегам ждать русских судов, на которых их хотят везти в Афины и Сиру. Я видел их. Это уже не те почтенные, опрятные старушки, не те милые, нарядные критские девушки, о которых я писал тебе когда-то... Теперь все взоры, все мысли этой толпы, изможденной усталостью, нуждой и страхом, приковали их к морю. И что̀ за восторг, что̀ за безумие, когда покажется ваш флаг!

Матери бросают детей своих в шлюпку, другие сами от нетерпения кидаются в воду с утесов.

Я сам до того исхудал, до того измучен и слаб, что даже дядя Яни советует мне ехать на отдых в Афины.

Мой молодой сосед, с которым мы вместе ночью ушли в горы, не мог более вынести этой жизни. Он положил оружие, поклонился туркам и вернулся к своей новобрачной. Я так не сделаю.

Январь 1867 года. Афины.

Не думай, что я не сдержал слова. Только сильная рана в ноге заставила меня уехать. Теперь я в нашей больнице пишу тебе у окна. Погода дивная; я вижу отсюда море и дальние суда. Комната полна раненых; но все весело шумят и смеются. Сейчас только вышел от нас наш молодой король. С каким восторгом отвечали мы на его привет. Он особенно внимательно и благосклонно разговаривал через переводчика с одним черногорцем, который приехал в Крит делить наши судьбы и при первой схватке был опасно ранен. Теперь ему лучше.

Ах! друг мой, с тех пор как я карандашом писал тебе из гор, сколько перемен!

Хафуз убит моим грозным дядей; бедная Хризо моя погибла в родах, услыхав эту весть. Розенцвейга нет уже; его похоронили в нашей опустелой Халеппе за два дня до моего отъезда сюда. Здесь только на отдыхе я чувствую жалость и утрату. О Розенцвейге я уже знал; но о гибели Хафуза и Хризо я услыхал весть в тяжкую минуту, когда сердце мое было закрыто для всего!

Незадолго до этой ужасной вести я был ранен; я был бы убит, если бы дядя Яни не спас меня. Пуля попала мне в ногу, и я упал в кустах. Наши отступали; я силился встать; в эту минуту передо мной из-за камня вырос турецкий солдат. Он бросился ко мне; последним усилием я вырвал из рук его ружье и бросил вниз с горы; сабли при нем не было; он ударил меня пустыми ножнами по голове и стал мне ногами на грудь.

Он был силен, а я истекал кровью.

— Барба-Яни! — закричал я. — Спаси меня! Где ты?

— Здесь я! — закричал дядя и зверем ринулся на турка. Долго боролись они, попирая меня ногами; турок старался вырвать пистолет из рук дяди. Тогда и я, собрав последние силы, вынул свой из-за пояса и убил турка. Дядя встал всклокоченный и бледный; схватил меня на плечи; велел рукой прижимать рану и кинулся со мной по скалам. Скоро замолкли выстрелы; мы отдохнули; собрались все наши, и дядя сам перевязал мне рану.

Мы остались ночевать в покинутом селении; развели огонь. К вечеру привели пленных турок и в их числе Хафуза, который поступил в турецкое ополчение.

К чему буду я тебе рассказывать, как рвалось сердце мое от жалости, когда я его увидал. Руки Хафуза были скручены крепко назад. Я ослабил ему веревки. Он поднял на меня глаза с благодарностью и попросил пить. Я подал ему вина.

Все наши угрюмо молчали. Больше всех боялся я дяди. И не напрасно! Пришел он, обвел глазами пленных турок и спросил: «Сколько их всех?» — «Пятеро».

— Собаки, собаки! — сказал он и ушел посоветоваться с другими старшими.

Хафуз дрожал. Другие турки сидели молча, вздыхали и искоса взглядывали на нас.

Все они, кроме Хафуза, были настоящие османли и по-гречески не знали. Они попросили через него табаку. Я велел им дать и развязал всем им руки. Оружия у них не было, и бежать им было некуда.

Тем временем дядя вышел с другими капитанами; я с ужасом думал о том, что с нами на этот раз не было ни одного из афинских офицеров.

Дядя вышел, постоял, посмотрел, сбил феску набекрень, хотел сказать что-то смешное... вдруг лицо его исказилось бешенством: он узнал Хафуза. Не говоря ни слова, взялся он за пистолет... Хафуз глядел на него, бледный и покорный, и дрожал.

— Нет, дядя Яни, ты не сделаешь этого, — сказал я.

Дядя взвел курок.

Я знал его; слова с ним бесполезны; и я... и я решился на безумный шаг, я взвел курок на него, на моего спасителя!..

— Бей, бей, — сказал он, — бей дядю!

Товарищи нас розняли и вырвали у нас из рук оружие. О, конечно! Я не хотел стрелять в него, я знал, что нас разнимут... Но и угроза была ужасное дело!

На шум сбежались старики.

— Нехорошо сделал ты, Йоргаки, — сказал мне один из них, — что на дядю и капитана руку поднял, и грех тебе это великий. А и тебе, капитан Яни, не след убивать пленных. Пусть не говорят, что критяне варвары!

— Кто их, собак, трогает, других пленных, — отвечал дядя, — пусть, пусть сами издохнут, когда их час придет! А вот этого молодца... что семью нашу стыдом покрыл!.. Его вы мне дайте... Если служил я родине, если христиане вы, если Яни капитан для вас, а не пес вонючий, не препятствуйте мне, говорю я вам!

— Конечно, — сказал старик, — стыд вашей семье велик. Да не Хафуза судить на смерть надо. Он паликар,

человек молодой, ищет потешить себя, где найдет. Виновата твоя племянница; ее присуди на смерть; а пленного не убивай, я тебе это говорю!

— Хорошо говорит старик, — заметили другие капитаны, — мы люди хотя и простые, а тоже должны знать политику. Довольно франки нас варварами звали!

Хафуза отдали мне, и с дядей меня помирили. Я поклялся ему, что не хотел стрелять в него, а только желал удержать его, пока сбегутся капитаны; и это было правда. Я увел бедного Хафуза в пустой домик; там мы развели огонь в очаге и поужинали вместе.

Краска вернулась на лице Хафуза. Я спрашивал его о сестре: узнал от него, что она беременна.

— Любишь ты ее крепко? — спросил я его.

— Что̀ за спрос? — отвечал он, краснея, — она жена мне!

Мы заснули поздно, как братья, вместе — под одною большою буркой.

На другой день я отправил его с двумя нашими верными молодцами к Зимвракаки и просил рассказать ему все. К вечеру они вернулись и сказали, чтоб я был покоен.

Рана моя, однако, становилась хуже. Я уже почти не мог ходить и решился ехать в Афины на вашей «Тамани». С трудом достиг я того места, где уже ждали русских пароходов сотни женщин, детей и больных мужчин. Трое суток мы ждали. Море было бурное, и турки старались препятствовать увозу семейств, как только могли; они знали, что, избавляя греков от бремени семейств, русские облегчают душу и руки восставшим отцам, мужьям и братьям.

Незадолго до моего прибытия к берегу подошел турецкий пароход; он выкинул русский флаг, и когда толпа ринулась со скал к морю, он дал по ней залп картечью, избил несколько десятков старух и детей и удалился.

Я сам видел их обезображенные и еще не погребенные тела.

Долго мы ждали; уже настала ночь, на горе падал снег; холод был нестерпимый; мы боялись раскладывать костры

на виду и жались за скалами. Я сидел у небольшой груды угольев и дрожал, укрывшись буркой. Сон и голод терзали меня; рана болела все сильнее.

Я дремал под башлыком, сидя на камне, и жизнь, казалось мне, сама жизнь уже покидает меня!

Слышу, кто-то зовет меня. Подходят трое наших молодцов; принесли водки, сыру, хлеба, дали мне и стали между собой шутить и смеяться.

Вдруг один сказал:

— Э! Йоргаки! Забыл я тебе сказать: Хафуза убил капитан Яни; отыскал его и убил. А сестра твоя, бедная, выкинула и умерла, как узнала об этом...

Другой добавил:

— Не так ты это говоришь! Хризо как узнала, что Хафуз в плену, послала мать просить к себе. Мать пришла и сказала ей: «Вернись в христианство, я отца верхом в город пошлю, пусть спасает его, а ты свою душу спаси и навек потом покинь его». Хризо сказала: «Пусть будет жив только, а я его брошу». Поклялась на Евангелии и образ Божьей Матери целовала, что оставит его и в христианство обратится. И повез ее отец с собой вместе в горы просить за Хафуза. Запоздали; а капитан Яни и убил его. Узнала Хризо на дороге, упала и кровью изошла!

Я слушал, друг мой, все, но голод и боль, и утомление были так ужасны, что сердце мое внимало этим ужасам как камень, и пища была для меня в тот миг драгоценнее всех священных уз!..

Лишь теперь, здесь, в этом городе, полном жизни, отваги и восторга, — здесь, отдохнув, я вспомнил сердцем все: и Розенцвейга, и Хафуза, и деревню нашу, и ласковый голос моей сестры, когда она говорила мне, склоня головку: «Душка моя, Йоргаки!»

Где они? Где наш семейный мир?

Но прочь от меня, любовь и состраданье! Я снова силен и здоров; снова душа моя кипит, и снова слышу я голос чести, зовущий меня туда, где льется наша кровь.

ПЕМБЕ́

ПОВЕСТЬ ИЗ ЭПИРО-АЛБАНСКОЙ ЖИЗНИ

I

«Я долго лежал распростертый на ложе равнодушия.

Оно не казалось мне жестким, и никакие сны Эдема не сходили на хладную главу мою.

Но внезапно явилась предо мною девушка нежного возраста. Одежда ее была проста; однако и в ней она казалась прекрасною, как золотой сосуд, наполненный душистым напитком.

Обходя комнату искусными кругами, она уподоблялась молодой змейке, играющей в цветущих кустах.

Имя твое, Пембе́,* есть цвет розы, самого прекрасного из цветов.

Ты сладка и свежа, как зерна гранаты, облитые розовою водой и посыпанные сахаром.

Я не ищу ни долговечности, ни богатого содержания; пусть жизнь моя будет кратка и содержание бедно; но чтоб я мог покойно веселиться с тобой.

Я молчу, Пембе. Пусть соловей громко поет о любви своей в садах персидских. Я не буду следовать его приме-

---

* *Пембе́* — женское мусульманское имя. Значит: *темно-розовая, малиновая.*

ру. Я лучше буду нем как бабочка: безгласная, сгорает она на любимом ею пламени!»

Так, засветив лампу, писал ночью в своей приемной молодой албанский бей Гайредин.

Гайредин-бей был женат, а танцовщица Пембе приехала с своею теткой и с другими цыганами-музыкантами из Битолии.

Гайредину было тогда двадцать шесть лет, а Пембе шестнадцать.

Гайредин-бей был из старой дворянской* семьи Эпира: дом отца его и теперь стоит на горе в городе Дéльвино; он обнесен стеной, в которой до сих пор видны бойницы для ружей. Село с селом, род с другим родом и семья с семьей вели еще недавно кровавые войны.

Мирный путник любуется на веселый вид Дельвино, на зеленые холмы и белые жилища его, но бойницы чернеют едва заметными щелями в простых сельских стенах, и гордый дух албанского вождя еще дышит прежним удальством.

Албанец любит лишь войну, корысть и гостеприимство; еще недавно он одинаково был чужд и турку, и греку, и одинаково друг им, когда ему это было выгодно.

В личных делах албанский горец верен дружбе и слову; он любит кровь и месть и не боится смерти.

Его одежда прекрасна даже и в бедности, и поступь его изящна и легка.

Старый отец Гайредина, Шекир-бей, имел все лучшие свойства своих соотчичей, но не имел их злобы и корыстолюбия. Он был весел и добр; кормил без нужды огромную прислугу на три разные стола, потому что мусульмане не хотели есть с греками, а греки с мусульманами, и ни мусульмане, ни греки не хотели есть с цыганами, которых он тоже не гнал со двора.

---

* У албанцев до сих пор существует нечто вроде феодальной аристократии.

Простодушное гостеприимство его славилось повсюду, и нищий находил у него в людской ночлег и пищу, точно так же, как бей и купец в его селамлыке.*

Когда его посещали христиане, он давал им полную свободу обращения: не сидел сам на диване неподвижно два часа, как делают другие старые турки, стесняя своею важностью усталых путников и гостей, которым хочется размять ноги. Нет! Он гулял по комнате, вставал и садился как хотел, и просил всех делать то же, говоря: «Что̀ значит слово *франк*? Слово *франк*, я узнал от людей ученых, значит свободный человек, развязный человек. Вот в этом смысле и я франк. Свобода! Делай что̀ хочешь в моем доме! Спи не спи, ешь не ешь... Сиди, ходи... Это значит — франк!»

Христиан он любил больше, чем любят их другие мусульмане; в жизни его был один великий случай, от которого по гроб не могло остыть доброе чувство.

Еще он был очень молод, когда отец его подарил ему в рабы прелестную сироту-гречанку, взятую в плен на островах во время борьбы за независимость Эллады.

Ей было всего четырнадцать лет, и звали ее Мариго́. Когда Шекир, сам еще почти мальчик, остался с ней наедине, Мариго заплакала и, простирая к нему руки, сказала: «Господин мой, я твоя. У меня нет ни отца, ни матери; их убили; делай со мной, что̀ хочешь. Только одно слово я тебе скажу. Пожалей ты меня, я боюсь!»

Шекир оставил ее в покое; потом уже ласками, подарками, братским участием он склонил ее к сближению. Раз преодолев свой детский страх, рабыня пристрастилась к Шекиру всеми силами души. Верований ее не касался никто: она продолжала ходить в церковь, и в посты ее кормили особо. Старые родители Шекира тешились и на доброту сына, и на ребяческий первый страх, и после на покорную привязанность маленькой гречанки. «Дети,

---

* *Селамлык* — та часть дома, в которой принимаются чужие мужчины.

малые дети!» — говорили, смеясь, друг другу отец и мать Шекира. Когда женили Шекир-бея на богатой девице, жизнь рабыни, конечно, стала хуже, но не надолго. Скоро пришлось ей щедро заплатить своему господину за его благодушие и любовь.

В сорок восьмом году восстала против султана вся южная Албания. Турки требовали от албанцев набора в султанское войско и податей, которые свободным горцам казались непомерными. Албанская знать не забыла еще, как изменнически расстрелял паша в Битолии возмутившихся Арсмана и Вели-бея, пригласив их туда примириться. Албанцы согласились все притвориться сначала покорными и выставить начальниками людей простых, но не менее их самих способных быть вождями. Кровавая борьба возгорелась около Дельвино, Аргирокастро и Янин. Бунтовщиков вел к победам простой селянин Гионни-Лекка.* Албанцы везде громили султанские отряды; но правильная сила взяла, наконец, верх над народным ополчением... Запертый сераскиром в Лапурье, Гионни-Лекка думал лишь о собственном спасении. Люди его один за другим покидали его. Сераскир решился тогда нанести удар мятежу. В Дельвино, в Берат, в Тепелен и в другие селения и чифтлики** албанские ворвались турки и начали хватать и вязать богатых беев, которых давно подозревали в тайной помощи восставшим. Схватили Башьяр-бея, Тахир-бея, трех сыновей Тахир-абаза, Абдул-бей-Кокка; а в Дельвино не нашли старого деда Гайредина и взяли Шекир-бея, отца его. Жена Шекир-бея была в то время беременна; когда услыхала она крики женщин, пальбу, страшные го-

---

* *Гионни-Лекка*, разбитый, убежал в Фессалию; отдался сам турецкому начальству, был прощен, получил даже начальство над иррегулярным отрядом и служил долго после того туркам; убит в 52 году на войне против черногорцев.

** *Чифтлик* — имение, собственное поместье; противополагается *вакуфу* (собственности мечетей и церквей) или *имляку* (государственной собственности).

лоса солдат и плач детей, младенец умер в ней, а за ним умерла и она сама, без мужа и свекра, на руках Мариго. Шекир-бея и всех других албанских беев турки, связав, отправили в Царьград, где их ждала тюрьма, а может быть, и смерть. Похоронив свою госпожу, Мариго взяла на руки маленького Гайредина и поехала в Царьград. Там, выждав минуту, когда сераскир-паша выезжал верхом из ворот своих, она схватила его лошадь за узду и, подавая ему сына, сказала:

— Убей, паша, и нас, когда хочешь погубить отца его!

— Ты христианка? — спросил сераскир, которого поразили ее красота и отчаяние.

— Да, — сказала Мариго.

— Рабыня? — спросил сераскир.

— Да, — отвечала Мариго.

— Если ты христианка и рабыня, и любишь его так, и не ищешь своей воли, так я думаю, Шекир-бей хороший человек, и мы отпустим его.

Возвратившись в свое имение, Шекир-бей сказал Мариго:

— Теперь я вдов; пусть гнев Божий разразит меня, если я возьму когда иную жену, кроме тебя, Мариго... Ты будешь моя жена и моя радость. Ходи в церковь, а я буду ходить в мечеть; держи пост, а я буду держать Рамазан.

Так Мариго стала законною супругой Шекир-бея; а Гайредин и прежде был законным; дети рабы, по закону мусульманскому, дети того же отца, и обиды им нет никакой.

В 54 году, когда Гривас хотел освободить Эпир от турецкого ига, Шекир-бею пришлось послужить султану мечом. Он не грабил и не жег христианских сел, подобно другим албанцам; он только с отрядом баши-бузуков принял участие в нападении Абди-паши на селение Коцильйо́, в котором заперся Гривас, на двухчасовом расстоянии от Янины.

Шекир-бей первым заметил, что в тылу турецкого отряда спускается с гор врассыпную толпа паликаров, по-

сланных греческим капитаном Зе́рвою на помощь Гривасу. Абди-паша гордился и не хотел отступить, но Шекир-бей уговорил его, зная лучше местность, и небольшой султанский отряд был спасен.

Благодарил его султан и взял за это его сына в Константинополь на обученье.

Гайредин обучался там европейской вежливости; выучился хорошо по-турецки и по-персидски и немного по-французски; греческий же язык ему был как родной с детства. В Янине и настоящие турки по-турецки не знают, а говорят по-гречески.

Вызвал старый Шекир-бей сына в Дельвино и был рад его успехам, однако сказал:

— Не след тебе служить писцом при пашах; это дело цареградских *пуштов*; пишут, пишут они, а Турция все несчастная, и все франки и русские в ней командуют. Ты живи здесь своими доходами, и я тебя скоро женю. А как султан обучать тебя велел и сделал человеком, так ты можешь ему и мечом послужить, как служил отец твой...

Гайредину сначала жалко было расстаться с Босфором, с каиками, которые, как стрелы, мчась по тихому проливу, несут веселых людей, с гуляньями и музыкой, с театрами в Пере, с друзьями и с богатыми банями цареградскими. Но противоречить отцу он не мог, остался и привык.

Невесту нашел ему отец богатую. Звали ее Эмине, и она была по роду и родству еще знатнее Гайредина: одних баранов у отца ее Абдул-паши были тысячи...

Сам Абдул был уж стар, но еще бодр; почетное название паши он получил не по чину и долгой выслуге, а в один год за службу против Гриваса; он был жаден и жесток; один вид его был страшен; и рост, и дородство, и злые глаза навыкате, — все в нем было, чтобы наводить ужас. Сколько сел христианских сжег и ограбил он, преследуя Гриваса! Сколько мирной крови пролил! Янинские турки говорили, что сабля его заговорена одним святым шейхом, удлиняется, когда Абдул прочтет молитву, и достигает издали бегущую жертву.

Дочь его, Эмине-ханум, жена Гайредина, ничуть на него не была похожа; она была тихая и добрая женщина.

Уже у Эмине было двое детей от Гайредина: мальчик Иззедин и девочка грудная, когда Гайредин-бей встретил Пембе на еврейской свадьбе.

Еврей Ишуа был самый богатый янинский банкир, и паши, и консул не пренебрегали его знакомством.

Гайредина он знал давно и не раз давал ему денег, а Гайредин всегда в срок уплачивал ему или из отцовских доходов или из женского имения.

Ишуа выдавал младшую сестру свою за молодого еврея, Марко, телеграфного чиновника Порты.

Свадьба была богатая, одни одеяла атласные, шитые знаменитым золотым янинским шитьем, стоили пять тысяч пиастров.

II

Незадолго до свадьбы Марко с сестрой Ишуа Гайредин-бей соскучился в своих горах и приехал один без жены и детей в Янину, где у него был свой дом с видом на озеро и на древнюю крепость, поросшую плющом.

В тот же день посетил его один грек, доктор Петропулаки. Он был знаком с ним еще в Константинополе, а когда Петропулаки, сам родом эпирот, переселился на житье в Янину, Гайредин-бей стал всегда прибегать к нему, когда кто в доме был нездоров. Они были очень дружны с Петропулаки.

Петропулаки был человек еще молодой и холостой; одевался он франтом; высокая шляпа его была по последней моде, и без перчаток он на улицу не выходил.

Доктором считался он знающим, воспитывался в Париже и Германии, приобрел много денег, несмотря на то, что Янина полна докторами, и любил повеселиться. Человек он был души не дурной и легко привязывался к тем, кого долго лечил; так полюбил он и семью Гайредина. Сверх того отец Гайредина, Шекир-бей, сделал

много пользы родным доктора во время прежних беспорядков.

Когда Петропулаки пришел к бею, первое дело стал он упрекать его за фустанеллу.

— Сними ты этот варварский костюм! — сказал он ему. — Человек ты образованный, а одеваешься как простой.

Гайредин, краснея, отвечал ему, что он только в Дельвино «носит простую одежду», а что в Янине он одевается по-европейски.

Доктор с чувством приложил руку к сердцу и сказал, закрывая глаза:

— Я тебя люблю и уважаю, Гайредин-бей, и прошу тебя... переоденься скорее. Ты знаешь, я человек крайне нервный, и фустанелла раздражает меня, особенно в человеке такой хорошей фамилии и столь образованном, как ты...

Гайредин переоделся; вместо расшитой тончайшим золотым шитьем куртки с откидными рукавами, вместо пышной фустанеллы и красных чарух* он надел серое пальто и брюки. Это платье было куплено им готовое у жида для представительности в Янине.

— Вот это дело другое, — воскликнул Петропулаки, — благодарю тебя за приязнь, бей-эффенди мой. Теперь я вижу пред собой человека, а не дикого зверя. Ты прости мне, я говорю это тебе, как другу; я и родные мои отцу твоему жизнью обязаны, быть может... Ни вы, албанцы, ни мы, греки, не пойдем вперед, пока последнюю фустанеллу не выбросит за окно мужик в самой отдаленной деревне. Посмотри, в Европе всякий хлебопашец так же одет, как консул или посланник... Все одно...

— Да, это, конечно, так, — отвечал Гайредин, — пора бы все эти закоснелые вещи бросить; я и в деревне ношу, потому что, знаешь, народу это приятнее...

Поговорили они еще по-приятельски и собрались вместе на свадьбу к Ишуа, — доктор во фраке, белом галс-

---

* Весьма красивая обувь.

тухе и круглой шляпе, а Гайредин — в сером пальто и феске.

Свадьбы в Янине празднуют и евреи и греки ночью.

На еврейских свадьбах гости жениха сбираются у жениха в доме и веселятся до полуночи, а в полночь с зажженными свечами идут в дом невесты. Выведут из внутренних покоев невесту; поставят ее вместе с женихом пред камнем, покроют их обоих белым покрывалом. Читается молитва; новобрачным дают пить вино; жених разбивает стакан о камень; мужчины кругом поют; к голове молодых прикладывают по нескольку раз живого петуха... Обряд кончен, и шествие трогается опять с зажженными свечами по тихим улицам. Музыка играет впереди; дети поют, пляшут и кричат вокруг музыкантов. Толпа идет медленно; невесту поддерживают под руки, она должна быть слаба, потрясена, убита... Она не смеет поднять глаза на веселую толпу...

В доме молодого опять все поют, едят, поют и пляшут до рассвета...

На свадьбе сестры Ишуа все было так, как бывает у других, но все было богаче и веселее.

На свадьбе, кроме доктора и бея, был еще французский консул и многие богатые греки и евреи.

Гайредин-бей сидел на диване в зале, между французским консулом и доктором Петропулаки, когда хозяин дома подошел к ним и спросил почтительно, не прикажут ли они плясать цингистрам.

— Как вам угодно, — отвечал французский консул.

И Пембе начала танцовать, звеня колокольчиками.*

Она плясала долго; выгибалась назад, кружилась и приседала, опять кружилась, и опять выгибалась назад как тростник... То шла медленно и скромно, нагибая бледную голову на сторону; то опять неслась, трепетала всем телом

---

* Строго говоря, танцовщицы, или, по-здешнему, *цингистры*, которые пляшут в Битолии и Янине, звонят не колокольчиками, а медными маленькими тарелочками, привязанными к пальцам.

под звон меди и вдруг остановилась пред консулом, улыбаясь и звеня.

Консул дал ей наполеондор. Она остановилась пред беем, и Гайредин дал ей две лиры; доктор с досадой и презрением вынул пять франков.

— Какой варварский обычай! — сказал он Гайредину. — Как могли позволить этим побродягам просить деньги у гостей!.. Пригласить на свадьбу и грабить!..

— Нет! — отвечал Гайредин, которому Пембе уже понравилась немного, — зачем же у бедняков отнимать хороший случай...

— Что̀ вы говорите, доктор? — спросил французский консул.

— Я ненавижу наше азиятство, наше здешнее варварство... — отвечал Петропулаки. — Что значит этот танец? Это может занимать каких-нибудь ремесленников или турецких солдат, а не нас... И вашему сиятельству вовсе не весело смотреть на такие презренные вещи после парижского кордебалета!..

— Нет, — отвечал французский консул, — я напротив того, люблю азятские вещие. Европа мне надоела... Когда я служил в Алжире и делал сирийскую экспедицию, я почти всегда, когда мог, одевался по-арабски. В вашей стране мне многое нравится...

— Ваше сиятельство слишком добры, — отвечал Петропулаки.

— Кордебалет мне надоел, — продолжал француз, — а этот танец имеет сходство с испанскою качучей или болеро...

— Конечно, — возразил, склоняясь, доктор, — сходство с болеро поразительное, но надо видеть Фанни-Эльслер, а не эту несчастную Пембе...

— Фанни-Эльслер в последнее время была очень толста... Tandis que cette petite morveuse de Pembé me semble...

— Не отрицая ее грации, я только говорю, что эти бледные лица не в моем вкусе.

— Это дело вкуса, — сказал консул. — Вы доктор и, конечно, материалист, а я люблю девушек таких, как эта Пембе, — бледных, болезненных и воздушных... Поди сюда, мое дитя... вот тебе еще деньги, купи себе хорошее платье и новый тамбурин.. Ah! la pauvrette! Elle est bien heureuse maintenant.

Доктор сказал консулу, что у него, должно быть, предоброе сердце.

— Vous le croyez? — спросил консул с презрением.

Гайредину было очень приятно, что такой просвещенный человек, француз и консул, хвалит Пембе. После этих похвал танцовщице и всему азиятскому он стал смелее.

Консул вскоре удалился. Гости пошли за невестой и привели ее.

После консула Гайредин был выше всех по званию. По его предложению, хозяин опять заставил плясать Пембе, которую отправили вниз есть со слугами. Когда она кончила и почтительно присела наземь пред ним, прикладывая руку ко лбу, он дал ей еще несколько золотых.

Уже стало светать, и с гор над Яниной подул прохладный ветерок, когда Гайредин-бей сел на лошадь, которую подвел ему его молодой араб.

Проезжая по двору, он в толпе слуг и гостей увидал Пембе; она сидела, пригорюнившись, на камне, и при утреннем свете лицо ее показалось бею еще бледнее и грустнее.

III

Месяца три Гайредин-бей не видал Пембе. Он жил в своем имении, сбирал деньги с селян, шутил с маленьким Иззедином (без ума любил он своего сына), ласкал свою жену. Поднимался с гор утренний ветер, он вставал, пил воду с вареньем, бил в ладоши, и араб приносил ему наргиле под деревянный навес балкона. Жарче и жарче грело солнце к полудню обнаженные холмы; громче и громче

пели тысячи цикад на высоких дубах, и дальние села утопали в знойном воздухе долин.

Наставал обед, и сон приходил своим чередом. Добрая жена вставала, когда молодец муж входил в гарем; она спрашивала его покорно: «что̀ угодно тебе, господин мой?» А когда муж просил ее сесть и обращался к ней с ласковою речью, добрая душа ее веселилась, и светлее становились очи. И она уже не рабой законной, а милой подругой говорила ему: «Что ты мало ешь, мой дорогой, моя душка! кушай, кушай на здоровье, ягненок ты мой, очи ты главы моей...»

А Гайредин, вздохнув вздохом счастья, отвечал ей, привлекая ее на грудь свою, «Ты, султанша моя, на радость дана мне Богом. Про тебя сказал пророк: „там юные девы будут глядеть скромными очами, девы, которых прелестей не осквернял никогда ни человек, ни дух, созданный из чистого огня. Они будут подобны гиацинту и жемчугу“».

Старый Шекир-бей любовался на них; приезжал не раз и тесть Гайредина, Абдул-паша, на лихом жеребце, с двадцатью молодцами. Кто пеший, кто на коне, все на подбор красовались за ним, во всю дорогу пели песни о том, как Гривас вышел в Эпир и как с ним и с его греками бились албанские мусульмане...

Долго бы так прожил Гайредин-бей и не увидал бы долго Пембе, если бы чрез три месяца не выбрали его в члены большого идаре-меджлиса,* который со всего вилайета сбирался в Янину судить вместе с пашой о делах.

Когда в Янину представили списки всех мусульман и немусульман, которых жители прочили в это присутствие, паша не совсем был доволен тем, что нашел в них имя Шекир-бея. «Не по сердцу мне эта албанская голова упрямая!» — сказал он; а вычеркнуть его имени из списка не хотел... Однако слова эти слышали люди, и они дошли до Шекир-бея; Шекир-бей сказал сыну:

---

* *Идаре-меджлис* — административный совет нового устройства.

— Пускай лучше тебя занесут в списки. Ты человек молодой и лучше моего обойдешься с ними; а я вместе с пашой народ обманывать не хочу. Мне дороги не нужны, я и без дорог проживу хорошо. А им нужны дороги, чтобы войска водить на греков и на нас, если которые из нас вспомнят о старой свободе албанской. Пусть отрывают народ от работ полевых и гонят камни ломать, дорог они хороших не построят; придет осень, побегут ручьи, и вся дорога их грязью станет, по которой лошадям труднее будет ходить, чем по камням; а народ от работ оторвут, и будет селянин проклинать опять власть султана; и восстанет опять, когда тот, кому следует, скажет ему: «восстань!» А мы, албанские толстые головы, опять за него будем биться и жен, и детей наших сиротами оставим.

Когда узнал народ, что не старик поедет в Янину на совет, а Гайредин, многие пожалели. Иные, не только из албанцев, но и христиане говорили: «что̀ Гайредин!»

А другие сказали: «что Гайредин, что старик, все равно. Люди они оба хорошие; а житья нам лучше не будет, сколько советов ни собирай».

А сельский учитель, грек, который прожил три года в Афинах, сказал деревенским грекам еще хуже:

— Гляжу я на вас и дивлюсь, какие вы все варвары, деревенские люди! Кажется, как бы не просветиться вам: скоро во всем Эпире не будет ни одного безграмотного грека; деревни ни одной нет без школы.. Знайте вы, чем хуже для вас, тем лучше! Такие беи, как Шекир-бей и Гайредин, для вас хуже всякого врага; потому что они честные и добрые люди, а вам нужны изверги, вам пытка нужна, чтобы в вас кровь заиграла и чтобы вы людьми стали. Добрый бей, честный паша — великое несчастье для греков!

Крестьяне над его словами задумались, и один старик сказал:

— Не бойся, учитель, и мы люди! И мы знаем, что мы греки, и с турками не помирят нас ни Гайредин, ни

Шекир-бей. А время наше не пришло, ты сам это знаешь...

В идаре-меджлисе нашлось много дела: распределение новых податей; разбор жалоб крестьян на беев и беев на крестьян, или жалоб крестьян на жидов и богатых греков, которые в последнее время скупили у иных беев *чифтлики*; рассуждения о том, где начать проводить дороги по ущельям и стремнинам гористого вилайета; турки янинские жаловались, что правительство не заводит им гимназии.

— Нам нужны прежде всего языки, — говорили богатые беи, — нам нужен турецкий язык, которого мы не знаем: это язык правительства, девлета; * нам нужен греческий язык: это язык здешних жителей; нам нужен французский: это язык европейского просвещения... Мы во всем отстали от греков. У греков были благодетели, которые разбогатели в России и Молдавии и завещали им миллионы на устройство школ в Эпире, а за нас кому же думать, как не падишаху? Но падишах не думает о нас; он строит себе дворцы.

— Падишах стал гяуром, — отвечали на это беям улемы. — Падишах празднует день своего рождения, как неверные короли. Всеми делами правят хитрецы Фуад и Аали-паша... Уж, слышно, жен и дочерей наших стали считать и записывать в списки их имена. В Эдирне́-вилайете** уж сделали это, и ни одна собака не решилась стать на пороге своего дома и обнажить меч на защиту святыни своего гарема.

Умы были давно в волнении; в Крите греки уже подняли знамя восстания; в народе ходили ложные слухи о том, что русские уже двинули несметные войска к Дунаю, что сербский князь скоро нападет на Боснию, что Черногория готова к бою, будто Франция помогает России и увозит на своих пароходах семьи греков из Крита, чтобы легче и успешнее было грекам лить мусульманскую кровь.

---

* *Девлет* — государство.

** *Эдирне* — Адрианополь.

«И тут гяур, и здесь гяур!» — говорили турки. «Приходит конец царству правоверных, и Врата Блаженства (Царьград) скоро будут отверсты для свирепых псов Московии!»

Вздыхали радостнее старые греки в неприступных селах горных округов и, поднимая глаза к небу, говорили: «Да здравствует Россия, надежда наша! Да здравствует единственный столб православия в міре! Россия дала нам не только свою поддержку, она спасет нас, нечастных, от турка!»

Старуха, слушая мужа, шептала молитву Божией Матери, а сын, молодой *паликар*, сверкая очами, уже хватался за рукоятку ятагана.

Албанцы одни из всех жителей Эпира оставались непроницаемы; необузданная, молодецкая воля ждала молча слова богатых дворян, вождей своих, и вымолви вожди это слово, без разбору полилась бы и христианская, и турецкая кровь...

— Пойдешь со мной на султана в Константинополь? — сказал когда-то один грек своему знакомому албанцу.

— В ад пойду! — отвечал албанец, обнажая нож, — скажи только, сколько лир золотых ты мне дашь за это?

В такое-то трудное время пришлось Гайредину заседать в идаре-меджлисе янинском.

Феим-паша, черкес, председавший сам в этом совете, был человек блестящего ума и высокого светского воспитания. Он был не раз послом при европейских дворах, имел ленты Св. Анны, Почетного Легиона и Меджидие. Жизнь его была исполнена событий. Рожденный в глухом кавказском ауле, он был продан родными за тысячу пиастров одному могущественному паше, который сражался в 20-х годах в Греции, был разбит, взят в плен греками и отпущен ими с отрезанными ушами.

— Живи, зверь, — сказал ему тот капитан, который отсек ему уши, — живи, зверь, и помни, что̀ такое эллин! Мы хотим, чтобы младенцы ваши трепетали в утробе турчанок, когда произнесено будет слово «эллин». Живи!

И старик жил долго и помнил греков.

С ранних лет Феим-черкес всосал ненависть ко всему, что носит имя грека.

Ребенком Феим был красив, умилен, смел и хитер. Старый паша, воспитавший его, звал его «сыном» и гордился им. Он вывел Феима на дорогу, женил его на девице султанской крови и скончался на руках его. Феим шел вперед уже сам. Сорока шести лет он был уже великим визирем и пал лишь потому, что не сумел угодить французскому послу. Тогда ему дали вилайет и приказали мудро сочетать осмотрительность с энергией. С этим общим правилом и он был согласен, но Фуада и Аали, низвергнувших его, он ненавидел и не слушал и, уверенный в личной силе своей, не раз рвал в клочки их предписания.

Возмущенный влиянием французов на дела Турции, он, после падения своего, соединился с тою старою турецкою партией, которая ненавидит реформы в пользу христиан, не зажигает плошек на минаретах в день рождения султана, мечтает вырезать всех греков и болгар, но считает их и русских все-таки выше франков за то, что они не исказили, как исказили франки, данных им свыше книг. Феим-паша соединился с партией, которая неуклонно содержит Рамазан, не пьет вина и говорит, что Турция гниет с того ужасного дня, когда султан Махмуд обагрил цареградские камни кровью великих янычар.

Партия эта, не видная и слабая в мирное время, может еще стать ужасною в смутную годину и под рукой просвещенного вождя.

Феим-паша соединился с этой партией, несмотря на то, что говорил по-французски как парижанин, несмотря на то, что был послом в Вене, Петербурге и Лондоне, несмотря на то, что у него было в течение его жизни две жены из христианок, одна гречанка, которая задушила в ванне его араба-евнуха из-за гаремной распри, а другая — француженка, которую он сам раз едва было не убил: так нестерпим был ее буйный нрав; несмотря, наконец, на то, что любил стихи Байрона и романы Жорж-Занда.

Прибыв к своей новой должности, на которую он смотрел как на изгнание, Феим-паша держал себя с недоступною гордостью, смеялся над Фуадом, сочинял стихи на французов, ласкал ходжей и ездил на поклоны к старому шейху, который в городе считался святым. Во время Рамазана паша ел и курил днем, но только запершись даже и от жены своей и доверяясь лишь одному слуге своему, армянину.

С греками он обращался сначала холодно, но не дерзко (он не забывал осторожности); французского и австрийского консулов он принял в туфлях и получил за это выговор из Царьграда; с английским обошелся крайне почтительно, но сдержанно; а русского, назло Фуаду, принял с распростертыми объятиями, шутил и смеялся с ним, не выпускал от себя часа два и даже, провожая его до дверей, сказал ему с радушием: «Croyez moi, mon cher consul, qu'un russe et un turc s'entendrons toujours mieux entre eux qu'avec ces messieurs'là... Nous sommes plus larges, plus genereux, moins mesquins...»

— К тому же, — прибавил он. — я ведь земляк вам, кавказец.

Француз и австриец выходили из себя.

Таков был Феим-паша, черкес. Когда Гайредин-бей в первый раз представился ему, паша принял его сначала гордо и сухо, сурово и рассеянно; приложил руку к феске в ответ на его почтительный поклон; не пошевельнулся с кресла и молча указал ему на дальний диван. Гайредин сел. Паша позвонил; спросил себе чубук, а Гайредину не предлагал даже ни папиросы, ни кофе; занимался при нем долго делами, звал дефтердара и отпускал его, звал муавина, звал мехтубчи-эффенди,* прикладывал печать и только мимоходом, между двумя телеграммами, из которых одну он с презрением бросил на диван (она была от

---

* *Дефтердар* — казначей, *муавин* — помощник, вроде чиновника по особым поручениям; *мехтубчи* — правитель канцелярии вилайета.

Аали-паши), спросил у смущенного и оскорбленного албанца:

— Как здоровье вашего отца?

Скоро после этого вопроса вошел в белой чалме мюфетишь, по новому уставу председатель и глава всех судов вилайетских, полудуховный сановник, назначаемый самим Шейх-уль-исламом. Паша стремительно кинулся ему навстречу, не дал ему прикоснуться к своей поле и прикоснулся, низко нагнувшись, сам к его халату, посадил около себя с тысячами приветствий и поклонов, ударил в ладоши (колокольчика он не тронул) и приказал скорее подать воды с вареньем, кофе и два чубука.

Гайредин встал, поклонился и вышел глубоко оскорбленный.

— Кто этот мальчик? — спросил мюфетишь.

— Новый член нашего идаре-меджлиса, албанский бей, из старой и богатой семьи...

— Каких молодых стали выбирать! Ему не больше двадцати двух лет, — сказал мюфетишь.

— Нет, я думаю, больше. Он кажется молодым, потому что белокурый и бреет бороду.

— Странный народ эти албанцы, — заметил мюфетишь. — С виду точно греки в фустанеллах, а у них свой язык.

— И своя вера, — отвечал паша с презрением, — или, лучше сказать, у них нет ни веры, ни совести. В других частях Албании они ставят свечки в христианских церквах и держат посты, как гяуры, там обрезываются, как мы, и празднуют Рамазан, а здесь все *бекташи*,* скрывают свои обряды и пьют вино как свиньи. На этот варварский народ надеяться нечего...

— Дикий народ! — со вздохом согласился мюфетишь.

---

* *Бекташи*, — так иногда зовут истые турки ту ересь, к которой привержены многие албанцы и которая сходна с ересью персидских *шиитов*.

IV

Не прошло и недели после разлуки Гайредин-бея с его гаремом, как доктор Петропулаки позвал его на холостую вечернюю пирушку. С тех пор как французский консул похвалил Пембе, и доктору она стала больше нравиться, он позвал цыган на свой вечер. Цыгане эти, с которыми ездила Пембе, знали немного и европейскую музыку. От захождения солнца и до утренней зари не умолкали скрипки, кларнеты и тамбурины в просторном доме доктора. Все веселилось; были тут корфиот, золотых дел мастер, Цукала́, который звал себя археологом, были двое консульских драгоманов, был один родственник доктора, молоденький афинский студент, щеголь такой, что в Янине и не видали еще. Он приехал в отпуск к отцу и на всех смотрел свысока. Был еще один пожилой член того же меджлиса, в котором приехал заседать Гайредин, семейный и умный человек, кир-Костаки Джимопуло. Он и золотых дел мастер оживляли всех; только старик, рослый, крепкий на вино и осторожный, удивлял всех достоинством, с которыми он умел пировать и шутить, а Цукала опьянел сразу и стал как исступленный. К утру Гайредин-бей был без ума от Пембе. Проплясала она раз и, звеня колокольчиками, уж не просто остановилась перед беем, как на еврейской свадьбе, а села, улыбаясь, на его колени. Бей смутился немного, особенно, когда все закричали «браво!» Он дал ей золотой, она сошла с его колен, прошлась еще раз кругом комнаты и села к старику; старик тоже скоро отпустил ее. Так она обошла всех поочередно; но когда дошла очередь до студента, то он долго держал ее и твердил ей: «Пембека моя! Пембула моя! Как ты мила!» Он говорил ей это по-гречески, а она кроме «благодарю» да «здравствуй» по-гречески ничего не знала. Этим бедный мальчик так надоел ей, несмотря на то, что был очень свеж и красив, что она другой раз во весь вечер не подпускала его к себе и говорила ему: *гид*! *гид*! (Ступай вон!)

Все уже были выпивши; выпил и Гайредин, но настолько чтобы не забыться, а лишь повеселеть. Джимопуло подавал всем пример веселья. Он приказывал, чтобы слуги доктора прежде всех подавали сладости и кофе, и вино Пембе, как делают европейцы с дамами.

За ним и доктор, надев лорнет, пытался быть любезным; студент становился пред цыганкой на колена, несмотря на то, что она кричала ему «гид! гид!»

Цукала был вне себя; он кидался из угла в угол, плясал пред Пембе, с разбегу вскакивал на диван и соскакивал с него, декламировал пред Пембе трагические стихи:

Где ты? Где я? Огонь и кровь! О ужас!..
О ужас дней моих и жизни преступленье!
Томись, душа моя, в безвыходном томленье!
Вонми!..

Пембе слушала с насмешкой и прикладывала руку ко лбу и сердцу. Так и видел бей на лице ее: «какой чудак этот гяур!» Внимательна Пембе была только к хозяину дома, к Джимопуло и к Гайредину. Гайредин как увидал, что все с ней шутят и обращаются нарочно, как с госпожой, ободрился тоже и забыл свою мусульманскую скромность. Она отдыхала на диване, он сел около нее и спросил у ней, зачем она гонит студента. «Красивый мальчик», — сказал он ей по-турецки. Кроме Джимопуло и двух драгоманов никто этого языка не знал, а они все трое ушли в другие покои.

— Зачем ты гонишь этого мальчика? — спросил опять Гайредин.

— Мальчик, — отвечала Пембе.

— Чем моложе, тем лучше, — сказал Гайредин.

— Нет; я таких молодых не люблю, — сказала цыганка. — Те люди, у которых борода растет, больше знают.

Что̀ за угрюмое и что̀ за усталое лицо было у ней, когда она так льстила Гайредину.

— У старых больше денег, — сказал с усмешкой бей.

— Я не деньги люблю, а человека! — отвечала Пембе.

— Не деньги? — сказал бей; — а если я тебе новое платье сделаю, ты будешь рада... не лги!

— Сделай, — отвечала она, — это уж старо. Да еще мне курточку золотую нужно.

И все говорила она тихо, не спеша, и в глаза ему глядела, точно тоскуя или болея от усталости и пляски.

Недолго просидели они одни; Цукала прибежал как безумный, крича: «Evviva! Да здравствует наш добрый бей!» и закрыл его вместе с Пембе полотняною покрышкой с дивана. Пембе хотела было оттолкнуть его, но бей тихо удержал ее и под полотном приблизил губы свои к ее губам. Пембе поцеловала его крепко, а потом сбросила полотно и сказала:

— Цукала, ты что? с ума сошел сегодня...

— Zito! да здравствует Пембе-ханум! — закричал археолог, поднимая бокал...

— Zito... Пембе! — кричал студент.

— Греми музыка в честь бея! — воскликнул хозяин.

Музыка заиграла, бокалы поднялись и чокнулись.

— Zito Пембе! — закричали все греки.

Пембе́ благодарила всех, не смущаясь.

За ужином Пембе сидела с господами, а других музыкантов и старуху, тетку ее, которая играла на тамбурине, отправили вниз есть со слугами. Часовщику пришла мысль посадить Пембе за стол; доктор взял ее сам под руку и повел вперед. Пембе немного испугалась и, отталкивая его, озиралась и спрашивала:

— Не вар? Не вар? * Куда он меня ведет?..

Гайредин, смеясь, успокоил ее, и как только она поняла, что от нее ничего не требуют, а хотят лишь величать ее, тотчас же приняла опять свой задумчивый и суровый вид. Детская непринужденность ее обращения снова во все

* «Что такое? Что есть?»

время ужина пленяла Гайредина. Хозяин посадил ее около бея; Джимопуло сам накладывал ей кушанья; советовал ей кушать руками, не стесняясь: «мы люди старые, не брезгаем этим, а молодые простят тебе это за твои чорные глаза», — говорил старик. Но Пембе ничего не ела; раз взяла пальцем немного мозга из головы барашка и чуть касалась губами вина, которое ей беспрестанно предлагали. Она все время глядела на Гайредина и улыбалась, когда он улыбался ей.

— Паша мой! — сказала она ему наконец тихо, под звук стаканов и шум разговора, — паша мой! а паша мой?

— Чего ты хочешь? — спросил Гайредин.

— Люблю тебя! — отвечала Пембе.

Гайредин покраснел и с радостью заметил, что никто не слыхал ее слов.

— Паша мой, — сказала Пембе, — я больна, кузум,* — паша мой.

— Чем же ты больна, дочь моя? — спросил Гайредин.

— Лихорадка давно у меня; оттого я так худа. Потрогай мои руки, паша мой, видишь, какие они нежные. Я прежде не была так худа. И после, если пройдет лихорадка, я стану опять красивая и толстая.

Слов Пембе не слыхал никто, но движение бея, когда он взял руку Пембе, не скрылось от других гостей.

— Наш бей идет вперед! — закричал хозяин дома. — Люблю бея, который умеет устраивать дела свои! Да здравствует бей! Zito! Да здравствуют албанцы, друзья наши!

Все греки закричали «Zito», и Гайредин благодарил греков и за себя, и за народ свой.

— Постойте, — сказал Цукала, встал, простер руку и начал так: — Албанцы, добрые соседи греков, издревле обожали свободу, подобно нам. Албанцы, по моему взгля-

---

* *Кузум* — по-турецки барашек, ягненок; ласкательное слово, которое не только турки, но и христиане, особенно женщины, часто употребляют на Востоке. Слово это у них звучит очень душевно.

ду, не что иное, как древние пелазги. Эллины, устремившись с востока гораздо позднее...

— Довольно, — заметил Джипомуло, — избавьте нас теперь от археологии и политики. Здесь у нас другие заботы. Я вижу, что Пембе ничего не кушает. Выпьем лучше еще раз за здоровье Пембе и пожелаем ей долго жить, расти и выйти замуж за здорового молодца вот с такими плечами... Живи, моя бедная девушка! — прибавил старик и погладил Пембе по головке.

Все стали опять пить за здоровье цыганочки, которая очень почтительно и прилично благодарила всех, но сама от вина опять отказалась.

Цукала не хотел успокоиться; он был совсем пьян и предложил тост за православие, который всеми греками был принят с восторгом, кроме Джимопуло и одного из драгоманов (австрийского); они переглянулись; драгоман пожал плечами, а Джимопуло встал и хотел сказать что-то, но греческий драгоман, пламенный молодой корфиот, выпив свой бокал, произнес:

— Да здравствует православие! Пусть оно идет вперед, развивается на погибель всем врагам своим!.. (Он взглянул с дружескою насмешкой на своего австрийского товарища.)

Все еще раз выпили, вставши; и Гайредин, и Пембе тоже встали и приложили бокалы к губам.

Разгоряченный вином, криками и музыкой, которая в это время опять заиграла, корфиот хотел продолжать свою речь о православии (скрытый смысл ее понимал всякий), но Джимопуло возвысил голос и сказал твердо, внятно и внушительно:

— Мне кажется, мы больше окажем уважения и преданности святой религии, которую исповедуем, если не будем упоминать о ней на пирушке.

Все замолчали, и ужин кончился уже без новых политических намеков.

Во время ужина под столом Гайредин несколько раз клал в руку Пембе золотые монеты, так что к рассвету у

нее собралось столько денег, сколько нужно бедной девушке в Турции на приданое.

Она шопотом благодарила его и клала деньги в карман своей курточки.

— Зачем же ты пляшешь так много, когда ты больна? — спросил он ее тихо, пока греки шумели и спорили.

— Хлеб нужен, милый паша мой; тетка меня бьет, когда я не пляшу.. — отвечала она.

Уже рассветало, когда кончилась пирушка. Все гости, кроме Гайредина и старого Джимопуло, были так пьяны, что слуги развели их по домам; а хозяин уснул на диване, не простившись с гостями.

Джимопуло и Гайредин вышли вместе пешком. Слуги их шли вперед с погашенными фонарями; заря занималась уже над горою. В домах просыпались, и из старых гречанок многие уже вышли на пороги жилищ своих с пряжей и шитьем. Очаги начинали дымиться; в дальнем лагере слышался рожок, и одна молодая христианка, больная, бледная и грустная, вынесла на улицу своего ребенка и стала качать его в люльке.

Проходя мимо нее, Гайредин сказал старику Джимопуло:

— Как рано трудятся эти люди!

Бледная женщина подняла на них усталый взор и сказал с досадой:

— Что ж делать! мы не беи и не купцы, нам гулять некогда...

— Правду она говорит, — сказал Гайредин.

— Правду говорит, — сказал Джимопуло. — И хорошо делает бедный народ наш, что трудится. Ему нужны спокойствие, мирный труд, промышленность и школы, и большой грех берут на душу те люди, которые хотят увлечь греков несбыточными надеждами. Несчастные критяне! Несчастные будем и мы, если последуем их примеру или словам таких дураков, как этот корфиот...

— Да! — сказал Гайредин, — час он выбрал нехороший, чтобы пить за вашу веру.

Джимопуло проводил бея до дверей его дома и простился с ним. Уходя, он напомнил Гайредину, что спать им придется мало, потому что завтра будет меджлис...

— Будем проводить шоссе, — сказал он, улыбаясь.

— На бумаге? — прибавил, тоже улыбаясь, Гайредин.

— Наше дело бумага, — сказал Джимопуло. — Пусть другие разбивают скалы и месят грязь. Это дело самых больших людей и самых простых, а мы, ни самые большие, ни самые малые, должны заниматься бумагой...

Джимопуло так понравился Гайредину, что он просил его зайти, после отдыха, чтобы посоветоваться с ним о многом до заседания в меджлисе.

Спать Гайредин уже не мог; велел закрыть ставни и подать себе лампу, наргиле и кофе; заперся и, раздевшись, стал писать стихи.

Еще в Константинополе учил его персидской поэзии один старый турок, и еще тогда старик говорил ему: «читай, читай, мой сын, персидские стихи. Стихи великое дело! Стихи для души человеческой то же, что̀ пение птицы в саду. Человек-стихотворец, мой сын, сам уподобляется саду, наполненному душистыми цветами».

V

Дня через два после пирушки доктора Пембе пришла к Гайредину вместе с теткой и с одним скрипачом. Набелилась, нарумянилась, насурмила немного брови, надела новое лиловое платье с большими ярками букетами. По улице она, как следует турчанке, открытая не ходила, а всегда в *яшмаке** и чорном *феред же*.** Гайредин не узнал ее. Но только произнесла она «паша мой», как сердце бея уже забилось сильнее. Тетка сказала, что они пришли за

---

* *Яшмак* — покрывало, вуаль.

** *Феред же* — турецкий салоп.

обещанным платьем и золотою курточкой. Гайредин щедро одарил их, но просил не ходить в другой раз без зова, чтобы народ не заметил, и обещал через неделю пригласить их на пляску или к себе в дом, или на остров Янинского озера, где монастырь Св. Пантелеймона.*

Он не хотел сразу обнаружить много чувства. Его удерживали и стыд, и осторожность.

Всю эту неделю Гайредин прожил ожиданием. Один раз в течение этих дней проехал он с несколькими другими турками и с Джимопуло по тому бедному предместью, где жила Пембе в глиняной мазанке. На радость его, она стояла на своем пороге и поклонилась им. Старик Джимопуло поклонился ей вежливо, приложив руку к феске и спросил благодушно и шутливо о здоровье:

— Как твоя лихорадка, дочь моя? Молодой надо быть здоровою, — сказал он ей по-турецки.

Другие беи не обратили на это внимания, а Гайредин проехал вперед и чуть видно кивнул ей головой, даже не глядя на нее.

Под вечер он и все его спутники возвращались по той же дороге в город. Как только въехали в предместье, Гайредин пропустил всех беев и Джимопуло вперед, нарочно стал поправлять то узду, то стремя, и когда потерял их всех из виду за поворотом, пришпорил лихого коня своего и, гремя по скользким камням мостовой, понесся вскачь мимо бедной мазанки. Она уже ждала его у дверей.

— Добрый вечер, моя милая! — сказал он ей, не останавливаясь. — Прощай, до субботы!

— Добрый вечер, кузум-паша мой, — отвечала девушка, вышла за порог и провожала его долго глазами.

Увидев, что переулок пусть, он еще раз обернулся, и еще раз издали поклонился ей.

---

* В этом монастыре был убит знаменитый Али-паша Янинский. В монастыри на Востоке имеют обычай ездить не только на богомолье, но и для пирушек.

В субботу Пембе, по приглашению его, плясала на острове Янинского озера.

Гайредин хотел пригласить на остров всех тех греков, которые были на пирушке доктора, но Джимопуло отговорил его.

— Бей-эффенди мой! Немного будет нам добра от этих корфиотов... Пригласите лучше турецких чиновников. Это будет и вам, и мне полезнее. Теперь время смутное.

Гайредин послушался его. Пембе танцовала на острове с таким одушевлением и с такою выразительностью, какой еще не видал в ней никто. Она была уже не в прежнем старом платье, а в новом малиновом с восточными пестрыми разводами и в новой курточке, расшитой густо золотом и блестками; на бледной головке ее был газовый жолтый платочек с цареградскою бахромой удивительной работы.

— Хорошая девушка эта Пембе! Аферим, Пембе! Аферим,* дочь моя! — говорили турецкие чиновники.

Гайредин опять осыпал ее золотом. Дня через два после этого Пембе опять пришла к нему с теткой, благодарила его, поцеловала его руку и сказала, что после всех щедрот его у нее будет хорошее приданое и что на ней сбирается жениться тот музыкант, который играет на скрипке.

— Ты, паша мой, судьбу мою сделал, — говорила она и опять целовала его руку.

Гайредин только тут понял, как дорога она ему. Он начал уговаривать ее не выходить так рано замуж и обещал со временем или дать ей на приданое гораздо больше того, что̀ она собрала, или даже взять ее к себе в гарем.

Старуха-тетка только этого и ждала.

— Не нужно нам денег, — сказала она, — она тебя любит, во сне тебя видит. Только и говорит: «не господин он мне, он мне отец!» Возьми ее к себе в гарем. Она все знает и жену твою почитать будет как старшую сестру... Возьми ее, паша!

---

* Прекрасно! Хвалю!

На эту же ночь Пембе осталась ночевать у Гайредина.

С этих пор Пембе начала часто ходить к нему. Он стал оставлять ее у себя на целые дни. Настала осень, начались дожди, морозы и длинные вечера, затопились веселые камины. Гайредин не скучал с нежною баядеркой. С женою ему бывало много скучнее. Жена его была неразговорчива. Угощала его, кормила, подавала ему сама старательно чубук; хорошо смотрела за хозяйством; но не раз проходили целые дни в деревне, а он не слыхал от нее ничего кроме: «ба! как жарко!» либо «ба! как холодно!» А если случалось, что он ей говорил: «Сегодня жарко!» — она отвечала, важно покачивая головой: «Жарко. Лето теперь».

Не такова была Пембе. Смеяться сама она, правда, почти никогда не смеялась; изредка улыбнется Гайредину, когда захочет приласкаться, и скажет:

— Поцелуй же меня, бедную, паша мой...

Зато бей смеялся с ней много и над ней самой тешился, сердечно любуясь на ее ребячества.

Увидала она раз на улице сквозь решетчатое окно гарема разнощика сластей, что̀ зовется шекерджи. Помучила она бедного старика!

«Шекерджи!» — звонко кричит она ему из окна. Старик ставит подставку наземь, смотрит, «где зовут», а Пембе уж из другого, дальнего окна другим голосом: «шекерджи!» Смотрит и туда разнощик. Никого нет, никто не выходит покупать. Постоял и пошел. Опять кричат: «шекерджи!» Пембе опять его зовет, опять прячется, пока, наконец, старик начал проклинать и браниться. Тогда она послала купить у него петушков сахарных. Зимой, сидя с Гайредином у очага, Пембе то рассказывала ему о себе и о родных своих и о том, что̀ она успела видеть на детском веку своем, то забавляла его всякими расспросами.

— Паша, а, милый паша мой! — говорила она. — Правда это, милый паша мой, что которые турки свинину едят, так Бог их наказывает, и они по ночам свиньями становятся и бегают?

— Кто тебе это сказал? — спрашивал бей.

— Мне это Елена, другая танцовщица наша, христианка, говорила.

— Елена ничего не знает, кузум Пембе, она в школу не ходила. Как это может человек свиньей стать. Это детские слова, дитя мое!

— Смотри ты! — с удивлением воскликнула Пембе. — А я ведь думала, это правда. Елена сказывала, греки так все говорят... А я еще хочу тебе одно слово сказать, паша мой. Сказать?

— Говори.

— Греки все злые?

Гайредин смеялся.

— Отчего все? Есть и у них добрые люди, во всякой вере есть люди добрые.

— А кто добрый? Кир-Костаки Джимопуло добрый? Я так думаю, что он добрый. Увидит меня, кланяется: «доброе утро, говорит, Пембе».

— Костаки добрый, и другие есть христиане добрые. У меня мать была христианка, она тоже была женщина добрая, сладкой души, тихая женщина!

— Ба, что̀ ты говоришь! Твоя мать была христианка!

Гайредин рассказывал ей не раз, как мать спасла его отца, она сама просила сызнова все это повторить, и как только доходил Гайредин до того места, как его мать схватила под устцы лошадь сераскира, Пембе вскакивала и, хлопая руками, восклицала:

— Эй в'аллах! Простил султан! простил! Хороший был человек сераскир! Хорошая женщина была твоя мать! Эй в'аллах!

Видя ее радость, Гайредин с восторгом обнимал ее, и Пембе продолжала свои расспросы и замечания.

— Вот какой здоровый папас идет по улице. Здоровый папас! Борода большая какая! Взяла бы я его и зарыла бы в землю!

— За что? — спрашивал Гайредин.

— За то, что̀ он не нашей веры.

— Смотри ты, какая злая девушка! Ведь и он человек, и он в одного Бога верует. Ты таких худых слов не говори.

— Нет, ты, паша мой, скажи мне, зачем не все люди одной веры? Пусть бы все как мы были. Так я скажу: наш закон очень хороший. Жену ты свою любишь, и меня возьмешь в гарем и будешь любить. А у гяуров все одна жена. Старая, старая она станет; а он все любит ее. Дурной закон. Зачем это так?

— Аллах знает, что̀ нужно, — объяснил ей Гайредин, — он видит «как чорная мурашка чорной ночью ползет по чорному камню!»

— Это в книгах сказано?

— В книгах, — отвечал Гайредин.

— А! в книгах! — восклицала серьезно Пембе. — Прекрасные слова! Очень я люблю слышать хорошие слова.

Весь город знал о связи Гайредина с цыганкой; но виду ему никто не показывал. Только Джимопуло и доктору Петропулаки он доверялся сам; при них у него Пембе плясала и пела открыто. Она просилась совсем бросить свое ремесло и перейти на житье в его дом. Но он не хотел на это согласиться, не предупредив жену.

Пембе продолжала плясать по разным домам, а когда Гайредин задерживал ее у себя, тетка говорила всем, что Пембе больна.

Музыканты поправили свои дела, наняли квартиру получше и поближе к дому Гайредина; даже другие две танцовщицы-христианки, Елена и Мариго, оделись заново на деньги бея. Он и их ласкал и дарил, чтобы все жалели Пембе и уважали ее.

Доктор хвалил бея за эти дела и говорил ему:

— Жизнь есть везде, друг мой. Женщины есть и в гнусной Янине нашей. Надо уметь отыскать их. Я поклонник Эпикура и хвалю тебя за то, что ты умеешь наслаждаться прекрсным! Хвалю! хвалю! Клянусь тебе, что я хвалю тебя.

Джимопуло, напротив того, качал головой и говорил:

— Нехорошо!

Нехорошо было одно: Пембе возненавидели слуги бея. Сначала она и их забавляла: мешалась во все; считала кур

и уток; заглядывала в шкапы; сама ходила на колодезь за водой; люди смеялись. А потом она стала уж слишком часто посылать их туда-сюда. «Иди!» — говорила так повелительно. Иногда и в спину толкнет или за рукав дернет грубо. Больше всех невзлюбил ее Юсуф, молодой араб, который ходил за беем. Он и сам был сердитый и самолюбивый лгун. В кухне люди нарочно заставляли его рассказывать всякие небылицы, и он часто забывал сам, что̀ говорил день тому назад; то он нашел два года тому назад на ярмарке 5 000 пиастров и все их отдал взаймы добрым людям без расписок; то нашел всего 50 пиастров; то убил трех разбойников; то каялся, что сам с ними ходил на добычу; то он служил два года тому назад у английского купца-богача, пил с ним кофе, влюбил в себя его жену. «А муж что̀?» — «Муж хотел убить и меня и ее», — рассказывал он один раз. А другой раз говорил: «Где ему, дураку, знать! он не знал».

С этим Юсуфом больше всех поссорилась Пембе в доме бея. Сначала он ей льстил.

— Ханум!* — говорил он ей, угощая ее, когда она приходила раньше бея и скучала без него. — Ханум-эффендим! Возьмет тебя за себя наш бей, я думаю, что возьмет. Я тогда от тебя моей службой наживу много денег.

— Что̀ ж ты, дурачок, с деньгами сделаешь? — смеялась Пембе.

— Куплю баранов и пойду считать их в горы в большой новой фустанелле! Все позавидуют и скажут: «Аман! аман! Это ведь Юсуф! Другого нет у нас такого!»

Пембе доставала Юсуфу денег от бея, Юсуф угощал ее; все было сначала хорошо. Но как стала она посылать его беспрестанно то за халвой, то за сардинками, Юсуф начал обижаться и раз сказал: «довольно тебе есть да лакомиться! Надоела ты мне!»

Пембе пожаловалась бею, бей побранил Юсуфа; а Юсуф пошел везде рассказывать, что бей прибил его, че-

---

* *Ханум* — госпожа.

стного слугу, из-за Пембе, и что Пембе не девушка, а шайтан, дьявол!

Скоро чрез Юсуфа и до семьи Гайредина стали доходить о нем и о Пембе худые слухи.

VI

Жизнь восточных городов не шумна и не спешна. В Янине по улицам не гремят экипажи, и дома кажутся погруженными в непробудный сон.

Но кто хочет трудиться, найдет себе довольно дела и в этих странах. Гайредин-бей не был ленив. Пользуясь советами Джимопуло, которому не все было ловко говорить и делать самому, он приносил довольно много пользы, и паша стал гораздо внимательнее обращаться с ним. Однажды оставил он его у себя надолго и, раскрыв пред ним карту Эпира и Северной Албании, спрашивал его мнения о дорогах и о политическом настроении страны. Гайредин о духе населения отвечал уклончиво, но о дорогах говорил так хорошо, что Феим-паша пожал ему крепко руку и благодарил его. Почтительная скромность, благодушие и достоинство, с которыми держал себя молодой бей, стали тоже нравиться паше, и он даже раз сказал ему:

— Я бы вас где-нибудь мутесарифом* сделал.

Гайредин отвечал, что отец его уже стар и некому заниматься имением.

Другой раз паша хотел испытать его и сказал невзначай.

— Албанцы ваши, я думаю, не забыли времен Гионни-Лекка и другие восстания.

— Времена Гионни-Лекка от нас далеки, паша, господин мой, — отвечал бей.

— Не так далеки! — сказал паша.

---

* *Мутесариф* — губернатор; ниже, чем *вали* (генерал-губернатор, наместник).

— А времена Гриваса еще ближе, паша, господин мой.

— Конечно, времена Гриваса ближе! — согласился паша, не сводя глаз, и отпустил его ласково.

Времена Гриваса казались точно близкими. Империя опять стояла на краю гибели. В Крите упорнее прошлогоднего стояли гордые греки за свои попранные права. Один паша сменял другого на обогренном кровью острове; войско за войском слали турки в Крит; но бунт не утихал, и дерзкие пароходы выбирали самые бурные дни, чтобы быстрее ветра уходить от султанской эскадры и везти подмогу непокорным. Афины кипели, взоры государственных людей всего міра были устремлены с беспокойством и вниманием на Эпир. Турки везде думали видеть измену и подкопы и ожесточались сильнее и сильнее...

Легче и легче дышал отважный грек на высоких стремнинах Эпирских гор. Уже в округе Аграфы показались клефты...

Целый пикет турецкий в небольшой горной казарме вырезали ночью греки и скрылись. Раздражение росло.

Феим-паша не падал духом; напротив того, он стал спокойнее и как будто ждал с радостью волнения, чтоб иметь отраду жестоко подавить его своею рукой.

Однажды Гайредин-бей поздним вечером сидел один у очага и читал цареградские газеты, спрашивая себя: правда ли все это, что̀ пишут в них, правда ли, будто Пруссия, Америка и Россия решились изменить весь строй Европы. Он спрашивал себя, что̀ станется с его дикою родиной, свободна ли будет она, поделят ли ее соседи, если Вратам Блаженства (Константинополю) суждено пасть. В двери постучался поздний гость. С удивлением велел бей Юсуфу впустить его и увидал старика Джимопуло. Он сам нес фонарь, платье его было мокро от дождя.

У Джимопуло был молодой брат, патриот и писатель, который долго жил в Корфу и печатал пламенные статьи против Англии и Турции. Еще юношей, в Корфу, во время протектората, он один из первых кинулся на протестант-

ского священника, который у раки Св. Спиридона осмелился смеяться над мощами и просвещать по-своему народ. Молодой Джимопуло один из первых кинулся на проповедника, разорвал ему одежду, и когда тот успел скрыться в крепость, он был один из тех, которые весь день осаждали ее, требуя выдачи дерзского попа. Он был замечен англичанами, и хотя лорд-комиссар и сделал все уступки корфиотскому народу, изгнал священника и прибил везде объявления о том, что отныне будет строго охраняться святыня народной веры греков, но молодой энтузиаст остался у него на худом счету и скоро покинул Корфу.

Младший Джимопуло имел греческий паспорт и с ним, немного спустя после разгара критского движения, являлся не раз в Эпир, исчезал и являлся вновь. К его несчастию, турки имели основание не признавать его греческим подданным и следили за ним зорко. В тот вечер, когда старший брат его пришел к Гайредину, он узнал, что его обвиняют в сношениях с «разбойниками» (так звали турки народ, поднявшийся в Аграфе). Надо было спешить; старший Джимопуло, который всегда держал себя вдалеке от восторженного брата, но любил и жалел его по узам крови, не теряя присутствия духа, решился спасти его. Гибель энтузиаста была бы бесплодною жертвой для родины. Живя на свободе, он мог еще потрудиться для нее и пером, и словом, и рукою.

Джимопуло̀ не сказал Гайредину, что̀ брат его *сделал*, сказал лишь, в чем его так жестоко и несправедливо подозревают. Гайредин понял его.

Албанец верен другу и любит все лихое. Недолго думал Гайредин, послал Юсуфа за шампанским на другой конец города, призвал сеиса-грека, велел ему снести к младшему Джимопуло албанскую одежду и записку, которую написал ему брат дрожащей рукой, умоляя ее сжечь, и чрез полчаса молодой Джимопуло уже был тут и с жаром благодарил бея.

— Мы друзья с вашим братом, — отвечал добрый Гайредин.

Юсуф вернулся с шампанским раньше, чем ожидали. Гайредин заранее уже спрятал молодого грека, вышел, как бы не нарочно, сам навстречу Юсуфу и послал его в другую лавку за сардинками.

— Лавки заперты, — сказал Юсуф.

— Иди, осел, — сказал ему бей, — и пусть отопрут. Перелезь через забор и стучись в заднюю дверь. А если не принесешь сардинок, не жди от меня добра.

Юсуф с негодованием потряс одежду на груди своей и сказал себе: «Опять эту цыганку кормить и поить он хочет!»

За сардинками Юсуф ходил полтора часа; с сердцов зашел еще в одну кофейню; курил там долго, пил и пел, как «Юсуф-араб воевал»; смешил греков и, наконец, вздохнув, встал и сказал:

— Судьбы у тебя нет, Юсуф. Все у тебя есть: судьбы только нет.

Когда он вышел из кофейни, радуясь, что Пембе голодна и ждет сардинок, младший Джимопуло был уже далеко.

В албанской одежде, на лошади бея, и с одним только провожатым греком, скакал он в темноте по камням до той горной деревни, где надеялся найти друзей. Сто раз и он и слуга бея были на краю гибели; лошади скользили по стремнинам; луна светила слабо сквозь дождливые облака; но к утру они были уже на месте, и когда беглец хотел дать денег сеису, тот сказал ему с упреком:

— Вы за что̀ хотите дать мне денег? Я рад и тому, что христианскую душу спас. Наш бей и турок, а пожалел вас; что̀ же, скажите, хуже мне турка быть? Я, слава Господу Богу, сам христианин православный. А вам я желаю, господин мой, доброго пути!

От села до села добрался осторожно младший Джимопуло и до морского берега и, чуть живой от качки и волнения, переехал на рыбачьей парусной лодке в Корфу.

Юсуф принес домой сардинки со страхом. «Ну, как даст он мне добрый кулак!..» — думал он. Но у бея все

были веселы; сам бей читал газеты у камина с Джимопуло и смеялся.

— Молодец Юсуф, — сказал Джимопуло. — Сказано, араб-ага! Такого нет в Янине другого. Открывай сардинки и пробку пусти на воздух.

И бей не сказал ничего Юсуфу; только велел не отлучаться ни на минуту от дверей, чтобы не ходить звать его, когда будет нужно.

Джимопуло посоветовал бею распорядиться так, а то Юсуф заметит, что лошадей и сеиса нет.

Когда Джимопуло ушел, Юсуф уже был так утомлен, что заснул на месте, а сеис вернулся на рассвете и убрал лошадей.

Через два-три дня на квартире младшего Джимопуло был обыск, его требовали в Порту. Греческий консул протестовал, основываясь на том, что младший Джимопуло не райя, а греческий подданный. Старший брат на вопрос паши отвечал, нимало не смущаясь, что он не знает, где брат, но полагает, что он должен быть в стороне Загор, потому что три дня тому назад он поутру зашел проститься с ним и еще спрашивал у него, «сто́ит ли брать для такого малого путешествия паспорт от греческого консула». «А я, паша, господин мой, сказал ему, что не сто́ит».

— Это было не совсем правильно, — заметил мрачно паша.

— И неправильно, и неразумно, — ответил Джомопуло, улыбаясь и не сводя глаз с грозного правителя. — Неразумно, потому что, зная молодость и шальную голову моего брата, я должен был бы поберечь себя и заставить его взять паспорт... Но он обманул и меня!

— Не беспокойтесь, — сказал паша благосклонно. — Мы знаем и вас и вашего брата!

И отпустил его.

В Загорах младший Джимопуло не отыскался. Греческий консул тоже не мог найти его и удивлялся, что он не взял паспорта.

Старший брат везде отзывался о беглеце сухо, и вскоре верный человек доставил в Порту секретное письмо Костаки к брату в Корфу. «Любезный друг и брат мой Маноли, — писал он, — с грустью узнал я о том, что ты обманул меня и тайно бежал в Корфу. Мне кажется, ты бы сделал лучше, если бы взял тескере в Порте. Ты бы должен был подумать и о моей семье, которая тебе всегда оказывала столько дружбы и братской любви. Ты знаешь, я не разделяю ваших мечтаний о „великой идее". Конечно, в Турции неправосудия еще много; подати местами обременительны; заптие грабят тайком народ; таково положение дел во всей Турции; в Эпире сверх того селянин не имеет собственности и состоит до сих пор в вассальных отношениях к беям. Но и Турция идет вперед; народу нашему необходимы цивилизация и мирный труд; покорностию султану и благоразумною защитой наших прав мы скорее достигнем благоденствия, нежели восстаниями и кровавыми жертвами. Не верь, дорогой брат, в торжество несчастных критян; против них вся Европа, и одна единоверная Россия не может вступить в ужасную борьбу со всем міром для того, чтобы поддержать их. Поверь мне, я лью горькие слезы над судьбой моих соотчичей; но для того, чтоб я мог пожертвовать дорогою семьей моей и моим благоденствием, я должен верить в будущее...

Когда ваша „великая идея" восторжествует, не скрою, я буду рад. И во мне течет кровь мильтиадов и аристидов! Но теперь я служу султану, я получаю деньги за мой труд, и поверь мне, что и на этом поприще можно делать добро своему народу. Ты молод и полон энтузиазма; я стар, имею семью и лично от турок, кроме добра, ничего не видал. Пред неожиданным побегом твоим, который, без сомнения, компрометировал и меня, ты просил у меня денег для ваших предприятий; я отказал; ты просил пожертвовать, по крайней мере, для жен и детей критских, для этих невинных созданий, которые терпят нужду и голод в Греции, — я не могу решиться и на это: если турецкое начальство узнает это, оно не поверит чистоте моих наме-

рений и скажет, что я жертвую не для жен и детей критских, а на оружие и продовольствие бунтующим!»

Затем следовало прощанье, поклоны и просьбы не писать, чтоб еще более не компрометировать родных. Потом было несколько похвал паше...

Паша прочел это письмо при нескольких приближенных своих.

Турки слушали с напряженным любопытством. Старый дефтердар был очень доволен и воскликнул с уважением:

— Умный, очень умный человек!

— Да! очень умный человек, — отвечал паша с улыбкой. — Такой умный человек, что верно это письмо не случайно попало в наши руки! И невинным женам, и детям критян он, конечно, найдет средство послать деньги.

— Однако это только думать можно, — возразил старик, — а доказать нельзя.

— Очень жаль, что доказать нельзя, — сказал паша.

И велел отправить письмо по адресу, и к Джимопуло не только не только не переменился, но стал к нему еще внимательнее. Джимопуло и это заметил.

VII

Незадолго до Рождества у турок начался Рамазан. Гайредин собрался посетить свою семью. Простившись с Пембе, молодой бей тронулся в путь; до имения отца было двое суток езды; ночи были зимние, длинные; по горам надо было ехать шагом, под дождем; надо было сидеть в грязных, холодных хатах до рассвета; в хатах не спалось; очаг дымил; ветер рвал ставни с окон, врывался в щели и разносил дым по комнате.

Всю ночь бей курил, пил кофе и думал о Пембе.

«Уговорю ли я жену взять ее в гарем и жить с ней мирно».

Он несколько боялся своенравия Пембе; но зато вспоминал, что она умна, а жена, думал он, сговорчива. Иног-

да, оставаясь один, вспоминал о ребячествах Пембе: «Она будет тешить жену, и жена будет хорошо жить с ней!» — думал он, радуясь.

То вспоминал он Иззедина, вспоминал, как Иззедин еще два года тому назад был мал, говорил дурно и, показывая пальцем на луну, звал ее к себе. А теперь Иззедин каждый вечер бежит баранов считать, играет с ягнятами и просит уже, чтоб ему купили ятаган.

С такими веселыми мыслями легки показались ему и тягости зимнего пути.

Когда он приехал, отец дал ему ласково поцеловать свою руку, пригласил сесть и велел сам подать ему наргиле. Заметил Гайредин только одно: старик посмотрел на него исподлобья, когда сказал ему: «Я думаю, ты весело пожил в Янине?»

Уж не узнал ли он про Пембе?

Все были рады Гайредину в доме: жена, дети, слуги... Весь дом оживился и поднялся встречать его. Пока он шел по лестнице, сколько рук хватали его руку и целовали ее, поздравляли с приездом! Две прислужницы, молодые гречанки из соседнего села, которые мыли белье на гарем его, и те подошли стыдливо к руке его и сказали:

— Живи, господин наш, живи до глубокой старости!

Они благодарили его за подарки, которые он, по природной доброте своей, еще прежде прислал всем слугам.

Собравшись с духом, он сказал наутро жене своей о том, что хочет взять к себе танцовщицу. Эмине-ханум, ни слова не говоря, заплакала.

— О чем ты плачешь? — спросил тронутый бей.

— О горькой судьбе моей плачу! — отвечала жена.

— Какая же твоя судьба? — сказал Гайредин с досадой.

— Судьба моя горькая! — отвечала Эмине-ханум.

И больше ничего, кроме рыданий, не слыхал от нее Гайредин целый день.

Все веселье Гайредина пропало; уж и мальчика он не рад был видеть. Вздыхал, оставаясь один, и отец стано-

вился ему в тягость, когда звал его говорить о хозяйстве или политике.

— Будет война! — говорил старик.

— Думаю, что будет! — подтвердил Гайредин.

И Бог знает, сколько и такой ответ казался ему тяжек.

— Будет война! — продолжал старик. — Каких народов, каких государств нет на свете! Очень много есть девлетов. Есть и малые девлеты. Много смеху нам было, когда в пятьдесят четвертом году услыхали мы, что Сардин-девлет воюет! Ну, Франция большой девлет, Англия; Россия очень большой девлет... Про нашу благословенную Богом страну я уж и не говорю... Двадцать и более народов покорны падишаху! Ну, пусть бы еще Грандебур*-девлет воевал. У них Фридрих был краль знаменитый и кралицу немецкую много раз побеждал. Это я все знаю! А ты скажи, государь мой, не на смех ли это сказано: «Сардин-девлет» с большими вместе на войну собрался и на Крым пошел! Много смеху нам тогда было. Старик молла тогда заболел от смеха. Только скажи ему «Сардин-девлет!..»

— Теперь это все переменилось, — отвечал Гайредин, чрез силу улыбаясь отцу.

Видел старик, что сын невесел, но говорить ему о Пембе, о которой давно знал по слухам, не хотел. «Либо гневаться на него, либо молчать. Помолчу до времени!» — говорил себе Шекир-бей.

Эмине-ханум послала своих служанок за Юсуфом, покрылась, вышла к нему и спрашивала у него, какова Пембе.

— Цыганка, одно слово! — сказал Юсуф. — Открытая при людях пляшет. На колени ко всем грекам садится.

— Душа у нее хорошая? — спросила Эмине.

— Самая злая! — отвечал Юсуф и рассказал опять, как бей будто бы прибил его за нее. — Звонче монастыр-

---

* *Грандебур* — Бранденбург, Пруссия.

ского колокола ухо мое зазвенело! — уверял он и осыпал проклятиями злую цыганку.

Эмине-ханум не поверила всему, что̀ говорил Юсуф, она знала давно, как много он лжет; но вечером сама завела разговор с мужем и сказала ему:

— Твоя Пембе злая, и ты стал злой. Ты Юсуфа прибил за нее, говорят наши девушки в гареме; а прежде ты слуг никогда не бил.

— Я Юсуфа прогоню, — отвечал бей, бледнея. — А что она злая и беспутная, ты не верь.

— Цыганка она, танцовщица, какой же ей быть? — сказала Эмине.

— Она не цыганка; она арнаутской крови и родилась в Битолии, — отвечал бей. — А что она танцовщица, это не беда. Возьму ее в гарем мой, тогда пред другими она танцовать не будет. А пред тобою пусть танцует. Тебя веселить она будет и тебя слушаться. Она девушка умная и будет служить тебе, султанша ты моя.

Эмине опять заплакала и сказала мужу:

— Возьми ее в гарем, а я уеду к отцу, пойду к кади и поставлю башмак мой пред кади носком вперед и скажу: «Не стерпит этого душа моя. Я моего мужа люблю». Разведет меня с тобой кади, а ты живи с цыганкой и женись на ней, если нет у тебя стыда и если седой отцовской бороды тебе вовсе не жаль!

Видел с большим горем и старый Шекир-бей, что у сына в гареме раздор; он узнавал все через верных старых слуг, которые душевно делили его печаль. Не хотел он и сына дорогого огорчить, и невестку кроткую обидеть.

Думал он крепко обо всем этом и сказал сыну:

— Пора бы тебе в Янину ехать. Только, как погода станет лучше, не прислать ли мне тебе жену и детей? жена твоя также давно в вилайете не была. Пусть не скучает. Скоро будет Байрам; пусть она с тобой конец Рамазана проведет, в дружеские дома походит и повеселится. Ты и к гречанкам ее отпускай в хорошие честные дома... Ну, что скажешь об этом моем слове?

Гайредин не стал противоречить отцу и велел жене сбираться, как только перестанут дожди.

Рад он ее приезду в Янину не был, но все еще надеялся уговорить ее не расставаться с ним и взять в дом Пембе.

VIII

Дорогой Гайредину пришла мысль принять предложение Феим-паши и поступить на службу. Мест было много еще незанятых; паша желал побольше новых чиновников, чтоб управлять ими по-своему. Уехал бы Гайредин в новое место, взял бы Иззедина с собой; потом приехала бы и Пембе туда, А жена не требовала бы развода, соскучилась бы без него и уступила бы понемножку.

Возвратясь в Янину, он застал Пембе очень больною, и ему было очень горько видеть, что она лежит на бедном одре и что ей нет покоя от шума и тесноты. Перевести ее в дом к себе перед приездом жены он не мог.

Тогда у него еще больше разгорелась охота поступить на службу и уехать поскорее из Янины.

Он сказал об этом дефтердару, и старик взялся напомнить паше о прежних предложениях. Гайредин не ждал отказа, но паша велел ему передать «что час тот прошел. Надо было тогда принять, когда говорили. У султана много есть чиновников».

После этого оскорбления и Гайредин возненавидел пашу, а Феим-паша опять стал обращаться с ним дурно. Гайредин в первом же заседании меджлиса отказался приложить печать к одному делу, которое находил неправым.

— Для чего мы заседаем здесь? — спросил паша. — Скажите!

— С вашего позволения, для того, я так думаю про себя... чтоб облегчить подданных падишаха и не обременять их... — отвечал Гайредин.

Извинился еще раз и все-таки не приложил печати.

Дело прошло и без его печати.

Этого мало. Паша сказал однажды, что все видят, в каком порядке при нем стала полиция. Гайредин, выслушав это, рассказал, как в хане на дороге жаловался ему со слезами греческий мальчик на то, что заптие,* наняв у него лошадь на шесть часов езды, заставил его пешком бегать за собой все время; не хотел ехать шагом, а когда приехал на место, то дал ему пощечину вместо платы и выгнал его. Потом Гайредин прибавил еще, как раз запоздал ночью в деревне и заехал в глушь, где, кроме колючих кустов, не было ничего. Темнота была страшная, и кроме одного дальнего огонька не было видно ничего. Так пробыл Гайредин около часу; хоть и знал, что отцовский дом близко, но уж и лошадь сама боялась идти вперед. Услыхал он наконец, что свищет кто-то песню: стал звать, замолк человек; обещал Гайредин деньги, звал, просил, клялся, что он не вор и не разбойник, обещал еще больше денег: пришел наконец молодой пастух влах, и как узнал его, так поцеловал его руку и обрадовался. «Чего же ты боялся? — спросил я его», — рассказывал Гайредин. «Думал я, говорит он мне, что это заптие нарочно притворяется и зовет меня, чтобы на мой счет в хане *раки* выпить или денег с меня взять. Так они с нами делают».

— А пастух этот, — продолжал еще Гайредин, — так беден, что от хозяина тридцать пиастров в год получает, и когда дал я ему золотую лиру, то он просил меня разменять ее на мелочь; боялся, не обочли бы его другие, потому что он лиры никогда еще не видал!..

Паша с бешенством слушал эти рассказы; но Гайредин держал себя так почтительно, говорил так скромно, так часто прибавлял «паша господин мой», и даже так вежливо и лукаво прибавлял:

— Все это я сказал вашему превосходительству лишь для того, чтобы высокие ваши попечения о вилайете не были бесплодны, чтоб от вас не скрывалось зло.

---

* *Заптие* — турецкий жандарм.

Так он все это сказал хорошо, что паша мог только выговорить:

— Грекам и влахам тоже нельзя всегда верить... Не правда ли, кир-Костаки? — спросил он у Джимопуло...

— Конечно, — отвечал Костаки, — во всяком народе есть ложь, но что бей говорит, это правда, к сожалению.

На другой день Гайредину было дано знать, что его исключили из меджлиса. «Я не чиновник, — сказал он, — это против устава!» Но огорчить его это не могло. Домашние мучения его были много сильнее.

Скоро весь гарем его поднялся из Дельвино. Старухи-арабки, молодые гречанки-прислужницы, все верхами сопровождали Эмине-ханум. Сама она, попеременно с евнухом, везла на седле Иззедина. Кругом ехали вооруженные слуги, около женщин шли пешком провожатые и сводили под устцы лошадей на стремнинах.

Толпою, со смехом, говором и ржаньем, въехали они в широкие ворота на двор Гайредина. Оживился дом, но души радостной у хозяина не было! Бей недолго думал, он опять стал говорить о Пембе, а жена опять стала плакать и грозить разводом.

Две недели Гайредин видался с Пембе у одной старой гречанки в бедном домике предместья. На горе его был Рамазан, и весь день проводить ему следовало дома, не гуляя и не работая; нельзя было есть, нельзя было пить до ночи. Это бы он терпел, потому что отдыхал ночью в бедном домике с Пембе, и с нею вместе ужинал там, но днем нельзя было и наргиле спросить дома, и в кофейню идти и курить было непристойно.

Что̀ было делать? Он пытался спать и не мог спать крепко и долго.

Жена его тоже, видя тоску его, ревновала и жаловалась. Родные ее посещали гарем и своими наговорами и советами еще больше растравляли рану любви ее.

Была у нее старуха тетка, богатая женщина, старуха такая смелая, что не знала людского страха, а только Бога и закона боялась.

— Я тебе скажу про себя, кузум Эмине, — говорила она, — я никого не боюсь. Знаешь ты, что̀ такое русский консул? Россия — великий девлет... Сильнее русских нет народа. И на здешнего консула ты не смотри, что он молодой и худенький. И он московский человек. Замерзло озеро в Янине. Паша не велел людям ходить по льду и народ на острове без хлеба остался; кто пошел по льду? Москов первый пошел, а за ним и другие, и людям хлеб отнесли! Наши солдаты вьючили раз мулов, а он ехал один верхом... Жеребец под ним огонь. Наши видят, кавасса нет с ним. Значит: не знаем его лица, и не дают дороги. А он, собака москов, отъехал назад, и как пустит на них жеребца. И солдаты, и мулы, и вьюки попадали... А он, собака неверная, и проехал! Очень я рассердилась на него за солдат наших. Встретила его в переулке и остановилась. Смотри, говорю я, что̀ я тебе сделаю. И стала кричать на него: «собака, свинья, собачий сын, москов-гяур, зачем ты сюда зашел? Зачем, дьявол, в город наш заехал!..» Поглядел он на меня, сухой человек, глаза большие, страшные. А я его еще больше срамить стала и руками на него машу. А он усмехнулся и пошел. Это я тебе говорю, я никого не боюсь! А мужа почитаю... Муж мой тихий и боится меня. «У моей жены, говорит, палка в руке, как у Абдула-паши (у твоего отца) сабля, молитвой заговорена. Никуда от ее палки не уйдешь!» Вот я какая! Злая я, кузум Эмине. А закон знаю. Вижу, что постарела. Сама на прошлый Байрам мужу черкешенку купила. Три тысячи пиастров дала! Сама слушала ночью, не храпит ли, сама мочила ей подошвы водой и ставила на пол босую, глядела, красивый ли след ее ножка дает. Ей шестнадцать лет, и она нежна, как цветок садовый! И стала она мне как дочь. На чем я сплю, спит и она на том; я пью кофе, и она пьет; какой хлеб я ем, и она такой же ест. Бью я ее в худой час, лгать я не стану. Да она молода, ума еще нет, за это я ее и бью.

Видела Эмине-ханум, что от тетки совета доброго ей не дождаться, потому что старуха больше о себе говорить хотела да хвалиться, а не советы давать.

— Закон, закон, — говорит, — и у пророка было много жен!

Эмине сказала ей:

— Иное дело раба-черкешенка, купленная от отца и матери; иное дело цыганка, которая без яшмака при людях пляшет!

Тетка сейчас согласилась.

— Правда, — говорит, — иное дело черкешенка! Умная ты, Эмине... Ты все равно, вижу, как я!

И стали говорить о другом. И все турчанки говорили: «Иное дело черкешенка! Иное дело эта Пембе бесстыдная!»

Только одна бедная старушка говорила ей от души: «покорись», и говорила ей все так тепло и сердечно, что стала было склоняться и Эмине-ханум.

— Покорюсь я ему! — вздыхала она и слушала дряхлую старушку.

Старушка сидела перед нею сгорбившись, вся в морщинах, тряслась и говорила:

— Кузум-кузум! Смотри на меня, милая ханум! Я богатства не знала, как ты! Было мне двадцать лет, и ушел мой муж в солдаты при султан-Махмуде, и убили его на Дунае. А я хлеба не имела и стала с нужды продавать себя; узнал меня Риза-бей и говорит: «возьму я ее, бедную, к себе», и взял. Были у меня и дети от Риза-бея. И жена его жалела меня. Смолоду она добрая была, а постарела и сердитее стала. А я ее жалела; мои дети померли все, я за ее детьми хожу. Стара я стала, чуть хожу; дети ее большие стали, разошлись туда-сюда, и Риза-бей заболел и умер. А я за внучатами их хожу. Иногда она ругает меня и бьет крепко мою сгорбленную спину старую, а за Мехмедом моим, за внучком ее, я все смотрю. Плачу много и все смотрю. И дороже мне внучата ее жизни моей. Мехмед мой, Мехмед мой маленький! Час я не вижу его, мальчика моего, умирать хочу. И добрый мой Мехмед, кузум Эмине! «На ком, — говорит бабушка, — женить тебя, Мехмед мой?» А он, дитя неразумное: «На няньке,

говорит, моей». Это он, светик мой, на мне хочет жениться. Вот, ханум, какова моя доля! А я добра их не забуду. Покорись ты ему, наградит тебя Бог за это, и в ней ты слугу верную найдешь на старость!.. Покорись ему!

«Покорюсь», — думала Эмине, и велела позвать к себе Пембе. Посмотрела ее, поговорила, но как увидала, что Пембе смело глядит на нее и кофе пьет как султанша, не торопясь, а больше всего, как увидала на ней золото и шолк от щедрот Гайредина, так сердце ее как будто упало. «Не могу!» — сказала она и опять задумала развестись. Послала об этом весть и свекру, и отцу, и мужу опять сказала:

— Я разведусь с тобой.

— Разведись, — сказал Гайредин и ушел из дома.

Старики, как узнали о том, что Эмине хочет развестись с мужем, тотчас же приехали оба в Янину. Все родные горой поднялись на молодого бея. Отец Гайредина, как ни был добр, а позвал сына и сказал ему грозно: «Ты позорить меня стал по всему вилайету». Гайредин покорно вынес брань отца, но тестю сказал:

— Я твою дочь не гоню, она сама против мужа идет и сраму хочет. А я в гареме своем господин, как и ты в своем. И я тебя не боюсь.

Как зверь стал Абдул-паша. Он и дорогой не клял и не ругал позорно зятя только потому, что ехал вместе с Шекир-беем и уважал его. А тут, после этих слов, он уже не хотел видеть зятя, заперся в конаке своем огромном, и вещи ломал, и людей всех в ужас привел, восклицая: «Какое мне зло ему сделать? какое зло, чтоб он дрожал и просил у меня пощады!»

Обдумав, призвал он цыган и давал им деньги, чтоб они увезли из Янины Пембе. Но он был скуп, давал не так-то много, и цыгане думали, что от Гайредина они больше наживут, чем от старого зверя. Кланялись, и по́лу хотели у старика целовать, и клялись, что Пембе девушка вольная, живет вместе с теткой; пристала к ним и отстала; а силой увезти ее не может никто.

Посылал Абдул-паша и за самой Пембе, и за теткой ее, но они не пошли и сказали:

— Он человек большой и грозный; боимся, не сделал бы он нам какого худа.

Абдул-паша до крови прибил слугу, который принес ему этот ответ, и выгнал его из дома.

— Поди, жалуйся на меня паше! — сказал он ему. — Теперь царство наше стало царством гяуров и побродяг, бей теперь не бей, и паша не паша! Было иное время! Позвал бы я тогда двух-трех молодцов и сказал бы им: «Эй, хорошие молодцы мои! Увезите эту девку в горы, зарежьте ее и заройте в землю». И увезли бы ночью, и зарезали, и зарыли; и знали бы об этом все люди, от Превезы и до Шкодры, и никто бы не сказал мне худа. А теперь консулы за нами как волки бегают!

Узнал Юсуф, что Абдул-паша говорит: «хорошо бы зарезать Пембе!» Пришел, поклонился Абдул-паше и предложил себя для этого дела.

— Вы меня после в Элладу отправьте, — сказал он, — чтобы меня не наказали. А я это сделаю!

— Вон! Собака! — закричал на него паша и привстал с дивана.

Убежал Юсуф и рассказывал по кофейням, что Абдул давал ему 20 000 пиастров, чтобы зарезать Пембе.

На другую ночь Пембе плясала у мехтубчи; Гайредин пробыл там до рассвета и, возвратившись, заснул в своем селамлыке, не заходя даже в гарем.

В эту ночь Шекир-бей повидался с Абдулом и успокоил его немного.

— Пойдем вместе к вали-паше и поклонимся ему, чтобы цыганку послали отсюда в изгнание, — сказал Шекир-бей Абдулу.

Феим-паша принял их хорошо; почтил их года и звание, как того требовали приличия; и много спрашивал о крае и о духе народа.

Наконец Шекир-бей заговорил о Пембе.

Паша давно знал обо всем этом, но показал вид, что в первый раз это слышит, и очень жалел, что так случилось.

Абдул ободрился и сказал слово «сюргюн», что значит *изгнание*.

— Это дело домашнее, — отвечал паша и стал объяснять старикам, что те времена прошли, когда бей, потому что он бей, мог выгонять людей из города и даже резать их. Говорил это Феим-паша и разгорячался все сильнее и сильнее... — Для девлета нашего все подданные султана равны. Времена несправедливостей и самоуправления утекли вместе с кровью крамольных янычар в воды Босфора! Турция теперь принята торжественно в семью европейскую, и слуга султана сумеет заставить уважать закон!

Абдул-паша молчал угрюмо.

— Так новый закон, — сказал он наконец, — велит, чтобы старый воин был наравне с распутною цыганкой? Хороший закон...

— Закон, данный государем нашим... — возразил, бледнея, генерал-губернатор и встал с своего кресла.

— Так я проклинаю все ваши новости! — закричал старый Абдул. — Я знаю один закон, древний обычай моей родины... Вы погубили нас; вы погубили весь народ мусульманский. Вы погубили нас...

Феим-паша смотрел на исступленного старика молча и надменно, перебирая четки. Как на бессильного старого пса глядел он на него.

Шекир-бей кинулся к наместнику и схватил его полу...

— Простите другу моему, он старик.. Он говорит по-старому *à la Turca*!.. Злобы нет в его сердце... Горе и обида ожесточили его душу.. Он верный слуга султану... Его род всегда служил верно государю нашему...

Феим-паша отступил надменно от Шекир-бея и отвечал ему:

— Я ему прощаю: его род точно всегда верно служил. Я вам скажу: верно ли ваш род служит? Верно ли служит ваш сын?.. Вы знаете, за что̀ удалил я его из меджлиса? Идите, теперь у меня есть другие дела, и готовьте сына

вашего в дальний путь. Не цыганку я пошлю в изгнание, а вашего Гайредина. Пусть знает он, как дружиться с греками, нашими злейшими врагами, и как спасать заговорщиков ночью в арнаутской одежде...

Сказав это, паша позвонил и велел кликнуть своих чиновников с бумагами. А старики удалились в безмолвии домой.

IX

Абдул-паша, как только возвратился в свой дом, тотчас послал за дочерью и сказал ей:

— Ты мне не дочь, если не поедешь за мною в мой дом. — Брось его! Пусть он придет и поклонится нам. Я разведу тебя с ним и найду тебе мужа честного.

Эмине-ханум покорилась отцу, взяла детей и в тот же день уехала с отцом из Янины.

Шекир-бей, сидя один, горько плакал. Когда сын воротился домой, Шекир-бей передал ему печальные вести об изгнании и об отъезде жены.

— Судьба! — сказал Гайредин, бледняя, и сел: ноги его не держали.

Стали они совещаться и спрашивать: кто бы мог довести дело Джимопуло до паши? Призвали сеиса-грека и заклинали его всем святым сказать правду. Грек, прослезясь, признался, что в пьяном виде говорил о бегстве Джимопуло с кавассами, хваля доброту бея. Между кавассами был один турок; должно быть, он передал.

— Вот тебе награжденье, — сказал старый Шекир-бей сеису. — Я тебя теперь в доме моем видеть не могу.

И дал ему денег.

Одумавшись, Шекир-бей решился ехать в Царьград, чтобы спасти сына. Как ни тяжело было ему пускаться в дальний путь, сын был дороже покоя преклонных лет.

Слезы его бежали ручьем при одной мысли, что Гайредина сошлют в Сирию или каменистую Аравию, где у него не будет ни отца, ни жены, ни друга!

Ехать он собрался, но денег было мало. По доброте своей, Шекир не любил теснить греков, которые жили на его земле, и часто отсрочивал им платежи. В это лето дождей было мало; кукуруза не родилась, и собрать ему с них было почти нечего.

Послали за банкиром Ишуа, но Гайредин и без того за эти три месяца задолжал ему много, потому что не хотел показывать дома, как дорого стоит ему Пембе, и не брал денег на это ни от отца, ни от тестя.

Ишуа сначала сказал, что принесет сейчас 30 000 пиастров. Ушел и не вернулся. К вечеру послали за ним, его не было дома; на другой день была суббота; в воскресенье утром он обещал опять принести, а вечером прислал сказать, что поссорился с племянником, с которым у него до тех пор все было сообща, и что племянник унес ключ от кассы.

Сел старик на лошадь и поехал сам к Ишуа. Опять Ишуа не было дома. Шекир-бей вернулся оскорбленный и рассерженный. Уходя из дома еврея, он произнес несколько угрожающих слов. Ишуа испугался этих слов и пришел сам с извинениями; но албанцы выругали его как нельзя хуже, а Гайредин хотел гнать его из дома палками. Ишуа подал жалобу в Порту.

— Дурной час пришел на нас, сын мой! — воскликнул Шекир-бей.

Гайредин долго сидел как убитый, но вдруг оправившись, вспомнил о Джимопуло, сел на лошадь и поехал к нему. Дорогой, еще не доезжая до его дома, он увидал его на улице.

Кир-Костаки сам, узнав случайно в конаке паши о ссоре Гайредина с Ишуа, шел к Гайредину с деньгами.

— Возьмите, возьмите! — сказал он старому Шекиру, — и знайте, что и между греками есть такие, что помнят добро.

Старик и Гайредин долго обнимали и благодарили его.

— И в нем, ты сам знаешь течет ваша кровь! — говорил с восторгом старик, указывая на сына.

Джимопуло тем труднее было дать деньги эти, что он, как и предсказывал Феим-паша, давно уже нашел средство тайно отправить для критян большую сумму.

На другой день Шекир-бей взял в конаке паспорт и уехал в Царьград в самый ненастный и дождливый день. Сын провожал его до первого хана и со слезами видел, как скрылся за скалами отец и как зимний холодный дождь ливмя лил на его старую голову.

Жалобу Ишуа оставили в Порте без внимания.

Паше довольно было и того, что̀ он сделал Гайредину; в тот же день, как уехал старый Шекир, он послал в Царьград бумагу, в которой чернил Гайредина как только мог.

Гайредин, возвратившись в город после проводов отца, пошел прямо к той гречанке, у которой он последнее время видался с Пембе, и послал за любимою девушкой, думая поделить с ней горький час.

Пембе пришла с теткой. Тетка, как ведьма, села на корточки у жаровни и стала греть свои старые руки над угольями.

Пембе смеялась и ласкала бея.

Гайредин, глядя на нее, забыл все свое горе и, обнимая ее, спросил у нее наконец нечто заветное, о чем еще не спрашивал ее:

— Поедешь ли со мной, моя жизнь, в Аравию? И там, ягненок мой, добрые люди есть. Там наш пророк родился; туда люди на молитву ходят. С тобой, Пембе, изгнание не будет мне изгнанием, и ни отца, ни жены я не буду жалеть, когда ты будешь со мной, моя сладкая девушка!

Пембе молчала и глядела на тетку.

— Поедешь? — спросил опять Гайредин. — Что ж ты молчишь?

— Она жалеет тебя, паша мой, — сказала с улыбкой тетка. — От жалости говорить не может. Слышали мы

вчера от людей, будто тебе хотят «сюргюн» сделать, и всю ночь обе от слез и от страха не спали.

— Пусть не жалеет, я сам не жалею себя, если она поедет со мной...

Переглянулись еще Пембе с теткой, и Пембе, встав и поцеловав руку бея, сказала ему:

— Ты, паша мой, человек большой; тебе и в Аравии хорошо будет жить. А я сирота. Тетка моя не пустит меня с тобой. Кто за нею, бедною старухой, будет смотреть, кузум-паша мой? Как она смотрела за мной, так и мне надо теперь смотреть за ней, кузум-паша мой! Я теперь целую глаза твои и руки и благодарю тебя за то, что ты мою судьбу сделал...

После нее заговорила тетка.

— Узнали наши родные в Битолии, — сказала она, — что у Пембе, по милости твоей, и деньги, и вещи есть, сосватали ее там и зовут нас на родину.

— Правда? — спросил Гайредин у Пембе.

— Правда, паша мой. И я, сирота, благодарю тебя, — отвечала коварная Пембе.

Гайредин не дал ей руки... Вся душа его содрогнулась от гнева и горести.

Помолчав с минуту, он встал, вышел вон и уехал в свой опустелый чифтлик ждать уныло, что̀ пошлет ему Бог, обрушивший столько бед на его голову.

X

На следующий день греки праздновали Рождество Христово. Закрыли все лавки свои и ночь под праздник провели в церквах, молясь и приобщаясь Св. Тайн.

В ту же ночь турки отдыхали от дневного поста своего, курили, ели и кончали дела. Феим-паша спросил себе на рассвете свежего хлеба, но ему отвечали, что свежего хлеба нет, что все хлебники — христиане и заперли пекарни на три дня.

— На три дня? — воскликнул паша с удивлением и гневом.

Чиновники сказали ему, что так ведется здесь с древних времен, и сам Али-паша, тиран эпирский, уважал этот обычай греков.

— И войско будет есть три дня сухой хлеб? — спросил Феим-паша.

— И войско.

Не поверил Феим-паша, послал за полковником, и полковник повторил ему то же.

— Мы знаем это и привыкли, — сказал он.

Паша тотчас же послал за тремя самыми богатыми хлебниками и грозно велел им отворить лавки и печь свежие хлебы для войска и для всех турок.

— Не можем, — отвечали хлебники, кланяясь.

— Я велю вам! — закричал паша.

— Не можем, — повторили хлебники. — Нам вера не велит работать эти дни, и мы, паша господин наш, работать не будем.

Паша пришел в исступление и воскликнул:

— Я покажу вам всем здесь, и арнаутам, и грекам, каков у вас паша! Я покажу вам, что у меня не пойдете вы по дороге критян! Вон отсюда!

И приказал без суда схватить этих трех хлебников и, посадив в цепях на лошадей, отправить немедленно в дальний город Берат и заключить там в тюрьму. Они не имели времени проститься с семьями; их взяли, когда они, только что причастившись, шли из церкви.

Поднялась вся православная Янина. Один за другим бежали греки друг к другу, к богатым купцам своим, к митрополиту и консулам. Толпа народа с благословениями шла за тремя изгнанниками далеко за город. Собрались старшины у митрополита. Робкий старец заплакал горько, выслушав их рассказы и суждения. Страшно ему было вступить в борьбу с могучим наместником, но просьбы и угрозы общины еще сильнее трогали и пугали его. «Лучше от турок пострадать, чем от укоров своей паствы!» — сказал он наконец и поехал в Порту.

Дрожащим голосом и со слезами на дряхлых очах молил он пашу возвратить изгнанников и не касаться того обычая, которого сам Али-паша не дерзал касаться.

Феим-паша отказал ему.

Еще шумнее и ожесточеннее заговорили греки.

— Мы не бунтуем, — кричали они, — но церкви нашей даны права в первый день падения Византии самим султаном-Магометом Завоевателем. Мы отстоим права наши!

— Я покажу грекам, каков у них паша! — повторял наместник и велел тайно войсковым начальникам усилить обходы и стражу и быть готовым на все.

— Мы отстоим права наши! — восклицали греки все заодно.

Весь город был в движении. Турецкие фанатики осматривали свои ятаганы и ружья! Встречались молча на улице толпа греков с кучей турок, молча взглядывали одни на других, но как! — и молча продолжали путь. На всех перекрестках в эти три смутные дня слышались зловещие рассказы: шло, рассказывали турки, десять греков пьяных вечером без огня, заптие спросил их: «куда вы идете пьяные с песнями?» «На твою погибель!» — отвечали они, разбили об его голову незажженный фонарь и разбежались.

В ином месте греки рассказывали, как во время крестного хода, когда митрополит остановился пред русским консульством и по обычаю прочел молитву, кинулись толпой соседние турчата (наученные большими) на певчих мальчиков, засыпали их каменьями и разбежались сквозь толпу.

«Часовые перестали отдавать честь русскому и греческому консулам», — говорили на базаре христиане.

Юз-баши встретил с обходом толпу гулявших христиан, заспорил с ними и, обнажив саблю, сказал:

— Если и эти дела пройдут вам, как многое прошло, все-таки дождусь я и того часа, когда сабля эта пройдет сквозь вашу грудь.

Говорили, что паша осмелился не принять обоих православных консулов, когда они пришли сделать ему свои замечания.

Громче всех говорил честный Джимопуло. Слушаясь его советов, старец-митрополит привез ключ от соборной церкви к паше и вручил его ему, говоря, что митрополии в Янине больше нет и что он, после оскорблений, нанесенных вере и общине греческой, сношений с ним иметь не может. Вслед за духовным пастырем пришли все христианские члены идаре-меджлиса и судов уголовного и гражданского и подали в отставку.

Джимопуло обратился к паше с речью спокойною и твердою.

— Мы лишимся доверия наших соотчичей, — сказал он, — если останемся после этого позора членами судов и советов султанских. Ваше превосходительство знаете, что его величество султан изволил дать нам права не для того, чтобы мы сами потеряли их нашим равнодушием. Поддерживая их, мы сообразуемся с волей того, кто нам даровал их!

Паша повернулся к грекам спиной и повторил опять:

— Я докажу, что здесь не будет Крита!

К следующей ночи не только выборные члены судов и советов, но и все мелкие чиновники из греков, писаря, драгоманы и служащие на телеграфной станции и в таможнях, подали в отставку.

Телеграммы со всех сторон неслись в Царьград; писали спешные донесения во все европейские столицы.

Паша не дремал и по нескольку часов подряд проводил сам на телеграфной станции, отвечая на запросы с берегов Босфора...

Волнение умов росло в столице вилайета, а из дальних округов в то же время прилетали вести, от которых пахло уже порохом и кровью... Наконец и западные консулы вмешались и советовали уступить: ибо для самой Порты невыгодны смятения...

Раздираемый немым бешенством, Феим-паша уступил. На третьи сутки раздался по мостовой, со стороны Берата,

стук копыт, и изгнанники вернулись в среду ликующего народа.

Феим-паша уныло простился со своею ролью просвещенного, но грозного патриота и правителя Эпира. Он понимал, что после этой неудачи его царству здесь конец... Все, что̀ было оскорблено им в этом деле, все, что̀ лично было ему враждебно, поднялось на него в Царьграде. Вселенский патриарх вступился за право митрополита; греческие газеты привлекали взоры на самоуправство пашей. Фанариоты, и те роптали. Драгоманы посольств сожалели официально в кабинете великого визиря о неосторожном обращении Феима с народными страстями. Паши, у которых не было мест, спешили заявить свои надежды. Не дремали и старые албанские беи: Абдул-паша писал спешные письма к родным и друзьям своим в столицу, обвиняя пашу как безумца и заклятого врага албанцев. Шекир-бей хлопотал за сына. Но более всех вредил Феиму один престарелый министр, которого Феим оскорбил когда-то своим остроумием.

Старик этот был с ним дружен и, вздумав подражать европейцам, просил его, как человека знающего, сочинить ему герб на новую карету. «Вы были судьей и воином не раз», — сказал ему Феим и прислал ему рисунок герба: весы и меч, а внизу девиз по-французски: *pese et vainc*! По-турецки же слово *пезевенг* хуже, чем подлец!

Феим-паша знал все это; он готовился к отъезду и забыл о Гайредине и о его ссылке.

XI

Скоро Феим-паша уехал из Янины; его заменил другой, с которым успел сдружиться в Царьграде старый Шекир-бей. Они приехали вместе. Об изгнании Гайредина уже не было и речи; новый паша обещал старику выгнать из вилайета Пембе без всякого суда и разговоров; но, по приезде в

Янину, он узнал, что Пембе уехала сама. Шекир-бей сказал сыну:

— Поедем к Абдул-паше. Помирись с женой. Ты забыл и детей своих!

Гайредин поехал с ним к тестю и привез назад жену и детей. Иззедину он был очень рад и крепко обнимал его и ласкал целый день; но к жене уже не лежало сердце его, и часто думал он про себя:

«Пустыня Аравии была бы лучше родины, если бы *та девушка* была со мной в пустыне!»

Видели все: и жена, и отец, и родные, что бей молчит и тоскует, и не знали, что̀ делать с ним.

Однажды Шекир-бей откровенно говорил о сыне с новым пашой.

— Послушай меня, — сказал ему генерал-губернатор, — не излечишь ты дома души его! Пошли ты его на греков с баши-бузуками в горы. Хоть «сюргюн» ему и не сделали, а все же мнение о нем худое в Стамбуле. А пойдет он на греков, так эти мысли изменятся.

Шекир-бей поблагодарил пашу и сказал сыну как будто от себя:

— Вот, пришло тебе время послужить султану мечом и очистить имя твое!

Гайредину было все равно. Он принял начальство над сотней баши-бузуков и выступил в Аграфу. Ему не пришлось и сразиться с клефтами. Не прошло и трех недель, как его убили.

Он ехал под вечер впереди своего отряда по ущелью. С обеих сторон стояли высокие камни. Снег падал густой, и ветер грозно ревел навстречу албанцам.

Гайредин ехал шагом, укрываясь буркой, и унылые мечты его были далеки от боевого дела, Он с горькою думой вспомнил иную непогоду, веселый очаг и окна своего дома, которые напрасно рвал ветер, — вечерний дождь над темною мостовой и бледную Пембе.

Так мечтал Гайредин, когда греческая пуля, пущенная из-за дальнего куста, пресекла его жизнь. Он упал на шею лошади, не сказав ни слова. Баши-бузуки разбежались, только двое старых слуг привезли его тело к отцу.

Так кончил жизнь свою добрый Гайредин.

ХАМИД И МАНОЛИ

РАССКАЗ КРИТСКОЙ ГРЕЧАНКИ ОБ ИСТИННЫХ СОБЫТИЯХ 1858 г.

I

Нас было двое у отца и матери — брат мой Маноли и я. Дом наш был в Анерокуру. Ты, верно, видел по дороге к Суде две деревни на склоне горы.

Одна зовется Скалария, а другая Анерокуру, — это наша родина. Она вся в зелени скрыта... И теперь цела; сколько ни разбойничали и ни разоряли народ проклятые турки, а около Ханьи, верно, консулов боялись, мало трогали.

Домик наш давно продан и пристанища нет у меня, господин мой! Вся семья наша родилась горькая; отец был рыбак и утонул в море, когда брату Маноли было десять лет всего, а мне немного больше. Мать бедная кормила нас долго, как могла; чулки вязала, полы нанималась мыть, в монастырь нанималась служить; наберет иногда жасмину самого душистого, нанижет его на прутик, сядет на дороге и ждет. Бей ли какой проедет, турчанки ли богатые пройдут, консул ли или какой-нибудь иной богатый франк под руку с женой гуляет, сам на себя любуется, — мать поклонится и подаст жасмины: и всегда ей что-нибудь за жасмины дадут; турки, скажу я тебе правду, отказывали редко. Это у них есть. И другие давали, шутили с матерью: «Что Элена, бедная? Все об детях ты убиваешься?

А давно ли ты красавица первая была у нас в округе? Никак про тебя и стишки эти сделали:

Всем нашим девушкам царица,
Красой и добротой, ты душа Эленица!*

Это ей говорил часто бакал ** один Ставраки, как только завидит ее, и никогда с пустыми руками не отпускал. Говорили люди, что он как молод был и еще беден, так хотел взять мою мать; да родные отговорили. И вышла ему другая судьба: дочь хозяина, у которого он в лавке служил, влюбилась в него; увидал богатый отец, что дочь беременна от мальчика, от Ставраки; побил Ставраки, а все-таки дочь за него отдал и со всем богатством. А мать за рыбака вышла. Хуже всех это франки... Как я тебе скажу, господин мой? кабы моя сила была, я бы франков ко хвосту лошадиному привязывала, да чтоб рвали их лошади на части.

Турок глуп и варвар; а его они всему злому учат, зачем вера у нас православная, а не такая как у них.

Подала мать раз жасмин француженке, а она как закричит: «Иди, иди прочь! Не люблю я этого запаха! Какие эти греки все бесстыдные... Не хотят работать!» Слышите? Греки ленивы? Не хотят работать? чума ты такая, ведьма франкская! Разве стыдно цветки бедной женщине продавать? А что твой муж, чума ты французская, из Австрии всякую гнилую дрянь натащил в лавку свою и народ обирает наш простой? Это не стыдно? Купит человек ковер у твоего мужа: «Это, подумает, европейская вещь». А через год, гляди, уж и бросил ковер никуда негодный.

Много я от франков зла видела всякого, господин мой!

А брат мой, бедный Маноли, от турок погиб, удавили его солдаты на лестнице у паши, перед всем народом.

---

* *Эленица* — уменьшительное от Элена.

** *Бакал* — лавочник.

Такова была судьба его! Подружился он с турками, принял на душу свою большой стыд и грех большой и погиб.

Вся семья наша была несчастливая.

II

О самой себе мне много нечего рассказывать. Я через три года после того, как утонул отец, вышла замуж, а через год после свадьбы овдовела. Муж мой — Янаки, был каменьщик, и его задавила скала: обрушилась на него, когда он работал.

Пока он женихом был, с полгода мы жили очень хорошо, и вышла за него замуж — тоже хорошо жила.

Первый раз увидала я его у нас на одной свадьбе в деревне. Он был из другого села. Пришел, стоит широкоплечий такой у стенки, облокотился и смеется, глядит на нас. Был в то время карнавал; мальтийцы-носильщики в Ханье пели и плясали, и наши молодцы выучились у итальянцев наряжаться — кто медведем, кто доктором, кто кавассом консульским в арнаутской фустанелле. Говорят наши паликары: «Нарядись, Янаки, и ты!» «Детские, говорит, это вещи, я не стану наряжаться!» А сам искоса на меня глядит. И мне он понравился. Стал он в нашей Анерокуру работать и к матери пришел. Мы его кофеем угощали, и я тогда же про себя думала: «Никак вышла мне хорошая судьба!» Он хоть был и каменьщик, а дом у него свой был и одевался он по праздникам в тонкое голубое сукно очень чисто. Щеголять любил. Я тоже хитрая, знаю по какой дорожке он под вечер ходит с работы; сегодня нет, завтра нет, а на третий день и пойду по этой дорожке.

— Добрый вечер, Катерина! — и если нет никого и руку пожмет крепко. Такой он был видный из себя и молодец всем. Наши критские, правду надо сказать, красавцы все. Еще Янаки был лицом хуже многих; да вот — я его любила!

Раз шел он мимо нас и показал мне, что у него пуговица на рукаве оборвалась. «Сирота я здесь, Катерина, кто мне в Анерокуру пришьет?» Я говорю: «Я тебе пришью!» И пришила. А когда нагнулась к руке его зубами нитку откусить, у него рука как вздрогнула, и он сказал мне: «Люблю я тебя душа, Катúнко, больше всего света Божьего!»

Сказали мы матери; матери что же? Слава Богу — судьба дочери вышла! Стал Янаки к нам ходить каждый день, часы серебряные мне подарил, платье шолковое, а платочков головных и не сочтешь сколько!

И домик наш сам починил; по праздникам соберем других девушек, и он приведет молодцов, и танцуем все на террасе... На это у нас свободно.

Отец мой сказывал, помню, что в Янине девушки и на улицу не выходят, и причащаются ночью, а днем и в церковь даже не ходят, чтобы не видали их мужчины, а разврату, говорят, там много. У нас не так: гулять и плясать, и говорить можно, и смеяться; знай только честь свою храни... А не сохранишь честь, — либо убьют, либо всю жизнь будет стыд... Веселились мы с Янаки и до свадьбы и после свадьбы жили хорошо. Только как женился он на мне, говорит мне сурово: «Я ревнив, Катерина. Помню песенку, что поют у вас в Анерокуру:

Я тебя убью, собака ты, Катерина!

— Не ревнуй, — говорю я. — На других я и смотреть не стану.

И стали мы жить как голуби; мула он для меня купил и на праздники в монастыри возил веселиться, и на богомолье вместе ездили; дворик у нас стал чистый, и я на нем цветы развела.

Собачка у нас была, и та утешала: умная и бесхвостая родилась; мы ее *аркудица* звали; это значит медвежоночек!

Матушка радовалась на нас и перешла к нам жить; а как я стала беременной — еще больше меня Янаки по-

любил. И все люди про нас говорили: «Хорошо они, бедные, живут, хорошая семья». Один только брат Маноли и тревожил нас. Такой был беспутный мальчик: не злой, а глупый и беспутный; через глупость свою погиб! Пусть Господь Бог простит его душу!

III

Сначала мать отдала брата Маноли к одному красильщику. Ходили они вместе по домам и красили двери и потолки. Маноли, бедный, тогда еще любил семью, и где дадут ему *бахчиш*,* не прогуляет все, а что-нибудь и матери принесет.

Собой он вышел такой красивый, что все оборачивались, глядели на него, когда он шел по дороге. Я что̀ такое! Я перед ним цыганка всегда была. И муж мой шутил всегда матери:

— Если бы я не знал тебя, матушка, за честную жену моему свекору покойному, я бы на всех старых цыган и арабов смотрел бы... который из них любил тебя? такую ты мне жену чорную родила!

«Грех! — бывало скажет бедная мать. — Стыдно такие слова говорить!» А сама ничуть не сердится.

Мы все трое мирно жили вместе. А Маноли наш был такой белый, как английские барышни бывают. Кудри чорные, походка, рост, руки — все как на картине. А глаза были у него синие, как море в жаркий день, и сладкие, тихие такие, когда он задумается. Только, я говорю, ни ума, ни хитрости у него не было. Всякому верит: пожал ему руку кто на базаре, из богатых, бежит домой.

— Хороший, — говорит — человек! Руку мне жмет. Как поживаешь, Маноли!

Оттого хороший, что ему, мальчику, руку пожал! А спросишь, и узнаешь, что этому человеку нужно

---

* *Бахчиш* — награда на чай, на водку.

что-нибудь было, послать ли его куда или еще что-нибудь.

Бывало начнет хвалиться:

— Меня, — говорит, — никто обмануть не может. У меня страх какие открытые глаза! У других открытые глаза бывают, а у меня еще открытее!

И откроет глаза в самом деле, так и смотрит на нас долго.

— Не пугай нас, закрой скорей! — скажет бывало муж.

А он сердится.

И вспыльчивый был и пугливый. Немного что случится: «а? а? где? где? что? что?»Туда-сюда бросается, а сделать ничего не сделает. Жалели мы его часто и бранили. За это он и мужа моего разлюбил.

Пока еще он жил у красильщика, было лучше. Красильщик был старик строгий; сам много работал и его держал сурово. Его Маноли боялся.

Дела худые начались, как он познакомился с молодым турком Хамидом, который в Ханье табачную лавку держал.

Хамида этого и турки звали Дели-Хамид, это значит на настоящем турецком языке — безумный Хамид, либо Хамид-сорви-голова. Торговал Хамид хорошо и честно. На фальшу в торговле его табаком никто не жаловался. Турок он был критский, из округа Селимно, и по-гречески читал и писал хорошо. Фанатиком он не был и в мечеть ходил даже редко. Что ему мечеть! Ему бы все песни петь, да вино пить, да в хорошем платье на коне лихом скакать мимо девушек. Усики свои белокурые бывало припомадит вверх кольцом, капу * на красном подбое накинет, шальвары из самого тонкого и светлого сукна наденет; лошадь вся в красных кистях; скачет, кисти туда-сюда играют на лошади; точно из первых семейств дитя; точно сын бея богатого. Играл он и на скрипке и на флейте — у итальянца

* *Капа* — короткий, очень красивый бурнус с башлыком.

учился. На охоту пойдет и на охоту с флейтой; набьет птиц и идет домой, по дороге при всех на флейте играет с радости. Жениться не хотел, хотя ему уже двадцать семь лет было.

— Законная жена — бремя, — говорит. — Поди, родным комплименты строй! А рабу теперь трудно купить; закона уже нет. Все франки это наделали!

На вино Хамид был крепок и пил много; но чтобы срам какой делать пьяному, этого он не любил; поет и веселится, а потом заснет. Когда другие турки говорили ему: «Зачем пьешь с греками? Пророк пить не велел». У него была на это история, сейчас и расскажет ее.

Как при султане Мураде жил в Константинополе один пьяница Бикри-Мустафа. Султан Мурад строго наказывал пьющих турок и казнил даже тех, от кого пахло вином. Сам султан и вкуса вина не знал до тех пор, пока не встретил Бикри-Мустафу. Раз шел султан ночью, — сам осматривал город. При нем была стража. Встретился ему Бикри и кричит: «дай мне дорогу!»

— Я падишах! — сказал султан.

— А я, — говорит пьяница, — Бикри-Мустафа, я Константинополь у тебя куплю, и тебя самого куплю, когда хочешь. Велел султан его взять во дворец, и когда на другой день Бикри протрезвился, султан Мурад призвал его и спросил: «Где ж твои сокровища, чтоб и меня и столицу мою купить?» Вынул Бикри из-под платья бутылку хорошего вина и сказал:

— О! падишах! Вот сокровище, которое нищего делает царем-завоевателем и факира последнего равняет с Искендером двурогим. (Такой царь, говорят, был в Македонии — двурогий; весь мір покорил; у Маноли-брата и книжка об нем была.) Удивился султан, попробовал вина и с тех пор первый пьяница в свете сам стал, и Бикри-Мустафу во дворец себе в друзья взял.

Про этого Бикри Хамид всем рассказывал. Другие турки подивятся этому рассказу его и оставят его, только скажут: «одно слово — Дели-Хамид!»

С Маноли он вот как познакомился. Брат красил дверь у кофейни. Было это в пятницу, и много турок сидело пред кофейной на стульях. Курил и Хамид наргиле. Курил и глядел на брата.

Глядел долго и как вдруг вскрикнет: «Бог мой, вера ты моя, *бояджи*!» Бояджи значит красильщик.

Так понравился ему брат, что он его Богом и верой назвал. Зашумели турки, схватили Хамида и повели к кади. Кади сказал: «Запереть его в тюрьму. Завтра разберем дело!» А Хамид не испугался ничуть и обдумал свой ответ за ночь, верно.

Привели его в суд. Спросил кади: «Правда, что ты маленького грека-красильщика назвал Богом?» «Нет, говорит Хамид: я не красильщика назвал Богом, а Бога — красильщиком».

— Что за слова? — удивился кади.

— Пусть приведут сюда мальчика этого, — сказал Хамид.

Взяли бедного Маноли, он плачет от страха.

— Смотрите, кади-эффенди! — сказал Хамид, — смотрите на глаза этого гречонка. И в слезах насколько они прекрасны! А вчера эти глаза смеялись, и цвет их был еще чище. Кто дал им этот небесный цвет? Кто был красильщиком этих глаз? Не Аллах ли, который один всемогущ и всеблаг? Кто кроме Его мог создать такие глаза? Вот поэтому-то и назвал я Бога — красильщиком!

Засмеялся кади, и все турки сказали Хамиду: «Ты большой хитрец, и смелости у тебя много!» И отпустили его вместе с братом.

Хамид сейчас же, как остался с братом один, так и стал говорить ему:

— Брось ты ремесло свое, милое дитя мое. Ходишь ты весь замаранный в краске, и жаль мне твоей красоты. Ты, должно быть, и умный; если считать умеешь хорошо, иди ко мне в лавку служить. Я тебе сделаю новое платье, персидский кушак куплю и часы подарю. Служба у меня, ты знаешь, будет легкая. Сиди в лавке, вешай табак и

деньги считай, когда меня самого не будет. Считать умеешь ты, Манолаки?

Маноли говорит: «Да, у меня очень открытые глаза; никто не обочтет меня!»

Мы отговаривали его бросать красильщика, боялись отдать его Хамиду.

И сначала он послушался нас; только раз ушел он, не спросясь у старика, гулять и не сказал куда, краску нужную спрятал. Старик на другое утро его бить стал. День был воскресный. Ударил его раз, ударил два, Маноли на улицу выбежал, а старик вышел за ним, не спеша, и остановил его на углу. Прижался Маноли спиной к стенке и ждет, что̀ будет. Подошел старик, стоял сперва молча пред ним, а потом как ударил, феска с брата упала; ударил другой — кровь у Маноли изо рта пошла.

Было тут много арабов и турок. Кинулись они и стали брата отнимать у старика. Один араб старый говорит: «Грех тебе молодого бить так; сегодня праздник у вас, а ты бьешь его!»

Старик видит — заступников много; оставил брата, а туркам и арабам сказал, когда уходил: «Не грех мой вам забота, а у вас у всех пакость на уме; оттого вы молодых и жалеете!» Старика, за эти слова мусульманам, две недели в тюрьме продержали; а Маноли перестал нас слушаться после этого, ушел к Хамиду; и в новом платье, с цепью серебряной на часах, сел как картинка в лавке у беспутного турка.

IV

Дивлюсь я всегда, отчего нашей семье такая доля несчастная выпала? В один год и мать скончалась, и мужа моего камнем раздавило, и брата убили турки в Ханье. Игумен монастыря Пресвятой Богородицы так говорил мне об этом. Апостол Иаков сказал: «надо радоваться всякому горю и искушению. В горе и в искушении терпенье человеческое видно». Игумен этот был человек мо-

лодой и ученый; в Афинах учился. Проповеди говорил очень высоко и монастырь в порядке держал. Говорили про него люди, что он горд, любит очень хорошее платье и деньги. Я этого не знаю; а знаю только, что он к сфакиотам в горы ушел в 66-м году и вместе с простым народом против турка бился; а потом пропал без вести; убит ли он или скрылся где, — не знаю. Видно, говорил он мне тогда от души, — что и сам горя и смерти не побоялся; и своей высокой должности и своего покоя не пожалел! Как вспомню его, как он молодой еще, и ростом видный, и важный, в золотой ризе на высоком кресле стоит у обедни: так жалко мне его станет, кажется, больше чем мужа и всю семью мою. С тех его слов — и я меньше плачу, — а сбираю все, что̀ заработаю, чтобы по смерти моей половину только дочери моей оставить, а на другую половину серебряную большую поликандилью на остров Тинос сделать. Так-то душа моя покойнее! Живу и жду своего часа, когда и он чередом придет.

А тогда было не то. Сперва матушка заболела и скончалась. Жаль нам ее было; и за ребенком моим она смотрела, и во всем помогала нам, и слова дурного мы от нее не слыхали ни разу!

Что делать! Похоронили ее. И брат Маноли пришел на похороны из города, только он мало об ней плакал; совсем от турецких ласк и подарков обезумел мальчик и забыл сердцем семью.

Около этого времени поднялись на Вели-пашу наши сельские греки. Стал браться народ за оружие; сбирались люди толпами и подступали к Ханье.

Вели-пашу и я сама часто видала; в Халеппе около Ханьи у него свой дом был летний; в Халеппе же и английский консул тогда жил с женой. Он очень был дружен с Вели-пашей: обедают друг у друга; гуляют вместе; паша возьмет консульшу под руку, а консул возле идет. Мы смотрим и дивимся: как это турок с англичанкой под руку идет! Точно он не турок, а франк настоящий! Такого паши у нас еще и не видывали.

Вели-паша был наш критский; отец его так и звался Мустафа-*Киритли*-паша. Имения у Киритли старика были огромные в Крите; недавно он их только все распродал. Самый большой конак * и сад самый прекрасный около Серсепильи были его. Войдешь — как рай! Фиалки цветут и благоухают по дорожкам, — апельсины, лимоны, тополи стоят — кажется, до самых небес — высокие; фонтаны льются; рыбки красные нарочно пущены в воду. А кругом этого сада, — куда ни обернись, — все оливки широкие, тень прохладная, птички поют... Миру бы и вечному бы счастью тут быть!

И жил бы Вели-паша у нас в Крите долго, если бы людей захотел обижать.

Политические люди, которые эти дела знают, говорят, будто бы он человек не злой и с большим воспитанием; а только задумал, как паша египетский, от султана особенно царствовать, или вот как на острове Самосе князь Аристархи был.

Малое дело! Правда или нет — не знаю; только стал народ непокоен что-то.

Есть у нас в селе кофейня. Держал ее тогда грек из Черигo. Такой был патриот этот черигот, что Боже упаси! Усы — страсть большие; плечи, глаза — все большое у него было.

Умел он и с турками ладить для выгод своих; а над дверьми кофейни своей синею краской расписал такой букет цветов, что всякий видел (кто был поученее или поумнее) — что это не цветы, а двуглавый орел византийский. И газеты умел этот черигот доставать такие, которые запрещали турки строго. Никогда даже и не скажет: — *Крит*; а все: *отечество Миноса* (это царь Минос был у нас в Крите гораздо прежде чем турки пришли).

С моим Янаки они большие друзья были. Если нет в комнате турок, — черигот сейчас пальцем в грудь мужа

---

* *Конак* — большой дом, хоромы.

толкнет и скажет: «С такою силой, с такими плечами да на войне не был!» — «Пойду и я, когда нужда будет!» — скажет бывало Янаки.

Так у этого черигота стали сбираться наши часто и говорили о политике и о том, что права даны были критским людям и опять отняты. Приходили и к нам в дом, по вечерам. Меня уж и сон в углу давно клонит, а кафеджи́ нам все говорит: «Права и права; Меттерних да Меттерних-австриец много грекам зла сделал! Теперь и здесь вас судит кади в чалме по корану; а надо вам *димогеронтию* свою, и чтобы вас архиерей и свои старики судили...»

— Люди вооружаются, — скажут ему наши.

— Слова одни, — кричит кафеджи, — все слова... Вы критяне — лжецы все; про вас и апостол Павел сказал, что вы лжецы.

А муж мой ему на это:

— С того времени, брат, как апостол Павел жил — много лет прошло. Люди народились другие!

И правда, что из дальних деревень стал народ в Серсепилью сбираться; и мой Янаки сказал: «пора и мне, душа моя Катерина, туда!»

Забилось мое сердце сильно, и заплакала я, а не сказала ему «нейди». Нельзя же человеку хорошему нейти на опасность за родину, когда другие идут.

Только не пришлось ему и ружья отцовского вычистить; чрез два дня после этого разговора нашего убил его на работе камень.

На дом и не принесли его; меня пожалели люди, — а прямо взяли на церковный двор.

Там я его и тело несчастное увидала.

Конечно, господин мой, есть и вдовьим слезам конец. Много и я пролила слез об Янаки, однако надо было и себя и девочку кормить. Взяла я ребенка моего на руки и пошла в город наниматься в служанки.

V

Я вам сказала, господин мой, что пришла в Ханью искать службы в каком-нибудь доме. Сказали мне, что у одного католика только что ушла служанка. Я пошла в этот дом и согласилась служить за пол-лиры в месяц. Девочку мою они взять с собой не позволили, и я отнесла ее опять в село и отдала к одной родственнице.

В этом доме я прожила всего один месяц. Не могла: и работы много, не по силам моим, и брани и обидам всяким конца нет. Зачем ты чисто одеваешься так? Что ты, мадама, что ли? С твоею ли мордой одеваться чисто? Должно быть, ты развратная какая-нибудь? Хочешь, чтобы мужчины на тебя глядели? Гости придут; выскочит мать, выскочит дочь: как ваше здоровье? как живете? — Как живем? Знаете — как живется в этих варварских странах? От одних слуг сколько мученья! «У вас новая горничная гречанка?» — «Гречанка, к несчастью. Везде простой народ зол и груб, а уж злее греков — нет людей на свете. Гордость какая! Нельзя слова сказать! — Уж, конечно, злой народ. Они в душе ненавидят нас и между собой, да с русскими в разговорах, скило-франками нас зовут; хорошо делают турки, что бьют их!»

А я держи поднос с кофе или с вареньем и слушай все это.

И мать и дочь грязные были такие! Пока нет гостей, все в грязном и в старом сидят; а стукнули в дверь, — Христе и Матерь Божия! — «визиты! визиты!» — кричат. Давай то, давай другое; двери отворяй! Все разом!

— Мы, — говорит, — большие люди — господа!

— Нет, — думаю я, — господа настоящие не такие бывают! Видала и я!

Скупость да злость непомерная в доме: пирог сладкий принесут им, мать сама все кусочки сочтет и запрет в шкап. Сами съесть не могут; велик пирог; а людям не дадут и бросят, когда мыши и мурашки источат.

Старик сам подобрее был, зато уж развратен очень; стал было шутить со мною — я и ушла. Вся душа моя

поднялась — точно выйти из тела хотела с досады! Куда деться? Не хотела я к туркам идти, а делать нечего. И не хочу я лгать и грешить; от турок я добра больше видела: один купец хороший, Селим-ага, взял меня в гарем свой. Возьми, говорит, и дочь свою, пусть с нашими детьми и спит и играет. Тут и работы было меньше, а слов обидных и совсем я не слыхала. Старик суровый был Селим-ага, а меня иначе не звал, как «дочь моя»; за стол жена его меня вместе с собой сажала и детям своим мою девочку обижать никак не давала. Если сын ее толкнет мою дочь либо скажет ей худое слово, так она возьмет щипцы от жаровни да ему тут же добрый урок даст.

Руками они ели, а я дома вилками привыкла есть; одно это трудно мне было; а то ничего!

Брат Маноли ко мне часто ходил: с Хамидом они уж ссориться стали. Маноли теперь подружился с одним мораи́том молодым. Этот мораит, хоть и христианин был, а еще хуже Хамида; распутный и скверный человек!

Фустанелла у него всегда грязная; лицо худое и злое. Пить ему, да драки заводить, да к дурным женщинам ходить, да воровать, да разбойничать — вот его дело! Чем жил этот человек (Христо Пападаки его звали) — не знаю. И сам говорил:

— Мы мораиты — разбойники! Умные люди! Придет наш деревенский в Афины; фустанелла грязная; феска сальная; кланяется всем... Откуда ты, брат? «Из Морьи́,* господин мой!» Сожмешься весь, отвечаешь. А пожил да поправился чем Бог помог: куртка шитая! феска хорошая; подперся и стоит у кофейни! Хоть сам король спроси: «Откуда ты?» «Мы откуда?! Мы из Пелопонеса!» — да и прочь пойдет гордее министра всякого!

Уж не раз и выгоняли турки Христо из Крита за буйство и всякие беспорядки; а он опять приезжал; в тюрьму консулы греческие его сажали и в убийствах

---

* *Морья* — грубо произнесенное *Море́я*, т. е. *Пелопонес*.

его винили. Только как его сожмут покрепче, он сейчас грозится: «Пойду, потурчусь». И оставят его. Это с таким-то разбойником свел мой бедный Манолаки дружбу.

Водил Христо его и к тем турчанкам, которые по дорогам открытые ходят, и в другие скверные места.

Узнал это Хамид и начал бранить брата и ссориться с ним; и все-таки так любил его, что прогнать не мог его из лавки.

Мне все это мой новый хозяин Селим-ага рассказал однажды. «Аман! * бедная Катерина, говорит мне; жаль мне тебя сироту и вдову огорчить, а пропасть твоему брату. Худое дело Дели-Хамида любовь, а дружба разбойника Христо еще опаснее! Либо в тюрьму попадет Маноли, либо убьют его! Уж я слышал — Хамид грозился зарезать его, если будет с Христо в худые места ходить. Стыжусь я, старик, и сказать тебе это; а правду сказать надо! Ревнует его Хамид и говорит: „Я тебя не отпущу от себя, а убью и сам пропаду!" Это все мне добрые люди сказали!»

Я закричала и заплакала; а старик ага говорит: «Позови его; мы его вместе усовестим». Позвали мы Маноли и стали вместе с Селим-агой его уговаривать. Только старик, Бог его прости, все дело испортил; разгорячился да и стал срамить и пугать мальчика.

— Отец твой был честный и мать честная, и сестра честная в доме моем живет! а ты мошенник, да распутный, да разбойник! Тебя в хороший дом пускать нельзя; я тебе другой раз вот этою палкою голову проломлю, если ты не исправишься. Потому я твоего отца знал и любил и тебя жалею!

Так-то хотел пожалеть его палкой ага! Простой человек был, думал сделать добро; а сделал еще хуже. Обиделся Маноли и говорит мне, когда я вышла его провожать за

---

* *Аман* — Увы! ах! беспрестанно употребляется на Востоке.

дверь: «Я, Катерина, больше сюда не приду! Будь проклята вера этого старого дьявола и весь дом, и отец, и его мать пусть будут прокляты! Всякий осел да будет приказывать мне! Он мне не отец и не брат! — Прощай, говорит».

И ушел; весь раскраснелся от гнева; идет так скоро от меня, только шальвары колышатся туда и сюда и кисть на феске.

Стою у дверей и думаю. Вот и ругаться, и проклинать людей научился! а личико-то у бедного красивое и доброе, как у того Михаила Архангела, которого образ из России наш игумен привез. Точно такое лицо; мы все на образ этот любоваться ходили.

С тех пор я уж и не видала никогда моего брата! Час его смертный был близок, и никто из нас этого страшного часа не знал.

VI

Христиане наши в это время вооружились и собрались под Ханьей, около Серсепильи и Перивольи. Их было тысяч около десяти из разных епархий и сел. Начальников у них было много, а главный самый был один молодец — Маврогенни. У нас и теперь так говорят люди, — во времена Вели-паши, либо во времена Маврогенни, — все равно это. Стали они в садах и под оливками; не портили и не трогали ничего даже в турецких садах и домах и послали сказать всем сельским туркам в Киссамо и Селимно, где больше турок, и в другие места, чтобы они работ своих не бросали и не боялись бы. «Мы с Вели-пашой воюем, а не с вами. Вы критские люди, такие же, как и мы, и от нас вы зла не ждите...»

Однако глупые турки деревенские нашим не поверили, а поверили Вели-паше. Паша подсылал им людей: «Идите, спасайтесь в города; не верьте грекам; их больше в селах, и они вас там всех перебьют».

Ему хотелось, как слышно, чтобы больше смут было в Крите и чтобы султан сказал: «ты один исправишь все там, Вели-паша! без тебя нет спасенья»...

Говорили также наши, что английский консул тоже все против христиан действовал.

Пошли турки в город из деревень толпами. Женщины, дети на ослах, на мулах едут; пожитки везут: а мужчины около пешие с ружьями. Усталые, сердитые, голодные все в Ханью собрались.

Работы свои полевые покинули и жить им нечем: работ в городе для них нет...

Город наш-то, знаешь, тесный; улицы узкие; стены кругом города толстые; ворота у крепости на ночь запрут и бежать некуда; разве в море броситься. Страшно стало христианам городским. Как ночь придет — души нет; так и ходит за тобой смерть жестокая!.. Что делать? Куда бежать?

Наши из садов Серсепильи шлют сказать паше:

— Пусть султан нам права возвратит обещанные!

А паша ждет войска из Константинополя и не уступает. Турки в городе, — сказала я, — голодные, злые, теснота им, жить негде; у кого родные были, и тех стеснили, а у кого не было родных?! И то сказать, каково было в жару в эту летнюю с детьми маленькими и с больными, и старыми людьми, где попало жить?

В селах у них, какие бы то ни было, а дома чистые и хозяйство свое было заведено. Грозятся они нам ежедневно; ходить по базару грекам становилось опасно. И женщин трогали турки. Вышел епископ в праздник из митрополии; за ним мы идем. Стали трогать гречанок турки; епископ остановился и закричал на них: «не трогайте женщин, которые с молитвы идут! Это и по вашему закону стыд и грех великий!..»

А один киссамский паликар вынул нож из-за пояса и хотел ударить епископа.

Паша велел этого молодого турка в цепи заковать. И от этого остальные турки ожесточились еще сильнее.

А наши молодцы из Серсепильи шлют свои угрозы. — «Если тронет кто христиан в Ханье, мы запрем источник и весь город и паша от жажды истомятся». Вода хорошая из Серсепильи в город проведена, и даже место это зовется у нас: «*И ма́на ту неру*» (мать водная). Куда пошли бы турки из Ханьи брать воду? По селам окрестным? — боятся, войска мало... А в городе нет иной воды хорошей.

Вот так-то мы мучились долго. Я задумала из города от страха и духоты уйти; думаю, лучше один хлеб в деревне какой буду есть и жалованья не надо мне, когда что ни ночь — то страшнее и страшнее становится. Как придет час запирать ворота городские и увидишь над собой со всех сторон до небес толстые стены, и кругом все турки суровые, с большими усами — так и польются слезы от страха! Как живую в гроб тебя кладут, вместе с ребенком твоим невинным. Турчанки мои меня утешали и ободряли:

«Не бойся, *море́* * Катинко! мы тебя никому не дадим! Ты в гареме у нас, не бойся!»

Однако я все-таки собралась уйти, хоть и много благодарила их. «Пробудь до завтра, — сказала хозяйка сама, — вымой ты мне это платье одно; а завтра тебе добрый путь».

Я осталась на одну еще ночь. Девочка моя уж давно заснула, и мы стали сбираться спать; Селим-ага в кофейне был и не пришел еще... было уж около полуночи... Все стемнело и стихло в городе... Вдруг, как закричит кто-то от нашего дома недалеко:

— Режь гяуров!.. Режь! Всех гяуров режь... наших бьют!..

Минуты, я думаю, не прошло — бегут турки со всех сторон. Огонь! Крики! Оружие стучит; двери хлопают в домах. Женщины плачут, дети кричат.

---

* *Море́* — звательный падеж от *морос* — глупый. Это не всегда брань на Востоке, а просто фамильярное и даже иногда ласковое воззвание, как бы у нас: *дурочка* или *глупенькая*!

Упали было подо мной ноги; но вспомнила я о дочери; схватила ее и кинулась к дверям. Хочу бежать в итальянское консульство; вспомнила я консула мусьё Маттео, добрый был старичок.

Хозяйка кричит: «нейди, глупая, нейди; мы тебя в ковер завернем и под диван бросим; кто сюда в гарем из чужих турок резать тебя придет!..»

А я не помню себя, вырвалась и ушла на улицу. Девочка моя плачет со сна и с испуга; а я бегу с ней.

Уж кто мне попался навстречу, и не помню в лицо никого. Помню, и солдаты турецкие бежали, и офицеры, — и наши, и простые турки раздетые и с криком...

Одно видела я хорошо. Собралась в одном месте толпа солдат; я остановилась — что̀ делать. Смотрю, выскочил из дверей один сосед наш, старый бей турецкий; выскочил раздетый, с топором в руке и кричит: «наших бьют! режьте! режьте греков».

Полковник низамский * как схватит его за горло да как даст ему по щеке:

— Лжешь! — говорит, — никого не бьют!

Вырвал у него топор, в дом его назад втолкнул, дверь запер и ушел дальше с солдатами. На меня они и не взглянули. А я увидала, что по другой улице греки с женами и детьми бегут толпой — кинулась за ними и взошла вместе с ними в французское консульство; русского тогда у нас в Крите еще не было; греческий консул дальше французского жил; и все-таки понимала я: — «Франция — держава большая, европейская, в этом консульстве не так опасно будет».

Знала я, что франки, хотя и злы на нас, а резать нас туркам простым, без причины, не дадут; не потому, чтобы они нас жалели... Господи избави — жалеть им нас! а потому, что свету хотят показать, будто в Турции закон и порядок есть. Эти дела политические у нас всякий ребенок глупенький знает!

---

* *Низам* — регулярное войско.

Вот вбежала я за другими к французскому консулу... А уж дом его полон греками. В этот час все консулы, кроме английского, отворили народу нашему двери. Английский — в деревне ли был, не велел ли отпирать, не знаю, — только заперты были двери его для наших.

Во французском консульстве стон стоит и плач.

Кавассы бледные ходят; шепчутся. Консул сам задумчивый ходит тоже, шагает через ноги наши, курит молча. Выйдет на балкон; постоит, послушает и опять вернется.

— Нет ли у вас оружия? — спрашивает.

— Есть, — говорят люди.

Он кликнул кавассов и велел отобрать оружие.

— Беда вам! — сказал он, — если у которого из вас нечаянно выстрелит пистолет; подумают турки, что мы в них отсюда стреляем, и тогда... кто знает, что будет. Сидите тихо и не бойтесь; вы под флагом французского императора!

Успокоились мы как будто немного, стали потихоньку между собой говорить.

— Что случилось? — спрашиваем друг друга.

Один грек и сказал, как вышло все это. Рассказывал он, и мы все слушали, и драгоманы, и кавассы, и сам консул.

Слушала и я, и не знала, несчастная, что это о моем бедном брате речь. Один христианин молодой турка в кровати зарезал; хотел его деньги взять. Да ударил ножом неловко; весь в крови бросился бежать на улицу, а турок истекает кровью — тоже дошел до порога своего и стал звать других турок на помощь... Турки и подумали все, что греки их резать собрались...

— Слава Богу! — крестились мы, — это еще ничего!.. И в городе все стихло как будто.

Слышим, мимо консульства низамы прошли — «стук, стук, стук!» Слышно, правильное войско идет... все не так страшно стало...

Сидим полчаса, сидим час у французского консула — все тихо... Послал он пред этим еврея, драгомана своего,

в Порту... Пришел еврей бледный, дрожит и шепчет что-то консулу.

Вышли они вместе.

Как вдруг загремят ружейные выстрелы... чаще, чаще! Мы только руки подняли к небу и взмолились о прощении грехов наших.

Гремят ружья все сильнее. Вбежал кавасс и говорит:

— Того гречонка, что турка зарезал, схватила полиция и увела его в конак к паше. Турок же простых тысячи собрались пред конаком, и беи, и ходжи с ними и кричат Вели-паше: «или отдай нам грека этого на растерзанье, или мы всех христиан перебьем в Ханье!»

Паша не отдает его, говорит — судом его будут судить, так убивать нельзя. Как услышали этот ответ турки, и стали стрелять в окна паши. Что-то будет!

Побежал опять драгоман куда-то с кавассом.

А мы говорим друг другу в страхе нашем: «Уж лучше отдали бы, правда, этого грека им, чтобы нас спасти! Он убийца, а мы что сделали?» И стали люди молиться; и я, пусть Господь Бог простит меня! помолилась:

— Когда бы отдал паша убийцу на растерзанье!..

Не знала я, что о погибели любимого брата молю! Потому что это Хамида своего он убил, а никто другой. Текут мои слезы градом и теперь, когда я вспомню об этом!..

VII

Потерпите же теперь, я расскажу вам, как это случилось, что Маноли наш Хамида убил.

Я уж это все после хорошо узнала.

Любил его, видно, Хамид крепко. И Маноли, я вам говорила, сначала доволен был судьбою своей. А потом, когда Христо Пападаки и другие греки стали дразнить его Хамидом и смеяться над ним, ему тяжело стало. И Хамид стал грозить ему тем и другим. «И себя убью, и тебя!» — говорил Хамид.

— Брось его, — учит Христо. — Уедем в Элладу; там просвещение и свобода, а здесь Турция.

— Убью тебя, если уедешь от меня, — твердит Хамид.

Брат уж и плакать стал, а Христо свое продолжает:

— Уедем да уедем в Элладу. Ты собой красавец, и у меня сестра младшая в Патрасе еще красивее тебя будет. Как цвет гвоздики она хороша! Не видал от нее еще и улыбки ни один мужчина. Ты первый будешь. За ней дом дадут тебе, если ты будешь мужчина.

— Разве я не мужчина? — спрашивал брат.

— Какой же ты мужчина? Когда бы ты был мужчина — Хамида, который по детской глупости твоей опозорил тебя, давно бы на свете не было. Убей его и бежим вместе; возьми все деньги его из кассы и беги прямо ко мне, как убьешь его. Я спрячу тебя на корабль греческий.

В этот вечер Хамид был пьян немного; считал свои деньги при Маноли нарочно, должно быть, чтоб Маноли от него не уходил; забыл запереть их и лег. А брат поднялся и ударил его в грудь ножом... Да ударил дурно... Потерялся и побежал из лавки... Поднялся крик и шум в соседстве, и заптие * на углу поймали его и отвели в конак.

Вот как это было. Вели-паша, когда увидел, что турки стрелять в конак его начали и что стекла в окнах от пуль биться и падать стали — задумался. А все говорят ему кругом: «отдай ты этого гречонка проклятого; он убийца».

Турки все стреляют в конак и ревут как звери: «отдай нам его! отдай!!!»

Что было делать паше? Не губить же всех из-за одного? Солдат и заптие у него мало!

Однако терзать брата он не дал им; а вывели заптие мальчика на высокую лестницу... Внизу народ, как море кипит... Уж и на лестницу кинулись и лезут. Заптие по-

---

* *Заптие* — жандармы.

скорее удавили Маноли веревкой и кинули с лестницы его тело народу.

Повеселели турки-варвары тут же; привязали к цепям, которые у брата на ногах были, веревки; схватились за них и побежали с криком и проклятиями по всем улицам.

Пред каждым консульством они останавливались и ругали и греков, и всех, по-ихнему, гяуров вместе. И консулов самих осыпали бранью самой скверной.

И около французского консульства простояла толпа долго с криками и бранью.

Кто посмелее был из нас, побежали к окну.

— Довольно вам, гяуры, царствовать над нами! Кончится скоро царство ваше здесь, собаки, шуты маскарадные, сводники! Всех вас в клочки изорвем! всех!

Я думаю, вы и сами, господин мой, поймете, до чего это страшно было.

Консул, однако, вышел на балкон, уговаривал турок уйти, а сам между тем высмотрел, кто из них больше кричал и бесновался. Заметил после и паша этих людей; как стихло все, в тюрьму посадил. Дольше всех просидели один дервиш горбатый и старый бей один, наш деревенский, из Халеппы: он в серебряных очках всегда ходил. Этот бей шесть месяцев пробыл в тюрьме за это.

Накричались турки и потащили дальше труп Маноли; цепи звенят по камням. С шумом и смехом толпа бегом за трупом бежит.

Мы все перекрестились и отдохнули. Иные с радости стали плакать, и все благодарили консула.

Турки кинули труп брата в ров, разошлись по кофейням, закурили наргиле, успокоились, веселились до рассвета и хвастались, что самим консулам задали страха.

Тем это дело и кончилось. Скоро после этого приехал из Константинополя старик Сами-паша сменить Вели-пашу. Пришло с ним и войско. Сами-паша привез грекам обещания: уступить им многое, чего они просили (что обманули потом — это вы знаете). Пришел и молодец Мавроген-ни в Ханью. Сами-паша верхом, а Мавроген-ни около

него идет; пусть все видят, что критские христиане помирились с турецким начальством.

После этого греки из Перивольи и Серсепильи разошлись по домам, и турки деревенские из Ханьи все ушли. Люди радовались, что все утихло, и хвалили консулов; один только тот усатый черигот кафеджи, который с мужем покойным был друг, все не хвалил и не радовался.

— Жаль, жаль, — говорит, — что ни вас всех, ни консулов турки не перебили! Конец бы тогда Турции сразу! Вы думаете, эти западные консулы об вас заботились? Глупый вы народ! Это у них тоже своя политика друг против друга. Назло все они это англичанину сделали; зачем больше их весу у Вели-паши имел. Ах вы деревенские головы! Что̀ мне сделать с вами, не знаю.

Уж не знаю, правду ли он говорил, кафеджи, или так у него уже злость против франков была.

Как утихло все, говорю я, и душа моя утихла вовсе, господин мой! Долго и слез у меня ни капли не было. Точно душу мою кто ветром, как лампадку, задул. Хожу — ничего не хочу, все вижу, а смотреть ни на что не смотрю.

Хлебом одним год почти питалась у себя в доме и, кроме церкви, никуда не ходила. Сердце мое стало как камень, а камень такой всяких жалоб и слез тяжелее!

И о брате, и об муже, и об матушке вспоминала нарочно, не заплачу ли?

Дочь нарочно начну няньчить: «Сирота моя! несчастная моя!» Все не плачу!

Только, наконец, весной я заплакала, и стало мне много легче. И вот отчего это случилось.

Девочка моя на руках моих стала дремать, а я сидела и вспоминала всякие песни, которыми няньчат детей.

И вспомнилась мне одна нездешняя песня; отец меня петь ее выучил, когда из Эпира вернулся.

Нашего маленького, маленького балованого
Вымыли его, вычесали, к учителю посылали...

Ждет его учитель с бумагой в руке;
А учительша ждет его с золотым пером.
— Дитя ты мое, дитя, где твоя грамота, где твой ум?!
— Грамота моя на бумажке, а ум мой далеко, далеко!
Далеко, у девушек тех черноглазых,
Глаза у них точно оливки, а брови снурочки.
А волосы их белокурые — длиной в сорок пять аршин!..

Вот эту песенку как запела я сама про себя (девочка моя уснула), и вспомнила я, как носила брата! сама еще мала как была!

Несу его, помню, домой из-за ворот вечером и пою эту песню; и месяц ему в личико светит, и он глазами синими на мои глаза глядит и молчит... Вот как это я вспомнила, открылась душа моя с того часа, и полились мои слезы!..

Верьте мне, господин мой, что я вам всю правду сказала!

Я слушал внимательно рассказ Катерины. Небо над нами было чисто, и розовый цвет уже покрывал старый персик, у которого мы сидели; море не шумело, и мирно блистал снег вдали, на высотах Сфакиотских...

Я верил страданиям Катерины; но и страдания, и радость в этом прекрасном краю казались мне лучше тех страданий и радостей, которыми живут люди среди зловонной роскоши европейских столиц.

ПАЛИКАР КОСТАКИ

РАССКАЗ КАВАССА-СУЛИОТА

I

Если вы любите, господин мой, слушать истории разные про то, как живут люди в Турции и что случается в наших местах, — я расскажу вам, как влюблен был один молодой сулиот наш Костаки в дочь богатого купца, Стефана Пили́ди, и как он на ней женился.

Костаки значит Константин. Так его крестили. Он был всегда мне близкий друг, и теперь я иногда езжу к нему в Акарнанию.

В этой истории можно видеть, как велика премудрость промысла Божия! Как одним бывает от чего-нибудь убыток и погибель, а другие чрез это судьбу свою составляют и желаниям своим успех видят.

Не случись пожара в городе, где бы Костаки взять дочку у Пилиди! А пожар этот полсотни лавок сгубил, весь базар уничтожил, богатых разорил, а бедных без хлеба на несколько месяцев оставил. Да это я вам после скажу. Теперь о самом Костаки. О Сулии слыхали ли вы как следует? Марко Боцарис был сулиот: и даже сестра его Еленко сражалась с турками и была убита. На пути из Янины в Арту стоит у самой дороги большое дерево, под которое ее раненую положили турки, и она скончалась под ним... Есть у нас и стихи старинные про Еленку.

Все капитанши, все черноглазые,
Все попались в плен туркам, всех их забрали.
Одна только Лена Боцарис, эта одна черноглазая,
В плен не попалась и ее не забрали.
Пятеро турок за нею бегут и пять янычаров.
Обернулась к ним Лена и так говорит; обернулась и молвит:
Турки мои! не трудитесь напрасно, не тратьте труда вы;
Елена я Боцарис и Марку сестра я;
Ружье ношу я, саблю дамасскую и пистолеты серебряные.
И в руки турок живая не отдамся!

Горы наши страшные со всех сторон видны. Если ехать из Янины в Превезу или в Арту, они будут на правой руке; а назад поедете, они будут у вас на левой. Крепость Сулии стоит высоко, и ехать туда трудно даже на самом хорошем муле. Дорог вовсе нет от деревни к деревне; только в долине Лакки полегче. И я, и Костаки, друг мой, в этой Лакке родились.

Сулиоты все герои. Неужели вы не слыхали и не читали в книгах, как тиран эпирский Али-паша хотел завоевать Сулию и как сулиотские женщины с высокой скалы побросали детей своих и побросались сами? Спаслись, пробившись с оружием сквозь турецкое войско, очень немногие. А отдаться никто не хотел!

Вот что такое сулиоты! Поэтому и зовут даже нашу Сулию: *Злая Сулия*. Сулиотов наших и лорд один великий хвалит в своих сочинениях. Я забыл его имя, но его у нас еще помнят старики; игумен в монастыре Св. Илии, что̀ в Зице, говорит: «Как сейчас пред собой вижу: кудрявый и красивый мужчина был; в монастыре нашем три дня гостил, и с меня портрет карандашом снял, и отдал мне на память, да пропал портрет с другими бумагами во время албанских набегов». — Этот лорд в Миссалонге умер; он бросился за греков сражаться, да заболел и скончался. Да простит Бог его душу! Хоть он и англичанин был, а я все-таки скажу: да простит Бог его душу!

Вот этот-то лорд в своих сочинениях, сказывают ученые люди, весьма возвышенно хвалил сулиотов и говорил: «я сам храбр и за Элладу кровь пролью, а сулиоты уж свыше всякой меры герои».

II

Как сулиотские женщины кидали с горы своих детей, так бросили и мать нашего Костаки; ей тогда уже десять лет было; она кричала и не хотела, бедненькая, кидаться, но мать насильно столкнула ее, и Бог ее дивным, удивительным образом спас. Послушайте, эффенди: это приятно слышать! Как бросила ее мать, она прямо с ужасной крутизны на другие тела упала и только ногу попортила.

Вот вещи какие их род видал! Отец его тоже старик отчаянный был. Усы седые вот до каких пор!

Выпьет — веселый человек станет; один раз к нашему консулу пришел. Деревенский человек, простой. Посадил его консул. Люблю, говорит, старых людей, уважаю! Вина ему, раки́,* кофе, чубук... Старик и важность свою бросил.

— Дайте мне, ваше сиятельство, позволение петь.

Дал консул с радостью. До полуночи старик пел разные старые песни, а консул, глядя на него, веселился.

А дома он был суровый человек. Все мы в горах жен наших в строгости большой держим; они с нами и за стол не смеют сесть, а стоя служат нам и кушают после. Я и сам раз хотел было застрелить жену свою, и вот за что. Шел я по улице, а она у соседских ворот стоит с соседкой и смеется, спиной к улице; я иду, она видит и должна была повернуться ко мне лицом. Да забыла, бедняга, видно. Я дома и показал ей, что̀ значит муж. Оно, конечно, я уж не деревенский человек, и европейское обращение с госпожами видел, и даже чрез меру знаком со всем этим, ибо много консульш всяких держав, и других знаменитых и официальных дам знавал

---

* *Раки* — водка.

близко. Поэтому я на жену и не рассердился взаправду, а только вид ей страшный показал, чтобы древний обычай чтила.

Да это я так, а другие у нас хуже меня много.

Уважают жену всячески, но чтобы она помнила, что она жена. Старший брат нашего Костаки женился в другой сулиотской деревне на девушке из очень хорошей семьи. И дядя, и отец, и дед ее под Миссалонги сражались и начальниками были; деда Али-паша уважал; а другой ее дядя уехал в Афины учиться и вышел ученейший человек. С материнской стороны дядя у нее полковник греческой службы, потому что маленьким в Афинах учился. Вот такая родня!..

Когда повез жену свою старший брат Костаки в дом отца, видит он, что она еще такая молоденькая и нежная, пожалел и посадил ее на лошадь, а сам около пешком пошел. Жалко, говорит, а другой лошади не взяли. Увидал старик новобрачных и встретил их с ружьем в руке.

— Видишь это ружье, негодяй! — говорит сыну, — другой раз увижу, на месте убью.

— За что, Христос и Панагия? * — говорит сын.

— За что? — говорит старик. — Разве прилично воину сулиотскому жену посадить на лошадь? Ты сиди сам на лошади, как мужчина, а жена должна идти около и ружье твое на плече нести. Если тебе жалко стало ее, по дороге вез бы на лошади, а в деревню не въезжал бы срамить меня.

Такая вся родня была у Костаки честная и хорошая, никто их семью в бесчестном каком-нибудь деле укорить не смел.

И род знаменитый их был в наших горах.

III

Костаки и сам был малый, как у нас говорится, *костяной нос*.

И ростом, и силой, и смелостью из первых у нас. Танцовать станет — все любуются: сперва тихо начнет; одну

---

* *Панагия* — Божия Матерь, Всесвятая.

ногу подвинет важно и тихонько, потом другую выставит и остановится: глядит на всех. А потом как подопрется и закружится и запрыгает, фустанелла на нем из трехсот кусков сшита, пышная, развевается — удивительно! Я тоже, эффенди, танцую хорошо, но Костаки гораздо лучше меня танцовал.

Сулиоты все наши одеваться любят чисто. Если вы заедете в наши горы и увидите наших, как они бедно живут, вы удивитесь и скажете: *дикие люди*! Наши дома не то, что в городах, а у редких хозяев потолок в доме есть. Стекла на окнах никак во всей Сулии у одного только человека и есть, да и то недавно вставил их. Зимой, как поднимется ветер и снегом нас начнет заносить, мы в бурках у очага сидим и ставни притворим днем. Школ в других округах Эпира много, а у нас ни одной нет до сих пор. Нельзя и быть нам богатым. Ружье — вот наша жизнь настоящая. А как другие эпироты — жить ремеслом, у нас не в обычае. Лучше слугой пойти к богатому человеку, чем столяром или башмачником быть. Так-то мы как дикие звери живем, эффенди. По мне вы не судите, я политике в городах обучался и даже в Болгарии был и в Боснии. А гордость у сулиотов наших у всех большая. Посмотрите вы на маленького сулиота в каком-нибудь хозяйском доме в Янине или в другом городе, на малое неразумное дитя десяти каких-нибудь лет. Что вы видите? Слугой его взяли в дом, например, и без платы, а только одевать и кормить. Завелись у него две фустанеллы; он встанет рано, сам вымоет фустанеллу, утюгом выгладит и наденет, и уж пробует, как ему красоваться в ней. И так станет, и так прыгнет, и протанцует один! Завелись небольшие деньги у сулиота, он сейчас оружие хорошее покупает, одежду такую, что обувь одна, красная шолковая с кистями, лир пять турецких сто́ит, серебряные щипчики, чтобы уголья горячие доставать из мангала * для чубуков,

---

* *Мангал* — жаровня, brasero, для согревания комнат зимою; употребляется, если не ошибаюсь, во всех южных странах Европы и на Востоке.

за пояс золотом шитый заткнет и гордится. «Пусть видят люди, что воин-человек идет!»

Другие эпироты, хоть бы яниоты или загорцы богатые, смеются над нами. «Варвары люди!» — говорят они об нас. Однако ни яниот, ни загорец недостойны к оружию прикоснуться, и без наших капитанов сами турки и паши разбойников даже преследовать не могут. Придет час, господин мой, и вы опять увидите, что значит сулиот!

Таковое мое слово вам.

Костаки тоже, как следует сулиоту, одевался чисто, и сам консул, у которого я служил, всегда хвалил его за это. Придет ко мне в гости Костаки; если консул его увидит, всегда скажет ему: «Добрый вечер, Костаки! Что ты делаешь? Какой ты опрятный, я все любуюсь на тебя. Скажи мне, Костаки (раз это ему консул говорит), отчего это у вас люди простые, ремесленники, кавассы и все сельские паликары такие чистые и нарядные? И белого на вас столько, и все чисто, и руки вы чисто держите, так что вас в пример европейцам можно поставить; а купцы богатые ваши, доктора, ученые и все, что̀ у вас европейскую одежду носят и кого вы, дураки, благородными, чорт знает почему, зовете, отчего они такие неопрятные и неловкие, и сюртуки скверно сшиты и на воротнике сала три ока? Отчего это?»

Мы улыбаемся оба с Костаки и молчим. Хоть и знаем, что̀ сказать, а хотим консулу почтенье показать, как будто стыдимся.

— Говорите же! — рассердился немного консул.

— Моя такая мысль, г. консул, — говорит Костаки, — думаю я, эти богатые и ученые у нас надеются, что их и паши, и консулы и всякий примут и посадят, и уважение сделают, хоть они и грязные придут. А нам, горцам, что̀ делать, чтобы хоть немного получше казаться? мы и украшаем сами себя, как умеем.

— Умно говоришь ты, Костаки, — говорит консул. — А я еще и другое думаю: что по-здешнему одеваться, от отца и деда, и прадеда обычай идет, и всякий знает как надо. А эти медведи хотят по-европейски одеть-

ся — и не умеют. Так, как ваши архонты одеваются, у нас так нищие либо преступники галерные одеты.

Ужасно любит этого Костаки наш консул. Все говорит ему: «Когда ж это я тебя к себе кавассом возьму да увижу тебя с красотою твоей в красной куртке, золотом расшитой? Что мне делать? Мои старики-кавассы верно мне служат столько лет. Не могу я прогнать их чрез тебя! А более четырех не положено!»

Покраснеет Костаки от радости. Как не радоваться похвалам таким?

Придумал наконец консул в сеисы, то есть в конюхи его взять.

— Если, — говорит консул, — не умеешь за лошадьми смотреть — не смотри; я другого возьму для ухода, а ты только для красы будешь; будешь около меня идти, когда я с визитами верхом поеду, и стремя будешь держать, когда сажусь. Что̀ скажешь?

— Нельзя, — говорит Костаки; — то, другое, третье... Нельзя.

А говорил он неправду все. Не хотел от гордости сеисом стать. И хорошо сделал. Иное дело кавасс, иное дело сеис. Сеис простой слуга; его и турки схватить и судить могут без спроса у консула. А кавасс вещь великая: кавасс оружие носит; кавасс точно офицер иностранный; он жизнь и честь консула защищает; для него паша — нуль, поверьте мне! Для него одна глава — консул. Прикажет консул: «убей этого турка!» — и убью я без страха. Это не я, а консул убил. Консул своему правительству отвечает. А мне одно дело есть — повиноваться консулу. Меня не смеет и паша тронуть без позволения консула. На это трактаты существуют, клянусь вам! Место паша свое потеряет, если тронет меня. И нельзя иначе: фанатизма еще много у турок; консулу трудно ходить одному по улицам. Турчата камнями бросят; солдаты честь не отдадут; обругают и прибьют нарочно; а потом, дьявольские души, скажут: «Мы люди простые, виноваты, и не знали, что это консул; кавасса с ним не было; мы думали, простой франк».

Да и наши христиане, без злого умысла, а по грубости на базаре толкнут. Знаете, наш грек, как об деньгах заспорит, не то консул, король сам иди, не рассмотрит; он смотрит, как бы свои полпиастра выиграть.

А порядок ли это, чтобы представителя великой державы, которого всякий в городе знает, какой-нибудь глупый человек на базаре толкал?

Вот у нас что̀ значит кавасс, господин мой! Великое дело кавасс; он и в бумагах зовется «привилегированным». А конюх — одно слово конюх.

Костаки и не мог пойти в конюхи, потому что он был из слишком хорошего капитанского рода. И хлеб у семьи их все-таки какой-нибудь был.

Теперь я хотел вам еще сказать, какой Костаки был хитрый и смелый.

Этому, господин мой, я надеюсь, вы даже смеяться будете.

IV

С турками ссориться и драться у Костаки было нипочем. И не думайте, чтоб он это делал как дурак; а иной раз силой и отвагой, а другой раз и умом и хитростью возьмет.

Один раз, однако, не умом и смелостью спасся, а счастьем одним. Спасла его старушка одна, и старушка эта после всю судьбу его устроила. Не будь этой старушки, было бы худо ему от турок.

Надо вам и то сказать, что старик, отец Костаки, был в 54 году в делах замешан, и потому, как дела испортились, он уехал в Элладу и с греческим паспортом вернулся в Турцию.

Турки его не трогали, только греческим подданным ни его, ни Костаки, ни других его детей не хотели считать.

Я поэтому не раз и говорил Костаки:

— Остерегайся, брат! У консулов греческих силы мало, турки их боятся; а твоего эллинского подданства и знать не хотят... Смотри!

Иногда он меня и слушался, а иногда нет.

Есть у нас в городе старик один, дервиш, и любит он греться у своего домика на солнце. Ничего старик: ни худа, ни добра никто от него теперь не видит. Однако люди, которые молодым его помнят, говорят, что он был зол и фанатик.

Костаки мимо него каждый день по делам своим проходил. Сердце его требовало сказать что-нибудь, чтобы подразнить турка.

Проходит и шепчет, как будто про себя, «Чтобы вся ваша порода с Магометом проклятым не спаслась от зла!»

Старик раз прослушал, два прослушал и пошел жаловаться кади. А кади человек опасный был; никаких новых уставов знать не хотел, а только свой шериат * старый. Денег он не брал; а турок честный для нас еще хуже вора: от вора откупишься, а от честного не спасешься ничем. Позвали Костаки, он не испугался, а только притворился, что испуган, и говорит: «Я? да что я сумасшедший, что ли, кади-эффенди, чтоб живя в Османли-девлете, да против вашей веры говорить стал такие скверные слова! Врет старик от злобы, а я не боюсь, потому что знаю, что кади-эффенди не на веру чью, а на правду смотрит».

— Хорошо ты говоришь, сын мой! — сказал кади. — А ты, старик, сам дервиш, а не знаешь, что суд *мехкеме* наш двух свидетелей требует.

Только это он не при Костаки, а после дервишу сказал. На счастье Костаки, в мехкеме пришла в эту самую минуту по своему делу одна старушка, Кати́нко

---

* *Шериат* — священный закон, суд по Корану, которому долгое время были подчинены не только турки, но и христиане в Турции. Исключение составляли всегда лишь семейные и чисто религиозные дела, которые судились архиереями с помощью старшины. Издание новых законов избавило христиан от шериата, по крайней мере в принципе; но это не могло сделаться вдруг, и многие мусульманские судьи, вопреки всевозможным обещаниям и распоряжениям, долго судили лишь по шериату.

Хаджи-Димо, христианка. Слышала она, и хоть и не имела с Костаки знакомства, а пожалела его. Думает: «где бы его найти?» Отыскала и говорит: «Паликар молодой! берегись: по твоему делу два свидетеля будут».

На счастье, дервиш был почти нищий, подкупить ему свидетелей нечем было; и приходилось правды держаться: упросил он двух турок спрятаться за стену могилы турецкой и ждать Костаки.

Костаки идет мимо и говорит громко товарищу, который с ним был:

— Ах, что у нас за счастье ныньче в городе, что кади у нас справедливый и клеветы не любит!

Свидетели и ушли ни с чем. Неделю Костаки молчал, а потом опять проклял Магомета. А старичок уж только вздохнул и говорит:

— И я, брат, его проклинаю теперь, потому что он слуг своих нехорошо защищает.

Да и мало ли что̀ еще я могу сказать про Костаки! Патриот был мальчик этот! 19 лет ему всего было, а он эллинский крест вытравил себе на руке, и с этим знаком его все турки видели.

Пришел я в наш город, когда его родители померли, и не знал он, чем заняться. Денег отец его, хоть и не беден был, а не много оставил; много тоже на проценты было роздано, и многое из них пропало через злодейство людское и через неправосудие турок.

Я тоже в это время отошел от консула и стал жить в этом городе и торговать. Торговал я русскою кожей, которую у нас зовут *телятúной* и из которой и здесь и в Акарнании шьют *чарухи*.*

У Костаки от отца осталось лир сто. Я и говорю ему: «Будем торговать вместе». Он согласился, и все дивились в городе, что два сулиота магазин открыли.

---

* *Чарухи* — красивая обувь, с загнутыми вверх носками, которая употребляется в Эпире, Акарнании и других странах. Делается из красной *русской кожи*, которую греки зовут *телятúни*.

Наши, кроме баранов да еще уголья и дрова кое-какие привозить в город и продавать, ничего не знают.

Жили мы с Костаки хоть и врозь, потому что я семью мою в город привез, но виделся с ним каждый день, и тогда-то узнал я, что дочь Пилиди моему паликару сердце согрела.

V

Влюбился Костаки в дочь купца Пилиди. Только вы, господин мой, не думайте, что в нашей стороне бывает любовь как у других, у франков, или у русских, или в Афинах, что девушка с молодым человеком разговаривает или под ручку гулять с ним идет. У нас этой свободы нет. Я в жизни моей множество вещей видел и стихи читал разные, и мифические истории о любви; у других людей иначе это все бывает, а у нас иначе. В Болгарии я был, например, и как увидал, что простые, сельские девушки у болгар с молодцами танцуют; возьмутся все руками, вокруг станут и пляшут, и прыгают высоко, — и девушки, и мужчины, — Господь Бог один знает, как я удивился! И смешно мне и стыдно стало; и еще удивительнее для меня было, что эти болгарские паликары возьмут цветок и девушке при всех дают. Это значит: «Я тебя люблю». В Боснии тоже я был. Так там не только христиане, и турки с молодыми девушками на улице смеются. Девушки придут за водой на колодезь; а паликары-босняки и христиане, и турки с ними шутить станут. Подойдет другой, сейчас ей два-три комплимента скажет; и она рада! И это у них *ашик* называется.

Где у нас так делать!

У нас в Эпире девушка как подросла так, что можно замуж идти, запрут ее в дом, — и никуда она выходить не смеет; не то на танцы или на свадьбу чью, а и в церковь нельзя. Срам великий! Один раз в год все девушки причащаться в одну церковь сбираются ночью, и кроме попа и певчих ни одного мужчины нет тогда в церкви; и митрополит в эту ночь у паши заптие требует, чтобы дверь цер-

ковную стерегли. И в самом вилайете, в Янине, еще строже, чем в других местах. И чем богаче дом, тем строже, потому что и спрятать девушку в богатом доме легче.

Извольте теперь судить, какая у нас любовь может быть! Скверное наше место насчет этого!

Однако пока еще девушка не выросла совсем для замужества, ее можно видеть везде, — и в доме гостям варенье и кофе она подает, и в школу по утрам ходит, и в гости, и на танцы ее берут родители, пока мала.

Так и Костаки наш Софицу Пилиди узнал, когда еще ей четырнадцать лет было; и влюбился в нее. Она уже велика была, а еще ходила в училище. По мне, ничего в ней хорошего не было, бледная и худенькая, как почти все наши эпирские женщины. (Это так! у нас все больше худые; род уже такой!) Глаза у нее это правда, что сладкие были, и обращение хорошее, целомудренное.

Идет с нянькой утром в училище всегда очень скромно, а вечером из училища в дом отца возвращается. Одета она была по-старинному и не шляпку на голове носила, а феску; идет, и глаз от земли не подымет. И обучена была она в школе свыше всякой меры хорошо.

Подушки по канве большими франкскими цветами вышивала; рубашки европейские шить умела. Историю и географию всю наизусть знала.

Приехал к нам новый митрополит и пошел на экзамен в девичье училище. Пришла очередь Софицы. И так знала она хорошо, бедная, — как в барабан забила! не разберешь даже слов.

А митрополит хитрый; спрашивает вдруг у нее: «Есть в Молдавии горы или нет?» Покраснела Софица, на учительшу глядит. Учительша тоже застыдилась, а помочь нельзя. Подумала Софица и говорит митрополиту: «Нет гор в Молдавии; все поле». Все обрадовались.

Костаки, конечно, ее воспитания не имел. Однако и его священник наш читать и писать хорошо обучил; пел он в церкви с детства и Апостол читал прекрасно. Сулиот-человек! Где ж ему географию знать?

VI

Ни я, ни другие друзья и товарищи Костаки долго не знали, что ему нравится дочь Пилиди. Только стали замечать, что он петь чаще стал. Все поет и поет! И особенно одну песенку.

Эту песнь вы часто, господин мой, можете слышать на улице и в Янине, в Арте, и в других наших городах; в праздник, когда стемнеет, паликары наши выпьют в кофейнях, идут по улицам и громко поют ее:

Проснись и не спи,
Моя золотая канарейка!
Встань с постели
И услышь, как я пою.

Вот эту песенку Костаки все распевает. Он распевает, а Софица в школу мимо нашей лавки ходит.

Уж когда я спросил у него от всего сердца правду и просил его мне исповедаться, он признался. — Люблю ее, говорит.

— Ба! — говорю я ему, — трудное это дело! Не случится это, чтобы дочь такого официального человека как Стефанаки за мальчика-сулиота вышла...

— Я сулиот, а он франкский портной, *франкорафт*...* — говорит.

— Это так, — говорю я. — Да он, видишь, не только богат, но и в драгоманы теперь поступил; корону на фуражке золотую носит; с пашой обедал раза два у консула, у консула в большом уважении.

— Да он осел, — говорит опять Костаки...

— Осел, да поди навьючь его? — не навьючишь!

— Бог все делает! — ответил Костаки и ушел.

---

* *Франкорафт* — французский портной, который шьет европейское платье.

Я молчу; жалко паликара, что безумие такое задумал.

Так и прошло довольно много времени.

Оно не то, чтобы Стефанаки был из какой-либо старинной эпирской семьи: есть у нас древние имена по сту лет даже. Все торговали и в уважении были. А Стефанаки-франкорафт с тех пор наживаться стал, как у нас в моду великую это европейское платье стало входить. Человек он был не умный, а судьбу хорошую имел. Сначала многие помнят его у итальянца-портного: босой бегал мальчиком, а потом за женой взял деньги хорошие и начал богатеть. Судьба ему даже такая вышла, что жену свою он не любил и, видно по желанию его, ее разбойники убили. Вот как это было: у жены его в Загорах в деревне был домик; виноградники были и еще кой-какие вещи. В 54 году разбрелись люди Гриваса, потому что уж Гривас не мог держаться: были у Гриваса всякие люди, и побродяги и злодеи были. Нельзя без этого при восстании. И люди Гриваса сильно озлоблены были на загорских, потому что загорские жители мошенники и хитрецы. Я сулиот и не люблю их.* Они и защищать себя сами никогда не умели, а наших же прежде капита-

* *Загоры* — гористый округ, тысяч в 20—25 жителей, к северо-западу от Янины. Округ этот пользовался прежде особыми правами и своего рода самоуправлением. Права эти уничтожены лишь в последнее время, при устройстве вилайетов в Турции, и Загоры стали простым уездом. Загоры место очень своеобразное; сорок слишком сел, которые составляют округ, все почти очень богаты, чисты, и дома в них большие, как в городах. Богатство загорцев все приобретено в путешествиях; земледелия нет. Редкий загорец остается дома; все почти женятся рано, покидают тотчас же жену под присмотром родных и уезжают в Молдо-Валахию, в Россию, в Египет, в другие провинции Турции. Возвращаются на короткое время, чтобы жены не оставались бесплодными, и опять уезжают. Загорцы занимаются всем: один выходит доктором, другой учителем, третьи арендуют имения в Молдо-Валахии, торгуют, снимают *ханы* на больших дорогах и в дальних городах и т. д. Загорцы очень хитры, корыстолюбивы и неутомимы в труде. Воинственный и небогатый сулиот бранит их в нашем рассказе; но всякий своеобразный край производит и хоро-

нов с молодцами из Лакки-Сулии сторожить себя от разбойников нанимали. Деньги наживать — это они умеют, сказано, загорцы.

Вот ребята Гриваса и разбрелись туда и сюда. Пришла партия в Загоры ночью. — Мы, говорят, султанское войско. — «Дервен-агадес»,* сельская стража.

Поужинали. А Пилиди они знали, знали, что он и туркам кланялся всегда низко, и на восстание ни пиастра не дал. Он в это время уехал в Загоры посмотреть свой дом и виноградники.

Подошли к его дому: — «Отворяй!» — кричат.

— Куда отворять! Убежал через крыши и скрылся портной проклятый... а жену беременную оставил.

Они ее и не хотели убить. Но, видно, ее смертный час пробил тогда. Мошенник муж от скупости своей все не верил ей и прятал от нее деньги. Зароет их в погребе в землю в один угол и призовет, и покажет... Смотри, вот деньги где. А потом опять испугается, чтобы она не взяла и не истратила, потихоньку от нее в другое место перенесет. Потом опять зовет, показывает, опять тайком в третье место переносит. Так она, несчастная, и не знала, где деньги.

шие, и дурные плоды. Из Сулии и других бедных и воинственных округов Эпира выходили и выходят разбойники и герои-патриоты; из Загор выходят скупцы, боязливые и холодные мошенники, но зато вышли и до сих пор выходят патриоты другого рода, — патриоты, которые все состояние свое, добытое трудом, строжайшею экономией и, может быть, всякою хитростию, жертвуют на школы, на богоугодные заведения, на церкви, на приданое бедным девушкам родной страны и т. д. Покойный, трудолюбивый, медленно-лукавый характер загорцев напоминает болгар. Имя округа заставляет также думать, что загорцы погреченные славяне. Сулиоты, напротив того, погреченные албанцы и сохранили еще все черты албанского характера: соединение суровости с большою живостью, воинственность, гордость приемов, отвращение к мирному труду и ремеслам. И загорец, и сулиот, каждый по-своему, могут еще принести много пользы эллинизму.

* *Дервен-ага* — сельский страж.

Впустила она, бедная, грабителей. Что ж ей делать было? Беременая, убежать не успела...

— Где деньги у мужа? — кричат разбойники. Она указала на последнее место. Рыли, рыли, ничего не нашли; указала она на другое, третье место: опять ничего, измучились рывши.

— Ты, ведьма, нас обманываешь, смеешься над нами! Здесь со злости ее, несчастную, и убили. Зарезали с ребенком вместе, который в утробе ее был. Так и ушли. Франкорафту что? Слава Богу! Жены нет, а деньги целы. Для хозяйства старушку бедную, сестру свою родную, вдову, взял и живет хорошо.

Вот какой человек Пилиди! Худой человек! А в почете большом, куда бы ни пришел, особенно как к богатству его, да корону на фуражку надел и драгоманом стал...

VII

Каким драгоманом сделался Стефанаки, французским, русским или австрийским, уж я и сказать вам не могу. Вице-консулом в нашем маленьком городке был один мусьё Бертоме, франк из армян. Он был вовсе простой человек и служил без жалованья, а только из чести, и поднимал разом три флага: русский, французский и австрийский. Русский настоящий консул назначил его для кое-каких мореходных дел и еще чтобы было кому защитить иногда человек пять-шесть русских подданных (из наших же греков они все были).

Хоть и простой и смирный человек, а был мусьё Бертоме в большом уважении, потому что из старых хозяев был в городе и состояние свое имел. В праздники императоров русского, австрийского и французского расходов не жалел; угощал всех кофеем и ликером, кто ни придет, и старался, бедный, как мог. И вот что удивительно: хоть и франк он был по вере своей, однако, как будто, русский флаг больше других уважал.

Я думаю своим мозгом, который мне Бог дал, что он это в угоду грекам делал, чтобы в городе его больше любили. Ничего, был человек хороший. Только бедный ум его *плохо резал*.* Придет к паше, улыбается все, а сказать, как следует, ничего не умеет. Если бы не консульша, дела бы вовсе не шли. Та была паликар старуха! На пашу накинется: «Я с тобой говорить не хочу! Ты все лжешь и обманываешь нас. Обещал выпустить вот того-то и того-то из тюрьмы, а не выпускаешь. Учат-учат вас, а вы все такие же... Не смотри ты на меня, паша... я сама тебе вчера пирог сладкий испекла, своими руками замесила; а ты нас не любишь, и я сама тебя теперь уж не люблю!» Просит ее паша, обнимает. «Эй, *море́* ** кирия, не сердись! Не сердись, море консульша! Отпущу этого человека тебе в угоду. Верь мне! мы с мужем твоим старые друзья... В одном городе родились»...

На жандармов кричала, командовала ими консульша. То не так, и другое не так! «Ты знай свое место, разбойник; а ты свое дело смотри; а ты свой долг знай, и тем и уважишь кого надо!..»

Так и покрикивает, и муж за ней тихонько да с улыбкой: «Что ж ты это? Правду она говорит: ты это не так, море, делаешь».

Были у них две дочки молодые: m-lle Роза и m-lle Мари. Девицы красивые и скромные. Сама старушка была из Сиры, *франкорумья*,*** и был у нее родной племянник, тоже франкорумьо́с, Жоржаки.

---

* *Ум резал* — одно из любимых выражений греческого просторечия. *Ум хорошо режет у этого человека*, значит человек этот умен.

** *Море* — глупый, глупенький; полупрезрительное, полуласкательное выражение, которое везде и всеми употребляется в Турции, без всякого намерения оскорбить.

*** *Франкорумьо́с* и *франкорумья* — грек-католик, гречанка-католичка.

Вот этот Жоржаки и свел с ума старого дурака Пилиди, сделал его драгоманом, всячески насмеялся над стариком и ограбил его потом через меру.

Я с кавассами г. Бертоме был большой друг и часто бывал в консульстве. Приду и сижу у них. И они мне много рассказывали, а многое и сам слышал. Жоржаки такой негодяй был, что и сказать трудно. Жиденький, да с бородкой, как еврей, так и крутится. Дьявол! А хвастаться — это первое дело. Придет к нам с кавассами вниз: «я, говорит, весь свет изъездил! В Александрии был, в Константинополе жил, в Молдавии и Валахии торговал. В Константинополе в посольствах замучили меня. Я, друг мой, люблю простоту; комплиментами тягощусь. Нет покоя! надевай, Жоржаки, фрак и перчатки каждый вечер! „Кир-Жоржаки! — говорит русский посланник, — вы обедаете у меня сегодня?" — француз к себе зовет, немец к себе. Тирания! кататься верхом с секретарями, французскую посланницу вечером à la bracetta домой с балу английского провожай! Я с ними со всеми был знаком. Конечно, люди высокого звания, аристократия такая, что ваши эпиротские головы и не постигнут во веки вечные. А иной раз бывало от утомления всех их к чорту пошлешь. — „Чтобы ваши души не спаслись!" — скажешь про себя. Уж довольно мне комплиментов этих!..»

Так он нам рассказывал. Верить нам этому или нет — не знаю. И еще говорил: «скажу я тебе, брат, что я вот какой человек: чем хочу, тем и буду: с пастухом я сам пастух, с лордом лорд, с ученым ученый, с пашой паша, с дураком дурак, с мудрым мудрец первой степени!.. У меня ключ всего міра; что̀ захочу — отопру. Вот что я!»

Тошнота, бывало, видеть его, как он вертится и хвалится: панталоны узенькие и сам тонкий... Господи, избави!

Раз один старичок простой сидел у нас и сказал ему: «Это точно, оно может быть, что ваше благородие с па-

стухом пастух; учености я и мудрости никакой не знаю; лордов в жизни моей не видал. А с пашой-то вы когда, так на пашу не похожи; а как бы, так сказать, больше к простым людям приближаетесь.. Паша паше кланяется иначе, чем вы, да и говорит, я думаю, иначе, чем вы говорите!»

— Ты, — говорит, — глупый старик — грамоте не обучался и свету не видал... Не вместить голове твоей толстой суждение о человеке как следует благородном... Это моя вина, что у меня гордости нет и что я с такою сволочью, как ты, в разговоры удостоиваю вступать! Ты знаешь ли, несчастный, что я на все способен!.. Знаешь ли ты, что если на меня хоть бы писать найдет охота, перо в руке моей трепещет! Как в лихорадке само перо бьется! Вот что я такое! Никто здесь и понять даже не в силах, что̀ у меня за душа... И сверх того еще какая я собака...

Рассердился Жоржаки — беда! а мы от смеха чуть не задохлись все.

А благородство его тем и кончилось, я говорил уже вам, что он старика Пилиди ограбил.

Раз сидели мы вечером внизу с кавассами, — слышали у господ наверху шум и смех, и дочки консула тоже громко хохочут.

Взошли мы потихоньку на лестницу, глядим: старого Пилиди Жоржаки на царство венчает...

Правду я вам говорю; на царство венчает. Ведь этот Жоржаки бессовестный и что̀ выдумал: у епископа митру выпросил. — «У нас спор, говорит, в консульстве сколько митр у вас есть. Я говорю две, а консул говорит одна. — Нет, я говорю... Одна здешнего круглого фасона, а другая высокая из России...» «Я, говорит консул, только круглую видел...» Так и выпросил митру Жоржаки.

Напоили немножко старика и посадили на очаг как на трон и митру надели...

— Zito! — кричит Жоржаки, и другие кричат «Zito!»

— Zito! император австрийский!..

— Что̀, — говорит Жоржаки, — император австрийский... Не того он достоин... С таким величием, с таким, говорит, лицом ему только византийским императором бы прилично быть...

Консул говорит: — полно, полно! А тот безумный сидит на очаге в митре и улыбается, и не видит, что из него *карагёза** сделали...

Выйти в этот день нам пришлось с Стефанаки вместе из консульства. Мальчик опоздал прийти за ним с фонарем, у меня был фонарь, я и говорю: «пойдемте вместе, кир-Сте́фо!»

Пошли.

— Что̀, — говорю я ему, — хорошо повеселились сегодня?

— С такими благородными, воспитанными людьми как не веселиться, — говорит. — Боже ты мой! что̀ значит человек в Европе был! Совсем другой обычай! Свобода обращения, благородство, веселость! А у нас что̀? бедность, нищета, каждый ищет только, как бы осудить и обмануть другого! Варварство, Турция, одно слово...

Я слушаю его и думаю: «вот что̀! А давно ли я видел, как ты башмаки снимал в сенях, не то у паши, а у последнего турецкого меймура,** и подбегал к нему согнувшись, точно полу поцеловать сбирался!

Думаю я так, а сам говорю ему:

— Да, кир-Стефо — Турция и дела турецкие вещь пропадшая! Пора и тут эллинской свободе распространиться!

— Нет! — отвечает, — этого ты также не говори. Я эллинов не люблю... Ты меня не понимаешь, несчастный... И я тебя не виню, потому что ты не так-то грамотен... Я говорю о свободе обращения, а ты об Элладе! Что̀ хорошего твоя Эллада? Разбой, всякий пастух равен богатому и образованному торговцу. Теперь хоть бы мне... Я

---

* *Карагёз* — шут, паяц.

** *Меймур* — турецкий чиновник.

человек хорошей фамилии, благородный, имею состояние... Приятно ли мне будет, если всякий куцо-влах,* всякий *белошапочник*** будет со мной равен. Здесь тебе все-таки почет какой-нибудь есть... Здесь, друг мой, есть еще аристократия. Просфору мне в церкви подают особую, потому что ценят и уважают меня за мое состояние... Что̀ это значит? Это значит аристократия!

— Ну, хорошо! — думаю я про себя. — Мне что до этого... Подожду, как начнется тревога какая в краю, да перейдут эллины границу, что̀ тогда заговоришь?.. Первый от страха закричишь: «Zito!»

Через неделю мы узнали, что Стефанаки драгоманом сделали.

Надел он фуражку с галуном и с короною вышитой, мундир сшил, ходить прямее стал, глядит строже. Беда! Уж и перед пашой в сапогах сидит; башмаки перестал носить (а прежде сапог не носил, легче скидать), смотрим, он уж и с турками спорит: извините, говорит, на это трактаты великих держав существуют!

Зашел я к нему с Рождеством поздравить. Садись, — говорит. А прежде бывало: добро пожаловать, капитан Яни! Добро пожаловать, садитесь. Как живете?

А теперь просто: садись, брат. Ныне праздник, ты у меня гость... Садись!

---

* *Куцо-влахами* зовут людей валашского племени, которые занимаются преимущественно овцеводством в Эпире, Фессалии и Македонии; они ведут полукочевую жизнь, имеют села и покидают их на зиму, спускаясь с гор на более теплые пастбища.

** Слово *белошапочник* (*аспроскуфос*), означающее в устах богатого горожанина, так же как и «куцо-влах» — *простой человек*, происходит от того, что эпирские простолюдины, греки и албанцы, жалея каждый день надевать феску, носят обыкновенно белые колпачки набекрень, которые делаются женщинами дома. При изяществе фустанеллы и вообще греко-албанской одежды даже и тогда, когда она от работы и не совсем опрятна, белый колпачок этот вовсе не производит впечатления какого-нибудь спального колпака, и насмешка над ним доказывает только, как мало развито теперь чувство изящного у более образованной части восточно-христианского общества.

И фуражка драгоманская на столе, на особой вышитой подушке у него лежит, короной вперед; пройдет мимо и поправит ее.

«Ба, ба, ба! — думаю, — как этот человек вдруг распух и возгордился».

VIII

Костаки, я вам скажу, может быть, при одной песенке бы и остался. Все бы думал: куда мне *навьючить* богача и драгомана! Поскучал бы и сказал бы после: «Софица — *Мофица*,* не все ли равно! На лаккиотке нашей женюсь». Но та старуха, которая от кади его спасла, Кати́нко Хаджи-Димо — распалила своими словами его любовь. О том, что Софица нравится нашему молодцу, она от меня узнала. Я сказал ей: «Вот бы сделать ему хорошую судьбу?» Катинко была прелюбопытная старуха. Добрая была на разговоры, да и на дела всякие, как мужчина.

После того, как она спасла Костаки от наказания, Костаки стал бывать у ней в доме. Она жила одна; хоть муж у ней был еще жив, однако он давно уехал в свое село и с ней не видался никогда. Она сама развелась с ним, сумасшедшая! Не любила его, а поверьте мне, что он в молодости был превидный собой мужчина! Да, сказала себе женщина: «Не люблю его и кончено!» Представили архиерею прошение, что у ней будто зоб на шее больше растет, когда она с мужем вместе. «У меня зоб, говорит, есть: и как я уеду от него к матери моей, так у меня зоб меньше; вернусь к мужу, зоб больше станет!»

Доктора свидетельствовали ее, свидетельствовали. Все говорят одно:

---

* *Софица — Мофица, вилайет — милайет, консул — монсул*, принятая у восточных людей шутка; и наши крымские татары говаривали: *становой — мановой*. Это значит как бы пренебрежение; «становой и тому подобное». Второе слово должно непременно начинаться буквой *м*.

— Не слыхали мы, и в книгах не писано, чтобы через мужа зоб стал больше!

А Хаджи-Димо свое:

— Не хочу, чтобы меня через него да зоб бы задушил!

Архиерей говорит: «Это не причина». А она ему: «Ваше преосвященство монах, человек святой, от таких дел далеко жили. Вы мне поверьте. Доктора мошенники. Кабы я побогаче была, не то чтобы зоб, а и худшую бы причину нашли».

Таскали, таскали мужа по ханам.* Устал человек. А Катинко оставит дело на два-три месяца, уедет к матери в село, и опять в город судиться. У нее родные везде были; у родных живет. А мужу несчастному каково в хану жить, когда его вызовут? Уж он и сам стал соглашаться. «Хоть мне она и по душе была, и зоб этот у ней невелик, и я этим зобом нисколько не брезгаю; однако, Бог с ней, если я ей угодить не могу» (надо и то сказать, что деньги и имение у нее были, а он был беден). Архиерей, однако, все еще увещевал ее и уступил только тогда, когда Катинко сказала: «Эй! не разведете, пойду к туркам и потурчусь — одно мое вам слово».

Испугался архиерей и все старшины и развели ее. А она смеется после: «Слыханное ли дело, чтобы хорошая христианка потурчилась? Кто пойдет турчиться? Разве распутная какая-нибудь, которая турка полюбила!»

И стала с тех пор жить сама одна.

Женщина эта многое вынесла и многое видела и знала. Она и у разбойников в плену была. Да! взяли ее на дороге разбойники и две недели держали в лесу. «Извините, кирия, говорили они ей, что у нас угощать вас нечем, кроме хлеба и кизиля». Кизилевыми ягодами все ее кормили; послали одного пастуха-влаха с угрозами в город и велели родным выслать пять тысяч пиастров; «а не вышлите, убьем кирию Катинко».

---

* *Хан* — гостиница, подворье.

Дома у нее были деньги, и выслали родные пять тысяч пиастров. Разбойники ночью проводили ее сами до хана и сдали ее ханджи в руки. «Смотри, осел, береги кирию и завтра отправь бережно в город! Это наша кирия, мы ее любим».

И еще сказали ей: «Мы, сударыня, знаем, какое у вас состояние: не богатое и не малое, а среднее; оттого мы с вас больше пяти тысяч пиастров и взять не хотели»...

Когда вернулась Катинко в город, захотели турецкие чиновники ее видеть и узнать что-нибудь о разбойниках. И она своими ответами всех смешила, а показать что-нибудь важное на разбойников не показала.

Случился тогда в конаке один греческий подданный, и вздумал он, когда все от ответов Катинки развеселились, подшутить над ней.

— А что, — говорит, — Катинко, как здоровье ваше? После разбойников у вас как будто зоб опять побольше стал?

Все засмеялись. А она ему:

— Стыдись, несчастная твоя голова! Ты думаешь, здесь Эллада ваша, что ли? У вас в Элладе, в Юнанистане* вашем разбойники люди бессовестные, такие же, как ты! А здесь Османли-девлет, и албанцы, которые меня взяли, люди целомудренные и разумные.

Боже мой! как хвалили ее турки за эти слова!

А она вышла из конака и говорит христианам:

— На! пропадите все вы, и паша, и кади, и все дьяволы! Захотели, чтоб я на разбойников что-нибудь показала! Как же, ждите! Разве можно хорошему человеку в Турции на разбойников показывать? Что ж это будет за порядок, если в Турции переведутся разбои и скажут все: «Турция хорошее государство, Турция вперед идет. А Эллада государство скверное: Эллада не идет вперед; в Элладе есть

---

* *Юнанистан* — турецкое название Греции. Происходит от слова *юнан* — иониец.

разбойники, грабят и бьют; а в Турции нет!» Ну, какие же и вы сами патриоты, если хотели, чтоб я на разбойников туркам показывала?

Вот какая была женщина эта Катинко. Все мы ее уважали; а Костаки так и говорил: «она для меня больше матери».

Я сказал вам, что Костаки стал к ней часто ходить после того, как она его из рук кади спасла. Старуха его очень любила. Ласкала его как сына и любила шутить с ним и дразнить и стыдить его.

Костаки был отцом своим в большом целомудрии воспитан. Кто видел его с мужчинами в пляске, или на базаре, или когда на горе за городом в праздник начнут играть в войну и, разделясь на две партии, камнями бросать, всякий говорил: «какой этот смелый и дерзкий паликар!» А при женщинах он все краснел, и никогда никто от него бесстыдной шутки не слыхал; мы, которые постарше, часто и шутить начнем между собой. У того есть в городе кума; а у того две кумы. Костаки только краснеет. Раз, как я знал, что Катинко любит Костаки как своего сына, я и говорю ему в праздник:

— Пойдем, Костаки, сделаем посещение кира-Катинки.

— Пойдем.

Пришли. «Садитесь, садитесь. Как поживаете?» Очень хорошо. А вы как? «Очень хорошо!» Стали разговаривать. Костаки курит и молчит в углу, как девица.

Пришла служанка, подала нам варенья и кофе. Служанка была молодая куцо-влаха и собою красивая.

Я на нее взглянул; а Костаки и глаз на нее не поднял. Ушла служанка. Кира-Катинко и говорит паликару:

— Что же это ты, друг мой, такую великую суровость оказываешь? На женский пол не глядишь.

Застыдился Костаки! Как свекла красная покраснел!

— Оставь его, кирия, — говорю я. — Костаки мальчик у нас хороший, стыдливый и честный. А паликар вы сами знаете какой! Он отцом в целомудрии и молодечестве воспитан.

— Знаю, знаю, — говорит Катинко. — Я пошутить хотела с ним, потому что я его люблю как своего сына. А что он, такой паликар, краснеет и стыдится, когда говорят с ним о женщинах, это точно доказывает его скромность. И знай ты, если молодой человек краснеет, когда с ним говорят о чем бы то ни было старшие или по званию высшие, то это значит, что он хороший человек будет. Это значит, что душа его чувствует все!

— Женить бы его, кирия, поскорей, — говорю я, — чтобы не развратился, не испортился...

— Что̀ ж, женили бы его.

А я говорю, «На ком?»

— На ком? — говорит кирия. — На девушке честной и красивой, из уважаемой семьи и с приданым.

Так этот разговор и кончился. Мы ушли, и с тех пор Катинко задумала непременно женить Костаки.

IX

Старушка Катинко Хаджи-Димо как задумала своего любимца Костаки женить на Софице, так и стала паликару об этом говорить.

— Вот, изволь, тебе жена как следует... Ты молодец и она миленькая. Ты молод, а она еще моложе. Пара! Девочка, ты меня, сын мой, послушай, диво! Обходительная, кроткая, хозяйка. Теперь, как из школы вышла, посмотрел бы ты на нее: ни минуты без дела не бывает, посуду моет сама, всем старшим и родным, которые в дом приедут погостить, постелю стелет; на кухню беспрестанно ходит; шьет; я даже видела раз, что она стены белила сама.

Старуха хвалит, а Костаки только краснеет, бедный.

Так всякий день говорила Катинко паликару. И это было правда. Что̀ другое, а воспитание Стефанаки дочерям хорошее давал, благочестивое. И в семье он и сам был добрый и ласковый человек. Всячески и подарками, и лаской дочерей старался утешить.

А Катинко все свое твердит:

— Какая, я тебе говорю, Софица эта тихая. Я у них часто бываю и ночую даже нередко. И что́ ж, поверишь ли ты; слова почти от нее не слыхала! Только улыбается всем и угощает, бедная: не угодно ли кофе, кира́, не угодно ли ликеру, не угодно ли варенья, кира? Такая сладкая девушка! И приданого за ней будет лир 200 и даже более...

— Не отдадут ее за Костаки! — говорим мы.

— Старуха Катинко — колдунья! Не бойтесь. Уж не знаю, отчего это я полюбила этого паликара? Или оттого, что мне за мои грехи Бог детей не дал; так уж ему душу всю отдаю!.. Будет, будет это! Пусть Костаки еще годик поторгует *телятиной* и немножко поправится деньгами!

Катинко призналась мне, что она и Софице говорила.

— Хочешь замуж, дочь моя? — сказала ей старуха.

Софица только глаза опустила.

— Нет, ты мне скажи...

— Это воля отца моего, — говорит.

— А твоя воля?

Конечно, девица скромная на это не должна ответить... Да старуха успокоиться не могла.

Велела паликару пройти мимо окон, и позвали Софицу.

— Смотри, что, эта картинка хорошая?

— Какая? — говорит.

— Этот паликар.

— Хорош, — говорит Софица, — я его знаю; это Костаки, сулиот, который кожей торгует. Я в школу мимо его магазина ходила.

— Вот тебе муж! — говорит старуха.

Софица обиделась и покраснела.

— Ба! — говорит, — белошапочник, и вдруг мне мужем будет! Простой человек. Весь, как клефт, в белом платье!..

Этого мы не сказали Костаки бедному, чтобы не огорчить его.

Так-то шло это дело. А старик Стефанаки в это самое время о мошеннике Жоржаки с ума сходил.

Тот изверг ему все льстил, в делах своих советовался, способности его хвалил.

— Как же не проклянуть вам, здешним православным, эту Турцию! Сколько великих способностей пропадает. Да вы министром, губернатором должны быть.

— Не брани Турцию, — скажет Стефанаки, — как бы хуже не было!

— Ба! ба! ба! Да вы такой умный, да вы такой честный и опытный гражданин... Я, который столько видел людей... Мало видел таких, как вы... Вы меня извините, я вам скажу, у ваших здесь мало благородства в обращении... А у вас благородство свыше всякой меры. Вы мне отец. Я отца своего так никогда не любил.

Катинко все это сама слыхала и сама рассказывала нам.

И полюбил старик Жоржаки крепко. Пироги ему шлет; виноград привезут ему из деревни, он целые вьюки винограда к Жоржаки шлет.

Похвалит Жоржаки у него в доме ковер болгарский, — старик ковер дарит ему.

Сам по улице идет в драгоманской фуражке с базара, а слуга за ним большую каракатицу для Жоржаки несет.

— Каракатиц свежих, — говорит, — привезли из Превезы!

Жоржаки плачет, обнимает его: «Ты мне отец!» — кричит.

А Стефанаки везде вздыхает и рассказывает: «много я жаловался, что судьба дала мне одних дочерей, и пожалел меня Бог, послал мне сына в Жорже!»

Катинко сокрушалась, боялась смерть, чтобы Софицу за Жоржа не отдали.

— Нет! — я говорю ей, — этой-то мерзости уж не сделает старик. Все как бы то ни было христианин, за франка не отдаст!

— Закрутился, — уверяет Катинко, — закрутился старик от похвал и от драгоманского галуна!

Недолго, однако, веселился с франками Стефанаки.

Смотрю я раз поутру — бежит за мной мальчик от Хаджи-Димо:

— Идите, — говорит, — кир-Янаки! госпожа моя желает вас видеть.

Прихожу.

— Что̀ такое случилось?

— Случилось, капитан Яни, дело мерзкое. Жоржаки ограбил кир-Стефо нашего.

— Как? — удивился я.

— Как? Лестью. Брал у него деньги взаймы и в срок отдавал, а гляди и раньше срока. Раз пришел и говорит: «Сыном ты меня считаешь, кир-Стефо». — Лучше сына. — «А если я тебе лучше сына, так дай мне под залог имения, которое у меня в Молдавии, полторы тысячи лир. Вот тебе мои документы».

Старик дал и расписку взять не хотел; Жоржаки насильно дал ему расписку. А там, как это случилось, что и расписка пропала и в Молдавии, говорят, имение разоренное, двух пиастров не сто́ит, и сам Жоржаки уехал.

— Плохо старику! — говорю я. — Жалко. А что̀ же мусьё Бертоме с женой о племяннике говорят?

— Они тоже бранят и проклинают Жоржаки. Поди теперь, ищи его. Ведь здесь Турция, и на месте дело не кончается, а каково в Египте или Молдавии мошенника искать?

Встречал я не раз после этого дела старика. Снял он и драгоманскую фуражку, и сапоги бросил, и опять башмаки надел, чтобы легче было снимать у турок. Об трактатах уже ни слова! Стал опять согнувшись к паше и к кади подбегать. К вали-паше ездил подавать прошение. Писал вали и греческому консулу (потому что мошенник греческий подданный был), и в Константинополь писал. Дело и до сих пор не кончено.

Старик горюет, а у нас с Костаки и с Катинкой все его дочь на уме.

Стал жаловаться старик Катинке, что старшая уж на возрасте. Катинко и говорит:

— Это еще не велико несчастие, что на возрасте. Все девушки растут скоро.

— Время замуж, — говорит Стефанаки. — Время приданое готовить. Кто у нас с малым приданым возьмет? Разбойник ограбил меня, теперь и мне тяжело будет, Софице под пару не найти теперь жениха. Из большого дома жених большие деньги попросит.

А Катинко говорит ему.

— Не смотри на большие дома, смотри на человека. Я тебе жениха нашла.

И сказала ему, кто жених.

Боже сохрани, как рассердился Стефанаки!

— Белошапочник! простой сулиот! кожей торгует!

— А ты сукном торгуешь, — говорит ему кира наша добрая.

И начался у них с Пилиди спор и крик.

— Он капитанского рода хорошего!

— Кто, — говорит Пилиди, — на капитанов глядит теперь! Теперь цивилизация! Ты так говоришь, кирия, потому сама за простым человеком была...

— Так что ж, дай Бог здоровья моему мужу бедному. Он со мной хорошо жил, и хоть сельский человек, а из хозяйского дома, а ты ведь у франка-портного прежде старое платье штопал и двор ему подметал!

— Что ж ты мужа бросила, если он такой благородный человек был? — кричит Пилиди.

— Это дело другое, — говорит ему старуха, — сам знаешь, у меня зоб прибавлялся...

До ссоры дело чуть-чуть не дошло. Однако, так как Катинко была сродни старику, то они скоро опять помирились.

— Нет тебе судьбы, паликар мой! — сказала старуха Костаки.

— Как Богу угодно! — ответил бедный...

Побледнел он, правда, немножко в эту минуту, но потом уж не говорил ничего ни мне и никому из друзей.

X

Так-то, господин мой, хоть у глупого Пилиди много уменьшилась гордость, оттого что Жоржаки осмеял и обманул его; а все-таки он дочь за простого молодца-сулиота отдать не хотел, пока не обеднел вовсе. Обеднел он вовсе, я, кажется, сказывал вам, от большого пожара, когда у нас в городе весь базар сгорел...

Скажу вам, как это было; отчего старого нашего пашу, Аббедин-пашу, сместили и прислали нам нового, и как этот новый, от большой образованности своей, сжег базар. Аббедин-паша был у нас свой человек. Он был у нас сперва каймакамом, а потом мутесарифом; двенадцать лет управлял он у нас. Был он здешний, из большого албанского *очага*;* знатный и честный человек.

В городе нашем тысячи четыре жителей: тысячи три христиан и одна тысяча турок, не больше. Аббедин-паша не только в городе, а, я думаю, и в деревнях всякого знал. И его знал всякий. Всякий к нему шел, и всякого он принимал. «Что̀ тебе, сын мой?» Это он так молодым говорил, а стариков, конечно, как следует, уважал еще больше.

Франков он не уважал и ненавидел. С кем был дружен, прямо говорил: «Что̀ они нас все русскими штыками пугают! Лучше от русского штыка потерять то, что̀ мы саблей приобрели, чем их лукавыми советами жить! Что̀ мы теперь чрез франков стали? Мы слуги их, и французский консул кого захочет того и прибьет здесь... Прибьет, и меня же обвинят, если я не скажу ему: «Хорошо вы сделали, консул-бей, кланяюсь вам! Прекрасно вы сделали! Хвалю, хвалю! турок палку любит: ломай ему голову палкой; он поклонится вам, консул-бей».

Судил Аббедин-паша нас скоро и по-старому. И туркам не давал в обиду.

---

* *Большой очаг* — аристократический дом; богатый и гостеприимный дом, в котором очаг всегда дымится.

— Ты что? — говорит какому-нибудь турку, — ты зачем прибил этого человека?

— Я, паша-эффенди, я так, да этак!

— Врешь, мошенник, я тебя знаю; и в городе всех знаю... Я вас, ослов, учить люблю... Не дерись без нужды. Пошел, животное, на три дня в тюрьму; в другой раз на месяц посажу, когда людей будешь бить, мошенник!.. Вон!

Придет к нему какая-нибудь худая женщина жаловаться на архонтопуло* какого-нибудь. Сказано, женщина. Кричит, плачет.

— Вдова, паша-эффенди! Я вдова, я честная женщина. А он вчера разорвал мне платье; вот оно! За что он позорит меня? Паша-эффенди, я тебя вместо отца имею! Защити меня! Защити ты, как отец, мою честь...

— Что ж ты кричишь? — скажет бывало паша. — Честь я твою знаю, и ты сама ее знаешь; так и не плачь и не кричи, а подожди, что человек скажет.

Призовут и мужчину.

— Ты что, повеса, делаешь?

— Я, ваше превосходительство, так и так... Она клевещет...

— Молчи, море́, знаю я и тебя! Ты женолюбец и буян... Ты вот то-то, вот то-то прошлого года у арабки в доме сделал. Я все знаю... И арабку ту знаю я, и тебя, повеса, и эту женщину знаю. И она непотребная, и ты нехороший человек. Эй, море! заприте их в другую комнату; пусть поговорят одни и помирятся. Он тебе, несчастная, за обиду, может быть, лиру одну даст. Вот тебе и честь!

— Да я присягну, ваше превосходительство, паша господин мой, я присягну, — говорит архонтопуло.

— Как! мошенник! В таком деле да еще присягать хочешь? Какой же ты христианин? Где вера твоя? Постой,

---

* *Архонтопуло* — сын архонта. Архонтами зовут всех зажиточных людей: банкиров, купцов, богатых врачей.

я скажу, чтобы деспот-эффенди* на тебя церковное наказание наложил за это. Ведите их в другую комнату, и когда не помиритесь, я вас обоих на три дня в тюрьму заключу!

И помирятся люди. И им хорошо, и другим веселье и смех, глядя на то, как старый паша осрамил их непотребство.

Обращений в турецкую веру он не любил. «Никогда добра от этого не бывает. Это все или за деньги, или из развратa делается. Свяжется девка с турком и веру хочет менять. Разве это вера?»

И трудолюбив, бедняга, был Аббедин-паша. Когда он успевал свой гарем видеть — это удивительно. Целый день слушает жалобы и принимает народ. Нас, эллинов свободных, которые жили в Эпире по делам своим, он преследовать не любил. «Да они бунтуют народ», — говорят ему.

— Это, — скажет, — все пустое. Я этого не боюсь. Пока не захочет Европа, не верю я в их силу и не боюсь их!

И нам через это было хорошо.

Когда завели эти новые вилайеты, он прилежно уставы все изучил и по ним хотел справедливо действовать.

Пишет ему вали из вилайета:

— Пришли мне этого грека сюда судиться.

— Не могу, — отвечает Аббедин сердечный, — человек не едет, говорит, что по новым законам султана его следует прежде в здешнем суде судить, а когда кто будет недоволен, тогда надо в главный город ехать.

— Пришли этого грека, — приказывает опять вали-паша.

— Если прикажете силой взять человека, то я пришлю; а человек кричит, что это не по уставу. Как прикажете?

---

* *Деспот-эффенди* — турецкое название архиерея или митрополита.

Ну, и уступит иногда вали.

Иные жаловались на Аббедина-пашу, что он лжец. Да он, бедняга, и лгал-то иногда чрез мягкость свою и доброту души. Всем обещать хорошее хочет; отказывать ему жалко.

Вот эта слабость у него была. Как он был здешний, а не из Константинополя, то ему и хотелось, чтобы все любили его и жалели, если и должность свою потеряет.

И точно, он должность потерял свою чрез нас и чрез свою справедливость.

Когда вздумали прошлого года турки эллинам объявить войну, пришло приказание выгнать скорее всех греческих подданных.

Кто хочет остаться, пусть будет райя.

Народ собрался к Аббедину и просит. У одного жена больна, умирает, ни везти ее зимой по горам и по морю нельзя, ни бросить одну; другому счеты свести, у другого денег на дорогу нет. Архонты умоляют докторов и учителей греческих подданных не выгонять. «Для здоровья и для просвещения нужны!»

Аббедин и вступился за народ, пишет к вали-паше: «Дайте людям срок; не губите людей». Только написал он это по просьбе народа, так и услыхали на базаре весть, что его сменят. Весь народ заговорил.

И месяца не прошло, как новый мутесариф к нам приехал.

— Извольте теперь, господин мой, судить, правы ли мы, что бунтуем?

XI

Приехал новый мутесариф Ариф-паша. Он был босняк и человек европеец вполне. Шампанское пил, по-французски знал... Молодой еще, жирный такой и в Константинополе большую силу имел.

Как приехал, так в тот же день стеснил христианских членов идаре-меджлиса и спрашивал, кто больше предан.

Ему сказали турки: «вот Стефанаки хорош. Испортился было, как драгоманом был, а теперь опять хороший человек стал».

Сейчас Пилиди членом в идаре пригласил. И стали вместе они разбирать, кто старый греческий подданный, а кто новый? Кто несомненный, а кто сомнительный? Кто должен ехать, а кто может остаться? Толпой ходили люди к Пилиди, просили, чтобы пощадил.

— Странные вы люди! — говорит он им, — разве я не христианин и не жалею греков? Но что же мне делать теперь? Не гибнуть же мне? Уйду я из меджлиса, другой еще хуже меня будет...

Пришлось и Костаки нашему паликару выбирать — либо ехать в Элладу и все дела бросить, либо райя стать.

Чтобы Костаки да стал райя! Как сказали ему это люди, он говорит: «да лучше я умру, а турецким подданным не сделаюсь. Не оскорбляйте меня».

Мне тоже было худо; но я побежал к мадам Бертоме, и она, бедная, тотчас же заставила мужа меня без жалованья в кавассы записать.

Пошел я после этого просить кир-Стефо, чтобы он за моего друга Костаки заступился. Предлагал, что я за него поручителем буду и расписку дам, пусть меня в тюрьму посадит консул, если Костаки в чем провинится.

Хаджи-Димо старушка тоже вместе со мной уговаривала Стефанаки.

И Боже мой, и слышать не хочет. «Вон его, вон!»

— Что он за царь! Доктор он, учитель, что ли? башмачник простой — вот он что!

Взбесился и я, и вышло бы дело толстое, когда бы старуха не ударжала меня.

Стал я ругать Стефанаки.

— Ты ненавидишь молодца за то, что он тебе честь сделал, твою дочь хотел взять. Предатель! — ругаю его, — мошенник! Мало людей босым мальчишкой у итальянца тебя знали!

Он было стал тоже кричать на меня:

— Как ты, простой слуга, и смеешь архонта и царского члена ругать!

— Молчи! — я говорю, — изверг, — и вынул пистолет из-за пояса. — Вот тебе клятва моя, что я убью тебя этою рукой моей, которую видишь, как только эллины перейдут границу. Пусть погибну я, но и твоей жизни будет конец! Ты кого, изверг, пред собой видишь? Воин-человек, сулиот стоит пред тобой, изверг ты человек!

Побледнел, задрожал Стефанаки; ни слова громко... Только шепчет:

— А! варвары! варвары люди!

Катинко нас развела и говорит мне:

— Иди, Яни, с Богом! — Добрый час тебе.. Успокойся!

Я послушался хорошей старушки и ушел.

А Костаки на другой день вместе с другими прогнали из города. В три дня все кончил Ариф-паша. Вали, слава Богу, был милосерднее его; по телеграфу приказал ему оставить для народа хоть докторов и учителей, которые были эллинские подданные.

И когда бы вы видели, господин мой, какое это несчастие было!

Кто болен, кто счетов не свел и половины выгод своих лишился; кто семейный... С утра объявили, а вечером на пароход погнали силой... Старухи, женщины, дети... все беги, все бросай в один день... Рассудите, легко ли это? Слез и жалоб и крику сколько мы слышали и видели — это ужас. Время еще зимнее не кончилось: дождь, грязь, на море волны горою ходят и ветер паруса рвет...

Такова-то была жестокость Ариф-паши.

Потом, когда все успокоилось, стал Ариф-паша просвещать наш край по-европейски.

Не хочу я сказать, чтобы он вовсе несправедлив был или бы взятки брал. Нет, этого не было; даже при нем сменили скоро тех чиновников-турок, которые взятки любили, и прислали новых.

И кой-что еще он хотел полезное сделать. Преступников в тюрьме заставил всякими ремеслами заниматься, са-

поги, чарухи шить, железо работать, кто что̀ знает и может, чтобы не болели от скуки и безделья. Так, слышно, в Европе бывает.

Дороги стали проводить. Только дороги эти наше несчастие в Турции.

По дождю и грязи идут несчастные люди работать далеко от своих сел; а потом отсюда их в другое место погонят, куда выгодно для турок. Женщины детей, согнувшись, на спине несут; а другие женщины камнями, как ослы, навьючены... Денег за это ни пиастра, труда много, спи и отдыхай в грязи на дороге. И зачем все это? Для торговли, скажем? Бог один знает — заведутся ли когда в стране нашей хорошие колесные дороги для товаров: а мы пока видим, что на этих новых дорогах от дождей такая грязь стоит, что по камням в горах идти лошади и мулу легче, чем по ним... Я думаю, больше для того открывают турки дороги, чтоб им было легче войска против нас водить, когда мы опять восстанем. Так вот и убивается народ без пользы на этих дорогах. А бей, хозяин чифтлика, свои деньги требует, а начальство требует подати... И священнику надо заплатить; нельзя же без церкви жить, и школу почти в каждой самой бедной деревне народу хотелось бы завести... Мученье великое! И всегда было худо: а все-таки скажем — при Аббедин-паше, сердечном, добрый час ему бедному, ни дорог не проводили на свою же погибель, и по судам меньше мучили.

Хоть и завелись у нас и при нем вилайеты-милайеты, а все он больше любил мирить людей по-старинному, чем в новых судах томить их...

А теперь, поглядите, во всяком городе ханы народу полны, который издалека вызвали и тиранят в судах в этих правильных без конца.

Чем дальше, тем хуже. И что̀ будет с нами — не знаем мы. Куда это дойдет — Богу известно.

И отчего это, господин мой, этим франкам так занадобилась анафемская Турция?

XII

Теперь о том, как старый базар наш сгорел.

Пришли раз поклониться к мутесарифу архиерей наш и архонты, и евреи-купцы и турки кое-какие... Принял всех хорошо. Архиерею навстречу встал и далеко по комнате прошел, сел потом и сказал:

— Все у нас здесь хорошо, только базар очень тесен. И эти крышечки деревянные, что̀ одна с другой сходятся, — как бы пожара не было. Надо каменный базар весь отстроить и без навесов.

Один еврей говорит: «ваше превосходительство! Крышечки эти, о которых изволите говорить, покупателя зимой от дождя, а летом от зноя предохраняют».

— Покупатель должен внутрь лавки входить. Это все одно варварство и глупость, что торговцы сидят в лавках, как на балконе открытом, а покупатель снаружи стоит или влезет и сядет с купцом... Надо, чтобы были закрытая дверь и окна. В Европе везде так.

— Далеко нам до Европы, паша господин мой! — сказал один старичок-турок из нашего города. — Европа место богатое, а наше бедное.

Мутесариф рассердился на старика и сказал:

— Не то ты говоришь, а то скажи, что в Европе люди живут, а здесь ослы...

— *Эвет! эффендим, эвет!** — сказал бедняга и замолчал.

Что̀ будешь делать!

Паша у доктора одного спрашивает: «Синьор, как вы думаете? Эта теснота ведь и здоровью вредит?»

Доктор сказал, что не вредит, потому что город маленький и воздух чист; летом в городе самом травой пахнет. В Европе очень большие города, там теснота вредит. И в открытых лавках сидя, сами купцы здоровее.

---

* *Эвет* — да, конечно, согласен. Таково большею частью мнение разных выборных членов в присутствии пашей.

— Вы где обучались? — спросил паша.

Доктор говорит: «в Италии».

— Э! Италия! — говорит паша, — оттуда только музыканты выходят. И вы песни поете, а не дело говорите.

Греки-купцы наши говорят: «дорого нам очень перестраивать базар».

Паша ничего не сказал им на это и уехал из города, будто мутесарифлык* весь осматривать.

Весь разговор этот я знаю хорошо, потому что от двадцати человек о нем слышал. Уехал паша, и через неделю ночью загорелся базар.

Я спал крепко, и ни пушки с крепости, ни трубы не слыхал, которыми у нас опасную весть народу дают. Говорят, кто и близко от крепости был, ничего не слыхал.

Поднялся шум и крик на улице страшный, бежит народ, кричит, барабан бьет, низамы бегут толпами, женщины плачут и воют. Выбежал и я, взглянул, весь базар уж в огне. Мечется туда-сюда народ между лавками, хочет спасти товар. Низамы не пускают... «Не велено!» — говорят, а сами не тушат огня. Кинутся где молодцы наши с топорами, низамы их гонят.

Ужас что̀ такое было!.. Да не только гонят низамы, грабят сами. Подойдут к дверям железным, которые у иных купцов внизу под лавками были, и начнут рубить двери топорами.

А там у людей и товары есть, и золото, и счетные книги, и расписки разные, и векселя. Успеют захватить деньги или вещи — захватят, а где не могут, оттого что огонь кругом силен, так от злости огню дорогу открывают. Войдет огонь, и пожжет и бумаги и товар. А что золото они воровали, так это видно. Не находил же никто сплавленного золота или серебра на базаре после пожара. И если сказать, что это царское войско делало!

---

* Губернию.

Ариф-паша и мечети старой, которая около базара, не пожалел, и около нее не тушили, и в ней все окна потрескались; но она была каменная и осталась.

И что̀ за диво, думали мы после, насколько хотели, настолько и пошел пожар?

Только четыре дома, которые около самого базара были, те сгорели.

И Пилиди дом дотла сгорел, и магазин его сгорел, и счеты, и сукно, а шкатулку с деньгами унесли.

Начальник низамский сам сказал ему с начала самого:

— Выводите поскорей ваших девиц и выносите вещи из дома, базар уже не спасем, весь сгорит, а вы близко.

Пилиди все еще надеялся. Стал он просить молодцов, плотников-христиан, рубить кругом его дома дерево на магазинах; никто не хотел. «Низамы не пускают», — говорят; низамов в это время близко не было, но народ его не жалел. Стал давать деньги плотникам, — они просят много, он не дает; пока торговались, подступил огонь, и пропало все.

Семья убежала к Катинке Хаджи-Димо в дом, и что̀ успела, то и взяла.

Старик тут же об землю ударился и рыдать стал. Мне терять на базаре было нечего; моя кожа была далека, а других жалко. Пошел я искать низамского бин-баши, то есть тысячника, которого все мы знали за хорошего человека. Смотрю, он присел на корточках в углу, курит и любуется на пожар.

— Эффенди, — говорю я, — весь город, кажется, сгорит.

— Что̀ делать, — отвечает, — огонь.

Вышел на пожар и мусьё Бертоме.

— Боже! как сильно горит! — А сам ни с места.

Я говорю ему: вы, мусьё Бертоме, низамов бы пострашали немного.

Пошел, бедняга, стращать их. Стоит одна кучка; сделали честь, руки все к фескам приложили.

— Что не тушите пожар? — спрашивает консул.

Молчат изверги.

— Вы бы тушили, — говорит. — Не хорошо, что̀ не тушите.

Один *чауш** отвечает ему:

— Что̀ тушить, консулос-бей? Весь базар уже сгорел!

И то правда, что весь сгорел.

Вздохнул мусьё Бертоме и пошел домой.

— Что̀ же вам сказать еще о пожаре этом? Нарочно ли начальство зажгло базар или только тушить не хотело, не буду я говорить. Кто его знает? Только одно скажу: и недели не прошло, как инженер приехал (француз или поляк, не знаю), и начал улицы прямые и широкие проводить. И какие дома на дороге пришлись, то, как слышно, их чинить не приказано, пусть себе падают. Пять лет срока назначено. На помощь бедным погорелым из Константинополя денег, правда, прислали. Этого я не утаю. Стали строить люди новый каменный базар, а мутесариф ездит верхом и смотрит каждый день и любуется. И цвета, какими стены должны быть расписаны, назначает. Иные любят зеленый цвет, не велит. Отчего? Туркам простым угодить хочет; зеленый цвет у них священный. Иные хотят себе лавки шахматами голубыми с белым раскрасить, чтобы милее было. «Нет, говорит начальство, нельзя!» Почему же нельзя! «Не знаем!» А мы, греки, знаем. Голубой с белым — эллинские цвета. Вот какая политика! Хозяева горюют, а паша смеется, «Жолтым красьте все. Жолтый цвет значит *зависть*; пусть все чужие нашему базару завидуют!» Подъехал раз мутесариф к одному новому дому и увидал, что над дверью двуглавый византийский орел из камня высечен. Зовет хозяина.

— Что̀ это у тебя за птица?

— Птица, паша господин мой! Каменьщики любят меня и хотели мою дверь украсить.

— А зачем у ней две головы? Таких птиц с двумя головами и не бывает. Бог всех с одной создал... Не любят тебя каменьщики; когда б они тебя любили, они бы сдела-

---

* *Чауш* — унтер-офицер.

ли тебе птицу простую, с одною головой. Сними ты мне этот камень.

На другой день рано выехал паша, и люди не успели сбить орла.

— Ну, иди в тюрьму, — сказал ему паша. — Не любят тебя каменьщики.

Низамов судить и разбирать не стали, а поскорей отправили в другой город, а на место их из другого полка привели. Кой-что из вещей и товаров собрали и вызвали людей смотреть, чьи вещи.

Пустое дело!

Поймали человек шесть христиан-воров, нашли и у них вещи, и обрадовались турки: «Вот кто грабил! Ваши же люди!»

Встретил я доктора, того, который в Италии учился, и говорю ему:

— Ведь это они сделали, чтобы мы беднее были, чтобы нас разорить?

— Бог их знает! — ответил мне доктор. — Может быть, да; а может быть, и нет. Я скорей думаю, что это от глупости, чтобы перед светом хвалиться: у нас во всех городах прямые улицы, как в Париже. Они и у своих турок в Стамбуле, говорят, не тушили; прямые улицы провели после. У них бред предсмертный уж начался: верь мне, друг мой!

— Помоги Бог! помоги Бог! — сказал я и хотел проститься с доктором.

А он мне говорит:

— Слышал ты, что Стефанаки Пилиди из меджлиса выгнали?

— Возможно ли это? — говорю я.

— Так, друг мой, возможно, что выгнали. Не вытерпела и его душа. Стал в меджлисе о разореньи народа кричать и о своей шкатулке. «Царское войско меня ограбило!» — сказал он. А мутесариф ему: «Когда вы смеете обвинять войско и власти так открыто и без доказательств, то зачем же здесь в идаре сидите?» Старик встал и гово-

рит: «Если угодно, я уйду и не ступлю на порог этот никогда!» «Добрый вам час!» — говорят турки. Пилиди сделал им *теменна** и вышел. Живет он теперь с дочерьми у Катинки Хаджи-Димо, плачет и проклинает турок.

«Зайти разве к нему?» — подумал я и на другой день пошел в дом Катинки.

XIII

Пришел я после пожара к Пилиди. Жалко мне стало старика.

— Садись, — говорит, — кир-Яни. Как твое здоровье?

Как будто ничего не случилось; а сам все вздыхает и шепчет: «Христос и Панагия! Христос и Панагия!» И на меня не смотрит, а все в землю.

Сел я; спрашиваю:

— Как вы поживаете, кир-Стефо?

— Не спрашивай! — говорит, и опять вздыхает: «Христос и Панагия!»

— Великое разрушение произошло, — говорю я ему.

— Грехи наши, грехи, кир-Яни!

А потом как закричит:

— А? правительство это? А? правительство это? Скажи мне? Видал ты войско, которое на пожаре грабит народ? Видал, скажи?

— Видал, — говорю я. — Что ж другое в Турции увидишь, кроме таких вещей!

— А! — кричит Пилиди, — чтобы весь род ваш пропал! Вы хотите погубить наше богатство, которое мы трудами своими приобрели! Чтобы мы не могли паликарам нашим деньгами помогать, когда они возьмут ружье и станут можжить ваши головы! Слышишь? слышишь? Вперед идет Турция! Образованного мутесарифа нам присла-

---

* *Теменна* — почтительный восточный поклон.

ли. А он жжет базар! Слышишь ты, в Париже он видел широкие улицы! Франции здесь захотел!

Я вам говорю, кричит, и слезы льются у старика.

Клянусь вам, хоть он и глуп был и не патриот, и за мошенника я его считал, а жаль мне все-таки его стало. Как не пожалеть христианина, который от турецких беспорядков плачет!

Я утешаю его.

— У вас, — говорю, — в Загорах имение еще есть; накупите сукна в Австрии опять, и опять торговать начнете.

— Не говори мне таких слов, кир-Яни! У меня три больших дочери есть. Пока я опять разбогатею, старшая постареет; теперь ей восемнадцать лет; минет ей двадцать три года, кто ее возьмет? Ведь у нас, ты знаешь, за двадцать три года перейдет, говорят люди: стара уж.

— Найдутся женихи, — я говорю, — только снизойдете ли вы.

— Слышишь! Снизойду ли... Да я Софицу за бакала* с радостью теперь отдам. Снизойду ли! Что̀ ты за слово сказал? Что̀ я теперь! Без денег человек что̀ такое?... Ничего!

Я как вышел от него, так и написал письмо к Костаки в Акарнанию. «Он теперь, — пишу я ему, — снизойдет».

Костаки скоро приехал из Акарнании с греческим паспортом; только скоро женить мы его не могли. Много еще было хлопот. Как приехал он, так сейчас его заперли турки в тюрьму. «Ты, — говорят, — сюда бунтовать приехал». Костаки говорит: «я греческий подданный, не райя. Теперь у султана с Грецией мир; за что̀ же вы меня в тюрьму сажаете?» — «Ты бунтовать приехал».

Что̀ было делать? Греческого консула еще нет, другие почти мало мешаются... Думали, думали. Пошел я к мусьё Бертоме, боится. Все улыбается да поглядывает на меня.

---

* *Бакал* — бакалейный торговец, мелкий лавочник.

«Так взяли его турки?» Я говорю: «взяли». «Взяли?» — говорит. «Взяли». — «Этакие дьяволы! — говорит, — в тюрьме теперь?» Я говорю: «в тюрьме».

— Сказано, турки!

А сам к мутесарифу не идет. Слава Богу, через добрых людей написали в вилайет; там один доктор пошел к вали-паше и просил его за Костаки. «Ваша справедливость известна, — так доктор вали-паше говорил. — Костаки жениться приехал, а не бунтовать».

— На ком? — спрашивает вали.

Доктор сказал на ком. Вали говорит: «это дело доброе; только пусть в Элладу поскорее уезжает. Паликар он хороший, только нам таких не очень-то нужно!»

И дал знать мутесарифу, чтобы выпустили из тюрьмы Костаки. Как вышел Костаки из тюрьмы, мы его обручили. Причесался он, оделся во все чистое, и пошли к Пилиди.

Вышла и Софица нарядная; подошла, у Костаки руку поцеловала и варенье и кофе нам всем сама подала.

Я хотел было прижать старика, чтобы побольше денег новобрачным дал, знал я, что у него все-таки где-нибудь да спрятаны мешочки! Думаю: «Постой же, теперь обручили, весь наш город узнал, и в Янине знают люди через пашу и доктора... Уговорю я Костаки пострашать, что бросит и осрамит девушку». Но старушка Катинко на меня рассердилась за это: «Грех, — говорит, — этим шутить! он и сам даст!»

И Костаки не хотел.

— Стыдно мне это, — сказал он, — пусть по совести даст.

И точно, в тот же вечер подписали бумагу; сам старик 150 турецких лир назначил. Он дочерей жалел. Шолковых платьев дали два, шерстяных много; два платочка, золотом шитые, и одеяло атласное алое записали, и много других вещей попроще.

Турки гонят: «Поезжай, Костаки, скорее в Элладу!», а тут с архиереем хлопоты.

— Костаки греческий подданный; я не могу разрешение ему дать на Софице жениться.*

К мутесарифу бежим.

Мутесариф говорит:

— Это дело пустое! Кто станет на это смотреть. Не бойтесь. Я скажу архиерею, чтоб он не боялся.

Опять к архиерею.

— Пусть паша мне на бумаге приказание даст. А я без этого не могу. Патриарх еще недавно писал мне: остерегайтесь, Высокая Порта строго требует, чтобы закон этот соблюдался...

— Так мы тайно его обвенчаем.

— Как знаете! А я узнаю, который поп венчал, так я его строгому церковному наказанию предам и прихода лишу.

Бросимся к одному попу, к другому, — все боятся.

Опять к паше.

— Ваше превосходительство, вы бы изволили письменно разрешить архиерею.

— На что̀ ему письменно. Это дело церковное. И в этих делах он не от меня, а от патриарха зависит.

Отыскал я одного старого попа, которого архиерей за бесчинства, пьянство и за драки с турками прихода лишил, но отлучен он не был и венчать мог. Этому хоть десять братьев рядом поставь с десятью родными сестрами, обвенчает всех по очереди!

Обещал ему три лиры. Он говорит:

— Хорошо, три с половиной мне нужно, потому что с портным за новый подрясник так сторговался!

— Что̀ ж вы думаете, кончено все? Нет!

---

* Закон Турецкой империи запрещает девушкам турецкого подданства выходить за иностранных подданных. Закон этот в силе до сих пор, но надо сказать правду, турецкие паши в этом случае благоразумны и редко преследуют за его нарушение, лишь бы все сделано было секретно и не нарушено было бы уважение к власти посредством явных празднеств и т. п.

Венчать будем тайно; только где? Пилиди боится, чтоб его самого паша после в тюрьму не посадил. Каков же это срам был бы для старого архонта! Надо сделать так, что и отец как будто этого не знает!

Куда идти? Побежал я вечером к мадам Бертоме. Она (дай Бог ей жить!) «с радостью, — говорит, — с радостью! Здесь консульство, и мы на себя все возьмем!» Мусьё Бертоме хотел сказать что-то, а она ему: «Хуже ты женщины!» Он и замолчал.

Сейчас затворили в консульстве ставни; поставили стол и свечи. Поп уже готов. Вино и хлеб принесли. Пришла и Софица со старухой Катинкой; свидетелей достали, и поставили молодых под венец.

Поп их венчает, а я смотрю на Костаки: «Что̀ за красавец! Как царский сын стоит в нашей народной одежде».

Так мы их обвенчали; а через три дня в Акарнанию отправили. Никто ни слова не сказал, ни архиерей, ни паша. Так поспешили их отправить, что Софицы и платья не были все сшиты, несшитые взяла.

За день до отъезда их, однако, мы повеселились хорошо. У Пилиди за городом был апельсинный сад; все мы и новобрачные пошли туда и скрипки наняли. Цыганка Аише плясала, и сам старик в *сирто** прошелся. Выпили мы все и хорошо повеселились.

Было это весною, когда у нас апельсины цветут, и потому по всему саду благоухание как в раю простиралось.

Выпил старик за здоровье Костаки, обнял его и закричал:

— Теперь ты хоть обижай, хоть пугай меня, хоть грязью меня закидай, а я любить буду. Дай мне поправиться, и увидишь ты сам, как я твое благородство ценю.

Костаки его руку поцеловал; а мы все радовались на их счастье.

Потом, как цыгане пошли в сторону, под деревами поесть, говорит старик тихонько зятю:

---

* *Сирто* — самый обыкновенный из греческих танцев.

— Вот ты уедешь скоро в Грецию. Так я тебе, дитя мое, скажу, что мои молитвы будут об одном: чтобы ты, как следует такому паликару, капитаном эллинским поскорее с оружием в руках границу бы перешел и показал бы нашим тиранам, что̀ значит эллин! А я тебе клянусь, тогда последний пиастр вам на помощь пожертвую! Великий патриот Рига Фере́ос сказал:

Лучше час один свободной жизни,
Чем сорок лет рабства и тюрьмы.

Вот как возненавидел старичок турок за пожар!

Я был недавно в Акарнании в гостях у Костаки. Они хорошо живут с Софицей. Костаки баранов накупил и дом в городе хороший имеет. Стены раскрашены и над лестницей представлен сад с воротами большими, и на воротах две зеленые птицы сидят. Костаки за один год уже много премудрости приобрел: газеты читает и на выборах иногда хорошо говорит.

Софица тоже много свободнее стала и за мужа умирает от любви.

Я говорю ей раз, шутя:

— А муж тебя, кирия, не любит: не слушается; франкского платья не надевает. Я знаю, что ты боялась за него идти через это.

Софица покраснела.

— Я, — говорит, — во всяком платье обязана его любить. Он мне муж.

А Костаки засмеялся и сказал мне:

— Ты не верь ей. Она много меня вначале этим тиранила, и тогда только душа ее успокоилась, когда ей случилось увидать, что один номарх да два депутата, оба образованные люди и великие ораторы, фустанеллу носят.

АСПАЗИЯ ЛАМПРИДИ

ГРЕЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

I

Алкивиад Аспреас был родом из Корфу, но учился в Афинах и там провел последние годы. Ему было не более двадцати пяти лет, когда он задумал посетить Эпир и посмотреть, как живут его братья греки под турецкою властью.

С детства он слышал вокруг себя разговоры о православии, о турецком иге, о просвещенном деспотизме Англии, о ненавистной ионийцам римской пропаганде. Чаще всего слыхал он дома о дальней великой холодной стране, где царствует мощный царь, которого боятся другие государи, где весь народ молится так же, как молится его старый отец, где войску и церквам нет числа, и привыкал думать, что лишь бы захотел этот царь, лишь бы тронулось это несметное войско, то и красных мундиров не осталось бы на живописной эспланаде нашего города, не осталось бы и тех свирепых людей, которых дикий берег высится за морем так близко от Корфу, ни даже проповедников в чорных мантиях и широких шляпах, с лицами недобрыми и язвительными, которые жаждут вреда православной церкви.

Недалеко от Корфу, на горе, есть селение Гастури. По прекрасному шоссе коляска мчит к нему чужеземца сквозь нескончаемый лес маслин.

Когда бы кто ни посетил это селение, — во всякий час дня, — он увидит у кофейни толпу одних и тех же молодых и старых мужчин, с усами, в соломенных шляпах и голубых шальварах... Они курят или пьют умеренно, или беседуют у порога кофейни...

Одни и те же высокие, полногрудые молодые женщины, осторожно спускаясь по камням, живописно несут кувшины с водой на головах, убранных белым покрывалом и косами, перевитыми красным... Как будто одни и те же старушки работают у дверей своих пустых и бедных каменных жилищ... Те же дети, румяные и веселые, бегут за коляской больше часа и кричат: «*Пол-о́вола, пол-овола, эффенди!*» Те же отроковицы подают вам молча маленькие букеты цветов и душистых травок...

Работы этим людям мало.

— Оливковое дерево, государь мой, есть злейший враг индустрии! Оно само кормит лентяя! — говорит ученый грек.

И крестьянин-иониец сознается в том же, только гораздо милее ученого грека.

— Бог и деревья неравными сделал, — говорит он. — Есть деревья глупые, и есть хитрые деревья. Маслина, синьор мой, дерево глупое. Посадил его хоть бы дед мой, и никто у нас больше не смотрит за ним. Сделай раз на склоне горы около него небольшие грядки, чтобы маслинки, когда будут падать, не укатывались далеко — и сядь. Глупое дерево, без всякой работы, само тебе все дает. Иное дело виноград; это дерево лукавое и умное; убивайся над ним каждый год и убивайся много, иначе и не жди от него плода. И еще иной нрав у апельсинного дерева. Работы оно много не ищет; оно хочет любви и ласки. Любишь ты его, синьор, и оно тебя любит. Ласкай его, смотри за ним, полей, когда нужно, береги его, и оно тебе даст доход... Не люби, и дохода не даст, не полюбит тебя!

Около этой живописной деревни Гастури, которую первую изо всех деревень Корфу всегда узнает путешест-

венник, был дом и земля старика Аспреаса, отца Алкивиада.

Прежде старик был богаче, но потом несколько обеднел. «Глупое дерево» хоть и не требует ухода, но по глупости же своей иногда даст обильный доход, иногда же подряд много лет почти ничего не дает. Настали неурожайные годы. Иного земледелия на острове почти нет; он весь — сплошная оливковая роща.

Земли своей у крестьян почти нет; они обязаны сбирать оливки помещику и за это берут себе половину сбора. Что ж было делать, когда грядки под деревьями уже столько лет стояли пустыми? Потом пришли другие невзгоды; неудачные торговые обороты. Старшая дочь вышла замуж за афинского грека, и ей надо было дать хорошее приданое. Старший сын подрастал — его хотелось, по примеру других архонтов, послать учиться или в Европу, или хоть в Афинский университет. Были и другие дети.

Пробил час прений об избрании Альфреда и о присоединении к Элладе семи островов.

Старик Аспреас ненавидел «красных дьяволов» хуже чем турок. Не любил их гордость, говорил, что они развращают простой народ тем, что сорят деньгами, приучая даже малых детей бегать за экипажами, когда дома есть кусок хлеба; не признавал заслуг Каннинга, утверждая, что филэллином он никогда и не был, а дал Наваринскую битву, чтобы только Россия не одна спасла Грецию и не была в ней потом всемощною; не мог простить англичанам дело жида Пачифико, смерть Каподистрии и севастопольский погром.

Во все время, пока шли на островах прения о том: отказаться ли от протектората? присоединиться ли к Греции или нет? — старик Аспреас трудился, уговаривал, подкупал даже, не жалея средств, подвергался опасностям, лишь бы только не видать больше «красных дьяволов», которые, сверх политических преступлений своих, не верят и в святость мощей Св. Спиридона, покровителя моряков и заступника корфиотского, — Св. Спиридона, которому и турки проезжие поклоняются и дают дары.

Дело кончилось так, как этого желал старик: «красные мундиры» ушли. Но после их ухода он стал еще беднее. Расходы во время подачи голосов были велики. Демократическая Эллада дала больше прав и больше независимости крестьянам, живущим на помещичьей земле. Доходы стали еще меньше; торговля острова упала; дороги начали портиться.

Старик вздыхал, но не роптал.

— Пусть только «Господи помилуй» (так звал он Россию) будет крепок; все поправится. Пусть только *вагабонда*-Наполеона прогонят, да варвара *Агу* спровадят туда, откуда принес его сатана за наши грехи... тогда и торговля будет, и порядок, и мир, и согласие, и все хорошее на земле.

— Да что же вам за дело до русских? Русские далеко, — спрашивали его люди.

— Греко-российской церкви мы поклоняемся, ты знаешь это, человече! — отвечал старик.

У такого отца вырос в доме Алкивиад. Старик, как и все пожилые люди в Корфу, какого бы они ни были звания, был страшный руссофил.

Таких людей много на семи островах. И многие молодые люди делят их убеждения. Долгое занятие островов русскими войсками оставило там прекрасное воспоминание. Имена Ушакова и других генералов русских живут в памяти людей и до сих пор. Одна из улиц, выходящих на Красную площадь Корфу, зовется «одóс Ушаков» — улицей Ушакова.

До прибытия русских в Корфу не было православного епископа. Русские учредили епископскую кафедру в Корфу. В первый раз в конце прошлого столетия корфиоты ясно почувствовали, с прибытием русских, что они точно греки, а не венецианцы. Они увидали, как гордые русские начальники чтили православную церковь и как смиренно молились в ней страшные русские солдаты.

Самые солдаты эти были страшны только на первый вид. Они были добрые и простые люди. Звали греков

«брат»; любили выпить и песню спеть; боялись и слушались начальства...

Случалось, что русские и наказывали корфиотов телесно, но «они и своих за беспорядки наказывали еще строже», — говорят корфиоты.

Живут и теперь в городе Корфу два старика, один бедный, а другой богатый. Богатому уже под девяностно лет; бедный гораздо моложе. Богатый не знатен, он разжился торговлей; бедный из старой семьи.

Богатый скуп до того, что его раз нашли полумертвым от голода на кровати. Слуг он не держит, дверь была заперта, и доктора, чтобы спасти его, взошли в окошко по лестнице; с тех пор он стал есть побольше.

Он ходит всегда не шевеля руками и отставляет их подальше от тела, потому что портной раз сказал ему, что рукава под мышками дольше не рвутся у тех, кто так ходит. Никто не слыхал и не видал никогда, чтоб этот человек заплатил в кофейне за чашку кофе или за стакан лимонада. Однажды он упал на улице в обморок от слабости (а может быть, и от голода); сбежались на помощь люди; старик казался почти бездыханным. Кто-то закричал из толпы:

— Отвезти его в наемной коляске домой.

Старик встрепенулся.

— Дойду пешком, — прошептал он, — помогите мне немного. Зачем платить за коляску.

У него нет ни привязанностей, ни страстей. О родных, которые далеко, он не думает. Проценты с капитала своего навеки он хочет завещать бедным за упокой своей души... Но у него есть одна страсть, одна святыня — Россия.

Поутру и вечером, вставая и ложась, он прежде молится за свою душу, а потом за Россию. Он бледнеет и шипит как змея, когда слышит порицания русским или России. Когда бы он не был чуть жив от слабости, он бил бы «негодяев», которые смеют осквернять даже в шутку эту святыню...

— А Эллада? — говорят ему.

— Дьявол ее возьми! — шипит злобно старик.

Другой старик гораздо моложе. Он бедно одет, но бодр, страстен и подвижен. Его вы встретите везде: и в церкви, и в кофейне, и на прогулках; он следит за политикой, за газетами, спорит громко на улицах; шумит и бранится!..

Одно воспоминание о Западной Европе возбуждает его гнев... Молодые люди, даже мальчики простые на улицах знают его страсть к России и затрогивают его.

— Чорт бы побрал Россию! — шепчет ему мальчишка... и бежит далеко. Иначе им было бы плохо. Случалось, что он бросался и на взрослых людей в кофейнях за подобные слова, которых он даже и в шутку не сносит...

Но, быть может, только эти два чудака без веса и силы думают так? Едва ли! Вот идет, обнажив саблю перед ротой, под звуки музыки, лихой и солидный офицер с русой эспаньолкой. За ротой спешит народ, идут и хорошо одетые люди, и не нарадуются на своих солдат! Впереди, перед музыкантами, маршируют в такт оборванные мальчишки, свищут, вторят маршу, и один за другим от радости катаются колесом перед войском... Что̀ думает этот бравый офицер с обнаженною саблей? Он читает по вечерам предсказания «Агафангела»* о «новом государе французском, который ведет на бойню безумных французов»... «И ты, хитрая лисица (Англия), потеряешь свой хвост!» — говорит «Агафангел». «И царству агарян будет конец, когда белокурое племя вступит в Царьград и отыщет для христиан нового царя Иоанна, который спит теперь за невидимою дверью в Святой Софии...»

Старый граф Ионийский, у которого такое прекрасное имение с садом и цветами на берегу моря и который часто гуляет до полуночи в тени аллеи по эспланаде, «Агафанге-

---

* «Агафангел» — книжка, в которой собрано множество разных предсказаний о событиях европейской истории. Она очень распространена на Востоке.

ла» не читает; он верит в Англию; но верит он в нее не иначе, как в соглашении с русскими.

Эти молодые щеголи, которые шумят по кофейням, с небрежностью крестясь, входят лишь на минуту в церковь Святого Спиридона и возмущают своим видом набожных людей; о чем они думают? Они думают больше всего о любовницах своих, конечно, и о том, будет ли зимой в Корфу итальянская опера, но они приветствуют криками радости, бьют в ладоши на улице при каждой новой вести о поражении французов. Отчего они рады победам пруссаков? Какое добро сделали им Бисмарк и Германия? Не Бисмарк и не Германия радуют их... Радует их иное. Ошибочно или нет, но они видят вдали за германскими триумфами иную тень: грозную тень Восточного вопроса! Их радует, что люди простые шепчут друг другу: «Разница между *Пруссия и Руссия* одна буква *П*. Наша Ольга племянница русскому государю и внучка государю прусскому. Нам только это и нужно».

Поэтому о прусских бомбах кричит и остряк-продавец холодной ключевой воды, который душным вечером возит по площади между гуляющими свою тележку, разубранную зеленью.

— Вот они, прусские бомбы, послушайте, как летят, — кричит он, чтобы в темноте люди поняли, что тележка с ключевою водой недалеко.

Похолодело время, он бросил воду и поставил раек на площади.

— Идите, смотрите, — кричит он, — как французы бегут из России в тысяча восемьсот двенадцатом году!

Вот идет видный, пожилой мужчина, одетый со вкусом; он богат, он не раз был министром. Он враг России, говорят... Пусть проходит он мимо! Все зовут его жидом и никто его не уважает.

Дороже его стократ эти бедные мальчики, которые катаются колесом перед военною музыкой, когда она идет утром в королевский дворец. И в их сердцах зарождаются семена будущих чувств, и они уже знают по опыту, как

выгодно продавать на площади те телеграммы, в которых есть новые слухи о русской политике на Востоке... Они видят, что ту телеграмму, в которой более печаталось о России и Греции, разослали хозяева не на простой бумаге, а с изображением богини Афины в заглавии. Нет нужды, что мальчики эти не знают, кто была Афина. Они видят и понимают в ней молодого воина в шлеме, готового к битве.

Отец Алкивиада не подвергался шуткам, как подвергаются иногда те два старика руссофилы; вес его в городе был велик; одна англичанка путешественница, которую он повел смотреть город, удивлялась: сколькие люди кланяются ему и скольким он должен ответить.

— Вам нужно шесть шляп каждый год. У вас поля шляпы, я думаю, рвутся, — сказала она ему.

Голос его был во всех делах одним из первых, и на всех официальных празднествах, на всех церковных процессиях, на всех дипломатических обедах старик Аспреас являлся одним из главных представителей города.

Седой, спокойный, здоровый, с веселым и добрым лицом, с седыми усами, в хорошем чорном фраке, с кавалерским крестом Спасителя и тем медным геройским крестом, который раздавался по окончании войны за независимость Греции тем, кто принимал в ней участие, старик Аспреас внушал всем уважение, и самая речь его, простая, тихая, даже однообразная, в которой светился сквозь все один и тот же стих, один и тот же припев: «Греко-российской церкви мы поклоняемся», приятно действовали и на тех, кто не был глубоко убежден, как он.

Восемнадцати лет Алкивиад простился с отцом и уехал учиться в Афины... Чрез год он вернулся на лето к отцу уже иным...

Сперва он стал англоман, а потом туркофил какого-то особого рода...

Отец слушал его сначала с удивлением, потом с гневом, потом уже снисходительно и с пренебрежением.

— Молодость и глупость: пройдет молодость, пройдет с нею и глупость, — говорил почтенный человек, и так

был спокоен и светел, так радостно глядел в глаза собеседнику, что и тому казалось на миг «все это вздором», казалось, что вся политическая мудрость, вся дальновидность, вся история борьбы Востока и Европы заключаются в одном простом слове старого архонта: «Греко-российской церкви мы поклоняемся, человече!»

Алкивиад любил отца, чтил его как благородного патриота и никогда не спорил с ним грубо. Но так же, как отец весело улыбался говоря о сыне, так и сын улыбался говоря об отце.

— Бедный отец! — восклицал он с чувством любви и уважения. — Бедный отец! Он еще все от России ждет чего-то... Времена Ушакова еще не миновали для него. Бедный отец!

II

Сестра Алкивиада, которая была замужем за афинским греком и жила всегда в Афинах, была женщина умная, ученая и красивая, хорошая мать и честная супруга. Ее упрекали лишь в трех недостатках: в том, что брови ее были уже слишком густы и мужественны; в том, что она была очень честолюбива и за себя, и за мужа, и за брата, и за всех близких ей; а иные еще в том, что она любила писать и говорить иногда уже слишком высокопарно, без нужды.

Но в этом последнем упрекали ее очень немногие. Нынешние образованные греки более похожи на риторов времен падения древнего мира и на византийцев, чем на эллинов времен Платона и Софокла.

Мать Алкивиада умерла, едва родив его, и первые заботы о младенце выпали на долю сестры, которая тогда уже была взрослою девушкой. Поэтому брат сохранил к ней сыновнее чувство, которое и впоследствии поддерживалось ее умственным влиянием на него и тем увлечением, которое внушал брату ее патриотизм и образованность. Он гордился сестрой пред другими. Еще при королеве Амалии

она ездила ко двору, и хотя уже и тогда ей было лет тридцать, однако и муж и брат гордились ею, когда она в торжественных случаях выходила пред людьми с длинным шлейфом, со своими строгими бровями, римским носом, в маленькой феске набекрень и в бархатной греческой куртке, расшитой золотом, одетая так, как одевалась сама королева.

«Богиня, — шептали люди, — Афина Паллада! Нет, не Паллада; это Бобелина!» И Алкивиад слышал этот шопот и радовался и еще больше слушался сестры.

Она отсоветовала ему учиться медицине. «Что̀ за поприще для тебя, мой друг, быть врачом? — говорила она ему. — Поприще без простора, без повышений. Посвяти себя политическому поприщу. В свободной стране, подобно нашей Элладе, на какую высоту, скажи мне, не открыт блестящий путь государственному мужу?»

Алкивиад занялся законодательством и бросил медицину.

Сестра нанесла первый удар его прежним детским убеждениям.

— Что̀ общего, — говорила она, — между русским кнутом и благородною эллинскою нацией? между деспотизмом и свободой? между скифским северным мраком и грацией Юга? Эллины призваны во имя свободы, во имя всего священного положить пределы распространению славянского великана на Юг и Восток. Эллины призваны рабить глиняные ноги этого мрачного кумира, которому поклонялось до сих пор наше невежество... Эллин и только эллин, никто другой, должен рассеять по Востоку лучший цвет европейского просвещения.

Муж сестры Алкивиада мало имел влияния на молодого человека. Он был толстый, здоровый, довольно богатый и лукавый простак. Любил жену, любил детей, любил попить. Был не лишен трудолюбия, опытности в делах и здравого смысла. Увлечь, обмануть его никто не мог; но и он зато не в силах был никого увлечь. Мнений он определенных не имел; соображался с обстоятельствами и очень удачно, бла-

годаря правилу: «спеши медлительно!» Занимал в течение жизни своей много разных должностей, избегая крушения нередко там, где не спасали ни даровитость, ни патриотизм, ни красноречие, ни смелость, ни связи.

Восхваляя при случае (и как нельзя солиднее и спокойнее) эллинскую свободу, конституцию и равенство и всю прелесть политических прений и борьбы, он обеспечил себя и семью свою исподволь капиталом в деспотической России и варварской Турции, подальше от конституции, от равенства и блестящих прений. Жена его в этом была согласна с ним и восклицала: «Все экономические вопросы я предоставляю мужу! Это его часть».

Так жил себе хорошо в Афинах усатый, здоровый толстяк; никого не боялся и, несмотря на то, что ездил ко двору и сносился с посланниками, дома жил просто и умеренно, стараясь показать, что он старинный и простой человек, который ни в ком не нуждается.

«Нашу Палладу надо изображать не с совой, а с медведем!» — говорили остроумцы и звали его «турком», «Агой», до тех пор, пока один молодой человек не прозвал его еще злее по-турецки «Гайдар-эффенди». (Гайдарос по-гречески значит осел.)

Алкивиад терпеть не мог своего зятя, хотя жил у него в доме; никогда с ним не спорил и занимал иногда по молодости у него деньги. Но у толстого Гайдар-эффенди был двоюродный брат Александр Астрапидес.

Он был еще молод, хотя и много постарше Алкивиада, и славился красноречием, умом, отвагой и красотой. Астрапидес подружился с Алкивиадом и докончил то, что̀ начала сестра. Из руссофила молодой студент постепенно стал пылким приверженцем английской партии.

И точно, Астрапидес был увлекателен и даровит.

Красивая наружность его была такова, что встретить его в горах с глазу на глаз и не зная, кто он, едва ли было приятно и храброму человеку.

Казалось, модный фрак, лакированные сапоги и французские перчатки его были на нем не одеждой, а лишь

минутным костюмом необходимости, и, когда он взглядывал своим взглядом и блестящим, и любезным, по нужде и свирепым, когда его недобрая душа просилась наружу, казалось, что спадут с него сейчас и модный фрак, и перчатки, и шляпа... и вместо оратора и светского человека предстанет пред смущенным собеседником неукротимый и алчный горец в фустанелле, забрызганной кровью... и положит руку на золотой пояс, за которым уже сверкает ятаган.

И борода у Астрапидеса была густая, чорная, и походка отважная, и голос громкий, и рост высокий. Алкивиада он любил, однако, искренно, и при встречах с ним и взгляд его становился благодушнее, и голос ласковее, и шутки его с Алкивиадом были шутки брата, а не коварного приятеля.

Астрапидес перепробовал с ранних лет свои силы на разных поприщах. Был военным, был депутатом, издавал два раза журнал, статьи писал всегда, и писал прекрасно, сильно и без всяких украшений риторства. Впав в одно время в нужду, вследствие того, что в течение двух, трех месяцев пало, одно за другим, до пяти министерств, он не побрезгал торговать макаронами и канатами.

Он принимал участие в движении против короля Оттона тогда, когда еще такое участие было очень опасно, когда еще не знал никто, что это рискованная игра кончится так легко и просто...

Астрапидес в последнее время стал приверженцем Англии и в статьях своих, и в самых секретных разговорах своих с друзьями.

В последнее время, после неудачных исходов критского восстания, он понемногу стал прибавлять к англомании и свою новую мысль о сближении Эллады с Турцией, для совокупного действия против «всесокрушающего потока панславизма». Вся прошедшая история новой Греции была для него заблуждением и несчастием. Он оправдывал Мавромихали в убийстве Каподистрии, порицал охотников-греков, которые сражались за русских в Крыму; проклинал Россию за ее непрошенную дружбу и услуги, кото-

рые заслужили в Греции название *русской батареи, направленной против Турции и Европы.*

Он находил возражение на все. Естественные сочувствия корфиотов высшего круга к России он приписывал их аристократическим привычкам, их воспитанию, сходному, по его словам, с русским, основанному на рабстве и обязательном труде поселян, их ханжеству, их любви к церковным обрядам и процессиям.

Однажды Астрапидес вместе с Алкивиадом, в один из тех прекрасных и сухих зимних дней, которыми так богата Аттика, сидели в Акрополе, на ступенях Пропилей.

Астрапидес говорил о великом будущем новой Греции, о «великой идее».

Печальное сомнение закралось на миг в душу Алкивиада, и он, желая, чтобы Астрапидес убил в нем это сомнение, сказал ему:

— Возрождаются ли народы в третий раз? Мір имел Грецию Фемистокла и Сократа; имел византийское государство... Может ли повториться Византия снова?..

— Не Византия попов и деспотических государей! — воскликнул Астрапидес. — Греция — истинной демократии и чистого деизма. Каир,* может быть, явился минутным провозвестником этого будущего. Друг мой! скажи мне, где в Европе найдешь ты это полное жизни соединение равенства и свободы? Франция — страна равенства, но не пример свободы; Англия — страна свободы, но не в ней должен изучать мудрец законы развития гражданского равенства. Только здесь (Астрапидес указал рукой на веселый город, который без звука двигался и жил у ног их), только здесь и в Америке эти два великие принципа вступили в возвышенную гармонию...

---

* Каир, Каирос — известный в Греции деист; он основал, после освобождения эллинов, школу, где проповедывал чистый деизм. Стечение учеников было большое, и греческое правительство принуждено было закрыть ее.

Что общего, мой друг, между этою светлою, благородною Грецией и мрачным Ариманом Севера? Их духовная связь — плод невежества толпы, для которой колокольный звон еще дороже простых и возвышенных идей, доступных нам с тобою. Примиримся с Турцией; вернем ей доверие нашею умеренностью, нашею искренностью, и ты увидишь плоды этого раньше, чем думаешь... Наш образ мыслей быстро проникает в умы греков, подвластных султану. Та же самая Россия, увлекаемая событиями, поддержит права христиан и будет склонять Турцию к новым реформам. Запад, чтобы не уступить первенства, будет делать то же; утроит, учетверит число христианских пашей в странах, подвластных Турции; вооружатся, под знаменем султана, христианские полки; тогда я первый возвышу голос за что хочешь, я готов буду сказать: пусть Эллада свободная присоединится к Турции... Мы потопим Турцию; не ленивому турку, не болгарину, не грубому сербу, не легкомысленному валаху бороться с эллином духовно. Духовное, умственное влияние будет за нас. Над этою обширною ареной, открытою греческому уму и греческой энергии до *рокового часа*, будет носиться безвредная, бессильная тень исламизма, некое подобие власти, которое нам будет необходимо до этого рокового дня и часа, чтобы завоевать себе доверие Европы и чтобы дать отпор тем грубым славянским началам, которых пока еще много в Турции, вследствие нашего невежества, вследствие нашей лжи, наших же ошибок, нашего безумия, бестактного революционерства, ложной основы православных сочувствий...

Тогда Алкивиад понял, что для Астрапидеса Англия и Турция — не что иное, как более верные орудия эллинского прогресса, чем Россия и православие.

Скоро и он стал проповедывать то же и так горячо, что даже сестра его стала расходиться с ним. Она согласна была в основаниях, но с трудом допускала, чтобы тем можно было увлечь народ до сближения и союза с турками.

III

У Астрапидеса было имение в Акарнании, довольно хороший дом, бараны и небольшие посевы.

Во время выборов Астрапидес всегда уезжал туда; он пользовался большим влиянием на селян, и в Афинах многие обвиняли его в тайных сношениях с разбойниками.

Иные говорили, что он получает деньги от англичан; а другие подозревали, что между англичанами, Астрапидесом и разбойниками существует тайная связь, но так, что каждый ищет обмануть другого. Англичане желают, с одной стороны, иметь за себя в печати и на выборах даровитого и энергического деятеля, а с другой — очень рады, чтобы в Греции не прекратились безначалие и разбои. Разбойники ведут свои расчеты, зная, что они необходимы таким людям, как Астрапидес... Астрапидес же, утверждали люди, и Англию отвергнет, когда найдет что-либо лучшее. Алкивиаду говорили об этом многие, но он не хотел верить этому. Вскоре пришлось ему убедиться, что эти обвинения были справедливы.

Астрапидес пригласил его с собою на выборы в Акарнанию, и речь его была так убедительна, что Алкивиад согласился с удовольствием.

— Ты увидишь эту прекрасную, суровую родину наших боевых капитанов... Акарнания, которой роль была так темна и ничтожна в истории древней Эллады, в истории последнего возрождения нашего играет самую блестящую роль. Ты увидишь Мисолонги... что̀ я прибавлю к этому?! Тень лорда Байрона будет парить над нами. Я знаю, ты одарен поэтическим чувством и с радостью увидишь наших рыцарских капитанов, наши дубовые леса, которых жолуди кормят целые селения...* Увидишь наши дома. В нашем доме, например (прибавил соблазнитель с улыбкой), ты увидишь бойницы, они заложены камнями и

---

* *Жолуди* кормят народ в том смысле, что ими торгуют для дубления кож и других целей.

замазаны известью в обыкновенное время: но во время выборов их открывают, потому что иногда от спора дело доходит у нас и до...

Тут Астрапидес приостановился и, зорко взглянув еще раз на Алкивиада, прибавил как бы шутя:

— Увидишь, вероятно, и разбойников наших. Посмотри, какие молодцы. Ты, который говоришь, что ненавидишь положительный дух купечества и вечного порядка... ты увидишь их, я уверен, с удовольствием...

— Где ж я их увижу? Не отдаться же мне им в плен из любопытства? — спросил Алкивиад.

— Увидим и без плена. Ведь и они люди.

Алкивиаду показались последние слова до того подозрительными, что он поколебался на минуту.

Он не верил, что беспорядки и разбои единственное и лучшее средство для эллинского прогресса, и честному сердцу его примириться с иезуитскими средствами было не легко. Он отвечал Астрапидесу, что подумает, но в тот же вечер чуть за него не поссорился с зятем, и с досады, не желая оставаться больше у зятя в доме, уехал с Астрапидесом в Акарнанию.

Ссора случилась за ужином.

Алкивиад стал говорить о красноречии Астрапидеса, о необыкновенных его дарованиях и о том, что он зовет его с собою на выборы.

— Красноречив он, это правда, и даровит; а английские фунты стерлингов еще красноречивее и даровитее. Они хоть кому озолотят речь, — сказал насмешливо толстый Гайдар-эффенди.

Завязался горячий спор, который сестра Алкивиада напрасно пыталась смягчить, воздерживая то мужа, то брата.

Алкивиад разгорячился до того, что сказал зятю: «Твои уста не озолотятся никакими сокровищами ни Запада, ни Востока. Твои нападки на Астрапидеса — злобное шипение зависти к высокому государственному таланту»...

Зять, с своей стороны, обозвал Астрапидеса уже прямо подкупленным агентом Англии и пристанодержателем разбойников, а Алкивиаду сказал, что он напрасно *ест хлеб* и занимает деньги у человека, которого презирает и считает глупцом...

Алкивиад встал из-за стола и ушел, несмотря на мольбы сестры, к Астрапидесу на квартиру.

Оттуда написал он к сестре нежное, почтительное письмо, упрашивая ее простить ему «*эту понятную вспыльчивость*» и сказать мужу, что долг он ему по возвращении в Афины постарается заплатить.

Чрез две недели они с Астрапидесом сидели неподалеку от селения, в тени прелестной дубовой рощи. Около них на лужайке паслись овцы, мирно бряцая колокольчиками.

Астрапидес был задумчив и жаловался, что выборы не совсем хороши. Напрасно лилось вино в его доме, напрасно жарились бараны и куры, — речи его, приспособленные к понятиям селян, лились еще обильнее вина... Надежды были слабы; особенно в двух селах люди обнаруживали совсем не то направление, которого искал Астрапидес.

Алкивиад слушал его жалобы и разделял искренно его досаду...

В это время подошел к ним пастух Астрапидеса и отозвал его в сторону.

— Говори при этом человеке: он первый друг мой.

Пастух колебался.

— Говори! — грозно сказал Астрапидес.

— Как хотите! — ответил пастух и улыбнулся, посмотрел пристально на барина своего и сказал:

— Ребятам вчера вечером дал я трех овец. А насчет хлеба и вина сказал: вам скажу. У меня где ж хлеб и вино!..

— Хорошо сделал, — отвечал Астрапидес. — Когда ж они придут?

— Завтра вечером опять придут.

— Хорошо. Мальчик вынесет тебе в овчарню хлебов и вина... Ничего нового? *Сам* не был?

— *Сам* не был; а новый молодец один большую до вас просьбу имеет...

— Который? — спросил Астрапидес, — не тот ли, что̀ из Турции бежал?

— Этот самый! — отвечал пастух.

— Что̀ ж, очень рад! — воскликнул Астрапидес, — пусть зайдет завтра вечером. А лучше бы еще было, если б и *сам* побывал вместе с новым молодцом. Завтра, как свечереет, буду ждать их... Из-за чего тот из Турции убежал, не знаешь?..

— Из Турции? — отвечал пастух, — поссорился с офицером и свалил его с лошади в грязь, и бежал после этого. Как же не бежать? Сами знаете! Молодец хороший... вполне человек, мужчина!

Астрапидес развеселился и, возвращаясь домой, дал пастуху щедрое награждение.

Алкивиад из этого разговора понял все, понял, что зять его был прав и что Астрапидес пристанодержатель и друг разбойников. Он не стесняясь тут же выразил ему свое негодование.

— С этими средствами я никогда не помирюсь! — сказал он.

— Если ты не помиришься, ты докажешь этим, что ты еще очень молод, что глубина государственных вопросов тебе еще недоступна, — сказал Астрапидес.

— Я никогда не войду в союз с преступлением, — возразил студент.

Астрапидес остановился и, взяв его руку, начал так:

— Существуют ли в Акарнании разбои помимо нашей воли? Существуют. Нарушают ли они без нашего участия спокойствие мирных жителей? Конечно, нарушают. Полезны ли такие беспорядки для высших целей политических сами по себе? Бесполезны. Призван ли я специально преследовать разбой? Офицер ли я королевской службы, под начальством которого состоят солдаты для искоренения разбоя? Пристанодержательствуют и без того селения наши от простого страха и не извлекая из преступных действий своих ника-

кой пользы для эллинизма. Не употребляют ли часто и люди противной нам партии те же средства для достижения гибельных, по нашему убеждению, целей?.. Итак, неужели так преступно со стороны патриота, если он берет то, что̀ зовут французы *le milieu*, — среду, таковою, как она есть, и, освящая средства целью, подчиняет себе обстоятельства? Зло силою своего духа принуждает служить благу и бесплодно-смертоносный яд претворять, подобно врачу, в благотворное лекарство!.. Dixi! Вы, милый друг мой, предпочитаете вашу личную чистоту государственной пользе — это ваше дело... у всякого свои понятия о чести и пользе... Дайте свободу и другим, особенно тому, кто не колеблясь доверяет вам самые опасные тайны, ввиду вашей зрелости и мужественного характера!.. Что̀, разве не хорошо я сказал?..

Алкивиад заметил печально на все это:

— Надеюсь обойтись в жизни и без этого полезного *яда*, и если продолжать уподобление, то и врачи избегают сильных лекарств до последней крайности... И наконец, иное дело — соглашаться, что известное зло может иногда приносить добрые плоды, иное дело — самому вступать в союз с этим злом. И древние эллины олицетворяли в религии своей всякие силы и всякие страсти, но и они, я думаю, понимали, что лучше быть в союзе с Фебом, чем в союзе с фуриями...

— Я вижу, что ты очень умен, — ответил Астрапидес с отеческою улыбкой, — и надеюсь, что зрелость этого блестящего ума не заставит себя долго ждать. La jeunesse est un défaut dont on se corrige bien vite. Недурно сказано? Остроумный человек был этот француз, не так ли?

IV

На другой день, под вечер, Алкивиад сам видел, как пастух Астрапидеса провел в дом двух людей, закутанных в бурки. Он понял, что это были разбойники и что друг

его хочет вступить с ними в какие-то преступные соглашения. С негодованием удалился он в свою комнату, зажег свечу и лег на диван с газетой... Но и газета мало занимала его... Воображение его стремилось на ту половину дома, где происходило таинственное свидание... Утром у них с Астрапидесом был новый спор об этом, и во время спора этого Алкивиад узнал от Астрапидеса, что разбойник, которого ждет хозяин дома, не кто иной, как знаменитый *Дэли*.*

Об этом Дэли Алкивиад слыхал не раз еще и в Афинах, и Астрапидес показал ему утром его фотографическую карточку.

Дэли красивый, бородатый мужчина средних лет, лицо его скорей приятно, чем свирепо.

Рассказывают, что он стал разбойником из мщения.

Еще он был очень молод, когда солдатам короля Оттона случилось зайти в то село, где он жил.

В числе этих солдат были негодяи, которые изнасиловали молодую сестру Дэли.

Дэли поклялся вечно мстить военным, убежал из села, собрал шайку удальцов и стал разбойником. Сначала он был жесток только к тем, которые носили мундир; с людей гражданских он брал только выкуп и вообще обращался с ними хорошо, а иногда и по-рыцарски.

Военных он убивал без пощады. Так было сначала (рассказывал Алкивиаду Астрапидес); но позднее обстоятельства ожесточили Дэли еще больше. Дэли был женат, но бросил жену и похитил из одного селения молодую девушку, которая влюбилась в него. Он одел ее по-мужски, в фустанеллу, и она всюду следовала за ним, разделяя всюду с ним и нужду, и добычу, и опасности.

Астрапидес уверял, что сам видел ее. При одном из его прежних свиданий с разбойничьим капитаном присутствовала и эта молодая девушка. Встреча была днем в лесу, и Астрапидес сознавался, что он не мог скрыть, до

*Дэли — лицо действительное. Недавно убит в Элладе войсками.

чего она ему понравилась. Опираясь на ружье, она стояла поодаль с двумя другими паликарами; одета была в этот день по-праздничному, щегольски... Феска до того мило держалась на ее подстриженных волосах, бурка до того изящно спадала с ее нежных плеч, что Астрапидес, разговаривая с Дэли о самых опасных и важных делах, не мог воздержаться, чтобы не взглядывать беспрестанно в ее сторону. Он не мог налюбоваться ею.

Дэли замечал его движения и изредка улыбался.

Наконец Астрапидес сказал разбойнику, пытаясь привести его в замешательство:

— Какой это у тебя молодой паликар красавец! Что̀ за картинка...

Дэли покраснел и сказал как бы с равнодушием.

— Понравился он тебе? У меня все паликары хорошие, все злодеи люди! Все собаки такие, каких свет еще не видал...

А потом потрепал на прощанье Астрапидеса по плечу и сказал ему:

— Так понравился паликар тебе? Ох вы мне словесники, словесники городские! Что̀ мне делать с вами! Нет у вас ни Бога, ни дьявола, и все у вас что-нибудь скверное на уме...

Не так давно эту девушку убили королевские солдаты, и с тех-то пор Дэли стал гораздо еще суровее и злее прежнего. Вот как это было. Отряд войска напал наконец на след разбойников. Дэли, который привык смеяться над усилиями своих гонителей, присел отдохнуть с любовницею своей в одной пещере. Они разложили огонь и начали варить кофе.

Солдаты заметили, что из пещеры выходит дымок, и направились к ней...

Раздались неосторожные, преждевременные выстрелы. Дэли и подруга его схватились за оружие, выбежали из пещеры и бросились вверх, с камня на камень в кусты...

Солдаты были далеко, но одна из пуль их ударила молодую девушку в грудь и убила ее на месте. Дэли убежал.

Рассказывая все это Алкивиаду, Астрапидес знал, кому он это говорит. У Алкивиада было пылкое воображение, и потому все поэтическое могло ему нравиться, даже и тогда, когда оно было преступно.

И вот теперь, лежа на диване, он не читал газеты, а думал о Дэли и о его погибшей любовнице... Знать, что Дэли всего чрез две стены от него и не видать его — казалось ему очень скучным. Гражданская совесть предъявляла свои требования, поэзия — свои...

Он уже стал проводить мысленную и глубокую черту между участием во зле и созерцанием этого зла из простого любопытства... Он уже восклицал про себя:

«Неужели врач, изучающий труп отравленного, или даже судья, с любопытством взирающий на отравителя, имеют что-либо общее с помощником отравителя, с тем человеком, который тайно продал ему этот яд?..

И к тому же, какая разница между каким-нибудь низким преступником, одним из тех преступников, которых темные и холодные злодейства изображает нам западная словесность, и греческим отважным паликаром, который не утратил ни рыцарского, ни религиозного чувства, ни даже патриотизма. Я думаю... о, я уверен, что и Дэли, и всякий разбойник, горец наш, может стать при случае патриотом и сразиться с врагом за отчизну... Прежние клефты доказали это, и сфакиоты критские в мирное время похищали не только овец и мулов у своих же соотчичей-критян, но насильно увозили в горы богатых невест, в надежде, что родители должны будут уступить после... И разве эти сфакиоты не оказались истыми эллинами во время последней, несчастной борьбы?.. Где же англичанину или французу понять, что̀ такое грек!..»

Так рассуждал сам с собою молодой человек, сгорая желанием увидать Дэли.

Да, желанием он сгорал, но, отринув так резко всякое примирение с идеями Астрапидеса, какая же была возможность постучаться в ту дверь, за которой Астрапидес совещался со своими опасными союзниками?

Однако, видно, судьбе было угодно, чтобы Алкивиад познакомился с разбойниками. Астрапидес сам пришел к нему и сказал:

— Вставай, люди тебя желают видеть!

— Меня? — с удивлением спросил Алкивиад. — На что̀ я им?

— Увидишь. Именно до тебя, а не до кого-нибудь другого есть дело. Ты можешь сделать большое добро и спасти невинного человека.

И, говоря это, Астрапидес увлекал его дружески и почти насильно за собой...

Дэли сидел, облокотившись на стол, задумчиво и величаво избоченясь, когда молодые люди вошли...

Одет он был чисто и даже богато. Другой его спутник казался гораздо моложе; ему на вид не было и тридцати лет, но у него не было ни благодушия, ни благородства в лице, как у Дэли. И одет он был небрежнее, и беднее, и ростом ниже, и собой не очень красив, бледен, худ, как настоящий албанец; сила выражения была у него только в серых и лукавых глазах и в небольших усах, приподнятых и закрученных молодецки.

— Вот он самый, друг мой! — сказал разбойникам Астрапидес, указывая на Алкивиада.

Поздоровались и сели, о здоровье спросили. Дэли был величав во всех своих приемах; редкому номарху Греции удастся так поздороваться и так сесть. Товарищ его, напротив того, не пожал руку Алкивиада крепко и по-братски, а подошел почти униженно, чуть коснулся пальцами его руки и возвратился к своему месту, почтительно склоняясь и прикладывая руку к сердцу. Он даже не хотел сесть, пока не сели все другие.

— Он из Турции, и зовут его Салаяни, — сказал Алкивиаду Астрапидес. — Он имеет до тебя просьбу.

Салаяни опять почтительно поклонился Алкивиаду.

— Говори же! — сурово сказал своему спутнику Дэли. — Оставь политику свою и без комплиментов расскажи о деле.

— Эффендим! — воскликнул Салаяни, вздыхая, — происходит великая несправедливость. Христианство страдает в Турции...

— Бедный человече! — воскликнул Дэли, смеясь и качая головой, — он все с пашой еще словно говорит... Скажи ты прямо, не тирань ты человека глупыми речами...

— Но что̀ ж ему бедному и делать, — вступился Астрапидес, — привычка, рабство...

— Рабство, рабство! Глупость, а не рабство, — сказал с презрением Дэли и потряс рукой на груди своей одежду. — Э, человече! Говори...

Наконец дело объяснилось. Салаяни несколько лет тому назад служил мальчиком в городе Рапезе у богатого архонта кир-Христо Лампри́ди. Этот Христо Ламприди был Алкивиаду дальний родственник, троюродный брат его отцу. Вес г. Ламприди и в городе, и вообще в Турции был велик. Недавно его султан своим капуджи-баши* сделал.

— Служил у него я мальчиком, — говорил Салаяни все вкрадчиво и почтительно, — и был он мне как отец, и я ему был как сын, пока не случилось со мной несчастия: шел я однажды по улице на базар. Встретился мне один турок, *низам*, несет в руке говядину сырую и говорит: «Эй, море́-*кефир*! ** снеси эту говядину в казарму, а у меня другое дело есть». — Я говорю: зачем мне нести твою говядину? У меня у самого дело есть. «Снеси, несчастный кефир! — говорит он мне, — ты ведь мальчик еще, и казарма близко». — Нехорошо ты делаешь, ага, — говорю я ему, — что кефиром меня зовешь: это законом запрещено! «Так ты мне говоришь?» — спрашивает он. — Так я тебе говорю, ага! — я сказал. Тогда он взял эту

---

* *Капуджи-баши* — звание почетное, вроде камергера. Это звание дается богатым грекам, евреям, болгарам и т. д. за какие-нибудь заслуги государству; люди эти, однако, не состоят при дворе, а продолжают заниматься своими делами в провинциях.

** *Кефир* — гяур.

говядину сырую и начал бить меня сырою этою говядиной по лицу и ругать веру нашу. Я стал отбиваться. Прибежали другие низамы... избили меня, а потом подошел офицер их, отнял меня и отослал в конак, а оттуда меня в тюрьму послали, и просидел я в тюрьме около месяца...

Астрапидес и Алкивиад слушали серьезно, но Дэли смеялся и говорил:

— Хорошо тебя вымыл турок. Я рад, потому что ты не человек, море́. Ты бы должен был убить его на месте, а не кричать, пока сбегутся другие низамы... Албанская голова, сказано! Э, рассказывай дальше, несчастный... Соскучился уж и я, тебя слушавши, а молодой господин этот, глядя на то, как ты ломаешься пред ним, как бы тебя в *дьявольский список* * не записал, вместо помощи... Бедный, бедный.

Дальше рассказывал Салаяни так: г. Христо Ламприди, дядя Алкивиада, выхлопотал было ему сокращение тюремного срока, взял его к себе опять на поруки, что будет хорошо себя вести, и жил так бедный, невинный мальчик долго. Потом случилось другое несчастие. Тот офицер турецкий, который отнял Салаяни у солдат, но вместо того, чтобы наказать своих, обвинил его, ехал раз верхом около дома г. Ламприди. Время было грязное, и офицер, вместо того, чтоб ехать посреди улицы, въехал на тротуар около самого дома. Салаяни в это время выносил на улицу кой-какие вещи хозяйские, и в руках у него была хорошая стеклянная посуда. Наехал офицер так неожиданно и прижал его к стене так близко, что посуда выпала из рук Салаяни и разбилась. Начал он спор с офицером и стал кричать, что хозяину убыток большой... Офицер замахнулся на него хлыстом, а Салаяни толкнул его лошадь так, что она упала вместе с офицером с тротуара в глубокую грязь... и офицер расшибся и весь в грязи измарался; а Салаяни тотчас же бежал, сперва в горы, а потом и в Элладу...

---

* *Записать в дьявольский список, в список дьявола* — иметь человека на худом счету.

— Вот они, наши дела-то какие! — сказал все с улыбкой Дэли Алкивиаду. — Турецкие дела!.. Теперь этот молодец желает, чтобы добрый дядя ваш, г. Христо, выпросил ему прощение у пашей тамошних и чтоб ему было позволено возвратиться на родину. Вы напишите вашему дяде, просит он.

Астрапидес заметил, что нынче гораздо больше законности, чем было прежде, и потому не трудно ли будет это...

— А больше ничего нет? — спросил Алкивиад.

— Есть и еще, — ответил Салаяни, снова принимая скромный и почтительный вид. — Только это великая обида. Когда я был в горах — убили ночью другие люди двух человек. Христиане они были... Сами же соседи убили, а на меня говорят... Только пусть я почернею и с места не сойду, и пусть Бог меня накажет, если это не обида мне!..

Все слушатели улыбнулись, и Астрапидес, и Дэли, и Даже Алкивиад, несмотря на внутреннее волнение, которое он чувствовал, слушая все, что̀ говорил Салаяни. А Дэли прибавил: «Все несчастия с молодцом приключаются... Судьбы ему нет, а сам он, как святой человек, я так, глядя на него, думаю»... Астрапидес заметил, тоже смеясь и обращаясь к Дэли: «Говорят люди: турецкие дела! Можно и так сказать: эллинские дела!»

— Ба! — сказал Дэли, встав, — это-то слово я давно говорю... Именно так: эллинские дела. А молодцу вы, господин Алкивиад, все-таки помогите. Какая бы ни была, а все душа христианская.

Алкивиад обещал написать дяде письмо и послать не по почте, а с верным случаем. Сверх того он сказал, что давно и сам бы хотел побывать в Эпире у родных. Может быть, и поедет скоро; тогда на словах еще легче все кончить. Салаяни вызывался и сам отнести письмо в Эпир и переслать в Рапезу; но Алкивиад не решился дать в руки незнакомому и подозрительному человеку письмо, которое могло бы и повредить г-ну Ламприди.

Разбойники простились и ушли. Салаяни еще раз униженно благодарил афинских господ, и оставшись одни — Алкивиад и Астрапидес — опять проспорили до полуночи.

Алкивиаду несколько раз приходили на ум «английские фунты»; но он был слишком благороден и еще слишком сильно любил Астрапидеса, чтоб оскорбить его так ужасно на основании одних слухов. Он довольствовался тем, что горячо оспаривал право гражданина пользоваться всякими средствами даже и для возвышенных целей.

Астрапидес был непреклонен и повторял: «Ты увидишь, что иначе нельзя! Ты увидишь, как все будет хорошо теперь».

Правда, не прошло и недели, как те села, которые больше всех упорствовали в противном направлении, сдались на тайные угрозы и подали голоса в пользу тех, кого хотел Астрапидес.

Были при этом и угощения; вино Астрапидеса опять лилось чрез край; на дворе его гремела музыка, плясались народные пляски. Молодые афинские щеголи братались с селянами, и даже раз оба, одевшись в фустанеллы, плясали сами так хорошо (особенно лихой Астрапидес), что деревенские люди кричали им: «браво, паликары, паликары городские, браво!» Иные обнимали их.

Одно только событие отуманило это веселье. Один двадцатилетний племянник убил из пистолета своего дядю. Они заспорили о политике; племянник был сельский паликар, а дядя афинский *словесник**. Племянник обличил дядю в бесчестности; дядя вынул револьвер, но племянник предупредил его движение и сам убил его наповал.

Астрапидес в ту же ночь выслал юношу на турецкую границу, и турки приняли его хорошо; узнав, в чем он

---

* *Словесники* (логио́тате) и *чернильщики* (каламара́дес) — названия, которые дают часто в насмешку простые греки своим учителям, адвокатам, газетчикам и т. п.

виноват, они его удержали, несмотря на требования греческого номарха, говоря друг другу:

— Разве они нам выдают наших преступников? Никогда... Вот и Салаяни не хотят выдать. Мальчик этот хороший — зачем его выдавать?

Вскоре после этого Алкивиад простился с своим другом и уехал в Корфу к отцу. Чувство его к Астрапидесу стало остывать, и согласиться с ним он не мог.

Чувствуя свою вину пред зятем, он из Корфу написал сестре очень ласковое письмо, в котором просил извинения у зятя и сознавался ему, что он «в Астрапидесе ошибся».

«Больше, однако, я ничего не скажу. Это долг моей прежней дружбы и убеждение, что он лишь заблуждается, но не так виновен, как вы думаете... В такую безнравственность я никогда не поверю и потому буду молчать».

Из Корфу Алкивиад хотел было тотчас же ехать путешествовать по Эпиру; но жаль было скоро покинуть отца; он отложил поездку и написал пока письмо о Салаяни к Христаки Ламприди, в город Рапезу, в котором тот жил всегда. Христаки Ламприди был не только самый первый богач своего края, не только капуджи-баши, но дом его уважали еще в Эпире, как «старый и большой очаг».

Отец Христаки торговал пшеницей и кожами и был богат и известен самому Али-паше Янинскому. Случилось так, что Али-паша услыхал от кого-то похвалы европейским серебряным сервизам для стола; он захотел непременно иметь такой сервиз. Кому поручить? Он вспомнил, что отец Христаки имеет дела с триестскими торговыми домами, вызвал его в Янину и сказал ему: «Поезжай ты сейчас в Триест; закажи самый хороший таким франкского серебра и привези мне; а я тебе заплачу, если будет вкусен и красив!» Кто не трепетал тогда Али-паши! Убить человека всегда было в его воле; его боялись в самом Царьграде. Рассказывают, что он узнал раз, будто один консул западный пишет о злодействах его подробно в свое посольство; он призвал его к себе и сказал ему:

— Консулос-бей! Не пиши ты так худо обо мне посланнику; узнаю я, что ты еще пишешь, заплачу двум арнаутам, и они убьют тебя; а я потом схвачу их и повешу, и напишу: вот как я наказал злодеев, которые консула умертвили. И твой *эльчи* * будет рад...

Каково же было ехать купцу в Триест на свой страх покупать серебро? Он простился, проливая слезы, с семьей и уехал, среди зимы, в самое бурное время, на простом парусном судне. Серебро, однако, понравилось паше. Он заплатил за него гораздо дороже, чем оно стоило самому Ламприди, и дал в награду ему и его роду похвальный фирман. В фирмане было приказано всем и всегда уважать этот почтенный, честный и старый дом, в котором и гостеприимство издавна таково, *что и очаг никогда не гаснет, и казан в кухне всегда кипит.*

Все это Алкивиад знал и прежде, и дядю самого и сыновей его знал давно, потому что они бывали в Корфу и останавливались всегда у его отца.

В письме он не говорил, конечно, где и как он встретил Салаяни, но просил его только употребить свой вес и свое влияние, чтобы Салаяни позволили *поклониться*.** Он жалуется, что утомлен жизнью клефта и хочет, подобно стольким другим прощенным разбойникам в Турции, перейти снова в мирное гражданское житье.

Чрез две недели кир-Христаки ответил Алкивиаду так:

«Это правда, — писал он, — что многие *поклоненные* разбойники в Турции стали прекрасными и честными гражданами и живут между нами хорошо, так что и мы уважаем их. И у меня есть один приятель такой; он уже старик, торгует честно и живет богато. Но *поклониться* теперь труднее, чем было прежде: теперь в Турции гораздо более законности, и едва ли новый паша допустит Са-

---

* *Эльчи, эльчи-бей* — посланник.

** *Поклониться* — положить оружие, попросить прощения, сдаться.

лаяни поклониться; он желает переловить всех разбойников и наказать их, а не прощать.

Сверх того, любезный друг мой, скажу я тебе и про Салаяни самого, что он, может быть, теперь и утомился; но я его знаю с детства: он злой и лукавый человек, у которого ничего нет святого, и я ему не верю. Не будет сам он разбойничать, так пристанодержателем станет, что̀ иногда еще хуже. И каково же мне стать поручителем за такого изверга? И пусть он не говорит, что «турки виноваты»; виновата его злоба, а не турки. Не ему одному, деревенскому мальчику, случилось *дерева поесть** от турок, но разбойниками люди эти не стали... И офицер, которого он в грязь столкнул, отличный был человек, доброй души и вовсе не тиран. Поэтому передай Салаяни, чрез кого ты знаешь, что я для него не сделаю ничего!»

В конце письма г. Ламприди еще раз звал Алкивиада в гости к себе в Рапезу, *поесть наш хлеб* и посмотреть, как мы, *люди старинные и ржавые, живем в Османли-Девлете*.

Хотя Алкивиаду уже не хотелось писать к Астрапидесу, но делать было нечего; он желал сдержать слово и дал знать чрез него разбойнику (не называя его по имени на бумаге, а просто *тому молодцу*), что сделать для него *никто ничего не может*.

Недели через две после этого, простясь с отцом, Алкивиад сел на пароход и поехал в Эпир.

V

Алкивиад вышел на турецкий берег впервые в Превезе... В этом городе у него был знакомый доктор, родом кефалонит. Он его знал еще холостым в Корфу, встречался с ним и в Афинах.

---

* *Дерева поесть* — отведать палок, побоев попробовать.

Доктор был человек образованный, умный, очень живой и страстный ритор. Алкивиад уважал его и очень был рад встретить его в Превезе. Доктор был предупрежден о приезде Алкивиада, но сам не мог поспеть ему навстречу и выслал вместо себя на пристань двух слуг, чтоб они проводили Алкивиада до его дома и принесли бы его вещи.

Алкивиад прошел с ними около крепости, на которой развевался кровавого цвета флаг с белым полумесяцем.

Первые впечатления молодого эллина не были слишком грустные; любопытство долго заглушало в нем вопли патриотического чувства...

Городок имел вид мирный и приятный. Белые домики его весело стояли в зелени; апельсинные сады и широкие оливковые рощи проливали кроткую тень на окрестность. Народ казался бодр и опрятен: одет он был в фустанеллы, точно так же, как и в свободной Акарнании... Алкивиаду даже понравились почтенные турки-ходжи в белых чалмах.

Один из слуг, сопровождавших его, был очень разговорчив. Он сказал Алкивиаду, что он не слуга доктора, а слуга г. Парасхо из Рапезы, другого дальнего родственника Алкивиада; что г. Парасхо и кир-Христаки Ламприди нарочно выслали его в Превезу навстречу гостя. Сказал еще, что его зовут Тодори-сулиот из деревни Грацана и что у него есть для дороги хорошее оружие. Алкивиад уговорил его идти с собой рядом, и Тодори объяснял и показывал ему дорогой все, что̀ он желал знать.

На базаре, где было больше народа, путника неприятно поразил один случай... Их обогнал сперва высокий вооруженный и суровый паликар, а за паликаром шел очень гордо невзрачный, сморщенный и дурно одетый европеец в форменной фуражке... Тодори сказал ему, что это один из западных консулов. «Недавно он торговал пиявками и то секретно, потому что в Турции все пиявки царские; а теперь вот большой человек стал и консул!» Так сказал Тодори...

Алкивиад видел, что на базаре все привставали и кланялись, когда консул проходил мимо; видел, как небрежно и гордо отвечал жалкий европеец на поклоны эти... Видел и худшее. Сперва один солдат турецкий и потом один грек, продавец сластей, не успели посторониться с узкого тротуара. Кавасс консульский столкнул их обоих вниз так сильно и грубо, что солдат едва устоял на ногах, а у грека упал лоток, и все конфеты рассыпались по грязи. Могло ли это понравиться сыну свободной Греции? Почтение, которое обнаруживал народ пред вчерашним продавцом пиявок, показалось ему отвратительным низкопоклонством... вековою привычкой рабства.

Грубое обращение кавасса еще больше возмутило и удивило его.

Южный округ Эпира славится удальством, и многие из этих же самых людей, которые так покорно выносят толчки, завтра способны снова, как в 21 году или во времена Гриваса, залечь за камни с ружьем или гнать мусульман с обнаженными ятаганами по горам до самых ворот города!

Доктор встретил его на пороге своего дома, и они обнялись. Докторша сама подала ему варенье с водой и кофе, спросила его о здоровье отца и всех других родных его, которых она никогда не видала, и, исполнив этот долг, удалилась в угол и села там, не мешаясь более в разговор...

Зато сам хозяин был многоречив, и слог его речей был по-старому возвышен.

— Итак, — сказал он Алкивиаду, — вы решились взглянуть на этот рабский край? Вы хотите попрать стопами свободного эллина землю вековой неволи? Хорошо. Прекрасная мысль! Вы посетите, я не усомнюсь, славную Пе́ту, где покоятся кости филэллинов. Вы бросите, конечно, ваш взор и на развалины Никополя, на полуразрушенную баню, которую иные зовут баней Клеопатры. Обзор этих развалин поучителен не только в одном археологическом отношении. Он пробуждает в нас глубокие размышления о непрочности всего земного, о падении великих

царств, и унылое сердце грека, страдающего под ненавистным игом зверей, принявших человеческий образ, раскрывается для новых надежд.

— Это правда. Я посмотрю все это, — отвечал Алкивиад. — Скажите мне, однако, как вы живете здесь...

— Как живем? — отвечал доктор с улыбкой. — Как живут варвары? Может ли человек как следует просвещенный ожидать чего-либо от страны, в которой бедность, рабство и невежество составили между собою союз, победимый только огнем и мечом!

— Турки, как слышно, делают успехи; просвещаются и стараются привлечь к себе население. Правда ли это? — спросил Алкивиад.

Доктор презрительно усмехнулся.

— Коран и прогресс так же примиримы, как огонь и вода! — воскликнул он.

— Не обманываем ли мы сами себя? — спросил Алкивиад. — Знать истину про себя, мне кажется, выгоднее, чем обольщаться... Аравитяне доказали, что Коран и просвещение совместимы. Не следует ли бояться, чтобы турки не пошли по их следам?

— Ба! — воскликнул доктор, — можно ли аравитян сравнивать с турками? Турки слишком просты. Я приведу вам один недавний пример турецкой глупости. Года два тому назад Превезу посетил австрийский император. Я расскажу вам в мельчайших подробностях об этом событии.

Здесь доктор должен был остановиться, потому что в столовой накрыт уже был обед, и молодой гость его признавался сам, что он очень голоден.

VI

Обед доктора был хорош. Густой рисовый суп с лимоном и яичным желтком «авго̀-ле́моно», любимый на Востоке; слоеный пирог с начинкой из шпината; индейка, начиненная изюмом и миндалем, и пилав с кислым молоком.

Докторша не принимала, по-прежнему, участия в разговоре; она, беспрестанно вставая из-за стола, занималась хозяйством и угощала Алкивиада так навязчиво, что муж, наконец, сурово заметил ей:

— Перестань беспокоить человека. Есть пределы самому гостеприимству! Это становится пыткой, сударыня! А вас, кир-Алкивиад, я прошу извинить нашу эпиротскую простоту; моя госпожа — женщина древняя... не по летам, а по обычаю.

— Мы так приучены! — скромно присовокупила докторша и тоже извинилась.

Алкивиаду, который привык к свободе женской в Афинах и Корфу, не понравились ни суровость мужа, ни лицемерная стыдливость жены, и он поскорее попросил своего хозяина рассказать о приезде австрийского императора.

— С удовольствием! — воскликнул доктор. — Я расскажу вам это подробно. Однажды, ранним утром, летом 67 года, вошел в нашу гавань военный пароход под австрийским флагом. Австрийский консул, бывший здесь тогда, человек пожилой и простой, вышел из дома своего в халате и туфлях, и так как жилище его было на берегу моря, то он скоро увидал, что от парохода отделилась шлюпка с простым флагом, полная офицеров. Консул, полагая, что это простые соотечественники, начал кричать им: «Добро пожаловать!» и манить их рукой. Шлюпка остановилась пред самым домом его. Первый выскочил из нее офицер средних лет, и консул хотел рекомендоваться ему и пожать руку, как вдруг следующий офицер сказал ему: «Это его величество!» Бедный консул до того растерялся, что пошатнулся и упал бы навзничь, если бы сам император не поддержал его. Мало-помалу он пришел в себя; переоделся, принял государя у себя в доме и угощал его по-здешнему, вареньем и кофе. Отдохнув, император приказал нанять простых лошадей из ханóв, для поездки инкогнито на развалины Никополя, прежде, чем турецкие власти узнают о его прибытии. Он захотел, однако, на минуту зайти и в крепость, которая,

как вы видели, защищает бухту. И вот тут-то вы увидите, каково просвещение Турции. Полковник, который начальствовал артиллерией в этой крепости, узнал, что император уже взошел в ворота; он выбежал, как был, расстегнутый, без галстуха, в старом мундире и, кланяясь императору, воскликнул: «Так-то ты приезжаешь к нам, не подав вести вперед! Обманул ты нас. Хорошо! Постойте, и мы к вам в Вену когда-нибудь так придем! Увидишь!»

— Это не столько глупость, сколько честное простодушие военного, — отвечал с улыбкою Алкивиад. — Что ж было дальше? Какое впечатление произвело это на наш народ?

— Никакого, — отвечал доктор. — На базаре, конечно, любопытство пробудилось во многих, но одно лишь любопытство. Многие жаловались, что им помешали в этот день торговать спокойно. Совсем иное дело было, когда недавно еще прошел ложный слух о том, что на русском пароходе едет к нам из Корфу Великий Князь Константин. Тогда бы вы могли полюбоваться на стечение народа, на восторг этой толпы.

— Это грустно, — сказал Алкивиад. — Славяне и панславизм — самые опасные враги наши.

— Я говорю не о славянах, а о России; о великой державной России, которой каждый шаг на Востоке был ознаменован облегчением нашей участи! — отвечал доктор с жаром. — Если вы под славянами разумеете именно русских, то я вам должен сказать с величайшим, глубоким сожалением, что я с мнением вашим согласиться не могу! Мы все привыкли чтить этот флаг.

— В политических мнениях, — возразил Алкивиад, — безусловно должно быть одно — любовь к отчизне; остальное должно изменяться по обстоятельствам.

— Подите измените взгляд наших простых людей, — воскликнул доктор.

Разговор этот скоро прекратился, однако, потому что доктор предложил Алкивиаду свести его в Порту и представить мутесарифу. Он говорил, что это будет одинаково

полезно для них обоих. Посещение это, в котором Алкивиад должен стараться быть почтительным и понравиться паше, произведет хорошее впечатление. Оно будет значить, что человек и не скрывается, и уважает местную власть.

Алкивиад согласился охотно на это предложение, и доктор послал слугу своего к паше спросить: «в котором часу угодно будет его превосходительству принять их».

Слуга возвратился скоро и сказал:

— Когда вам угодно: хоть сейчас же!

Доктор и Алкивиад собрались идти. Желая угодить мутесарифу, Алкивиад спросил: не лучше ли надеть фрак? Но доктор осмеял его, утверждая, что паша человек старинный, фраком его не пленишь, и что длинное пальто, которое было на Алкивиаде, понравится ему гораздо более, как одежда, дающая вес и солидность.

Они пошли.

Мутесариф был родом из дальнего Берата, из *большого албанского очага*. Доктор предупредил Алкивиада, что он встает с дивана только для других пашей, для консулов и для духовных сановников: для архиерея, для кади или для еврейского хахана. И потому молодой грек без звания и положения в стране оскорбляться этою гордостью не должен.

Изет-паша точно не встал с дивана, но принял их довольно приветливо и, ударив в ладоши, на дурном греческом языке приказал принести им папирос и кофе.

— Надолго ли в наши страны? — спросил он Алкивиада.

Алкивиад сказал, что и сам не знает, что он желает только повидаться с родными... Мутесариф похвалил его за это; похвалил его рапезских родных, особенно дядю, старика Ламприди.

— Почтенный человек! — сказал он. — Старинного, большого дома! Падишах его недавно капуджи-баши сделал! И вся семья его почтенная, честная и хорошая. Старинная семья!

Но этот разговор приостановился, потому что паше подали телеграмму на турецком языке.

— Эй, море́, — закричал он сердито, — где мои очки?

Слуга надел ему очки.

Изет-паша долго смотрел на телеграмму, качая головой, и наконец воскликнул:

— Скажите! не четвероногое этот телеграфчи? Так мерзко пишет! Позовите кетиба!*

Молодой кетиб вошел в модной короткой жакетке и феске и почтительно встал перед пашой.

Паша сурово приказал ему прочесть телеграмму про себя. «Разобрал?» — спросил он.

Писарь сказал, что разобрал. «Дай мне». Опять надел очки, опять смотрел угрюмо и еще раз осыпал проклятиями телеграфчи.

— Что ж он пишет?

— Пишет, — сказал молодой писец, — что из Эллады опять перешел границу разбойник Салаяни, как видно, от преследования греческих войск.

— Хорошо! они преследуют, а мы убьем его! — сказал паша и потом, снова обращаясь к писцу, спросил у него: — Какая это на тебе одежда?

— Одежда моды, — смиренно кланяясь, отвечал писец.

— Одежда моды? — грозно воскликнул Изет-паша. — И ты смеешь являться предо мной в этой обезьяньей одежде? Разве не имеешь ты низамского сюртука, который назначен для службы? Европа, франки свели вас с ума!

— Я к вали-паше так ходил, паша-эффендим, извините меня! — дрожа оправдывался писец.

— Вали-паша не выгнал тебя по великой доброте своей, а не по закону. Ты *меймур*** и должен знать и *меймурлик* свой. Иди вон!..

---

* *Кетиб* (по-турецки) писец.

** *Меймур, меймурлик* (по-турецки) чиновник, чиновничество.

Когда писец, смущенный и растерянный, оставил комнату, Изет-паша обратился к гостям своим и сказал им:

— Это они считают политичностью и образованием. Эта мода — гибель для всех нас.

— Вы говорите истинную правду, паша-эффенди, — воскликнул доктор. — Мода всех нас, восточных людей, сводит с ума, и мы от Европы принимаем лишь одно дурное, разврат и роскошь!..

С этими словами доктор хотел встать и проститься, но Изет-паша удержал их, говоря, что дел спешных теперь нет и он рад побеседовать. Он велел подать еще кофе и сигары, себе спросил чубук и повеселел.

Он много расспрашивал Алкивиада про Афины и Грецию; жаловался на разбои в обеих пограничных странах и сказал, наконец, нечто такое, что вызвало со стороны Алкивиада немного живой ответ.

— У вас держится разбой, — сказал паша. — Когда бы мы жили всегда в согласии и дружбе, как добрые соседи, так этому худу давно бы положили конец...

— Ваше превосходительство, извините меня, — сухо возразил Алкивиад, — если я не соглашусь с этим. Правительство наше конституционное и по этому одному иногда не может так легко и скоро наносить удары беспорядку, как могло бы правительство самодержавное, как ваше; если бы... обстоятельства, которых я не знаю и не сужу, не противились бы этому.

— Что̀ он говорит? — спросил Изет-паша у доктора, — он говорит уж слишком по-эллински, и я таких высоких слов не понимаю.

— Он надеется, — сказал доктор по-албански, — что такое могущественное, самодержавное правительство, как правительство султана, скорее эллинского достигнет этой цели, и не хвалит конституцию.

Паша подозрительно поглядел на доктора и сказал:

— Это правда. Это он хорошо говорит. Я старинного эллинского языка не знаю. Но люди, которые знают его, хвалят и говорят, что в нем много премудрости и сладости.

Доктор перевел полуалбанскую, полугреческую, полутурецкую речь паши своему спутнику, и они простились с пашой.

Паша сказал Алкивиаду, чтоб он не уезжал в Рапезу, не простившись с ним, что он хочет еще поговорить с ним и дать о нем похвальное письмо рапезскому каймакаму, «чтобы тот *на него хорошо смотрел*».

VII

Алкивиад на другой день рано уехал верхом взглянуть на развалины Никополя.

Доктор спешил с утра к больным и сокрушался, что не мог сопутствовать ему. Сначала Алкивиад пожалел об этом, но потом утешился. Мечтать и думать было приятнее одному на зеленой равнине, где между морем и заливом стояли развалины.

В стране, которую посетил теперь Алкивиад, каждый шаг многозначителен для грека. Куда ни обращался его взгляд, все пробуждало здесь великие воспоминания. Мыс Акциум, где бились Антоний и Октавий Август, был недалеко. С горестью вспомнил Алкивиад о том, что эти грозные римляне были учениками древних греков и что орлы римские разносили когда-то греческий ум и греческий вкус во все края света. Почти содрогаясь от гордости и горя, вспомнил он один лишь случай из жизни греко-римского міра. Он вспомнил, как гонец принес парфянскому царю голову Красса, разбитого Суреной, и застал своего царя вместе с царем армянским за ужином. Оба царя любовались на актеров, которые представляли в эту минуту трагедию Эврипида. Гонец вошел. Раздались вопли торжества. Актеры умолкли. И голова старого римского полководца пала к ногам восточных царей.

В диких горах Армении цари наслаждались тогда Эврипидом! А теперь?..

Не в Акарнании, как пророчил ему Астрапидес, а здесь предстала ему тень Чайльд-Гарольда.

«О, прекрасная Греция! плачевный обломок древней славы! Тебя нет, и, однако, ты вечно бессмертна!

Кто будет ныне вождем твоих сынов, рассеянных по лицу земли? Кто изменит привычки столь долгого рабства?

Сердце тоскует по родине, когда нежные узы соединяют его с родительским кровом, сердце живет счастливо у домашнего очага... Но вы, одинокие странники, посетите Грецию и бросьте взгляд на страну столь же грустную, как и вы сами. Греция не внушит вам веселых мыслей!

Посетите эту священную страну, эти волшебные пустыни! Но щадите эти обломки; пусть рука ваша чтит этот край, и без того ограбленный многими!»

Продолжая размышлять и мечтать, Алкивиад приблизился к той развалине, которую зовут баней Клеопатры. Название это, конечно, не верно, ибо Никополь (город победы) был построен Августом и назван им так после гибели Антония и Клеопатры. Здание это не велико, и развалины его не имеют ни величия, ни изящества. Есть простые турецкие бани, которые гораздо больше и красивее. Алкивиад мало знал археологию и думал обо всем этом как простой путешественник. Он присел отдохнуть в тени этой развалины и только в ту минуту заметил, что неподалеку от него, около разрушенных ворот, стоят два оседланные мула. Слуга доктора разговаривал, сидя на траве в тени, с другим мальчиком в простой албанской одежде. Немного подальше стояли пред стеной два монаха; один из них, седой, показывал что-то руками, а другой, черноволосый, еще молодой и очень стройный, записывал в книжку карандашом.

Алкивиад подошел к ним, и они познакомились. Седой монах сказал, что он игумен одного из монастырей около Рапезы, а молодой, которого выразительное лицо сразу понравилось Алкивиаду, назывался отцом Парфением и был в этой стороне проездом из Македонии.

Окончив свой осмотр, монахи предложили Алкивиаду разделить с ними завтрак в тени развалин.

Алкивиад согласился с радостью, слуги принесли сыр, хлеб, хорошее вино и апельсины, и скоро разговор оживился.

Седой монах, отец Козьма, казался стариком простодушным, но отец Парфений был крайне осторожен и тонок. При всей живости своей и свободе обращения, полной достоинства, он старался больше выспрашивать Алкивиада, чем отвечать ему. Об одном только он говорил про себя охотно: о своих археологических занятиях. Заметки его были очень интересны, но Алкивиаду хотелось иного, и он прямо сознался, что «*новости* предпочитает *древностям*».

— Имеют и древности свой вкус, — улыбаясь отвечал отец Парфений, — особенно, когда настоящее не занимательно, а будущее темно.

— Будущее хоть и темно, однако всегда занимательно, — возразил Алкивиад, — особенно для народа, который не имеет настоящего.

— Что-нибудь одно, — сказал монах (и все с улыбкой), — если народ существует, он не может быть без настоящего... если же у известного общества людей нет народного настоящего, в каком бы то ни было проявлении, то нет, значит, и народа... А будущее известно лишь Творцу вселенной. Не так разве?

Улыбки отца Парфения казались Алкивиаду насмешливыми, и речь его, ясная по смыслу, но темная по намерению, раздражала любопытство и самолюбие... Алкивиад дал себе слово, что заставит монаха высказаться откровеннее. Он видел, что пред ним не простой поп, а человек просвещенный и, казалось ему, необычайно даровитый.

— Я настоящим для народа не зову жалкое прозябание под игом! — воскликнул он.

— Кто же прозябает и под каким игом? — спросил отец Парфений. — Если вы говорите о турецком правительстве, то я не знаю, можно ли назвать игом власть,

которая в последнее время сделала столько успехов и которая уже почти сравняла всех своих подданных в правах. Не пора ли оставить эти слова без смысла и содержания, взглянуть на дело взором чистой логики и назвать, как говорится — *корыто корытом*, а *смокву смоквой*, а не камнем или еще чем-нибудь иным?.. Не пора разве?

— Я не понимаю, что̀ вы хотите этим сказать, — ответил Алкивиад. — Я понимаю одну и очень простую вещь, вот она: Эпир, Фессалия, все острова, Константинополь и Македония, по крайней мере, должны принадлежать грекам.

— Простая мысль! поистине простая! — воскликнул отец Парфений и засмеялся громко.

Потом прибавил еще:

— И Фракия, и Фракия, если позволят обстоятельства.

Отец Парфений встал и, обратясь к старому игумену, спросил:

— Что̀ вы, старче, о чем мыслите?

— Силы нет, силы! — отвечал старик, вздыхая.

— А охота есть? — спросил отец Парфений.

— Как не быть охоты веру свою в торжестве и силе видеть, — сказал старик.

— Греческая только эта вера, старче, или есть и еще православные? Нет ли каких еще сербов или татар ногайских крещеных в нашу святую веру?..

— Есть! Как же? одна Россия считает ныне более 70-ти слишком миллионов... Господь Бог простер благодать Свою над православною державой. Как же, как же! Есть много православных на свете...

Отец Парфений на это ничего не ответил и опять спросил, смеясь, у игумена:

— Так охота есть, старче? Силы нет? Так ли?

— Так, конечно так.

— Тихие воды опасны и бездонны, старче! Ты тихий и опасный человек; но я тебе скажу, что и охоты иметь не следует, той охоты, о которой ты говоришь...

— Бог даст! Бог все даст! — кротко заметил на это старичок, и монахи, простясь с Алкивиадом, уехали.

Молодой Аспреас, размышляя, шагом тоже вернулся в город. Отец Парфений показался ему очень занимательным, и он желал бы опять встретиться с ним.

Доктора не было еще дома, когда он возвратился, и ему пришлось беседовать с докторшей.

Что̀ было с ней говорить! Она была со всем согласна, и если и возражала, то так нестерпимо и до того уж просто, что Алкивиад чуть не возненавидел ее...

Всякому немного новому слову она удивлялась; шутка почти пугала ее; похвала чему-нибудь местному возбуждала в ней очень глупый смех.

Когда, например, Алкивиад, на вопрос докторши, не устал ли он от прогулки в Никополь, сказал ей смеясь, что такой побродяга, как он, не может легко устать, докторша испугалась и воскликнула: «Ба, ба, ба! Что̀ вы говорите! Как может молодой человек такой хорошей фамилии быть побродягой! Это только простые сельские люди, варвары, не устают!»

— Хорошо, пусть буду и я варвар! — шутя ответил Алкивиад.

Докторша еще больше растерялась и закричала пронзительно.

— Ба, ба, ба! Может ли молодой человек, воспитанный в европейских городах и благородной семьи, быть варваром!

«Какая глупая, безвкусная женщина!» — подумал Аспреас.

Случилось ему заметить, что белая чалма турецкого духовенства придает много и красы и величия лицу. Докторша засмеялась и сказала:

— Это вы шутите! Разве чалма может быть красива? Сказано — турецкая вещь!

— Отчего же? Мы не за безобразие браним турок, а за другое, — возразил Алкивиад, пробуя хоть как-нибудь пробудить искру мысли или вкуса в этой женщине...

— Это правда! — сказала докторша.

Помолчав немного, она сама решилась предложить гостю один вопрос... Вопрос этот давно пожирал ее душу; предложить его она считала (как и все ее соотечественницы) долгом вежливости, долгом хорошего воспитания и просвещенного ума. Но живость Алкивиада и его странная (в глазах эпирской дамы) манера, — без всяких вопросов о здоровье и заметок о погоде начинать, взойдя в комнату, шумно и скоро говорить о чем попало, — сбила ее совсем с толку. Наконец она выбрала минуту и спросила:

— Как вам нравится наше место?

— Городок ваш имеет очень приветливый и веселый вид, — сказал Алкивиад.

— Это происходит от вашей доброты! — ответила докторша. — Такой ответ обязателен, когда дело идет о похвале чему-нибудь близкому нам... Доброта, значит, ваша делает вас снисходительным к недостаткам людей и страны.

Алкивиад, наконец, с досадой спросил ее:

— Скажите мне, я вас прошу: отчего женщины здесь так не развиты и не смелы?

— Турция! — сказала хозяйка.

— Извините меня! — воскликнул с сердцем гость. — Чем же турки виноваты, что наши женщины не развиты... В эти дела они не мешаются.

— Так у нас уже исстари ведется. Школ также для девиц мало... Одна школа девичья у нас есть в Превезе. Ее поддерживает русская Государыня!

Алкивиад прекратил разговор, запел итальянскую арию и вышел на балкон.

Море было спокойно; флаги консульств и турецкий на крепости веяли тихо. С какою тоской взглянул молодой патриот на голубой крест греческого флага, который колебался ближе всех к балкону доктора.

«Бедный родимый флаг! Когда бы цвета твои, белый и голубой — символ чистоты и постоянства — красили точно душу эллинов! Когда бы все патриоты наши, от

Кипра до Балкан, были так чисты и бескорыстны в желаниях своих, как чист и бескорыстен я в своих мечтах... Да, я люблю мою родину лишь для нее самой, для ее величия и славы... Величие и слава! Несчастный народ! К кому примкнешь ты в будущем? На чью бескорыстную помощь ты можешь надеяться? Слабое племя в четыре миллиона — что̀ будешь значить ты при всей тонкости ума твоего, при всей безумной отваге твоих сынов, при всем их трудолюбии, когда вокруг тебя теснятся и растут великие царства? И, если один какой-либо из великих народов Европы протянет нам братскую руку, будет ли это страх и сознание нашей греческой силы? Нет! Это будет милость льва, а не самобытное величие и слава эллинского народа, себе лишь одному обязанного, собой живущего, гордого и опасного всем другим!»

VIII

Собираясь в Рапезу, Алкивиад надеялся увидать еще раз отца Парфения; он спрашивал о нем доктора, но тот не встречал его и не слыхал даже его имени.

Перед отъездом доктор свел его еще раз к паше.

Мутесариф в этот день был весел. Он принял их радушно, говорил Алкивиаду *ты* и много смеялся.

— Мы тебя женим в Эпире! — сказал паша. — Э, доктор, женим его?

— Постараемся, постараемся.

— Я уж для твоего *хатыра*, сын мой, — сказал паша, — и глаза закрою на то, что ты греческий подданный. Если возьмешь девушку райя, я ничего не скажу! Веди ее со всеми комплиментами по улице и с музыкой, я твоего тестя в тюрьму не посажу. А ведь девицы, я думаю, доктор, ваши на такого красивого паликара все смотрят сквозь щелки; как идет он по улице, теперь все бегут к окнам.

— В Рапезе есть для него невесты, — сказал доктор. — Лишь бы взял.

Паша потрепал по плечу Алкивиада и даже погладил рукой его свежие щеки. Алкивиад краснел, но не сердился. Ему казались эти ласки скорее забавными, чем оскорбительными.

Они просидели у паши долго и не без пользы. Алкивиад узнал многое об албанцах, с духом их еще Астрапидес советовал ему познакомиться ближе.

Расхваливая наружность Алкивиада, паша заметил, что маленькие уши издавна считаются признаком хорошего рода.

Доктор, желая польстить хозяину, сказал Алкивиаду:

— Вот и наш паша из *большого очага*, один из первых домов Албании; он в этих приметах должен быть знаток.

— Что̀ значит, брат, ныньче большой очаг Албании! — воскликнул паша. — Аристократия наша не имеет прежней силы.

— Однако! — сказал доктор.

— Не говори ничего! — возразил паша. — В Стамбуле есть великие головы! Кто думает, что теперь то, что̀ прежде было, тот осел! Послушай меня. Точно, было время, мы, албанские беи, приказывали туркам цареградским, и они боялись их. Хотели беи бунтовать, бунтовал и народ. Молодцов и теперь у нас, друг мой, много, да молодцы эти в царском войске служат. К порядку привыкают... Беев наших тоже разместили хорошо. Говорю я тебе, ты меня послушай, в Стамбуле умные головы есть. Смотри, я мутесариф здесь; в Рапезе каймакам — албанский бей. В Берате мутесариф из нашего большого очага. Жалованье большое; почет большой; власть большая, ты знаешь. Кто же нам скажет: «тревожьтесь, заводите смуты!» А кто и скажет, мы тому ответим: пусть голова твоя, осел, высохнет, мне и так хорошо! А народ без нас, ты сам знаешь, что̀? Теперь времена такие, что двое заптие, которых начальство пошлет, целую деревню арнаутов как овец пригонят сюда на расправу. И хорошо, друг мой, думают в Константинополе! Азбуки у нас нет; турецкими буквами хотят ныньче албанские слова писать, чтоб учить нас. Благоразумно это, эффенди

мой, очень благоразумно! Веру, ты скажешь, мы прежде не знали хорошо. И я скажу тебе: правда это, друг мой, но погляди!.. Имин-бей своих детей в Стамбуле обучил; Нурредин-бей ходжу ученого в дом взял; — тот взял ходжу, другой к ходже сына шлет... Веру узнают люди. Вот тебе об Албании мое дружеское слово!

— И у гегов в северной Албании так? — спросил Алкивиад.

— О гегах, сын мой, я мало знаю, — отвечал Изет-паша. — Я говорю про здешних, а там что̀ делается, знает Бог да падишах с Аали-пашой... Нам до этого и дела нет...

— Что̀ ж! — заметил доктор. — Это хорошо; это обеспечивает спокойствие империи. — Надо, чтобы все довольны были, тогда все пойдет к наилучшему.

— Все, друг мой, довольны быть не могут. На недовольных и сила у султана есть...

Алкивиад вынужден был слушать все эти горькие вещи скрепя сердце.

Глаза Изет-паши смотрели на него зорко...

На прощанье паша опять, забыв государственные вопросы, поласкал юношу, пошутил с ним и пожалел, что скоро Байрам, а то бы он дал ему заптие проводить его до Рапезы.

— А то видишь, сын мой, жалко людей для праздника в путь отправлять. Ведь и они люди.

Алкивиад благодарил и сказал, что он и один доедет.

— Разбойников не боишься? — отечески спросил паша.

Алкивиад покраснел и сказал:

— По крайней мере, как эллин, я не должен никого, даже бо́льших, чем разбойники, бояться!

— Молодец! Люблю молодцов! — воскликнул паша. — И то сказать: ведь вы там с разбойниками в Элладе хорошо живете. Привыкли — свои люди...

— Свои и для своих, хоть и разбойники, а все лучше чужих, ваше превосходительство, — заметил Алкивиад...

Лицо паши омрачилось, и он угрюмо сказал:

— Э! Добрый час! Добрый час вам!

Гости ушли.

За первым же углом доктор осмотрелся и сказал Алкивиаду вполголоса:

— Какова лукавая тварь? С величайшею простотой-с... А?

— Да, — отвечал, вздыхая, Алкивиад. — Печально это слышать, если только это верно.

— Верно, ясно как свет солнца, — продолжал доктор. — Южные албанцы входят постепенно более и более в поток турецких вод, и одна лишь сила оружия, — удача христиан на поле брани, удача, друг мой, которая могла бы отрезать жителей южной Албании от военных подкреплений из Битолии, Константинополя и т. д. И разве, при этом скажем, верные обещания самобытности могли бы обратить их, дать иное направление их идеям, если можно назвать идеями жалкие подобия мыслей, которые могут пробегать по этим варварским мозгам... Таково мое скромное, посильное мнение, друг мой. Я человек не политический; сужу по мере сил моих и не позволю никогда моим патриотическим чувствам и надеждам ослепить мой разум...

— Это грустно, — сказал Алкивиад, и они оба молча возвратились домой.

На следующий день Алкивиад и Тодори уехали. Доктор достал для Алкивиада хорошую лодку до места, которое зовется Салогоры; от Салогор же до Рапезы они должны были ехать верхом. Докторша припасла им на дорогу пирог, жареного барашка и две бутылки вина.

IX

Зимний день, в который Алкивиад Аспреас выехал из Превезы в Салогоры, был тих, и широкий залив стоял зеркалом. Гребцы гребли хорошо. Алкивиаду было весело, и он вступил в разговоры со слугой г. Парасхо. Они говорили долго о турках, о разбойниках, о том, как живет

народ. Алкивиад и в словах слуги этого нашел много поучительного. Тодори был сулиот и не уважал ремесленников: разбойники в его глазах были лучше.

— Разбой нельзя уничтожить, — сказал он. — Разбойники эти благословенны Богом. *Бандиты** городские Богом не благословенны; поссорится один бандит с другим и убьет, это великий грех. А разбойник действует по правде; он захватит богатого купца или бея и потребует выкуп. Зачем же родным не дать выкупа? А разбойники всегда должны на церкви, на монастыри или на школы, или на бедных часть денег своих отдавать. Они так и делают. Разбой благословение Божие имеет, и гораздо лучше христианину хорошему быть разбойником, чем хоть бы столяром, потому что столяры Христом прокляты. А проклял Христос столяра за то, что однажды шел Христос, встретил столяра и спросил его: «Что̀ ты несешь в своем фартуке?» Столяр нес деньги и солгал, сказав: «Опилки несу». — «Носи же ты всегда опилки и богат никогда не будь». Прокляты также пастухи коровьи. Посмотрите на пастуха овечьего, как он покоен! А коровий пастух никогда не спокоен; коровы бегают туда и сюда, и он бегает за ними и собирает их. Прежде ему было лучше, прежде коровы паслись смирно, а пастух сидел на стуле и на свирели играл. Попросил Христос напиться у коровьего пастуха: не дал ему тот воды, и наказал его Бог; а разбойника, когда был распят со Христом, благословил Бог, сказав ему: «Ты благословен Мною», за то, что разбойник спрятал гвоздь, который евреи хотели в сердце Христу вбить, и евреи не могли его найти.

Кончив свой рассказ, Тодори обратился к гребцам и спросил у них:

— Правду я говорю, дети?

— Правду! — отвечали гребцы.

---

* *Бандитами* зовут иногда в Эпире бедных горожан-ремесленников, потому что они вообще очень бойки, смелы и охотно берутся за нож. Архонты не любят их и боятся.

— Не Божье благословение спасает разбойников, Тодори, — сказал Алкивиад, — а нерадение турок и наши эллинские несогласия.

— Турки! Что̀ могут турки сделать! Турки ничего не сделают... Турция пропала и совсем погибнет скоро.

— Ты думаешь? — спросил Алкивиад. — А я думаю, что теперь турки поправились и гордее стали после того, как критские дела кончились. Положим, что их франк держит, однако, все-таки нам теперь труднее стало.

— Нет! — воскликнул Тодори. — Сколько они ни гордись, а вся сила Турции к русским после Крымской войны перешла. Разве вы не знаете, что̀ русские с ними сделали. Приехал в Константинополь Великий Князь Константин, нашей Ольги отец, и привез султану в подарок богатые часы, с четырьмя золотыми минаретами по углам. Султан очень обрадовался и не знал, как отдарить его. Призвал патриарха и спросил: скажи мне, старче, что̀ дать в подарок Великому Князю? Патриарх сказал: есть древний крест, зарытый в землю. Дайте ему этот крест, и как он одной веры с нами, ему это будет приятно. Велел отрыть султан крест и отдал Константину. Великий Князь, как только взял крест, так сейчас сел на пароход и уехал. Сказали султану, что с крестом этим и вся сила Турции уйдет; испугался он и послал догонять Князя и просить назад крест, что это по ошибке дали. Да где уж! Что̀? разве русские своей выгоды не знают? Князь не отдал креста, и с тех пор, что̀ ни сделает Турция, все не к добру, а к худу ее ведет. Так и пропасть ей, анафемской, скоро!

Не желая разрушать веру людей в слабость Турции, Алкивиад сказал:

— Это правда, я и сам слышал об этом. Только разбойники Богом не благословенны, это, Тодори, неправда!

— Это верно, — сказал Тодори.

Долго еще они разговаривали; Алкивиад расспрашивал его еще о семье своего дяди Ламприди, о Салаяни и Дэли.

Господина Ламприди, жену его и всю семью их Тодори очень хвалил; но смеялся только одному, что господин

Ламприди боится Салаяни и по делам своим даже никогда теперь в свои чифтлики ни сам не ездит, ни сыновей не посылает. И прежде боялся, а теперь Салаяни погрозился, что он его в самом городе схватит.

— За что-то сердится на него Салаяни, — сказал Тодори.

Алкивиад знал, за что̀ Салаяни сердит на его дядю.

Веселый и интересный разговор, однако, продолжался не слишком долго. Море стало волноваться; загремел зимний гром. Дождь полился рекой, и сами гребцы сознались, что есть опасность. Лодка была мала; парус сняли, чтобы ее не опрокинуло, и на одних веслах боролись долго с волнами. Темнело все больше и больше; до песчаного берега было близко, но до Салогор ехать было гораздо дальше; тонуть без нужды никому не хотелось, и сообща все решили пристать где придется к низкому берегу.

Лодочники вытащили с большим трудом и по колена в воде лодку на песок, чтоб ее не снесло; и Тодори, и сам Алкивиад помогали им сколько было сил; расплатились, оставили их одних на берегу и пошли пешком. Алкивиад с радостью узнал, что всего на один час с небольшим ходьбы от берега стоит монастырь, в котором игуменом тот старый и добрый монах, которого он видел вместе с отцом Парфением на развалинах Никополя.

Алкивиад и Тодори, вышедши на берег, долго шли по грязи и с большим трудом отыскали дорогу в монастырь. Гроза скоро прекратилась; но дождик продолжал идти, и ночь приближалась.

Несколько раз Алкивиад останавливался вздохнуть и садился на камни. Тодори заботился о нем и подстилал ему всякий раз свою бурку, чтобы он не простудился, сидя на камнях.

Так, отдыхая и опять пускаясь в путь, прошли они около часу; до монастыря было уже недалеко.

Людей они долго не встречали. Только не доходя получаса до монастыря, поравнялся с ними один поселянин в бурке. На голове его был надет башлык от дождя.

— Добрый час! — сказал он.

Путники поблагодарили его.

— Куда идете? в Рапезу? — спросил поселянин.

— Пока в монастырь; а там завтра в Рапезу, — сказал Тодори. — А вы куда?

— Я тут поблизости в селе был.

Тодори нагнулся и, всмотревшись в лицо поселянина, сказал ему смеясь:

— Я вас не узнал. Давно не видались. Ну, как проводите время?

— Как проводить! — отвечал со вздохом поселянин, — какую жизнь мы влачим — сам знаешь!

— Жизнь тяжелая! — согласился и Тодори.

Прошли еще немного молча.

— Все дожди, — сказал поселянин.

— Дожди ничего в такое время, — отвечал Тодори, — не было бы мороза. Простоит мороз, все лимоны и апельсины пропадут.

— Это правда, апельсины пропадут; а лимоны еще нежнее. Лимоны от холода скорей апельсинов пропадают, — заметил поселянин.

Монастырь был уже близко, и из одного окна чрез стены светился приветливый огонь.

Поселянин простился с Тодори.

— Не зайдете к игумену? — спросил его Тодори. — Я думаю, теперь у него нет народу.

— Не могу, пора домой, в село... — отвечал поселянин, еще раз пожелал Алкивиаду «доброго часа» и удалился.

Когда он исчез в темноте, Тодори тихо сказал Алкивиаду:

— А знаете кто это? Это разбойник Салаяни.

Алкивиад, несмотря на всю свою смелость, немного испугался.

Хорошо сказал паша: «в Элладе разбойники „свои люди", знаешь их обычаи, их дух, знаешь и местность»... Иное дело видеть Дэли в доме Астрапидеса; иное дело

стоять здесь, в Турции, ночью, в грязи, под дождем и без оружия и знать, что Салаяни недоволен им. Разве он не может вернуться чрез полчаса с десятком товарищей и осадить монастырь? Он бы мог спросить об этом у Тодори, но стыдился обнаружить пред ним свой страх.

Тодори был не только спокоен, он даже повеселел от встречи с разбойником и смеясь сказал Алкивиаду:

— Постращать надо старичка игумена, что Салаяни кругом монастыря ходит. Салаяни на него сердит. С месяц тому назад пришел он с двумя людьми вечером к монастырским стенам и стал звать игумена. Подошел игумен к окну, а Салаяни снизу кричит ему: «Дай, старче, десять лир турецких, на целый год тебе покой будет от нас». Игумен не испугался, потому что стены высоки и народу у него тогда собралось в монастыре к празднику человек пять-шесть. «Не дам», — говорит. — «И ночевать не пустишь, старче?» — «Не буду я вас укрывать никогда. Добрый час вам! Тащитесь своей дорогой». Вот Салаяни и ушел. С тех пор, говорят, в чортов список игумена записал. Постращаем старичка.

На стук наших усталых путников в ворота долго не отвечал никто. Только собаки лаяли и рвались им навстречу.

После долгих расспросов: «Кто вы?» «Что̀ хотите?» «Какие вы люди?» служка монастырский отворил им дверь, и сам игумен-старичок с радостью повел Алкивиада наверх. Сейчас в большой комнате затопили очаг; сняли с Алкивиада грязные сапоги, принесли ему туфли, и он с радостью лег на широкий турецкий диван, у самого огня. Игумен долго бегал везде сам, доставал варенье, смотрел, чтобы скорее варили кофе для гостей, и Алкивиад оставался долго один, размышляя о Салаяни и спрашивая себя: «Зачем же он ему не открылся? Вероятно, он сердился на него за то, что Алкивиад не сумел выхлопотать ему от дяди прощение».

Наконец, пользуясь тем, что игумен на минуту присел около него, он рассказал ему свою встречу с разбойником

под стенами монастыря, не показывая, разумеется вида, что он виделся с ним прежде в Акарнании.

— Тодори его узнал, — сказал Алкивиад.

Игумен, вздохнув, воскликнул с негодованием:

— Великая язва, кир-Алкивиад, для нас этот разбой. Все хуже и хуже. Ни за овцу, ни за осла (извините!)*, ни за свою собственную жизнь человек не спокоен... Не смотрит правительство наше как следует; генерал-губернатор новый хорош, умный человек и деятельный, но сказано, что одна кукушка еще не весна... Бедный, и он не поспевает везде. Этот изверг Салаяни бич Господень на человечество. Великий злодей и бесчеловечен он, государь мой, хищный зверь во образе человека! Знавал я в мою долгую жизнь многих разбойников; но у многих была хоть какая-нибудь совесть. Вот был прежде Шемо, его поймал Хусни-паша и казнил. Этот Шемо от добычи уделял на церкви, на школы, на монастыри; к бедным был щедр. А у Салаяни ничего нет священного. Хищный зверь во образе человека. И давно бы ему погибнуть, если б от страха, а иные от собственного варварства, не спасали его крестьяне... Они одни могут предать его в руки власти... А вали сам по себе его не поймает... Это верно!

Алкивиад потом стал расспрашивать игумена о его собственном образе жизни и о том, чем держится монастырь.

Старик рассказал ему, что монастырь получает от стад и небольших посевов около 15 000 пиастров в год. Имеет сверх того старинную грамоту, века два тому назад данную Россией, и от времени до времени получает из Петербурга небольшую сумму. Были из Валахии прежде доходы «преклоненных» монастырей, да бесчеловечный Куза, «да будет он во веки проклят», посягнул на эту собственность, и одна надежда наша и есть лишь на Россию, которая, Бог даст, отстоит хоть что-либо для бедных греков.

— Все-таки есть доходы и теперь: вероятно, есть и приношения, — сказал Алкивиад.

---

* Слово *осел* считается непристойным.

— Половину дохода отдаем на соседние школы, — отвечал игумен. — А приношения? Какие у нас приношения? Благочестия ныньче нет, государь мой! Денег в монастырь не несут люди... Это не то, что̀ в России! Там видите вы и благочестие. Я ездил в Россию и видел благоденствие этого края! Там существует благочестие. И стоит русский в церкви иначе, чем стоит грек... Видел я и посланника русского в Афинах, видел, как он стоит в церкви и как наши эллинские министры стоят. Иначе стоит русский посланник, иначе стоит наш министр. Когда бы вы могли видеть благолепие храмов и богатство монастырей в России! Словом, иное устройство. У нас здесь, видите, все по одному игумену в каждом монастыре, и редко где два-три человека есть. А там монастыри многолюдны, и не могу изобразить вам отраду для православного человека, когда видит он этот неизмеримый край, который Бог сохранил для нашего спасения... Поверьте мне, даже земля там иная: у нас, в Турции, все горы и камень, как проклятие какое-нибудь над этим диким местом! А там и месяц едешь, ни одной горы не увидишь...

— А болгарский вопрос? — спросил Алкивиад.

Игумен рассмеялся и встал, говоря:

— А вот я посмотрю, если не спит отец Парфений, он о болгарском вопросе говорит иначе... Он ведь болгарин, вы это знаете!

Алкивиад очень обрадовался что занимательный отец Парфений здесь, и дремота, которая начала было одолевать с дороги и отчасти от скуки с простодушным игуменом, пропала вовсе, и он желал теперь только одного, чтоб отец Парфений пришел.

С игуменом, Алкивиад полагал, и спорить не стоило, он, как отец, скажет: «мы греко-российской церкви поклоняемся, сын мой!» Отец Парфений был иное, и так как теперь открылось, что он болгарин, то еще занимательнее. Настоящих болгар Алкивиад встречал очень редко, и ни с одним из них не случалось ему коротко знакомиться. Он знал только несколько студентов из Македонии, которые

учились в Афинах, но в Афинах они казались самыми пылкими греками, и лишь позднее с большим удивлением и горестью узнавал разными путями, что многие из них вернулись в болгарские страны и из пылких греков стали исступленными болгарами. Неблагодарно (по мнению Алкивиада) и не благородно употребляют против эллинизма те силы, которые дала им эллинская образованность.

«Посмотрим, что̀ скажет он про болгарский вопрос!» — думал Алкивиад и с нетерпением стал даже ходить по комнате.

Отец Парфений не спал: он и сам хотел прийти побеседовать с нечаянным гостем монастыря, но боялся обременить его, усталого от трудного пути.

Когда отец Парфений вошел, Алкивиад первым делом поцеловал его руку, чтобы снискать благосклонность умного монаха и из другого деликатного чувства... так как отец Парфений был болгарин.

Молодой монах, казалось, был тронут этим вниманием; он поцеловал Алкивиада и не скрывал, что тоже очень рад его видеть.

Сидя около камина, они долго улыбались приветливо друг другу и расспрашивали друг друга о ничтожных предметах.

Мало-помалу Алкивиад добился своего: он заставил отца Парфения говорить о болгарском вопросе и о греках.

— Я не знал, поверьте мне, что вы болгарин, — сказал ему Алкивиад. — По лицу вашему, столь оживленному и, простите мне этот комплимент, столь красивому — я думал, что вы грек.

Отец Парфений засмеялся и отвечал:

— Комплимент ваш был бы выгоден для меня, если б я был мірянин. А теперь он имеет более оскорбительное для болгарства, чем приятное для меня значение. Неужели вы думаете, что все болгары похожи на готтентотов или на каких-либо зверей? А я вам на это скажу, что не знай я, что вы грек, я вас бы принял за южного славянина. У вас в физиономии нечто сладкое и кроткое, чего нет у боль-

шинства ваших соотчичей... Лицо есть зеркало души. Болгарин добр и прост; грек лукав и жесток.

Алкивиад и на это отвечал в том же духе.

— Колко для народности, любезно для лица. Признаюсь, если все болгары простодушны, как вы, так для нас пропала не только Фракия, но даже и Македония! Одна моя надежда, что таких, как вы, немного везде.

— А тем более у бедных болгар! — воскликнул отец Парфений. — Хорошо, пусть будет по-вашему: принимаю ваши похвалы мне в ущерб моему народу... Надежда нашего бедного, угнетенного народа на слова Спасителя: «Первые будут последними и последние будут первыми»!

Так завязался разговор о болгарском вопросе. Молодые люди, монах и политик, проспорили за полночь. Игумен ушел гораздо раньше, и давно уже в монастыре спали, когда они простились и разошлись.

Спор вышел такого рода, что Алкивиад, союзник Турции, был вынужден нападать на нее, а отец Парфений защищал и Порту и даже турецкую нацию. Алкивиад раз или два даже склонялся в пользу России (диалектическая ловкость монаха довела его до этого), а славянин, не относясь к России с явною враждой, жалел, однако, и осуждал русских за их излишнее потворство патриархии. Монаху приходилось не раз отстаивать народность против церкви, деисту же и политику-демагогу — защищать церковь против народных посягательств.

Вопрос этот Алкивиад знал, конечно, хуже монаха, и отец Парфений старался долго и напрасно доказывать ему, что Россия поддерживает скорее патриарха, чем болгар.

На этом они расстались.

На другое утро Алкивиад и Тодори выехали на монастырских лошадях по дороге в Рапезу. Вчерашние облака рассеялись, солнце грело, и игумен с отцом Парфением провожали их больше часа. Присели проститься и отдохнуть; игумен выложил на коврик хлеб и хороший сыр для гостя; выпили и вина за здоровье друг друга;

Тодори тут же развел огонь и сварил на нем кофе. Отец Парфений дружески глядел на Алкивиада и наконец сказал ему:

— Пока вы роскошно нежились до позднего часа, как истинный афинянин, я, как монах и человек сельский, встал рано, вышел за ограду монастырскую, сел на камень и долго думал о вас. Думал я, думал и нашел для вас притчу одну. Ее-то я вам хочу сказать на прощанье, чтобы вы вспомнили мою толстую болгарскую голову с добрым чувством. Вот моя притча. Назову я ее притчей *о неблагоразумном земледельце*. Неблагоразумный земледелец этот жил у подошвы крутой и большой горы. Гора эта была на север и запад от его жилища, а на восток и юг простиралось широкое мало возделанное поле; на этом поле владели предки земледельца землями целые века, и обломки домов их видны там до сих пор. Но селянин не глядел никогда на это поле, взоры его обращались на скромные виноградники, которые в поте лица возделывали по склону горы его северные соседи, столь же бедные, как и он, или еще более бедные. Он начал с ними долгую и несправедливую тяжбу на тех лишь доводах, что прадед его захватил когда-то силой эти земли горные и держал их всего двадцать лет. Было это очень давно, и держал этот человек виноградники, скажу вам, примерно, от 1020 года до 1040 года не больше. Тогда винодельцы были сильнее и прогнали его. Теперь они бедны и слабы. Но на вершине горы стоит высокий дворец богатого бея, которому бедные виноградари эти близкие родные. Не все их требования исполняет бей так, как бы они хотели, и дружба его дома с домом неразумного пахаря — дружба древняя. Не знает, однако, и бей иногда, что̀ делать и с бедными родственниками, и с неразумным пахарем, которого он также жалеет и любит. Трудно бею, трудно и пахарю, трудно и винодельцам бедным. Тяжба разоряет их; и враги их общие празднуют радостный праздник, видя раздоры их. Так идет дело давно, и никто не сказал еще пахарю: «Неразумный и

злой пахарь! Если твоя запашка тебе кажется малою, брось взоры свои на широкое восточное поле, где видны следы твоих великих предков, поросшие мхом и тернием, и протяни братскую руку и бею могучему, и родным его бедным! Не взойти тебе и на полгоры, беззаконно-неразумный и жестокий пахарь». Вот моя притча! — сказал, вставая, отец Парфений и обнял Алкивиада.

Алкивиаду нетрудно было понять ее. Он догадался, что пахарь неразумный не кто иной, как грек, а бедные родственники богатого бея — южные славяне, соседние греки. А кто бей богатый — это также было ясно.

X

Около полудня, в первый день Байрама, путники выехали в Рапезу.

Алкивиад полюбовался на древний турецкий мост через реку, которая шумно бежала по камням, переполнившись от вчерашнего дождя... Экипажам, если б они были в стране, было бы трудно проезжать по его каменным уступам; но вид его был величав и прочен.

Про этот мост сложена народом краткая песня о временах побоищ под стенами Рапезы:

Три птички малые сидят на старом мосте:
Одна глядит на Янину, другая смотрит к Пе́те,
А третья, меньше всех, щебечет речь такую:
«Ах, не найдется ли один хоть христианин, чтоб в Пету весть подать.
Туретчины собралось множество, чтобы напасть на Пету;
Сам Целиос* вперед идет, за ним идут низамы...
И караулы все кричат»...

---

* *Целиос* — албанец, мусульманский вождь иррегулярного войска, известный своими подвигами против греков во время войны за независимость.

За мостом начались по обе стороны большие апельсинные сады, загороженные от дороги высокими стенами тростника.

На базаре много было народу; христиане и евреи торговали. Турки, нарядные для Байрама, сидели в кофейнях и у знакомых в лавках; на первом же углу несколько албанцев, худых, усатых и воинственных, в богато расшитых золотом куртках, неприязненно поглядели на Алкивиада, не дали дороги его лошади, и когда он объехал их осторожно, воскликнули громко:

— Еще один франк! Кто он такой и откуда?

Толпа турецких мальчишек и девочек, услыхав эти слова, побежали за ними с криками:

— Фра́нко-мара́нко! Франко-маранко! Откуда ты, франко-маранко?!

Алкивиад и Тодори ехали молча. Алкивиад пожирал свою досаду, думая, что все окружающие смеются над ним вместе с детьми.

— Молчать! — закричал на детей один почтенный седой турок, проходя мимо.

Но дети не послушались его и продолжали шуметь и прыгать вокруг лошадей. Наконец одна прехорошенькая девочка подняла с мостовой камень и бросила в лошадь Алкивиада.

Лошадь испугалась и кинулась в сторону. Алкивиад был ездок смелый, но не слишком искусный. Он едва усидел на седле и вне себя от гнева обернулся с хлыстом на толпу детей. Турчата и девочки разбежались со смехом и криками.

Тогда один из албанцев загородил дорогу Алкивиаду и спокойно, но со свирепостью во взгляде сказал ему по-гречески:

— Не тронь, они неразумные дети!..

— Дети! — закричал на албанца Тодори, не давая времени Алкивиаду ответить. — Дети, ты говоришь... А зачем большие не учат их разуму?..

— Не кричи на меня, кефир! — воскликнул албанец, хватая Тодори за узду...

Тодори вмиг соскочил с лошади и схватил албанца за грудь... Оба остановились на мгновенье, как бы сбираясь с духом... «Кефир!» — шептал албанец. «Собака!» — громко кричал Тодори.

Алкивиад тоже соскочил с лошади; но прежде чем он успел подоспеть к бойцам, их уже окружила целая толпа греков, албанцев, евреев. Алкивиад уже не мог разобрать... Все кричали, ругались, уговаривали... Алкивиад видел только, что Тодори с албанцем, крепко схватившись, кружились на месте и не могли ничего сделать друг другу, потому что на них уже повисло, чтобы разнять их, пять-шесть человек... Подбежали заптие и стали разгонять народ, угрожая прикладами и поднимая их над головами... Один из них, быть может, разгорячась и по неосторожности, ударил прикладом в плечо Алкивиада... Алкивиад толкнул его сильно в грудь...

— Бери его! — закричал чауш, — на полицию поднимать руку, знаешь за это что̀... два года тюрьмы тебе, свинья! Бери его!

— Я греческий подданный! — сказал Алкивиад.

— Бери его!

Его схватили за руки... Но в этот миг толпа расступилась сама перед высоким стариком, одетым в мундир с золотым шитьем на груди. С радостью узнал в нем Алкивиад дядю своего капуджи-баши кир-Христаки Ламприди. Он возвращался от каймакама, которому только что сделал официальный визит по поводу Байрама, услыхал шум и подошел к толпе... Вмиг все утихло. Заптие молча оставили Алкивиада, как только услыхали, что он племянник кир-Христаки; они даже точно виноватые опустили глаза... Албанца с Тодори к тому времени тоже уже розняли, и они оба всклокоченные и потные пожирали лишь искоса друг друга глазами, как два сильных пса, которым не удалось утолить свою злобу.

Смущенного и рассерженного Алкивиада кир-Христаки взял под руку, вывел из толпы, и за ним вслед побрел и Тодори, проклиная вполголоса турок. Лошадь игумена

была тут: ее поймал под устцы, в ту минуту, когда Алкивиад бросил ее, один из тех самых мальчиков, которые кричали «фра́нко-мара́нко». Мальчик повел лошадь за ними до кир-Христаки; он уже звал Алкивиада «эффенди» и улыбался ему благодушно.

Кир-Христаки дал мальчику один пиастр за труд, похвалил, приласкал его, назвал дружески «рогачом» и «негодяем» и отпустил домой.

XI

Через месяц после отъезда Алкивиада из Корфу сестра его получила от него письмо.

«Милая сестра моя (писал он), я *влюблен*! Позволь мне признаться в этом тебе одной. Я привык смотреть на тебя, как на музу, которая пробуждала в душе моей первые благородные звуки жизни. Или лучше я сравню тебя с нимфой Эгерией, которая учила мудрости Нуму Помпилия. Не ты ли заменила мне мать у колыбели моей? Не ты ли следила за первыми успехами моими в ученье? О, конечно, не маленькая книжка, по которой нас обучали в школе эллинской истории, развила во мне то живое чувство патриотизма, которое мне стало так присуще, без которого я уже не понимаю жизни земной!.. Твои пламенные, чорные очи блистали около меня, как путеводные звезды, возвышая мои помыслы! Не ты ли говорила мне: „Помни, Алкивиад, что ты эллин! Провидение недаром сохранило греческий народ под игом варваров... Помни, что и Перикл, и Демосфен, и Сократ, и Леонид Спартанский были такие же люди, как и мы. Если они умели быть великими на столь тесном поприще, как древне-эллинские республики, не должны отчаяваться и мы..." Не ты ли заботилась о моей будущности? Не ты ли отговорила меня, когда я было хотел посвятить себя медицине, и указала мне на политическое поприще? Не ты ли представила меня коро-

лю, куда ты была сама естественно призвана — красотою твоей, улыбкою и образованностью? Позволь же мне мыслить и чувствовать с тобой вслух — по старой привычке...

Я *влюблен*, дорогая моя Афродита! Не скрою от тебя моих колебаний... Я еще не знаю, как влюблен... Настолько ли я влюблен, чтобы связать себя навек... Пусть будущее решит это. Я же не стану больше мучить тебя загадками: я влюблен в нашу родственницу, Аспази́ю Ламприди. Я тебе скажу, какова она. Что она вдова, ты это помнишь, вероятно. Она, конечно, милая Афродита, не имеет твоего воспитания. Она не блещет даже и поразительною красотой. Она немного болезненна, мала ростом, задумчива, уныла; но иногда, когда какой-то луч жизни пробежит по лицу ее, она становится обворожительна. Мне нравится также ее природный ум... Мне даже начинает нравиться мрачная вдовья одежда, которую она, по здешнему обычаю, не снимает, несмотря на то, что после смерти ее мужа прошло пять лет. Поверишь ли ты мне, я чувствую иногда ревность к портрету ее покойного мужа, снятому дурным странствующим фотографом. Кажется мне, она это заметила. Вчера она, рассматривая его, спросила у меня: „Не нравится тебе этот портрет?" Я тоже отвечал вопросительно: „Портрет или что-нибудь еще?" Она поняла меня и отвечала с улыбкой: „Как хочешь, это твое дело..." Я все не хотел ответить прямо и спросил еще: „А твое дело в этом какое?" — „Мое? — отвечала она. — Мне нравился и прежде и теперь нравится..." „А мне, — сказал я, — не нравятся здешние богатые молодые люди. Они все очень грубы, боязливы, не умеют жить, не патриоты и кроме карт и разгула ничего не знают!" Она даже не покраснела. Она бела и холодна, как паросский мрамор. О! как бы я желал быть ее Пигмалионом. Прощай; обнимаю тебя. Меня зовут. Я оставляю тебя в изумлении и тревоге за мою участь. Но не бойся — это ненадолго. Я буду по-прежнему часто писать тебе, и ты, хотя и с волнением участия, но беспрерывно будешь следить за бурями и затишьями моего сердца. Я живу не у дяди Христаки; я не настолько близкий родственник

ему, чтобы прилично было мне жить долго в доме, в котором столько женщин. Я живу у другого нашего родственника и доброго старичка, Фемистокла Парасхо, которого, помнишь, и ты видела однажды в Корфу. Он все тот же...»

XII

По церковному уставу Алкивиад мог бы жениться на Аспазии; кир-Христаки был троюродный брат его отцу. Но был ли он в нее так влюблен, как писал сестре?.. Ему это казалось... Он прожил больше месяца в Рапезе в приятном бездействии. Страны эти были для него и родина и не родина, в них было для него и все любопытное чужбины, и свое родное, что ни шаг...

Жил он у старика Парасхо спокойно. Старик был молчалив и задумчив; даже в гостях, на улице, он был все уныл, тих; вставал, выкуривал наргиле у очага и шел, хромая, в церковь, если был праздник; если же нигде не было обедни, то он прочитывал что-нибудь из жития святых или из Священного Писания. В городе над ним смеялись и уверяли, что он девственник; турки подозревали его в том, что он будто бы не раз был участником революционных историй; но доказательств не было никаких, и сами турки уважали его честность, его святой образ жизни, его тихое благодушие. Все уважали его; все, однако, шутили с ним и любили его дразнить; кричали ему на улице: «кир-Парасхо! кир-Парасхо! пойдемте к *Аише*! Аише... вас ждет!..» А эта Аише была турчанка, которую знали все... Сами турки смеялись на улице, когда слышали, что кир-Парасхо зовут греки к Аише... Старик стыдился этих шуток, опускал еще ниже глаза, мучился, жалобно щелкал языком, качал головой и шел, хромая, дальше уныло-преуныло, точно будто он горько оплакивал людское бесстыдство. В обществе, в кофейных, в лавке какой-нибудь мужчины нарочно при Парасхо вели нескромные речи, выбирая самые непотребные слова. Терпел, терпел Парасхо, голова

его все склонялась ниже на грудь, глаза все больше и больше опускались... наконец он надевал шляпу и выходил вон... все только этого и ждали и начинали хохотать. Он состоял давным-давно драгоманом при греческом великом консульстве, не из выгод каких-нибудь, а для почета и из боязни турок...

Всем консулам своим, которые часто менялись, он был покорен донельзя и грустно твердил молодым людям: «Иерархия! Иерархия! Дисциплина! Иерархия! Дисциплина!» Если консул начинал шутить при нем так, как другие, он говорил только: «г. консул сегодня весел!» и переносил от консула эти разговоры больше чем от других. Хотя он имел очень порядочные средства к жизни и хотя письмо утомляло его глаза и старую голову, но с раннего утра и до захождения солнца, покончив лишь свой наргиле и свои молитвы и христианское чтение, он уходил в греческую канцелярию и исполнял бесплатно всякий труд. Консул был дома, кавасс пропадал, слуги уходили, весь дом мог разбегаться, но Парасхо был там с утра, и всякий знал, что уж его-то он найдет в канцелярии, найдет готовым на всякую помощь и на всякий совет. «Святой человек!» — говорили про него люди простые... «Добрый человек», — снисходительно отзывались о нем люди лукавые и ловкие. «Домовой греческого консульства», — острила молодежь.

Иногда кир-Парасхо и сам хотел пошутить и говорил собеседникам: «Будемте теперь острить и смеяться. Знаете? я ведь очень остроумен! О! я очень остроумен», — убедительно утверждал он и начинал рассказывать что-нибудь удивительно, по его мнению, смешное. «Вы послушайте, вы умрете от смеха!» Но, увы! смех, который он возбуждал, относился к нему самому, а уж никак не к рассказам его...

У этого почтенного человека поселился надолго Алкивиад.

Дом Парасхо был уединенный и пустынный, построенный по старинному турецкому образцу, с огромными очагами, маленькими лестницами, множеством дверей, откры-

тыми галереями и полуразрушенною стеной, на которой весной аисты вили гнезда.

Вид из нее был прекрасный на весь город и на гору, усеянную до вершины большими, правильно расположенными серыми холмами, которые издали можно было принять за продолжение города, за домики какого-нибудь предместья... Видны были и апельсинные сады, и немного подальше древний, мрачный, полуразрушенный храм византийской постройки... Нечто мирное и приятно-грустное носилось над этим южным городком, когда Алкивиад глядел на него при зимнем утреннем тумане...

Обедать Алкивиад почти никогда не обедал дома у Парасхо. Обед у старика был уж слишком плох, не от бедности, а от воздержности хозяина и от его равнодушия к плоти. Алкивиад к полудню всегда уходил к дяде Ламприди, там оставался почти всегда до поздней ночи, уходил гулять с молодыми людьми по кофейным, опять приходил, ездил за город верхом, один скакал около реки и по ущельям, распевая любовные и патриотические песни и смеясь над разбойниками, которые продолжали гнездиться в соседних горах...

Дома у Парасхо, по утрам, продолжал занимать его своими рассказами и рассуждениями сулиот Тодори. Он был чудак и патриот не менее своего господина, только совсем другого рода. Он, например, до приезда Алкивиада ненавидел и презирал аистов; называл их «турецкая птица», не потому только, что турки чтут и жалеют их, но еще и за то, что аист «каждый вечер молится Магомету; как свечереет, он поднимает голову, смотрит на небо и стучит клювом. Постучит, замолчит, опустит голову и опять поднимет и опять застучит!» Когда настал март месяц и аисты стали слетаться, Тодори несколько раз брался за ружье, чтобы бить тех из них, которые доверчиво начинали уже вить гнезда на стене... Но Алкивиад, которому нравилась «вечерняя молитва» величавой птицы, заступался за нее и своими рассказами о пользе, приносимой аистами, о почете, который оказывают им и во многих не турецких стра-

нах, так скоро сумел убедить и смягчить Тодори, что он не только отказался убивать аистов, но и вошел в их семейные интересы. Самец-аист, который выбрал стену Парасхо для своего гнезда, был не силен; шестеро других аистов слетались каждый день сгонять его оттуда: становились рядом с ним в гнездо, клевали его или сталкивали вниз плечом так сильно и скоро, что он не успевал подняться на крыльях и падал вниз. «Постарел, должно быть, сердечный! Вот его молодые и обижают...» Он бросался помогать аисту, поднимал его, отгонял других, стрелял даже по ним холостым зарядом и с радостью, наконец, объявил Алкивиаду, что «старики снесли яйца и другие уж не трогают их». Добрая душа Тодори сказалась тотчас же, как только он убедился, что аисты не турецкой веры.

Тодори хотя был еще молод, но знал множество историй про Али-пашу Янинского, про сына его Латхтара и любовницу его Евфросинию, которую он бросил в озеро, про разбойников и турок. Алкивиад сажал его около себя, чтоб он был смелее, и заговаривал с ним. Но Тодори долго не мог сидеть; он оживлялся скоро, начинал бегать по комнате, прыгать то вперед, то назад, изображая то наступление, то побег, то гнев, то ужас...

Забавно донельзя визжал «уюю-уюю!», представляя, как кого-нибудь били. Рассказывал даже свои семейные и сердечные дела. Наставительно преподавал, что с женщинами надо быть осторожным, что в него однажды была влюблена даже турчанка и говорила ему: «сжег ты мне, собака, сердце мое!» Но Тодори хоть и пожалел ее, бедную, но отказался от любви ее, «потому что закон наш не позволяет этого...»

Он даже и с женою своей осторожен. Жена живет одна со свекровью и детьми в Сулийской долине, в деревне Грацана и занимается хозяйством; она грамотная, и когда нужно Тодори писать ей о делах, он, чтоб она не сочла себя госпожей, обращается и в письме не к ней, а к двухлетнему сыну своему, и на адресе подписывает ему, а

не ей: «Господину, господину Михалаки Пападопуло». От Тодори Алкивиад узнал еще, что в Янинском озере живет издавна огромное чудовище, которого никто не видит никогда; оно выходит лишь ночью и плачет и воет пред каким-нибудь великим несчастием, которое должно поразить страну. Узнал, что *ламиа** иногда бывает и в церквах и причащается даже с другими женщинами, чтобы высмотреть красивого молодца и пожрать его после...

Так проходило утро, и когда в полдень раздавался крик ходжи с минарета, Алкивиад спешил к дяде Ламприди обедать...

Семья Ламприди была многолюдная, веселая, согласная. Сам старик, старушка, две незамужних дочери, сын женатый, второй сын холостой (глухой добряк) и дочь вдова 23 лет, та самая Аспазия, которая так понравилась Алкивиаду. Парадные комнаты богатого дома были почти всегда заперты и отворялись лишь в праздник или для очень важных гостей. Вся семья проводит почти целый день вместе, в одной и той же зимней комнате, — в ней горел день и ночь неугасаемый очаг; широкие турецкие диваны окружали этот очаг; к очагу придвигали в полдень и вечером большой стол и обедали около него, кто сидя по-турецки на диванах, спиной к очагу, а кто лицом к нему на стульях à la Franca. У очага женщины шили и вязали чулки; у него же гадали на картах; около него принимали запросто гостей; около него грелся, возвращаясь из Порты, хозяин; около него дремала иногда мать семейства; сам Алкивиад ложился около этого очага и проводил целые часы, то разговаривая, то молча, то с газетой в руках, то играл в карты с девицами, то смотрел пристально и долго на бледную вдову, которая чувствовала на себе его взгляд и улыбалась, опуская глаза на работу.

Обед всегда был шумен и беспорядочен; один садился, другой вставал; все шумели, звали разом слуг, десять рук бросались разом на каждое блюдо; вино и соус беспре-

* *Ламия* — вроде ведьмы.

станно лились на скатерть; неопрятные от беспорядочной и безуспешной работы мальчики, в грязной фустанелле и босые (хотя красивые собой и одетые с живописною беспорядочностью), то вместе толкались около стола без дела и принимали участие в беседе и спорах господ, то пропадали так надолго, что все господа разом начинали кричать и звать их, и кто-нибудь из младших вставал и бежал за новым блюдом; либо сама кухарка приносила кушанье, а мальчики оставались вместо нее в кухне и работали что-нибудь там.

Столовое белье менялось раз в неделю, по воскресеньям; но в понедельник оно было до того залито и замарано, что смотреть на него Алкивиаду было неприятно. Алкивиад привык у отца и сестры к большой опрятности и часто брезгал во время этого шумного и беспорядочного обеда, но благодушие, патриархальность и согласие, с которым все это делалось, утешали его.

Спали тоже почти все вместе, в двух комнатах, мужчины и женщины. Только старший женатый сын спал с молодой своею на другом конце дома, в особой комнате, отделанной более à la Franca: без диванов, без очага, с широкою железною кроватью, австрийской работы. Ее молодые, впрочем, не любили и, проклиная (в душе) «*франкские комплименты*», нередко приказывали попросту, то есть по-турецки, стелить на полу шолковые приданые тюфяки. Вся остальная семья гнездилась и ночью в окрестностях того очага, около которого днем обедали, дремали, скучали, веселились, беседовали, болели, выздоравливали, пели песни, читали газеты, вздыхали, смеялись, спорили, работали и ленились.

Старик, старушка, обе девицы и вдова Аспазия спали вместе в маленькой спальне около столовой; глухой брат — в столовой, около очага, на диване. Иногда Аспазия зябла в спальне и приходила спать к нему на другом конце дивана. Иногда глухой скучал, не спал и среди ночи входил к сестре и матери и находил и у них себе уголок. А не то так будил мать или одну из сестер, кричал: «не

могу спать! Вари мне в очаге кофе и поговорим у очага». Добрая мать вставала и исполняла его желание. То же делали и сестры.

Умственной жизни в доме не было вовсе. У старшего женатого сына, который учился в Корфу, стоял в спальне шкапчик с книгами, и он гордо показывал их Алкивиаду. Там был Данте, Плутарх, Софокл и другие древние авторы; но ключ даже от этого шкапчика был давно потерян, и молодой Ламприди давно говорил: «все забываю заказать этот чортов ключ для моей библиотеки!» В столе валялся грязный сборник песен, романсов и стихов: Парасхо, Саломо, Суццо, Рангави и других поэтов новой Греции.

Всей семье особенно нравились стихи, в которых автор судил мужчин с женщинами:

Женщины все жалуются,
Что мужчины виноваты,
А мужчины все жалуются,
Что виноваты женщины...

Суд автора кончается так:

Бросим этот суд,
Все мы значительно неправы!
Придите, помиримся
И сладко поцелуемся!

Кроме этой книжки да греческого перевода «Павла и Виргинии», которого начало было оборвано и потеряно, книг, запертых в шкапу старшего сына, не было в доме ничего литературного. Газеты зато читали немного, и даже слуги занимались ими нередко.

Обе девицы, *Ци́ци* и *Че́во**, еще учились, к ним ходил учитель и преподавал им только арифметику, греческую историю и древний греческий язык. Трудно понять, зачем

---

* *Ци́ци* — ласкательное от *Василики*; *Че́во* — от *Прасковьи* или *Параскевы*.

им даже и это было нужно! Какое было дело Цици и Чево до мудрости Сократа, до мужества Леонида, до изящества Алкивиада?

Мудрость воплощал для них отец, который говорил, что «назначение женщины быть честною женой и хозяйкой». Изящество олицетворяли молодые сыновья архонтов, которые носили какое-то подобие модных сюртуков и жакеток, называя эти жакетки «*бонжурками*», и надевали золотые перстни на грязные пальцы.

На что̀ им был Сократ, Алкивиад и Леонид? Однако они учились прилежно... они знали, что дочери архонта должны быть грамотны, целомудренны и трудолюбивы. Цици и Чево твердо учили наизусть от такой-то страницы до такой-то, от одной точки до другой, о том, как Демосфен противился Филиппу; но хорошо ли он делал, что противился, учитель и не пытался спрашивать... Выучивали твердо и, приготовляясь отвечать, даже шутили между собой, споря: которая знает слово в слово твердо, которая без запинки скажет скорее, до того скоро, чтоб и слова стали непонятны.

Кончался урок, Леонид гиб под Фермопилами, Саламин озарялся вечною славой, Александр разносил по земле эллинскую культуру, — рушилось Македонское царство, греки становились рабами, воцарялось христианство, Византия боролась с варварами, Константин Палеолог умирал с оружием в руках на стене Вечного города, наставали годины праха и молчания... Ипсиланти, Караискаки, Миаули водрузили знамя новой независимости.

Учитель рукой указал в сторону Миссалонги; из окна видна была Пета... Но Цици и Чево, обе румяные, обе добрые и веселые, с одною и тою же приветливою и целомудренною улыбкой отвечали учителю и о возрождении, и о гибели родного эллинского племени... мысль их была ближе... она не только не улетала в Саламин, — она не доходила и до Петы, за реку... она была уже у очага или на кухне. «Отец пришел из Порты; он любит, чтобы Чево сама подносила ему водки и кофе. Матушка приказала

починить коленкор на своем подоле. Сестрица Аспазия сама ничего почти не работает; надо ей помочь. Гости пришли! мальчик убежал! у кого ключ от варенья и от кофе? Да и гораздо веселее чистить картофель на кухне с кухаркой, которая шутит и смешит, чем отвечать про Фемистокла, которого и Чево и Цици и представить себе не могли как в виде Фемистокла Парасхо, который, сгорбясь и прихрамывая, идет на рассвете в церковь или в греческую канцелярию, у которого борода до пояса, сюртук уж очень стар и неопрятен!..»

Сестра их Аспазия знала еще меньше их: ее не учили даже и истории, а только древнегреческому языку; она была слаба здоровьем, так же как и младшие сестры не выходила никогда из дома и от рассвета до ночи проводила время у очага, гадала и играла в карты или работала...

Она не знала даже и греческой истории, но Алкивиад и не искал испытывать ни познаний ее, ни патриотических чувств; он был убежден, что в трудную минуту народной жизни всякая гречанка, сама не зная даже зачем и для чего, скажет сыну, мужу или брату: «иди на войну или дай денег, если сам не можешь...» Он и сам забывал иногда все гражданские заботы; все помыслы его, вся жизнь его на время ограничились знакомою комнатой и гостеприимным очагом, около которого толпилась столько лет радушная и простая семья... Около этого очага носилась ежеминутно и его душа, даже и тогда, когда он катался верхом по окрестностям города или рассеянно слушал занимательные бредни Тодори.

XIII

Сближению Алкивиада с Аспазией в семье Ламприди никто не мешал, но никто и не помогал. Он приходил, садился около нее и за обедом, и на диване после обеда у очага; звал ее ходить по большой пустой зале, когда было не слишком холодно; играл с ней в карты. Он даже очень

лукаво расточал ей похвалы при всех, хвалил ее голубые глаза, ее умную улыбку, ее длинные русые косы, которые висели на спине из-под чорного вдовьего платочка... Трогал даже эти косы руками при отце и матери ее и перебирал подолгу, сидя за ее спиной. Он нарочно делал то же самое и с Цици, у которой косы были еще больше, сознаваясь только при всех откровенно, что цвет волос у Аспазии ему больше нравится.

Он думал, что все увидят в нем лишь нежного брата их, и сначала так и было. Все, кроме самой Аспазии, видели в нем лишь доброго родного. Старший женатый брат был добрый, веселый крикун, который был заботлив лишь тогда, когда дело шло об отправке пшеницы в Марсель, так же как и родители его не видели никакого зла в этой близости и нередко звали Алкивиада посидеть на свою половину; *потому что и Аспазия здесь*, — говорили они.

Но одному никогда не приходилось Алкивиаду быть с Аспазией. Никто, по-видимому, нарочно не следил за ними, но никогда почти больше одной минуты они не оставались одни. Мать выйдет похлопотать по хозяйству; другие дочери уйдут учиться; старик у каймакама; невестка отдыхает; старший брат шумит внизу в конторе с крестьянами; вот бы остаться хоть час одним!.. Но нет, глухой брат придет и ляжет на диван с газетами. «Во Франции смятения!» — кричит он что̀ есть силы.

«Смятения...» — повторяет знаком Алкивиад, не выпуская кос Аспазии.

— Петр Бонапарте оправдан! — кричит глухой.

— Хорошо! — отвечает Алкивиад.

Аспазия смеется. Глухой уходит; но в дверях является кухарка... Она ищет барыню. Лукавая Аспазия останавливает ее и спрашивает: «Что̀ слышно о морозе? Не испортятся ли апельсины и лимоны?..» Не успела еще ответить кухарка... уже мать звенит ключами. Смеркается; мальчик вносит огонь. Старик, потирая руки и жалуясь на холод, возвращается из Порты. Входит невестка и вздыхает, что

дурно спала после обеда; за ней ее муж... Он шумит и проклинает сельских людей: «Варвары люди эти! Сказано: деревенский человек! Человек без воспитания — камень. Что ты сделаешь с камнем... Опять уверяют, что не могут заплатить нам своего долга... Нет! я, наконец, забуду и всегдашнее свое благоутробие (евсплахниа) и то, что они греки... и пойду к каймакаму. Жестокий народ! неумолимый и хитрый народ!»

Девицы кончают уроки; Чево спешит подать сама отцу наргиле и кофе; Цици помогает мальчику накрыть стол...

Еще один день кончен... вот и длинный зимний вечер... А Аспазия еще не влюбилась и знает ли даже она, о чем тревожится Алкивиад?.. Конечно, эти волнения, эти неудобства не были страданиями; эти волнения были очень сладки и легки.

Алкивиад иногда погружался в чтение песенника, подыскивал подходящие стихи и, подавая их Аспазии, говорил:

— Прочти, Аспазия, это очень хорошо. Не надо, Аспазия, забывать поэзию...

— Прочту! — отвечала ему иногда Аспазия, взглядывая на него с улыбкой, которая ему казалась насмешливою...

Иной же раз подыскивала другие стихи ему в ответ.

Эта игра понравилась обоим, и Алкивиад стал повторять ее чаще и чаще...

Раз он указал ей на стихи Рангави; в них была жалоба влюбленного на несмелость свою; они кончались так:

«Небесный твой взгляд как магнит привлекает меня. Скорее бьется мой пульс, отмеривая мою жизнь. Но ты так сурова, что кровь моя стынет и только вздох один осмеливается вылететь из моей груди».

Аспазия (все улыбаясь насмешливо) взяла книжку — долго искала, долго думала, нашла наконец и указала на конец чернической песни «Всадник».

«Не плачь, прекрасная девушка! Мой путь лежит за эту гору. Я везде найду красавиц... но не останусь ни с одной... Отчизна моя — весь мір!..»

— Что же? — спросила она. — Разве это не хорошо?

— Пусть и не плачет! — шутя ответил Алкивиад, не желая еще обязывать себя никаким серьезным словом.

— У нас о таких вещах и не плачут хорошие женщины, это у нас не в обычае, — сказала Аспазия, опять наклоняясь к шитью.

В комнате тогда были только глухой и Чево. Чево, улыбаясь, но вовсе не лукаво, а как дитя, также смотрела на него.

— Чево! — сказал Алкивиад, — ты никогда не влюбишься?

Чево не посмела ответить на такой дерзкий и бесстыдный вопрос. Она лишь опустила глаза.

— Выйдет замуж, тогда и влюбится! — отвечала за нее Аспазия.

— Не лучше ли сказать наоборот? — возразил Алкивиад. — Прежде влюбится и тогда выйдет замуж.

— Это у нас не в обычае, — ответила Аспазия.

— Разве есть на страсти обычай! — воскликнул Алкивиад уже в досаде.

— У нас так привыкли...

— Неужели у вас не понимают ничего мечтательного, ничего страстного, ничего романического... Никто не посягает на честь женщины и девушки... Честь есть краеугольный камень семьи — это мнение каждого эллина!.. (продолжал с жаром Алкивиад). Я говорю не про этот священный принцип, а про увлечение и про мечты... Я говорю о жизни сердца и фантазии... Неужели здесь женщины не живут душой?.. Везде, где есть жизнь, достойная этого названия, есть и страсти, которые доводят иногда до самоубийств, до преступлений... Это грустно, это ужасно, но это доказывает, что существует нечто идеальное... Сафо бросилась с Левкодского утеса... Всякий день читая и слушая рассказы о странах просвещенных, мы видим, что молодые девушки и молодые женщины удушают себя угольями, отравляются, убегают из дома родителей, сходят с ума от любви...

— Пусть Бог избавит нас от такого просвещения! — ответила Аспазия. — Нам так лучше; у нас никто не убивается.

Чево громко засмеялась, так ей понравился ответ сестры...

С досадой слушал Алкивиад этот смех... и ему еще стало досаднее, когда в комнату вошел старший брат Аспазии и с простодушною радостью спросил:

— Чему вы смеетесь? Скажите мне, посмеюсь и я!

— Я не смеюсь, — сказал Алкивиад, — я жалею, что у всех здешних женщин и у мужчин нет сердца... Послушай, я расскажу тебе историю, которую рассказывал мне недавно один молодой русский в Афинах. Она поучительна уже потому, что изображает нам хоть одну сторону жизни этой России, которую все мы, и враги и друзья, так мало знаем. Я России боюсь и не люблю, ты это знаешь...

— Напрасно! — перебил молодой Ламприди. — Без России все ваши росказни будут щепки и стружки, больше ничего...

— Это другое дело! — гневно воскликнул Алкивиад. — Слушай меня! Слушай меня и ты, Аспазия, умоляю тебя.

— Я слушаю! — сказала Аспазия.

— Нет, оставь работу и гляди на меня, — сказал Алкивиад.

Аспазия послушалась.

— Слушайте же, — продолжал Алкивиад, — я говорю, что не люблю Россию. Но я согласен, что ничего не может быть милее, благороднее, любезнее образованного русского. Один из таких обворожительных русских молодых людей рассказывал мне, незадолго до моего отъезда сюда, историю своего родного брата, который, как и видно по всему, был также прекрасный молодой человек. Он служил офицером на Кавказе и был из хорошей семьи. В Петербурге были у него богатые родные. В доме этих родных он встретил молодую девушку, тоже родственницу их, и влюбился в нее. Хотя и герой на войне, молодой

офицер этот был очень застенчив и скромен с женщинами. Девица была невинна, стыдлива. Он не решился объясниться с нею и открылся лишь брату своему. Брат с жаром взялся помогать ему и скоро передал ему о согласии молодой девушки. Открылись наконец и богатым родным, от которых девушка зависела. Но отец семейства отверг этот брак, потому что и офицер и девушка имели оба слишком мало средств к жизни. Сверх того, старик нашел и другое препятствие, которое любопытно, как странная подробность русских нравов: он сказал, что эта девица слишком хорошо воспитана, чтобы выйти замуж за человека, который почти не говорит по-французски. «Точно не человек хорошего общества, а какой-нибудь управляющий имением другого». Офицер опять уехал на Кавказ, и все думали, что он забыл избранницу своей души. Но это была ошибка; прошло лет более десяти, молодая девушка вышла замуж за человека также молодого, очень богатого и знатного; она стала ему верною супругой и прекрасною матерью своим детям; но полюбить его не могла...

Тут Алкивиада перебила старушка Ламприди (она вошла при начале его рассказа):

— Отчего же она не могла полюбить мужа? Значит она своего долга не знала! — восклицала она.

Алкивиад продолжал:

— Прошло больше десяти лет; офицер возвратился с Кавказа и видел ее; но вспоминать о прошлом они себе не позволили. Молодая женщина, однако, была часто больна и, наконец, скончалась в своем имении, в провинции. Умирая, она написала ему письмо, в котором открылась ему, что до последней минуты не переставала его любить... Он получил это письмо; не показал его никому; несколько дней был веселее прошлого; потом уехал из Петербурга в то имение, где похоронили предмет его обожания... Он остановился в маленьком городке, переоделся, переменил там белье; подарил все вещи свои слуге в гостинице и нанял экипаж и поехал туда, где была ее могила; с ним был пистолет, и дорогой он шутил с крестьянином, кото-

рый его вез; выстрелил пулей в большое дерево на дороге и спросил крестьянина, крепко ли бьет пистолет и пробьет ли он лоб хорошо? В селе служили всенощную, когда он приехал; он был набожен: вошел в церковь, долго молился, и потом люди видели, как он вышел из церкви и стал молиться на ее могиле. Долго молился он; наконец люди проходя заметили, что он лежит неподвижно; его подняли и увидали, что он застрелился из пистолета! Всем родным своим и друзьям он за день до смерти приготовил прощальные письма и подарки... Вот это страсть! Вот это чувства! — воскликнул, кончая, Алкивиад.

Все долго молчали; когда он кончил, только старушка мать с горестью заметила, что и в просвещенных и больших местах случаются, видно, худые дела, и удивлялась, как же это начальство там православное, а за этим не смотрит!

Николаки немного покраснел за мать и сказал ей:

— Вы, матушка, уже слишком древняя кирия. Нынче свет не такой!

Потом он развеселился и предложил Алкивиаду выслушать его рассказ об эпирских греках.

— Хорошо! — воскликнул он, — ты рассказал мне трагическую историю из аристократической жизни русских; а я расскажу не одну, а две истории про наших... В одном селе, в странах наших, жил в старые годы один молодой паликар. Женился он на красивой девушке; справил свадьбу; пожил с молодою женой хорошо и уехал торговать на чужбину, как, ты знаешь, делают многие эпироты. Вернулся он через пять лет; жена все еще была хороша и без него стала любовницей одного турецкого бея. Расстались, однако, они, когда вернулся муж; но долго бей без нее оставаться не мог; он решился похитить ее и убедил ее так, что она согласилась на это. Бей выбрал день, в который она с мужем должна была ехать в гости к родным в другое село. Он взял с собой трех отважных турок и скрылся с ними за утесами на пути. Муж ехал на муле; жена шла около него пешком; не доходя до утеса,

жена сказала мужу: «Поезжай тихо, а я одежду хочу поправить и после догоню тебя!» Видно, ей было страшно. Бросились турки на мужа; но он имел оружие; ранил всех трех, и остался бей перед ним один. «За что хотел ты мне зла? — спросил он его. — Отдай мне оружие и скажи мне правду, тогда я подарю тебе жизнь». Бей отдал ему оружие и сознался, что хотел похитить его жену. Тогда муж не вынес этих слов и убил бея. Возвратился к жене, отрубил ей обе груди, бросил ее на дороге, истекающую кровью, и бежал из Турции. Дело это старых времен. Турки были тогда проще, и паша сказал: «Напрасно бежал человек — я бы не наказал его. Он исполнил долг своей чести!»

— Какая жестокость, но вместе с тем какая греческая отвага! — сказал Алкивиад.

— Конечно, люди простые, без воспитания, — вздохнув, заметила старушка.

— Подожди! — продолжал Николаки, — я расскажу и другую историю; та не будет такая жалкая. В другом нашем городе явился другой паликар. Сосватал он себе одну девушку из другого села и не знал, что она давно любила другого. Собрались люди на свадьбу; привезли невесту из того села; поехали с ней родные и гости. Начали петь песни свадебные, кушать, пить и плясать. Невеста была в другой комнате с женщинами, по обычаю. Вдруг она говорит им: «Подождите; нездорова я что-то. Выйду воздухом подышать!» Вышла и родила ребенка в саду. Никто и не знал, что она беременна. Ребенок был мертвый, вероятно, от волнения, в котором была мать. Ждут ее женщины другие, ждут; нейдет назад. Вышли и видят, она в поле идет с ребенком; хоронить его хочет. Закричали женщины; сбежались все; взяли у ней ребенка мертвого; взяли и ее, уложили сперва, а потом на другой день отправили назад к отцу в село. Расстроился праздник, и разъехались все; но они уже были обвенчаны; молодой обдумал и на увещания пойти к митрополиту и просить развода отвечал: «Нет не пойду. Такую, должно быть, Бог мне

судьбу дал; возьму ее опять; она мне жена и, может быть, доброю хозяйкой будет». И взял ее, и живут с тех пор не хуже других.

Этой истории от души смеялись не только сам Николаки, Аспазия и мать, но даже обе девушки Цици и Чево. Старушка и тут по-своему объяснила это дело Алкивиаду.

— Что̀ ж делать! — сказала она. — Бедный человек: где ему разбирать строго. Работала, видно, хорошо в виноградниках да послушною женой стала; вот он и живет с ней... Бедность! Турция!

Алкивиад, напротив того, похвалил этого грека и сказал:

— Должно быть, у него истинно христианские чувства были.

— А что̀ же ты думаешь и скажешь о первом молодце нашем? Вот зверь-человек! — спросил Николаки.

— Жестокий человек! — отвечал Алкивиад. — Но я думаю не о нем только, а и о многом другом. Я думаю: отчего энергия, сила духа, патриотизм и все, что̀ красит мужа... Отчего это у вас в Турции все досталось в удел гораздо более низшему классу, чем вам? — Пастухам, земледельцам, сельским капитанам... Ведь у тебя, Николаки, недостало бы ни великодушия, чтобы простить жене проступок, ни силы духа, чтоб убить ее...

Николаки не успел ответить; за него ответила Аспазия:

— Зачем же ему убивать или прощать? Жена его никогда не изменит ему; а если б изменила, на это есть митрополит, есть закон, их разведут, если она обесчестила мужа... Убивают только грубые деревенские люди...

Алкивиаду было больно слышать эти слова; не потому, чтоб он находил в самом деле необходимым убить или простить, а потому, что и в этих словах Аспазии видел прозаичность во взгляде на жизнь.

Он замолчал и скоро ушел.

Через несколько дней возобновился опять почти тот же разговор. Его начал Николаки, на этот раз при отце Ламприди. Смеясь, рассказал он отцу, как *афинские люди*

жалеют, что архонты в Турции не убивают жен из ревности и не убивают самих себя от несчастной любви.

Алкивиаду было неприятно слышать такое злонамеренное искажение его мысли, но из-за Аспазии он ссориться не хотел и потому, краснея и побеждая свой гнев, попросил дядю рассудить их с Николаки.

— Николаки, — сказал он, — клевещет на меня. Я не то хотел сказать. Я хотел только отдать себе отчет, почему у сельского отрока в Турции, у пастуха, у горца еще так много энергии, а у архонтов так мало силы духа, так мало предприимчивости на все, что̀ не касается их личных интересов.

Старик на это ответил с загадочною улыбкой (он был как Аспазия симпатичен и лукав, и все черты дочернего лица напоминали его черты):

— Архонты люди нежные; деревенскому человеку ничего не страшно. Он ко всему привык: и к холоду, и к голоду, и к ножу, и к ружью, которое он найдет куда спрятать от турка...

На это у Алкивиада было хорошее возражение. Он привел афинскую молодежь, которая, быть может, сказал он осторожно, не менее изнеженна и воспитана не хуже архонтов Турции; а сражалась же в Крите и показывала еще пример тем деревенским людям, которым, по словам дяди, ничто не страшно: ни холод, ни голод, ни чорная ночь в горах!

Старик Ламприди и на это ответил с улыбкой:

— Вы граждане свободного царства; люди гордые, образованные, самолюбивые... А мы люди скромные, «райя», в великие политические дела не мешаемся; заботимся о хлебе насущном, о том, как нашему *аге* подати платить и чтоб *ага* нас не бил. Вот теперь уже меньше бьет... Спасибо доброму соседу — северному, который все советы *аге* дает; а в 29 году и поближе приходил взглянуть на друга... Спросил: как живешь, друг? Живи хорошо, душа моя, и ушел. Ага с тех пор поумнел и окреп даже. Подданные благословляют его; трудятся, работают,

богатеют, кушают спокойно с супругами и деточками своими... и молятся за агу...

Вся семья смеялась, слушая старика; стал смеяться и Алкивиад, но ушел домой опять недовольный. Благодушие Аспазии, глубокий сон ее воображения приводили его в отчаяние.

Молодая женщина, казалось, не искала и не желала ничего; ни о чем не мечтала, и если иногда и жаловалась, то лишь на то, что ей не совсем здоровится и что вообще она не крепка и не сильна. Раз она сказала Алкивиаду, что она не надеется долго прожить...

— Тебе бы надо иную жизнь, — сказал ей Алкивиад. — Тебе бы нужны были развлечения.

— Какие развлечения? — спросила Аспазия.

— Поехать бы тебе в Афины, видеть свет, театр, прогулки, оживленный город. Подышать воздухом свободы. Показать и другим людям, показать свободным эллинам, какие цветки расцветают в глуши эпирских гор... Кто знает, — прибавил он шутя, — когда юноши эллины увидят, какие цветочки родятся здесь, то эта мысль воодушевит их, и часом раньше и здесь будет Греция.

Взгляд и румянец Аспазии говорили, что эти похвалы и шутки ей сладки; но слова ее и на этот раз дышали равнодушием.

— Не для нас такая роскошь, — ответила она спокойно.

— Однако неужели ты не подумала о том, что жить, как ты живешь, не значит жить. Подумай же: целые года... года! ты ходишь из спальни в столовую; от очага к столу и от стола к кровати... Весь мір для тебя в этих двух комнатах; ты даже никогда не гуляешь.

— Что̀ я буду гулять, — сказала Аспазия, — мостовая нехороша; дороги трудные, гористые; зимой дождь и холод; летом жарко... И с кем я буду гулять? наш Николаки не любит ходить; матушка стара и тяготится; сестрам обычай не позволяет — они уж велики...

— Чего же ты желаешь? Неужели ничего?

— Ничего! — сказала Аспазия.

Другой раз, оставшись с ней, наконец, наедине, он спросил у нее:

— Неужели ты не любила и не будешь никого любить?

— Я любила, ты знаешь, мужа. Бог взял его у меня. Это мое несчастие. Кого я буду любить?

— Неужели, Аспазия, ты понимаешь только ту любовь, которая разрешена законом?

— А то какая же еще? — спросила Аспазия и потом, краснея, прибавила с неожиданною прямотой:

— Если ты хочешь иной любви, ищи ее в том предместье, знаешь, где живет *Аише* и ей подобные... В хорошем доме ты иной любви здесь не найдешь...

После этого ответа Алкивиад долго не возобновлял разговора о любви. Он боялся оскорбить Аспазию и, отчаявшись в успехе *простого каприза*, стал думать все больше и больше о браке.

XIV

Любовь, которой первые, то сладкие, то бурные движения ощущал в себе Алкивиад, не могла отвлечь его вполне от драгоценных всякому греку политических размышлений. Он то интересовался ролью, которую родные его и другие христиане играли в Турции, то хотел выведать их образ мыслей, то передать им свой. Ему скоро пришлось заметить большой разлад во мнениях между ним и семьей дяди, где не только сердцами, но и мнениями были все заодно. Сыновья покорно и искренно внимали отцу; он видел больше их, испытал гораздо больше смолоду и книгами больше их занимался. Он помнил борьбу за независимость, он пережил сам опасные минуты, он путешествовал по торговым делам и в России и в западной Европе, видел народные смятения в Вене и Париже; гораздо лучше сыновей знал по-французски и

по-итальянски, знал хорошо и по-турецки, а сыновья не знали.

Он свободно умел переходить от речи простой и деревенской к речи почти ораторской и ученой; знал также хорошо грубую пословицу горную, как и цитату из Демосфена или Фукидида.

Был недурно знаком и со старым турецким шериатом, и с новыми турецкими уставами, а каноническое право православной церкви знал так хорошо, что митрополит не мог кончить без него ни одного важного дела.

Еще и прежде, когда решения турецкого кади были гораздо своевольнее, чем теперь, кир-Христаки один из всех христиан умел склонять кади на свою сторону и не раз вынуждал их рвать уже написанные решения.

Алкивиад видел, что дядя, благодаря осторожности своей и политическому миролюбию, приобрел такую силу, что мог и бедным людям делать много добра. Он давал им иногда деньги взаймы (конечно, на проценты); принимал на себя и поручительство за многих и в денежных обязательствах, и в тех случаях, когда Порта нравственно не знала, довериться ли ей человеку. Он выпрашивал людей к праздникам из тюрьмы или совсем выручал их оттуда. К нему приходили с просьбами не только христиане, но и турки. Один хлопотал об отсрочке долга своего другому торговцу, который не мог не уступить господину Ламприди; другой просил похлопотать о повышении в офицеры из простых жандармов. Алкивиад сам видел, как молодой турецкий солдат, премилый и преумный юноша, целовал руки Христаки и прикладывал их ко лбу своему за то, что тот выхлопотал ему от начальства долгий отпуск в деревню, чтобы видеть старую мать и выдать замуж сестру.

Заметил и сам Алкивиад и стороной узнал, что кир-Христаки несправедлив лишь в одном случае — он не мог выносить, чтобы бакал, пастух или погоньщик смел судиться у турок с архонтом; как бы ни было дело право, кир-Христаки употреблял все усилия, чтобы доказать простолюдину, как тщетны его надежды. Но когда при-

ходилось разбирать дело двух людей низшего положения или двух архонтов друг с другом, г. Ламприди становился правдив и неподкупен. Так же неподкупен и правдив был он и в делах между людьми разной веры и породы, между евреем и греком, между греком и турком, между турком и евреем. Ему нужно было только одно — чтобы бакал, пастух, погоньщик и земледелец не забывали своего старого страха перед архонтами и своего уважения к большим очагам, «где и котел в кухне никогда не перестает кипеть».

Это афинскому юноше казалось ужасным и непростительным.

Не нравились ему и политические взгляды дяди и двоюродных братьев. Разница между отцом и сыновьями была только та, что сыновья иногда говорили смело против турок, а отец никогда даже и в семье открыто Турцию не корил. Но и он сам, и сыновья были приверженцами России и в нее только верили.

Эллинскую конституцию они все трое осуждали чаще, чем деспотизм султанов, и с негодованием говорили о непрочности министров в Афинах и о пустых бреднях афинских адвокатов и газетчиков.

Раз глухой насмешливо сказал Алкивиаду:

— Не забудь и нас бедных *райя*, когда будешь министром свободной Эллады. Скоро будешь, будь покоен! При вашей анархии долго ли стать министром?

— То, что̀ вы зовете анархией, мы зовем свободой и жизнью, и во имя свободы надо терпеть и некоторое зло. Кто не любит свободы, тот не грек.

Так возразил Алкивиад, но старик Ламприди на это сказал:

— Византийцы тоже были греки, а о свободе не заботились много.

Алкивиад решился на это сказать дяде колкость.

— Тебе хочется стать пашой, я вижу это, дядя...

Говоря это, он сам немного смутился, полагая, что дядя обидится. Но кир-Христаки отвечал, не сердясь, что это

еще не большое зло, если б его и подобных ему стали делать турки пашами.

— Я думаю, и стране, и народу будет больше блага от таких пашей, как мы, чем от ваших адвокатов и газетчиков...

Потом старик подумал и прибавил:

— Именно такой постепенный прогресс, постепенное уравнение прав и нужно. Надо, чтобы христианин в Турции был поставлен так, как был поставлен поляк в России; он имел все права, но не захотел удовлетворяться своим высоким положением, хотел завоевать пол-России, и буйство его наказано...

Алкивиада не раз уже возмущало то, что дядя предпочитал русских полякам; он не раз пытался возвразить ему на это, что если у поляков отнять право самобытности, то почему же должно оставить его за греками? Но всякий раз дядя тут же обличал его в противоречии с самим собою: «то примирение с Турцией, то бунт и свобода, — что̀ же мы выберем, наконец, по-вашему?»

— Нет, друг мой, — сказал он ему раз, — не так вы судите. Я понимаю вас; я вас жалею. Вы еще недавно принесли столько жертв, пролили столько драгоценной всем нам крови. Ум ваш помрачился, и вы, как потерянные, простираете руки ко всякому, на кого только не взглянете. Поверьте мне, друзья мои, естественный поток истории увлечет и вас в свое течение. Не будем предсказывать час и день падения великих царств. Сколько раз стояла Турция на краю гибели и сколько раз опять укреплялась. Пусть стоит она долго, лишь бы христиане заняли постепенно в ней ту роль, которая им подобает... Ты скажешь: «и мы говорим то же». Нет, вы не то говорите, вы хотите невозможного; вы хотите, чтобы каждый грек день и ночь искусно сочетал в уме своем наружную дружбу с тайною жаждой разрушения. Когда ты, юноша образованный и способный, так говоришь и хочешь возбуждать народную гордость, чего же можно ждать от множества тысяч людей, которые и ума твоего, и воспитания не

имеют, и плана такого сложного и глубокого постичь не в силах... Да! и я проповедую примирение с Турцией; но не мы с тобой двое составляем народ. И когда я возьму в расчет веру, предания и самые события, как они слагаются помимо нашей воли, я вижу, что примирение это не в руках Англии, не в руках этого изверга, которого посадили на свой престол безумные французы, а в руках того, за кого говорят и близость положения, и вера, и сила, и предания. Только двуглавый орел, дитя мое, может осенить мирно крылами своими эллинский крест и луну ислама... Султан Махмуд, мое дитя, понимал дела вернее, чем эти нынешние франки, Фуад покойный и другие... Только Россия, друг мой, может поручиться турку за грека и греку за турка... Без ее вмешательства доверия не восстановите... И о каком союзе вы говорите? О военном союзе? Пусть будет по-вашему. Объявите вместе с Англией и Турцией войну русским. Пусть какой-нибудь министр ваш достигнет этой цели, пусть выйдут в поле *Хассан* и *Яни* вместе против *Иванов*... Но ведь и ты, и министр твой естественных чувств не убьете в народе; не убьете в нем веру; он скажет: это грех; и солдат бросит ружье, и офицер, поверь мне, сломает с негодованием свою шпагу...

Не нравились Алкивиаду такие мысли; не нравилось ему многое в Эпире; не нравилось ему то, что митрополит садится на официальных празднествах ниже простого кади и что люди выносят это... Не нравилось, что мало шума в городе; не нравилось, что простые люди слишком почтительны к старшим и богатым; поклоны их, хотя и очень изящные и полные внутреннего достоинства, ему казались низкими. Еще не нравилось ему (и в этом он был, конечно, прав), что купцы, учителя и другие люди с влиянием и весом зовут своих же простых греков — звери дикие и не ценят их качеств...

Нестерпимы были ему иногда все эти вопросы о здоровье и долгие разговоры о погоде; не любил он слишком торговый дух своих соотечественников и часто открыто роптал на него...

Не нравилось кой-что ему и в частной жизни здешних людей, особенно, когда ему самому это было неудобно и невыгодно. Не нравился ему, например, донельзя обычай эпирских вдов — носить столько лет после мужа одни лишь темные цвета, почти не выходить из дома, не посещать даже церквей.

Еще участь молодых вдов, таких, как Аспазия, могла перемениться от нового замужества; но вдовы пожилые были до гроба осуждены общественным мнением носить один чорный цвет и не покидать жилища своего ни в каком случае: ни для пира дружеского, ни для свадьбы близкого, ни для молитв, ни для простой прогулки, разве-разве для посещения больного и умирающего.

Женщины эпирских городов и не роптали на это... Мужчины хвалят этот обычай, и когда однажды Алкивиад осуждал этот обычай при старике Парасхо, — Парасхо, выслушав взрыв его негодования, ответил ему сурово:

— Хороший обычай! прекрасный обычай! Обычай хранительный для светской семьи! Каков бы ни был супруг, добрый или злой, супруга знает, что она наслаждаться жизнью может лишь до тех пор, пока существует супруг... Она знает, что с его смертью для нее закрыто все... Да! она знает это, и как бы ни был с ней супруг суров или жесток, она молится о продлении его жизни!..

— Храни, храни народное, — прибавил еще старик, вздыхая и качая головой. — Народное — святыня!..

— Так после этого, — воскликнул Алкивиад, — нам остается один шаг до самосожжения индийских вдов!..

— Нам до этого еще далеко, — ответил старичок.

Алкивиад уговаривал Аспазию, по крайней мере, гулять для здоровья. Доктор, который лечил Ламприди, поддерживал Алкивиада.

У Аспазии был свой апельсинный сад на конце города. Он достался на ее долю после смерти мужа и давал недурной доход. Но Аспазия не видала его ни при жизни мужа, ни вдовой.

Раз в месяц приходил к Аспазии садовник, докладывал ей, как цветет сад, как созревают плоды или как идет их сбыт; приносил букет цветов, узел апельсинов и лимонов или две-три золотых *лиры* за продажу фруктов... Аспазия осматривала апельсины, разрезывала их, смотрела, не испортились ли они от холодов, считала деньги; давала садовнику небольшую награду, а сама в сад все-таки не шла.

Алкивиад в этом саду был несколько раз, несмотря на зимнее время; имел там гостей у садовника; лежал на рогожке подолгу под тенью прекрасных деревьев, обремененных и в это суровое время года плодами; мечтал о любви, о судьбах отчизны.

Туда несколько раз умолял он пойти Аспазию. Один вечер он был так красноречив, приводил столько хороших примеров, так настращал Аспазию словами доктора, который жалел, что все почти молодые женщины в Эпире бледны и слабы от затворнической жизни, что Аспазия поколебалась. Отец поддержал Алкивиада.

— Для здоровья и церковь разрешает нарушать посты, — сказал он. — А в прогулке что̀ дурного? Это наше местное безумие и больше ничего.

Мало-помалу после разрешения отцовского все стали собираться на прогулку, если завтрашним утром будет хорошая погода. Все, кроме отца, который должен был заседать в меджлисе, и двух младших дочерей, которым обычай дозволял только изредка и по вечерам выходить в гости к близким родным. Мать спросила у мужа: «в котором году бунтовался в Эпире Гиони-Лекка?», и когда муж сказал: «в сорок восьмом году», она сочла года, протекшие с тех пор, и, вздохнув, с улыбкой покачала головой: «Точно вчера это было! С тех пор я и в садах не была. Покойный поп Георгий (да упокоит Господь его душу!) встретился с нами там. Сам он был ведь человек семейный и нашу семью любил. Муж тогда в Константинополь поехал; меня уговорила идти гулять покойная сестра; а поп Георгий и встретился. Любил шутить он и говорит: „Что̀, — говорит, — кира? Гуляешь с тоски по мужу? И то сказать,

след ли человеку жену законную зимой одну оставлять... Зимой теплота нужна всякому рабу Божию". Чуть мы было от смеху не померли все... Вот двадцать один год с тех пор прошло, и не видала я этих садов».

Алкивиад не совсем был доволен, что и тетка собралась идти. Он рассчитывал, что пойдут только Николаки с женой и Аспазия. При Николаки одном было бы свободнее. Николаки считался в Рапезе нововводителем; он позволял себе ходить по улицам с женой под руку, тогда как и не под руку с женами вместе ходить днем по улицам без крайней нужды избегают в Эпире. Хаживал вместе с женой и по утрам не раз с визитами; хотя и это тоже не в обычае. По обычаю, молодая жена должна делать визиты с тещей или с другою пожилою дамой; а если тещи нет, то с «*параманой*», старушкой нянькой или кухаркой.

Всякий знает: если идет молодая архонтиса в шолковом платье, и платочек новенький, вышитый золотом или шолком, на голове, а рядом старушка в чорном бумажном платье и в чорном простом платочке на голове, — всякий тогда видит и знает, что архонтиса молодая идет «*сделать посещение в честный дом*». И всякий, кто кланяется ей, думает: «Хорошая женщина! Хорошая супруга! Хозяйка женщина, исполненная добродетелей!»

Николаки считался поэтому в таких делах нововводителем и раз даже позволил, по примеру русского консула, посетившего как-то Рапезу, поставить жену в церкви внизу с мужчинами, возле себя, вместо того, чтоб отправить ее на хоры, где за решетчатою перегородкой, как в гареме, стоят все хорошие женщины. Но это он сделал только раз; жена его была красива; она чувствовала взоры паликаров, не могла спокойно молиться и уже с тех пор ни разу не спускалась вниз к мужу...

Рассчитывая на это, Алкивиад уже рисовал себе картину. По городу Николаки пойдет под руку с женой. Аспазия и он сам пойдут около них или вперед особо каждый. Иначе, конечно, Аспазия согласиться не может; но за городом, когда никого не будет видно, он непре-

менно возьмет Аспазию под руку и пустит молодых супругов вперед. Тогда, вдали от всякого надзора, он и руку пожмет покрепче, и слово иное скажет, быть может, и поцелует, сперва насильно, где-нибудь за поворотом, за скалой, за деревьями. А потом уже и не насильно!..

С этими мыслями он и заснул приятнее, чем когда-либо, не теряя надежды, что старушка еще раздумает и не будет мешать им.

Но эти надежды не сбылись. Рано утром, едва только он проснулся, Алкивиад увидал, что по улице идет к нему в халате и вязаной ермолке Николаки.

Он отворил окно и спросил его:

— Что̀ нового? Идем или не идем?

— Подожди! — ответил ему Николаки задумчиво. И больше ничего с улицы не хотел сказать.

В комнате он тотчас же разразился проклятиями на беспорядки, которым нет конца в Турции, несмотря на то, что новый вали-паша берет, казалось бы, хорошие и строгие меры.

На рассвете, около самого сада Аспазии, нашли тело убитого молодого поселянина. Сначала думали, что он убит не разбойниками, а из личной мести или в ссоре с кем-нибудь из своих же, потому что убит он был, — не застрелен и не зарезан, а задушен и забит до смерти чем-то тупым. Потом поймали между большими камнями осла, на котором было одно лишь деревянное седло. Люди, которые знали молодого человека, сказали, что осел этот его, что он обыкновенно привозил в город дрова, уголья, а иногда и более ценные вещи на трех-четырех ослах. Значит двух или трех ослов увели вместе с навьюченным добром, а этот осел, тоже развьюченный, как-нибудь вырвался и убежал.

Это уж на простую ссору или на месть не похоже.

Николаки, однако, подозревал не разбойников, не Салаяни, не фессалийскую шайку какую-нибудь, которая могла неожиданно пробраться и сюда, не Дэли, который, как слышно, бедных поселян не убивал и даже не грабил. Он подозревал или албанцев-мусульман, из которых постепенно набирались в то время охотники для новой погра-

ничной стражи, или же прежних баши-бузуков, которые недовольны тем, что их распустили и лишили их и казенных «*пайков*», и всякой возможности вступить с разбойниками в братские соглашения и делить с ними добычу, для вида гоняясь за ними.

Николаки был вне себя от гнева, кричал и проклинал и хидудье, и баши-бузуков, всех турок и даже эллинов, за то, что они еще хуже турок потворствуют разбою на границах Эпира и Акарнании...

— Ваши проклятые чернильщики афинские виноваты больше турок, — говорил он... — Вместо того чтобы с Турцией заключить политические союзы... лучше бы точнее исполняли взаимные обязательства о выдаче разбойников и других злодеев. Не хуже вас и мы эллины, а иной раз с охотой послал бы я вам в наказанье английскую эскадру в Пирей, либо казака с кнутом на ваших адвокатов и газетчиков!.. Смотри, не жалость разве? Что̀ за мальчик хороший был этот деревенский! Честный, смирный был мальчик, бедный! Да успокоит Господь Бог его невинную душу!.. Честным людям и на свете нельзя так жить!..

Алкивиад вместе с Николаки пожалел о мальчике, и когда тот немного успокоился, он спросил его:

— А гулять не пойдем разве?

— Хорошее гулянье! — ответил Николаки. — Поди уговори жену мою и Аспазию к этому месту теперь... Увидишь, что они тебе скажут... Я с тобой пожалуй пойду и место тебе покажу, где человека убили.

Алкивиад еще надеялся уговорить женщин сам, но Аспазия отвечала, что боится и не пойдет за город без вооруженных людей, и прогулка была надолго отложена.

XV

Вскоре Алкивиад узнал, что у него есть соперник.

В Рапезе жил молодой архонт по имени Яни Петала́. Ему было около 30, и, несмотря на это, отцы семейств и

даже молодые женщины звали его всегда *то пэди́*, то есть дитя, мальчик, потому только, что он был холост. Он был очень богат; жил вдвоем со старухой матерью, которая страдала ногами и почти не сходила с кресла, привставая лишь для самых важных лиц.

Собой, по мнению Алкивиада, он был очень противен. Лицо его было бледное, изнуренное; под глазами синяки; выражение суровое, недоброе, длинные жесткие усы, глаза навыкате; бороду брил он только раза два в неделю; одевался грязно и бедно (конечно, во франкское платье); даже феска его всегда была стара.

— Экономический человек! Хозяин! — говорили про него архонты.

— Да, — подтверждали архонтисы, — Бог в утешение дал матери больной такого сына.

Все считали его дельцом. Он так же, как и кир-Христаки, дружен был со многими турецкими беями и чиновниками. Давал им взаймы деньги и держал их этим в руках. «Кир-Янаки! кир-Янаки!» звали его турки и хвалили его. Через это и он мог иногда делать добро своим. Однажды, гуляя с Алкивиадом, зашли они на горку, под которой стояла непроходимая грязь. Им не хотелось идти через эту грязь; Петала позвал одного ремесленника грека, велел ему разобрать ограду из колючих растений в чьем-то чужом саду, чтобы пройти чрез него, и опять забрать ограду за ними.

— Чужой сад! — сказал Алкивиад.

— Ба! Это ничего, — отвечал Петала. — Я знаю хозяина; он бедный человек, башмачник.

— Разве бедность его дает нам право ломать его ограды? — спросил Алкивиад.

— Дает, потому что и он во мне нуждается. Он знает, что завтра, послезавтра я могу его освободить из тюрьмы или сделать еще что-нибудь для него полезное.

Алкивиад не возражал на это; он и сам был рад спасти от грязи свои афинские ботинки; но все, что̀ бы ни делал, ни говорил этот человек, ему было противно.

Ему было противно, когда он слышал, что Петалу называли *пэди* и, как ему казалось, искажали значение этого ласкательного слова, называя им грубого и грязного тридцатилетнего архонта. Не нравилось ему также, когда Петалу звали поликаром. Какой же он паликар? На вид неуклюж и грязен, боязлив. С тех пор как разбой стал сильнее около Рапезы, в имение свое не ездит, на охоту за город ходить боится. Такие ли бывают паликары? Сам Алкивиад паликар — другое дело. Скачет верхом каждый день далеко по горным тропинкам, иногда до самой Петы; собой красив, моложав и свеж, как девушка, ловок и умен.

А звать Петалу *паликаром* и *пэди* — это не имеет смысла. Иные в городе находят Яни Петалу не только паликаром и пэди, не только дельцом и образованным человеком хорошей фамилии, но еще и очень остроумным человеком.

Алкивиад старался понять, в чем же его остроумие; замечал, чему смеются люди, когда он говорит.

Иногда к Алкивиаду заходили вместе с Яни Петала и другие молодые люди, сыновья докторов, купцов, священников городских и учителей, все люди «хорошие», «лучшего общества»; пели (притворив окна) патриотические песни, шутили и беседовали. Алкивиад прислушивался к остроумию их.

— Молчи, молчи! — говорил Петала приятелю, — я посажу тебя на телеграфную проволоку, и мы тебя будем с двух сторон бить хлыстами, и ты так верхом до Янины доедешь!

Все хохотали.

— Где он находит все это, этот человек! — восклицали собеседники.

Один из источников остроумия Петалы Алкивиад, однако, скоро нашел. Петала и сам не скрывал его.

Это была книжка, которая вышла недавно в Константинополе под заглавием: «Орнито-скали́змата», что̀ значит «Куриное скобление», то есть автор роется в житейском прахе и выскабливает всякую мелочь для осмеяния порока.

Книжка эта составлена в виде букваря, по алфавиту, и каждое слово имеет определение ядовитое и тонкое, по мнению многих греков.

Русский (например) значит — *человек, который бьет свою жену, своего слугу и своего осла.*

Эллины — народ, знаменитый своим согласием.

Женщины — потомки Евы.

Лягушки — соловей озера.

Книги — вещи, распространяющие торговлю бумагой.

Придворный — смотри слово *льстец.*

Разврат — дитя роскоши и т. п.

Петала не скрывал этой книги, не выдавал ее ум за свой, а напротив того, носил ее с собою всюду и прочитывал из нее отрывки охотно всем.

Алкивиад все-таки был слишком образован, чтобы не возмущаться «куриным скоблением» и не находить с досадой, что и в отношении забавности простодушный Тодори и всякий простой эпирот гораздо лучше своих соотчичей богатого круга, настолько же выше и забавнее беседой, насколько он выше их смелостью и горячим чувством веры и народности.

«Куриным скоблением» Петала еще больше опротивел Алкивиаду. Догадаться, однако, сам, что Петала ему соперник, Алкивиад долго не мог. Самые нравы были таковы, что ничего не могло быть заметного. Петала нередко бывал у Ламприди, но он за Аспазией не ухаживал, почти никогда с ней не говорил, а если говорил, как со всеми, о вещах самых обыкновенных, так что и в голову ничего прийти не могло.

Первое подозрение о том, что Петала ему соперник, подали разговоры самой семьи Ламприди. Однажды, когда Аспазия была в комнате невестки, у очага собрались отец, мать Ламприди, глухой сын, Николаки и Цици.

Алкивиад вошел и застал их за оживленным разговором. Даже глухой принимал в нем участие. Для него нарочно все изменяли голос и шептали, стараясь делать движения губ как можно выразительнее.

Николаки не прекратил разговора при Алкивиаде, и сама старушка обратилась к нему с вопросом:

— Каким ты человеком считаешь Яни Петалу?

— Худым человеком, — сказал Алкивиад.

— Чем же он так худ? — спросила старушка как будто и с досадой.

Алкивиад хотел узнать, отчего говорят о Петале.

— Так, — сказали ему. — Зашел разговор: что̀ он за человек.

— Я говорю, что он хороший паликар! — сказала мать.

— В чем же хороший? — спросил Алкивиад с недобрым чувством.

— Он у нас из первой здесь семьи, — сказала мать.

Отец, однако, который был очень горд тем, что еще при Али-паше дом Ламприди был известен, заметил на это, что семья Петала не так-то первая. Отец его был простая деревенщина из-за гор и в Валахии разжился.

— Имеют теперь состояние! — сказала мать. — Я ведь и не равняла их с нашею семьей или с другими большими очагами. Я говорю, что̀ теперь они имеют, и лучшего палакира в нашей стороне не найдешь.

— С этим я соглашаюсь вполне, — сказал старик.

Николаки стал требовать от Алкивиада, чтоб он сказал, какие недостатки у Петалы. Алкивиад об «Орнитоскализмата» умолчал, потому что и Николаки, и отец его оба уважали эту книжку и звали автора ее «демон», но стал говорить, что Петала неопрятен, скуп, лукав и трус.

— Он не скуп, но экономен, — сказал старик, — торговец человек, хозяин. Торговля — это душа народной и государственной жизни.

Николаки перебил отца (он сам не всегда любил застегивать панталоны; любил и по гостям ходить без галстуха и за обедом ел прямо с блюда, разливая соус на скатерть); он вступился за неопрятность Петалы.

— Он человек деловой, занят с утра до̀ вечера. Ему некогда вашими деликатностями заниматься, цилиндр на голове носить и перчатки на руках...

Глухой захотел знать тоже в чем дело. Но когда ему сказали губами, о каких пустяках заботится Алкивиад, он махнул рукой на него и ушел в свою контору.

Неприятнее же всего были возражения отца и сына Ламприди на обвинения в трусости, которые возводил Алкивиад на Петалу.

— Конечно, — сказал Николаки, — он по горам не скачет один и разбойников опасается; но в этом ничего нет худого. Он человек с состоянием и знает, что его Салаяни схватит и возьмет большой выкуп. И какая польза в такой храбрости? Но что умеет быть мужественным, когда нужно, так у нас есть и пример. Недавно в глухой стороне города, за казармой, солдаты турецкие отняли у одной бедной старухи большой кусок сукна, который она несла, бедная, домой. Петала гулял в это время около казармы с другими молодыми людьми. Он услыхал крик старухи, узнал в чем дело, кинулся один в толпу солдат, разогнал их, отнял сукно и грозился сейчас же пойти к каймакаму вместе со старухой... Солдаты просили у него за товарища прощения. Это полезное мужество... Пусть за город никогда не ездит и не ходит, пусть боится разбойников и пусть почаще приносит такую пользу бедным соотечественникам своим, какую он принес этой женщине!

Кир-Христаки согласился с этим и хвалил Петалу.

— Что говорить! — сказал он. — Сказано, он человек каким следует быть...

Алкивиад попробовал, возвратившись вечером домой, узнать мнение Парасхо о Петале, но этот почтенный старец не сказал о нем ни особого худа, ни добра. «И худ, и хорош, смотря по обстоятельствам!» — заметил он только, но потом прибавил: «А слышал ты, что за него хотят отдать Аспазию?.. Невестка Николакина и старуха сама мать много стараются; но мать Петалы — на! Железо-женщина. Хочет кроме сада еще тысячу лир приданого; а семья Ламприди 700 предлагает. Дело и стало на этом несогласии». Как ни был Алкивиад возмущен тою мыслию, что его можно мерить одним аршином с таким *хама-*

*лом** (так звал он иногда Петалу), но что же было делать? Надо бороться и с хамалом, если он соперник...

— Но нет! возможно ли, чтобы милая Аспазия предпочла Петалу?..

Чорные бархатные очи, румяное, нежное, молодое лицо, отвага, ловкость, одежда модная, голос приятный, шелковистая борода, стихи... любезность, патриотизм... Разве возможно, чтобы молодая женщина не видала и не ценила всего этого?..

Какой же Петала соперник? Не надо и унижать себя такими сравнениями.

XVI

Вскоре после этого один случай навел старика Христаки на следы Салаяни. В знаменитом воинскими подвигами во время восстаний селе Вувусе жили вместе двое братьев — капитан Анастасий Сульйо и младший брат его Панайоти, которого чаще звали Пан-Дмитриу, то есть Панайоти, сын Дмитрия.

Они оба были женаты во второй раз. Капитану Сульйо было теперь уже за пятьдесят лет, а младшему брату не было еще и сорока. Старший брат овдовел рано и имел лишь одного сына, — молодца, каких мало. Лет двенадцать тому назад сыну этому вздумалось без всякой обиды от кого-нибудь, без всякой причины позабавиться с разбойниками. Ни зла, казалось, юноша никому не желал, и ему никто не делал зла; но он познакомился с разбойниками, и понравилась ему бродячая эта и лихая жизнь... Приметил это отец и стал его стращать и отговаривать. Молодец не послушался и убежал в горы. Паша тогда был строгий и искусный, «такой паша (говорил с почтением сам старый капитан), что младенцы в утробе матери от взгляда его дрожали!» Разбойников скоро поймали. Из

* *Хамал* — носильщик, грубый человек.

них двое были турки-арнауты, а трое — греки. С ними вместе схватили и сына капитана Сульйо, который не успел и вреда никакого сделать.

Любил паша торжества и парады; любил, чтобы на него народ смотрел и видел бы, как он казнит злодеев. Он выехал сам навстречу разбойникам и въезжал назад в город верхом с войском и барабанным боем, и говорил даже народу, и туркам, и грекам, указывая на связанных преступников: «Видите, люди, как я воров и злодеев ловлю! Смотрите и вы все живите хорошо у меня!»

Вели по городу так и бедного сына капитана Сульйо; судили его и присудили вместе с другими повесить, на страх и пример.

Плакал капитан и деньги большие, по своим силам, предлагал, и пашу самого умолял пощадить единственного сына его.

Паша, слушая капитана, был тронут (все заметили это). Но что ж было делать! Он хотел показать строгий пример, и юношу Сульйо повесили вместе с другими.

Отец тогда отер отцовские слезы и стал опять паликаром, каким и был всегда.

Он пошел смотреть, как казнили сына. Смотрел не отворачиваясь и, уходя с места казни, сказал при друзьях:

— Не посрамил ты хоть имени нашего эллинского, и то хорошо! Вещи свои людям дарил, и оттолкнул ты сам стул ногой, когда надели тебе петлю, дитя мое! И то хорошо!

Он узнал также, что один из престарелых шейхов мусульманских предлагал сыну перейти в мусульманство и обещал ему за это тайно спасти его. Сожалея о его молодости и красоте, он просил и уговаривал его как только мог, и не достиг ничего.

— Нельзя нам христианской веры менять! — отвечал юноша на все его уговоры.

Прошло несколько лет; капитан Сульйо стал привыкать, но все еще тосковал. Пришел он раз по делу к паше, и паша его вспомнил и принял хорошо.

— Нет у тебя детей вовсе? — спросил он капитана.

И когда капитан ответил, что нет, паша сказал ему:

— Так Богу было угодно, бедный Анастасий. Что делать! Ни я, ни ты в этом суде не виноваты, а судьба наша. А ты бы женился опять, и будут дети. Без детей что̀ за жизнь человеку!

Взялся сам паша искать для Анастасия жену.

— Не ищите ему богатую, а хорошую; деньги у него есть, — говорил паша.

И жена паши, зная все это дело от мужа, жалела капитана. И она взялась помогать; разослали по разным домам старух: и турчанок, и христианок, и арабок, отыскали разных невест. Но больше всего понравилась сиротка одна, семнадцати лет, дочь одного умершего бакала, которая жила вдвоем с теткой в маленьком доме в предместье.

Собой была она мила и нравом тихая, и кроме приданого, которое у нее было, паша еще выхлопотал чрез митрополита, чтоб ей из общественных сумм тридцать золотых лир дали.

— Горожанка она! — сказал капитан паше. — Работа у нас в селах тяжелая.

— Я тебе горе сделал, я и радость хочу тебе причинить, слушай меня, капитане! — сказал паша.

Сульйо оделся в хорошее платье, усы подкрутил и пошел смотреть молодую невесту. Кровь у него была не стара еще, и как он увидал ее, когда она вынесла ему на подносе варенье и сперва, опустив глаза, долго стояла пред ним, пока он брал варенье и говорил с теткой, а потом, поклонясь ему, стала отходить задом и взглянула ему прямо в его капитанские глаза глазами девичьими и покраснела, тогда старый Сульйо забыл, что она не привычна к сельской работе.

Уговорились обо всем с теткой; невесту опять позвали; она поцеловала руку жениха, а жених превеселый пошел и у паши полу поцеловал.

Паша любил таких старых капитанов-молодцов и сказал, когда Сульйо ушел, другим туркам:

— Хороший человек! И что̀ за мошенники эти греки, что не хотят ладно с нами жить! А мы бы жили с ними хорошо, когда бы не они.

— Московские дела, эффендим, — заметил ему другой турок.

— Грекам и Москва не нужна! Они много хуже Московы, — отвечал паша.

Обвенчался старый капитан с молодою Василики́, и стали они жить хорошо. Василики оделась по-деревенски и стала работать землю под виноградник не хуже других, за домом смотрела еще лучше, потому что в городе привыкла к большой чистоте. Двух мальчиков подряд родила капитану и одну девочку. Сердился капитан, Василики слушалась и молчала; худо об ней не говорил никто. Не любила она только, когда капитан сначала кричал ей: «Васи́ло!»

— Не говори ты мне так, — просила она его, — не обижай ты меня. Я сирота, и ты меня такою взял.

Капитан жалел и спрашивал:

— Как же тебя, *море́*, звать, скажи ты мне, бедная твоя голова!

— Зови ты меня *Василики*, а не *Васило*. Васило, это по-сельски, а я не сельская.

— Это ведь гордость, — возражал капитан, но в угоду ей звал ее так, как она хотела. Иногда при людях близких он нарочно кричал громко и сурово:

— Васило, иди сюда!

Жена молчала в другой комнате и не шла...

— Кира-Василики, пожалуйте сюда! — говорил капитан тихо и подмигивая гостям.

И Василики тогда приходила.

Младший брат капитана, Пан-Дмитриу, женился во второй раз недавно, на девушке очень красивой: она гораздо красивее старшей невестки. Звали ее Александра; ростом она была высокая, белая, чернобровая и черноглазая, а волосы были у ней белокурые. В песнях эпирских таких точно девушек и хвалят...

«Она белокурая и черноглазая», хвалит песня, «брови ее как снурки, глаза как оливки, а волосы светлые, длиной в сорок пять аршин». И Пан-Дмитриу женился не просто, а были и с ним сначала всякие приключения.

Ему было тогда не больше тридцати двух лет, и собой он был молодец, но Александре не нравился. Александре нравился другой, мальчик молодой, двадцати лет (а ей самой было тогда семнадцать). Девушки сельские свободнее городских в Эпире. Куда им прятаться, когда надо работать в поле, топливо мелкое рубить, виноградники копать, виноград собирать!.. Говорили все про Александру, что она любила молодого поповского сынка Григорья, и будто, когда встретит его в поле, сама заговорит с ним и скажет ему: «душка моя! очи ты мои! *взяла бы я на себя все твое худо!*» Либо колпачок новый белый ему обещает сама вышить густо по краю.

Пан-Дмитриу сватался за Александру; но она не хотела, а родители не принуждали ее; и она раз осмелилась так, что сказала ему:

— Молчи ты у меня, несчастный. Я не возьму тебя мужем. Ты изломанный!

— Чем же я изломанный? — спросил Пан-Дмитриу и удивился.

Все видели, что он собой молодец, а так, видно, с досады девушка сказала, чтоб его обидеть.

— Покажу я тебе, какой я изломанный! — сказал Пан-Дмитриу.

Вышел раз за деревню и отыскал Александру в винограднике одну. Поймал ее; рот ей зажал и обрезал ей волоса.

— Чтобы знала ты, какой я изломанный!

Другие крестьяне все вступились за девушку и отвели Пан-Дмитриу в город в тюрьму. В тюрьме продержали его три месяца, и опять же кир-Христаки его оттуда выручил.

Добился, однако, Пан-Дмитриу, что Александра вышла за него замуж. Он был богаче ее родных; у него баранов было больше, и земли они с братом от кир-Хрис-

таки держали много (потому что Вувуса была чифтликом у кир-Христаки).

Когда женился Пан-Дмитриу, Александра стала ему жена как жена, и жили они тоже хорошо, хоть ссорились почаще, чем капитан с Василики. И капитан был добрее брата, и Василики была гораздо смирнее Александры. Братья поделились в доме, списки составили, свидетелей и священника призвали. Капитан брату и главный двор уступил, а сам в другую сторону сделал себе выход; а баранов держали они еще вместе и другие торговые и хозяйские дела сообща почти всегда делали.

Около того времени, однако, как приехать Алкивиаду в Эпир, они начали ссориться, и люди посторонние говорили, что виноват Пан-Дмитриу больше, что он старшего брата не уважает.

Что̀ у них было сначала, трудно сказать, только Постом Великим приехал капитан Сульйо к кир-Христаки в Рапезу и стал просить его рассудить их с братом на месте.

— Брат, — говорил он, — тоже согласен, и что̀ ваше благородие скажет, то и будет. Не хотим мы и к митрополиту идти, а уж к кади и не советуйте нам, к кади не пойдем мы. Мы желаем, чтобы вы рассудили нас.

Кир-Христаки отговаривался и делом своим, и тем, что турки будут недовольны, зачем он судит людей.

— А главное, — сказал он наконец, — кто ж хороший человек из города теперь к вам деревенским поедет. Вы пристани держите разбойников и друзья с ними. Мне и жизнь и деньги мои дороги... Не войско же мне турецкое с собой брать?

Капитан божился, что ничего не будет; Алкивиаду хотелось съездить, Николаки тоже был не прочь, и они поддерживали капитана.

Капитан обещался выслать на самую реку сколько угодно вооруженных молодцов и сам готов был выйти с ними господам навстречу с ружьем и ятаганом, как следует, и проводить их от реки, через ущелья и скалы, до самой Вувусы. В город же самый прислать стражу из

сельских христиан, и сам кир-Христаки знал, что в глазах турок будет неприлично.

Выйдет это для каймакама оскорбительно, будто турецкое начальство не в силах защищать граждан. Взять же из города жандармов турецких тоже нехорошо, потому что не следует туркам видеть, как кир-Христаки патриархально сам судит. И зачем без крайней нужды турок мешать в дела?

Не ехать — опять нехорошо, зачем лишать себя популярности и влияния, особенно на тех крестьян, которые в его чифтликах* живут. Однако ему и шаг за город выехать было страшно без вооруженных людей. Поэтому решили так: взять с собой Тодори пешим без ружья, но с пистолетом и ножом за поясом, и еще своих мальчиков, чтоб около лошадей пешими шли и хоть в обуви ножи имели, и, кроме того, пригласить верхом одного богатого старика, который теперь служит кавассом при одном консульстве, *поклоненного* разбойника, того самого, которого кир-Христаки хвалил в своем письме Алкивиаду. Теперь он живет процентами и торговлей; дом имеет свой большой и кавассом лишь из чести и из безопасности служит.

Так решили это все; назначено было ехать в следующую пятницу утром, чтобы кир-Христаки свободен был от меджлиса, и капитан Сульйо простился и уехал.

XVII

В пятницу утром, как только ясное солнце рассеяло над городом и горами зимний туман, кир-Христаки, Николаки, его сын, Алкивиад и поклоненный разбойник Сотирий вы-

---

* *Чифтлик* — истинное значение этого турецкого слова относится преимущественно к тем большим имениям беев и купцов, на которых живут, не имея своей земли, крестьяне и платят за пользование известный процент владельцу. Иногда же так называют всякое загородное имение.

ехали из Рапезы верхами. Тодори, веселый-развеселый, шел впереди, показывая, где лучше ехать; а мальчики, тоже довольные, шли около господских лошадей: один около отца Ламприди, другой около сына. Все, конечно, ехали шагом. Только один Алкивиад, где было поровнее, пускался вихрем скакать вперед, напевая итальянские бравурные арии и опять вскачь возвращаясь назад.

Переехали реку вброд, и на той стороне встретили господ трое пеших вооруженных крестьян, и оба брата Сульйо на мулах и тоже с оружием.

Увидав около себя целую стражу, Николаки и отец его повеселели и стали шутить и беседовать с крестьянами.

Алкивиад уговаривал Николаки ехать вперед, и тот согласился. Впереди их шел только один молодой крестьянин, перекинув за плечи рукава, и шел так быстро по камням, что Алкивиад с Николаки не обгоняли его, несмотря на то, что ехали самым крупным шагом. Все другие отстали от них. Вувуса, которая из города и с реки была так хорошо видна, а потом скрылась за скалами, опять показалась вблизи, и молодые люди запели вместе клефтскую песню о старых битвах с турками в этих местах.

Пели они дружно и складно; Алкивиад старался сам подделаться, как мог лучше, под турецкий напев, и так доехали они до одного ручья.

На ручье увидали они двух женщин: старуху и молодую... Они мыли белье. Молодая обернулась лицом к всадникам и засмеялась.

— Вы поете песни о том, как мы воевали здесь, — сказала она. — Мы воюем, а вы только песни наши поете! Это хорошо!

— Вот какая смелая! — сказал Алкивиад.

— Отчего же мне смелой не быть? — спросила она.

— Как тебе не быть смелой, — сказал Алкивиад. — Вот Бог тебя какою красавицей сделал. Кто же ты такая, скажи нам?

Николаки тоже смеялся с ней и сказал Алкивиаду, что она и есть Александра, жена Пан-Дмитриу.

— А что̀, — спросил он, — косы отрасли с тех пор?

Красавица опять засмеялась громко и сказала:

— И ты о косах моих знаешь! Вот вы, горожане, какие люди... Заставила бы я вас виноградники копать, как мы копаем целые дни, тогда бы и руки у вас не были бы такие белые, как теперь... Мы воюем с турками, а вы песни о войне поете. Виноградники мы копаем, мы убиваемся, а вы только и знаете, что кушать виноград...

Николаки на эти строгие слова вынул душистый жасмин из петли сюртука своего и любезно подал его крестьянке...

— Это значит, ты мне понравилась! — сказал он.

— Это я тебе так понравилась? А ты понравился мне или нет? Уж как мне тебе на это сказать, и не знаю... Вот этот паликар лучше тебя, я думаю, будет, — отвечала она и указала на Алкивиада.

— У нас говорится пословица, — возразил Николаки, — когда овца брыкается — волку радость. Когда женщина бранит, значит полюбила!..

Скоро приблизились другие всадники и сам муж Александры. Молодые люди оставили ее и поехали дальше.

Алкивиад не мог воздержаться, чтобы не заметить, какая разница между деревенскими и городскими женщинами в Турции. «Насколько деревенские естественнее и свободнее!»

Приехали, наконец, в Вувусу, и, отдохнув немного, кир-Христаки начал судить и мирить двух братьев. Три часа длился этот суд и кончился примирением. Составился целый меджлис, в нем приняли участие два сельских священника. Николаки, Алкивиад и кавасс Сотири помогали тоже сколько могли. Увещания церковные, дружеские советы, законы турецкие и местные обычаи, совесть — ничто не было пренебрежено. Спор был большой. Капитан Сульйо жаловался, что Панайоти отпахивает у него всякий год ту землю, которую ему, старшему брату, завещал отец; Панайоти жаловался, что старший брат не отдал ему подноса, который остался от отца, что во время его отсутствия

не кормил его собаку. «А собака такая, пастушья, хорошая и ужасная, пять лир стоит, и турецкий старый закон говорит: кто убьет такую собаку у другого, тот должен заплатить хозяину столько денег, сколько стоит куча *проса* в рост собаки. Повесят мертвую собаку так, чтоб она ногами задними до земли касалась, вытянут ее, и сыплют семя, семя все обсыпается; когда сравнится куча с головой собаки? А просо — семя не дешевое! Вот что̀ такое эта собака!» — сказал Пан-Дмитриу. Жаловался еще меньшой брат, что когда делились они, то положил Сульйо заделать дверь и окна свои, которые выходили на двор брата, и не заделывает, и кира-Василики все подсматривает у них на дворе. Жаловался старший брат опять на запашку, вынимал отцовское завещание и читал: «а ту землю, которая от больших камней на дороге идет до большого дерева, *прунари** именуемого, отдаю старшему сыну моему Анастасию». Пан-Дмитриу возражал, что старший брат, с тех пор как был в Греции и привез оттуда греческий паспорт — уже не турецкий подданный; иностранцы же прав на недвижимость в Турции не имеют. Пан-Дмитриу жаловался, что капитан Сульйо его жену Александру худыми словами поносит и всячески грозит ей.

— За худые дела! — возражал старший брат.

Все это нужно распределить по статьям, разобрать и рассудить по совести, и кир-Христаки вел дело очень искусно. То хвалил братьев, что они прибегли к христианскому братскому суду вместо турецкого, то доказывал Пан-Дмитриу, что о собственности и он говорить не может, потому что Вувуса *чифтлик*, собственность его самого, кир-Христаки Ламприди, а они, селяне, имеют лишь право пользоваться плодами земли, что если говорить о турецком законе, то и сам он, кир-Христаки, может найти сотни причин удалить с земли своей их обоих. Стыдил Пан-Дмитриу за то, что он не чтит брата, который его выняньчил и в люди, как отец, вывел; стыдил и старика за

---

* *Прунари* — особый род дуба.

то, что он худыми словами Александру поносит. Ходил смотреть, где окно и где дверь на дворе, смотрел и собаку и велел с ней хорошо обращаться. Поднос отцовский решил отдать Пан-Дмитриу не по праву, а по совести, потому что у Василики, жены капитана, было и без того три своих подноса.

Не легко кончилось дело; оба брата горячились и сердились, кричали и утихали поочередно.

Капитан Сульйо еще был тише; когда кир-Христаки замечал ему: «Как же ты, друг, не понимаешь этого!» Сульйо вздыхал, склонялся и грустно стучал себя по лысой голове пальцем.

— Где ум? Где ум у нас, эффенди мой? Где ум наш, скажи ты мне! Где ум?

— Слушай, капитане, — говорили ему, — не кричи, а слушай.

— Не буду кричать, эффенди мой, не буду! Слушаю, слушаю!.. Как нам не слушать... Где ум? Где наш ум!

Когда Пан-Дмитриу начинал опять доказывать свои права на землю, капитан подмигивал судьям молча или вздыхал, указывая на свою грудь, где за жилетом было спрятано завещание, или шептал: «от камней до большого дерева — *прунари* именуемого».

Меньшой брат был и упорнее и необузданнее. Правда, старший брат сидел вместе с судьями, а он из почтения судился стоя, но зато он кричал громче, входил в исступление, прыгал то вперед, то назад, клялся, не внимал увещаниям.

Один раз Ламприди закричал на него:

— Если не хочешь слушать меня, к туркам иди!

А другой раз кавасс Сотири сказал ему:

— Друг мой, море́ друг мой, успокоился бы ты немного и говорил бы как человек; что это тебя как черви какие-то гложут? Так судить эффенди не может. Хорошо он сказал: иди к туркам!

И попы в один голос подтвердили:

— Много у тебя злобы, Пан-Дмитриу, а это великий грех!

Тогда лишь он успокоился и ответил, что ему лучше дело свое проиграть на суде у кир-Христаки, чем ходить в *мехкеме*. Наконец помирили братьев. В хозяйственном деле оправдали старого капитана, только велели ему окно и дверь заделать, поднос отдать и собаку кормить. Посоветовали Александру не обижать и не бесчестить худыми словами.

— Одна семья, один род, — сказал кир-Христаки. — Брату обида, а тебе срам!

— Где ум! Эффенди, где ум? — говорит капитан.

Уж свечерело, когда господа выехали из Вувусы; вооруженные крестьяне опять провожали их до реки сквозь ущелья, кто пешком, а кто и на муле.

Николаки и Алкивиад ехали сзади, и Алкивиад говорил своему спутнику, как это странно и неприятно видеть, что такие эпические герои, как Сульйо и брат его, ссорятся из-за жен, из-за собак и подносов.

Пока они рассуждали об этом, кир-Христаки, Сотири и капитан Сульйо, которые вместе ехали впереди, шопотом совещались о Салаяни. После долгих колебаний капитан Сульйо открыл им, что брат его в дружбе с разбойниками, а жена его еще хуже.

— Любит разбойника! Великую любовь к нему имеет! Деньги, дары, пряжки серебряные от него принимает. За эти-то худые дела я ее и худыми словами звал... За эти дела, эффенди! За эти злодейства.

— А муж знает? — спросил кир-Христаки.

— Этого я не знаю наверное и потому не скажу. Опасаюсь греха! — сказал Сульйо.

Сотири заметил на это, что как мужу не знать. Хитрее деревенских наших кто на свете есть? Злодеи люди! Все знают. Сказано — греки, природную мудрость имеют.

Долго совещались три старика. Совещались и на другой день в городе, куда Сульйо приходил нарочно для этого. Он просил только не обличать, не губить брата, и кир-Христаки поклялся ему, что все будет кончено без вреда и опасности.

Сульйо вернулся, и через несколько дней послали и за Панайоти.

Архонт долго говорил с ним, затворившись, с глазу на глаз, стыдил и уговаривал его, но не стращал ничем.

Он говорил ему о том, что стыдно греку, когда его люди *рогачом* зовут и смеются над ним.

Панайоти ответил, что злые люди говорят много худых речей и что не он и не жена его в грехе, а злые люди.

Этим разговор их и кончился.

Но кир-Христаки не перестал с того дня размышлять о том, как бы уговорить Панайоти, чтоб он предал своего друга.

XVIII

Через несколько дней после суда в Вувусе Алкивиад решился поехать на север Эпира. Его побуждали к этому два чувства вместе: желание видеть весь край, короче узнать дух своих соплеменников и надежда яснее понять степень своей любви вдали от Аспазии, от ее тихого кокетства, вдали от Петалы и от ревности. Долго странствовал он по Эпиру верхом; Парасхо отпустил с ним Тодори, и само турецкое начальство давало ему в провожатые конного жандарма, везде, где он предъявлял письма от каймакама рапезского и от дяди Ламприди. Конечно, за ним тайно следовали; но ничего особенно предосудительного в его поведении не нашли; тайные агенты турецкого начальства доносили о нем разноречиво: одни говорили, что он там и сям проповедует союз с Турцией, другие, что он поет охотно революционные песни и говорит иногда: «Когда бы здесь у людей было больше энергии, то давно бы и эта прекрасная страна стала Грецией!» Но к таким словам турки до того привыкли, что и не обращают на них внимания.

Алкивиад видел и слышал, и испытал многое за эти два месяца. Он спал и в ханах, на простой рогожке, с узлом платья под головой. На него лился дождь и падали

камешки, когда был сильный ветер; ночевал и в уютных и чистых жилищах разжившихся где-нибудь на чужбине селян, и в богатых архонтских домах в Янине и в Загорах под шолковыми тяжелыми одеялами, и в домах суровых сулиотов, в которых, как в ханах, не было ни очагов хороших, ни потолка, ни стекол на окнах, а только крыша и под крышей нагие жерди, закопченные дымом. Янину он нашел живописной, хотя и несколько унылой. Свободному греку, привыкшему к движению Афин и корфиотской эспланады, показался грустным этот город. Он стоит в долине, между высокими горами, на берегу широкого озера. Улицы Алкивиад нашел очень тихими; по ним очень редко проезжала шагом карета бея или паши; колокола христианские здесь не звонили. Многие дома таинственно крылись за высокими оградами, по которым стелился высоко и густо древовидный плющ... Везде иноверные солдаты в шальварах и фесках и громкий крик ходжей с минаретов. Тихими вечерами, внимая этому величавому крику, Алкивиад думал о нетерпимости и ужасах древнего ислама.

Видел он и бедность, и богатство христианских сел, смотря по стране и по нравам жителей. Не длинен горный путь от бедной Сулии до богатых Загор. Но что̀ за поразительный пример! В суровой Сулии еще не вымер эпический быт; там простая пастырская жизнь; там бедность и воинственный дух, не угасший до сих пор; бравые худые лица, строгие усы и великолепная народная одежда. В Загорах мір иной, другая жизнь: богатые деревни, подобные городам, дома чистые, просторные, архонтские, богатые школы, во всех селах большие церкви и высокие колокольни, колокола на них звонят не только для молитвы, но и для того, чтобы собирать старшин на совещание под тень широкого платана.

Он видел на вершине, казалось бы, неприступной горной площади селение Врадетто, где безрыбное, холодное озеро сохраняет иногда и весной на краях своих лед, видел страшное ущелье Монодендри и глубокую пещеру,

куда во время волнений скрывались христианские семейства с запасами и добром; по узкой тропе над пропастью к этой пещере можно было проходить в ряд по одному лишь человеку, местами и эта тропа прерывалась, и небольшой мостик, перекинутый в мирное время, легко было снять в смутные дни. Загорцы все проводят полжизни на чужбине; они женятся рано, покидают родину и возвращаются домой лишь тогда, когда разбогатеют; бесплодные каменные горы, кроме леса, ничего не дают им. Тодори завидовал богатству загорских сел и бранил загорцев; он называл их мошенниками и предателями.

— За что̀? — спросил его Алкивиад.

— За то, что ни один *ружья не достоин*. Никогда не бунтуют.

Тодори был в этом прав; но Алкивиад привел ему зато в пример дестяки имен, которые прославились своими щедрыми завещаниями в пользу школ, дорог горных, церквей и богоугодных учреждений.

— Пусть каждый чем умеет служит родине, Тодори, — сказал ему Алкивиад. — Хорош Марко Боцарис-сулиот, хорош и мирный эпирот Зосима, который трудился всю жизнь свою на чужбине и дал миллионы на учреждение школ и на пособие бедным христианам. А таких людей между загорцами много. Что̀ скажешь?

— Пусть будет и так! — отвечал Тодори. — И мы, сулиоты, стали думать об эллинских школах; быть может (все думаем мы) не помогут ли нам из России...

«Опять Россия! Еще Россия!» — подумал Алкивиад и вздохнул.

В самом деле, тень северного исполина незримо преследовала его всюду.

Показывали ему в загорском селе прекрасную, разукрашенную церковь... «Эти хорошие образа пожертвованы из России!» — говорили ему.

Он спрашивал на ночлеге у Тодори:

— Где нажился хозяин, который так ласково принял нас в свой дом?

— Сперва в Валахии, а потом в России, — отвечал Тодори.

В глухом горном и бедном монастыре столетний игумен спрашивал у него: «Что слышно *оттуда сверху*?»

Приезжавший недавно на родину богатый грек собирался взять жену и детей, покинуть навсегда Турцию и поселиться в Новороссийском крае. «Вот где жизнь!» — говорил он. «Суды прекрасные и скорые; спокойствие, свобода и порядок. Набожен человек — церкви и монастыри найдет не здешние, а неописанно благолепные и богатые; роскоши и увеселения ищешь ты — найдешь ли где еще столько увеселений и роскоши как в России!.. Что̀ за место богатое, что̀ за люди хорошие есть там! Откровенные люди!»

Нет спора, что рядом с этим слышал он и вовсе другое...

Итальянец говорит про греков: «*Четыре грека — пять мнений*».

И в Эпире Алкивиад видел, что итальянцы не ошиблись...

Не только в Элладе, на семи островах, и в Рапезе, но и по всему Эпиру встречал он людей, и таких, как отец его, и таких, как Астрапидес, и таких, как дядя Ламприди, и таких, как Тодори, и таких нерешительных в деле мнений, как был нерешителен его почтенный афинский зять.

От двух людей в Эпире он даже слышал и такую мысль, которой не слыхал он никогда ни от отца, ни от Парасхо, ни от Тодори; эти люди сказали ему: «Самое бы лучшее, когда бы все это стало *одно*. Едино стадо и един пастырь! Чего же бы лучше, как один на всех Великий Православный Царь!»

Но один из этих людей был хотя родом и эпирот, но старинный русский подданный; а другой был монах, которого монастырь был, после несправедливой тяжбы, разорен одним турецким беем и доведен до того, что он мощи в серебряном ковчежце принужден был заложить одному купцу.

Их было только двое, и потому Алкивиада их мнения не испугали и не оскорбили. Кроме такого крайнего мнения, были мнения всякого рода.

Один учитель в Загорах с жаром уверял его, что одно спасение для греков — это принять католичество, что тогда Европа спасет их и от турок, и от варваров-славян.

Другой (мелкий торговец) утверждал, что весь мір трепещет «эллинской премудрости», что француз, немец, англичанин и русский хорошо понимают, до чего они будут ничтожны, когда эллин, расширив свои пределы, обнаружит всю тонкость и возвышенность своего ума! «Русский, например, — прибавил он, — русский только лукав, но грек остроумен, тонок и премудр».

Имя этого патриота было Малафранка; несмотря на хорошие средства к жизни, он ходил везде в истертом сюртуке и в грязной рубашке, без галстуха, даже и с визитами. Алкивиад сначала принял его за бедного слугу, одетого по-европейски, и только тогда увидал, что он ошибся, когда Малафранка заговорил о премудрости.

Один богатый купец торговал спокойно; боялся каждого заптие и каждого турецкого чиновника, боялся разбойников, боялся даже грома, но на все рассуждения Алкивиада отвечал грозно: «Сражайся за веру и отечество!»

Другой торговец, который прежде занимался учительством и писал и говорил очень умно и хорошо, был в основаниях одного мнения с Астрапидесом, но выводил другое заключение.

— Примирение с Турцией невозможно, турки сами не верят нам, — говорил он, — надо попеременно и соображаясь с требованиями текущей политики, с целями непосредственными и практическими, опираться то на Запад Европы, то на Россию и, пользуясь их соперничеством, стремиться к великой идее: так шел Пиемонт к объединению Италии, пользуясь соперничеством двух соседних могучих держав — Франции и Австрийской империи. До поглощения Греции славянами Запад никогда не допустит, и потому мы не должны оскорблять и Россию, от которой

(можем ли мы отвергнуть это?) видели много добра! Вам, афинянам, удобно искать целей далеких, при вашей независимости. Поживите под игом, и вы не будете так резки и безусловны!

Иные и вовсе отрицали заслуги России; говорили, что Россия грекам только одно добро и сделала: похоронила с почетом в Одессе тело патриарха Григория, брошенного в 21 году турками в Чорное море. «Это не эллинизм, а православие!» — восклицали они.

Такие люди чаще попадались между учителями, чем между купцами, монахами и священниками; о ремесленниках и селянах мало успел узнать Алкивиад, но те люди, с которыми он еще встречался, единогласно утверждали, что вся толпа за Россию и ждет от нее манны небесной. Одни говорили это с радостию, другие с досадой. Словесники и учителя городские досадовали чаще других.

— Как мудра, как терпелива политика святой России! — говорил один с улыбкой и восторгом.

— Как лукава, как дальновидна политика этой треклятой России! — говорил гневно другой.

Один рассказывал Алкивиаду с удовольствием о том, как в 58-м году в первый раз въезжал русский консул в Эпир. Он ехал из Превезы верхом в сопровождении небольшой свиты. Со всех сторон из дальних и близких сел сбегался народ встречать, и ликующая толпа поселян провожала его целые часы; эту толпу сменила другая, и никакие увещания благоразумного и опытного консула не могли рассеять эти толпы и охладить их радость.

И тут же другой грек говорил:

— Возможно ли хвалить Россию! Что̀ имеет она в себе хорошего? Судьи лицеприятные издавна; бедный человек не может никогда дождаться правды; простых людей до сих пор все благородные русские бьют крепко палками; освободили их только *для глаз* Европы! Россия бедна; Россия должна, газеты все в руках правительства; Россия так бедна и так слаба внутренно, что не в силах помочь нам ни оружием, ни даже дипломатическим весом своим!

Вот Франция — это держава! Это народ... Франция надежда всех угнетенных народов и палладиум свободы.

Что же думали о турках все эти люди: и загорец лукавый, и хвастливый, но воинственный сулиот, и куцо-влах, пастырь на снежных высотах Пинда, и купец, и учитель, и премудрый Малафранка, и бедный сельский поп, и ученый в Царьграде епископ... и меццовский *хамал*, который ничего не боится и поднимает без труда на плечи 200 ок ноши, и худенький сын архонта, который идет по улице, махая модною тросточкой и боится дотронуться до ружья?..

Что думали они все о турках? Нового вали все хвалили. Еще в селах слыхал проездом Алкивиад, что паша «разумный и справедливый человек». В городах прибавляли: «*четыре раза перегнанный человек**, ума большого, начитанный и деятельный!»

Потом шопотом говорили: оно и понятно — в его роде, как слышно, есть капля греческой крови. Как ему не быть способным?

— Но, увы! — восклицали многие, — одна кукушка еще не весна!

Те, которые охотно соглашались, что прежних ужасов нетерпимости и своеволия нет почти следа, думали, однако, что более человеческих отношений между турками и христианами можно было бы достичь, не нарушая везде местных особенностей и прав. Загоры и соседние места были как бы небольшие республики, подчиненные султану. Теперь они простые уезды, без всяких привилегий. Прежде было опаснее, жизнь была под вечным мечом Дамокла. Жизнь теперь безопаснее; порядка больше; но люди живут не одним порядком; люди хотят и свободы. А свободны теперь меньше прежнего; прежде раз переждав грозу, человек в своих правах, в своем личном влиянии, в помощи друзей, которых умел приобрести, находил про-

---

* *Четыре раза перегнанный* — употребляется у греков в смысле *лихой, прошедший через огонь и воду.*

стор; под двойным влиянием большей опасности и большей свободы вырастали люди сильные, умы изворотливые и глубокие для житейской борьбы. И дела, и ответственность, и влияние доставались сами собою в руки таким мужам: был ли то пастух *Стерио Флокка*, который спас от смерти великого визиря и за это приобрел своей общине неслыханные права; был ли богатый *ходжа-баши**, подобный ходжи-Ма́нту-загорцу, *джелепу*** султанскому, который жил в Царьграде и построил в селе Негадес прекрасную церковь (на задней стене ее, у входа, Алкивиад видел его портрет в шубе и высокой меховой шапке). Таких людей боялись самые свирепые арнауты; и песня есть албанская о том, как загорцы наговаривают на нас в Царьграде султану, — лукавые люди! Был ли то, наконец, горец, христианский капитан, с которым считался и которого ласкал сам кровопийца эпирский Али-паша.

— Где эти великие мужи? — восклицали люди, — нет у нас теперь великих мужей. И не может быть, когда за каждым словом христианина, за всяким шагом его следит уже не прежняя свирепая, положим, но зато более лукавая, более терпеливая, более подозрительная власть, готовая на всякое средство, чтобы внести раздор между самими греками и ослабить их... пользуясь искусно их же пороками.

Так говорили образованные люди. Другие же (и таких было множество) выражались проще, как докторша, знакомая Алкивиаду; они на все отвечали: Турция! что̀ будешь делать!

Когда приходилось хвалить что-нибудь, Алкивиад видел, что хвалили угрюмо, кратко и неохотно; когда приходила очередь хулы (и когда только она не приходила — и по поводу грабежа в судах, которые, к несчастию, вздума-

---

* *Ходжа-баши* — турецкое название архонта; сильный человек, богатый из христиан, представитель христианский.

** *Джелеп* (по-турецки) либо сборщик податей со стад, либо поставщик баранов.

ли сделать независимыми от пашей, и по поводу дорог, и по поводу колоколов, которых до сих пор нельзя вешать в Янине, и по поводу обманчивого способа выборов в советы и суды, и по поводу слишком свободного ввоза иностранных товаров, и по поводу того, что недавно турки избили и изранили одного игумена и он до сих пор не может дождаться удовлетворения (чиновники, должно быть, обманывают честного вали!), и по поводу стеснительного порядка, и по поводу беспорядков и разбоя)... когда доходила очередь до хулы, лица оживлялись, глаза блистали, речь становилась красноречивее... Алкивиад увлекался сам, слушая такие речи, и естественное народное чувство хотя бы и на миг, но брало верх и в его душе над дальними и широкими линиями политических мечтаний!.. Больше же всего его поразили слова одного молодого турка, с которым он познакомился и подружился на пути.

Турок этот был родом эпирот, обучался в военной школе в Стамбуле и служил офицером султанской гвардии. Он приезжал в Эпир повидаться с родными. Алкивиад познакомился с ним в доме одного христианина-архонта, куда офицер изредка хаживал, потому что этот архонт был личным другом его отца...

Офицер этот по имени Вехби-бей понравился Алкивиаду, и Алкивиад понравился офицеру. Вехби-бей не только не был груб или горд, но скорее уклончив и льстив. Приемы его были очень благородны, выражение лица приятно, разговор довольно умен. Он, как эпирот, по-гречески говорил свободно и по-французски недурно.

Алкивиад, возвращаясь в Рапезу, предложил ему ехать вместе.

Вехби-бей согласился с радостью, и они провели двое суток с глазу на глаз, не переставая приятельски беседовать и на коне, и на ночлегах и привалах. Вехби-бей был все время до чрезвычайности внимателен к Алкивиаду; уступал ему в ханах лучшее место у очага, говоря, что военный человек должен больше терпеть; угощал его своею провизией, не давал платить за кофе и вино на прива-

лах; приказывал слуге своему подстилать Алкивиаду самый лучший и мягкий свой коврик и просто пленил афинянина своею вежливостию и благодушием. Сначала они беседовали о константинопольских и афинских увеселениях; о праздниках и об олимпийских играх, которые хотят возобновить в Греции; о прекрасных банях царьградских и о развалинах Акрополя; о некоторых обычаях народных в Эпире и Акарнании... Не забыли, конечно, и о женщинах. Вехби-бей сказал ему о гаремах одну вещь, которая доказывала его ум даже и тому, кто бы не был согласен с ним.

— Поверьте мне, — сказал Вехби, — наши женщины очень свободны. Покрывало скрывает ее от вас, но вас от нее не скрывает. По закону она имеет во многом у нас равные с мужчиной права; в семье ее влияние велико; редкий муж приступит к важному домашнему делу не спросясь жены. У молодых наших женщин кокетства много, и они очень милы. Наконец (прибавил, улыбаясь, Вехби-бей), если мы спросим и о той свободе, которая в моде у франков и которая нам холостым так выгодна... о любви, я хочу сказать... то и в этом случае я прошу вас ответить мне на такой вопрос: когда европейская женщина чувствует себя свободнее, под маской или без маски?.. Я думаю, если бы христианские женщины ходили по улицам в масках, они легче могли бы и преступления сладкие совершать.

Алкивиад, смеясь, соглашался и хвалил тонкость Вехби-бея.

Вехби-бей прикладывал руку к сердцу и скромно благодарил за похвалы.

Наконец Алкивиад заговорил о союзе Турции и Эллады, о братстве и равенстве всех племен на Востоке, об *общем враге*, о северном исполине.

— Прекрасная вещь мир и согласие всех народов одного девлета. Но это очень трудно, — отвечал бей. Он несколько времени колебался, улыбался про себя, взглянул раза три внимательно и подозрительно на своего спутника и наконец сказал такую речь:

— Я воин-человек, эффенди мой, и политику дурно знаю. Но позвольте мне повторить вам одно слово моего покойного отца. Покойный отец мой был долго пашой в различных областях Турции, был и в Фессалии, и на островах, и в болгарских землях. Умер он недавно, и имя его было Сулейман-паша. Однажды друг один при мне спросил его, кого он больше из христианских народов любит: болгар или греков? Отец мой сказал ему: «Я бы их всех любил, если б они нас любили; но они ненавидят нас. С греком я скорей подружусь, чем с болгарином: грек смелее, и я могу проводить с ним лучше время; я знаю, он умеет и забыть, что я паша. С болгарином подружиться невозможно; он все будет запахиваться и застегиваться предо мной, и будет смотреть подозрительно, и будет думать: „Зачем он мне это сказал? Нет ли тут какого вреда!" Это для дружбы. Управлять же болгарами лучше чем греками. Если ты будешь справедлив и не дашь обижать болгар низшим помощникам твоим, дашь им и права большие, он поблагодарит тебя и будет смирно пастись у Дуная, как добрый вол. Смотри только, чтоб у волов этих не заводились под кожей мухи ядовитые, которые прилетают с Дуная. Тогда вол мечется и опасен. Грека же удовлетворить нельзя. На всякое улучшение и благодеяние твое, на всякую справедливость он будет кричать одно слово: „Народность эллинская!" Теперь же, если ты спросишь, друг мой, меня, где я спал, в вилайетах болгарских или в греческих, я скажу тебе, что спал я слаще в греческих вилайетах, и вот почему. За два месяца до всякого опасного дела я замечу, что у грека и плечи и усы поднялись кверху. Но, если болгарская голова задумала что̀ худое — берегись! Ты увидишь еще больше почтения и покорности, еще чаще услышишь: *аман, аман, эффенди, мы несчастные и покорные слуги ваши!* И полу твою брать в руки будут, и с полой вместе и мясо от тела твоего оторвут. И все от почтения». Вот, эффенди мой, что̀ говорил своему другу мой бедный отец.

Алкивиад тщетно старался улыбнуться в ответ на эту умную речь.

До возвращения в Рапезу ему случилось еще перенести и оскорбление, которое он долго после того забыть не мог.

В том самом городе на севере Эпира, где расстались они дружески с Вехби-беем, Тодори поссорился с четырьмя арнаутами.

Они по одежде ли его, по лицу ли, по чему-либо другому догадались, что он христианин, подумали, верно, что он греческий подданный и сильно толкнули его плечом на улице. Тодори вынул ятаган и погнался за ними. Его схватила полиция и отвела к мутесарифу. Мутесариф был сам простой арнаут, греков ненавидел и был гораздо вспыльчивее, чем тот Изет-паша, которому представлялся Алкивиад по приезде в Эпир. Не прошло еще и часу, как Алкивиад и Тодори приехали в этот город; мутесариф не знал их. Он не стал расспрашивать Тодори, отложил дело до другого часа и велел запереть его в тюрьму. Алкивиад отдыхал с дороги у одного купца, которому его рекомендовали. Самого купца не было в эту минуту дома, и некому было охладить пылкость афинского студента, когда ему пришли сказать люди, что Тодори в тюрьме. Надеясь на свое красноречие, на свои связи, смелость и выгодную наружность, он поспешил в конак и потребовал, чтоб его сейчас же допустили к паше. Его отважный вид и смелый тон открывали ему двери. Паша, однако, взглянул на него сурово и спросил его, кто он, не приглашая сесть. Алкивиад сел сам. Лицо паши исказилось от удивления и гнева. Алкивиад спросил его тогда: «За что̀ заперли Тодори?» Паша, еще сдерживая негодование свое (увы! отчасти и справедливое, ибо кто же вынесет раздражительную наглость, с которой ведут себя часто молодые демагоги!), опять спросил его:

— А кто же ты такой?

— Я греческий подданный; зовут меня Алкивиад Аспреас, и я могу поручиться за моего слугу, что он честный и хороший человек! — отвечал Алкивиад.

Паша позвонил и велел схватить самого Алкивиада. В уважение к его архонтской наружности, хорошей одежде и перчаткам, он не вверг его сразу в тюрьму, а приказал держать его в своем конаке, в хорошей пустой комнате, до тех пор, пока узнают, кто он сам и что̀ сделал его слуга.

Выходя из приемной с жандармами, он слышал, как паша гневно воскликнул ему вслед: «Какой же ты поручитель за других людей! Ты *калдырим-чилибей**, побродяга, нам нужны хозяева люди в поручители, а не такие как ты!»

Алкивиад, усталый и голодный, просидел больше трех часов в этой комнате, едва не рыдая от гнева и бессилия; наконец он вспомнил о Вехби-бее, вспомнил о том, что у него есть в этом городе богатые родственники-беи; дал солдату денег и уговорил его отыскать Вехби-бея.

Вехби-бей был в отчаянии, что случилась такая неприятность, взял с собой старика дядю, отыскали и того купца, у которого остановился Алкивиад, пришли все вместе и отстояли Алкивиада и Тодори.

Отрезвившись, Алкивиад понял, что он был не совсем прав и что могло бы случиться худшее, так как по небрежности или из молодечества Тодори не взял из Рапезы даже *тескере* на право носить в дороге то оружие, с которым он кинулся за четырьмя арнаутами и обратил их в бегство.

Но осталось у него в памяти неизгладимо, что паша не посадил его, и еще больше то, что он назвал его *побродягой* и *калдырим-чилибеем*.

Он благодарил Вехби-бея и его дядю, который обласкал его, как умел, увел к себе в дом, заставил у себя обедать и продержал до поздней ночи. И старик бей и Вехби осыпали его вниманием до утомления, но разговор старика был очень занимателен и простодушен. Алкивиад замечал в нем любопытное сочетание аристократической гордости и беззаботного сознания своей необразованности.

---

* *Калдырим-чилибей* — слово в слово: уличный *барин*, гранитель мостовой, побродяга.

«Мы люди простые, дикие!» — говорил он. «Ваших обычаев не знаем!» Но говорил он это не только с достоинством, но даже с гордостью и почти с презрением к людям не диким и не простым. Он был очень жив и разговорчив, хвалил христианскую веру и Алкивиада, заметил, что на стене в его гостиной висят два изображения: *араба* и *верблюда, навьюченного гробом Али, Магометова зятя.*

Алкивиаду рассказывали о тайной вере арнаутов, о их уклонениях от православного мусульманства. Они знали предания об Али, Магометовом зяте. Когда Али скончался, дети его хотели похоронить его и положили гроб его, по степному обычаю, на верблюда и вывезли за город. На пути им встретился чорный араб; он вызвался вести верблюда. Дети Али отдали ему повод, но он вел верблюда недолго. Скоро и араб, и верблюд, и гроб пророка исчезли от взоров людских... Али вознесся на небо...

Слыхал Алкивиад и большее, слыхал, будто эти арнауты-бекташи верят, что Али не только пророк и святой зять Магомета, но что Али святыня великая, что Али — *все*... И Моисей был Али, и Христос был Али, и сам Магомет был не кто иной, как тот же Али!..

О таких-то именно албанцах и говорил ему еще Астрапидес, советуя обратить на них внимание как на друзей христианства... Любезность Вехби-бея и гостеприимство старика расположили его еще больше к этой мысли. Он провел у них вечер очень приятно, и старик бей, чтобы почтить и успокоить молодого гостя, дал ему собственную лошадь и трех слуг-проводников, когда пришло время возвратиться к купцу на ночлег. Город был построен широко, весь в садах и пустырях; надо было спускаться по узким тропинкам; переезжать стремительную речку вброд или по высокому и разрушенному мосту без перил. Один слуга светил впереди фонарем; двое других берегли Алкивиада: не отходили от его узды и стремени и через мост перевели его под руки и пешком. Двое из них были мусульмане, один христианин. Алкивиад разговаривал с ними всю дорогу; они все хвалили бея и сказали:

— Я Имер, он Хамид, а он Николай, и все мы бея любим, как отца, и он нам всем как отец... И все равно ему, что Николай, что Имер, что Хамид...

— А вы любите ли христиан? — спросил Алкивиад Имера и Хамида.

— Любите вы нас, а мы вас любим! — отвечали Имер и Хамид.

Алкивиад был душевно тронут их доброю речью и вниманием и дал им сколько мог больше награды. Он был в восторге от старого бея, и от Вехби, и от всего этого албанского гостеприимного и древнего дома. Купец-хозяин тоже хвалил бея и говорил, что он добрый старик и ничуть не фанатик...

На другой день Алкивиад пошел проститься с беем и благодарил его много и искренно.

— Я люблю таких хороших молодых людей и благородных, как вы, — сказал ему старик. — По всему видно, что вы из хорошей и благородной семьи. Не все и ваши такие, как вы, извините старика простого и древнего за его откровенность. Иные эллины такие негодяи и свиньи, что с ними один разговор — нож и ружье! Знал я одного доктора из ваших, из свободных эллинов, пришел, осел, в 67 году ко мне в гости и рассказывает: «Вот скоро и вы все греческими подданными станете; в газетах пишут, что султан видит, что критян одолеть не может, и хочет отдать нам не только Крит, но и Эпир весь и Фессалию»... Счастье его было, что он у моего очага сидел! А не осел ли?.. Рассердился я, друг мой, на осла этого сильно и сказал ему: «Да кто тебе открыл, господин мой, что мы-то захотим стать вашими подданными?.. И султану я не позволю дарить меня кому он хочет. Пусть силой возьмут дом мой... Я запрусь здесь с сыновьями и верными слугами-турками... И разве мертвого отдадут меня в подданство вашей Элладе». Скажите мне вы сами, друг мой, не осел ли и негодяй был этот проклятый доктор?..

Алкивиад видел, как блистали глаза старого бея, как краснело лицо его при этом воспоминании, и, выходя из

дома этого, вспоминал Астрапидеса и себя самого в Афинах...

«О, Астрапидес! — воскликнул он, оставшись один. — Где ж этот союз? Где ж это примирение? Я вижу лишь одно: страх и взаимное недоверие...»

Вспомнил он и дядю Ламприди и его убеждения, что умиротворение страстей в этих странах, доверие и равенство может принести лишь то спокойное и могучее дыхание арктического ветра, которого плоды все видели и вкушали до тех пор, пока здесь не воцарилось лукавое влияние иноверного и алчного Запада!

XIX

По возвращении своем в Рапезу Алкивиад узнал, что город почти в осадном положении. И богатые и бедные запирались в домах своих еще до захождения солнца. Каймакам требовал усиления войск. Христианские обыватели не доверяли новому пограничному войску худудие, набранному из албанцев-мусульман, точно так же, как и прежде баши-бузуки. Они говорили, что солдаты-худудие только лишь одеты как регулярное войско, в чорные шальвары и куртки вместо фустанеллы, но что они душой все те же грабители баши-бузуки. И они и разбойники-греки одинаково знают страну; и они и разбойники одинаково знают по-гречески и по-албански и будут входить в уговоры друг с другом так же, как входили на их месте прежние баши-бузуки. Некоторые из архонтов и в особенности старик Ламприди убеждал каймакама, что следует в Азии или в крайней Болгарии набрать волонтеров из настоящих османлисов; они, правда, не знают страны, как знают ее албанцы, но они привыкнут; а главная польза в том, что они честнее албанцев и не знают ни по-албански, ни по-гречески, и с разбойниками в соглашенье входить не сумеют. Турецкие начальники возражали на это; отзывались дороговизной, затруднялись, ручались, что все пойдет хо-

рошо; но сам молодой каймакам ночей не спал от страха в своем гареме. Турки не верили христианам. На этот раз христиане были искренни. Они боялись Салаяни не меньше турок; но турки им не верили, и когда низамский полковник, по уходе кир-Ламприди из конака, стал повторять его слова с одобрением, чиновники-турки сказали ему: «Хороший ты человек Абди-бей, и веришь этим лукавым людям! Не верь им никогда. У них все политика, чтобы девлету нашему повредить. Не верь ты им, что они так боятся разбойников. Они знают, что ни Салаяни, ни Дэли в самый город не придут; они нарочно запираются и такой страх обнаруживают, чтобы в греческих газетах писали: «вот какая жизнь в Турции; и в Элладе есть разбой, но в городах не боятся», понимаешь, чтоб Европа слушала и жалела их. И анатолийских турок они хотят сюда привести — для чего? Чтоб еще больше разбоя было, анатолийцы не знают края и не сумеют охранять его; а им это и нужно только, чтобы в крае беспорядок был. Поверь ты, Абди-бей, что самый боязливый грек хоть и будет дрожать от страха, а все не забудет, как бы своему народу добро, а нашему зло сделать!»

— Злой народ! — заметил пристыженный воин. — Злой народ! Когда бы мне 100 000 низамов, показал бы я им нашу силу! Ни одного бы не осталось.

Однако угрозы Салаяни скоро сбылись: в дом Ламприди он не проник, но люди его проникли в предместье, ночью, дня за два до возвращения Алкивиада: они ворвались в дом одного бакала, похитили у него сына заложником, и когда соседи сбежались на крик и пистолетные выстрелы, разбойники убили одного из этих соседей за то, что он отбивал ребенка. Раздалась тревога и барабанный бой в крепости, прибежали солдаты; но уже было поздно; разбойники ушли и унесли ребенка. Весь город был в ужасе.

— Где наш апельсинный сад? — спрашивала Аспазия, улыбаясь, у Алкивиада.

— Разве есть собственность и жизнь в этом вертепе варварства? — восклицали иные греки купцы, доктора,

учителя и тому подобные люди, которые, впрочем, недурно обделывали свои дела в этом вертепе, пока не было какой-нибудь бури.

Плохая молодежь богатого круга боялась еще больше отцов своих; один только Алкивиад был весел, смеялся над всеми. Его занимало это смятение, и поэзия опасности, которая ему казалась вовсе не большой, ему нравилась.

Тодори тоже был весел и еще больше прежнего прыгал и рассказывал ему всякие россказни.

— Ты герой! — говорил ему Алкивиад. — Не то, что̀ здешние архонты.

— Что̀ архонты! — восклицал Тодори. — Разве у них сердце есть в груди?

Старик Парасхо тоже не был особенно испуган. Он по-прежнему улыбался загадочно и грустно качал головой.

— Турция! Турция! — говорил он и вздыхал, и глаза закрывались, и опять улыбался, и опять вздыхал и взглядывал молча, то грозно, то лукаво; и опять твердил: — Турция! Турция!

— Что̀ же смотрит, однако, эта анафемская Европа! — восклицали испуганные люди.

— На то она Европа, на то она Запад, чтоб ей ненавидеть нас за то, что мы православные! — отвечал Парасхо и долго гордился своим ответом и бросал украдкой на всех лукавые взоры.

— Однако, цивилизация! — возразили ему.

Парасхо, не отвечая, долго хохотал тихонько всякий раз при этом слове и еще переспрашивал.

— А? цивилизация? Остро! остро! Цивилизация!.. Я люблю остроумие. Запад поддерживает цивилизацию на Востоке! Остро! остро!

Однажды под вечер приехал в Рапезу старый игумен отец Козьма, знакомый Алкивиаду. Он остановился прямо у ворот Ламприди, растерянный и бледный. По седой бороде его текла кровь. Все бросились к нему с расспросами и участием, и он рассказал, что сам Салаяни с тремя молодцами встретил его при выезде из монастыря.

— Ты куда, старче? — спросил его Салаяни.

Отец Козьма сказал, что едет в Рапезу. Салаяни тогда подал ему записку к самому каймакаму незапечатанную и велел прочесть.

Игумен стал читать. Она была недлинна.

«Бей-эффенди мой! Прежде всего спрашиваю о здоровье славы вашей и кланяюсь вам. И вы потрудились бы выслать с каким-нибудь человеком к монастырю Св. Паригорицы 15 000 пиастров для наших нужд. И мы придем и возьмем их. И если же вы не вышлете к субботе, то мы тебя в самом конаке твоем осадим.

Это я, Павел Салаяни, вашей славе, бей-эффенди мой, пишу».

Игумен со слезами умолял разбойника не давать ему этой записки.

— Ведь турки погубят меня; они обвинят меня в сообществе с тобою! Пожалей же и ты, несчастный, свою душу; не бери ты еще греха смертного на нее.

— Салаяни, — рассказывал игумен, — задумался и не сказал ничего. Я ободрился и стал еще увещевать его. «А ты не забыл ту ночь?» — спросил он потом. «За тобой еще десять лир золотых?» Я сказал: вот тебе пять со мной есть. На провизию в город вез. Подержал Салаяни пять лир на руке; усы покрутил. Дал по лире своим молодцам, а две назад отдал и сказал: «Теперь пост и все морское дешево, довольно с тебя и двух лир. А записку отдай каймакаму». Я опять просить стал. Тогда он велел схватить меня за руки, стащили меня с мула, поставили перед ним и за руки крепко держали. Я сказал: «дай, душегубец, крест мне, попу, на себя положить пред смертью». «Я тебя не убиваю! — сказал он. — А вот тебе что̀», ударил меня и вышиб мне два зуба. Вот оно, — говорил старик и показывал всем выбитые зубы.

— Вот покажи ты их каймакаму и скажи ему: это мне Салаяни выбил, чтобы вы видели, что я с ним не в уговоре.

— Посадили меня молодцы его на мула, ударив еще его сзади, чтобы скорее бежал, и ушли. А я вот приехал.

Утомленный путем, страхом и болью, старик плакал, рассказывая это.

Вся семья Ламприди была в ужасе. Ци́ция заплакала и ушла; старуха и Аспазия утирали слезы. Алкивиад тоже был поражен жалостью и ужасом при виде страданий доброго отца Козьмы. Николаки заметил это, подошел к нему и сказал как бы добродушно:

— А что̀, кир-Алкивиад, и это поэзия?..

Раздосадованный и потрясенный Алкивиад не нашел ничего лучшего ему в ответ, как сказать, что эту жестокость и эту энергию зла, которая так сильна в диком горном народе, можно бы направить на «*врага*», если б архонты были люди, а не торгаши!

— Да кто же враг-то? — спросил Николаки, улыбаясь. — Ведь с турками мы вместе на славян пойдем, так что и от России одни щепки останутся?..

Алкивиад вышел бледный от бешенства; здравый смысл *ржавых* людей торжествовал над афинскими мечтами. Старик Ламприди сам повел игумена к каймакаму.

XX

Сестра Алкивиада испугалась наконец его писем из Рапезы; имя Аспазии повторялось в них слишком часто. Она любила младшего брата как мать. Хотя она не была никогда в Турции, но по слухам имела о тамошних родных своих не высокое понятие. Воображая Аспазию в чорном платочке, с дурными, церемонными манерами, может быть, крикливую и неопрятную, она утешала лишь себя тою мыслью, что есть же у Алкивиада вкус и что не решится же он, несмотря на пыл своей молодости, жениться вдруг на необразованной и невоспитанной женщине и привезти ее в Афины! «Такой ли брак может ожидать в будущем моего красавца и феникса!» — думала любящая сестра.

Она недолго тревожилась; обдумала дело и написала два письма — одно Алкивиаду, другое старику Ламприди.

Брату она писала так: «Если ты, наконец, caro mio, до такой высочайшей степени влюблен, то что̀ же делать? Шаловливый маленький тиран Эрос — неумолим. Решения этого милого изверга безапелляционны. Он пронзает своими ядовитыми стрелами сердца более испытанные жизненными бурями, чем твое. Да будет так. Но милый брат мой, если в твоей душе остались воспоминания (для меня они священны!) о той детской колыбели, у которой я проводила ночи, стараясь, чтобы нежная жизнь твоя не угасла, сделай для меня то, о чем я буду тебя просить! *Спеши медлительно.* Поверь моему доброжелательству и моему опыту. Пусть Аспазия твоя приедет гостить ко мне в Афины. Я постараюсь изучить ее, исправить в ней, что̀ необходимо для новой жизни, которая будет ей предстоять, для того высшего общества, в которое она, будучи твоею женой, вступит. Пусть Аспреас не краснеет за ту, которой он даст свое имя!..»

«Любезнейший и дражайший дядя (писала она кир-Христаки). Не знаю, как выражу я вам то удовольствие, которое я чувствую, читая письма моего Алкивиада. Я надеюсь, что это путешествие нашего юноши и пребывание его в Эпире скрепят новыми узами наши родственные семьи, которые издавна разделены земным пространством, но не идеальными чувствами. Я заочно, благодаря письмам Алкивиада, присутствую ежеминутно при мирной, нравственной, патриархальной жизни вашего почтенного дома и должна лишь изумляться стойкости и энергии эллинского народного характера, который помог несчастной нации этой сохранить свой быт и свою нравственную чистоту в стране, удаленной от всякого луча просвещения и под варварским игом лютых зверей во образе человека.

Можно ли отчаяваться в великой, славной на всех поприщах будущности такого народа? Не знаю, как выразить почтенной тетушке благодарность отца нашего и всех

нас за истинно родственное гостеприимство, оказываемое ею и всем семейством вашим Алкивиаду. Да возблагодарит и да благословит вас Сам Всемогущий Творец!

Расстояние, почтеннейший дядюшка, на котором жили так долго семьи наши, связанные кровными узами, лишало нас долго удовольствия сноситься с вами и знать все подробности вашей семейной жизни. Теперь я знаю, благодаря путешествию брата, имена, возраст и отчасти и характер всех членов вашей превосходной семьи. Брат от нее в восторге, и, зная ум его, я уверена, что он не ошибается ни на одну йоту. Я знаю коротко милых Цици и Чево; знаю доброго Николаки и дорогую супругу его; сокрушаюсь над несчастием, постигшим бедного Алексея, и утешаю себя лишь тем, что, по словам брата, глухота его не помешала ему развивать свой ум и свою деятельность. Изо всего вашего семейства меня особенно, впрочем, трогает судьба вашей старшей дочери Аспазии! Какая ужасная, трагическая судьба — лишиться в столь нежном возрасте любимого молодого мужа! Конечно, милая Аспазия должна благодарить судьбу, что она сохранила ей примерных родителей и дозволила ей под отеческим кровом оплакивать свою горькую утрату. Алкивиад прислал мне ее карточку, и, несмотря на всю невыгодную для женской красоты слабость искусства местного фотографа, я вижу, что брат мой прав: она в высшей степени привлекательна. Оттенок болезненности еще более красит ее. Да живет она вам на радость! Брат мой пишет, что она страдает лихорадкой и что доктора советовали ей перемену места. Это известие подало мне мысль предложить вам, дорогой дядя, привезти Аспазию на полгода к нам в Афины. Что̀ может быть лучше? Она развлечется, выздоровеет и, наконец,— кто знает,— быть может, здесь лучше нежели где-нибудь оценят ее высокие качества и она составит здесь свою дальнейшую судьбу...»

Вся семья Ламприди (кроме младших дочерей) собралась слушать письмо... Глухой присутствовал также; он с любопытством следил за каждым движением род-

ных и спрашивал «что̀ такое?», и когда ему шептали, губами делали знаки, он подавал свое мнение.

Все скоро догадались, в чем дело. Николаки, улыбаясь, грыз ногти в углу и долго не хотел сказать свое мнение; а глухой закричал во все горло, смеясь:

— Алкивиад ее любит! Любит он ее, любит! Это его дела!

Все засмеялись... Мать потрепала глухого по щеке и спросила:

— Так ты как скажешь?.. Посылать Аспазию?

Глухой кричал:

— Не посылать!

Опять все смеялись.

— Отчего не посылать?

Глухой говорил прямо все то, о чем другие думали.

— Обманут ее.

— Зачем? Как обманут?

— Как обманывают женщин. Сделают ее любовницей; этого не скроешь, а потом скажут: «ты развратная»...

— Просто, очень просто ты говоришь! — сказала невестка.

— Устами младенцев говорит иногда сам Бог! — сказала старуха.

Все были довольны глухим. Мать толкнула его в плечо и спросила:

— Да ведь сестра честная женщина. Разве поддастся на обман?

— Женщина! — закричал глухой так решительно и забавно, что отец и брат ударили в ладоши и воскликнули *браво!..*

Мать, которая более других в семье была расположена к Алкивиаду, заметила еще глухому:

— Бедный Алкивиад, однако ж, такой хороший молодчик — добрый, красивый!

— Когда бы был не добрый, не хороший и собой дурной, и я бы сказал: *айда**, Аспазия, в Афины марш!

---

* *Айда* — поди, марш.

Опять смех. Все были согласны и все были рады.

Старик, однако, возразил, что хотя шутить можно, но семья Алкивиада и все родство его люди благородные и честные, и худа того, о котором говорит Алексей, не будет, конечно. Это все вздор. Но что нет крайности посылать Аспазию в Афины, если она сама этого не ищет, и лишать ее таким образом возможности составить в Рапезе хорошую партию.

— Надо спросить ее самоё, чего желает ее сердце; она не девушка и сама имеет право распоряжаться своею судьбой! — сказал отец.

Пошла невестка позвать Аспазию. И она, краснея, выслушала письмо.

— Много комплиментов, — сказала она.

Родные заметили, однако, ее волнение.

Отец спросил ее мнения, ехать или нет в Афины. Аспазия отвечала: «Как хотите вы. Ведь не одна же я поеду, а с вами»...

Из этого ответа все родные поняли, что ехать ей в Афины хотелось бы. Об Алкивиаде не заговаривали; но вечером мать и невестка пошли с визитом к матери Петала. Самого Петала в это время не было, он уехал по делам в Корфу на короткое время.

Обе старухи и невестка соблюли все предписания вежливости; не начинали очень долго говорить о том, зачем именно пришли.

Спросили и переспросили о здоровье. Хозяйка отвечала как водится: очень хорошо, а потом жаловалась на боль в ногах и слабость. «Очень мне это досадно!» — воскликнула г-жа Ламприди. Невестка спросила то же и получила тот же ответ. «Очень мне досадно!» — воскликнула и она. Потом долго говорили о погоде, о разбоях; жаловались на дождливую весну и холодную зиму.

Наконец, с улыбкой и как бы шутя, старушка Ламприди сказала:

— А мы Аспазию, может быть, с отцом в Афины пошлем. Ее зовет гостить надолго старшая сестра Алкивиада. Знаете, родные!

Невестка помогла свекрови.

— Какая превосходная женщина! Что̀ за ум, что̀ за воспитание! Что̀ за добрая душа. Письмо ее у вас, матушка?

Прочли громко письмо.

В тех местах, где похвалы были очень сильны, старушка Ламприди как бы просила пощады у старушки Петала, качая головой и приговаривая: «Доброта, от большой доброты она это пишет!» Старушка Петала слушала все это с достоинством и холодно.

— Придворная дама — одно слово! — замечала она значительно.

Кончили письмо.

— Сколько ума! — воскликнула невестка. — Видно сейчас, что не в Турции воспиталась женщина!..

— Что̀ вы хотите! — подтверждала старушка Петала. — Где Турция и где Афины! Европейское воспитание!.. Посылайте, посылайте Аспазию, это дело хорошее.

Старушку Ламприди напугало такое равнодушие, и она стала уверять, что сообщено хозяйке лишь по старой дружбе, а что посылать Аспазию в Афины еще вовсе не решено.

— Это больше от нее самой зависит, — сказала невестка. — Вы знаете, не девушка она, а вдова. Свой ум есть — сама свои интересы понять может.

— Что̀ ж интерес! — ответила старушка Петала. — Интересу ей больше в Афинах. Развлечения, общество хорошее. Скажем и то, что вдове, я думаю, там легче и замуж выйти, чем у нас. У нас не так-то любят вдов брать. Да и хорошо делают. Иное дело вдова, иное дело девушка.

— Кто полюбит, и вдову возьмет, особенно из старого очага, — отвечала старушка Ламприди. Она улыбалась очень ласково и лукаво; но противница ее была непреклонна.

— Ныньче и старые очаги обеднели! — сказала она.

— Всякий по силам своим, — продолжала г-жа Ламприди. — У Аспазии свой апельсинный сад и виноградник есть. Э! С Божьею помощью и отец пожалеет ее и братья.

— Апельсинные сады не большая вещь. Вот прошлого года от холода попадали все, — возразила старушка Петала.

Так дело ничем и не кончилось. Обе гостьи встали и начали прощаться.

— Будете писать вашему сыну в Корфу, — сказали они,— то и от нас много поклонов.

— Не премину, — сказала г-жа Петала.

— А скоро он возвратится? — спросили гостьи.

Хозяйка дома отвечала:

— Как позволят дела, — и гостьи ушли недовольные.

Однако г-жа Петала с первым случаем написала сыну о том, что Аспазию хотят везти в Афины к сестре Алкивиада. Письмо она не писала сама, а пригласила старика Парасхо, которому, благодаря за труд, сказала: «Скажи старику Ламприди, либо г-же его, что я поклон сыну от них всех написала. Летом в Корфу встретятся они с сыном, если Аспазия поедет в Афины».

Так узнали в семье Ламприди, что мать Петала от брака все-таки не прочь, а все думает лишь о том, как бы побольше взять в приданое.

XXI

На следующий день, в сумерки, случилось наконец Алкивиаду остаться на полчаса с Аспазией вдвоем. Когда последняя помеха, Цици, вышла из дверей, Алкивиад воскликнул:

— Слава Богу, мы одни!

Аспазия раскладывала карты и в ответ на это указала ему на пикового туза...

— Это тебе удар, — сказала она с улыбкой и краснея.

Алкивиад приблизился к ней и хотел взять ее руку. Аспазия молча покачала головой и отняла руку.

— Ты знаешь, что Петала за меня сватается?

— Знаю, — отвечал Алкивиад с волнением и досадой, — только это мне не удар; оттого, что ты за него не пойдешь. Ты поедешь к сестре моей в Афины.

— Разве поеду? — спросила Аспазия.

— Что же ты за женщина, если не поедешь...

— Если не поедет со мной отец, не поеду же я одна? Уж не с тобой же мне ехать. Не муж же ты мне и не брат.

— Это зависит от обстоятельств, Аспазия, может случиться, что я и буду тебе мужем.

Аспазия наклонилась к картам и отвечала:

— Если бы ты был мне мужем, тогда что за разговор об отце. На что отец, когда есть муж. Но ты говоришь: может быть, и не наверное.

На этом их прервали, но и этого было довольно. Аспазия рассказала все матери и невестке. И поздно вечером, когда Алкивиад ушел, начались опять семейные состязания.

Старик сказал свое мнение так:

— Хороший малый, образованный, честный, но состояния теперь у отца мало, есть другие сыновья, еще дети; он привык к роскоши и свободе, годами сам почти дитя, должности еще не имеет; ремесла никакого; политическая карьера в Элладе путь неверный. С падением министра выгоняются чиновники. Быть может, сделает дорогу, а быть может, и нет. Если он сжег ей сердце, пусть делит его бедность и его ненадежную судьбу. Я не запрещаю; она не девушка.

Аспазия отвечала с досадой:

— Никто и не говорит, что он мне сердце сжег!

Все дело было решено тем, что надо подождать до тех пор, пока Петала не возвратится из Корфу.

— Со старухой не кончишь без этого; она камень была, камнем и будет, — говорили все родные.

А Николаки, который Алкивиада не любил, сказал после Аспазии особо:

— Петала хочет за тобой тысячу двести турецких лир взять. У тебя своего на пятьсот лир есть. Где же ты возь-

мешь еще пятьсот? А лучше бы за Петалу выйти. Осталась бы с нами и прожила бы век свой спокойно и честно здесь.

Глухой, когда узнал, на чем остановилось дело, стал заступаться за Алкивиада.

— Теперь уже он сватается. Значит, что̀ же тут худого?

— Бедность худа! — сказал Николаки.

Братья долго спорили, совещались вдвоем и решили так: Петала — партия лучше, чем Алкивиад. Только Петала просит много денег; тысячу лир ему не дадут; а надо дать семьсот. Где ж достать двести лир добавочных? Хорошо бы сделать сестре добро; только нельзя же, чтобы Николаки и своих детей разорил; да и Цици и Чево надо сбыть с рук. Аспазия вдова; выйдет или не выйдет, худо только для нее; а Цици и Чево не выйдут долго замуж, бесчестие родне и вечная забота отцу и матери. Что̀ ж Петала хитрит? Можно, если так, и его обмануть. А как обманешь? Дадим своих денег, а с Аспазии возьмем вексель на ее сад и другую собственность.

— Алкивиад и без прибавки возьмет, — заметил глухой.

— Без прибавки; да лучше за Петалу. Грех нам об сестре не позаботиться. Сам же ты ее любишь! — ответил Николаки.

— Очень люблю, — воскликнул глухой и объявил, что если так, то он на свою долю даст ей прибавку и без расписки, а просто в дар.

Семья решилась ждать возвращения Петалы; послали поскорее письмо в Корфу, чтоб он торопился, если не хочет, чтоб Аспазия вышла за Алкивиада.

XXII

На другой день по городу разнесся слух, что Салаяни захватил в плен игумена монастыря Паригорицы и требует 20 000 пиастров выкупа. Племянник игумена, молодой

монах, живший при нем, проливая слезы, ходил по домам, уверяя, что денег в монастыре нет и что он не знает, как спасти отца Козьму. Салаяни грозился убить игумена, если к субботе не принесут деньги на место, которое зовется *Три Колодца*, около того обрыва, что̀ в скалах за монастырем.

Взяли разбойники старца в монастырском хану.

У монастыря был свой хан на проезжей дороге, который давал кой-какой доход. Под вечер игумен возвращался домой на муле с пешим мальчиком; вышел Салаяни сам из-за камней на дорогу; взял мула за повод и повернул на горную тропинку. Мальчик прибежал в монастырь. Разбойники ругали его издали и звали назад: «Не бойся, дитя! — кричали они, — иди сюда, дело есть!» Но мальчик как птица летел от страха домой. Должно быть, о выкупе хотел Салаяни мальчику приказать.

Слышал только мальчик, что отец Козьма сказал разбойнику:

— Или ты, человек, и утробы не имеешь как другие люди! Что̀ я тебе сделал?

— *Айда! Айда!* — сказал разбойник.

Привели отца Козьму в его же хан. Уж было темно. Зажгли лампадочку, Салаяни достал из-за пояса чернильницу и написал в монастырь записку о выкупе. *Ханджи** в это время убежал сам из хана и спрятался. Разбойники достали себе сами вина и выпили, а больше никакого грабежа не сделали, а стали искать кого отправить. Схватили маленькую дочь ханджи, посадили ее на осла, дали ей записку и послали с угрозами в монастырь.

Монастырь был и близко, но девочка была мала, всего десяти лет, и чорной ночи, и собак больших, которые из овчарен кругом лаяли, боялась больше, чем разбойников. Она не доехала и вернулась в хан. «Боюсь», — сказала разбойникам. Засмеялись разбойники и сказали: «Бедная!»

---

* *Ханджи* — хозяин *хана*, постоялого двора.

— Бедная, это хорошо! — сказал один, — а что̀ нам делать?.. Ханджи, рогач проклятый, где теперь, кто его сыщет?

— Сыщем пастуха и дадим ему записку.

Ханджи сам все это слышал из убежища своего и думал: «Выйду я или не выйду? Жаль отца игумена; только больше томят они его этим. Но как бы турки пристанодержателем не сочли? Или уж от допроса не избавиться мне? Не станут же на слова одной девочки моей полагаться. Будут и у меня спрашивать. Дело не скроешь».

И вышел. Дали ему записку, и понес он в монастырь.

— Скажи племяннику моему, чтобы большое русское Евангелие и все, что̀ может, снес в город и заложил бы.

Но сбирать деньги для игумена было не так-то легко.

Иные не давали вовсе, говоря: «чтоб у монахов да не было денег!» Другие сокрушались о судьбе игумена, восклицали: «Грех! великий грех!», а денег дать не хотели. Аспазия первая, не разговаривая, тихо встала, сходила в свой вдовий сундук и достала из него все, что̀ у нее было наличного — 70 чистых новых турецких золотых. «Вот что̀ я имею!» — сказала она, подавая их монаху, покраснела и мельком взглянула на Алкивиада.

— Эти золотые чисты и прекрасны, как душа твоя! — воскликнул Алкивиад.

— Христос с тобой, Христос с тобой и Божия Матерь Всесвятая! — проливая слезы, подтверждал молодой инок.

За Аспазией дал Алкивиад что̀ мог (всего десять лир, денег у него было очень мало с собой, и в тот же вечер он занял у Тодори три лиры на табак и другие мелкие расходы).

Старики Ламприди и сыновья дали под расписку и под залог двух Евангелий, двух кадильниц, нескольких еще мелких серебряных предметов и большого серебряного же ковчежца 100 лир, и надо сказать, к чести их, очень невыгодно, потому что ценность вещей далеко не доходила до этой цены. Старик Парасхо дал под простую расписку 50

слишком лир, восклицая тихо и задумчиво: «Слышали, слышали! На игумена посягнуть! Слышишь, изверги? Слышишь?» Остальные дал митрополит. Старуха Петала и тут осталась как камень: «я не могу без сына», — восклицала она.

Когда деньги были собраны, стали совещаться о том, кого послать с ними. Молодой монах жалел дядю и плакал о нем, но идти сам боялся не только к разбойникам на Три Колодца, но из города даже не решался выходить. Вспомнили в семье Ламприди о Тодори. Тодори с радостью согласился, и Парасхо беспрекословно отпустил его. Надо было видеть, как был рад Тодори такому поручению!

Напрасно обещал ему молодой монах награду за этот труд, он говорил:

— Поминайте меня в молитвах ваших. И пусть Бог наградит меня. Что̀ я за собака такая, что я торговать буду, когда нужно святого игумена освободить? Собака разве я?

Кажется, все было кончено; но узнали турки о том, что деньги собрали и что Тодори идет. Им это не понравилось. Им хотелось поймать разбойников, убить их, а не выкупать игумена. Зачем же посылать выкуп, когда есть власть законная, султанская, когда есть конные заптие и новое пограничное войско нарочно для поимки злодеев?

Позвали в конак старика Ламприди и Тодори. Продержали их до вечера в бесполезных прениях. Кой-кто из местных турок шепнул каймакаму, что этот молодец Тодори — человек подозрительный, сулиот (а сулиоты — известно, какие люди — все *бандиты, ножеизвлекатели*, как говорится по-гречески). «Поучить бы его палкой; не знает ли он чего о разбойниках; не в согласии ли он с ними!»

Он еще недавно на площади одного правоверного убить хотел?.. Да и *больше* его люди, пожалуй, в заговоре. От грека, от христианина всего жди... Как бы нам вред сделать. Это его намаз!

Долго спорили. Тодори ни в чем не казался виновен. Напрасно турки строго глядели ему в глаза; Тодори и не понимал, казалось, их угроз и намеков. Он был почтителен, но смел.

Турки остались также очень недовольны на этот раз самоуверенными, самобытными приемами старика Ламприди и особенно тем, что он сказал:

— Я лучше знаю страну.

Однако делать было нечего, многие из турецких офицеров согласились с тем, что надо прежде спасти игумена и что послать войско сейчас, значит обречь бедного старика на верную смерть. Тодори отпустили, и он еще до рассвета отправился в путь. К несчастию, поздно ночью пришел запрос от вали по телеграфу: «Что же сделано для поимки Салаяни?» Каймакам трепетал пред начальством, все благоразумие его тотчас же пропало.

— Вали хочет голову Салаяни. Неси мне голову его! — воскликнул он.

В получасе ходьбы от города Тодори нагнали пешие и конные турки с двумя офицерами.

Тодори вздыхал, уговаривал их вернуться и подождать.

— Убьет он игумена, а мы его не убьем! — воскликнул он с отчаянием.

— Иди, иди! Показывай дорогу нам. Или ты ума лишился? Кто больше, каймакам-бей или ты, осел?

Тодори пошел. Несколько из албанцев, которые знали дорогу еще лучше его, спросили: зачем же им чрез Вувусу идти, когда можно ближе и прямее, чрез горные тропинки!

— Как бы деревенские не дали знать Салаяни?

— Да нельзя ж и не дать знать, — сказал офицер. — Надо, чтоб он знал, что этот человек ему выкуп несет. А мы скроемся.

Турки остались за горой, а Тодори пошел в Вувусу. Албанцы-худудие говорили без него офицерам, что он непременно даст знать Салаяни и что он выкуп отложит до другого дня, и что разбойник уйдет.

— Зачем ему это сделать? — спросил офицер.

— Из злости, — сказали албанцы.

Тогда один конный заптие и один из офицеров сели на лошадей и поспешили нагнать Тодори у самой Вувусы.

Что было делать Тодори? Сказать им: «напрасно вы это делаете; как бы деревенские ему не дали знать». Это было обвинять своих в преступном пристанодержательстве. Тодори, однако, уж не слишком тревожился; он был уверен, что Салаяни игумена не убьет, а подождет до вечера; потом опять уйдет в горы со старцем, дожидаясь выкупа. Наложить руку на духовное лицо — такой смертный грех, который и разбойнику не прощается. Стали посылать кого-нибудь из деревенских к Трем Колодцам. Никто не шел. Кто боялся, кто просил помилования; офицеры угрожали. Крестьяне клялись, что так будет хуже, что лучше всего Тодори идти одному с деньгами.

Прошел час. Пока совещались, пока офицеру изжарили курицу и сварили кофе, пока он выкурил несколько сигар, — прошел другой час.

Салаяни между тем долго уж ждал, скрывшись за Тремя Колодцами с десятью молодцами. Игумен не связанный ни веревкой и ничем другим сидел тоже пригорюнившись на земле за кустом и перебирал четки, припоминая все молитвы, которые знал. Прождали долго: проголодались (день был постный, и разбойники и сам игумен с утра кроме хлеба и маслин ничего не ели); вино, которое они выпили натощак, мутило им голову. Все были сердиты и почти не говорили между собой. День стоял сырой и невеселый.

— Анафема отцу его! Собачий сын! — сказал про Тодори Салаяни и послал одного из молодцов повысмотреть осторожно, не идет ли Тодори. Молодец вернулся чрез полчаса и воскликнул бледный: «Пропали головы наши, человече! Тодори нет; а два десятка худудие и низамов под Вувусой собралось».

— Не врешь? — спросил Салаяни.

— Вот *тебе хлеб мой!** Вот тебе *вера моя!* — воскликнул молодой разбойник.

---

* Вот *тебе хлеб мой*! — обыкновенная у иных греков божба.

Игумен был утомлен голодом, ожиданием, ходьбой и страхом; схватившись руками за колена, он уже стал дремать и не слышал этого разговора.

— Не лжешь? — переспросил еще Салаяни с беспокойством и грозно.

— Верь ты мне! Верь ты мне, господин Салаяни! Верь ты мне, хороший мой! — умолял его юноша.

Салаяни сбросил бурку и вынул пистолет.

Другие разбойники не успели выговорить слова, как он подошел сзади к игумену и выстрелил ему в затылок.

Когда старичок упал и утих навеки после мгновенных содроганий, все разбойники онемели. Иные перекрестились; другие плюнули и сказали с ужасом на бледных лицах:

— Это дело худое! Христос и Панагия, такого худого дела мы еще не видали, не слыхали мы, чтобы христианину да игумена бы убить.

Молодые разбойники были особенно перепуганы; они пророчили себе беду и молча спешили по камням и кустам за своим предводителем, который опять завернулся в бурку и прыгал с камня на камень, удаляясь поспешно с места своего ужасного преступления.

Когда он и вся шайка его были уже вне опасности, он обернулся и сказал:

— Турки, я думаю, слышали выстрел мой?..

Никто не отвечал, и Салаяни не разговаривал больше.

Через полчаса после бегства разбойников от Трех Колодцев подступили к ним ближе турки.

Конные спешились еще гораздо раньше, чтобы подковы не стучали по камням. Пешие худудие врассыпную залегли за камнями и кустами.

План был такой: Тодори пойдет один открыто, отдаст деньги, освободит игумена и отведет его подальше на дорогу. Как только игумен отойдет прочь, так немедленно должны начаться преследование и перестрелка.

Тодори спустился к Трем Колодцам. Сначала дорогой ему думалось, как бы не убили его разбойники за

измену, за то, что привел с собой турок. Потом, рассчитывая на оплошность турок и на зоркость разбойников, он стал думать, что они давно ушли и увели с собой игумена.

Так размышляя, Тодори оглядывался и не видел ничего вокруг. Три высохших колодца были уже позади его; он взошел на ровную площадку за высокою скалой; еще раз осмотрелся; кроме травы высокой и камней нет ничего... Еще сделал шаг, увидал, что трава стоптана кой-где; увидал окурок сигары; увидал, наконец, корку хлеба и нашел около нее несколько обглоданных косточек из маслин; завернул еще за один камень и увидал труп игумена. Старик лежал лицом вниз; на седой бороде его была видна кровавая пена; одна из рук, опрокинутая вверх ладонью, была вся в земле и в зелени. Умирая, он, видно, впился пальцами в землю и вырвал клок травы.

Тодори закричал, и турки все сбежались на его крик.

Долго стояли они и долго жалели и удивлялись жестокости Салаяни.

— Не собака разве этот человек! — сказал пожилой турецкий офицер. — Много я видел худа на свете, а не видал, чтобы человек своего ходжу, своего учителя так убил.

Оставили при трупе игумена Тодори с десятком низамов, ушли в село и послали оттуда старшин христианских и народ весь взять тело и принести в село.

Какое в селе было негодование, кто расскажет!

Пан-Дмитриу ругал и клял Салаяни, и жена его плакала, глядя на труп игумена.

Капитан Сульйо сказал:

— Надо убить этого злодея! — И потом еще прибавил: — Оно так и будет. Еще старые наши люди говорили: когда разбойник руку на попа либо монаха поднял и убил его, то и ему пропасть вскорости.

И низамы турецкие соглашались и говорили:

— Что̀ за слово! Говорят, *ходжа*, учитель ваш!

Когда Тодори уходил, Пан-Дмитриу сказал ему тихо:

— Ты скажи кир-Христаки, что я на днях приду к нему по хорошему делу. Пусть будет покоен!

XXIII

И в городе скоро узнали, что Салаяни убил игумена. Негодованию не было меры; и турки, и христиане были одинаково поражены. Каймакам телеграфировал генерал-губернатору, и через три дня в Рапезу приехал по особому поручению мутесариф, не превезский, а другого города.

Христиане говорили друг другу, что этот мутесариф лихой и что он, может быть, одолеет разбой.

Все радовались и рассказывали друг другу историю этого паши. Он был родом из дальней Азии; бунтовал там против турок; был схвачен и сослан на долгое житье в Европейскую Турцию. Один паша узнал на Дунае, говорили люди, этого изгнанника; полюбил его и выхлопотал ему не только прощение, но даже должность мутесарифа.

Говорили люди, что его любят посылать везде, где нужна строгость и старинная простота, что в этом есть глубокая политика: «да не падет прямое обвинение излишней строгости или грубого обращения на высшее начальство».

Рассказывали также, что мутесариф фанатик и христианоборец страстный, что у него все по-старому, четыре жены, что он совершал бы охотно ужасные дела, если бы смел; но в руках просвещенной власти он стал лишь полезным орудием строгости.

Все находили, что для трудного положения, в котором находился край, такой человек может быть очень пригоден.

Мутесариф точно созвал на совет всех тех людей, которые могли знать дело.

Разослал по деревням печатное объявление, которое приглашало всех селян способствовать поимке Салаяни. Грозили ссылкой в Виддин всем тем, которые будут ули-

чены в пристанодержательстве. Сам ездил в некоторые деревни, уговаривал, грозил и обещал награды.

Один день все было поверили, что разбойникам пришел конец. С эллинской границы дали знать на ближайший военный турецкий пост, что шайка Салаяни перешла границу и преследуется греческими войсками. Греческий офицер предлагал турецкому захватить шайку в лесу с двух сторон. Турки вступили в лес; офицер турецкий шел впереди и высматривал; разбойники выстрелили и убили его и одного солдата. Воодушевленные гневом, турки ринулись в кусты; разбойники отступили, отстреливаясь; турки все шли вперед, надеясь на поддержку греческого войска, которое должно было быть в тылу у разбойников. Лес кончился, разбойники пропали; греческого войска не было и следа.

Так жаловались турки. Греки свободного королевства, напротив того, жаловались на турок, уверяя, что они искали только прогнать Салаяни в Элладу, а не схватить его.

Пока мутесариф старался и принимал всевозможные меры, и все было напрасно — судьба Салаяни была уже помимо его решена людьми деревенскими, которых возмутило последнее его преступление.

Пан-Дмитриу пришел сперва на дом к Парасхо; долго говорил с Тодори, и они вместе пошли к кир-Христаки и совещались с ним.

— Пора бы давно тебе! — сказал кир-Христаки. — Мало тебе и того, что тебя рогачом люди зовут.

На что Пан-Дмитриу ответил опять то же:

— Худые слова, эффенди, от худых людей идут, а я смотрю на то, что этот человек великое злодейство совершил! Слыхали ли люди — игумена-старца убить!

Кир-Христаки ответил ему на это:

— Когда так, Панайоти, я поведу тебя к мутесарифу.

— Веди, эффенди! — сказал Пан-Дмитриу.

На другой же день шестьдесят человек турецких солдат ушли в Вувусу, и к вечеру разнеслась в городе весть, что Салаяни убит вместе с несколькими товарищами.

В самом деле, в город скоро возвратились вместе с турками несколько вооруженных селян, и Пан-Дмитриу с почтительным поклоном вынул из мешков головы разбойников и положил их у ног мутесарифа.

Радость паши была неописанная: но, приписывая все своим распоряжениям, не подозревал, что не согласись Пан-Дмитриу выдать своего друга, он бы ничего не сделал.

И Алкивиад подумал: «Не оскорби Салаяни религиозного чувства Пан-Дмитриу и других сельских греков — не увидал бы мутесариф пред собою бледной и окровавленной головы Салаяни».

Мутесариф телеграфировал генерал-губернатору, генерал-губернатор благодарил его и приказал снять с мертвых голов фотографии, если в Рапезе есть фотограф.

Фотограф, хотя и не слишком хороший, был в это время в Рапезе, и через несколько дней на базаре вывесили портреты убитых разбойников.

Алкивиад пошел тотчас же смотреть [их] и купил себе одну карточку.

На самом верху, в средине висела голова самого Салаяни. Он был убит пулей в грудь, и лицо его не было обезображено. Усы еще были подкручены кверху, глаза полуоткрытые, как будто хранили еще выражение хитрости и самодовольства, которое заметил в них Алкивиад при первом свидании.

Другие лица были более изувечены сабельными ударами, а внизу висели головы двух очень молодых разбойников, еще безбородых; у одного из них лицо имело жалобное, детское выражение; казалось, он кричал и просил пощады. Голова другого была так разбита пулей, что фотограф долго не знал, как повесить ее и, наконец, прибил ее гвоздем к сукну на стене за клочок кожи на полуотбитой кости лба.

— Геройские греческие души! — сказал Алкивиад. — На что̀ истратилась ваша неукротимая энергия! — и глубоко вздохнул.

Некоторые турки шутили с христианами: «Вот вы, эллины, все говорите, что мы, турки, вперед нейдем! В старину мы резали головы и фотографий не снимали, а теперь тоже режем головы и снимаем фотографии».

Греки отвечали на это: «Кто же, эффендим, говорит, что Османли-Девлет нейдет вперед. Это говорят люди безумные, а благоразумные люди не говорят этого».

Один только архонт, посмелее других, ответил тоже шутя:

— Не турки изловили Салаяни, а греки деревенские; не турок и фотографию делал, а грек же!

— Много ты разных слов знаешь, человече! — с досадой заметили ему на это турки.

Архонты, после смерти Салаяни, вздохнули свободнее.

Кир-Христаки в меджлисе от имени христианского общества благодарил мутесарифа за его старания, и митрополит тоже поддержал его слова.

Алкивиад спросил у Аспазии, пойдет ли она теперь гулять в свой сад?

— Теперь пойду! — отвечала Аспазия и на другой же день с утра собралась на прогулку.

XXIV

Петала еще не возвращался из Корфу, и мать написала ему второе письмо, в котором уговаривала возвратиться скорее. «Не было бы после поздно, ты сам знаешь», — писала она.

Жена Николаки была недавно у старухи и спрашивала, как здоров кир-Петала и что̀ пишет. «Здоров, — отвечала мать, — и кланяется вам». Больше ничего невестка Аспазии от нее не узнала.

Николаки рассердился на старуху за это и с досады на нее уговорил даже Аспазию идти под руку с Алкивиадом на прогулку в сад.

— Оставь эти ржавые вещи, эти предрассудки, — кричал он Аспазии. — Вот теперь и город скоро кончится. Кого ты боишься?

Но Аспазия решилась подать руку Алкивиаду только тогда, когда последний городской дом скрылся за садами. Ей и самой это было «чуть-чуть» приятно, но она сначала беспрестанно оглядывалась и краснела.

Николаки с женой шли сзади их и смеялись.

— Нет! — воскликнула Аспазия, — я не могу больше. Вы надо мной смеетесь.

— От радости, душка моя, от радости смеемся, — сказала невестка.

А Николаки предложил жене уйти вперед, чтобы сестра не стыдилась.

Так прогуляли часа два слишком. Пили кофе и ели апельсины в саду Аспазии; пели песни все вместе; заходили в гости к игумену одного монастыря, под самым городом, на камнях на горе сидели, смотрели, как учились на лужайке турецкие солдаты. Офицер турецкий, приятель Николаки, подсел тоже к ним и хвалил христиан, а Николаки и Алкивиад хвалили турок. Так все было мирно и весело, и весна была на дворе, и солнце грело, и лимоны уже расцветали, и птицы громко чиликали.

Аспазия возвратилась домой румяная и веселая.

Она и дорогой все хвалила и радовалась. То говорила: «Какой воздух хороший!», то: «как пахнет хорошо от лимонов!», то показывала на реку и говорила: «Вот как бежит вода по камням, все бежит и бежит!» Алкивиад был рад еще больше ее. И как ему было не радоваться; он несколько раз успел поцеловать ее дорогой, и она не очень противилась; только говорила: «Скорей, скорей! чтобы не увидали».

В монастыре им пришлось даже и довольно долго обниматься и целоваться, потому что Николаки вышел с игуменом, а жена его заговорилась надолго в другой комнате с *параманой* монастырской.

Аспазия тут уже и сама обнимала его, краснея и целуя его прямо в губы, опять шептала:

— Вот увидишь, поймают нас люди! Скорее, *море́*, оставь меня скорее.

А сама не оставляла его.

На другой день опять пошли гулять, на третий тоже, в другое место. Бледное лицо Аспазии становилось все моложе и свежее; глаза блистали иначе, не так, как блистали прежде, но гораздо веселее.

Алкивиад целый день пел итальянские арии и греческие песни.

В последнее воскресенье на Пасхе, перед Фоминой неделей — только не пошли гулять, потому что в пятницу приезжал капитан Сульйо звать кир-Христаки со всею семьей в Вувусу — поесть барашка молодого, изжаренного на большом деревянном вертеле и с разными душистыми травами.

Женщины отказались ехать верхом так далеко; но Алкивиад, кир-Христаки, Николаки и еще кой-кто из молодых людей согласились с удовольствием. Теперь Салаяни уже не было, и старик Ламприди не боялся; однако все-таки для порядка пригласили с собой и старого кавасса Сотири.

Алкивиаду все улыбалось, все было весело. Он с радостью ехал и в Вувусу, и что̀ была за выгода оставаться дома? Если Николаки уедет, с кем пойдет гулять Аспазия? А теперь, после трех прогулок и стольких поцелуев, сидеть с ней при матери и при сестрах или играть в карты — уж казалось скучнее прежнего.

Он всю дорогу до Вувусы опять мучил свою лошадь, скакал вперед и возвращался, обдумывая, обручиться или не обручиться с Аспазией... За согласие своего отца он ручался.

В Вувусе провели время прекрасно. Братья Сульйо помирились, и обе невестки были веселы; Василики пожеманнее и поскромнее; Александра — посмелее и погрубее.

Архонты смотрели на нее, как она шутила с ними, и думали все: «была ли она в самом деле любовницей Сала-

яни? И если была, как же она так веселится... Или только корысть одна руководила ею?»

Она поднесла всем мужчинам букеты, и Николаки сказал ей:

— Цветок от цветка, кира-Александра, я теперь принимаю...

— Так ты говоришь мне? — ответила красавица. — Уж слишком большую честь, господство твое, деревенской такой, как я, делаешь!..

Муж казался доволен.

Пошли потом все мужчины на гору, отнесли туда барашка, сыр хороший и вино, постелили красные меццовские ковры для господ. Ели, пили, захотели петь песни... И капитан Сульйо сказал брату:

— Позови мальчика того, который про Салаяни новую песню поет хорошо.

Тогда узнали, что про смерть Салаяни уже сложили небольшую песню. Пришел мальчик с деревни, лет двенадцати, здоровый и смелый. Его угостили, и он запел песню о разбойнике Салаяни:

Как в том году, в семидесятом,
Клялись они Евангельем,
Клялись и соглашались:
Убить его со всею шайкою.
Поднялись и отправились
К паше мутесарифу.
«Обида нам, Мехмед-паша!
Беда от Салаяни!»
«Скажите мне, райя мои
И ты, мой Пан-Дмитриу,
Что̀ надо вам и что̀ хотите?»
«Дай войска мне отборного,
Числом давайте со сто...
Ты дай еще двух христиан,
Зовут же их: — *Сотирий Дума*
Да Тодори́, поповский сын.
Отдам я вам разбойников.
А нет — так свою голову!»

Дают низамов шестьдесят
И с ними двух крещеных.
Пошли они и заперли
Его у Айтанаси.
Когда утром проснулися
Они вокруг привала,
То нападенье сделали
Крещеные и турки.
На Салаяни бросились
Со всею вместе шайкой.
Тогда своим товарищам
Так Салаяни молвил:
«Нас съел собака дикая,
Нас съел тот Пан-Дмитриу!»
Они тут взяли семь голов,
(Пораненых же двое).
Они их в хюкумат вели,
Вели к мутесарифу.
«Не говорил я *брѐ!* — Мехмед-паша,
И вы все *брѐ* * — меджлисы.
Что Салаяни мы побьем,
Побьем со всею шайкой?»
И молвил им Мехмед-паша,
И молвил им меджлис весь:
«Ну, христиане, браво вам!
Тебе хвала, наш Пан-Дмитриу!»

Все хвалили песню; Алкивиад бил в ладоши и кричал *браво*. Заставили мальчика повторить еще раз. И сам старик Ламприди подтягивал и веселился.

— Очень люблю я наши эти сельские песни! — восклицал он. — Умираю за них.

— Вот, дядя, — сказал ему на это, смеясь, Алкивиад, — не было бы разбойника, не было бы и песни.

Спросили, кто же сочинил эту песню, и узнали, что сочинил ее сам Пан-Дмитриу. Брат указал на него и сказал: «Сам убил, сам и хвалится!» А Панайоти приложил руку к сердцу и скромно улыбнулся, благодаря гостей за похвалы.

---

* *Брѐ!* — вроде *морé*, только грубее.

Алкивиад хотел записать эту песню, и Пан-Дмитриу, вынув тотчас же медную чернильницу из-за пояса своего, записал ее на бумаге и подал с поклоном Алкивиаду. Веселились до самого вечера. С горы вернулись в деревню, где начали уже сельские люди плясать. Старый Сотири отличался больше всех; он был одет щеголем в этот день, в золотой куртке, в широкой фустанелле, и приятно было видеть, как усатый старик танцовал легко и нежно, выступая и прыгая, как барышня или птичка. Вмешались в танец и все молодые архонты. Капитан Сульйо был неутомим, он сгонял всех женщин и молодых и старых, чтоб и они плясали; привел и Александру, и свою жену; плясал и сам, иначе, чем Сотири, не так нежно, но зато отчаяннее.

— Давай по-*зицки*, как в селе *Зице* пляшут! — кричал он.

Уже и музыканты-цыгане были утомлены; а Сульйо все пел, все командовал, все кричал, все плясал, наконец уже вприсядку, почти не вставая с земли.

Красная яблонька моя писаная, —

кричал он припевая, и хор подхватывал еще громче за ним:

Красная яблонька моя писаная.

И господа все, и Алкивиад, и Николаки, и старик Ламприди были навеселе и пели громко с селянами.

Наконец поднялся и сам кир-Христаки, сбросил пальто, взял Василики, жену капитана Сульйо, и прошел с нею таким молодцом, что молодые ему позавидовали. Никто из них не умел так плясать. Кира-Василики тоже была очень мила. Нагнув головку набок и опустив глаза, она очень нежно держала платок, который соединял ее со старым архонтом; и люди не знали, на кого смотреть — на капитаншу молодую, или на седого хвата и красавца капуджабаши султанского!

Выехали из Вувусы архонты, когда уже солнце садилось. Музыка провожала их долго, больше получаса. Множество селян больших и детей шли за ними почти до реки, а капитан Сульйо и брат его поэт — до самого города.

Алкивиад возвратился хотя и довольный, но очень усталый и поехал прямо в дом Парасхо, не заходя к Ламприди.

Он просил Тодори постелить скорее постель и едва слышал сквозь дремоту, что Парасхо сказал ему:

— Сегодня Яни Петала из Корфу вернулся.

— На здоровье! — ответил ему на это Алкивиад и лег спать.

XXV

Через два дня Аспазию обручили с Яни Петалой.

Не был ли Алкивиад огорчен через меру? Не было ли растерзано его сердце?

Нет! Он был еще очень молод, и любовь его еще не стала привязанностью... Она была тем чувством, которое греки называют по-язычески *эрос*, а не тем, что по-христиански зовется *агáпи*!..

Нет милой жены, но зато есть свобода отыскать другую, еще более милую.

Он отыщет, конечно, без труда такую, которая лучше Аспазии оценит и чорные очи его и приемы его, облагороженные воздухом корфиотским, более барственным, чем воздух Эпира и Афин; и высокие гражданские чувства его более живые, чем чувство Петала, и (казалось ему!) более солидные и глубокие, чем чувства приятных и благовоспитанных, но легкомысленных корфиотов, одним словом, афинские чувства... Он думал лишь о *чувствах* теперь, о бесконечной преданности своей эллинизму... *Мысли* же его, он сам это видел после поездки в Акарнанию и Эпир, поколебались и смутились.

Доживая последние дни в Рапезе, перед отъездом домой, он страдал больше всего от самолюбия, от подозрения, что иные смеются над ним, как над несчастным соперником Петалы, а другие унизительно жалеют его. Вот что̀ было ему больно. Однако из гордости же остался он нарочно еще две недели. Присутствовал при обручении, танцовал, пил вино и пел песни на ужинах и вечерах, которые под цыганскую музыку давали архонты в честь Аспазии и Яни Петала.

Аспазия сняла свои темные вдовьи платья и являлась уже в платочках, вышитых золотом, в разноцветных шолковых платьях, один раз в розовом с лиловыми и белыми цветами; другой раз в голубом с голубыми же цветами; третий раз в лиловом; румянец у нее стал сильнее, глаза выразительнее от радости; и новая шубка на хорошем меху, крытая золотистым атласом, особенно ее красила.

Она сначала все улыбалась и даже краснела, когда в комнату входил Алкивиад, и родные не раз тоже переглядывались, улыбаясь. Но скоро и Аспазия привыкла, и достоинство, с которым Алкивиад вел себя, внушило всем уважение... Он с ней шутил по-прежнему, трогал даже ее волосы и обещал ей при самом Петале прислать им на свадьбу стихи из Афин. Он хотел сочинить их по образцу эпических песен эпирских горцев.

Мучимая ли его равнодушием или, напротив того, довольная его веселостью, Аспазия наградила его за день до отъезда так, как он этого и не ожидал...

Жена Николаки, которая была очень дружна с Аспазией, пригласила его посидеть на минуту на свою половину. Там была и вдова-невеста.

— Ты хочешь на свадьбу мою написать стихи, ты бы лучше песню на разлуку нашу написал! — сказала ему Аспазия, когда невестка вышла зачем-то и оставила их одних. Потом она встала, осмотрелась, покраснела вся и начала целовать Алкивиада крепче и страстнее, чем целовала его в саду...

Занавеска на дверях, однако, скоро колыхнулась, Аспазия отошла от него, приподняла занавеску и сказала невестке:

— Что ж ты так долго нейдешь?.. Алкивиад ждет тебя.

После этого самолюбие уже вовсе перестало мучить Алкивиада. Он видел, что Аспазия будет женой Петалы, потому что родные хотят этого и потому, что он богаче, но что сердце ее принадлежит ему, это он оживил *Галатею*.

Выезжать ему пришлось из Рапезы таким же прекрасным днем, каким пришлось и въезжать в нее в день Байрама. Но тогда был зимний ясный день; а теперь была весна: ярче зимнего зеленели долины между скал; синее зимнего был Амвракийский залив; апельсинные сады благоухали несказанно, тихо роняя на землю цвет... Веселее зимнего бряцали козы и овцы по холмам колокольчиками, и чище белела в полях родная фустанелла хлебопашца.

Еще раз прощаясь с этим краем и тихим и бурным, Алкивиад подумал о том, кто же поможет развитию его жителей, и вспомнил отца.

— Греко-Российской церкви мы поклоняемся, человече...

О союзе Эллады с Турцией против славян он уже и не думал: он не верил в него. Естественное чувство грека проснулось в нем; он уже не судил Турцию, как умел судить прежде; теперь всякий суд его кончался осуждением.

Он за все теперь готов был винить не столько турок, сколько государство турецкое...

И за разбой в самой Элладе, ибо в ее теперешних границах нет простора эллинской энергии, и за то, что христиане-архонты в Рапезе и других городах слишком сухи, и за то, что сыновья их робки, и за то, что скатерть в доме дяди не чиста, и за то, что дочери архонтов так холодны и безгласны в деле любви.

Он уже не презирал своих добрых гостеприимных родных за то, что они предпочли ему *хамала* — Петалу; он жалел их!

Врожденной во всяком греке ненависти к туркам он уже не противопоставлял теперь мечтательное и бесконечное будущее; он стал смотреть проще и, если хвалил он что особенно в родных и знакомых своих, то это здравое чувство, которое обращало их взоры на Север... Он вспоминал часто дорогой и притчу отца Парфения о земледельце неразумном, который не пашет широкого поля восточного, а смотрит все на гору каменистую, где живут бедные родственники богатого бея.

Проезжая через Превезу, Алкивиад опять остановился у доктора и сказал жене его:

— Вы были правы, кирия, Турция, все Турция виновата! Нет спора — те времена прошли давно, когда христианка боялась выйти на улицу, когда всякий мог оскорбить ее. Нет спора, никакой турок не мешает теперь христианским женщинам гулять, танцовать, развивать свой ум и сердце; турку нужно одно, чтобы не бушевали. Но, клянусь вам, кирия, вы все-таки правы. Эта тяжелая, угрюмая, вялая жизнь, которую ведут здесь наши женщины богатого круга, это отсутствие фантазии и изящного кокетства... Отчего все это? Вы правы, кирия, — это Турция. Источники этого кроются в дальнем прошедшем, в истории этого края. Один год свободы политической жизни и движения подействует глубже на самый быт и нравы, чем столетия того постепенного и медленного хода, который возможен теперь. Школы? Что̀ такое школы без жизни и свободы нравов; я говорю о свободе нравов, проникнутой, однако, тою высокою нравственностью, которая сопровождает христианский идеал, которая так тесно связана с ним.

Докторша все это время стояла перед ним, почтительно внимая, и когда он кончил, сказала приятно:

— Садитесь, прошу вас. Как ваше здоровье?

Алкивиад опять рассердился на нее и, быть может, ответил бы ей не совсем вежливо, если бы, к счастию, сам доктор не вошел в эту минуту.

Алкивиад с глазу на глаз излил ему всю свою досаду на общество архонтов в Турции и особенно на женщин.

— Турки лучше их! Я прежде о турках думал гораздо хуже: но о Турции думал несколько лучше, — сказал он искренно. — И едва ли вам покажется парадоксом, если я скажу вам, что чем лучше турки, как люди, сравнительно с нашими архонтами, тем, значит, хуже Турция, как держава, ибо христианину городскому и грамотному предоставлен в ней один лишь путь к влиянию — деньги и торговля. А одна торговля и торговля всегда понижает ум и дух!..

Доктор согласился с ним и прибавил, понижая голос (чтобы жена не слыхала его из другой комнаты):

— Грубость и холодность, друг мой, большая! По ремеслу моему, мне нередко доступны и турецкие гаремы. Я жил и в Константинополе. И что̀ же? С досадой, со стыдом, с ужасом я должен сознаться, что турчанки милее, в них больше грации и жизни, чем в наших хозяйках! Властительное положение мусульман в государстве, открытый им военный путь, их прежнее богатство и роскошь оставили до сих пор следы. Турок умеет иногда быть великодушен, наш архонт никогда; турчанка умеет быть иногда гурией, балованным ребенком, цветком, украшающим жизнь... Жена бедного грека, вышедшего из ничтожества лишь трудом и скупостью, должна была стать лишь честною и скучною хозяйкой!.. Это явно!

— Послушайте, друг мой, — продолжал доктор, еще больше понижая голос и вздыхая. — Вы видели супругу мою? Она честная женщина: послушайте меня, и вы увидите ясно и поймете все, что̀ я перенес. Супруга моя, по желанию отца ее, была обучена хорошо. Она знакома коротко с языком Гомера, Эврипида и Софокла. И что̀ ж? Пусть этот разговор будет моей исповедью. Года два тому назад у нее сделались ужасные нервные припадки. Припадки эти доходили до безумия. Я повез ее в Константинополь. Там ее лечили. Во время приступов болезни она говорила целые отрывки из великих поэтов наших, декламировала, пела, говорила изящным языком. Из неприступных недр души поднялись забытые познания, фантазия

парила, ум блистал. И вот ей стало опять лучше, и слова мои будут излишни, вы видели и поняли ее! Я помню, друг мой, как тогда, измученный заботами о болезни ее, испуганный мыслью, что мне суждено провести всю жизнь с умалишенною женщиной, я отвечал на вопросы моих товарищей по ремеслу. Господа! — сказал я им с отчаянием, — она на себя не похожа! Она вдруг стала умна и занимательна... Она говорит вещи, на которые я и во сне не считал ее способною! А теперь вы видите ее? Судите сами и радуйтесь, что вы не женились!

Алкивиад возвратился к отцу и долго не решался обнаружить новую перемену, которая произошла в его взглядах после поездки в Эпир. Он больше рассказывал, чем рассуждал.

Иногда чуть заметно слышалось в нем против воли доброе чувство к единоверной державе...

Лукавый старик Аспреас видел это и не трогал его.

Прошло еще около месяца, вдруг разнеслась весть об ужасном для всей Греции событии при Марафонском поле. Все были поражены. Англия грозила... Со всех сторон греки слышали насмешки, клеветы и проклятия своей конституции, своим государственным людям, которых хотели сделать ответственными за всех Астрапидесов, быть может, живущих на западные же деньги...

Алкивиад, в первую минуту, с испугом спрашивал себя: что может ожидать от Европы несчастная Эллада?..

Отец его был спокоен и улыбался все тою же улыбкой веры и веселости. «Не одна Англия на свете!» — говорил он.

И Алкивиад в эту минуту почувствовал, как сходила и на него горячая отцовская вера...

С тех пор и он часто повторяет про себя его слова: «Греко-Российской церкви мы поклоняемся, человече!..»

И ему опять стала (как и в детстве, но с большею ясностью и силой) представляться прежняя картина европейского Востока... Опять он стал думать, что как бы ни

были сложны вопросы, как бы ни было пышно дерево исторического развития этого европейского Востока, куда бы ни крылись его корни, куда бы ни простирались его ветви — и корни эти, и ветви, все скрыто в одном этом слове: «Греко-Российской церкви мы поклоняемся, человече!»

Алкивиад и теперь говорит нередко: «Бедный отец!», как говорил тогда, когда мыслил умом сестры и Астрапидеса. Но тогда *бедный отец!* у него значило иное... А теперь оно значит: Бедный отец! как ты был прав, и как я ошибался!..

Разница между ним и отцом теперь только та, что он умереннее старика. Старик в турках даже и человеческих чувств не хотел признавать; Алкивиад же турок, как людей, часто хвалит; он говорит только, что гражданское примирение христиан с Турцией или военный союз Эллады с империей Ислама возможны лишь под влиянием России... Но и то на время!..

КАПИТАН ИЛЙА

РАССКАЗ ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

I

Я с Илйей познакомился в Элладе. Я украл у него лошадь, и он мне это простил.

Илиа живет теперь в Ксерòмерó*, в селе Зáвица.

Я еще мальчиком ушел с дядей из Эпира в Грецию. Дядя отдал меня в услужение в Патрас к одному хозяину, у которого было многое множество *стафúд***. У этого хозяина я жил долго, смотрел у него за виноградниками и помогал ему в торговле. Он меня очень любил и отпустил меня с деньгами, когда мне было уже 19 лет.

Вот тогда я стал с этими деньгами ходить по селам эллинским, искал себе места, а больше, скажем правду, ленился, знакомился с людьми, разговаривал по кофейням и проживал свои деньги. Наконец прожил все, и стало мне трудно. Правда, у нас в эллинских селах люди очень гостеприимные, и когда встретится тебе какой-нибудь человек, сейчас спросит: «Откуда ты, паликар? Куда идешь? И кто ты сам?» Ты ему скажешь, кто ты и откуда; он тебя в дом возьмет и угостит и отпустит с добрым словом. Женщины спорят и ссорятся между собою о том, к кото-

---

* *Акарнания.*

** *Стафúды* — мелкий виноград, коринка.

рой в дом ночевать пойдет бедный странник; потому что такое гостеприимство у нас считается делом *душевным*, для души спасительным, может дому добрый час принести.

Так я и ходил долго без дела по селам, и хотя везде меня жалели и часто принимали даром, однако все-таки я деньги свои скоро прожил, вошел в искушение и украл лошадь в Завице у капитана Илии. Украл даже и не зная чья она, и продал ее в дальнем селе за двадцать талеров. И эти двадцать талеров тоже прожил скоро. Потом нашел себе место в Виотии; прожил там год, часто вспоминая о грехе моем и каясь. Чрез год я собрал опять немного денег, пошел в Завицу и стал расспрашивать с осторожностью у знакомых людей о том, кто был хозяин лошади, потому что я, как говорю, не знал и сам, у кого именно я ее украл. Пришел я в Завицу именно для того, чтобы поклониться хозяину ее, отдать ему двадцать талеров и попросить у него прощения. Но когда мне сказали, что эта лошадь принадлежала Илие, я испугался.

Капитан Илиа был прежде в Турции долго разбойником, совершил много подвигов страшных, и на вид был он человек грозный, высокий-превысокий, чорный, усы вверх приподняты и подкручены, и самый стан у него был разбойничий, молодецкий, тонкий в перехвате, как у тех девиц городских бывает, которые по-франкски корсеты носят. Боялся я ему сознаться; однако как уже дал обещание Божией Матери покаяться и отдать деньги, пошел к нему.

Он говорит: «что̀ ты хочешь, брат, и откуда ты теперь? я тебя видал прежде у нас в Завице». Я отвечаю со страхом: «капитане мой, я имею вам нечто тайное сказать».

Удивился он; однако увел меня в другую комнату и говорит: «садись». А я поклонился ему, вынул деньги и сказал: «простите мне во имя Божие, капитане... Я тот, который у вас прошлого года лошадь украл».

Он не рассердился, сказал только: «несчастный ты!», и потом говорит: «что ж! Ты человек бедный; когда ты каешься, так мне и денег твоих не надо». И оставил меня у себя в доме отдохнуть и погостить.

Дом у него хороший и в порядке: в двух комнатах даже потолок деревянный есть; диваны есть; есть ковры на диванах (их супруга его сама делает); лошадей несколько; жеребят он продает; овец, я думаю, до пятисот будет, коровы есть. Оружия в доме, и старого в серебре и золоте, и нового европейского — в доме множество. Но это уж у всякого грека есть в Элладе; иной имеет дом маленький, разрушенный, скажем, хижину, в доме всего, я думаю, две кастрюли, имеет он, например, жену и сам с нею целое утро зимой маленький виноградник копает, чтобы только для своего дома иметь на будущий год вино простое. Но оружия и у такого бедняка много в доме. Рассердится вдруг такой человек за что-нибудь, сам свой домик подожжет; взял оружие, взял жену, жена ребенка на руки и кастрюли две, и пошли. Он пошел разбойничать, а она куда-нибудь наймется работать. Так и живут по нескольку лет.

А капитан Илиа, конечно, не такой теперь человек. Он давно уже хозяин и все, что̀ имеет, взял он в приданое за женою своей кирой-Эвантиéй. Эвантия из самой этой Завицы; лучшего хозяина любимая дочь. А как это случилось, что Илиа был прежде разбойник, а теперь хозяином стал и взял такую девушку богатую и даже красивую и милую, это я вам все расскажу. Эвантия и теперь хороша, а девушкой, все рассказывают, она была просто «носик костяной», как у нас говорится, а турки таких приятных зовут: «Джувáр», то есть сокровище драгоценное. Видал я в Завице не раз, как Илиа с женой под платан наряженные танцовать выходили. Он в фустанелле и феске набок; она в шолковом платье и феска набок; он высокий, да и она не очень маленькая; он стройный, и она свежая; у него курточка снуром чорным, а у нее золотом расшиты. Идут гордо так вместе. Илиа тотчас музыкантам-цыганам каждому ко лбу по монетке послюнит и прилепит (так у нас делают, чтоб им рук от музыки не отрывать); это значит: «Моя теперь музыка! моя команда! Никто не смей мешать!» И станет Илиа первый в ряду с своею женой тан-

цовать. Танцуют, танцуют, не кончают, и все их хвалят. Красиво смотреть и даже полезно и поучительно видеть, что муж с женой хорошо живут и вместе так веселятся. Судьба человеку была. Что̀ сказать?

II

Я забыл вам сказать, что на первый же день, когда капитан Илиа простил меня и оставил меня у себя гостить, он велел даже барана убить и сам его по-клефтски * зажарил. Взяли мы с собой хорошего вина и барана и сели под платаном, за домом на горке. Там мы ели с ним и пили, и он спрашивал меня, почему я из Турции ушел, и когда, и что̀ я намерен теперь делать. Я ему не сказал, и он предложил мне жить у него, за виноградниками смотреть и по хозяйству ему помогать. Я согласился, и прожил у него долго, года два; и ушел не чрез ссору какую-нибудь, а стало мне грустно по родному краю нашему в Эпире и очень захотелось видеть родных. Вот, живя так долго в Завице и у него самого в доме, я и узнал больше прежнего про его жизнь. Про свои разбойничьи дела и подвиги он очень редко рассказывал, хотя их было много; о них говорили другие и говорили иногда разное; а он этим не любил хвастаться. Однажды я осмелился и говорю ему: «Капитане! простите мне, что̀ я вам скажу. Расскажите мне что-нибудь о ваших прежних делах». А капитан сказал вздохнув и очень сурово: «Э! брат, у кого нет дел худых... Все было!.. Что̀ о старом говорить!»

Я другой раз не смел уже спрашивать.

А другие рассказывали разное. Один говорит так: «Раз захватили еврея молодцы капитанские. Привели; деньги взяли. Илиа говорит ему: Теперь, жид, скажи ты, я прошу тебя: „Верую во единого Бога Отца"... Жид с великою радостью: „Верую во единого Бога Отца"... А

---

* *По-разбойничьи* — на большом шесте и особенно вкусно.

капитан ему: „И в Сына". „Не могу, капитан! Этого не могу!" Илиа отрубил ему ухо. Сказал тогда жид: „И в Сына"... „И в Святаго Духа"... Опять жид плачет и отказывается. Отрубил ему Илиа другое ухо. Сказал он: „И в Св⟨ятаго⟩ Духа". Тогда Илиа сейчас же убил его из пистолета и сказал своим молодцам: „Вот мы теперь его душу спасли; а то бы он опять отрекся"».

Рассказывали еще, как он с четырьмя товарищами раз весь день почти до вечера от целой сотни турецких солдат отстреливался; как он прошел даже до самой Македонии и там сжег почти целое село христианское за то, что жители хотели его выдать; рассказывали, что он нападал на турецкие сторожки в горах и перебивал в них всех солдат. Много такого рассказывали. Может быть, в одном были ошибки, а в другом и правда. Дел у него было много таких, это всякий знает у нас.

Но одно есть его дело и знаменитое, и любопытное. Это правда, и об этом деле он и сам мне сказал:

— Вот это, друг мой, все правда, — и сам веселился и радовался много, когда вспомнил об этом деле.

Это дело было в Турции с одною бедною старушкой и с попом деревенским.

На дороге между двумя селами поймали паликары капитанские одну простую сельскую старуху. Ехала она на осле и имела при себе сто золотых турецких лир.

Привели ее к Илии. «Здравствуй, баба! — говорит он ей. — Откуда у тебя эти деньги?»

Баба ему говорит:

— Дочь у меня одна есть, капитан мой, мне замуж ее не с чем отдать. Ездила я в то село к одному человеку и заняла у него сто золотых на три года срока. Есть у меня мужнин брат, на чужбине торгует; может, он поможет уплатить, а если не уплачу к сроку, домик продам, землицу продам свою... Что̀ делать, капитан мой!..

Пожалел капитан старушку и говорит:

— Вот тебе, баба, твои сто золотых. Вот тебе еще от меня сто пятьдесят. Поезжай ты сейчас к тому человеку, у

которого заняла деньги, отдай ему их назад, расписку у него свою возьми назад и разорви. А мои сто пятьдесят тебе на свадьбу и на приданое дочери твоей; и чтобы никто другой, слышишь, баба, кроме меня посаженым отцом у дочери твоей не был; я ее сам обвенчаю. Ночью сделаем свадьбу. И еще, старуха, помни ты, что за мою голову паша деньги очень большие назначил, так смотри, не выдай меня никому, и за добро мое голову мою туркам не продай. А я тебе буду верить.

Отпустили старуху. Она уехала и возвратила тому человеку сто золотых. «Я, говорит, раздумала; Бог с тобой... Когда я тебе заплачу! Сил нет». А сама домой приехала и жениха молоденького дочери нашла, и стала к свадьбе сейчас готовиться. Назначила день свадьбы: а ни жених, ни невеста до самой ночи не знали, что их будет сам разбойник Илиа венчать. И священник не знал до последнего часа, кто посаженым отцом будет...

К несчастию, старуха верила брату своего покойного мужа как духовнику, во всех делах с ним советовалась и ничего от него не скрывала. Ему она сказала об Илии. Мужнин брат пошел и сказал турецкому начальству в надежде получить за голову молодого капитана несколько десятков тысяч пиастров.

Собрались праздновать свадьбу. Пришел ночью капитан; молодцов своих за деревней в лесочке на горке оставил. Заперлись в домике с попом, женихом, с невестой, со старушкой. Обвенчали молодых; за стол сели; ели, пили и песни пели; а в это время целая рота турецких солдат потихоньку дом окружила. И ждут солдаты, пока выйдет сам Илиа, чтобы схватить его. Ждут и не шелохнутся.

Однако вышел не капитан, а вышла сама старуха взглянуть, не близится ли утро; взглянула, увидала солдат, вернулась назад и говорит Илии:

— Капитан мой золотой! Буря и погибель наша! Низамы тебя стерегут!

— Ты предала меня? — спросил Илиа.

Старуха несчастная поклялась ему.

— Нет, капитан Илиа, чтобы меня Харан чорную взял! Это не я, а Сотираки, верно, предал тебя. Я, прости ты мне, ему сказала; но он мне был со смерти мужа все равно как духовник.

— Пусть будет так, — сказал Илиа, — я верю тебе, баба. Значит теперь мне умирать час пришел!

И потом подумал: что̀ бы сделать (чтобы, значит, спастись). Подумал и поклонился священнику:

— Старче мой, я уж лет пять не исповедывался. Исповедуй меня пред смертным часом моим в другой комнате.

— С радостью! — говорит священник.

Пошли; затворились. Там капитан схватил черепок какой-то; попу на рот и платком ему сверху притянул черепок. Снял с него рясу и камилавку. Надел на себя его одежду. Ему потом руки привязал куда пришлось, крепко, чтоб он ни кричать, ни уйти не мог; а сам, помолившись Богу, вышел из дома. Борода у него, как у попа, небритая; подумал: «солдаты нездешние, где им знать этого попа!»

Старуха и молодые, конечно, молчат; не выдавать же им своего благодетеля.

Вышел капитан Илиа. Еще темно было. Турки вспрыгнули было кто из-за строения, кто из-за камня... Офицер кричит:

— Вур, вур, вур (то есть бей его, бей, бей)!

А капитан им:

— Что̀ вы, благословенные, что̀ вы? Это я... Поп здешний...

Остановились солдаты. А он шепчет им:

— Не входите вы, благословенные, в дом. Илиа человек ужасный. Он, спрятавшись, прежде чем сдаться, перебьет из ружья много народу. Вот скоро заря; дождитесь его и убейте. Будь он проклят, анафема, и меня измучил... Пора уже мне и утреню мою прочесть. Пустите меня, дети мои, домой пройти.

— Иди, учитель, иди, — сказал офицер, — ты скажи нам только, один Илиа в доме сидит или есть с ним товарищи?

— Один, — сказал Илиа и ушел; а как отошел подальше и как почувствовал, что до молодцов его уже не далеко, обернулся с высоты к туркам, выстрелил в них из пистолета и закричал им что̀ было силы: — Вот вам разбойник Илиа где! Вот он где!

И убежал опять в горы с молодцами; а попа нашли в доме связанного и раздетого.

Об этом знаменитом деле его в газетах эллинских писали, и многие греки наши Сотираки, который его предать хотел, «пресмыкающимся» человеком звали, а про Илию говорили: «Нам, эллинам, такие герои нужны; нас немного на свете, и потому надо, чтоб один эллин и мужеством, и умом равнялся бы десяти людям других племен и государств!»

III

Из Турции в Элладу Илиа ушел при Хусни-паше. Хусни-паша был искусен в преследовании разбоя, и когда его назначили губернатором Эпира, капитану Илии стало труднее. Иные из паликар его оставили, и он решился бежать в Элладу. Эллинам, разумеется, нет нужды заботиться о разбое в Турции.

Ушел Илиа без денег — ничего тогда у него не осталось. В Элладу прийти не трудно; но и в Элладе человек есть должен. Разбойничать он здесь не хотел; и без того (он разве не понимал этого?) турки от эллинов его выдачи требовать будут; зачем же он здесь еще врагов себе приобретет?

— Надо работать, что̀ делать.

Пришел Илиа в одном селе к меднику и лудильщику и говорит ему:

— Мастер, позволь мне за хлеб только и без жалованья тебе помогать, пока выучусь сам лудить и посуду делать?

— Помогай, молодец, я тебе пищу дам и спать можешь даже у меня, — сказал ему медник.

А о том, кто он и откуда, ничего не спрашивал. Только спросил:

— Ты верно из Турции?

— Из Турции, мастер, — сказал ему Илиа.

А мастер говорит:

— Это хорошо! человек ты молодой, видный и даже из себя как бы страшный... Это все ничего! Все мы люди, брат! Да будет тебе все хорошо, сын мой, от Господа Бога! работай у меня, работай.

И стал работать Илиа у медника со старанием.

Медник его хвалил и кормил; а через два месяца и небольшое жалованье назначил.

Илиа был на все человек способный. Скоро он выучился уже и сам делать простую медную утварь и лудить; поклонился тогда своему хозяину и благодарил его.

— Добрый час тебе, Илиа, — сказал ему хозяин и отпустил.

Пошел тогда Илиа по другим селам работать.

Пришел в эту Завицу и стал делать и лудить сам посуду и этим питался. Скоро познакомились с ним все люди, и побогаче, и победнее, и он всем лудил; бедным он часто и даром лудил за молоко или за простой хлеб. Все удивлялись и любовались на него и говорили:

— Вот какой у нас лудильщик! Воин-мужчина и собой прекрасный... Молодой, а важный, и усы капитанские! Точно Тодораки Гривас. Не видал ты его — поди посмотри!

Димарх* иногда сомневался в нем и покивал на него головой, и даже останавливался перед ним иногда и говорил ему:

— Здравствуй, господин Илиа; здоров ли ты?

— Кланяюсь вам, димархе, господин мой... Я здоров и много благодарю вас.

— Вижу, вижу, что ты здоров, и радуюсь, — говорил ему на это димарх. — Так ты лудильщик, значит?

---

* Вроде мэра.

— Как видите, господин димарх!

— Лудильщик? — еще раз спросит димарх и одну его работу поглядит и другую, покачает головой и уйдет.

А другой раз откровеннее ему сказал:

— Одно меня беспокоит и очень искушает, это что у тебя глаза для лудильщика слишком героические. У тебя глаза больше клефта, чем лудильщика.

Капитан ответит димарху, смеясь, что ему такие глаза Бог дал, и димарх согласится.

— Да! конечно, все Бог, но я вот у лудильщиков что-то таких глаз никогда не видал.

Но больше этого димарх его не тревожил. Что̀ он димарх! Он и сам боится; его народ выбирает.

Так понемногу поправлялся в делах Илиа, и поправился. Одежду новую купил; *чапки́н*,* чорным снурком хорошо расшитый, и две фустанеллы новых; мыли ему их женщины; а гладить он их сам утюгом старательно гладил.

По праздникам в Завице, после обедни, люди собираются около большого платана; пьют вино, беседуют, поют и пляшут. В Элладе женщины молодые не так как у нас в Эпире танцуют или вовсе особо от мужчин, или становятся все в ряд ниже мужчин. Я в Меццове, например, видел, мужчины все становятся прежде в ряд от первого купца до того последнего носильщика, который зимой людей дорожных и вещи их на спине переносит чрез снег и горы, а женщины все ниже, то есть хоть бы этого самого первого купца супруга станет в ряд ниже, вослед за носильщиком, а если носильщик не стар и она молода, так им за руку взяться не позволят, а поставят между ними либо старуху, либо мальчика малого. А в Элладе свободной, все равно как у болгар, все вместе и девушки, и молодцы, и старухи пляшут и скачут.

Капитан Илиа выходил часто под платан; садился и песни там пел, он умел играть на *тамбуре*** и пел с

---

* *Чапки́н* — курточка с откидными рукавами.

** *Тамбура* — балалайка.

тамбурой. Оденется получше, усы подкрутит, поет и как будто ни на кого не смотрит, а сам все видит. Пел он разное: и сельские, и городские песни знал, клефтские так пел, что ужас! «О Джаке»* и о том, как две горы «Олимп и Киссамос» между собою спорят, и говорит Олимп: «Молчи, Киссам... Ты! *турком стоптанный Киссам.*** Я свободен; и на высоте моей сидит орел большой, и держит он в когтях своих молодецкую голову...» (Стихами я, жаль, не помню!) И любовные пел разного рода. Одну хорошую, которую сочинили не знаю где — в Афинах или в Керкире, или в Стамбуле. Эту я немного знаю на память:

Как ветер лист увядший, пожелтелый,
Уносит вдаль, безжалостно гоня...
Так еду я, мой друг осиротелый,
О! я молю — ты не забудь меня!

* * *

Вода лазурная у берега дремала,
Была тиха спокойная волна,
Но ветер взвыл — и мутной пеной вала
Она о скалы бьет, стенания полна!..

* * *

Так и меня в далекую чужбину...

Было очень жалко слушать, когда он это пел.

И многие его с удовольствием слушали и утешались; и старики старые, и девушки все. Одна бедная старушка в Завице имела дочь Калиррое. Эта Калиррое была, одним словом, страшилище; лицо красное, распухлое, глаза малые; очень дурна лицом была эта несчастная девушка. А ее мать часто хаживала к Илии даром посуду лудить. — «По-

* *О Джаке* — клефтская песня.

** Вероятно, потому что Киссам (древняя Осса) ниже и доступнее Олимпа, и около много турецких селений.

лудишь мне, мастер?» — «Полужу, баба!» Села раз старуха у него; а он работает. — «Мастер, что̀ я тебе скажу?» — «Говори, баба!» — «Ты бы, мастер, у нас женился». — «Что̀ ж, я женюсь; а на ком?» — «Возьми, мастер, мою Калиррое». — «Хорошо!» Старуха обрадовалась. А он ей: «да молода ли она?» — «Ты видел, мастер, ее. Скажи сам, сколько ей лет?» — «Да семьдесят пять будет!» — говорит Илиа. Старуха тут поняла, что он над ней смеется; больше не докучала ему с дочерью, а посуду он по-прежнему ей всегда без денег лудил. Об этой Калиррое и ее матери Илиа и сам тоже часто вспоминал и смеялся. Хаживала, конечно, плясать и гулять к платану та самая Эвантия, которая после вышла за него замуж. Так ли он ей понравился — не знаю, и были ли даже у них какие-нибудь особые разговоры прежде женитьбы — и этого сказать не могу. А щеголять она всегда любила: курточками расшитыми и ожерельями из монет, и юбками шолковыми, и фесками на бочок загнутыми с большими кистями. И теперь еще любит; нарочно так и взмахнет головой, чтобы кисть лучше легла у нее. И сама сознается: «Увы! Пусть Бог мне простит, любила я красоваться и сама собой любоваться! Все даже думала — чем-нибудь не вытереть ли мне лицо мое, чтоб оно больше блестело! А когда отец новые длинные серьги мне золотые привез, я уж стала пред зеркалом... И пойду, и отойду, и так головой качну, и этак качну. И все, чтобы больше сиять. Любила я это!»

— А теперь уж не любишь, я так замечаю, — сказал ей муж как бы сурово.

— Что теперь! Сказано — замужняя женщина.

А капитан Илиа как будто смиряется пред ней.

— Так, так! — говорит, — я и сам вижу, что не любишь. Как ты говоришь, так пусть и будет.

Смиряется он пред ней часто; это я замечал. Да и как не смиряться: не только богатство и дом она ему принесла, но и душу его, быть может, спасла; когда бы не женился, он скитался бы опять и взялся бы за прежние дела свои и сколько бы новых грехов приложил бы к прежним.

Я говорю, что не знаю как, они сами ли познакомились, или прямо сам отец Эвантии полюбил молодца и дочери его предложил? Дочь ли за Илию у отца старалась, или отец уговорил дочь за него выйти? Спрашивать об этом их самих совестно. А от людей больше об отце слышно, чем о ней. Отец Эвантии, кир-Ставри, старик веселый, я его тоже знаю; он вместе с зятем и дочерью и теперь живет. Толстый, красный, усы седые, веселый, я говорю, такой. Все ему «хорошо», все «слава Богу!» — «Хорошо, — говорит, — хорошо, все хорошо! Zito!» Люди говорят, что он все хвалил Илию с самого начала и угощал его, и деньгами помогал. — «На! мужчина! — скажет и кулак сожмет. — Такого бы сына я бы желал иметь. Это сын!»

Раз, уже живши у капитана в доме, я помню, он смеялся и говорил, как он застыдился, когда в первый раз увидал Эвантию.

— Когда я пришел лудить в Завицу, кир-Ставри (это отец Эвантии, кир-Ставри) увидал меня вечером и расспросил «кто я и откуда». Поговорили. Я сказал, что лудить буду. — «Луди, луди, сын мой».

— А есть ли, говорит, где тебе ночевать? Я говорю: «негде!» Он говорит: пойдем ко мне. Пошли... Поужинали... Только я ее, Эвантию, в темноте и не разглядел хорошо: туда-сюда ходит, а в комнате темно. Пошли спать. Кир-Ставри говорит: «Ты рано встать хочешь завтра?» Я говорю: «пораньше». Постлали мне постель на софе хорошую. Зима была, я завернулся в одеяло и заснул. Слышу вдруг над собой: «Кир-Лиако!* Кир-Лиако! Свет уже. Я вам горячую *хилопиту*** принесла». Гляжу, свет — правда! а надо мной стоит с чашкой вот она, Эвантия... и смеется еще... А я так застыдился, страх просто. Спрятался под одеяло скорей с головой и говорю

---

* Лиако — уменьшительное от Илиа.

** *Хилопита* — род лапши, которую варят с горячим вином в селах и дают зимой по утрам, чтобы согреться и легче вставать было.

ей: «Поставьте на стол, госпожа моя, поставьте на стол!» У нас в Турции со мной никогда не случалось, чтобы девица такая и мне в постели бы служила. Беда была мне тогда! Да! мне стыд, а она стоит с чашкой надо мной и смеется!»

Вот об этом, правда, он мне и при жене сам рассказывал и смеялся. Мы тогда ночью все вместе сидели и грелись. Посмотрел я тогда на них обоих украдкой. Должно быть, оба они что-нибудь приятное вспомнили. Кира-Эвантия вздохнула; а капитан задумался; ус крутит и молчит и все улыбается.

Они очень хорошо живут. Капитан ее уважает, и я сам видел, как собрались они вместе на праздник, оделись и вышли. У Эвантии к юбке шолковой что-то пристало, капитан сам нагнулся до земли и поправил ей платье. Это много значит, если вы знаете! Конечно, при других он бы этого не сделал; но он и не заметил даже, что я смотрю на них из окна; а все-таки — любовь тут и уважение есть.

Хорошо; но это все теперь; а что было прежде, вот надо что мне вам рассказать.

IV

Был у капитана Илии в Турции младший брат Василий; они друг друга очень любили.

Пока Илиа сперва при другом начальнике разбойничал, а потом и сам начальником стал, они с братом этим очень редко виделись. Илиа боялся, чтобы не погубить брата, чтоб его за пристанодержательство не осудили.

А когда он в Завице поправился, написал ему. У младшего брата торговля небольшая была, уже и деньги были. Обрадовался он, что старший брат жив и здоров, продал свою лавочку и приехал к нему. Тогда вдвоем им стало еще легче и лучше. Брат и здесь лавочку открыл, а Илиа продолжал лудить и посуду делать. Тогда капитан стал говорить брату:

— Видно не хочет Бог, чтобы дьявол мою душу взял. Будем жить теперь хорошо.

Еще сколько-то времени прошло все спокойно, и вдруг случилось несчастие. Задолжал один из селян младшему брату в лавочку довольно много денег.

Несколько раз ходил он и просил его заплатить, потому что этот человек был не из самых бедных, но в делах не имел ни порядка, ни чести. Ничтожный был человек. «Подожди, подожди еще!» — Сказал ему Василий наконец что-то, может быть, и грубое; а тот был сильнее его и избил молодого паликара крепко.

Когда капитан Илиа увидал избитого брата, он сказал: «Беда мне! не хочет видно дьявол, чтоб я спасся ни здесь, ни на том свете!»

Зарядил он свое албанское ружье двумя пулями, связал пули проволокой и вышел к платану.

Народу было много, и тот человек, который его брата избил, сидел тут же. Илиа подошел к нему шагов на десять, и тот вскочил. «Стой!» — крикнул ему капитан и выстрелил. Попал он ему в левую руку, и так попал обеими пулями с проволокой, что руку выше локтя почти как отрезало, на клочке повисла. Люди не знали, что̀ делать. А Илиа зарядил вмиг опять ружье, чтобы его не тронули. Видит — никто его не трогает, и ушел домой. Хотел было бежать, но раздумал и сказал брату: «Теперь я за честь нашу с тобой, Василий, сын ты мой, покоен; но Богу я много грешен. Пусть будет, что̀ будет».

И сам пошел к димарху без оружия и сдался.

Димарх пожалел его и сказал вздохнув: «Паликар ты мой бедный, не говорил ли я тебе, что у тебя не такие глаза, как у лудильщиков бывают!»

И все почти в Завице гораздо больше жалели Илию, когда повели его скованного в город Патрас, чем того человека, которому он руку отстрелил, потому что этот был скверный и ничтожный человек, и сварливый, и глупый, и не хозяин, и трус. А Илиа хоть и суровый вид имел, но со всеми жил хорошо, оскорблять никого не

искал: с богатыми хозяевами был вежлив, к бедным добр, со стариками почтителен, с молодыми людьми иногда шутил, с женщинами осторожен и целомудрен. Говорят, будто бы был с ним в Завице и такой случай. Пригласили его тоже, как тогда в Турции, венчать девушку одну. А жених ее был не очень молод и много хуже капитана. Человек, который венчает, по-нашему зовется кум — *Нуно́с*, все равно как бы он крестил. Венчал Илиа эту девушку, она была собой хороша. Чрез сколько-то времени после свадьбы зашел он к ним, а муж в город уехал по делу. Нужно было Илиа руки помыть. Она стала ему подавать мыться и говорит:

— Кир-Илиа... что̀ я тебе скажу, можно?

— Скажи.

— Увы мне, бедной, кир-Илиа, увы! Когда бы *жених был кумом, а кум женихом!* Увы мне!

— Грех, молчи! — сказал ей Илиа и тотчас ушел и ходил в дом к ним после того редко, а без мужа не ходил и вовсе.

Поэтому почти все уважали и любили его в Завице, и, когда повели его скованного в Патрас, иные заплакали даже. И та баба, которая свою несчастную Калиррое ему сватала, и та больше других плакала.

— Прощай, баба! Прощай! Калиррое кланяйся, — сказал ей капитан и улыбнулся даже ей.

В Патрасе тюрьма скверная, ужасно сырая, грязная. Долго держали Илию в этой тюрьме, и так ему было иногда тяжело, что он одного только желал, чтобы его поскорее осудили хоть бы на галеры, только бы переменить место. Наконец стали судить его. У того дурака рана уже зажила давно, и он приехал сам судиться с Илией без левой руки. Сидит как филин.

Однако и друзья капитана его не забыли. Главное, отец Эвантии. Он все был без ума от паликара и как только заметил, что и дочери он не противен, так и стал на одном, чтобы спасти его, женить его на Эвантии и успокоить навсегда. И взялся старик за дело. Больше

года он старался, хлопотал, расходовал, свидетелей всячески уговаривал и усовещевал. Адвокатов разыскивал. Все наделал.

Сел судья за решетку на свое место и стал судить. Скрыть ничего нельзя. Человек сам здесь, я говорю, без руки сидит. Он хотел, дурак, и руку, говорят, привезти с собой, да не сумел сохранить ее; она и сгнила, и похоронил он ее в землю. Все даже смеялись этому.

Сидит без руки, что̀ делать? Однако и брат младший Василий был тут, которого тот избил, и много свидетелей. Все почти обвиняли безрукого, что он и денег не платит, и ругатель, и мошенник, а Илию и брата его хвалили за их поведение в Завице.

Слушает судья, спрашивает.

Начал говорить наконец адвокат, которого разыскал старик Ставри для защиты своего друга.

Как начал он говорить, как начал говорить, у меня эта речь записана. Мне старик Ставри давал списать. У него была она записана. Сам адвокат ему дал на память, и так долго кир-Ставри бумагу эту в кармане носил и всем читал, что она жолтая стала и развалилась совсем — новую копию снимали с нее. Бывало уж позднее, когда я жил у них, придет кто-нибудь, старик толстый затрясется весь. «Где очки мои, где очки?» А дочь нарочно, как будто с пренебрежением: «Вот твои очки. Верно опять эту речь будешь читать людям... Уж наскучила она людям, оставь ты их». А старик ей: «Э, безумная! безумная! Что̀ за слова твои! Твоего мужа, глупая, он спас». «Ну и спас, так что̀ ж?» — говорит Эвантия, а Илиа смеется. Хорошо они жили, и речь точно была высокая.

«С самых древних времен, г. судья, наши праотцы эллины, которых слава исполнила блеском и патриотизмом всю вселенную, — с самых древних времен эти великие, эти знаменитые, эти бессмертные предки наши выше всего ценили воинское мужество и отвагу».

Долго он говорил.

— Конечно, — говорит, — руки нет. Но, во-первых, рука эта левая, а не правая. Правая гораздо нужнее. Правою рукой человек подносит ко рту пищу, необходимую для бренного тела нашего; правою он приступает к большинству трудов своих, правою рукой, г. судья, он излагает на бумаге мысли, которые внушает ему цивилизация, патриотизм, чувство равенства и благородной свободы!.. Скажу более, г. судья... Скажу гораздо более... Правою рукой, а не левой, христианин возлагает на себя символическое знамение православного креста...

Потом он вдруг подскочил к Илии, раскрыл ему рубашку на груди; а у Илии росло на груди много волос, он его за эти волосы как схватит, закричал:

— Г. судья! взгляните сюда наконец! Взгляните на этого молодца, на этого мужа, каким должен быть истинный муж.

Потом рукава капитану поднял.

— А эти руки? Это мясо железное? Или жилы, вервию подобные? Взгляните при этой мощи на этот гибкий стан, стану еленя подобный. На этот рост исполинский... На эти очи львиные!.. О, г. судья! Нас, греков, мало. Нас немного в прекрасной отчизне нашей, г. судья. И эта несчастная, прекраснейшая в мире отчизна окружена со всех сторон свирепыми и мощными врагами. Взглянем ли на восток — мы увидим оттомана, зверя дикого во образе человека; обратим ли мы взоры наши на запад — мы узрим надменную Британию, подавляющую нас своею торговлей и механикой; мы увидим Францию, союзницу иезуитов... На северо-запад — Австрию, родину извергов, подобных три-анафемскому Меттерниху... На северо-восток... Да! на северо-восток — и там даже Полярный Колосс заставит нас задуматься своею двусмысленною политикой... Нам нужны герои, г. судья! Они необходимы нашему народу, эти мужи, которые умеют защищать оскорбленных братьев... И неужели мы пожертвуем даже одним годом свободного существования паликара и мужа, подобно этому Илии, который здесь пред

вами теперь столь терпеливо и мужественно ожидает вашего справедливого решения?.. Пожертвовать кого же?.. и кому же? Такого героя из-за левой руки ничтожного человека!

Вот как говорил этот отчаянный адвокат. Кир-Ставри продал никак сотни полторы овец и заплатил ему.

Капитана отпустили; присудили его только к денежной пене в пользу раненого, и ее Ставри заплатил.

— И за это заплачу! все заплачу! и будет так, как желает того душа моя! — сказал он и кулаком по столу ударил. И заплатил.

Сейчас отвел Илию из тюрьмы к себе в Патрас на квартиру. Вымылся, выбрился — опять молодец; чистую одежду надел, и уехали они вместе в Завицу в великой радости.

Скоро и свадьба была после этого. На свадьбе и безрукий филин выпил и помирился.

— Руки не воротишь — Бог вам да простит, — сказал он.

С тех пор Илиа стал жить хозяином.

И хотя он, как я говорю, мало про свою жизнь любил рассказывать; однако о той старушке, которую он еще разбойником в Турции пожалел, всегда вспоминал и говорил:

— Это ее молитвы, сердечная она баба моя, спасли меня. Я так это думаю!

Когда я уходил домой, в Эпир, Илиа дал мне несколько золотых и сказал:

— Слушай, сыне мой! узнай, жива ли старуха (он и деревню назвал, и ее самой имя мне сказал). — Если жива, отнеси ей это и поклонись от меня, и все расскажи ей, что̀ знаешь про меня. А если она, бедная, скончалась, отдай деньги на монастырь или на церковь за ее душу.

Я приехал в село это, дом старушки нашел, и дочь ее и зять меня хорошо приняли. А сама старушка около года пред этим кончила жизнь свою. Я все рассказал зятю и дочери и отдал деньги на церковь. Они очень благодарили меня и радовались.

ДИТЯ ДУШИ *

СТАРИННАЯ ВОСТОЧНАЯ ПОВЕСТЬ

I

Жил муж с женой.

Был у них домик, был один осел, одна корова, куры были, собака, кошка и больше ничего. Не было у них и детей.

Муж по чужим домам в работу нанимался; рыбу ловил, людям помогал; уголь в город привозил продавать на осле. Жена рубашки ему ткала, дом прибирала, пищу варила, коровой занималась, цыплят выводила.

Пока была у них сила, они терпели и не плакали и даже песни пели веселые и одни и при людях. Муж никогда не пьянствовал, но, когда были лишние деньги, он заходил в кофейню и выпивал одну маленькую чашечку кофею и стакан холодной воды, с людьми беседовал благочестиво и весело, и тихо, и в ссоры никогда не вступал, а напротив того, других примирять старался. Звали его Хри́сто. Жену его звали Хри́стина и она тоже была женщина хорошая, как муж. С соседками хоть и ссорилась,

---

* *Дитя души* — на Востоке значит приемыш, воспитанник, дитя, не *телом рожденное*, а *душой принятое*, по душе признанное, а не по плоти; по-гречески — *псúхо пэдú*. Рассказ этот основан на действительных греческих или греко-молдавских преданиях, сообщенных мне одним придунайским жителем.

потому что была женщина, но все-таки ссорилась редко, и соседки ее любили...

Все звали ее кира-Христина, хоть и знали, что она была бедна.

— Кира-Христина! Как здоровье твое? Что поделываешь? Бедная ты моя!

И Христо люди звали и на базаре и везде:

— Добрый ты человече!.. Как время свое проводишь? Как живешь? Здоров ли ты? Жена твоя здорова ли?..

Однажды порубил Христо топором ногу и долго лежал; а Христина простудилась и в лихорадке лежала. Жаркое было время; мухи их в бедной хате тревожили. Муж лежит и жену жалеет, а жена мужа. Муж не может за лекарем сходить, чтобы жену полечил; жена раз в день едва до угла дойдет воды принести. Хлеба им соседи давали.

Долго болели они. Слышит Христо однажды ночью, что жена не спит, а молится. Стал он слушать, о чем она молится. И слышит, что она говорит Богу: «Господи Боже мой! Не послал Ты нам богатства, мы работали и песни пели, не плакали; послал Ты нам болезни, мы на Тебя не роптали; пошли Ты нам дитя, чтоб оно кормило и поило нас, когда мы постареем и изувечимся».

Тогда Христо стал смеяться над ней и сказал:

— Мне сорок лет, жена, а тебе тридцать пять; двадцать лет у нас детей не было, а теперь будут?

Христина рассердилась и сказала:

— Для Бога все возможно!

Пришел к ним старый поп, — посетить и утешить их, и спросил у него бедный Христо: кто правее, он или жена?

А пом ему:

— Жена правее. Для Бога все возможно; только не всякий чудес достоин! Вот наша беда!

Поп ушел. А Христо стал после этого скоро поправляться и начал ходить на работу. Нога его зажила. Лихорадка тоже у Христины прошла, и она стала в доме работать по-прежнему. Только прежде она и за пряжей сидя,

и пред печкой одна стоя все пела что-нибудь веселое; а теперь, как одна останется, так молиться начнет: «Недостойна я, Боже мой, чтоб утроба моя разверзлась и чтобы бесплодие мое прекратилось; ибо я исполнена всякия скверны и греха; но как Ты знаешь, так и устрой мое дело!»

Так ее священник научил.

Вот однажды слышит она вечером, что стучится муж, и она пошла отворить ему.

— Божий дар! — сказал он, улыбаясь, и раскрыл одежду; а там дитя уснувшее — мальчик.

— Не тебе, а мне Бог послал его, — сказал ей Христо шутя; вошел в дом и положил дитя у очага на коврике, а сам достал из-за пазухи четыре прекрасных цветка: один красный, один белый и два жолтых и положил их на стол. Жена на них и не поглядела.

Дитя спит, а Христина плачет.

— О чем же ты плачешь, глупая, когда Бог нам послал то, о чем ты молилась?

Но она, хотя и занялась тотчас же младенцем, долго еще слезы утирала украдкой.

Муж ей говорил:

— Милая ты моя, ты верно от радости плачешь?

А она ему:

— Да, кир-Христо ты мой, я от радости плачу.

Понимала она, что это-то и было исполнение ее молитв и что роптать ей не следует теперь; но все-таки ей было немного обидно, что это дитя не ее дитя родное, не ею рожденное, не в ее утробе выношенное с тяжкою болью. Женщина!

Ей бы нужно тотчас пред иконой стать и благодарить Бога; а она и не молится, и на ребенка не смотрит. Пошла за дверь и села на камне у порога; не хочет ничего видеть. И мужу стало обидно, что он напрасно радовался и бежал почти к ней с младенцем; и он забыл помолиться; надел башмаки опять и ушел из дома на весь вечер и дверью хлопнул.

Так Христина, по глупости своей, Божий дар нехорошо приняла и мужа смутила и расстроила.

Сидела она на камне у ворот, однако, недолго. Ночь была хотя и лунная, но осенняя, скучная... и очень холодная; ветер сильный был, и листья шумели, и деревья качались пред ней, и начала думать она, и сказала себе наконец: «Эти деревья качают главами своими мне в укор и насмешку: вот, говорят они, эта дура Христина, которой Бог послал сына, и она оскорбляется и на дитя невинное и безродное смотреть, как псица злая, не хочет. Это так шепчут деревья эти страшные и так они укоряют меня!..»

Возвратилась она в комнату, зажгла огонь, и младенец проснулся на коврике у горящего очага.

Присела Христина на землю и стала на него смотреть пристально.

Мальчик не плачет и ничего не говорит. На вид ему года два.

Глаза веселые, большие-большие, синие, такие синие, как небо в самый зной бывает, или как бирюзовый камень дорогой у богатых людей на запястьях и перстнях, или еще как цветок редкий. Посмотрела Христина после глаз на волосики мальчика; они как шолк темные или как соболиный мех на шубе царской, и курчавые, как у агнца молоденького. И лицо у мальчика здоровое и румяное, брови у него как снурки темные, ресницы как чорные острые стрелочки. Стала она уже любоваться на красоту младенца и развеселилась, и засмеялась, и стала сама себе шутя говорить:

«Вот Господь Бог-то знает, что̀ посылает... Я ведь так и молилась: как Ты знаешь, так и устрой мое дело... а не так, как я хочу. Нам с бедным Христо моим не родить бы такого красавца! И мы некрасивы, и дитя, от нас рожденное, в кого ж бы вышло такое? Муж мой и смолоду, как сушеная рыбка, худой был и глазами косит немного; а я хоть получше его всегда была, а все не из первых. Может, выйдет такой красоты молодец у нас, такая картина и сокровище, что царские дочери об нем убиваться станут...

И женится он на богатой, если не на царевне самой... И будет наша старость с бедным Христо богатая, богатая, веселая и спокойная!..»

И задумалась она теперь уже совсем иначе. Стали ее мысли все веселые. Стала она ребенка молоком и хлебом кормить; воды нагрела, мыть его стала и радуется, что и дитя тихое и покорное, все глазками на нее глядит и не плачет; в чистое белье его одела и на ковре опять спать положила.

Муж утром вернулся и увидал, что жена уснула у очага и младенец около нее тихо спит. Он обрадовался и сам лег. И все-таки Бога не подумал поблагодарить; вечером так же, как и жена, с досады забыл, а теперь от радости.

На другой день Христина вспомнила, когда муж ушел на работу, что она и не спросила у него, откуда он взял ребенка. Стала она об этом тревожиться и сокрушаться и насилу-насилу мужа дождалась. Как только он пришел, она приступила к нему:

— А я и не спросила тебя, где ты этого младенца нашел.

Христо говорит ей:

— Не спрашивай у меня об этом никогда. Я должен открыть тебе это тогда, когда от вчерашнего дня пройдет восемнадцать лет и один день. А до тех пор на мне лежит великая клятва. И я умру, если скажу об этом кому-нибудь...

Христина оскорбилась, и любопытство, как червь, начало точить ее сердце.

— Чем же я хуже тебя пред Богом и пред людьми, что мне нельзя того знать, что̀ ты знаешь? Не хуже я. Жена без мужа не бывает, да и муж без жены что̀ такое... Ты муж, а я жена.

— Не хуже ты меня, моя дорогая, пред людьми. А пред Господом Богом, может быть, и несравненно меня ты честнее. Но верь ты мне, моя жемчужина драгоценная, что если я тебе скажу это прежде восемнадцати лет и

одного дня, то я сейчас же умру лютою смертью грешника, который клятву великую нарушил.

Так отвечал ей Христо, как муж разумный и добрый. А она все свое:

— Не знаю, отчего ты мне этого открыть не хочешь! И почему ты не веришь мне? Не знаю!

— Хочу, но смерти боюсь, — отвечал ей, вздыхая, муж.

И правда, зарок на нем был великий и страшный. Но не верила ему жена и знать не хотела о страхе его. Допустила она в сердце свое злого духа, и начал он, вселившись в нее, искушать ее всячески. То думала она, что ребенок этот от какой-нибудь блудной и дурной женщины мужем прижит от нее тайно, и начинала она его вдруг ненавидеть; то думала, что хоть и не от мужа он в грехе прижит, то по крайней мере от худой какой-нибудь ветви происходит, и вот потому-то в дом их раздор с ним вместе пришел. А иногда мерещилось ей, что дитя совсем даже не простое дитя, а страшное, не человеческое.

Плачет дитя, есть и пить просит; она пожалеет, даст ему есть и пить, а сама качает головой и думает: «сердитое дитя будет, беспокойное... Не от злой ли матери оно рождено на мое несчастье!..»

Тихо дитя, долго не плачет и все смеется, и на нее все глядит; станет ей страшно вдруг, и она подумает, «что дитя это не по-детски смотрит. Не человеческое дитя. И плачет редко. Нет ли тут чего-нибудь дурного?» И раскрывала волоски ему надо лбом, смотрела, не растут ли у него рожки. А когда ей опять этот вздор приходит на ум, что это мужа ее незаконный ребенок, то входила она в такую ярость, что невинную душу иногда погубить хотела. Либо задушить, либо утопить ребенка желала, либо думала: «Погоди ты, дитя анафемское, я тебя не буду кормить, и умрешь ты с голоду, и муж не догадается; подумает, что ты от болезни умер».

Так допустила в душу свою злого духа добрая Христина. И мужу ее все это время было дома очень тяжело жить.

С горя он в первый раз в жизни пить вина много стал, и хотя слишком пьян не напивался, а все-таки денег трудовых своих тяжких стал больше на пустое тратить. Так и он подчинился греху больше против прежнего.

А с женой все кроток был. И когда она его укоряла этим ребенком и распутным человеком его звала, и побродягой, и дураком, Христо молчал и уходил из дома в кофейню или кабак.

Испортилась вовсе их благочестивая жизнь, и соседи корить их начали и смеялись над ними.

Придумала наконец Христина новую хитрость, чтобы мужа заставить себе тайну открыть и успокоиться.

Легла в постель, не прядет и пищи не готовит, и за водой не ходит на фонтан, и при муже и ребенка не кормит, а потихоньку встанет без мужа и кормит дитя, все-таки жалеет его.

Муж лекарей приводил и с соседками советовался, и хо́джу в чалме белой приглашал, и ходжу в чалме зеленой, и оба они над Христиной читали из Корана, и еще хуже ей стало. Не пьет, не ест и ни слова не говорит, и все стонет и стонет так жалобно, что Христо и слышать не мог без слез.

Наконец промолвила она слово:

— Скажи мне свою тайну; а если не скажешь, я завтра умру.

Пришли опять ходжи: и тот, который в белой чалме был, и тот, который был в зеленой, и оба сказали: «умрет, потому что без веры наши молитвы слушала».

Священник сказал:

— Умрет, пожалуй, потому что от ходжей приняла заклинания. За мной не послала во время подобное!

Убивается Христо.

Последние медные деньги, какие были, понес в церковь, подошел к образам, по три раза поклонился и по малой свечке поставил, сколько было сил. И опять по три раза поклонившись, из церкви домой вернулся. И открылись у него глаза и уши, и ум просветлел.

«Глупый я: из хитрости она притворилась, а я убиваюсь, плачу, а ее не побью. Палка, которая неразумных наказывает и усмиряет, из райского сада, сказано, вышла. Только надо бить не в сердцах, а в спокойствии и с рассудком...»

Обрадовался Христо; взял палку и со скорбью, без гнева, но крепко прибил ею Христину, чтобы встала и не притворялась.

Начала плакать Христина как малое дитя пред ним и просить его:

— Христо, мой золотой, душенька моя, никогда ты руки на меня не накладывал, прости ты меня и не бей больше.

И приказал он ей в церковь пойти помолиться.

Христина взяла мальчика и пошла с ним в церковь, и поставила его пред образом чудотворным и сказала:

— Вот я умею пестрые прекрасные чулочки вязать зимние из разноцветной и нелинючей шерсти пестрыми звездочками и цветочками. Буду я вязать теперь такие чулочки и продавать их буду и каждый год три раза ставить свечи в рост этого младенца, которого мне Бог послал. Теперь младенец еще мал и свеча в его рост небольшая; а я потом каждый год прибавлять буду по росту его до тех пор, пока он перестанет расти. Пусть только Бог пошлет глазам моим силу и рукам проворство, чтоб я могла вязать всегда эти прекрасные чулочки из нелинючих шерстей разноцветными звездочками и цветками пестрыми.

Так молилась Христина и целый золотой к образу положила. Золотой этот ею давно спрятан был, и много нужды терпела она за все это время, а золотого не тратила, на случай своих желаемых родов берегла. Теперь же отдала его и о своем собственном ребенке перестала думать и успокоилась.

С этого дня отошел от нее злой дух и опять возвратились к ним в дом и молитва усердная, и здоровье, и смех безгрешный, и радость, и согласие, и лю-

бовь... А бедны они были по-прежнему и трудились. Мальчик же стал расти благополучно и с каждым годом все становился умнее и красивее.

II

Выросло наконец *дитя души* у Христо и Христины. Было ему уже около 20 лет, и перестала Христина вязать пестрые чулочки, и перестала ставить свечи во весь рост его.

Вырос Пе́тро большой и сильный; вырос он белый и румяный, синеокий и чернобровый, вырос добрый и умный.

Скажет ему Христо:

— Петро! сын мой! поди сюда!

Петро отвечает:

— Прикажи, батюшка.

И когда Христо прикажет ему вместо себя поработать пойти или зимой за угольями сходить с ослом, навьючить его и отвести в город, Петро поклонится и руку к сердцу приложит и скажет:

— Сейчас, батюшка мой!

И головой так приятно кивнет: «понимаю», значит, «и все с радостью сделаю!»

Скажет ему Христина:

— Петро! сын мой, поди сюда!

Петро отвечает:

— Прикажи, матушка!

И когда Христина прикажет ему вместо себя очаг растопить или за водой сходить, или корову загнать домой, Петро поклонится ей и руку к сердцу приложит и скажет:

— Сейчас, матушка! — И головой так же, как и отцу, и ей в ответ так мило и внимательно склонится, чтобы показать ей радость свою и готовность, что Христина уж ему и слов ласковых не находит, а только вздохнет и перекрестится и подумает:

«Прости Ты меня, Господи, грешную, что я так худо думала прежде о младенце этом, который есть Твой дар и Твоя милость к нам, несчастным и бедным!»

И всякое благословенье было на делах рук прекрасного Петро. Очаг ли он топил, приклонившись к земле, у материнских ног, пылал огонь быстро и треск стоял по всей хатке, и дымом не дымило в глаза, и пламень к небу рвался... Рыбу ли он вместо отца с рыбаками ловил, рыбаки боялись, чтобы сеть не порвалась от множества рыбы, и шептали друг другу:

— Недаром этого мальчика назвали Петро; он, как Петр апостол, рыбу ловить счастлив!

За угольями ли поедет, уголь все крупный и чистый у него в мешках; за водой ли поедет, вода у него в руках и холоднее, и чище, и слаще станет.

Другие молодцы любили его за то, что силен был и ласков, и песни пел хорошо, и плясал красиво по праздникам, и смел был, и борец он был страшный; никто с ним бороться не мог.

Как увидят его товарищи, все смеются от радости и говорят:

— Вот и Петро идет к нам!

Любили его старцы и старицы за уважение и смирение пред ними. Увидит старца — поклонится и к руке подойдет. Заговорит с ним пожилой человек, он покраснеет и глаза опустит, и руки спереди сложит; а сам ничуть не боится и не теряется и все слышит, и все понимает, и все исполняет, что̀ ему старшие говорят. И когда отойдет Петро от них, все старики и старухи про него так отзываются:

— Если краснеет юноша пред старшими, знай, что это хорошо. Это значит — он чувствует все!

Соседки молодые кланялись ему и заговаривали с ним, когда он проходил мимо; все они любили ему сказать: «Здравствуй, Петро!», а самые молодые девушки взглянуть на него прямо не смели, а из калиточек смотрели или из-за окон; а одна из них, богатой матери дочь, как уви-

дит, что он идет, тихонько от матери выбегает или приподнимется на что-нибудь, встанет, чтобы через стенку взглянуть, или нагнется куда-нибудь, бежит, прячется, чтоб из-за угла или в щель на него порадоваться. А Петро идет, не смотрит; а сам все видит и про себя улыбается, и молчит, никому не признается, что он все понимает.

Бедна одежда на нем — шальвары простой абы, темной, из овчины простой безрукавник, ветхий, отцовский; но и в убогой одежде этой высится он между другими юношами кипарисом прямым и душистым между другими деревьями; а из-под белого валяного колпачка, как гроздья винограда полные и как лозы гибкие, и как шолк мягчайший, и как соболиный темный мех зимою на шубе царской, ниспадают кудри его молодые, длинные, на широкие плечи. И руки его сильны и ловки, и поступь как у королевского сына, и ноги в простых кожаных сандалиях, по колена нагие, красивы как столбы мраморные и как железо крепки, и быстры как стрела, которую мечет искусный генуэзский стрелок или житель критских снежных вершин — сфакиот белокурый.

Духовенство тоже восхваляло молодого Петро. Он был благочестив, в церковь часто ходил и от трудов своих уделял на храм и свечи к иконам. Когда видел на дороге попа или монаха, не медля подходил и целовал десницу его, говоря: «благослови, отче!»

И попы и монахи говорили с ним любезно, подавая десницу, и звали его всегда: «благословенный наш Петро». И радовались на благочестие Петро Христо и Христина.

Христина восклицала:

— Воистину от Бога нам это дитя!

А муж отвечал ей:

— Я тебе говорил, что от Бога, а ты сердилась!

Христина иногда опять просила, чтобы Христо рассказал ей, как и где послал ему Бог этого мальчика; но Христо отвечал ей:

— Глупая! помни, что не прошло еще сполна восемнадцать лет.

И Христина перестала просить, но ждала этого срока с нетерпением.

Пришел наконец этот срок.

Однажды Петро шел по улице и увидал, что две соседки говорят между собою у ворот. Когда он проходил мимо них, одна из них сказала другой:

— Вот идет этот Петро-приемыш, которого Христо, сосед наш, неизвестно откуда принес, восемнадцать лет тому назад.

Петро огорчился, слыша такие слова; он до той минуты все думал, что Христо и Христина ему настоящие отец и мать. И никто никогда не говорил ему, что он приемыш.

Он огорчился и, возвратившись домой, стал просить Христо и Христину сказать ему правду: сын ли он их или нет?

Христо ужаснулся и, сочтя годы и месяцы и дни в уме своем, понял, что прошли те восемнадцать лет, о которых была столько раз речь у него с женою и что в этот самый день приходилась годовщина тому дню, когда он принес с собою маленького Петро.

Он велел жене и приемышу сесть и, сев сам против них, стал рассказывать:

— В этот самый день, восемнадцать лет тому назад, возвращался я поздно вечером домой. Уставши я был от работы, и хотелось мне домой и не хотелось; знал я, что застану жену опять печальную и что денег не было ни пиастра. Стемнело, когда проходил я по лесу мимо пустынной церкви Св. Николая; я остановился и помолился еще раз, чтобы Бог послал нам сына на помощь в старые годы, и как стал я спускаться с ослом моим после этого под гору, так увидал я, что сидит в стороне на камне старушка в изодранной одежде и держит на руках ребенка и плачет над ним. Так как место это было очень дикое и от всякого села далекое и время было вечернее, то я очень испугался и принял ее за видение; осел мой тоже остановился и не хотел идти. Я сказал тогда старушке

этой: «Добрая моя старуха, если ты человек живой, то скажи мне слово какое-нибудь, а если ты не человек, то именем Господним заклинаю тебя, исчезни и дай мне пройти домой по этой узкой дорожке». На это старушка отвечала мне человеческим голосом: «Я, господин Христо, человек такой же, как и ты, и вышла я сюда нарочно тебя ожидать». Я ужаснулся, слыша свое имя, еще больше потому, что старухи этой никогда не видал и не мог понять, почему она знает мое имя; так ужаснулся, что ноги и руки у меня задрожали. Тогда старушка сказала мне: «Не бойся и выслушай меня. Была у меня шестнадцатилетняя внучка, прекрасная и скромная Севáстица. Честнее и смиреннее моей Севастицы во всем соседстве не было. Солнечный свет не видал ее, никогда она не гуляла, все дома трудилась и шила. Выдала я ее замуж за хорошего молодца, и родила она мне через год вот этого сиротку, которого ты видишь, и мы жили прекрасно. Однако пришла буря и погибель моя, пришел чорный день, и остались мы с маленьким Петро оба сиротами. Поссорился ее муж молодой с другими людьми в городе, и убили его, а внучка моя была в тягости, и от испуга и жалости сама тотчас же скончалась. Вот уж тому год, как живу я так и стала в тягость всем людям, и не знаю, чем прокормить младенца этого. Ему уж два года. Много я плакала, много людей просила, но не жалели меня люди; вздумала я помолиться Богу, и было мне во сне видение, и сказано мне: „Поди, старуха, и сядь под горку, с которой узкая дорожка вниз идет от пустынной церкви Св. Николая в лесу, и когда увидишь ты человека с ослом, навьюченным хворостом, и будет он спускаться с этой горы, то ты сядь и заплачь и отдай ему ребенка, он и возьмет. Зовут его Христо. А твои дни сочтены, старуха, и ты после этого тотчас умрешь". И я очень рада разрешиться от бремени жизни, ибо мне и хлеб надоело есть в одиночестве, и жила я лишь для этого маленького Петро, а когда ты возьмешь его, то умру я в ту же ночь. Так возьми же его, господин мой. Это дитя тебе от Бога

и принесет тебе великое счастие». Тогда я взял тебя, Петро, от твоей бедной бабушки и, как ты спал, то и не заметил этого и не испугался. Она поклонилась мне в ноги; имени же своего сказать мне не хотела. И так я ушел и унес тебя на руках. А что все это была правда и что она была человек живой, то это я знаю вот почему. Через несколько дней рассказали мне люди из ближнего к этому лесу села, что на том повороте тропинки, о котором я говорил, они нашли умершую какую-то чужую старушку, и отнесли к себе в село и по-христиански погребли ее.

Христо кончил. И Христина и Петро плакали, слушая его рассказ. И Христина сказала:

— А потом что̀ было? Куда ж ты потом пошел?

Христо начал было так:

— Оттуда я пошел, и ночь стала совсем темная. Как вдруг... как вдруг увидал я...

— Что̀ ж ты увидал? — спросила жена с любопытством.

Христо смутился, а потом засмеялся и сказал:

— Тебя увидал, домой пришел и его тебе отдал. Вот и все.

Христина тоже стала смеяться и радоваться, глядя на Петро, и удивлялась про себя молча, как она могла прежде думать, что ее прекрасный воспитанник какое-нибудь не человеческое, а худое дитя, что̀ и назвать страшно. Звала она себя дурой и радовалась тому, что Петро был настоящее дитя души, дитя милосердия; и что им, людям бедным, пришлось оказать милосердие другим, еще более несчастным, чем они сами.

Христина радовалась, но муж ее и Петро были оба печальные и задумчивы.

Петро, как узнал, что они не родные ему отец и мать, а по милосердию столько лет кормили и растили его, так сейчас и решился на другой день от них уйти, чтобы заработать им, в свою очередь, под старость хорошее пропитание.

А Христо был печален, потому что знал, что Петро на другой день уйдет, хотя Петро ему этого и не говорил.

Петро, на другой день встав, поклонился в ноги своим воспитателям и сказал им:

— Не для того вы взяли меня и растили, чтобы в старости я вас бедными видел. Благословите меня на дальнюю чужбину. Там я либо погибну, либо богатыми вас сделаю.

Христина стала плакать и сказала ему:

— Зачем нам богатство? Живи с нами, Петро; и когда мы очень постареем, ты нас здесь простым хлебом прокормишь и простым вином напоишь.

Но муж сказал ей:

— Не удерживай его, Христина. Ему так написано — на чужбину уйти.

Тогда они приготовили ему пищу для дороги и Петро, взяв пищу и посох, ушел на чужбину.

III

Когда Петро ушел на чужбину и остались одни Христо и Христина, они много плакали и старались друг друга утешить.

И Христо сказал ей:

— Пойдем, моя добрая жена, сядем у очага, и теперь-то я тебе открою ту великую тайну, которую ты так желала знать и о которой теперь совсем и забыла. Пока дитя души наше было здесь, я при нем не мог этого сказать. Не должен он этого знать. И оттого и тебе я не мог прежде его ухода открыть эту тайну, чтобы ты не сказала ему по материнской любви. Когда покинул я с великим сожалением и страхом бедную бабушку Петро на узкой тропинке, стало в лесу уже совсем темно. И осел наш не знал, куда идти, и я сам шел с великим страхом по дороге, боясь оступиться и ушибить младенца, которого послал нам Господь. Ты знаешь, жена, какие в том

лесу большие и широкие каштаны; шум и ветер от них все усиливался, а ночь все чернела. Наконец показался мне вдали небольшой огонек. Однако огонек этот был не похож на такой, какой виден ночью из человеческого жилья, а был он какой-то слишком красный, так что я идти к нему не желал. Но смотри ты, какое дело. Осел мой привел меня к нему: по другой дороге он не захотел идти. Как стал я подходить ближе — огонь этот все вырастал, и наконец увидал я пред собою прекрасную дверь, как бы из кристалла, багряного цвета. Сквозь нее, я видел, блистали несметные огни. Что̀ было делать? Тут слышу я изнутри голос... голос самый приятный и нежный, который говорит мне ласково: «Взойди, Христо, не бойся». Коснулся я только двери, так она сейчас отворилась, и увидал я пред собой, жена, большую храмину, такую богатую, изукрашенную и прекрасную, что я никогда такой не видал, да и верно никогда не увижу. Скажу я тебе только, что она была многоцветнее и изукрашеннее самых дорогих иконостасов в больших городских церквах. И столбы меня окружали со всех сторон из разноцветного мрамора, и не знал я, куда мне между ними идти. Однако пошел прямо и прошел я несколько таких покоев, один прекраснее другого, и опять увидал другую дверь пред собою, но эта была белая, как бриллиант, и вся она сияла в граненых украшениях, но сквозь нее ничего не было видно, и опять раздался ласковый голос: «Не бойся, Христо, взойди». И опять едва я коснулся рукой этой двери, как она отворилась, и я взошел. И тут что̀ увидал я, жена, то мне рассказать тебе еще труднее, ибо первая храмина и другие покои были подобны, хотя бы и царскому, но все-таки человеческому жилищу. Здесь же было нечто вовсе иное, ни на жилище, ни на храм не похожее. Сказать тебе — похоже это было как бы на большой купол, опущенный над самою землей и не слишком обширно, но непостижимо и чудно. Как бывает в тех пещерах, ты знаешь, в которых сверху просачивается вода и натекает известь сосцами, и ты, стоя

в той пещере, ничего не слышишь, только слышишь, как падают сверху капли. Так с этого чудного купола над бедною головой моей висели и сияли, и сияли, и светились все сплошь драгоценные камни, изумруды, яхонты алые и синие, и зеленые смарагды, и алмазы чудного блеска разной величины и всякого вида. Одни из них спускались длинные, как острые, длинные льдинки, которые в морозные дни в холодных землях на краях крыш натекают; другие были круглые, подобные женским сосцам; а иные походили больше на вымя тучной коровы с четырьмя сосцами. Благоухание в пещере той было необъяснимое, и по чем я ступал босыми ногами моими, я долго не мог понять. Мягко оно было, как самый нежный ковер, и свежо и пестро, как цветы, и все в узорах, все в узорах, но сыро оно как цветы не было, и, нагнувшись, увидал я, что это все были самые нежные и разноцветные перышки и пух разных птичек, таких, каких мы с тобой и не видали. И все узоры были в порядке, как на ковре; где быть траве, там перышки были зеленые, а где цветам — там разноцветные. И ни одной лампады или другой светильни, верь мне, жена моя, не было, однако все сияло, как будто было много свечей. И вот чему удивишься ты, когда я скажу тебе, что смарагды и яхонты алые, и алмазы таяли беспрестанно, капая сверху, и как только отделялась капля от застывшего камня, так становилась она яркою звездочкой, и огонь был такого же самого цвета, какого был сам камень. Так что вся пещера была наполнена как бы огненным многоцветным дождем; и падая вниз на ковер, обращались эти звездочки, опять застывая, в маленькие капли драгоценной росы. Посредине пещеры стояло что-то, как золотой столик, и на столике этом увидал я три кристальные сосуда. В одном из них были большие цветы пурпуровые — налево. В среднем сосуде цветы были как червонцы золотые, жолтые, а в третьем, направо, были белые и чистые как крин. Голос опять сказал: «Подойди!» Я сначала не знал, как идти мне под этим огненным дождем; держал крепко Петро

руками (а он все спал у меня под одеждой) и закрывал ему лицо, чтоб его не обожгла какая-нибудь из этих звездочек. Однако вспомнил я тот ласковый голос, который говорил мне: «взойди и не бойся», и подошел к столу. И опять услыхал я тот же голос, и он сказал мне вот что̀:

— Христо, добрый человек! Судьба младенца этого, Петро, которого тебе Бог послал, теперь в твоих руках. Счастье людям бывает разное и разные бывают у них грехи и пороки. Уйти ты отсюда не можешь, не взяв цветов из одного из этих сосудов. Если ты возьмешь цветы пурпуровые, которые похожи на молодую кровь, твоего Петро будут любить все женщины: и жены молодые, и девушки, все красавицы, и бедные, и богатые, и простые, и из хороших домов, и такие, что̀ хлеб свой трудом зарабатывают, и царские дочери, что̀ на золоте и серебре едят. Честные за него честь свою захотят потерять, а развратные разврат оставить, чтобы его любви удостоиться. Такое ему будет счастье, если ты возьмешь пурпурный цвет. Если ты возьмешь из среднего сосуда жолтый цветок, подобный червонцам — богатство будет этому Петро рекою литься без большого труда, и будут люди завидовать ему, но даже и ненавидящие его за глаза — в глаза будут льстить ему, ожидая от него помощи и даров. И будут и не любя исполнять, в угоду ему, все его желания. Но бойся, чтобы не стал он сребролюбив и скуп и безжалостен к чужой бедности. Если ты возьмешь из среднего сосуда белый цветок, подобный крину, белый и чистый, не будет Петро ни на женщин счастлив, ни богат; будет далек от всякого плотского греха, будет тверд как адамант и свободен от сребролюбия, чревоугодия, властолюбия; будет святым человеком в этой жизни. Но бойся — и здесь для него скрыт яд, непонятный твоей простоте. Яд этот незримый зовется духовная гордость. Он может счесть себя выше ангелов, людей других будет судить беспощадно и душу свою не спасет на том свете; ибо этот грех есть отец всех грехов и чрез него в мір вошли другие грехи.

Перестал тогда говорить голос, а я подумал: «Если я возьму красных цветов — будет Петро буян и женолюбец, либо забудет нас, либо его какой-нибудь ревнивый и гневный муж убьет, застав его с женой; а если я возьму только жолтых — будет он богат и скуп и нам помогать не будет, и будут его ненавидеть все люди; а если я возьму только белых, которые как душистый крин чисты, — тогда он будет скучать мірскою жизнью, уйдет далеко от нас на Афонскую гору, либо в Иерусалим или на пустынный Синай». И так как я тогда уже ободрился, то и взял, поразмыслив, один красный цветок, один белый, а из среднего сосуда два жолтых вынул. И думал так: «Пусть его любят все красивые жены и девушки; выйдет одна из них и богатая, что̀ принесет ему за собой деньги большие». Чтоб их было побольше, я взял два жолтых цветка. А белый я взял, чтоб он был воздержен, чтобы Бога и нас помнил, чтобы блудной жизни не вел, но чтобы в честном браке с богатою и красивою девушкой жизнь бы свою благочестиво прожил. И как взял я эти цветы — так опять услышал я голос: «Теперь ты можешь идти». И еще сказал голос: «Что̀ ты видел здесь и слышал, ты младенцу этого никогда открывать не должен; а жене можешь сказать от сегодняшнего дня чрез восемнадцать лет и один день; иначе погибнешь ты лютою смертью». И растворилась предо мной сперва белая, алмазная дверь, а потом, когда я прошел все другие разукрашенные покои и храмины, растворилась и красная дверь, и вышел я опять в лес на холодный воздух. И скажу я тебе, жена, что когда я, вышедши из той пещеры, проходил по большим покоям, заметил я, что все рубище мое было покрыто многоценными камнями от тех звездочек, что̀, падая вниз, застывали яхонтами и смарагдами. Вспомнил я о тебе, жена, и смеялся и думал: вот я ей за один раз и сына и богатство несу; сын под рубищем скрыт, а рубище под алмазами и смарагдами. А все-таки, скажу тебе, как вышел я на холодный воздух в лес, так мне стало легче. Вижу я — месяц светит,

дорога к нашему дому видна, осел наш травку щиплет, а каштаны кругом хоть и велики и шумят они сильно, только вовсе не страшно, а как всегда они шумят. Я перекрестился, а потом оглянулся назад на красную дверь, из которой вышел, и вижу: нет ничего — ни красной двери, ни пещеры, ни света из нее. Поглядел я на месячном свете на одежду мою и провел по ней рукою, и осталась у меня на руке простая роса. Но я, скажу тебе, жена, не опечалился, а вздохнув, все-таки благодарил Бога и раскрыл лицо младенца, чтобы поглядеть на него; а он открыл глаза и улыбнулся мне. Тогда я опять запахнул его и пошел по дороге домой с ослом и мальчиком. Вот какая это была великая тайна, а остальное ты знаешь .сама. Ему же говорить этого не следовало.

Христо кончил, а Христина обрадовалась и сказала:

— Слава Господу Богу! А это ты, Христо, хорошо сделал, что два жолтых цветка взял, а не один. Все, может быть, невеста побогаче будет.

Больше они об этом не говорили.

IV

Много ли, мало ли дней шел Петро дорогой, только пришел он наконец в большой город.

Домов было много — и высоких, и небольших, и богатых, и бедных, и новых, и старых; сады и церкви были; в лавках купцы торговали. На базаре толпа толпилась. Петро увидал в толпе старика усатого в чорной чалме и одежде, хотя и из домашнего и толстого сукна, из такой же *абы*, какую носили и Христо и он сам, однако гораздо новее и цветом темнее и лучше. Пред стариком стояли два молодца, оба оборванные, и нанимались ему в работники.

— Много ты, юнак, денег желаешь, — говорил старик одному молодцу.

— Нельзя меньше, господин Брайко, — отвечал ему молодец оборванный. — Работа у вас трудна.

Старик сказал другому оборванцу:

— А ты, Стоян, что̀ желаешь?

Сказал Стоян ему свою цену, и ее нашел старый Брайко не малою.

— Вы дорого просите, — сказал он и отвернулся от них.

Тогда Петро подошел к старику и сказал ему, низко кланяясь:

— Возьми меня, чорбаджи, я не желаю многого. У меня нет ни отца родного, ни матери; добрые люди, муж и жена, меня воспитали, но они стареют уже, и я хочу теперь их кормить. А цену ты сам назначь, по твоей совести и правде. Потому что я вижу, что ты человек опытный и справедливый.

Понравился Петро старому и скупому чорбаджи; понравился его низкий поклон и лицо молодое, как у девушки чистое, и плечи широкие, и руки большие рабочие, и ноги могучие, и речь его умная. А больше всего понравилось старику то, что он и справедливым его зовет, и цены не назначает.

Он сказал Петро:

— Пойдем со мной!

И отвел его с собою за город в село свое.

Село было богатое, и чорбаджи Брайко был самый богатый в этом селе.

И Петро начал работать у него и пасти его овец, и тотчас же овцы в стаде стали плодиться; за это хозяин полюбил его больше своих сыновей и стал думать, как за него дочь свою Ра́ду замуж отдать.

Рада была собою красива; годов ей было всего шестнадцать, и она была у отца уже всему дому хозяйка, так как ее мать умерла давно. Трудилась она, работала целый день, целый день отцу с братьями помогала. А в праздничные дни, когда на ней был новый красный передник, на руках серебряные запястья и серебряное ожерелье на шее,

пряжки на поясе богатые, из-под белого платочка на висках розы или гвоздичка висели... Не мог человек сказать, что̀ лучше: гвоздичка та или роза, или пряжки богатые, или сама девушка.

Хозяин сшил для Петро новое платье, и Петро в праздник стал в *коло* * с девушками и молодцами плясать. Стали они с Радой рядом не тотчас, — оба стыдились, — а потом как-то переменили места и, не глядя друг на друга, положили друг другу на плечи руки по обычаю круговой этой пляски. И как почувствовала только Рада у себя на плече тяжелую руку Петро, сердце в ней затрепетало все, и сказала она себе: «Вот это муж мне!»

И долго они плясали рядом и не смотрели друг на друга.

Старик же Брайко радовался на них и думал о том, что у Петро овцы плодятся.

И Петро тогда думал: «Вот эта Рада жена мне, видно, будет. И овцы все будут мои... Пусть они плодятся...»

Но ошиблись Петро и Рада. Не была им судьба стать мужем и женой.

Напустил дьявол волков на овчарню хозяйскую; а Петро и собаки спали, и съели волки много овец.

Рассердился Брайко, ударил Петро за то, что спал и овец не уберег, и прогнал его со стыдом. Когда же Петро сказал ему о деньгах, Брайко отвечал ему:

— Глупый ты! Ты сам сказал, что я человек справедливый; много овец ты мне погубил в один месяц, какие же я тебе деньги дам?

Ушел Петро со слезами; жалко и стыдно ему было, что не успел он ничего для Христо и Христины заработать.

Шел он два дня, на третий устал и сел на дороге хлеб есть у фонтана...

Видит — едет поп простой, сельский, на муле. Подъехал к фонтану и стал мула поить.

---

* *Коло* — круговой славянский танец.

Петро помог попу напоить мула и поцеловал его десницу. Поп спросил у него:

— Откуда ты, дитя, куда идешь и отчего ты печален?

Петро рассказал ему, как он служил у чорбаджи Брайко и как чорбаджи обидел и прогнал его.

Поп пожалел его и сказал ему:

— Пойдем со мной; я возьму тебя при церкви крахтом-кандильанафтом служить; будешь свечи и кадилы зажигать; будешь до света людей к утрени и литургии будить, стуча в двери скобкою железной с фонарем. И благословит Бог все твои начинания. А от меня за то будешь ты долю от треб получать. И когда я пойду первого числа каждого месяца по домам святить со святою водой и миртовою связкой кропить буду все стены у христиан, ты понесешь за мной чашу с освященною водой, и со всего, что̀ опустят в эту воду христиане, я буду тебе десятую долю давать: с десяти пиастров один пиастр и с пяти пиастров половина пиастра, и с одного пиастра десятую его часть, четыре пары. А имя мне поп Георгий.

Петро пошел к попу Георгию и стал служить у него при церкви.

Прослужил Петро крахтом-кандильанафтом месяц у попа. Не проспал ни разу времени; вставал до свету и с фонарем в руке и по дождю и по снегу зимою, темною ночью, обходил улицы и будил христиан, стуча скобкой в дверь и восклицая приятным голосом:

— Пожалуйте в церковь.

И христиане вставали и говорили друг другу:

— Хорошего крахта-кандильанафта отыскал поп нам. И зовет он людей приятным голосом.

В церкви Петро, потупив очи, возжигал лампады и свечи и снова гасил их, обходя иконы поочереди и ни на кого не глядя. Свечу пред Св. Дарами (когда священник выносил их, выходя из северных дверей и вступая в царские) Петро нес хорошо, пятясь бережно задом все время, и кадил Дарам, и всегда осторожно обходил больных детей, которых матери клали на дороге священнику, чтоб

он перешагнул через них со Св. Дарами. Люди сельские, даже и такие, которые в городах бывали и службу епископскую видели, часто хвалили Петро.

И женский пол из-за решеток с хор высоких смотрел невидимо на Петро и говорил про него одобрительно.

Были и тут Петро соблазны.

Пришла к нему однажды худая женщина и сказала ему:

— Петро, прекрасный Петро! Ждет тебя этим вечером и этою ночью тебя ожидает Маригó, молодая жена *кафеджи* * нашего. Кафеджи по делу в дальний город уехал, и надела она, чтобы принять тебя, шолковую голубую юбку с золотою бахромой вокруг и на головку безумную повязала платочек розовый, искусными шолковыми цветочками обшитый, цареградской работы. Такие платочки фанариотские госпожи и купчихи богатейшие носят.

А Петро ответил на это ей грозно:

— Иди ты прочь от меня, худая ты женщина! Не нужна мне ни кафеджидина, не нужна мне и юбка ее голубая, ни платочек цареградский, ни красота мне ее не нужна. Я не гляжу на девиц и женщин; я крахт и кандильанафт целомудренный, при Божьем храме служу и обхожу ночью все улицы с фонарем в руке, чтобы христиан звать в церковь, стуча скобкою железной в дверь и восклицая приятным голосом: «Пожалуйте в церковь!» И думаю лишь о том, как после первого числа месяца мы с попом пойдем по домам святить со святою водой и как я получу десятую часть со всего, что̀ положат христиане в чашечку, которую я буду в руке держать, пока поп Георгий будет миртовою веточкой стены жилищ христианских кропить. И ото всего прибытка моего я буду посылать воспитателю моему Христо и жене его Христине ровно половину.

Женщина ушла и больше его не беспокоила и не искушала.

---

* *Кафеджи* — содержатель кофейни.

И посчастливилось Петро в первое число наставшего месяца.

Пошли они по домам святить с попом Георгием.

Пришли к одному — две пары дали; к другому — два пиастра; к третьему и богатому — и этот большой белый талер со звоном и с гордостью бросил им в чашу. Пришли, наконец, к скупому человеку. Кропил поп и подал ему крест и десницу для поцелуя. Скупой человек поцеловал крест и десницу попа, поклонился и сказал им: «Добрый час вам, идите по добру. А денег я тебе, поп Георгий, не дам сегодня, потому что ты не любишь меня и не так, как у других людей, кропишь. У других все мокро по стенам, а у нас ты едва брызнул от ненависти твоей ко мне, чтобы не было мне здоровья и прибыли».

Поп Георгий стал спорить.

А скупой хозяин, взяв толстую палку, сказал ему:

— Я тебя, если ты не замолчишь, по голове этою палкой ударю так, что ты и жив едва будешь!

Петро же, поставя бережно чашу со святою водой на землю, взял за руку оскорбителя и палку ему сломил и, повалив его на землю, сказал:

— Сейчас дай две лиры золотых, злой человек, священнику за труды, иначе я тебя убью как собаку.

Испугался скупой хозяин и дал две лиры. Так посчастливилось Петро в первый же месяц. Отдал ему поп Георгий десятую часть со всего, с двух пар, и с двух пиастров, и с серебряного талера, и с двух золотых лир. А Петро сейчас же половину всего отправил Христо и Христине с верным человеком, по обещанью.

Все люди хвалили Петро за то, что старца своего защитил и оскорбителя наказал, и поп Георгий полюбил Петро сильно и сказал ему: «Я тебе теперь пятую часть, а не десятую, буду со всего отдавать и желаю, чтобы ты вместо сына был при мне, пока я жизнь кончу. Я стар и вдов и детей не имею, и дом мой, и мула моего, и овец, и посуду всю, и одежду я тебе завещаю; ты тогда продашь все это и возвратишься к своим».

Но не была судьба Петро и у попа долго жить.

Пришел однажды в село янычар ужасный. Колпак на нем был красный с хвостом красным же сзади; и руки обнажены выше локтя, и взор страшный, и усы длинные, и за поясом золотым у него был нож дамасский драгоценный, и за плечами два страшных крыла как у дракона.

Стал он над христианами издеваться; и в церковь взошел и воскликнул: «О, идолопоклонники вы неверные! Вы иконам поклоняетесь писаным».

Подошел он к иконам и стал концом ятагана своего глаза святым выкалывать, чтоб они на людей не глядели, чтобы хоть как-нибудь христианскую святыню оскорбить и унизить.

Не стерпел поругания Петро и ударил его прежде по руке так сильно и неожиданно, что дамасский острый ятаган, золотом испещренный, вылетел из злодейской руки и далеко упал, звеня, на каменный пол. А потом (когда страшный янычар к нему, угрожая, лицом обернулся) вытянул он вдруг руку свою ладонью вверх и прямо под сердце, в живот поверх пояса угодил янычару так, что рука его вся по локоть в живот янычару вошла, и упал янычар с воплем предсмертным навзничь и затылком ударился о камень. А Петро из растерзанной груди его вынул окровавленную руку и лизнул немного крови врага, чтоб ободриться и не потерять головы от страха.*

V

Когда люди увидали, что янычар упал мертвый, они все испугались, разбежались из церкви и позаперлись в домах своих. Мужчины вздыхали и говорили: «Боже! Боже! Что̀ теперь будет!» Иные сидели молча, иные даже попрятались, в очаги влезли и, на руках и ногах там дер-

* Это иные делают на Востоке по существующему поверью, чтобы не потеряться после такого события.

жась, долго висели, другие в пустые цистерны скрылись, ожидая, что придут агаряне и сожгут село их и церковь с землею сравняют, и молодых дочерей и жен в плен уведут, детей их возьмут в рабы, чтобы потом янычарами свирепыми воспитать, а их самих на кольях всех, вокруг села воткнутых, в лютых мучениях уморят. Женщины плакали и причитали и выли, ломая руки и падая на землю, рвали на себе волосы, одежды и лица себе с отчаяния ногтями до крови раздирали.

Только Петро, лизнув крови врага, головы не потерял и хотел выйти из церкви и уйти из села, и скрыться заблаговременно в горы и лес.

Подошел он к дверям церковным; но они были уже заперты снаружи. Их запер, уходя, поп Георгий, и когда Петро увидал его из окна и стал просить старца, чтобы выпустил его, поп Георгий сказал ему: «Ты очень хорошо сделал, мой сын, что убил злого врага нашей веры, но если я тебя не выдам агарянам за это, то меня, старика несчастного, они удавят позорно и тело мое поруганию предадут. Поэтому я тебя выдам начальству».

Заплакал Петро, но делать было нечего; на окнах были решетки толстые и уйти ему было нельзя.

Пошел тогда старик кликать клич по селу и созвал людей, и ободрил их и сказал им громко: «Люди-христиане, отчего вы все так напуганы? Не бойтесь, я говорю вам. Пойдемте, свяжем прекрасного Петро, нашего крахта-кандильанафта, и предадим его начальству неверному, чтоб его удавили, а не меня. Ибо я за него поручителем».

Образумились люди, отворили двери, связали Петро и отвели его в город.

В городе сарацыны судили Петро за убиение янычара и присудили повесить его в пятницу на большой площади, на ветви большого платана.

Было это пред самою Пасхой, и благочестивые христиане по тюрьмам к празднику, для спасения души своей, посылали хлеб, елей, рис и баранов для раздачи пленным, заключенным людям.

В то время сидел и Петро в особой темной и тесной комнатке на сырой земле, в тяжких цепях скованный, молясь угоднику Николаю и апостолу Петру и проливая слезы над чорною судьбою своей.

Пришел в тюрьму тогда один великий купец христианский, чтобы при себе велеть раздать милостыню заключенным; имя ему было Хаджи-Дмитрий.

Был он в городе великий богач и дружбу большую имел с самим князем того города, и много денег князю давал, когда тому было нужно. Он носил каждый день длинную шолковую одежду из дорогого сирийского шолку и шубу многоценную, всю из куницы и соболя, и колпак на голове его высокий также из куницы и соболя был.

Хаджи-Дмитрий сказал стражам:

— Покажите мне этого разбойника, крахта-кандильанафта, прекрасного Петро, который благородного агу нашего умертвить осмелился. Покажите мне его, чтоб я мог ему в очи плюнуть за это и наругаться над ним.

Стражи с радостью впустили Хаджи-Дмитрия к Петро. Хаджи-Дмитрий поднес к лицу его фонарь, и когда Петро приподнял на него прекрасные очи и сказал ему:

— Эффенди, спаси меня!

Хаджи-Дмитрий плюнул ему три раза в очи и воскликнул:

— Пусть Св. Николай и апостол Петр спасают; а я тебе не спаситель, ибо ты нашего благородного агу умертвил!

И громко ругая его, закричал слугам своим, которые за ним корзины с пищей носили:

— Этому негодяю крахту-кандильанафту прекрасному не давать ни крохи от хлеба нашего, ни косточки от мяса нашего и ни капли елея!

И вышел из тюрьмы хитрый купец.

Тотчас же пошел он к князю, поцеловал край его одежды и сел у ног его на ковре.

А князь был гневен в тот день и молчал.

И Хаджи-Дмитрий долго не молвил слова ему, чтобы свою душу не погубить.

Наконец грозный князь сказал ему:

— Что ты молчишь? Разве ты не знаешь моей к тебе милости? Чего бояться тебе?

— Государь мой и владыко мой! — воскликнул Хаджи. — Всеславности твоей разве не известно, что нищий смелее богатого человека?

— Что̀ эти слова твои означают? — спросил князь благосклонно.

Хаджи-Дмитрий объяснил:

— А то они означают, что если б я не богат был твоими милостями, то я бы и не трепетал так утратить их. И трава полевая к солнцу блестящему цветком обращается и без теплоты его жить не может. И курица, когда пьет воду из лужицы малой, к небу после всякого глотка голову свою куриную поднимает, чтобы Бога за утоление жажды благодарить; а у меня разве куриная голова, что я забуду, как я твоею добротой живу и в городе всеми почтен.

Князь велел ему сесть поодаль на диван и чубук приказал ему дать и спросил, что̀ нового.

— Мало нового, владыко мой! все старое, — сказал Хаджи. — Одно только есть новое: привезли трех девушек из черкесских дальних гор. Одной 16 лет, другой 15, а третьей 14. У одной волосы чорные, как сталь блестят, у другой как лен, а у третьей красные, как огонь. У черноволосой глаза голубые, а у белокурой глаза чорные, а у третьей, рыжей, такие зеленые, как смарагд. Я таких и не видывал. Имя первой Гюзель, то есть красивая, вторую зовут Назик — нежная, а третью Тюрлю-Тюрлю — разная-разная, потому что она очень любопытная и разные вещи знает, чтобы веселить и смешить человека.

Повернулся к нему князь и велел ему еще поближе к себе сесть и другой чубук приказал ему подать, золотом весь оплетенный, с большим янтарем, который был жемчугом окружен снизу.

А Хаджи продолжал:

— И ножки у них у всех трех малы и вогнуты в ступне хорошо. Я водой ноги им мочил и мокрыми ногами

на пол их ставил и увидал, что ножки их в подъеме высоки и не плоски. И ночью спят они не храпят и покорны сердцем. Гюзель из них на тамбуре играет, Назик песни поет, а Тюрлю-Тюрлю пляшет искусно, бряцая серебряными звонками.

Князь опять задумался и сказал Хаджи:

— Которую выбрать?

— Не выбирай, господин мой милостивый... Зачем тебе выбирать? Выберешь ты ту, которая пляшет, без песни и без тамбуры как она будет плясать? Выберешь одну тамбуру без песни и пляски, — один звон пустой без слов для души и без очей услаждения будешь слышать. Выберешь песельницу одну, — надоест тебе и она. Не выбирай, они все для тебя приготовлены... Прими от раба твоего смиренный дар и не гневайся...

— Приму, — сказал князь.

Послали тотчас за девушками, и когда подняли на дверях больших занавес, то вошли они разом все три в эти двери, — одна чорная, с голубыми очами, другая белокурая, с чорными, и третья рыжая, огненная, лучше всех, с очами, смарагду подобными; одна в пурпуровой одежде с золотом, другая в голубой с серебром, а третья в светло-зеленой с серебром и золотом вместе. Гюзель тотчас же села на ковер и играть на тамбуре стала; Назик песню запела:

Скажи, о скажи мне, прекрасная птичка...
Скажи, соловей мой вечерний...
Есть ли на свете всем князь молодой
Храбрее льва разъяренного, и змея мудрее,
И голубя кротче, и розы душистей,
И крепче железа, и звезд пресветлее?..
— Я его вижу! — сказал соловей.

А Тюрлю-Тюрлю, приподняв руки с серебряными звонками и загнув назад голову, топнула слегка ногой и еще не успела плясать начать, как князь уже обратился с радостью и любовью к Хаджи-Дмитрию и сказал ему:

— Друже мой, проси ты у меня, чего хочет сердце твое, я все исполню, но проси разумного и возможного, дабы я и вперед тебе верил... Ты не человек, а как бы сад прекрасный, так с тобой весело мне всегда!

Хаджи-Дмитрий поклонился ему низко и сказал:

— Я, господин мой, неразумного просить у тебя не буду. А прости ты, ради меня, слуги твоего, Петро, крахта-кандильанафта, который агу нашего храброго умертвил. Он по глупости и по юности так поступил. Он мне нужен для дела в доме моем; поэтому не для него, а для меня пощади его жизнь.

Князь охотно согласился и, тотчас же достав печать свою, помазал ее малым пальцем с чернилами и, приложив ее к чистому листу бумаги, отдал ему этот лист и сказал:

— Иди! видишь, как я верю тебе. Прикажи написать на этом листе прощение Петро. Иди скорее, пока его не повесили; а я один тут посмотрю, как они играют, поют и пляшут. Иди, спаси душу, — это дело доброе!

А Петро между тем уже привели на площадь и поставили на деревянную скамью, под ветвью большого платана, и шею его продели уже в петлю и стали кричать народу, что̀ он за человек и за что̀ его вешают.

Петро уже в темнице осушил слезы, и хотя ему было очень жалко умирать, однако он, помолившись усердно, хотел не посрамить себя пред людьми и сбирался уже сам оттолкнуть ногой скамью и повиснуть, как вдруг раздалась команда громкая: «Расступись, толпа!» И расступилась толпа, и выехал Хаджи-Дмитрий на белой княжеской лошади, вся в кистях, и окруженный слугами княжескими и арапами. В руках его был фирман прощения.

Он издали махал им, и люди, шедшие с ним, кричали:

— Стойте! стойте! Наш благоутробный князь приказал простить прекрасного Петро, того молодого кандильанафта, который агу убил. Вот как милосерд наш князь! А вы, собаки, смотрите, — не всякий раз вам такое прощение будет!

Так спасся Петро. С него сняли петлю, и Хаджи-Дмитрий возвратился в дом свой, ведя Петро за руку чрез весь многолюдный город.

VI

Стал жить Петро у Хаджи-Дмитрия, купца богатейшего. Дела его купеческие делал; счеты ему сводить помогал; на одну *пару* его не обманывал. Гневен и бурен дома был Хаджи-Дмитрий и на руку слишком был скор. Многих слуг он изгонял в гневе от себя понапрасну. Но Петро был умен. Когда Хаджи-Дмитрий в гневе обзывал его ругательными словами, Петро молчал, потупив очи и сложив на груди крестом руки, и утихал купец, отходя от него прочь. Бил он его и рукою своей, и жезлом драгоценным. Петро наклонял голову пред ним и говорил:

— Бей меня, бей, господин наш честный; если я виноват — это мне наказание; а если я прав — это мне на будущее урок, а тебе услада и утоление!

И снова отходил от него в смущении Хаджи-Дмитрий.

И полюбил Петро купец всею душой. Стал он звать его «сын мой!» и сказал ему:

— Теперь весною у нас здесь обычай шолковых червей разводить. Я тебе отдам под начальство весь *беджеклык* мой, величайший в городе нашем, и всех слуг и рабов, и рабынь моих, чтоб они под командою твоей шелковичные ветви для червей резали по росту их, для маленьких — самые маленькие, для средних червей — средние, а для крупных — самые большие ветви резали бы. И да исправит Господь дело рук твоих. А когда выведутся черви все без болезни и мора на них и совьют коконы и когда выйдут из них бабочки икру разводить благополучно, и дам тебе пятьдесят червонцев за труд, и со всего моего прибытка, когда нагружу я многие большие корабли шолком, отдам тебе десятину.

Поклонился Петро в ноги Хаджи-Дмитрию, купцу богатейшему; а Хаджи-Дмитрий велел ему снять те темные и простые одежды, в которых Петро у попа Георгия ходил по ночам будить христиан, стуча скобкою железной в двери и восклицая приятным голосом: «Пожалуйте в церковь!», до тех пор пока старец не предал его, и вместо этой простой одежды Хаджи-Дмитрий одел его в одежды яркие и широкие, какие сам носил, и шубку господскую на него с откидными рукавами и колпак надел на него, не большой, но хорошего меха.

И вывел его пред всеми домашними своими, пред женою молодой (всего год тому назад повенчанною) и пред слугами и всеми рабами своими и сказал им всем:

— Вот помощник мне и начальник грозный всем вам. Кто ему покорен будет, тому и я друг; а кто против него пойдет, тот и мне враг будет. Я сказал, а вы помните это!

Еще прекраснее стал молодой Петро в господской яркой и широкой одежде. Принял он вид иной, властительный и строгий, и стал за всем домом купца и беджеклыком его смотреть.

Труд его благословен был, и черви кишмя кишели по шелковичным веткам, дотла объедая их в беджеклыке Хаджи-Дмитрия, богатейшем в городе. Коконов и жолтых и белых было множество.

Вывелись бабочки и повязались попарно на полотне и икры дали видимо-невидимо, самого лучшего качества.

Не было на червей в этот год ни болезни, ни мора.

Радовались оба, и Хаджи-Дмитрий и Петро, на них. И Петро день и ночь рассчитывал, сколько он может послать своим воспитателям, когда Хаджи-Дмитрий нагрузит шолком дорогим корабли большие и продаст его в чужих городах за белым морем.

Однако враг рода человеческого не хотел дать отдыха сироте и внушил молодой и честной супруге Хаджи-Дмитрия к молодому Петро греховное чувство.

В тот самый день, как Хаджи-Дмитрий вывел его в господской одежде яркой и широкой пред всеми домашни-

ми и сказал: «Вот помощник мне и начальник всем вам», так запала эта искра ей в сердце, и она сказала себе в сердце своем: «Люблю я этого юношу, и пусть жестокая смерть постигнет меня, а я совращу его!»

И начала молодая купчиха призывать его беспрестанно по всякому ненужному делу, отрывая его от нужной работы. Она говорила ему тогда:

— Прикрепи завесу эту над моим окном, добрый Петро, чтоб я радовалась на глаза твои. Я других слуг не могу видеть. Стоян ростом очень велик и обширен, и всю комнату наполняет; у Ставри глаз кривой; а у Яни лицо разбойничье — так что ночью он мне снится и я боюсь и кричу на ложе моем супружеском, и господина нашего, Хаджи-Дмитрия, беспокою. Я желаю, чтобы ты у меня работал.

И хотя у Петро были в доме и в беджеклыке дела гораздо важнее этого, но не смел он противоречить госпоже своей и повиновался, прибивая ей завесу над окном.

А она, пока он работал, все ходила вокруг него и сама гвозди ему подавала, краснея.

А Петро не замечал сначала, что она краснеет.

Потом сказала ему однажды госпожа:

— Красив ты был, Петро, и в бедной одежде, а в этой ты много лучше даже мужа моего Хаджи-Дмитрия.

— Это лишь доброта твоя ко мне, а не правда, госпожа моя! — сказал ей смиренно Петро и пошел от нее по делам своим.

Обезумела от страсти жена Хаджи-Дмитрия и с утра и до утра думала о нем. Мысли ее кипели и бились, как морская волна. Во сне она его видела и кричала громко во сне. Просыпался и Хаджи-Дмитрий и спрашивал ее:

— О чем ты кричишь, моя милая, чего испугалась ты?

— Ах! я видела во сне, мой друг, что тебя злые враги умертвить хотят...

— Спи спокойно, — говорил ей купец, — это значит, мне долго жить.

И сам засыпал спокойно, думая: «Вот как она меня любит!»

А она думала о Петро.

Потом она вставать по ночам стала и, открыв окно, сидела и в сад, вздыхая, смотрела.

— Ты не спишь? — говорил ей муж.

— От жара, прости мне, не сплю, — говорила она.

Наконец, однажды позвав Петро к себе, она сказала ему:

— Слезам моим нет меры, Петро; я бы желала в горы во мраморные уйти и лежала бы я там все ничком и рыдала бы до тех пор, пока стал бы там от слез моих ключ холодный и озеро чистое. И пришел бы ты той воды испить, и приехал бы ты в синем озере искупаться... А я бы издали закричала тебе: «Не хочу веселиться, да и жить не хочу, пока не скажешь ты мне... что я для тебя лучше серебра и золота, лучше матери родной, лучше сладкой жизни самой...»

Ужаснулся прекрасный Петро и ответил ей так:

— Не годится тебе говорить, госпожа моя, такие слова. Я мальчик простой, сирота, а муж твой великий купец и мой благодетель, и тебе законный супруг. Твои слова — грех ужасный, и ты, я вижу, дьявола в сердце свое без борьбы допустила. Поэтому я убегу от тебя и все открою твоему мужу, ибо он спаситель жизни моей, и я оскорбления имени его не потерплю.

Но она, притворив дверь, не пустила его, достала из сундука кипарисного все свои драгоценности: ожерелье, запястья и серьги, и кольца, рубины, алмазы, бирюзу и кораллы, пала к ногам Петро и сказала ему:

— Жестокий, возьми все эти сокровища мои! Ты сирота, и купишь ты на них себе земли, и дом, и овец, и все, что̀ хочешь. Возьми все, только не говори мне так грозно, а улыбнись мне любезно и пожалей ты меня окаянную. Я и сама не рада злой муке моей!..

Петро посмотрел на сокровища, пожалел ее, улыбнулся и, взяв ее руку, сказал ей:

— Добрая госпожа моя! хорошо ты сказала, что я сирота и беден. Если ты точно так меня жалеешь и любишь, отдай мне все эти запястья, ожерелья, кольца и серьги — без греха. Я продам их и куплю себе дом хороший и земли, чтобы кормить и покоить Христо и Христину, моих воспитателей. И я тогда скажу тебе, что ты для меня лучше матери, лучше золота и серебра...

Когда услыхала молодая купчиха разумные ответы Петро, озлобилась она сильно и ударила Петро в лицо, говоря:

— Так ты, несчастный, золото любишь, а не меня, — и как были на руке ее дорогие перстни, то расшибла она ему лицо до крови.

Петро ушел, а она немедленно побежала к мужу и сказала ему, что Петро хотел ограбить ее драгоценности; привела мужа к себе в комнату и показала ему запястья, ожерелья и серьги, которые она сама же рассыпала пред Петро, и сказала мужу:

— Видишь, я застала его за этим делом и, отнимая у него все эти вещи, дары твоей любви, ударила его в лицо и у него пошла кровь.

Хаджи-Дмитрий ужасно разгневался и закричал:

— Приведите мне сюда этого несчастного; я его при себе умертвить велю.

Петро привели, и хозяин приказал его крепко бить по пятам. И когда Петро хотел просить позволения вымолвить только слово, то гневный Хаджи-Дмитрий не допускал его до этого, восклицая:

— Не говори ни слова, неблагодарный человек, которому я жизнь спас. Я ее спас, я ее у тебя и отниму.

Насытив свое сердце истязаниями, Хаджи-Дмитрий хотел заключить Петро в тюрьму, чтобы, по совершении над ним суда, приговорили его снова к казни, но жена Хаджи-Дмитрия пожалела его и в то же время боялась, чтобы на суде не раскрылась какая-либо истина. Поэтому она, поклонившись мужу, стала просить его, чтоб он отпустил Петро, не заключая его в тюрьму.

Хаджи-Дмитрий согласился не без труда и велел его только с шумом и позором гнать из дома по улицам. Один из слуг, желая приобрести себе дорогое платье, которое было на молодом управителе, сказал хозяину:

— Господин, не снять ли с него хорошее платье и не выгнать ли его в том рубище, в котором ты привел тогда его из тюрьмы?

Но Хаджи-Дмитрий на это не согласился и сказал:

— Нет! в богатом платье ему будет больше позору. Пусть в нем скитается и ищет пропитания. В бедном его не так люди заметят, а в этом все будут на него дивиться.

И прибавил еще:

— Гоните его с шумом скорее, чтоб я не умертвил руками его сам.

И слуги, отворив большую дверь на улицу, стали с криком, проклятиями и побоями гнать Петро на улицу. И все соседи и соседки смотрели из окон и дверей, смеялись, и даже дети бежали за ним, кидая в него камешками, и кричали: «юхга́! юхга!»

VII

Петро ушел подальше от того места, где жил Хаджи-Дмитрий, сел на камень под деревом платаном и стал плакать чорными слезами.

В это время ехал мимо епископ в рясе на прекрасном муле. Он был человек уже престарелый, и около него справа шел юноша и смотрел, чтобы мул не шелохнулся ни направо, ни налево и чтобы не уронил епископа. Впереди ехал телохранитель с оружием, а сзади шли слуги без оружия.

Ехал еще писец в широких одеждах и с чернильницей, заткнутой за красным поясом.

Этот писец был родной племянник епископа.

Епископ увидал Петро, пожалел его, что он плачет, и велел юноше остановить мула... Петро подошел к руке его, и епископ спросил:

— Отчего ты, сын, сидел под деревом платаном и лил чорные слезы?

— Я скажу тебе, деспо́т-эффенди мой, — отвечал Петро. — Только не здесь, при всех, а у тебя в доме исповедую все по истине и по правде.

Епископ согласился и велел ему идти по левую руку около мула. Петро шел, и так они приехали в епископский дом, где была церковь — митрополия на большом дворе.

Епископ, возвратившись домой, сел на софу, велел Петро стать пред собой и во всем исповедывал его.

И Петро сказал ему:

— И еще скажу тебе, владыка, что молодая кровь моя очень душит меня и днем и ночью и мне от этого великое стеснение в жизни моей, потому что все девушки молодые и замужние женщины за меня убиваются; мне же это соблазнительно, а я не хочу взять на душу греха.

Епископ тогда дал ему целовать свою десницу и сказал ему так:

— Достоин ты, сын мой, великого восхваления, как за то, что пошел на тяжелый труд и чужбину для того, чтобы приобрести временный покой в старости благодетелям твоим Христо и Христине, а также и за то, что ты хочешь добродетелен быть и бежишь греха. Приими за это все сей скудный дар от меня и пошли его своим воспитателям.

Епископ дал ему две золотые монеты; а когда Петро упал ему в ноги и благодарил его, епископ сказал еще:

— Отныне принимаю я тебя в дом мой. Ты будешь начальником над всеми моими телохранителями, и я велю снять с тебя широкие эти одежды и одену тебя в воинские и короткие. А ты не обнаруживай никому в жилище этом, что я тебе дал золотые, ибо враг рода человеческого силен в нас всех, и есть везде худые люди, которые в зависть впадают легко. Помни это! Скажу тебе еще, что здесь тебе будет легче, ибо ты в митрополии моей, кроме старой параманы,* сестры моей, и двух монахинь почтенных, ни-

* Парамана — экономка, няня, кормилица, вместо матери.

какого лика женского не встретишь. Еще скажу я тебе, что здесь у меня ты можешь больше прежнего и божественным предметам обучиться, уставам и молитвам; но знай, что после этого и взыщется с тебя больше.

И епископ благословил его еще раз и отпустил.

Одели Петро в красную куртку с откидными рукавами и в голубые шальвары и в красные башмачки с загнутыми носками, а на носках были пушистые шишки пестрые из разного шолка, величиною с яблоко; и все по швам было расшито золотом и чорным шнурком. Дали ему также в руку большую трость, разгонять народ, когда не будет места епископу двигаться и свершать богослужение; а за кушак пестрый дамасский нож и два пистолета серебряные заткнули, и сам епископ, увидав его, усмехнулся, дал ему целовать десницу и сказал:

— Вот теперь хорошо!

А Петро думал: «Теперь уж никто меня не обидит и никто соблазнять не будет. А я думал, что оставил меня вовсе Бог».

Оба же те золотые, которые ему дал епископ, он спрятал и сказал себе: «зачем я буду торопиться посылать благодетелям моим Христо и Христине эти деньги? Они и так привыкли жить. У них хижина есть. От этих золотых им много перемены не будет в счастье; а я оттого и сокрушался, что все без денег уходил из тех мест, в которых меня обижали и из которых меня прогнали. Лучше я себе оставлю эти деньги на случай несчастья!..»

Стал жить Петро тогда у епископа хорошо. Другие телохранители ему повиновались; он стал теперь похитрее прежнего и стал думать, что не епископу одному в доме угодить надо, а всякому. И начал стараться. Старухе парамане, сестре епископа, говорил:

— Не трудитесь, почтенная госпожа сестрица епископа. Позвольте мне за вас подмести это! — И брал веник из рук ее и подметал сор.

Другие же телохранители говорили ему:

— Тебе ли, воину и начальнику нашему, подметать сор? Тебе ли мараться? Это дело рабов и женщин. Это для нас для всех оскорбление.

Петро отвечал им:

— Старость я очень уважаю, вот что̀!

И замолчали другие воины и епископские телохранители.

И чтоб они любили его, он из тех двух золотых уделил часть на угощение их и сказал им:

— Будем все побратимами.

И сказали те ему:

— С радостью!

Тогда призвали священника, и он прочел над ними молитву; они связались все кушаком и поклялись в вечной дружбе и согласии.

И монахиням старым угодил Петро; и все приходящие по делам любили его, ибо он у всех спрашивал вежливо, что̀ им нужно, и говорил:

— Погодите извольте здесь, а я пойду скажу владыке!

Все говорили:

— Ласковый *ясакчи́* * этот новый у епископа. При нем лучше стало нам всем! А уж красота его невообразимая, и словами нет возможности сказать, как он прекрасен!

Смотреть на него так приятно, как в киоске в тени на берегу моря тихого и на легком ветерке кушать шербет с ключевою водой и курить персидский *тюмебки́* в наргиле хрустальном, и ничего не слышать, как только клокотанье воды в наргиле.

Племянник же епископа, который у него главным писарем был, и его мать парамана возненавидели Петро за то, что его стали любить в доме все: обе старые монахини и все телохранители и слуги владыки, и сам владыка, и все просители, которые приходили по делам и тяжбам своим к владыке.

---

* *Ясакчи* — страж, кавасс, телохранитель.

Стали они перечить Петро во всех его делах и оскорблять его. Приходили бедные люди ко вратам епископским за подаянием. Петро шел ко владыке и говорил ему:

— Благослови, владыка, слепой женщине подаяние из твоей пастырской сокровищницы. Она очень несчастна.

Владыка давал ему милостыню для слепой женщины. Сам вставал с софы, сидя на которой четки перебирал, вздыхая о преклонности лет своих и о страшном судилище Христовом, сам вставал и доставал подаяние из кованого кипарисового сундука.

А злой писарь и его мать парамана восклицали:

— Довольно тебе обнажать престарелого владыку нашего! Он уже в детство впал и все раздает безумно. Что̀ нам, родным, после него останется? И мы стареем на его службе.

Петро же отвечал писарю, кланяясь:

— Господин мой писарь и племянник владычний, прости мне, я человек подначальный. Если ты велишь всех гнать от ворот епископских, то и тогда я гнать их без благословения епископа не могу. А посмотрю, что̀ сам старец скажет.

Тогда злой писец и племянник владычний скрежетал зубами на него и отходил прочь и говорил:

— О! да будет три раза проклят тот чорный день, когда этот красивый побродяга переступил порог этой митрополии.

И его мать парамана проклинала также Петро.

Однажды пришел кто-то и сказал писарю:

— Вот у этого хлебопашца жена троих разом родила и все живы.

Хлебопашец был не очень беден, и слухи были, что у него деньги зарыты в земле.

Писарь обрадовался и, призвав этого хлебопашца, сказал ему:

— Троих родить разом не закон! Это от дьявола. Если ты не дашь мне десять золотых, я владыке донесу, и он разведет тебя с женою! Иди домой и принеси.

Хлебопашец пошел домой в горести, потому что он жену очень любил и жалел, и, не зная, что̀ делать, принес несколько золотых.

Увидав его в горести, Петро спросил у него:

— О чем ты, добрый христианин, убиваешься?

Хлебопашец сказал ему о своем несчастии, и Петро доложил всю правду епископу.

Епископ сам позвал хлебопашца и утешил его, а на племянника так разгневался, что долго видеть его не хотел и говорил:

— За десять золотых ты мою честь и душу мою сатане продаешь, бесстыдный ты лжец, отойди от меня и скройся, мучитель ты моей слабости и престарелых дней моих ты отрава!

После этого с раннего утра и до ночи писец и его мать размышляли, как бы удалить Петро из дома.

И искал он случая обвинить и оклеветать Петро перед епископом, и не находил; Петро все оправдывался. Наконец он с матерью пришли к епископу, стали перед ним оба, и сперва мать сказала ему:

— Говори ты, ты мужчина!

А сын ей:

— Нет, ты говори, ты мне мать!

И начала она:

— Владыка и брат мой по плоти! Я не могу больше выносить лицезрения этого мальчишки, Петро прекрасного, и прошу тебя изгнать его из дома нашего. А если ты не благословишь изгнать его, то благослови мне уйти от тебя и никогда в дом твой не возвращаться. И не я буду, а другая старуха, чужая тебе по плоти, изготовлять любимую пищу твою, и другая будет твои святительские ноги мыть, и другая пусть ложе твое стелет, на котором отдыхают престарелые члены твои, и другая варенье для угощенья гостей сановных будет варить в твоем доме: желе из айвы, шербет розовый и кофейный, и розовый лист, и орехи с гвоздикой, и другая пусть вокруг чела твоего повязывает чорный печатный

платочек поверх клобука. Я сказала, владыка, а впрочем, воля твоя.

После нее начал говорить сын ее, злой писарь:

— Владыка святый и по плоти мой дядя, я ненавижу твоего ясакчи Петро всем сердцем моим и всею душою моей. Удали ты его с позором из дома этого или мне благослови уйти от тебя. И пусть другой писарь и чужой тебе по плоти человек заботится впредь о сборе податей с народа в пользу твоей казны; пусть другой избавляет тебя от распрей с начальниками агарянскими и ходит по судилищам их, кланяясь и снимая башмаки у проклятого порога их, пусть другой ссорится с сельскими *чорбаджиями* и запирает в тюрьму их, когда они подати поздно платят, пусть другой писец все бумаги и грамоты тебе готовые приносит на подпись и думает за тебя, и ходит, и голодает, и зябнет, пока ты куришь наргиле или молишься в одиночестве о спасении твоей души престарелой, сидя на широкой софе и прислонясь к подушке из сирийского пестрого шолка, у большой медной жаровни на львиных лапках, которую три человека едва поднять могут руками (так она велика и вся литая медная). Я за тебя, пока ты молился и отдыхал, брал на свою окаянную душу все грехи твои и ссоры, и ненависть, и любостяжание, и обиды, и ругательства бедным людям, и угождения неправедные сильным князьям міра сего. Отныне же пусть другой это все делает, а меня, владыка, отпусти, если не хочешь Петро изгнать от себя?

— Что̀ он вам сделал, этот юноша? — сказал епископ с большим сожалением, но согласился на изгнание Петро.

Тогда обрадовались злой писарь и его мать и пошли гнать Петро; велели ему снять одежду золотую и оружие, и пояс, в котором были спрятаны у него деньги, и денег его ему не отдали, но дали ему самую простую ветхую одежду и велели идти куда хочет.

— И если и в городе этом ты останешься, то жив не будешь! — сказала ему сестра епископа.

Петро ушел далеко от города в пустынное место и поколебалась в нем в первый раз его вера. Он сказал себе:

«Не увижу я правды никогда на земле живых!» Упал лицом на землю и не хотел уже ни жить на свете, ни молиться.

Он думал: «На что̀, если так, молиться?» И не поднимал лица от земли, на которой лежал, пока не услышал топота конского по камням; тогда он поглядел, кто едет, и увидал, что едет богатый франк-купец.

Платье на нем было узкое и непристойное, такое, как носят всегда франки, чулки и башмаки, и на голове его был большой *трикантóн*,* точно каик морской. Лицо его было безобразно и злобно, и из очей блистали молнии.

Он остановил коня и сказал Петро:

— Дитя души! Хорошо ты делаешь, что молиться не хочешь. Это все напрасно. Но я человек хороший и жалею тебя. Хочешь, я возьму тебя к себе на фабрику и, если ты молиться и там не будешь никогда и в церковь ходить не будешь, и постов содержать не будешь, то я с тебя мало работы потребую. Ты будешь у меня только один раз в день в большой лес ездить на телеге и привозить оттуда по три полена. И если ты когда-нибудь захочешь уйти, проси у меня что̀ хочешь, я все дам тебе. Зовут же меня мусьё Фра́нко.

Петро согласился с радостью и пошел за мусьё Франко. А это и был сам дьявол, и Петро не понял этого.

VIII

Стал жить Петро у мусьё Франко. У мусьё Франко около моря был большой завод с длинными, чорными трубами, из этих труб целые дни и ночи дым чорный поднимался и пламя поднималось, и искры летели. Место было низкое, болотистое, все в высоких камышах, гнилое и самое скучное. С раннего утра и до самой поздней ночи убивались христиане у Франко в огне и в пламени неуга-

* Треугольная шляпа.

симом. Лица их были худые, жолтые и печальные. Они ничего не говорили. Мусьё Франко заставлял их работать по воскресеньям и по другим праздникам; только и отпускал их на Пасху, на Рождество Христово, на Успение Божией Матери и еще на три праздника: на Николин день, на Св. Димитрия Солунского и Св. Георгия Победоносца. В эти дни он не смел не отпускать их; в эти дни он боялся.

Петро пожалел работников и спросил у одного из них:

— Ты, христианин-человек, за какую цену по воскресеньям и по праздникам трудишься и такой грех на душу здесь берешь?

— За великую, за великую цену, Петро! — отвечал ему работник и отошел от него.

Петро спросил другого. И другой точно так же сказал ему:

— Мы, Петро, трудимся здесь за такую великую цену, которую избави тебя Господь когда-нибудь взять.

И тоже отошел от него.

На первый же день мусьё Франко приказал Петро ехать, по условию, в лес за поленьями и указал ему, какую лошадь в телегу запречь, и приказал ему:

— Не забудь, не говори лошади «э!», а говори ей «ну!»

Петро поехал в лес, срубил три полена и поехал домой.

На возвратном пути он подумал: «Скажу я лошади „э!" и посмотрю, что̀ будет!»

И сказал: «Э!»

Как только он сказал «э!», лошадь сейчас обратилась в чорбаджи Брайко.

Увидал Петро своего бывшего хозяина и спросил у него:

— Как ты это здесь, чорбаджи?

Чорбаджи отвечал ему:

— Вскоре после того, как я прогнал и обидел тебя, я умер. И теперь моя душа здесь мучится за мою скупость и за то, что я у многих людей бедных, так же как и у тебя,

деньги съел, иногда обманом, иногда лихвою, иногда хитростью иною... За это мучится душа моя.

— Хорошо! — сказал Петро. Взял полено и бил его крепко; потом простил и сказал «ну!» Чорбаджи опять стал лошадью и отвез его на завод.

На второй день мусьё Франко приказал ему взять другую лошадь — чорную и ехать опять в лес за тремя поленьями. И опять сказал ему:

— Не забуть, не говори лошади «э!», а говори ей «ну!»

Петро поехал; срубил три полена, а на возвратном пути сказал опять «э!» и ждал, что̀ будет. Увидал он тотчас же перед собой в оглоблях чорную спину попа Георгия. Поп сказал ему:

— Вскоре после того, как я предал тебя агарянам, милый сын мой, я умер, и за то, что я не тебя одного, а и других еще из малодушия и боязни не раз в жизни врагам предавал, и за то, что слишком свою старую жизнь жалел во вред другим людям, и жил не как добрый пастырь, полагающий душу свою за овцы своя, а как наемник бегал от лютых волков, за это душа моя здесь теперь мучится, милый сын мой. Бей и ты меня за грехи мои... только не крепко, потому что я все-таки, как отец, хлеб мой с тобою делил...

Ударил его не очень крепко Петро раза два, простил и сказал «ну!» И поп опять стал чорною лошадью и повез его на завод.

На третий день мусьё Франко опять сказал Петро:

— Поезжай в лес за тремя поленьями; только не говори лошади «э!», а говори ей «ну!»

Поехал Петро на хорошей рыжей лошади.

Срубил он три полена в лесу и сказал и этой лошади «э!» Он уже знал, что увидит перед собой Хаджи-Дмитрия, и как только лошадь обратилась в купца, Петро сказал ему:

— Здравствуй, господин мой, за что̀ тебя наказал так Бог? Ты был человек хороший и добрый и мне жизнь даже спас.

— За гнев необузданный. За то, что я не тебя одного, а многих во гневе напрасно обидел, бил, истязал, из дома своего изгонял и, может быть, иных и жизни во гневе лишил. Вот за что̀ моя душа мучится.

Петро отвечал ему:

— Я бы тебя за это сильно избил поленом, но так как ты мне прежде жизнь спас, то я тебя много наказывать не буду.

И ударил его только раз, и то не крепко.

На четвертый день, когда мусьё Франко велел заложить ему большую белую лошадь и опять напомнил, как говорить с нею. Петро не вытерпел и, еще не доезжая до леса, сказал: «э!», и белая лошадь стала епископом.

— И ты скончался, владыко? — спросил Петро, снимая шапку.

— И я скончался, дитя мое! — сказал епископ, печально потупив очи. — Когда тебя изгнали из моего дома, другие телохранители мои и твои побратимы задумали отмстить за тебя, исполняя клятву побратимства и любви, которую они тебе дали. Они зарезали племянника моего писаря и удавили сестру мою параману, сами же разбежались; а я от такого огорчения и стыда всенародного скоро после этого умер. Теперь прошу я тебя, прости мне и не бей меня, твоего старца, потому ты знаешь, что грех мой был больше всего лень и еще то, что я против людей и лукавых слуг моих имел *лицо слишком мягкое*. Усилий я делать не любил. Ни в чем не нудил себя. А только принуждающие себя восхитят царство небесное. Но не был я ни гневен, ни алчен, ни любострастен, ни завистлив, ни горд.

— Я не могу бить тебя, владыко, — отвечал Петро. — Хоть бы ты и худшее сделал, я бить тебя не могу: твой сан очень велик.

Тогда сошел Петро с телеги и сказал: «ну!» Епископ опять стал лошадью, и Петро около телеги пешком до лесу дошел.

В лесу выехал он на большую пустынную полянку, посреди которой стояло превысокое дерево, все до верху

сухое, без листьев. Петро подошел к нему с топором и хотел ударить. Наверху на дереве сидела одна птичка, такая маленькая, что Петро ее не заметил.

Тогда маленькая птичка сказала ему:

— Милый мой Петро, пастух мой бдительный, крахткандильанафт целомудренный, домоправитель искусный, ясакчи богатырь прекрасный, прошу тебя, не руби этого дерева. Мне оно нужно. Руби другие деревья в лесу. И за это я открою тебе тайну. Скажи мне, сколько дней ездишь в этот лес?

— Четыре дня, — сказал Петро.

— Это значит четыре года, — сказала птичка.

Слыша это, Петро пришел в великий ужас и воскликнул:

— Горе мне! Горе несчастному! Я уже прожил здесь, не зная того, четыре года, и что̀ сталось с отцом моим Христо и с бедной матерью Христиной? Уж не померли ли они от бедности и трудов...

— Об этом я тебе сказать не могу, — отвечала птичка. — А скажу тебе о другом. Живешь ты теперь четыре года у самого дьявола в доме. Хозяин твой Франко — сам дьявол.

Еще больше испугался Петро, упал на землю и начал волосы и одежду свою рвать и плакать, восклицая:

— Увы! увы мне, чорная моя судьба! Увы мне! Скажи мне, птичка моя золотая, уж не умер ли я тоже, несчастный... Скажи, жив ли я?

— Ты жив, не бойся, — отвечала птичка. — Возвратись домой и скажи дьяволу смело, что служить у него больше не хочешь, и спроси расчета, а когда он будет давать тебе деньги — не бери их, хотя бы он дал тебе их целый мешок. Сколько бы он их тебе ни дал — все эти золотые его обратятся в луковую кожицу золотистую, которая на луковицах бывает, и не успеешь ты и десяти шагов от дома его отойти, как мешок твой из тяжелого станет легким, и ты пожалеешь тогда. А ты скажи дьяволу: «Мусьё Франко, дайте мне ту старую большую ба-

ранью белую шубу, которая у вас на гвозде висит; больше ничего мне не нужно». Он отдаст тебе ее. А когда ты будешь уходить, что̀ бы ты за собой ни слышал — не бойся и не оглядывайся, но иди прямо. Иначе погибнешь ты; только взойдя на гору высокую в часе ходьбы от того места, остановись, и с нее ты можешь оглянуться назад.

Послушался Петро; срубил другое дерево; взял от него три полена, положил их на телегу, а сам всю дорогу шел пешком назад, жалея седины епископа, и вздыхая думал о том, как страшно умирать и как трудно без греха сохраниться нам на свете этом.

Возвратившись домой к мусьё Франко, Петро потребовал у него расчета и сказал ему, что желает получить ту старую баранью шубу, которая висит на стене.

Дьявол и гневался, и ласкал Петро, и рассыпал перед ним серебро и золото, говоря: «Не лучше ли это, чем старая шуба?» Но Петро, кланяясь ему, отвечал:

— Нет, господин мой, ты слово дал ни в чем не отказывать мне.

— Я не помню! — сказал дьявол.

Петро тогда перекрестился и воскликнул:

— Вот тебе Бог, вот тебе хлеб мой, что ты обещал!

Смутился тогда дьявол, поглядел на него диким взглядом и отдал шубу.

Петро надел ее и вышел из дверей, не оглядываясь. Но едва только он вышел, как услышал, что его зовет приятным голосом его мать Христина:

— Петро, сынок мой... Поди сюда, оглянись.

И Христо за ней кричал ласково:

— Петро!

Вздрогнул Петро и чуть-чуть не вернулся к двери, но вспомнил о словах птички и воскликнул: «помилуй меня, Боже, помилуй меня!..», пошел дальше.

Тогда поднялась ужасная буря и свист, и гам, и пыль, гонимая страшным ветром, неслась за Петро и обгоняла его и, возвращаясь вихрем, засыпала ему глаза, чтоб он обернулся.

Потом раздался топот погони конской. Слышал Петро, скачут как будто сотни людей и кричат издали: «вот он! вот он!»

Он все шел вперед, не оглядываясь.

И все мало-помалу утихло. Но до горы, с которой птичка ему позволила оглянуться, было еще далеко, и как утихло все, успокоился Петро и задумался, и шел не спеша.

И взошел он в узкую дорогу между двух высоких скал, и взошла тогда луна, и стало и светлее и страшнее ему. Как только взошел он на эту узкую дорогу, так и ужаснулся. Увидал он на скале, на левой руке, чью-то большую тень и длинную; вытягивалась тень дальше его вперед, и видно было, что она от кого-то, кто сзади его тихо крадется. Уменьшалась тень и опять выростала. И чувствовал Петро чье-то тихое дыхание сзади на шее своей, и весь он трепетал и содрогался от холода и от ужаса, стараясь не оглянуться.

Наконец грянул над ухом его такой громовой удар, что он успел только пасть ниц и закрыл шубой голову. Однако все-таки он не оглянулся.

После все утихло; дьявол отошел от него, и он достиг благополучно той горы, о которой говорила птичка.

Тогда, помолившись еще раз, он оглянулся и увидал, что на берегу моря, где была фабрика с большою трубой, метавшею искры, не было ничего. Только был виден скучный плоский берег, да море неподвижное, да луна на небе.

И шел с той стороны навстречу отвратительный смрад.

На горе Петро побыл недолго; по ту сторону он увидал прекрасные поля и хорошие деревья высокие, и веселые ручейки, которые по кусточкам бежали и по камешкам прыгали. А где конец этому месту, он не видал.

Когда Петро туда сошел, он увидал, что у дороги под большим платаном, у ручейка, сидят два старца. Бороды у обоих белые, чистые, не великие и не малые, и лица у них обоих были светолепные и приятные, а друг на друга совсем не похожие.

Петро тотчас же подошел к первому старцу и хотел поцеловать его десницу, но тот велел ему прежде подойти к другому, а потом уж к себе.

Потом старцы сказали ему:

— Продай, молодец, нам свое большое стадо.

Петро удивился и спросил:

— Где ж у меня стадо?

Тогда старцы сказали ему:

— Положи на землю шубу.

Петро отвечал с радостью: «извольте» и, сняв шубу, поспешно положил ее на землю у ног их.

И вот, только что он положил, в один миг стала разрастаться шуба, и разрасталась, и разрослась, и раскинулась далеко по красивому полю... и между деревьями изгибалась, и пропадал ее конец... Точно снегом покрылось все это поле. И заиграла, заиграла золотом на лунном свете чистая белая волна, и из каждого волосика вышло по овечке белой... и заблеяли и запрыгали кругом ягницы и ягнята маленькие и начали матерей сосать, а матери травку щипать, теснясь так, что едва ступить можно было...

Петро удивлялся и веселился, глядя на свое стадо, и даже сам запрыгал от радости, говоря:

— Вот стадо! Я такого стада никогда не видал.

Старцы улыбались на его невинную радость. Потом они встали с места, и один дал ему в руки новый кожаный кошелек, совсем пустой, и сказал ему:

— Вот тебе, Петро, плата за стадо твое. Только не искушай кошелек без крайней нужды. А когда будет очень нужно, ты в нем все найдешь. Богатство твое теперь будет неистощимо на этой земле; с ним ты всего достигать можешь, даже и того, чего и не посмеешь теперь искать. Но помни, что как только построишь ты своему благодетелю Христо и жене его Христине такой большой дом, в каких воеводы градские живут и купцы богатые, и как только купишь им землю доходную, чтоб успокоить их до смерти их в изобилии, так сейчас иссякнет золото из кошелька этого и больше ты не будешь получать ничего. А строить

ты дом долго не должен. В один месяц. Иди же ты с Богом, благословясь, и нас, своих старцев, не забывай никогда!

И как сказали они эту речь, вдруг оба исчезли; и стадо необъятное исчезло, как белый туман исчезает, когда взойдет солнце и подует вдруг ветерок.

И Петро остался опять один с пустым кошельком в руках. Только луна светила и деревья шелестили вокруг чуть слышно, а ручейки по кусточкам и камешкам все журчали и прыгали.

Тогда только образумился Петро и понял, что святые то были старцы, овцы же были все души, которые до тех пор томились у дьявола.

Тогда Петро подумал:

— Теперь вещь конченная! я могу теперь идти домой и заплатить за добро моим воспитателям так, что они и надеяться не могли! Пойду, куплю земли и дом им построю огромный в один месяц и сам успокоюсь.

И пошел по дороге прямо.

IX

Петро шел долго по горам, полям и лесам, не встречал живого человека и жилья человеческого не видал. Когда он садился отдыхать на камень или под деревом, всякий раз вынимал свой пустой кошелек, разглядывал его, мучась желанием достать из него золотой, но всякий раз вспоминал о том, что старец запретил ему испытывать Бога без крайности, и не опускал в него руки и, творя молитву, со вздохом прятал его снова за пояс. Так шел он долго, пока стал чувствовать голод, и испугался, что и с неистощимым источником золота за поясом он может погибнуть голодною смертью в пустыне.

Вдруг увидал он перед собою две дороги, направо и налево, и не знал он, по которой ему идти домой к Христо и Христине.

У дороги сидел на камне нищий старик в разодранной одежде. Он ел хлеб, и за спиной его была большая сума.

Петро подошел к нему и попросил у него хлеба, потому что был очень голоден. «Я тебе денег дам», — сказал он ему. Нищий отвечал, что он и без денег с радостию готов разделить с ним убогую пищу свою. Он дал ему большой кусок сухого хлеба. Петро сел с ним рядом, и они начали есть. Хлеб этот показался приемышу слаще всех кушаний, какие он прежде едал, и он сказал нищему:

— Такого вкусного хлеба я не ел никогда и с такою радостию я еще никогда не вкушал никакой пищи!

Нищий улыбнулся и отвечал:

— От всей души я тебе его дал, — это вот отчего.

— Ты, я вижу, человек опытный и все знаешь, — сказал ему Петро, — научи меня, какою дорогой мне идти в места, где живут мои воспитатели Христо и Христина?

Нищий сказал ему:

— Направо дорога эта, а налево дорога в царство доброго и великого царя Аго́на, у которого нет ни одного сына, а только одна дочь, царевна Жемчужина. И за эту прекрасную дочь теперь у царя Агона с грозным царем Полите́кном, у которого двенадцать сыновей и ни одной дочери, идет война. Произошел между ними раздор за то, что любимый и младший сын грозного царя Политекна поехал свататься за царевну Жемчужину и пропал без вести, и теперь царь Политекн требует, чтоб ему выдали сына живого или, если он умер, то чтобы заплатили ему семь бочек золота. И идет жестокий бой вокруг города. Добрый царь Агон сам уже стар и тучен и сражаться не может; он сидит все на открытой башне, на одном конце города, смотрит в трубу, а на другом конце города, за высокими стенами, есть другая башня островерхая и закрытая. Там заперта дочь его, царевна Жемчужина; она больна, и к ней никого, кроме кормилицы и двух старых немых евнухов, не пускают, ни мужеского пола, ни даже женского... И никто в городе не знает, что̀ за болезнь у нее и что̀ за великая тайна есть у царя Агона. Теперь я

сказал тебе, куда идет дорога налево и куда направо. А ты иди домой к Христо и Христине.

Петро сказал тогда нищему:

— Отчего же царь Агон не откупится? Разве нет у него сами бочек золота?

Нищий, смеясь, отвечал ему так:

— На что̀ ты спрашиваешь? Не ты ли откупишь царя?

Петро смутился (потому что он и в самом деле об этом подумал) и спросил:

— Разве ты знаешь мое сердце?

Нищий отвечал:

— Не только сердце твое я знаю, но и больше того; знаю я, если ты пойдешь налево, то выкупишь царя и женишься на царевне, и вознесешься ты надо всеми людьми.

Петро обрадовался и, встав, вынул из кошелька первый золотой и дал его нищему. Но тот не принял его и сказал:

— На что̀ мне золото! Дай мне медь.

Петро опустил опять руку в кошелек, но он не давал ни серебра, ни меди, а только чистое золото.

— Не могу! — сказал Петро.

Нищий засмеялся и воскликнул:

— Не нужно мне ничего; я рад и тому, что ты налево пойдешь. Ты человек молодой, прекрасный и храбрый; зачем тебе со стариками так рано у очага спокойно сидеть. Поди повоюй и прославься и царскую дочь возведи на брачное ложе. Ты только об этом подумай, — каково это!

Удивился Петро доброте этого нищего и его любви и простился с ним как с отцом. А это был опять тот самый дьявол, который уже в образе мусьё Франко хотел погубить душу приемыша.

Петро пошел налево, размышляя так: «Христо и Христина привыкли так жить, как они живут. И я подожду немного им строить этот дом, чтобы вдруг не иссяк кошелек. А пока и свет и разные вещи увижу, и сладостями

упьюсь такими, каких я не знаю еще!» На рассвете увидал Петро с высокой горы у ног своих большую долину, зеленеющую зеленою травой, и по ту сторону долины такую же стену гор, как и та, на которой он теперь стоял. По долине текли две большие реки, и на берегах этих рек стоял большой город. Он имел вид двуглавого орла; одно из предместий его шло к одной реке, и на конце предместья стояла одна крепость с высокою башней, наверху открытою, — и это было как правая глава; другая часть города направлялась в другую сторону, уходя к небольшому ущелью, и там, на конце, была другая как бы крепость с царским дворцом и островерхою башней, — это было как левая глава орла. На правой башне, открытой, сидел всегда в небольшом киоске добрый царь Агон, а в левой, островерхой башне и закрытой была заперта царевна. Крылья же выходили далеко в обе стороны до самых гор налево и направо, — дома большие, храмы, базары богатые сияли разными цветами; а на стороне, противоположной главам, как широкий распущенный хвост рассыпалось по густым садам белыми домиками и красными кровлями особое предместье.

Весь город был со всех сторон обнесен двумя высокими земляными валами и глубокими рвами, и на валах были укреплены крепкие колья, а за кольями стояло множество молодцов для защиты города.

По долине с двух концов за реками и по сю сторону рек и по ту, и по сторонам, по уступам гор, и у ног Петро, и с другой стороны стоял страшный лагерь; войско двигалось по лагерю несметное. Со всех холмов и высот на город смотрели чорные большие пушки на колесах, и казалось, что все они были как страшные звери чорные и лесные, которые прилегли только и хотят броситься на город и растерзать его.

Посреди лагеря стоял особый большой шатер пурпуровый с золотою короной наверху, а другой, жолтый, около него, и кругом этих двух — десять меньших голубых шатров и пятьдесят зеленых шатров. В пурпуровом шатре жил

грозный царь Политекн, а в жолтом — наследник его, знаменитый боец и воевода; в десяти голубых — десять главных начальников; а в пятидесяти зеленых — пятьдесят меньших начальников войска; белым же шатрам для простых воинов не было видно конца на траве долины и в ущельях, и у рек на берегах, и по холмам в виноградниках до самых больших садов городских. И в городе по разным местам, и близко, и далеко, и в неприятельском лагере играли трубы, барабаны били громко, и народ шумел и кричал. Но сражения не было.

Петро спустился с горы и вошел в лагерь. Воины тотчас же окружили его и свели к одному начальнику.

— Кто ты такой? Не соглядатай ли? — спросил начальник этот грозно.

— Если б я был соглядатай, не с горы сошел бы я, а пришел бы я из города и не отдался бы в руки сам, господин мой. Я путник, умираю с голоду и не знаю ни мест этих, ни города, который вы осаждаете, ни народа вашего никогда не видал, а слышал только о великом царе Политекне, как о самом грозном и справедливом из всех царей. Оттого я и прошел сюда, ибо справедливого царя нивинному человеку зачем бояться?

Начальнику понравились почтительные и разумные слова Петро; он приказал накормить и пустить его свободно в лагерь, только чтоб он в город не ушел.

— Может быть, он все-таки нехороший человек и нам вред сделает, — сказал этот начальник.

Тогда воины увели Петро к себе и накормили его любезно, и успокоили его, и начали дружески жаловаться ему, что им уже давно наскучило тут стоять и осаждать этот город. Они рассказали, что войско все уже ропщет и желает домой, что силой взять этот город трудно и потому царь его хочет голодом заставить сдаться. Но хоть и слышно, что в городе нужда большая, однако сдаваться они еще не желают, и потому их царь приказал сказать царю осажденному, что он снимет осаду, если тот ему выплатит семь бочек золота. «Вчера предложили это

осажденному царю и дали три дня сроку на соглашение, а если чрез три дня не дадут нам этих семи бочек золота, то ударим всем войском на город и возьмем его и разграбим, и камня на камне не оставим, и царя этого наш царь ослепит и дочь его позору и поруганию предаст, или все мы сами погибнем тут вместе с нашим царом». Так говорили воины.

Петро, желая узнать, правду ли ему сказал дьявол, которого он принимал за доброго нищего, спросил: «А за что̀ эта война?» Тогда один престарелый воин рассказал ему так:

— Царя этого города зовут царь Агон, а нашего царя зовут Политекн. У царя Агона сыновей не родилось, а только одна дочь, царевна Жемчужина. У царя Политекна родилось двенадцать сыновей. Царь Политекн сокрушался о том, что у него много сыновей, а царь Агон жалел о том, что у него нет ни одного. Царь Политекн опасался, что по смерти его сыновья начнут между собою распри за наследие престола, а царь Агон боялся, что по смерти его некому будет царствовать. Поэтому царь Политекн спешил всех сыновей своих женить на иностранных принцессах и разослал их по тем странам, в которых их невесты. Так что скоро у него дома остались только двое — старший, наш князь и наследник, и самый младший. Младшего этого наш царь Политекн любил столько же, сколько Иаков любил Вениамина, и не хотел его отпускать от себя. Он послал послов ко всем царям и соседним и дальним в самые отдаленные края земли требовать портреты их дочерей и объявил своим вельможам: «что та царевна, которая понравится моему любимому и младшему сыну — будет жить у нас здесь, ибо если отец ее не отдаст, я ее силой возьму для моего любимца!» Все цари прислали портреты дочерей. Царь Агон тоже прислал, но приказал сказать: «Я дочь на сторону не отдам; а хочу, чтобы зять у меня наследником был». Младшему же царевичу ни одна царская дочь не понравилась, кроме царевны Жемчужины, и он от всех других отказался, и когда он узнал, что царь

Агон на сторону ее не отдаст, то он еще сильнее влюбился в нее и сказал отцу: «Государь мой и отец, позволь мне самому туда ехать и похитить ее». Жалел и боялся отец отпустить его; но наконец отпустил. Царевич переменил одежду и сказал, что он без царевны не вернется; постарается ей простым человеком понравиться, а после, одной ей открывшись, что он сам царский сын, похитит и привезет ее. Было ему всего восемнадцать лет и был он краше нежной девицы, а сердце имел смелое и мужественное. Поехал он и не возвращался более. Тогда, прождав его год, наш царь грозно потребовал от царя Агона ответа о том, что̀ сталось с его сыном, который на дочери его жениться поехал; но царь Агон ответил, что дочь его нездорова и никого не видит и что сына его тоже никто не видал и не знает. Вот за это объявил наш царь Политекн ему эту кровавую войну, и вот почему мы тут стоим более года и осаждаем напрасно столько времени столицу доброго царя Агона. Царь наш ужасно и сам утомился и согласен оставить осаду, лишь бы ему уплатили осажденные семь бочек золота.

Так рассказывал старый воин, и Петро после этого еще больше поверил нищему, утвердился в надеждах своих и подумал: «Жалко мне этого царя Агона! Да и мне уже стало очень тяжело без молодой жены... Трудно мне уберечь себя, когда меня везде и девушки и молодые жены так крепко любят. Дам я этому царю Агону семь бочек золота, женюсь я на его дочери, буду счастлив, богат и знатен, и благодетелям моим Христо и Христине выстрою такой большой дом, в каких живут начальники городов или купцы богатейшие».

И стал Петро говорить этому воину:

— Отведи меня к царю Политекну и к сыну его и к начальникам вашим; я откуплю царя Агона и вас всех возвращу домой и успокою.

Старый воин отвечал ему:

— У нас этого нельзя. Не могу я повести тебя ни к царю, ни к начальникам, ни к сыновьям царским. Как бы

меня не наказали за это. Может быть, ты какой-нибудь глупый и пустой человек. Где у тебя деньги такие, каких цари не имеют? У нас же государь такой грозный и справедливый, что с ним очень страшно. И сын такой же грозный и справедливый, и начальники все такие же. Когда взошли мы на землю доброго царя Агона, то царь нам приказал так: «Где народ в каком городе защищаться будет и власти нашей не будет покоряться, сжигать тот город и то село, и всех людей даже с грудными младенцами избивать. А где покоряться будет народ, там не касаться ничего и себе не брать воинам!» И приказал, когда захотим в садах мирных жителей виноград есть, то есть можем, но чтобы за каждый куст медные монетки класть, какая будет в то время цена винограду, и от всяких плодов не иначе. И удивился бы ты, увидав, как спокойно выходили мирные жители и сбирали виноград свой и поднимали наши монетки под лозами. Они говорили нам: «О такой справедливости мы еще не слыхали!» И еще я тебе скажу. Повелел грозный наш царь в одном месте для отдыха ковры себе разостлать и сошел с коня. В это время подошла к нему здешняя одна бедная женщина вдова и сказала: «Ты, государь, не приказал своим воинам у нас насильно брать ничего; а один из воинов твоих взял у меня кувшин молока насильно и выпил». Подозвал тогда царь всех воинов, которые тут с ним были (а было их тут немного) и сказал вдове: «Укажи лицо его, если помнишь; но если ты ошибешься, ты умрешь». Она сказала: «Вот он». Тогда царь Политекн приказал его к дереву привязать и разрезать ему живот, и оттуда потекло молоко вместе с кровью. Оставил царь его там умирать и поехал дальше. А вдове, которая в ужасе ниц пала, царь сказал: «Это тебе хорошо, что ты не ошиблась; а ошиблась бы, то тебе еще хуже бы было». Такой у нас царь и такое начальство, а ты говоришь, веди меня к царю!

Однако Петро настаивал, и старый воин наконец сказал:

— Я отведу тебя к нашему сотнику только.

Они пришли к сотнику. Сотник же, выслушав, что Петро хочет откупить целое царство, воскликнул:

— Дайте этому дураку палок двадцать и пусть идет спать спокойно.

Воины побили Петро, и старый воин опять отвел его в свой шатер.

Когда совсем стемнело, старый воин сказал приемышу:

— Спи теперь.

Но Петро:

— Нет, я спать не буду; а прошу тебя, отведи меня к стенам городским, чтоб я мог взойти в город.

Старый воин отвечал ему:

— Либо свои нас убьют, думая, что мы перебежать хотим, либо городские убьют нас, как соглядатаев. В уме ли ты?

— Я в уме, — отвечал Петро. — И скажу тебе вот что̀. Пусть убьют меня, это не твоя забота. А тебя либо убьют, либо ты обогатишь всю свою семью. Есть ли у тебя жена?

— Есть, и много детей! — сказал воин.

— Видишь! И без того тебя убить могут, а я тебе теперь полную суму золота дам, а под стенами другую еще насыплю.

Велел ему выйти из шатра и, в один миг наполнив ему большую кожаную суму золотом, позвал снова. Увидав золото, воин согласился и сказал ему:

— Нет, ты точно, я вижу, в своем уме и все говоришь разумно! Это правда, что и без того завтра я могу умереть, а если не убьют меня, то и жена и дети мои богаты будут... Я отведу тебя!

Повел старый воин Петро с великою осторожностью и искусством, так как он во всем воинском был очень опытен. С большою опасностью прошли они в темноте весь лагерь царя Политекна, и никто их не потревожил, а когда у реки окликнул их часовой, старый воин сказал ему:

— Не бойся, мы искупаться в реке лишь хотим. Это тоже наш человек и он тебе денег даст.

Петро дал часовому пригорошню золота, и тот пропустил их. На берегу, в тишине, насыпал он своему помощнику, старому воину, еще другую суму, кинулся в реку и переплыл ее благополучно. Начало уже рассветать, когда он сквозь сады достиг городских окопов и, спустившись в ров, стал укрываться в нем, выжидая, когда люди городские увидят его. Увидали его наконец и хотели стрелять, но он закричал им:

— Добрые вести царю несу я!

Тогда ему приказали идти к воротам. У ворот он долго ждал, опасаясь, как бы его внезапно кто-нибудь не умертвил. Наконец отворили пред ним низенькую железную дверь, велели ему согнуться и почти ползком ползти, и как только успел он голову опустить туда, так его схватили и, завязав ему глаза, повели.

Долго вели его люди эти, наконец остановились и развязали ему глаза.

Петро услышал шум многих голосов и увидал, что он стоит на многолюдном базаре. Людей было много, но все были печальны и говорили, что стеснение в городе так велико, что люди платят по золотому за хлеб. А бедные умирают от голода и все хотят уже отворить ворота неприятелю, но еще жалеют своего престарелого государя, который и без того огорчен без меры и целые дни сидит наверху башни, сам не ест и не пьет и горько плачет о своем народе.

Петро сказал тогда:

— Ведите меня к царю; я утешу государя, и он будет опять есть и пить и перестанет проливать слезы.

Вельможи и воеводы долго не хотели пускать Петро к царю Агону, опасаясь, не с худым ли каким-нибудь намерением он пришел; они советовались так долго, что Петро проголодался, подошел к хлебному продавцу и, взяв у него самый маленький хлеб, опустил руку в кошелек и заплатил за него новый золотой.

Потом взял другой хлеб и заплатил за него еще золотой... Увидали нищие и голодные люди, старухи, калеки, безрукие и безногие, которые на руках ползали, услыхали

слепые старики, увидали и услышали все они, что Петро достает из-за пояса все золотые, и окружили его. Кто плакал, кто кричал, кто молча протягивал руку или шапку к нему, говоря только: «Господин, господин! Пожалей, господин!..» Петро желал бы им раздать медных, но медных в его кошельке не бывало и не могло быть, и хоть жалко ему было давать золото, но вспомнив, что кошелек неистощим, он стал давать им всем по золотому и всех оделил поровну. Нищие и голодные бросились сейчас же хлеб у пекаря раскупать, и вмиг все хлебы были до одного раскуплены, так что пекарь затворил свою пекарню. Как только увидали это люди, то сейчас побежали к вельможам и сказали им:

— Вельможи и воеводы царские! тот юноша, который из вражеского лагеря пришел, на базаре по золотому за хлеб платит и множеству нищих и голодных людей роздал по золотому. А они раскупили у пекаря все хлебы, так что пекарь запер свою пекарню и ушел домой!

Тогда вельможи и воеводы решились допустить Петро к царю и повели его по лестнице на ту высокую башню, которая была около реки в крепости и на которой сидел всегда царь, сокрушаясь и проливая слезы о том, что не может спасти свой народ и себя самого.

X

Петро застал доброго царя Агона очень печальным. Царь был уже стар и тучен, и борода у него была белая, ниже расшитого пояса. Он сидел на престоле, около столика. На столике же этом лежала большая зрительная труба, в которую он глядел всегда с башни на вражеский лагерь, ожидая, когда начнут неприятели снимать с зеленой долины палатки и уходить за горы. Еще на столике стояла золотая тарелка, а на тарелке лежал кусок сухого хлеба, которым царь Агон давно уже питался, смачивая его слезами, чтобы показать пример терпения простым

людям и чтобы они не роптали. И люди все в городе знали о том, что добрый царь ест сухой хлеб на золотой тарелке, и не роптали.

Петро никогда не видывал царя и сначала так смутился, что не мог поднять на него глаз; но царь любезно обратился к нему и самым кротким и ласковым голосом сказал ему:

— Здравствуй, молодец, откуда ты и какие ты нам хорошие вести принес?

Тогда Петро ободрился и увидал, что царь Агон не столько ужасен, как он думал, а скорее внушает к себе любовь и уважение. Петро пал на колена и сказал царю:

— Господин мой и царь, я из далеких стран и имею тебе сказать нечто, для тебя полезное и приятное.

Царь велел всем выйти за дверь, и наверху башни остались только двое чорных евнухов большого роста и великой силы; они были вооружены мечами, а на плечах носили огромные топоры. Они были глухие и немые и ничего не слышали из того, что̀ говорил Петро с царем. Но глаза их были исполнены крови, и губы были необычайно велики и страшны. Они никогда не оставляли царя одного.

Тогда царь повелел Петро ласково:

— Встань, молодец, и скажи мне свою приятную весть.

Петро встал и начал так говорить царю:

— Государь! Тебе нужно семь бочек золота, чтобы царь Политекн, отступил от города и снял осаду. В его лагере говорят, что царь Политекн, если ты, государь, ему на третий вечер не пришлешь всех семи бочек, решился идти на последний приступ и сказал, что он на стенах твоих положит все свое войско до одного человека и до главного воеводы и сам один с сыном войдет в город и погибнет, или возьмет его и не оставит ни души человеческой, ни камня на камне, и тебя, государь, ослепит, а царевну, дочь твою единственную, предаст всякому поруганию...

— Это ли вести добрые твои?.. За такие добрые вести мы тебя благодарить не будем! — воскликнул царь Агон.

И удивился даже дерзости, с которой говорил ему это Петро. В сердце его вспыхнул гнев; он взглянул на губастых и больших евнухов, и те тотчас выступили вперед с топорами...

Однако престарелый царь сдержал тотчас же свой мгновенный гнев и подал евнухам знак, чтоб они встали пока опять на свои места. Они стали опять неподвижно, а царь, приняв более прежнего суровый вид, обратился снова к Петро и сказал ему:

— Ты, молодец, не глумиться ли над нашим горем пришел, что зовешь такие вести хорошими и говоришь их так дерзновенно и глупо? Правда, мы теперь в великом и неслыханном горе, но есть еще у нас и силы, пока я жив, не только тебя, несчастного, лютым истязаниям предать, но и царя Политекна с великим уроном и стыдом отразить от стен нашего города. Когда Бог за нас, кто противу нас?

Но Петро, не смущаясь, продолжал так:

— Не гневись, государь, на смиренного раба твоего! Не та моя добрая весть, что царь Политекн твой город возьмет и разрушит, и тебя ослепит, и пленит, и дочь твою царевну позорным поруганиям предаст, а то я зову моею доброю вестью, что в моих руках сделать так, чтобы ни капли крови больше не пролилось под стенами твоего великого и славного города и чтобы кончился голод и плач сирот и вдовиц, и чтобы царь Политекн со всем своим великим войском и с шатрами и пушками и с конницею быстрой ушел за эти высокие горы, которые мы видим по обе стороны города... В моих руках это... А если это оскорбляет тебя, государь, то прости рабу твоему.

И Петро поклонился в землю, говоря это.

Царь удивился и спросил с улыбкой:

— Как же это в твоих руках, поведай нам это диво!

— Я насыплю тебе, государь, все семь бочек золота, и если желаешь, и больше. Только, чтобы никто не видал, как я это сделаю и откуда я золото достану. Но могу я это тогда только сделать, когда ты мне отдашь в награду царевну, дочь твою...

Петро, сказав эти слова, с беспокойством поглядел, не гневается ли опять царь и не поднимают ли на него опять топоры ужасные евнухи за такое смелое требование.

Но на лице царя не было видно гнева, когда он слушал эти слова Петро. Он, напротив того, засмеялся и воскликнул:

— Спасибо тебе, молодец, за то, что в стольких горестях развеселил нас. Я вижу, что ты можешь быть у меня при дворе дураком, смелым и утешительным! Даю тебе обещание взять тебя в шуты, если только кончу благополучно эту войну и останусь жив. Был у меня один такой утешительный человек, который всегда и в горницу ко мне как четвероногий скот на руках и на ногах входил. Но он скончался.

Сказав это, царь Агон ударил в ладоши, и когда все царедворцы, воеводы и евнухи, которые ждали его зова за дверьми и на лестнице, взошли толпой на площадку башни, царь велел сказать им:

— Посмотрите на этого смелого дурака и наградите его чем-нибудь... Он развеселил и насмешил меня. — И много смеясь, царь Агон приказал, чтобы Петро при всех повторил свое предложение.

Петро повторил снова при всех, что у него больше семи бочек золота для выкупа есть, и прибавил еще:

— Я рад, государь мой, что насмешил тебя и всякую должность при дворе твоем, хотя бы и дурацкую, я по воле твоей рад исполнять, потому что ты царь и мне все это будет в честь. Но изволь приказать в подвал отнесть семь пустых бочек и дай мне от подвала ключ, чтобы я мог запереться в нем на один час. И если чрез час не будет у тебя полных семи бочек золота, то не убивай меня, но пусть буду я у тебя при дворе дураком и шутом утешительным. А если будут полны чрез час семь бочек, то дай мне царское свое слово, что исполнишь ты все, о чем я тебя попрошу.

О царевне же Петро при других людях умолчал.

Царь Агон поглядел внимательно на Петро; помедлил несколько времени, заметив, что он умолчал о царевне

при других людях, и наконец сказал ему так, уже без смеха:

— Вот видишь ли, мальчик мой любезный, что̀ я тебе скажу... Очень ты смел и дерзок, и боюсь я, не безумный ли ты совсем... Но речь твоя тверда и очи твои прекрасны и разумны... Пусть будет по-твоему... И я даю тебе мое царское слово, что я и больше того, что̀ ты попросишь, сделаю, если чрез час будут все семь бочек полны золота. Больше сделаю... Слышишь?

— Слышу, государь, слышу! — отвечал Петро.

Тогда царь велел ему встать и, встав сам со вздохом, опять сделался печален и приказал вести себя под руки домой во дворец, потому что уже свечерело: и в неприятельском лагере по всей долине, и по горам, кроме огней, у которых воины пищу себе варили и грелись, ничего уже не было видно.

Люди царские взяли Петро и погнали его с насмешкой и бранью в погреб, в который и скатили тотчас же семь огромных пустых бочек.

Одни из них ругали Петро и говорили:

— Вот избавитель пришел! Кто и откуда! Кожу бы с него живого с негодяя содрать, чтоб он государя в такие дни пустыми делами не утруждал.

Другие жаловались, что не золото нужно, а пища и что лучше такого жирного молодчика зарезать в погребе и съесть его, потому что мяса уже давно в городе никто не видал.

А иные были подобрее и только смеялись над ним, говоря:

— Царь обещал не убивать его, а если не будет семи бочек, то палок не миновать ему... Хоть и голодно, но по крайней мере посмеемся над самохвальством этого дурака!

Петро, подкрепляя себя верою, не впадал в уныние, и высматривал лица всех тех, которые оскорбляли его и желали ему зла, стараясь не забыть их, и думал про себя, спускаясь с ними вместе по лестнице в подвал:

«Подождите, завтра я буду вам всем господин и тогда каждому из вас воздам, смотря по делам и по словам вашим!»

Царские слуги привели Петро к железной двери темного подвала, отворили дверь и втолкнули его туда, говоря:

— Ну, волхвуй тут, собака дерзкая... пока мы тебе палками пятки не разогрели! Час тебе сроку! — и заперли за ним тяжелую дверь большим запором снаружи, не оставили ему даже ни светильни, ни фонаря.

XI

Когда царские слуги, глумясь, затворили за Петро тяжелую дверь, он остался в такой темноте, что не мог ничего видеть. Однако он заметил, в какой стороне стоят бочки, и со страхом, чтобы не упасть в какую-нибудь глубокую яму, пошел туда и ощупал одну рукой.

И, взяв кошелек из-за пояса, раскрыл его над пустою бочкой, и посыпалось золото из него с великим звоном, и не только бочка наполнилась, но золото издавало особый и прекрасный свет, от которого осветилось все ужасное подземелье. Так он наполнил все семь бочек и, устав сильно, сел на сырой земле и, приклонившись к бочке, крепко уснул.

Добрый царь Агон между тем сел на коня и объезжал с воеводами и вельможами своими все стены и окопы города, возбуждая сердца воинов к защите жилищ и семейств своих и достояния (ибо он не верил, что Петро насыплет семь бочек, и ждал на рассвете жестокого боя).

Он проливал слезы и говорил людям:

— Потщитесь, дети, потщитесь... Я, конечно, состарился, одряхлел и телом стал слишком тучен, так что только с большого камня могу влезть на седло; но если я не могу оружием врагов поражать, ни начальствовать вами, я завтра утром приду сюда умереть вместе с вами!

Воины тоже плакали и обещали все до одного умереть, если врага прогнать будет невозможно.

Так, немного успокоив свою душу, царь возвратился домой и, не будучи в состоянии спать от печали, вспомнил о Петро и захотел опять посмеяться. Он спросил:

— Где этот красивый шут, который спасти нас хотел? Посмотрите, что̀ он делает в погребе, и позовите его сюда. Может быть, он опять утешит меня какою-нибудь глупостью.

Но люди, пошедшие за Петро, возвратились в страхе и радости и сказали:

— Государь, бочки исполнены золота; а сам юноша на сырой земле покоится сном невинности... Что̀ прикажешь делать?..

Царь не хотел им верить и приказал свести себя под руки по скользкой лестнице в ужасное подземелье. И увидав, что это все правда, и сам разбудив Петро, облобызал его, говоря:

— Истинный ты спаситель этого города и моего царского дома!

Тогда во всем городе настала внезапная радость; забили барабаны, заиграли трубы, множество факелов загорелось, и когда в стане царя Политекна все испугались и думали, что горожане внезапно из ворот хотят выйти и начать битву, тогда люди городские и воины царя Агона кричали им:

— Мир! мир!.. Золото вам шлем...

А те не верили и все, проснувшись и одевшись, вооружились и ждали.

Слуги царя Агона между тем под его собственным присмотром нагружали бочки на большие телеги, запряженные каждая шестью буйволами, и при кликах радости и с шумом, с огнями, с пением и плясками повезли в неприятельский лагерь. Отвезли и отдали. И считал царь Политекн деньги до рассвета и не мог счесть, потому что близилось утро, и он лег на ложе свое и воскликнул:

— Не хочу больше считать, — довольно!

А как только проснулся царь Политекн, так велел сниматься с поля лагерю и идти всему войску домой.

Добрый же царь Агон от радости всю ночь не спал и приказал, чтобы Петро на его коне по городу возили и восклицали: «Вот тот благословенный и добрый человек, который выкупил царя нашего и всех нас от лютой смерти и от жестокого рабства и пленения спас!..» Сам же царь Агон взошел на башню свою и любовался, как снимались палатки вражеские с долины.

Снимались палатки и уходили войска в разные стороны и по разным дорогам, чтобы поскорее уйти; из сел уже хлеб везли и другие запасы для продажи в городе.

После этого царь Агон заперся у себя на три дня и три ночи и на башню не восходил более, а только ел, пил и отдыхал, возлегая на драгоценном ложе и омывая слезами радости тюлевую подушку на алом шелку...

Про Петро он как будто забыл в эти дни, и Петро скучал, думая: «видно, и от царя этого мне, кроме обмана, ничего не видать!»

Однако на четвертый день добрый царь Агон надел порфиру, возложил на себя венец и, взяв в одну руку скипетр, а в другую державу, воссел на престол свой и велел позвать к себе Петро.

Петро пришел и поклонился ему.

— Ты видел меня в горестях; теперь ты видишь меня во всем моем величии, — радуйся, — сказал ему царь и дал ему целовать десницу свою.

Потом царь сказал ему:

— Чего ты, сын мой, желаешь от меня теперь? Скажи мне по сердцу, и я постараюсь исполнить твое желание...

— Ты, государь, знаешь мое желание, — отвечал Петро очень почтительно.

Царь посмотрел на него внимательно и сказал:

— Мне нравится твоя почтительность, сын мой, но я не знаю твоего желания.

— Я желаю, государь, чтобы ты царевну твою, Жемчужину, мне в жены отдал. Ты же, государь, на высокой башне своей, в то время, когда грозный царь Политекн облегал бесконечным лагерем город твой и грозился умертвить тебя самого, при царедворцах твоих сказал мне, что ты и больше этого сделаешь для меня.

Царь вздохнул глубоко и сказал ему:

— Зачем тебе моя дочь?

— Государь мой милостивый и благоутробный! Пожалей меня, — воскликнул Петро, — молод я! Девушки и жены даже замужние смертью за меня умирают от любви и искушают меня... Я же греха трепещу и хочу невинным и чистым в брак законный вступить. Когда я на твоей дочери прекрасной и юной женюсь, буду я знать тогда, что мне можно будет обнимать и ласкать ее сколько моему сердцу угодно, не опасаясь гнева Божия! Вот почему я хочу царевну твою в жены себе.

Царь сказал ему на это:

— А кто ты такой? Может быть, ты какой-нибудь незаконнорожденный и дурной женщины сын! Расскажи мне все, кто ты и откуда?..

Велел ему царь Агон сесть на пол противу себя и рассказывать.

Рассказал ему Петро все о Христо и Христине и о бабушке своей, которую он не помнил и которая умерла на дороге в лесу, и о неправдах, которые он претерпел и у чорбаджи Брайко, и у попа Георгия, и у Хаджи-Дмитрия купца, и у епископа доброго... И о мусьё Франко, самом дьяволе, и о птичке, и о том, как померли все те, которые обидели его, и как души их мучились у дьявола... Умолчал Петро только о том, что̀ было после, о кошельке и о святых, которых он под горою встретил.

Царь все слушал его и жалел, а когда он кончил, сказал ему:

— Пока ты не рассказал своих бедствий, я и своих не помнил так, а теперь ты мне мои все горести напомнил, несчастный...

И сказав это, царь положил на столик около себя державу и скипетр и начал горько плакать.

Петро же, сидя противу него на полу, стал думать: «Это он все лицемерит, чтобы дочери мне не отдать». И молчал.

Утерши слезы свои, добрый царь Агон сказал:

— Сын мой, я жалею тебя. Ты, может быть, слышал, что дочь моя больна, но ты не знаешь настоящей тайны, тайны великой, чрез которую все бедствия мои приходят, чрез которую и война с грозным царем Политекном у нас была, чрез которую и эти чорные слезы мои текут, чрез которую и тебе я говорю, проси лучше бóльшего, а дочь мою не проси.

— Я большего ничего не желаю, государь мой, — сказал Петро. — Ты мне дочь, пожалуйста, отдай свою. Если она нездорова, я помолюсь, и ей будет легче. Позволь мне по крайней мере видеть ее.

— А когда так ты желаешь ее, — сказал царь Агон, — да будет судьба твоя.

Велел царь тотчас позвать к себе кормилицу царевны, которую уж давно никто не видал, и сказав ей сперва что-то тайно, чего слышать Петро не мог, прибавил громко:

— Этот юноша хочет видеть царевну и, может быть, вылечит ее своими молитвами. Расскажи ему прежде все, чтобы не был я против него изменником и предателем... И да будет судьба его!

После этого царь Агон сошел с престола своего и удалился; а кормилица сказала Петро:

— Иди за мной, несчастный! — и повела его.

Долго вела она его; спустились они в подземелье длинное и пришли наконец к низенькой железной дверке, и кормилица отперла ее, ввела Петро в небольшой покой, села и сказала ему:

— Садись и ты, горький ты мой сирота; я тебе теперь весть скажу страшную и недобрую.

Ужаснулся Петро и спросил:

— Что такое?

— Кто из юношей, сирота ты мой чорный и бедный, чрез порог царевны переходил, тот назад не возвращался.

И открыла она ему другую дверь в сырой подвал, и отступил Петро в смятении.

Там лежали в гробах двое мертвых юношей. И пахло оттуда страшно человеческим трупом; потому что они еще не распались в прах, а тлели медленно и издавали ужасный запах. Ближе других к дверям лежал труп, по виду, молодой девушки необычайной красоты, в простом одеянии с венцом высохших цветов на голове. Были эти трупы белы и бледны как воск свечей, и печальны были лица их, как будто они оплакивали раннюю гибель свою.

— И это не девушка, — сказала кормилица. — Этот юноша лучший из всех, последний сын грозного царя Политекна. Из-за него была ужасная война, от которой ты нас спас на гибель свою.

Сказав эти слова, кормилица затворила снова дверь, возвратилась в свой покой и, сев сама, посадила Петро и сказала ему:

— Садись и ты. Я расскажу тебе всю правду. А ты слушай и готовься к смерти, если хочешь видеть царевну. Возврата от нее нет, сирота ты мой горький!..

Смутился Петро еще больше, сел и слушал, а кормилица рассказывала ему о великой и страшной тайне, о той горести, которая доброго царя Агона сокрушила.

XII

Кормилица говорила ему так:

— Ты сам, сынок мой и молодой чужестранец, знаешь, что у доброго царя нашего нет других детей, кроме одной этой дочери царевны Жемчужины, которую я моим молоком вскормила и носила долго на груди моей. И потому, что она была у царя одна, берег и любил ее царь как очи свои и и не знал с самого начала уже, чем угодить ей

и порадовать ее. Какая подруга маленькая ей нравилась, царь приказывал тотчас ее взять в палаты свои. Говорила она: «Когда бы этот евнух или этот слуга ушел из дома нашего. Опротивел он мне!» И изгонял его безжалостно добрый царь Агон, хотя бы он ничем и виноват не был, а только тем, что царевне маленькой не понравился. Особый дворец он ей выстроил и эту большую островерхую башню, в которой она теперь заключена. И с башни этой вид на город и поля открывается еще лучший, чем с той, на которую сам царь выходит, чтобы на царство свое смотреть. Пожелала она, картинки чтоб у нее на стене в комнате нарисованы были; царь художника искусного призвал, и художник нарисовал большую и страшную женщину с рыбьим хвостом; около нее море, а в море кораблик, и женщина эта большая с рыбьим хвостом кораблик веревкой к себе тянет, а на кораблике маленькие, маленькие, чуть видные люди воздели руки и ужасаются. Посмотрела царевна и сказала: «Долго трудился художник, а что̀ хорошего вышло? Не утешает меня эта нагая баба с хвостом. Я еще, может быть, от страха ночь не буду всю спать!»

И потом сказала: «Государь мой и отец дорогой! прикажи мне лучше нарисовать так, чтобы все были деревья и деревья, так, как около моего дворца. И чтобы между деревьями все зайчики прыгали, а на деревьях чтобы такие птицы сидели, каких никто в жизни своей не видал!»

Смыли страшную женщину с рыбьим хвостом и взяли другого художника, и он написал все деревья и деревья, и зайчиков и птиц таких, каких никто в жизни не видывал.

Долго на эту картину веселилась и утешалась милая царевна наша и прыгала даже пред нею и говорила: «Кормилица! когда зимой будет холодно, я в сад не пойду; а буду здесь гулять и за зайцами этими бегать. А птицы уж эти утешительнее и гораздо приятнее настоящих!»

И так дорого за эту радость заплатил царь художнику, что тот большие палаты себе на эти деньги выстроил.

А как настала зима, погуляла раз царевна около этой картинки по комнате, два раза погуляла, а на третий гово-

рит с большим пренебрежением: «Зайцы все скачут и никуда не ускачут; а птицы, какие это такие? это неправда, таких никогда не бывает!..» И стала просить отца своего, государя, чтобы новую картинку ей написать и зайцев и птиц уничтожить вовсе; согласился царь с радостью и призвал третьего художника из далекого города, лучшего, и царевна говорит: «пусть он сам придумает!» И придумал этот художник хорошо. Он нарисовал цветник и дорожки и кругом все кипарисы до самого конца, а в середине киоск; а кругом киоска на золотых креслах сидят все рядом и по очереди один мужчина богатый с чубуком в руке и одна женщина богатая с цветком в руке, который она нюхает; а потом опять мужчина и опять женщина; и все они глядят на киоск и наслаждаются. Тогда царевна сказала: «вот это хорошо!» и больше не просила менять картины.

Так любил царь Агон царевну и только и думал о том, как он ее выдаст замуж и за какого царевича или вельможного сына, чтобы тот мог ему стать вместо сына родного и наследовать ему, когда он умрет.

Когда еще царевна была мала, царь Агон веселился на ее красоту и приятность и спрашивал ее: «Жемчужина моя маленькая! скажи ты мне, за кого ты замуж хочешь? я тебя отдам!», а она дитя неразумное еще была и ничего не понимала и, лаская отца, говорила: «за тебя я, отец, хочу замуж. Чужих я не хочу!» Много мы все смеялись и веселились на ее детское неразумие. А потом, когда ей стало уже четырнадцать лет, и царь опять спрашивал ее: «Жемчужина ты моя, скажи мне душу свою, за кого ты хочешь замуж?.. Я бы не хотел ни в чем перечить воле твоей... чтобы ты была счастлива, как только может быть счастлив человек на свете этом». Царевна уже стыдилась и молчала, закрывая покрывалом лицо; и царь снова приступал к ней: «скажи!», а она отвечала ему: «воля твоя на это, государь! а мне где такие вещи знать!» Сама же смотрела одним глазом из-за покрывала, что̀ делает отец и что̀ он сказать сбирается. А когда со мной она была, то мне

говорила, открывая свою душу: «все царских детей нам ждать? А я хочу вот что: чтобы муж мой был больше меня, сильнее меня, красивее меня!» И я говорила ей: «и больше и сильнее найти легко, а чтобы был он красивее тебя, найти вот это трудно!» Она, вздохнув, отвечала: «это правда, что трудно!» Пошла я тайно от нее и передала эти слова царю; царь затруднился тоже и сказал: «трудно это, чтобы красивее найти, чем она сама! боюсь уж, не слишком ли во всем я ей потворствовал!»

Стали показывать ей разных детей вельмож, самых лучших, а она глядела из окна и говорила: «Ба! какой холодный!..», а про другого говорила: «Слабенький он и худой...», а про другого: «Что за сокровище вы нашли такое!» И никого не хотела. И стала она вдруг бледнеть и тосковать, и плакать, и не знали мы, что с ней сталось. И удаляться стала от меня и от подруг своих и от всех людей, и начала биться об землю и одежды на себе разрывать, и волосы свои, которые до земли у нее, вырывала целыми прядями, сокрушаясь. Сказал тогда царь: «Нет, надо ее замуж отдать»; и сам выбрал ей сына одного из царедворцев своих, юношу прекрасного, и приказал ей обвенчаться с ним. И обвенчали их. Она ничего не сказала. Я ввела его в комнату ее и ушла. На другой же день вошла опять я к ним поздно и ужаснулась... Юноша лежал на брачном ложе мертвый и бледный, потому что она кровь из него всю высосала и он умер. А она как была, так и осталась, и сидела печальная и еще бледнее и страшнее его, только губки ее были все в свежей крови. Я сказала ей: «Что ты сделала, царевна?» Она ничего не отвечала, только: «Убери его!» Тогда мы похоронили его в том погребе, который ты видел, и знал об этом только один царь Агон и два немых евнуха, а больше никто. Оставили это дело так; повеселела опять немного царевна, и подумал царь: «Это оттого, что он ей был не мил. Пусть сама выберет». Тогда царевна открылась мне: «Я видела во сне одного. Отыщите мне его». Она сказала, какой он был; мы отыскали ей такого и привели ей, и она обрадова-

лась и воскликнула: «Этот самый!..» И обвенчалась с ним. Опять я вошла на другое утро и опять нашла его мертвым; а она уже смеялась и говорила мне: «Вашим женихам сладкая смерть... Приводите ко мне юношей, и я их кровь высосу!»

Тогда мы поняли, что она стала такою девушкой, которая у юношей кровь пьет, и заперли ее в эту башню и в этот дворец, и не стали сюда пускать никого из молодых мужчин, а только женщин и престарелых людей для работы.

Начала она биться опять и просить меня, чтобы привела я ей юношу, пить его кровь. Но я не соглашалась и никого не приводила ей.

В это время царь Политекн прислал сюда посланцев просить царевну в замужество за младшего сына своего; но царь Агон сказал: «Я ищу к себе зятя взять, а не туда отдавать дочь мою. У меня нет сыновей». Благодарил за честь и отказал царю Политекну. Сын же царя Политекна возгорел тогда сильным желанием похитить нашу царевну и придумал сделать это так: одеться простым человеком, если нужно, и если нужно девушкой, и похитить ее отсюда и жениться на ней.

Вот он пришел сюда простым мальчиком, и никто его не знал, он же узнал, что царевна нездорова и что юношей и молодых мужчин никакого звания ко дворцу ее подходить даже не пускают евнухи, и было ему это очень досадно. Переоделся он тогда в женское простое платье и сел у ворот, говоря евнухам: «когда бы меня к царевне в служанки взяли. Я все знаю». Пришли евнухи и сказали мне: «Девушка очень молодая и красоты необычайной пришла к воротам и в служанки просится; и она говорит, что все знает».

Я велела привести эту девушку; и она была царевич; а я этого не знала и спросила ее: «собой ты очень приятна, а что̀ ты знаешь?» Она сказала: «Песни пою и на тамбуре играю, и пляшу, и все другое знаю. А чего не знаю, тому сейчас выучусь, потому что я очень умна!..» Я сказала: «Что ж, оставайся! Царевна наша нездорова; может быть,

ты развеселишь ее...» Царевна же тотчас же почуяла, что это не девушка, и выбежала к ней и обрадовалась, и обнимала ее, восклицая: «Милая ты моя! Сколько времени я тебя ждала!..» Та спросила: «Не прикажешь ли петь или на тамбуре играть?..» А царевна: «До песен ли нам теперь... Я тебе игру лучшую покажу, радость ты моя!..» Увела она царевича к себе, затворилась с ним и высосала его кровь, вышла ко мне и сказала мне: «Поди, кормилица, погляди на эту милую девушку, как она уснула хорошо...» Увидала я тут, что это юноша и что он умер; но кто он, не знали мы ничего, пока не потребовал царь Политекн от нас сына. Тогда узнали мы, что это был царевич, потому что на правой руке у него знак был, и по всему другому. И после этого началась война; остальное все ты сам знаешь. Добрый царь Агон приказал тебе сказать всю правду, чтобы не было и нам греха и чтоб он за добро твое предателем противу тебя не стал. Оставайся теперь на три часа один для размышления, и после, если захочешь идти к царевне, пусть будет воля твоя, я тебя отведу.

Кормилица ушла, а Петро, притворив за нею дверь, начал усердно молиться и клал земные поклоны до тех пор, пока совсем утомившись не прилег отдохнуть на диван. Тогда сомкнулись глаза его таким приятным и легким сном, каким он прежде никогда не спал. Во сне явился ему старец и сказал: «Хотя ты и вступил по лукавому совету нищего не на правый и тернистый, а на левый и широкий путь, но Бог все обратить может на благо. Я говорю тебе теперь: дерзай! Ты излечишь царевну». Говоря это, старец дал ему небольшую книжку с молитвами для изгнания злых духов и приказал ему так: «Пошли в город и пусть принесут тебе двенадцать восковых свечей, таких больших, чтоб они всю ночь горели, и *моско-ливана*, и чорного газу, и самых вкусных конфект. Из свечей сделай круг и в него пусть войдет царевна. Ты накроешь ее этим газом и читай ей молитвы по книжке до тех пор, пока погаснет и последняя двенадцатая свеча, которую ты зажжешь, и упадет фитилек ее на каменный пол. А когда

царевна захочет броситься на тебя, ты давай ей конфект с сердечным, ласковым словом, и она усмирится и излечится». Старец удалился, сказав это, а Петро, пробудясь, нашел около себя книжку и, обрадовавшись, стал звать кормилицу. Он велел ей купить все, что̀ приказал старец, газ и двенадцать больших святовосковых свечей, которые бы всю ночь горели, и ливану, и конфект.

Все эти вещи скоро принесли, и тогда Петро сказал кормилице: «Теперь я могу излечить царевну. Веди меня к ней».

Так как кроме царя Агона никто еще не знал, что Петро сватается за царевну, то кормилица сказала ему ласково:

— И то правда, добрый мой молодчик, что ты, может быть, и излечишь ее молитвами твоими и она не убьет тебя. Потому что ты, я вижу, только для души это делаешь. Вельможи эти и сын царя Политекна по плоти старались, а не по душе. А тебе, простому человеку, куда ж на нее глаза поднимать!..

Петро отвечал:

— Все в воле Божией, кормилица! Ты это хорошо говоришь.

И они пошли вместе.

Кормилица вела Петро долго по крутой лестнице на островерхую башню, в которой заперта была царевна Жемчужина; привела и отперла железную дверь за тремя замками, а как только Петро вошел, она тотчас же заперла ее за ним и оставила его одного, так что ему назад некуда было выйти.

Петро, укрепясь молитвой, пошел дальше и пришел в большую комнату, темную, и ничего сначала видеть не мог. Только слышал он где-то тихие жалобы и вздохи.

Тогда он стал зажигать по одной все свои двенадцать восковых свечей, составляя из них круг. И только что зажег он три, как царевна Жемчужина вышла из темноты и, став пред ним, спросила его:

— Безумный, кто тебя привел сюда?

Петро отвечал:

— Меня Бог привел.

Царевна сказала ему:

— В чорный же день тебя бедная мать твоя родила, потому что я выпью сейчас твою теплую кровь.

Но Петро продолжал ставить свечи и поставил уже шесть.

Тогда царевна спросила:

— Зачем же ты эти свечи ставишь?

— Чтобы ты в середку их вошла и села, — сказал ей Петро.

— Я войду, — отвечала царевна.

И села на пол, а Петро докончил весь круг. Но когда, покапав на пол воску, он приложил двенадцатую свечу, царевна вдруг приподнявшись растерзала на себе одежды свои, начала рвать свои волосы, которые у нее до пят ниспадали в прекрасных завитках, и воскликнула ужасным голосом:

— Нет, нет! Отойди от меня, мучитель!.. Кто тебя привел сюда, враг ты мой ненавистный!..

Стали тогда очи ее непомерно велики, и страшны, и злы... А уста ее были яркие, кровавого цвета, как будто коралл. Лицо же было совсем белое, как слоновая кость.

Но как ни была она страшна, однако понравилась сердцу приемыша, и он сказал ей ласково:

— Усмирись, возлюбленная моя! — и, вынув конфекты, дал их ей, говоря: — Кушай... Они лучше крови моей. Они — *душа моя*, потому что я тебе их с любовью даю...

Царевна скушала и опять села на пол, а Петро сказал ей:

— Ты только дай мне накрыть тебя этим чорным газом.

Она нагнула голову; Петро осторожно, чтобы не зажечь газа на свечах, подал ей и сказал:

— Во имя Божие, приказываю тебе, накройся сама.

И скрежеща зубами, она накрылась. Петро стал после этого вне круга из свечей, зажег фимиам и, раскрыв книжку, начал громко читать молитвы. Он читал их долго, пока не догорели все двенадцать больших свечей, до самой зари утренней. Двенадцать раз вставала царевна во время молитвы и опять рвала на себе одежды и волосы, и двенадцать раз хотела на него броситься и впиться в него, и двенадцать раз просила оставить ее... Но Петро всякий раз повторял ей, давая конфекты: «Возьми, кушай, моя миленькая, это часть самой души моей и слаще чем кровь моя...» И опять читал молитвы...

Пред самым рассветом, когда последний фитилек от последней свечи упал на камень и погас, и заря занялась за городом... царевна, закрыв глаза, упала на камни и вскрикнула таким страшным и диким криком, что сам Петро отбежал к двери, и птицы, которые вили гнезда на башне, разлетелись в испуге; слуги, бывшие внизу, проснулись, а кормилица, взяв ключ, побежала было наверх по лестнице... Однако вспомнила она, что верно это Петро пред смертью так закричал, и пошла за двумя старыми немыми евнухами, чтобы положить его в приготовленный гроб.

Петро между тем видел, что царевна утихла и лежала как мертвая на полу; волосы ее прекрасные были распростерты по камням; а как солнце в эту минуту выходило за горою и проник яркий луч его в окошечко, то увидал Петро, что семь клубов черноватых один из другим вылетали из открытого рта ее и как дым стелились к окну и пропадали все понемногу.

Сказал тогда Петро царевне:

— Не моею силой и не по моему достоинству, а во славу Божию говорю тебе, Жемчужина моя, встань...

Поднялась с полу царевна молоденькая, веселая, как малый ребенок, и улыбаясь, и стыдясь, и краснея, стала перед ним, не поднимая на него очей, а все улыбалась и краснела так, как краснеет девушка и улыбается, когда стыдится, что ее неубранною и неукрашенною со сна застали.

И Петро вдруг стало стыдно. Он не знал с минуту, что̀ сказать ей. Потом сказал:

— Ты бы поглядела на меня теперь...

Она, поглядев на него, отвечала:

— Я теперь буду делать, что̀ ты мне прикажешь.

Петро опустил тотчас же глаза и, сам стыдясь, сказал царевне:

— Дай мне руку!

Она подала; он взял ее за руку и повел в другую чистую и светлую комнату и сел на диван, а она шла за ним, как агнец за матерью. Он ей сказал:

— Садись со мной рядом здесь.

Но она отвечала:

— Нет, милый господин и повелитель мой, одно позволь мне: у ног твоих сесть и обнять твои ноги. Так хочет моя душа.

— Обними, — позволил ей Петро.

Тогда она спросила его:

— Скажи мне, кто ты и откуда? Какого великого государя ты сын переодетый и как ты пришел в наши земли? Все мне скажи ты, спаситель ты мой!

Петро отвечал ей так:

— Я, царевна, не царский сын переодетый; я бедный сирота, приемыш у бедных людей, который пошел зарабатывать для старости их хлеб насущный. Служил я во всяких низких званиях и к ремеслам простым привык... Я уголья жег и продавал, дровосеком был и пастухом сколько служил, я у попа Георгия кандильнафтом в убогом селе был; я управлял домом купца одного, а потом я как *ясакчи* у епископа был; вот я что̀. И если тебе неприятен я, то встань и удались от меня; я уйду.

Но царевна прижалась еще крепче к ногам его и воскликнула:

— Я ли от тебя уйду!..

И просила его все рассказать, как было. Петро все рассказал ей, только о кошельке и о встрече со святыми он утаил и не открыл ей, откуда он берет столько золота, сколько хочет.

В это время кормилица подошла к дверям и привела с собою двух немых евнухов, чтоб унести мертвого Петро в подвал.

Она отперла дверь и вошла, и за нею оба евнуха. И увидали они, что Петро сидит на диване в простой и старой одежде своей, как был, а царевна у ног его веселая и здоровая и смеется.

Удивились евнухи и ушли известить царя Агона; кормилица же хоть и рада была, но ей не понравилось, что царевна так унизила себя перед простым человеком, и она сказала ей:

— Не идет тебе, царской дочери, обнимать ноги у пастуха либо дровосека. Он тебе не пара: ты царскими детьми пренебречь можешь по твоей красоте и величию отца твоего.

Но царевна прижалась еще крепче лицом к ногам Петро и, обратясь к кормилице своей, с досадой отвечала:

— Что̀ мне твои царские дети... Они все для меня противны, как шпинат с луком в воде вареный; а он для меня все равно, что гвоздичка и мускус.

Изумилась кормилица и, ни слова больше не сказав, тоже поспешила к царю.

Петро же подумал в душе своей: «Я этих слов не забуду!»

Скоро приехал и сам царь Агон в величайшей радости: и по всему городу и по селам окрестным сейчас же разнеслась весть, что царевна здорова, и народ веселился.

Царь Агон спросил у дочери:

— Когда желаешь, чтобы сделать свадьбу?

Но она при нем стыдилась и молчала.

Петро понял, чего она желает, и сказал царю:

— Государь, я желаю, чтобы свадьба наша завтра была; не знаю, как угодно царевне твоей.

Царевна же сказала в великой радости:

— Разве есть у меня другая воля, кроме воли моего господина?

И опять изумился царь ее любви и смирению.

На другой же день их обвенчали с пышностию. Петро одарил щедро всех подруг, служанок и слуг царевны Жемчужины. Каждой подруге дал он по цветной шолковой ткани, а кормилице дал ткань бумажную, чорную с белыми крапинками, и сказал:

— На что̀ тебе цветная ткань? Ты уж не молода.

XIII

После свадьбы начал жить Петро с царевной Жемчужиной приятно и весело в ее загородном дворце.

Место там было веселое и ровное, у реки: было много вязов высоких и дубов, были каштаны такие толстые, что пяти человекам и больше разве охватить их руками, став рядом; а на берегу реки прекраснее всех других деревьев росли старые платаны, у которых давно уже ничего внутри не было, а только одна кора, и все они зеленели и до того были обширны, что для забавы царевны Жемчужины были внутри их устроены небольшие киоски. Обширный двор был обнесен высокою стеной с тремя железными воротами, и на самом конце двора стояла та островерхая башня, в которой была заключена царевна, когда была нездорова; с одной стороны двора были все кухни, и бани, и конюшни, и жилье для прислуги, а с другой — дворец царевны.

Двор весь был изукрашен дорожками из мелких камешков, из камешков белых, сереньких и чорных, все узорами и узорами, как мозаика, изображавшая разные звезды и цветы. Дорожки эти все были обведены стриженными низенькими миртами, которые и зимой были зелены. А между дорожками цвели разные цветы, и розы, и лилии, и другие цветы, и жолтые, и красные, и голубые. Фиалки везде цвели весной, и около камней, и под кустами мирт, и около дорожек.

Внутри дворца была большая зала; все стены были выложены голубыми расписными изразцами, чтобы было тепло зимой, а летом прохладно. Только на одной стене

была та картина, которую любила царевна: все богатые мужчины с чубуками и богатые женщины нюхали цветки, сидели на престолах и веселились. Кругом всей залы было возвышение с кипарисными столбиками; на возвышении за столбиками софа во всю залу кругом, вся в многоцветном и драгоценном азиятском шелку, голубом и розовом, все золотыми *марафетами* * затканном; этот бесценный шолк закрывали по будням тончайшею льняною тканью с кружевами, чтоб его, садясь, не изнашивали и не марали... На мраморном полу зимой стелили *аджéмский* ковер во всю залу, и он был еще узорнее цветника и дорожек; кругом его везде по краям жолтые барсы ловили за спину зайцев и ели их. Посреди залы ставили два серебряные золоченые *мангала* ** с угольями, когда было холодно; на чудовищах крылатых были они утверждены, и в них посыпали курения. Потолок же над этою залой был кипарисовый, весь фиолетовым цветом раскрашенный, и по всему этому полю были видны все алые и белые розы с листиками зелеными, совершенно такими, какие у роз бывают, с мелкими зубчиками. И был среди потолка еще купол широкий, тоже искусно выложенный кипарисными изогнутыми дощечками, и он был фиолетовый, и по нем были розы алые и белые с листьями. Из средины же самого купола висел целый фунт квасцов, обернутый в тюль. Это было от дурного глаза. Кипарисовые же были и все столбики вокруг залы, около помоста, на котором учреждена была большая софа по всем стенам. И эти столбики были также фиолетовые, и на них живописцами были изображены обвивающие их вязи из алых и белых роз с листиками.

Такой удивительный зал сделал царь Агон для своей возлюбленной и милой дочери!

И спальня была хороша, и бани. В спальне мастера из дальних стран чудную печку сложили, островерхую, снизу широкую, всю из блестящих зеленых изразцов; в каждом

---

* Турецкое слово: фигура, изображение.

** Жаровня.

изразце было круглое углубление, как бы с полстакана глубиной, тоже зеленое. Ковер в спальне был не аджемский, а проще, из Балканских гор, красный, как киноварь, и по нем все синие и белые узоры. Около печки стелили рабыни каждый вечер один на другой три шолковые тюфяка и накрывали их каждый день чистою тончайшею льняною кисеей с золотою бахромой кругом и шелками по краям расшитою; подушечки клали для Петро и для царевны шолковые, цветные, наволокою тюлевой покрытые. Одеялам же шолковым и бархатным и шолком и золотом расшитым счета не было. Каждый день царевне подавали все чистое, и Петро тоже. Умывались они критским мылом в золотых рукомойниках. Царевне подавали рабыни. А когда Петро хотел мыть себе руки, то царевна наполняла иногда розовою водой, а иногда померанцовою золотой рукомойник и, взяв на плечо разукрашенное полотенце, отгоняла служанок и сама, смиряясь, становилась пред диваном на колена и лила ему воду на руки; а каждую субботу сама хотела мыть ему ноги и грозно кричала на рабов и рабынь: «Отойдите!»

Кормилица ее огорчалась этим, говорила ей тайно:

— Как уж тебе пастушеские ноги его понравились!

Но царевна строго запретила ей говорить это другой раз и обещала мужу сказать, чтоб он изгнал ее из дворца.

— И не тебя, я государя, отца моего, за него отдам! — сказала царевна.

И не знала царевна, как еще показать молодому мужу, до чего она его любит и уважает, и боится.

Шесть недель прожили они так вдвоем; кушали, пили, отдыхали, музыка для них играла, сколько их душе было угодно.

Они часто гуляли вдвоем по саду, взявшись за руки, и говорили друг другу о своей любви.

— Любишь ли ты меня, царевна? — спрашивал ее Петро.

— Разве можно не любить тебя? — говорила ему Жемчужина. — Разве видал кто звезды в полдень или солнце ночью? Что ты спрашиваешь?

И его она спрашивала:

— Чего ты теперь желаешь, Петро? Прикажи.

А он только плечами пожимал и говорил:

— Чего мне теперь желать? Не знаю. Ничего, кажется, я не желаю.

По окончании шести недель Петро вспомнил о своих воспитателях Христо и Христине и подумал: «Теперь я, конечно, могу построить им большой дом, такой дом, в каком живут градоначальники и самые богатые купцы; но если я построю им сейчас такой дом, то кошелек мой перестанет давать золото, и не буду я всемогущим человеком, как теперь. А я прежде узнаю, как они живут...»

Призвал он нарочного гонца и сказал ему так:

— Перемени одежду твою цветную и новую и надень одежды простые и ветхие. Возьми эти десять золотых и поезжай в город, где живут Христо и Христина, и посмотри, что̀ им нужно. Не течет ли крыша у них; не обвалились ли стены, есть ли у них теплая одежда на земнее время; довольно ли у них хлеба, вина и масла. Посмотри и сделай все, что̀ им нужно. И скажи им так: сын ваш Петро нашел себе должность выгодную и послал вам эти деньги; и еще будет вам посылать. Вы старый домик ваш чините, а новый он сам скоро построит. Подождите. Но если ты скажешь им всю правду, что я выкупил царя Агона из осады и на царевне Жемчужине женился, то ты в лютых мученьях умрешь. Как нашел я семь бочек золота, чтобы царю Политекну уплатить дань за моего тестя царя Агона, так я и другие семь найду, чтобы подкупить людей, которые тебя и в чужих странах разыщут и умертвят.

Гонец этот ехал день и ночь, приехал в то место, где жили Христо и Христина, и сказал им:

— Ваш сын Петро нашел себе выгодную должность и прислал вам деньги; вы что̀ нужно купите себе и почините себе стены и крышу, если вам это нужно; и он еще вам пришлет; но сколько бы он вам ни прислал, вы дома нового не стройте, потому что он сам скоро приедет и построит вам большой новый дом.

Христо и Христина радовались и благодарили Бога; но когда они спросили у этого гонца: «А где же теперь наш милый сын Петро живет? В каком городе? чтобы мы знали, далеко ли он от нас и чтобы мы могли иногда написать ему письмо и благословение и поклон наш послать ему?» На это гонец, который боялся Петро, ответил так:

— Я не знаю, где он живет и какая его должность; я его на дороге встретил и познакомился с ним. И какая его должность и у кого, также не знаю.

И уехал от них. Им же этих денег на нужды их скоро недостало, и они стали опять терпеть и нуждаться. С Христиной опять сделалась лихорадка; она лежала, не могла за водой сама на фонтан сходить и пищу готовить не могла.

Христо же, хотя и постарел, но продолжал через силу работать, тяжести большие носить, дрова рубить и сам уже за водой ходил на фонтан и все время сухим хлебом питался.

Петро сказал себе: «Хорошо я придумал так, чтобы посылать им понемногу; они люди бедные и старые; на что̀ им много? они и этому рады будут; а мне здесь всегда деньги нужны. Здесь у меня врагов теперь и завистников будет много; надо об этом скорбеть и заботиться».

Встав раз поутру, он поцеловал в уста жену молодую и сказал ей:

— Жемчужина моя, я поеду к отцу твоему, царю Агону, поклониться.

Царевна отвечала ему ласково:

— Поезжай, мой господин прекрасный... только скорей возвращайся. Царь-отец мой пригласит тебя пировать у себя, а я, бедная, как без тебя целый день здесь буду одна... мне и пища будет без тебя неприятна...

Петро вышел за ворота дворца своего с радостью в душе, что царевна Жемчужина, за которую прекрасные сыновья царей и вельмож сватались, так за него умирает, и когда увидал он реку свою в зеленых берегах и поле

зеленое пред собой, все в пестрых цветочках, и за рекой город, сияющий на солнце, а у ворот своих злого коня, белого и долгогривого, всего в кистях и чепраке, расшитом шелками, и стремена золоченые, столько слуг вокруг увидал молодцов и всадников, под которыми играли лошади... и когда заметил он, что все люди смотрят на него с боязнью и любовью... тогда он занес ногу в стремя, сел на коня и подумал: «Боже! за что̀ Ты так награждаешь меня?.. С кем Ты только не прировнял меня... И чего мне еще желать на этом свете?»

Поехал он к тестю своему, царю Агону. По всему городу народ опять провожал Петро и чествовал его, и кричал: «Вот он, наш избавитель, какой... Посмотрите на красоту его, люди хорошие. Полюбуйтесь... Вот он, зять нашего доброго царя Агона... Вот он, наследник его престола!»

Царь принял его тоже с радостью, обнял его, целовал, сажал, вином поил и смеялся с ним, говоря:

— Вот, Петро, прости меня, я думал тебя шутом при себе сделать, а теперь ты мне наследник и сын... Я рад этому и превознесу тебя еще больше надо всеми... Скажи, чего ты желаешь...

Петро на эту речь отвечал почтительно:

— Государь и отец мой, не говори об услуге, которую удалось рабу твоему сделать. Я всю мою жизнь желаю быть тебе полезным и угодным. У меня еще есть деньги, не прикажешь ли ты мне сделать еще какой-нибудь расход. Прикажи, я готов.

Царь Агон задумался и потом отвечал:

— Много разных нужд в государстве...

Тогда Петро сказал ему:

— Вот кругом столицы твоей множество сел разорено и сожжено царем Политекном. Не прикажешь ли, я выдам деньги на устройку их, чтобы бедным людям не жить зимой в шатрах и пещерах?

Царь Агон удивился и обрадовался.

Петро велел принести множество малых бочонков.

Заперся и наполнил их сам золотом, потом, растворив двери, приказал навьючить мулов и разослал их по всем разрушенным селам.

Царь Агон не верил, и поверил только, когда, взойдя на свою каменную семиэтажную башню, под деревянный зеленый навес, в зрительную трубу увидал, что по двум большим дорогам и по долине к северу и по долине же к югу идут мулы и на каждом по два бочонка с золотом; а по всем горным тропинкам и направо и налево от города с трудом великим один за другим всходят тоже мулы, и у каждого на спине по два бочонка с золотом.

Тогда царь сказал завистникам:

— Видите, вы напрасно говорили мне, что этот Петро ленивый пастух, и только и знает, что гулять с моей дочерью по саду, спать и кушанье царское кушать.

— Подожди еще, царь, что̀ будет дальше! — сказали лукавые люди.

Петро еще одну неделю прожил с царевной, не выходя из загородного ее дворца. Всю неделю они кушали, музыку слушали, веселились, ходили, взявшись за руки, одни по саду и любовались друг на друга.

Царевна спрашивала у Петро:

— Петро, муж мой, апрельский цветочек мой и майский розан, много ли любишь ты меня?

А Петро ей отвечал:

— Апрельский цветочек и майский мой розан, видно, много я тебя люблю, когда я заплатил за тебя семь полных бочек золота.

— А сам чего ты желаешь теперь, Петро мой прекрасный? Хочет чего-нибудь душа твоя?

Петро качал головой и говорил ей:

— Ничего, кажется мне, душа моя уже и не хочет. Все хорошо.

В следующий воскресный день после литургии Петро опять в многоценных одеждах сел на долгогривого коня своего и поехал посетить царя Агона, тестя своего... А за ним и все молодые слуги его.

Царевна, прощаясь и целуя руку его, сказала ему:

— Возвращайся скорее ко мне, звезда моя утренняя!

Так она полюбила его и так смирялась перед ним. Оставаясь же одна, собирала вокруг себя подруг и рабынь своих, и они ей пели все печальные песни, пока не подавали им с башни вести, что Петро едет назад.

Она спешила выйти ему в сад навстречу в другой одежде, а не в той, в которой утром была, чтобы не наскучить ему.

Крестьяне же тех разоренных сел, на которые Петро деньги послал, все тотчас же призвали строителей и каменьщиков и начали строить жилища свои, а всех своих жен и матерей, и детей малолетних, и старух, на работу негодных, прислали в город благодарить и славить царского зятя Петро. Десятки тысяч их пришли прославлять Петро, и город исполнился шума, как от войны или восстания. Сам царь Агон испугался и воскликнул: «Что̀ это такое?», с трудом взошел на высокую башню и, сев под зеленый деревянный навес свой, дивился, какая была большая толпа, слышал прославление Петро и видел в зрительную трубу, как ехал к нему в гости зять на белом долгогривом и злом жеребце, как развевалась на нем величаво красная богатая одежда, как старцы сельские спешили ноги его и стремена целовать; а женщины, простирая руки, поднимали к нему детей своих. Так была густа толпа, что ехать Петро почти не мог вперед. Когда же слуги его хотели бичами и палками разогнать народ, то он сделал знак рукой и запретил им это.

Видел все это царь Агон, и огорчился, и подумал: «Он больше моего на царя похож, и если так терпеть, то меня низвергнут и его вместо меня возведут на престол!» Но скрыл до времени свое огорчение и принял опять зятя любезно, и ласкал, и обнимал его, и благодарил его за помощь, оказанную селам.

Петро же, улыбнувшись, сказал ему:

— Государь и отец мой, эта услуга не велика, и я рад тебе, господину моему, услужить. Нет ли еще какой

нужды в государстве, чтобы мне порадовать тебя, отец мой?

— Мало ли нужд в государстве, — сказал царь Агон с досадой; — сам, если хочешь, найди.

— Не прикажешь ли, государь, собрать всех бедных вдов и сирот людей, павших на последней войне противу царя Политекна, и наградить их так, чтоб они из самых бедных стали самыми богатыми гражданами в городе твоем... Таких вдов и сирот достаточно у тебя.

Не полюбилась и эта мысль царю Агону. Он подумал: «И это все его злоумышления, чтобы народ его как Авессалома любил». Но препятствовать царь этому также не мог, чтобы народ на него не озлобился. Тогда он сказал своему зятю, Петро прекрасному:

— Делай, мой сын, как хочешь!

Петро вышел и послал по городу клич кликать, чтобы сзывали вдов, сирот и стариков и матерей старых, которых мужья, сыновья и отцы во время нашествия царя Политекна были убиты.

Он вышел из ворот своего сада с царевной вместе; там сели они на престолах за воротами и до поздней ночи раздавали золото, он старикам и увечным мужчинам, а царевна вдовам и матерям. Люди эти пришли в рубищах и голодные, и несчастные, а на другой уже день узнать нельзя их было: такие они все стали веселые и нарядные. Старики ободрились, и старухи разукрасились и помолодели. Из самых бедных граждан города стали они самыми богатыми и важными гражданами. Все они говорили открыто: «Что̀ теперь значит царь Агон? Мы Петро прекрасного знаем...» Строго запрещал Петро так говорить людям, но удержать их уже не было возможности. И с первого дня брака в первый раз задумался Петро и стал печален.

— Увы! нельзя, кажется, всего купить деньгами, — сказал он...

Тогда еще раз спросила его царевна Жемчужина:

— Любишь ли ты меня, мой апрельский цветочек и розан мой майский? И чего ты желаешь теперь для себя?

— Я тебя очень люблю, цветок мой апрельский и майский мой розан, но боюсь, что твой отец, царь Агон, разлюбит меня за преданность ко мне народа, и теперь есть у меня одно желание, чтоб он мне верил и опять бы полюбил меня!

Тогда царевна посоветовала ему так:

— Поезжай еще раз к нему и предложи ему денег, но не говори ему сам, на какое дело ты их израсходуешь, а пусть сам он тебе скажет. Тогда ему не на что будет жаловаться.

Послушал Петро этого умного совета и опять поехал к царю.

Царь принял его любезно и весело, обнял его, целовал и, посадив его с собою рядом, спросил, как его здоровье.

Тогда Петро отвечал ему:

— Здоровье мое твоим благословением хорошо. Но мучит меня неотступно мысль о том, доволен ли ты мной? Часто я думаю, на что̀ мне все мое золото и белое серебро, если я милости твои утрачу? Только глупые люди думают, что в одних деньгах счастье... Любви на деньги не купишь. А я нахожу, что твоя любовь дороже всякого золота и белого серебра! — И прибавил еще: — Услади ты душу мою, государь, прикажи ты сам мне, какое бы мне дело сделать и какой расход еще предпринять, чтоб это дело было тебе приятно и чтобы расход этот был тебе выгоден. А сам я больше предлагать ничего не буду.

Царь Агон обрадовался, отпустил Петро и созвал совет свой тайный, чтоб ему посоветовали, что̀ у Петро просить.

Царедворцы же и воеводы царские знали сердце царя и согласились между собой:

— Теперь пришло время нам свергнуть иго этого пастуха и пономаря молодого! Он всем завладел, всеми сердцами; сперва сердцем царя, потом сердцем царевны, а потом и сердцем всего народа.

И сказали царю:

— Если, государь, твой зять так любит тебя, то пусть отмстит за твое унижение и смоет с тебя и народа твоего пятно обиды, которую нанес тебе царь Политекн, победив нас и взяв с нас позорную дань... Пусть Петро снарядит войско на свой счет и пусть сам пойдет на войну эту начальником...

А другой советник сказал:

— И пусть хоть одного из царских сыновей или внучат сюда пленником живого приведет, чтобы стыдно было царю Политекну и чтобы мы могли за одного этого царевича с него уже не семь, а четырнадцать бочек золота требовать...

Царю, который очень стал бояться Петро, совет этот понравился; он надеялся, что Петро будет либо убит на войне, либо, не умея начальствовать, расстроит войско и заслужит себе за это смертную казнь, от которой не спасут его деньги. Он послал за зятем своим и приказал ему снарядить войско большое на свой счет, сроком в две недели всего, взять его и, приняв над ним начальство, перейти горы и напасть внезапно на царя Политекна. Так приказывал царь Агон и, отпуская Петро, сказал ему еще, проливая притворные слезы:

— Берегись, бедный мой сын, у нас закон старый и строгий: военачальник, который не исполнит своего назначения, должен быть удавлен шолковым снурком с золотыми кистями!

Петро поклонился тестю своему и сказал:

— Если, государь, я не исполню моего назначения, боюсь того, что прикажешь удавить меня шолковым снурком с золотыми кистями; только назначь меня не начальствовать, когда есть старше меня, а быть вторым после великого и престарелого архистратига твоего. Он будет первым, а я вторым и во всем я ему повиноваться буду.

Удивился царь мудрости и смирению Петро и приказал, чтобы было так, как всегда, чтоб архистратиг был первым, а Петро бы служил у него и повиновался ему.

XIV

Петро по приказанию тестя своего, царя Агона, собрал скоро войско и вооружил его и выпустил в поход сам, но под начальством врага своего, архистратига царского.

Злобился и мучился архистратиг, что попал в сети, которые хотел разостлать молодому Петро, но уже не мог ничего переменить и вынужден был побеждать, хотя бы и желал поражения, ибо он был человек способный, честолюбивый и мужественный и на свое имя позора и стыда не желал. Целый месяц опустошали они вместе с Петро области царя Политекна и множество добычи и пленников отправили на родину доброму царю Агону, и все не встречали большого войска. Наконец встретили его на широкой долине, и был тут бой великий. Сначала наследник и полководцы грозного царя Политекна начали было одолевать войско доброго царя Агона, но Петро сказал архистратигу:

— Господин и начальник мой, позволь мне, неопытному и юному человеку, тебе совет дать!

Архистратиг отвечал:

— Ты царский зять, как же мне не слушать твоих советов. Говори.

Тогда Петро сказал:

— Дай мне скрыться с отборными молодцами за эту гору, а ты стяни все остальное войско в ущелье, потому что их больше нашего; а когда они за тобой бросятся, я нападу на них внезапно, и мы будем гнать их до самой столицы грозного царя и посечем множество и убьем всех, кроме царских детей и самых молодых и красивых юношей, которых живыми отведем служить нашему доброму царю Агону и веселить его старость.

Архистратиг согласился. И сделал он так, как сказал Петро. Стянули войска, и когда воины грозного царя Политекна в радости с воплями рассеялись по широкой долине, чтобы сечь и рубить отступающих, Петро, помолясь, подал знак своим... Молодцы его полились густым потоком с горы на долину. Как светлый поток лились они,

шумя и звеня, с отлогой горы, ибо они все были в медных латах и шлемах высоких с медными крылышками на них. Так одевались новые полки, снаряженные самим Петро.

Встрепенулось войско грозного царя Политекна, рассеянное погоней по широкой долине, стали люди бежать назад к своим и смыкаться снова в тесный строй... Но уже не могли, так как были рассеяны по долине. Архистратиг же вышел из ущелья и тоже гнал их. И падали иные ниц и просили пощады, а другие притворялись убитыми; иные же не хотели сдаться, и всех их, и бегущих, и упавших, и покорных, и отважных беспощадно рубили и кололи, вздевая бледные головы их на длинные копья, убранные конскою гривой...

Так гнали войско царя Политекна до самых стен столицы и осадили столицу.

Архистратиг доброго царя Агона в это время думал так: «Я хотел погубить этого Петро, а он теперь отличился; ибо я скрыть не могу, что битва на долине чрез его совет выиграна. Что̀ теперь делать? Был он богат несметно; был он красив непомерно; был он любезен царю Агону, стал он любезен народу всему, а царевне Жемчужине сжег сердце любовью и смирил ее гордость и своеволие... Все ему, анафеме, дано... Горе мне, старику, горе мне! Лучше бы ядовитая пуля этих воинов царя Политекна или нож их безжалостно прекратил дни мои и взял бы меня Харон, чем терпеть мне такую досаду! Что̀ мне делать?»

И призвав Петро, он сказал ему:

— Твоя милость, я вижу, великий военачальник будешь. И наше царство много увидит от тебя пользы. Но ты, я знаю, еще и благочестивый человек и живешь в страхе Божием. На что̀ нам губить столько народа и своего и чужого; пошлем вестника в город, чтобы царь Политекн выслал всех своих сыновей, которые при нем, а если их нет, то лучших вельможных детей, под начальством старшего сына и наследника, чтобы числом их всех было двенадцать, а твоя всеславность вышел бы против

них на единоборство с одиннадцатью нашими отроками из лучших домов, и мой сын любимый единственный при тебе первым будет. И какую вам Бог судьбу пошлет, такая и будет; когда вы их побьете, наложим мы на них дань и уйдем, а когда они вас побьют, то, государь мой, из твоих несметных сокровищ заплатим дань грозному царю Политекну, и мы тоже уйдем. Зачем людей томить понапрасну? Город же укреплен очень сильно, и боюсь, не было бы нам стыда под его стенами.

Петро приложил руки к сердцу и сказал:

— С радостью исполню я приказание твое, так как ты начальник всему войску и архистратиг знаменитый доброго царя Агона.

Протрубили пред войском трубачи и кричали людям, на стене стоящим, чтоб укротили стрельбу, и объявили волю архистратига и царского зятя Петро. Царь Политекн согласился смеясь и сказал:

— Мой сын и наследник — воин страшный и сильный; а у них кто там есть? Уж не пастух ли этот, который выручил бедного царя Агона недавно от нашей грозы? Слышали мы и здесь о нем... Придется ему платить еще четырнадцать бочек золота, если пощадит его меч моего старшего сына.

После этого архистратиг призвал тайно сына своего любимого и единственного и сказал ему:

— Дитя мое милое. Вот вам предстоит завтра под начальством Петро, царского зятя, сразиться в смертном единоборстве с одиннадцатью лучшими юношами этого царства. Царевич и все люди у них опытные и мужественные, кроме двоих внучат царя Политекна, которые еще очень юны. Но ты не бойся, дитя мое. Вы выйдете с утра из шатров ваших и оденетесь во все лучшее и вооружитесь; и выберу я вам десять помощников с вечера и назначу их; а ты, дитя мое любимое и единственное, не тревожь напрасным страхом сердце твое, а сделай так, как я тебе скажу. Созови всех десятерых юношей к себе в шатер и угости их и скажи им так: «На что нам на такую опасность

идти?.. Мы выйдем в поле и подойдем вместе с царским зятем к противникам нашим поближе; а потом оставим его одного и убежим в лагерь, как будто испугались. А его убьют».

Но сын архистратига очень любил Петро; жалостью исполнилась так его душа, что вся утроба его задрожала, когда он подумал: «Убьют нашего прекрасного Петро, и головку его враги на копье вденут высоко!» И пошел он к Петро и, упав в ноги ему, сказал:

— Милый мой Петро, розан мой майский и апрельский цветок... Ты для нас всех, молодых отроков в войске, все равно как царь, даже и лучше царя... Поклянись мне великою клятвой, государь мой грозный и товарищ прекрасный наш, что ты не выдашь меня отцу моему, а я о тебе забочусь.

Петро поклялся, и тогда юноша сказал ему все.

Петро подумал и отвечал ему так:

— Поди созови всех этих юношей и вельможных детей на пир в свою ставку и угости их, как бы желая открыть им ту тайну, которую отец тебе доверил, и уговори их; а сам напой их допьяна, чтоб они завтра на рассвете с перепоя были слабы и сонливы и не годны к единоборству... Ты ж делай завтра, как знаешь.

— Я от тебя не отстану, — отвечал сын начальника, — ты для меня почтеннее старшего брата и страшнее царя и милее самой младшей сестры в родительском доме.

— Это хорошо! — сказал ему Петро, и они расстались.

Петро всю ночь молился в ставке своей, а сын архистратига угощал (как велел ему Петро) избранных знатных детей в своей ставке. Они все согласились бежать от врага, смеялись тому, как Петро будет убит, и напились пьяны до того, что утренний звук труб не мог пробудить их.

Когда заря только что занялась, Петро кончил молитву свою, оделся и вооружился. Он не надел наружных медных лат, а надел под парчовую короткую одежду свою крепкую и легкую кольчугу, которой совсем не было видно. На голове его был золотой шлем с золотыми же

крылышками по сторонам. И из-под шлема кудри ниспадали у него до самых широких плеч. Нож бесценный дамасский был за поясом и пистолеты, и маленький нож. Отрок за ним нес копье.

Когда занялась на небе красная заря, заиграли трубы и барабаны и в стане и в станице вражеской.

Петро вышел на средину стана. И все восхищались его красотой и воинственным видом.

Архистратиг же думал: «Боюсь, не перебил бы он всех двенадцать противников!»

Он приказал позвать скорее остальных одиннадцать бойцов, но они были все пьяны, слабы и сонливы и к бою не годны. Один только его любимый сын вышел готовый. Побледнел архистратиг и сказал сыну в гневе:

— Погибнуть тебе сегодня от вражеской руки!.. И бейся на смерть; анафема тому чорному дню и ядовитому часу, в который я родил тебя на свет!

Петро тогда сказал:

— Это не великое несчастие, я выберу лучших воинов простых и одену их в одежды этих знатных юношей, чтобы противники наши приняли их за людей больших.

И собрал десять самых ужасных воинов, таких, что один мог на троих без страха выходить на бой, и одел их, и велел им умыться чище и волосы дорогими мастями умастить, и одел их всех в свои богатейшие одежды; и ни на одного лат не надел снаружи, а всем им надел снизу крепкие кольчуги и сказал:

— Теперь пойдемте, и вы делайте как знаете, когда я начну. А пока стойте.

Сын архистратига пошел вместе с ним. Все бойцы вышли под начальством Петро на поле, между лагерем и городскими стенами; тогда ворота столицы открылись, и вышло оттуда сперва большое войско, чтобы охранять своего царевича, внуков царских и знатных юношей на случай измены. Потом выехали и двенадцать всадников в позлащенных латах и шлемах с голубыми перьями; все на вороных жеребцах. И сошли с коней.

Всех впереди шел наследник царя Политекна, знаменитый боец и полководец. Он был уже не очень молод и имел при себе двоих юных еще безбородых сыновей, ибо братья его, сыновья царя Политекна, были далеко. Он говорил им: «Держитесь ближе ко мне. Я сейчас убью побродягу Петро и вам на помощь приду скоро».

Сперва оба войска молчали, и под стенами, и в лагере, и на стенах народ не кричал ничего.

Но потом из города люди стали кричать, смеяться и говорили:

— Посмотрим, что̀ сделает ваш богатый пастух! Здесь железо ядовитое нужно, сердце в груди, а не бочки с золотом!..

А люди из лагеря отвечали им тоже ругательствами.

И наследник сам был весел сначала, но когда остановился он пред Петро и взглянул на него вблизи, взял его внезапный страх, и он сказал, обращаясь к Петро вежливо:

— Здравствуй... Господин мой и царский зять. Здоров ли ты? Хорошо ли тебе?

А Петро, улыбаясь, отвечал ему вежливо:

— Я здоров и мне хорошо, а скоро и еще лучше будет. А и тебе, господин мой, воину знаменитому, не прилично в крепких латах выходить, когда мы без лат. Ты знаменитый воин и волосы твои побелели уже; а я безбрадый пастушок глупенький... Хорошо ли будет, если мы вас всех в латах да сами без лат победим?..

Смутился старший сын царя Политекна и велел всем своим снять латы; и в смущении своем о кольчугах и не подумал; ибо Петро ему казался очень велик и широк и смел, и в это время трубы трубили и барабаны играли и в лагере и в городе, и он был очень смущен.

Тогда оба вождя крикнули своим:

— Айда! Вперед! — и кинулись в смертный бой.

Не долго бой этот длился.

Внуки царские не хотели от отца отходить, и осталось с их стороны от этого противу одиннадцати врагов только девять человек.

крылышками по сторонам. И из-под шлема кудри ниспадали у него до самых широких плеч. Нож бесценный дамасский был за поясом и пистолеты, и маленький нож. Отрок за ним нес копье.

Когда занялась на небе красная заря, заиграли трубы и барабаны и в стане и в станице вражеской.

Петро вышел на средину стана. И все восхищались его красотой и воинственным видом.

Архистратиг же думал: «Боюсь, не перебил бы он всех двенадцать противников!»

Он приказал позвать скорее остальных одиннадцать бойцов, но они были все пьяны, слабы и сонливы и к бою не годны. Один только его любимый сын вышел готовый. Побледнел архистратиг и сказал сыну в гневе:

— Погибнуть тебе сегодня от вражеской руки!.. И бейся на смерть; анафема тому чорному дню и ядовитому часу, в который я родил тебя на свет!

Петро тогда сказал:

— Это не великое несчастие, я выберу лучших воинов простых и одену их в одежды этих знатных юношей, чтобы противники наши приняли их за людей больших.

И собрал десять самых ужасных воинов, таких, что один мог на троих без страха выходить на бой, и одел их, и велел им умыться чище и волосы дорогими мастями умастить, и одел их всех в свои богатейшие одежды; и ни на одного лат не надел снаружи, а всем им надел снизу крепкие кольчуги и сказал:

— Теперь пойдемте, и вы делайте как знаете, когда я начну. А пока стойте.

Сын архистратига пошел вместе с ним. Все бойцы вышли под начальством Петро на поле, между лагерем и городскими стенами; тогда ворота столицы открылись, и вышло оттуда сперва большое войско, чтобы охранять своего царевича, внуков царских и знатных юношей на случай измены. Потом выехали и двенадцать всадников в позлащенных латах и шлемах с голубыми перьями; все на вороных жеребцах. И сошли с коней.

Всех впереди шел наследник царя Политекна, знаменитый боец и полководец. Он был уже не очень молод и имел при себе двоих юных еще безбородых сыновей, ибо братья его, сыновья царя Политекна, были далеко. Он говорил им: «Держитесь ближе ко мне. Я сейчас убью побродягу Петро и вам на помощь приду скоро».

Сперва оба войска молчали, и под стенами, и в лагере, и на стенах народ не кричал ничего.

Но потом из города люди стали кричать, смеяться и говорили:

— Посмотрим, что̀ сделает ваш богатый пастух! Здесь железо ядовитое нужно, сердце в груди, а не бочки с золотом!..

А люди из лагеря отвечали им тоже ругательствами.

И наследник сам был весел сначала, но когда остановился он пред Петро и взглянул на него вблизи, взял его внезапный страх, и он сказал, обращаясь к Петро вежливо:

— Здравствуй... Господин мой и царский зять. Здоров ли ты? Хорошо ли тебе?

А Петро, улыбаясь, отвечал ему вежливо:

— Я здоров и мне хорошо, а скоро и еще лучше будет. А и тебе, господин мой, воину знаменитому, не прилично в крепких латах выходить, когда мы без лат. Ты знаменитый воин и волосы твои побелели уже; а я безбрадый пастушок глупенький... Хорошо ли будет, если мы вас всех в латах да сами без лат победим?..

Смутился старший сын царя Политекна и велел всем своим снять латы; и в смущении своем о кольчугах и не подумал; ибо Петро ему казался очень велик и широк и смел, и в это время трубы трубили и барабаны играли и в лагере и в городе, и он был очень смущен.

Тогда оба вождя крикнули своим:

— Айда! Вперед! — и кинулись в смертный бой.

Не долго бой этот длился.

Внуки царские не хотели от отца отходить, и осталось с их стороны от этого противу одиннадцати врагов только девять человек.

Один вельможеский сын был сразу убит копьем в глаз, и копье в затылок ему вышло насквозь.

Другой ранил копьем и ножом двоих воинов царя Агона, и они упали; но один из раненых, падая, вынул из-за пояса пистолет и выстрелил, и попала одна пуля другому вельможескому сыну в грудь; и вынул этот воин другой пистолет и выстрелил, и та пуля попала ему прямо в рот. Кровью наполнился рот его, и он только успел вскрикнуть:

— Маменька моя! Маменька милая! — и умер.

Тогда все остальные семь сынов вельможеских побежали к своим; а страшные воины доброго царя Агона погнались за ними и хотели всех их убить; но народ со стен стал кричать:

— Оставьте, оставьте, не бейте у нас всех княжеских детей... Мы за них выкуп дадим!..

Остановились люди царя Агона; а княжеские дети вскинулись на коней и ускакали в город.

В это самое время Петро и старший сын царя Политекна сломали оба копья и вынули мечи и хотели биться мечами; но Петро сказал:

— Брось меч, государь мой, и я брошу мой и поборемся просто руками. Кто кого поборет, тот сделает тому, что̀ хочет!

Сказал же он потому, что опасался искусства и опытности противника своего на мечах.

Они оба бросили мечи и стали бороться, и ощупал руками кольчугу сын царя Политекна под платьем Петро и сказал:

— Ты, пастух подлый, обманул меня...

И закричал сыновьям своим:

— Бейте, дети, его сзади сильнее, в самые почки...

Тогда вырвавшись, нагнулся взять опять нож свой с земли, но Петро стиснул ему грудь так сильно, что у того выступила кровь в рот... Он захрипел и упал.

Петро оставил его и вдруг обратился на юных детей его...

— А вы, мои деточки, что̀ пришли сюда? — и сбил с них разом руками золотые шлемики их; тогда чорные кудри их рассыпались у них ниже плеч, а Петро схватил их обоих за волосы и потащил к своему лагерю, смеясь, и отдал их своим воинам.

После этого Петро возвратился в лагерь, а люди царя Политекна понесли в город наследника, который был как полумертвый от ушиба.

Сзади Петро воины царя Агона несли своих убитых и, впереди других, тело молодого его друга, архистратигова сына, которого проклял в гневе отец. Его, когда побежали княжеские дети от воинов царя Агона, застрелил один из них, обернувшись.

Возвратившись в лагерь, Петро стал посреди и сказал воинам так:

— Воины доброго царя Агона! меня тесть мой и государь хотел назначить воеводой над всеми вами, но я, смиряясь в неопытности моей, опасался нанести вред народу и подчинился начальству архистратига. Однако и под его начальством Бог помог мне в долине той, которую вы знаете, победить войско грозного царя Политекна и осадить столицу его. Теперь узнайте же коварство и злобу вашего архистратига. Вот что он замыслил противу меня вчера.

И Петро рассказал все как было: и как уберегся он от козней архистратига, и как друг его молодой выдал отца, который и царю своему и всему народу хотел погибели, лишь бы зависть и злобу свою противу Петро насытить.

И сказал еще Петро:

— Теперь судите нас с ним сами. А я, по возвращении домой, каждому из вас по небольшому бочонку золота дам!

Как только он это сказал, воины бросились на старого начальника своего и искололи его копьями, и мечами рубили, и хотели отрезать ему голову, и как вражескую вздеть на копье, но Петро запретил это поругание, приказал убрать тело и везти его домой, чтобы похоронить вместе с телом сына его, с почетом и пышностью.

Потом, когда вечером царь Политекн прислал просить мира и повезли уже из города четырнадцать бочек золота, Петро возвратил эти бочки назад и велел тайно сказать царю Политекну: «Грозный и справедливейший царь из всех царей, Петро, зять царя Агона, низко кланяется тебе и говорит вот что̀: чего другого, а золота у него так много, что он и тебе еще своих может подарить много бочек. Поэтому он твоих не желает, а просит тебя помнить только, что сына твоего и наследника он не убил, а только ушиб, и внучат твоих милых тебе невредимыми возвращает; он мог бы их пешком у стремян своих заставить как пленных идти, когда будет в столицу царя Агона с торжеством въезжать. Но, уважая тебя, он этого сделать не может. У Петро, при тесте его, много врагов и завистников, и за все, что̀ он уступает тебе, просит он одного лишь: если придется ему бежать в несчастии от царя Агона или о помощи какой-нибудь просить тебя, помоги ему и прими его, как союзника и верного друга!» Царь Политекн со скрежетом зубов принял тайного посла от Петро и показал вид, что радуется уступкам его и союзу, и все обещал исполнить. Но по уходе посла сказал своим:

— Мерзкий простолюдин этот и пономарь счастливый унизил нас, и теперь дарит и ласкает! Не прощу я ему этого и не забуду, что он и в единоборстве сына моего обманул, надев кольчугу! Мне дары и благодеяния его мерзки!

И царедворцы согласились, говоря:

— Когда бы там, у царя Агона прогнали или убили его! И тебе бы, государь, об этом постараться при случае.

Петро же, полагая, что он теперь всех хитрее, и счастливее, и сильнее, с торжеством возвратился домой. За войском везли тела ненавистного ему архистратига и милого друга его, архистратигова сына, который из любви к нему отца своего ему предал.

По возвращении войска с войны, когда добрый царь Агон узнал о победах и подвигах прекрасного Петро и о жестокой и позорной смерти любимого архистратига свое-

го, он испугался, скрыл в сердце печаль свою и со вздохом сказал:

— Теперь мы все в его власти!

Он после этого смирился совсем пред зятем и не обнаруживал ему более ни зависти, ни вражды.

Царедворцы же его, которые были Петро враги, говорили между собою:

— Нам и убить его теперь неудобно; как бы нас не растерзал народ. Все бедные люди от него золота ждут! А теперь, после великих подвигов своих на войне, он еще больше распухнет и превознесется!

А Петро, между тем, смеялся и, успокоившись в гордости своей, думал так: «Никогда я не поколеблюсь уже более! У меня теперь все есть и я все умею делать!»

Он предался после этого спокойствию и неге с молодою женой; они всячески старались увеселять друг друга, и Петро отдавал ей всю свою душу.

Царевна же Жемчужина скорее пресытилась им и думала про себя: «Чем бы мне еще утешиться?» И придумав, ласкала Петро и говорила ему умилительно:

— Господин мой, Петро! Что я тебе скажу... Позволишь?..

А Петро отвечал ей:

— Зачем тебе, царской дочери и возлюбленной моей супруге, благоуханнее и милее которой я не видывал девицы, зачем тебе говорить мне так: господин мой!.. Ты мне госпожа и очи главы моей!

— Все-таки ты мне муж, и я должна почитать тебя, — сказала царевна.

— Говори, что̀ ты желаешь! — приказывал ей тогда Петро.

— Есть у меня подруга, тоже царская дочь; она прежде ко мне в гости приезжала вот как: сама на белом большом муле разубранном, из дальнего Египта его купили. А за ней двадцать пять подруг и служанок на чорных больших мулах, и двадцать пять евнухов чорных, и двадцать пять евнухов белых, и 200 человек отборного войска

с копьями; только без музыки она ехала. А я хочу теперь съездить к ней и погордиться пред нею, что я гораздо лучше ее. Прикажи, чтобы для всех подруг и служанок моих из Египта белых мулов и ослов больших привезли, и чтобы евнухов было около меня пятьдесят чорных и пятьдесят белых, и войска чтобы было еще больше, и чтобы всю дорогу, как я поеду, играла предо мной музыка.

— Хорошо, — сказал Петро.

И тотчас же снарядил корабли в Египет, чтобы везли скорее белых ослов и мулов и войско изготовили бы все в роскошном одеянии.

Когда привезли белых ослов и мулов и все было готово к путешествию царевны, кормилица ее, которая ненавидела Петро, сказала ей:

— Что ты радуешься и гордишься. Ты бы попросила мужа, чтоб он велел всех мулов и ослов этих серебром чистым подковать слабо, чтобы, как в город будешь въезжать к подруге своей, так подковы бы эти падали и народ бы подбирал их. Посмотри, он тебе откажет в таком великолепии!

Сердце царевны раздражилось; она пошла к мужу и сказала ему так, как говорила кормилица, и прибавила:

— Я тебя царским сыновьям предпочла и всячески пред тобою смиряюсь, поэтому и ты должен уважать меня!..

— Я уважаю тебя! — отвечал Петро. И приказал, смеясь, подковать не серебром, а чистым золотом, и не только тех белых ослов и мулов, на которых царевна и другие женщины должны были ехать, но и всех коней под евнухов и под войско.

Царевна поехала к подруге своей, превознесенная от гордости и от радости, и в той стране все изумлялись и завидовали ей. Народ бежал за ней по улице и подбирал золотые подковы.

Возвратившись домой, царевна начала опять думать, что̀ бы еще удивительное достать или сделать.

И каждый день придумывала, а Петро, хотя и занят был ум его царскими делами и ежеминутною опасностью

от врагов и завистников и даже от самого доброго царя Агона, которому он не верил, однако он старался исполнять все ее пожелания, даже и самые пустые. Часто он думал так: «Никому я верить не буду; только Жемчужине, жене моей». И всю душу отдавал ей, однако и ей не открывал, откуда у него столько денег и где он достает.

Один день увидала царевна в лиловое стекло окошечка, что луна в это стекло не жолтая, а как бы розовая, и ужасно обрадовалась и приказала: «Чтобы все стекла были в зале лиловые! Пусть у нас и луна будет не такая, как у других, у простых людей!»

В один день переменили все стекла. А на другой день она взяла сама трость и начала бить их сама, и служанки ее бегали за ней и тоже били все лиловые стекла.

Услыхал Петро звон этот и шум и спросил:

— Зачем вы бьете стекла?

Царевна же подбежала к нему и воскликнула:

— Радость моя... Я так испугалась, чтобы ты не разлюбил меня... Даже дурно мне сделалось... Очень бледное, точно у мертвого человека сделалось мое лицо от этих стекол. Румянца не видно. На что ж мне розовая луна, когда я от этого буду дурная? Пусть лучше она уж будет и у нас жолтая, как у всех людей...

Петро смеялся и ничего ей не сказал; а себе сказал так: «Очень жена моя любопытна и весело с ней. Я такой не видывал!»

Потом царевна хотела таких плодов купить, какие в царстве их не росли, а надо было два-три месяца из-за моря везти. Потом говорила:

— Умираю я теперь, до того мне хочется видеть, какие у обезьян дети бывают и как они сами за ними смотрят.

Обезьян в царстве их не бывало; а до Египта было далеко. Потом говорила:

— Хочу я снега летом, а зимой хочу всяких плодов, таких, какие зимой не бывают...

Снаряжал Петро дорогою ценой корабли за этими плодами плыть; корабли потонули; снарядил другие, еще до-

роже. Привезли плоды. Но царевна не стала их есть и сказала:

— Так долго ехали! Теперь пусть их поросята едят!

Послал Петро нарочных людей за разными редкими обезьянами. Людей нарочных там, где были эти обезьяны, людоеды поймали и съели, и они не вернулись. Послал Петро побольше людей к самому царю в Египет просить обезьян. Множество денег истрачено было, и обезьян достали, и некоторые из них, самые нежные и редкие, издохли в пути. А которых привезли, те царевне не понравились, и она сказала.

— Надоели мне эти обезьяны. Что̀ в них?

И не стала заниматься ими.

Потом, когда она начала жаловаться, что муж не может учредить все так, чтобы зимой все цветы цвели, какие зимой не бывают, а летом чтобы снег падал, Петро уже оскорбился немного и сказал:

— Довольно с тебя, Жемчужина, и деньги воздуха не переменят.

Этот ответ огорчил царевну, и она тайно жаловалась кормилице своей, говоря:

— Что̀ ж деньги могут? Не в тот самый день привезли мне плоды, а чрез многие месяцы! И обезьяны лучшие подохли в дороге, и воздух переменить муж мой не может!

Кормилица радовалась ее огорчению и говорила:

— Много больше сделать может муж твой с такими деньгами, но не хочет. Деньги все могут, но ты не властна над сердцем его. Испытай его еще в чем-нибудь.

Царевна думала долго и призвала к себе всех строителей и художников, и мастеров лучших, какие были в царстве доброго царя Агона, и выписала еще нескольких из соседних царств и сказала им:

— Мне надоел этот дворец мой. Он и мал и обыкновенный. А я хочу такой дворец, какого ни у кого еще не было!

Долго думали все художники и мастера, порознь каждый и все вместе, совещаясь. И все, что̀ придумывали, говорили царевне; а она отвечала им:

— Что̀ тут дивного! А вы помните, что муж мой, когда захочет, все может! Так у него денег много!..

Наконец один иноземный зодчий сказал царевне:

— Я, царевна и госпожа моя благая, придумал нечто такое, что̀ понравится, быть может, твоему величию и будет тебя достойно. Мы сделаем куполы огромные, больше, чем на Св. Софии, а кругом под ними сделаем много окошек!

— Сделай тысячу окошек, — сказала царевна.

— Нет, — отвечал зодчий, — тысячу я не сделаю, а сделаю я девятьсот девяносто девять, потому что это будет важнее и ты больше прославишься. На каком ты языке ни скажи: «тысяча», все будет слово малое и ничтожное; а на всех языках «девятьсот девяносто девять» будет важнее. Скажи ты по-эллински тысяча — *хилиа*! Не важно. А скажи ты: *Эниакосиа энеинда энэа*. Великая разница! Скажи ты по-агарянски тысяча — *бин*! Еще ничтожнее, чем по-эллински; а скажи ты по-агарянски же: *токуз юз токусен токус*! то гораздо славнее будет и твоему величию сообразнее.

Царевна отвечала ему на это:

— Мне нравится, мастер, то, что̀ ты говоришь!

Зодчий продолжал:

— И еще я скажу тебе, государыня моя, слышал я, прости мне, будто твоя милость скучаешь иногда — зачем зимою не лето, и летом зачем не зима. Хорошо делаешь ты, что недовольна этим, потому что у супруга твоего богатство несметное; и хотя воздух точно что переменить деньгами нельзя, но есть зато у людей искусство и разум. Я сделаю тебе во дворце твоем две огромные залы. Одна будет зима, а другая будет лето. Летом ты можешь, когда эти храмины будут готовы, сидеть в той, которая будет изображать зиму, а зимой утешаться, сидя в той, которая будет изображать лето.

Царевна восхитилась и спросила:

— А как ты их сделаешь?

— Зиму, — отвечал художник, — я изображу так. Из лучшего белого мрамора, который местами как снег блестит, я сделаю тебе великий киоск круговидный; пото-

лок киоска будет под великим куполом образован и тончайшим изваянием весь покрыт. И будешь ты думать, что потолок этот не мраморный, а тончайшей деревянной резьбы, покрывшейся нежным инеем. Окружен киоск будет решеткою узорной необычайного великолепия, и тонкие изукрашенные ваянием столбики (все по два, по два на приличных расстояниях) будут также изображать столбики деревянные, резные, как будто покрытые инеем. И из лучшего белого хрусталя изображу я натеки ледяные, неравномерные по краям крыши киоска. А диван вокруг из белого атласа с серебряным шитьем; все будет в храмине белое; пол киоска будет только один цветной, и будет он такой, как будто ты приказала постелить для тепла царских ног своих красный ковер с небольшими фигурками. А в самом деле ковер этот будет холодить, а не греть, ибо он будет мозаичный и красное поле его будет из кораллов составлено. На стенах за решеткой и столбиками киоска закажу я лучшим живописцам изобразить сосны и кедры зеленые и такие деревья, которые зимой листья теряют, и речки замерзшие, и домики дальние... И все в тумане и в снегу, и в ледяных сияющих радугой кристаллах, и в узорном инее... И еще пропущу я откуда-нибудь свет на все не сквозь простые, а сквозь алые стекла, чтобы думала ты, что видишь пред собою сладкий свет алой зари печального вечернего часа... В такой-то храмине ты будешь летом прохладой и размышлением заниматься.

Царевна еще более прежнего восхитилась и, всплеснув руками, воскликнула:

— Живи, живи, мастер мой дорогой! И будь ты вечно здоров и достигни ты глубокой старости... Как ты мое сердце обрадовал! Говори, говори скорей о другой храмине, о той, которой лето изобразишь и в которой я лютою зимой буду греться и веселиться, когда другие люди будут дрожать...

Мастер продолжал:

— В этой второй храмине многое подобно первой. А многое вовсе иное и несходное. И в ней будет обшир-

ный и отлогий купол, подобный куполу Св. Софии, и в ней будет под куполом не тысяча, а девятьсот девяносто девять окон, все из круговидных стекол. Внутри также будет киоск; до сих пор сходство их, этих двух великих твоих храмин. Далее же настает черед различию. У киоска второй храмины крыши, с самим куполом сливающейся, не будет, а будет наверху лишь великий круглый венец из колосьев, злаков и диких цветов, в поле растущих; вязь великую круглую они образуют; возложен будет венец этот на высокие столбы круговидного киоска, на столбы, попарно все стоящие, и промежутки от пары до пары должны быть приличные. Столбы эти изобразят тоже как бы снопы на снопы поставленные, снопы из пшеницы и маиса, и ячменя, и из других злаков с травами и цветами. И такая же будет решетка круговая вокруг всей этой храмины. И венец наверху, и столбы, и решетка будут либо из серебра золоченые, или из чистого золота. Это уже твой выбор и твой расход, государыня. Цветы будут из разноцветных дорогих каменьев; мак полевой, красный, в пшенице распускающийся, будет из лучших кораллов; а зерна маиса — из настоящего жемчуга. Диван сама изберешь какой тебе угодно — драгоценный златотканый или иной, сообразно с местом. Это твой выбор, государыня. Но в промежутках между столбами золотыми я прикажу лучшим художникам мозаическою тончайшею работой изобразить пригорки, и виноградники, и ручьи; жнецов молодых и девушек у фонтанов, и ловцов, зверей травящих, и виноградарей, виноград собирающих, и сады, и леса, и жилища людские. На полу, если желаешь, расстелешь особый, невиданный никем и удивительный ковер, который ты в Азии заказать можешь, чтоб он был и зелен и многоцветен, как прекрасные летние дни; я же знаю свое дело и сделаю пол мозаичный тоже зеленый и многоцветный, летнему лугу совершенно подобный. Купол обширный, над киоском сверху отверстым, я весь сделаю мозаичный, голубой с небольшими облаками; а по небесной лазури будут лететь туда и сюда крылатые прекрасные херувимы с мла-

денческою улыбкой, радуясь на благорастворение воздуха и на обилие плодов земных. И если желаешь ты, чтобы богатство было неслыханное, то всю небесную лазурь мозаики я в куполе из многоцветной бирюзы сделаю... Это уж твой выбор, государыня, и твоего супруга расход... Согревать эту храмину самою лютою зимой будет не трудно; можно, если желаешь, и снизу незримо ее согревать наподобие бани... Можно и иное средство найти...

— А еще что̀? — спросила царевна.

— Еще, государыня, вот что̀. Эти две храмины, снаружи восьмиугольные, соединены будут длинным обиталищем. И будет в этом обиталище множество удобств и покоев отдельных; но об этом мы после рассудим. А пока я скажу тебе только, какие будут у тебя трапезы и сколько их будет. И это будет не без мысли и мудрости. Прошу я тебя, государыня, скажи мне: сколько в неделе дней? Не семь ли?

— Конечно, семь, — сказала царевна.

— А сколько, царевна, цветов в радуге?

Царевна затруднялась, и мастер сказал ей, что тоже семь, назвал их все и еще спросил: «А сколько у тебя самой, государыня, даров прекрасных есть?..»

Царевна покраснела и спросила:

— Это что за разговор? Почем я знаю мои дары! И что̀ тебе до того! Это не постройка!

Но мастер, поклонившись ей в землю, просил позволить сказать ей, сколько у нее даров, и она соизволила.

— И даров у тебя семь, — сказал он ей тогда. — Красота телесная знаменитая, разум, милосердие, приятность, царский род высокий, любовь супружеская и целомудрие. И вот я сделаю семь трапез зимних, солнечных и веселых, на полдень окнами, и семь летних трапез, бессолнечных и прохладных. Будут они раскрашены и убраны по цветам радуги, и будешь ты кушать с супругом чередом в разных; в воскресный день в красной, а в субботу в фиолетовой, в последней. И это еще не все...

Царевна, слушая его, стала как бы исступленная от удовольствия.

Мастер же продолжал, улыбаясь ей и радуясь тоже, как он прославится и обогатится этою постройкой.

— Сказал я, что обе восьмигранные великие храмины будут соединены длинным домом жилым и более низменным, чем эти две храмины. Сказал я еще, что будут на обеих великих храминах обширные куполы, но я не сказал, что куполы эти будут снаружи золочены и что они будут снизу окружены двумя венцами круглых главок, шаровидных, таких, какими в великой Индийской стране капища украшают зодчие; первый венец, нижний, будет казаться крупнее, а второй, верхний, мельче; потребуется же их, глав этих, множество... Наверху купола будет тоже соразмерная небольшая подобная же главка; так будет на обеих храминах... А жилой дом, соединяющий их, кровли иметь не будет, а широкую террасу для прогулки, и по обеим сторонам террасы, во всю длину одной ограды ее и всю длину другой, будет идти от храмины ко храмине ряд таких же индийских глав шаровидных. Все эти главы и на куполах, и вокруг их, и по сторонам террасы будут по твоему выбору, государыня, либо тоже золочены, либо, еще лучше, покрыты многоцветною глазурью наподобие изразцов или фарфора. Вот что̀ я задумал, моя государыня. А что̀ нужно будет еще, тогда увидим и скажем...

И художник, снова поклонившись царевне в землю, ушел.

Царевна не знала после этого, что̀ ей делать; она боялась даже мужу все это изобразить и рассказать, как бы не отказал он ей. И так она обезумела от пристрастия к знаменитому дворцу этому, что спать по ночам не могла и пищу есть перестала. И беспрестанно говорила кормилице:

— Умру я с горя, если он мне в этом откажет! Теперь я этот дом, который отец мне построил, не могу видеть. Он мне кажется самым простым жилищем!

Кормилица все раздражала ее, отвечая:

— Я тоже думаю, что муж твой откажет в этом тебе. Он скуп.

И царевна опять не знала, что̀ делать.

В то время, когда царевна Жемчужина задумала строить новый дворец, Петро был очень занят делами и не замечал беспокойства жены. Люди царя Политекна тайно подкупили людей царя Агона противу Петро на те самые четырнадцать бочек золота, которые он подарил царю Политекну, и Петро еще не мог понять, откуда идет зло и откуда идут ему во всех делах препоны и труд. Еще он был огорчен и смущен тем, что те самые поселяне, которым он роздал после войны столько денег на поправку жилищ, не хотели уже работать, и поля их оставались невспаханными, и податей они не платили, и хлеб надо было в чужих странах покупать. Из тех воинов также, которые убили врага его архистратига старого и которым всем по бочонку золота роздал, многие хотели разойтись по домам на отдых и убегали, и сотникам не повиновались, и пьянствовали, и увидел он, какова неблагодарность и гнусность народа, который он осыпал щедротами! Его огорчило это и прогневало, и должен он был с сокрушенным сердцем сперва из воинов многих наказывать и казнить, а потом на села с войском идти и селян угрозами и побоями принуждать к соблюдению порядка. Когда одному сельскому человеку воины заключили в колодки ноги, чтобы бить по ним тростями, человек этот закричал: «Петро, Петро прекрасный! Сам ты человек простой, а простых не жалеешь ты!» И сердцу Петро это слышать было горько, хотя он все-таки приказал наказать этого человека.

Даже во дворце, том самом, в котором он жил с царевной, поймал один верный раб его человека, который хотел умертвить Петро, и этого человека пытали и денег ему предлагали, но он сам не мог сказать, кто такой его подкупил, а говорил только: «люди!» Его повесили на дереве. Было же это все от царя Политекна и от его сына, знаменитого воителя, которых Петро унизил и обманул, надев кольчугу.

После этого стало ему невесело и в самом дворце у царевны Жемчужины, потому что он этою кольчугой стал

себя ежедневно обременять под одеждой, остерегаясь ножа, и когда он за обед с женою садился, то три особо для этого назначенных человека должны были приходить и каждого кушанья есть при нем по нескольку ложек, чтобы не отравили его.

Видев его заботу и смущение, царевна, жена его, не осмеливалась долго сказать ему о задуманном ею великом здании, и только все на стены и потолок старого дворца смотрела, а когда муж спрашивал: «Что̀ ты смотришь на стены и потолок?», царевна ответила: «Потолок этот очень низок для царского жилища, и все эти изразцы и розы мне наскучили!» Но Петро ответил ей: «А мне нравится все это!» И она после этого молчала.

Наконец сказала она ему:

— Ты мой майский розан и апрельский цветок, или не видишь, что жена твоя бедная и не спит, и не есть?

И открыла ему, ласкаясь, свой замысел, прося выслушать художника самому.

Наскучили давно уже Петро все эти замыслы, и сказал он ей опять:

— Довольно с тебя, моя Жемчужина. Полно тебе все нового желать. И так хорошо. Мои руки устали уже насыпать в бочки золото для твоих утех. Я целые дни чрез тебя в подвалах провожу.

Но царевна ему:

— Ты бы только выслушал этого мастера! Когда услышишь речь его, сам пленишься.

Велел позвать мастера Петро и принял его благосклонно; слушал долго и потом сказал:

— Хорошо здание будет! А сколько времени на него нужно тебе?

— Три дня? — спросила царевна.

Художник сказал:

— Три года, с величайшею трудностью.

— А на что̀ ж деньги наши! — воскликнула царевна.

Зодчий разъяснил ей, что никакими деньгами нельзя создать иных вещей внезапно; что бирюзу и кораллы для

мозаик бесценных и жемчуга для колосьев маиса в зимней храмине надо издалека привозить, и рабочих людей и мастеров по разным странам собирать, и время тоже хоть и сокращается деньгами, однако, не совсем.

Петро в утешение жене сказал смеясь:

— Я бы, милая моя, из тех семи трапез, которые мастер хочет тебе учредить, одну исключил, — это трапезу твоей *разумности*... Или ты не понимаешь, что тебе же приятнее будет не спеша заниматься созданием такого прекрасного дворца? А скоро построишь — и в нем, быть может, соскучишься...

Царевна Жемчужина отвечала:

— Ну, хорошо! Это правда, что ты гораздо меня разумнее. — И успокоилась немного.

Петро же находил все это лишним; к тому же нередко и вера слабела в нем, что кошелек неистощим, пока Христо и Христине дом не готов; он не без страха всякий раз спускался в подвал и раскрывал кошелек над бочками, думая: «Может быть, сегодня уже ничего не посыплется из него! И я, исполняя волю жены моей, лишу себя после всего!..»

День ото дня он этого стал больше и больше бояться, и не греха того боялся, что он воспитателей своих забывает на дальней чужбине и в нищете, а боялся одного, чтобы кошелек не иссяк.

В этих опасениях еще больше стала наскучать ему царевна Жемчужина своими просьбами; ибо только что он наполнял сотни бочек золотом на тот случай, что завтра кошелек иссякнет, как государство, и жена, и другие люди требовали новых больших расходов, бочки пустели, и опять он исполнялся страха, и опять шел сыпать в подвал, говоря: «Не иссяк бы кошелек завтра! Кто знает!»

Поэтому, призвав тайно от царевны знаменитого зодчего, он сказал ему:

— Ты можешь ли мне зарок дать, что кончишь все здание в три года?

Зодчий сказал:

— Могу постараться, государь, когда твоя милость золота жалеть не будешь.

— Я не буду жалеть, — сказал Петро, — но если ты день опоздаешь, я тебя казню. Но и до тех пор, пока ты не кончишь, я тебя здесь под стражей содержать буду, чтобы ты никуда уйти не мог и скрыться от боязни моего гнева, если увидишь, что окончанием запоздал!

Художник ужаснулся и в ту же ночь тайно бежал из царства царя Агона.

Петро этого самого и желал и смеялся.

Но царевна Жемчужина, которой великий и прекрасный дворец ее не давал ни сна, ни покоя, горько рыдала и рвала свои волосы, жалея об этом, не смотрела на прекрасного мужа и, затворяясь одна в своей комнате, никого не хотела видеть.

Петро смутился, пожалел ее, пришел к ней и сказал ей:

— Неужели, Жемчужина, я, молодой муж твой, уже тебе не утеха?

Но царевна, отстраняясь от него, отвечала ему, горько плача:

— Жизнь бы я отдала за такой прекрасный дворец!

На это Петро сказал ей ласково:

— Подожди еще хоть немного. Есть вещи нужнее такого дворца. От него никому, кроме нас с тобою, удовольствия не будет. Я еще хочу по всем городам мостовые поделать и на речках множество мостов, чтобы нас народ больше любил, потому что тогда сельским людям в непогоду легче будет овощи и хлеб на вьючных ослах в город привозить. Ослы падают теперь, тонут и не могут идти, и в городе все дороже. Это полезно. А я не могу в подвале все жить. Надо прежде эти бочки, сколько есть теперь, на полезное для народа опростать. Что̀ ты скажешь, мой апрельский цветок?.. Не лучше ли мостовые и мосты кончить прежде?

Царевна в гневе отвечала ему неразумно. Она отвечала ему так:

— Что̀ я тебе скажу, ты спрашиваешь? Я скажу тебе одно только любопытное слово, которое мне моя кормили-

ца говорила, когда я еще мала была. Она сказала мне: «Шли два мальчика мимо прекрасного дерева. И один мальчик сказал: „Какое хорошее дерево! Я бы его срубил на дрова и на уголья!" А другой мальчик сказал: „Какое хорошее дерево! Я бы под тенью его сидел и музыку слушал!" Слышал их один мудрый и опытный старец; этот старец воскликнул: „Первый мальчик простой, а второй мальчик высокого рода и *голубой* крови дитя". И было это так, как сказал старик». Вот что̀ я тебе отвечу о твоих мостах и дорогах!

Петро сильно оскорбился ее словами, но, преодолев гнев свой, отвечал ей, помолчав и пожирая сам себя в терпении своем:

— Много хороших слов твоя кормилица знает. Правда, я человек простой и о простом размышляю. Только в простоте моей я народ твоего отца, государя нашего, от жестокого побоища избавил и самого царя от плена и ослепления глаз его; и ты бы, если бы не я, теперь бы воду у царя Политекна, может быть, носила и мыла ноги старшему сыну его и старшей невестке и за счастье бы считала, если бы тебя худшему поруганию не предали там!

После этих слов он ушел от нее и так был огорчен, что утратил сон и на рассвете в беспокойстве и горести вышел за ворота своего дворца, строго запретил кому-либо из слуг и сторожей за собою следовать и, отошедши подальше, в пустынное место у реки, сел и предался там своей тоске и размышлению. Он говорил себе так: «Все мне сильные люди здесь стали врагами и завистниками; а народ простой хуже непотребной женщины продажен, я вижу, и глуп как дитя. Все дела мне здесь тяжки и опасны. Я бы ушел, но куда я пойду? Пойду я к царю Политекну — разве я там сильнее и больше буду? Нет, я там буду много меньше, чем здесь. Пойду я домой к Христо и Христине и построю им дом большой и поле куплю... Но мне не весело уж теперь будет у них, испытав здесь все лучшее. У них из царского зятя и престолонаследника я купцом стану, из полководца земледельцем и вместо жены

моей, несравненной Жемчужины, которой красивее и приятнее, забавнее и благоуханнее и веселее нет на свете и которая царская дочь, а мне ноги мои моет, вместо нее возьму я там какую-нибудь простую соседку нашу! Жемчужина к тому же и законная супруга, Богом мне данная. Как мне оставить ее одну? Еще скажу, и страсть моя к ней так велика, что мне легче сейчас на смертельный бой с пятью царями и войском их выйти, чем ее огорчить и ей поперечить... Но и деньги все издерживать страшно мне! Если завтра как-нибудь вдруг кошелек иссякнет... боюсь я!..»

Он мучился нестерпимо волнением этих мыслей, и борьба сердца его была самая тяжкая, покуда он сидел в уединении на берегу реки.

XV

В то время, когда Петро в печали своей, размышляя в сокрушенном сердце, сидел один у реки, внезапно явился пред ним один юродивый, давно живший в городе, по прозванию *Синдонит*,* потому что он, кроме старой простыни, никакой одежды не носил ни летом, ни зимой.

Юродивый Синдонит был ростом очень мал, на спине имел горб, грудь у него была острая, как у птицы, голова велика непомерно и без волос, борода клинообразная, вперед стоящая, и тело не было у него, как у других людей, белее лица и рук, но все чорное, обожженное солнцем и сухое, изможденное постом.

Многие считали в городе Синдонита святым, а другие — лицемером и безумным. Ни золота, ни серебра он не брал никогда от людей, а только медь, и часто и вовсе нагой ходил, потому что другим нищим отдавал свою простыню и ходил безо всего, пока ему другой не дарили. И эту опять отдавал. Иные, не веря в святость его, отвра-

* *Синдон* — по-гречески *простыня*.

щались и брезгали его наготою и безобразием, и жаловались царю Агону. Царь Агон приказывал страже везде смотреть за Синдонитом, чтоб он впредь без простыни не ходил. Но Синдонит, узнав это, издали перед стражей надевал простыню и проходил мимо, а потом, сняв ее, брал под мышку; простые люди и дети на базаре смеялись этому, радовались и говорили: «Хитрый юродивый!»

Однажды, еще прежде того дня, как поссорился Петро с женою Жемчужиной, вышла из ворот царевна с подругами своими и кормилицей и слугами погулять под платаны и вязы; и Синдонит пришел туда. Царевна, увидав его, приказала детям городским и молодым слугам дворцовым смеяться над ним, искупать его насильно в реке, гонять его туда и сюда и прыгать на его горб. Когда же один большой слуга вспрыгнул на его горб, Синдонит упал и ушибся.

Петро, в это время возвращаясь из города домой, увидал это и велел его отпустить домой, дал ему медных денег и беседовал с ним ласково, а Жемчужине сказал после, когда она была одна:

— Милая моя, прошу я тебя, никогда не обижай таких Божиих людей. Лучше другого человека убить, если необходимо, чем такого святого обидеть.

И царевна просила его простить ей, ибо тогда она только одного и желала: нравиться молодому и прекрасному мужу своему и спасителю от бесов и от недуга, которыми она долго страдала.

Этот самый юродивый Синдонит явился пред Петро в то утро, когда он, погрузившись в тяжелые помыслы, сидел в уединении на берегу реки и никуда не смотрел, а чертил пальцем по песку, вздыхая.

Петро, видя Синдонита, сказал ему:

— Здравствуй, Божий человек, чего ты желаешь?

Синдонит отвечал:

— Я желаю, чадочко Божие, вот чего: я желаю, чтобы ты меня послушал и исполнил то, что̀ я скажу тебе.

— Говори, — сказал Петро.

Тогда юродивый воскликнул:

— Петро, Петро, прекрасное чадочко Божие! Петро, Петро, дитя души человеческой! Петро, Петро, сын праха земного! Петро, Петро, хороший человек! Петро, Петро, грешный человек!.. Петро, Петро, слушай меня, который еще хуже и грешнее тебя... Люби ты плоть свою, Петро, люби, Петро, люби жену молодую, Петро; но не люби ты, Петро, ни плоть свою больше души своей, ни деньги больше правды, ни жены молодой больше Бога!..

И, сказав это, заскакал он, как скачет дитя или как молодой козленок, играя, и скрылся за деревьями.

А Петро, хотя и смутился немного его словами и начали мысли его принимать иной путь и другое течение, однако он скоро сказал себе: «Это он по злобе на Жемчужину говорил так, за те оскорбления, которые она ему наносила!» И опять страсть, которою он пылал к молодой жене, и сребролюбие опять все затмили в уме его, и опять стал он только думать о том же и мучиться тем же, — как бы денег поменьше тратить и как бы жену утешить сообразно с ее желаниями удивительными и неистощимыми. Он придумал наконец и успокоился. «Одну только правду сказал юродивый, что я *дитя души* Христо и Христины, и надо им немного послать».

Послал он тотчас же двух гонцов: одного к тому художнику, опять его звать, предлагая ему несметные богатства на окончание здания, а другого к Христо и Христине с небольшою помощью (потому небольшою, чтоб они вдруг на его деньги большого жилья не построили и не иссяк бы его кошелек).

После этого Петро пошел к жене, желая с ней примириться.

Царевна между тем встала поутру разгневанная и печальная, оделась, разделась снова и легла как больная на ложе; не принимала пищи и, отвернувшись лицом к стене, не отвечала ни слова своим прислужницам на их вопросы и утешения и, наконец, прогнав их всех, осталась одна и плакала молча.

Так застал ее Петро, сострадание и любовь наполнили его сердце, и он заговорил с ней смиренно и ласково:

— Милая моя Жемчужина и сладкая ты радость моей жизни многотрудной... порадуй и утешь своего мужа... или лучше я скажу — раба и слугу твоей красоты... Встань ты с ложа этого и развеселись. Не могу я видеть, что ты нездорова. Никогда я не видал еще, что ты как сиротка несчастная так лежишь одна... Разрывается душа моя при этом виде. И что̀ я такое и что̀ ты! Правду ты сказала, что я простой человек и грубый! Конечно, мне все кажется хорошо, потому что я угольщик и пастух овечий, а тебе надо все самое хорошее. Поэтому, если раскаяние мое и старание могут поднять тебя с этого ложа, вот я, муж твой и твоя глава по закону Господню, говорю тебе: прости мне. И за мастером этим я уже послал гонца. Он приедет скоро и начнет дворец не спеша нам строить, весь по вкусу твоему и желанию.

Тогда царевна Жемчужина встала с ложа своего и сказала ему тоже покорно:

— Не тебе, мужу, у жены своей прощенья просить. Я безумна, а ты во всем прав, и отныне пусть во всем будет воля твоя.

И они примирились.

Скоро возвратился тот гонец, который к Христо и Христине ездил, и донес Петро, что деньги небольшие он им отдал и они были в великой радости, потому что крыша у них падать стала и снегу была полная горница; кроме того, у Христины язвы на ногах открылись, лечить ее было не на что, и угольев даже им добрые соседи давно понемногу давали. Когда же спросили они у гонца: «Где же возлюбленный Петро наш и когда он к нам будет?», то гонец, как и первый раз, отвечал им: «Я не знаю, где он живет. Я его на пути случайно встретил, и он просил меня вам это отдать; у него работа очень трудная». Христо ничего не сказал, а Христина воскликнула:

— Что это он все тебя на пути встречает! И никто не знает, где он! — и больше ничего.

Потом возвратился и другой гонец, от художника, и сказал Петро так: этот знаменитый зодчий очень прогне-

ван и говорит: «Не нужно мне богатств несметных его. У меня и здесь есть чем прожить. Меня настоящие цари и вельможи родовитые уважают за мое великое искусство. А он, бедный, все по-сельски судит, и меня стращать стал, и обращался со мной, как будто я кузнец или плотник». И не поехал.

Ни тот, ни другой ответ не был для Петро сладок, и больше всего стал он бояться, чтобы жена опять с горя не заболела. Тогда придумал он ей солгать и сказал:

— Этот зодчий сейчас быть не может, но он начнет все запасы готовить, и план чертить, и работников созывать, и когда все изготовит, приедет. А пока ты бы хоть что-нибудь поменьше придумала, чтобы тебе не скучать.

Царевна в тайне души своей недовольна была тем, что зодчий не сейчас будет. Она пошла опять к своей кормилице, рассказала ей все и спросила:

— Не знаю, что̀ бы теперь придумать, по его собственному желанию?

Кормилица ей отвечала на это:

— Придумай что-нибудь потруднее. А про зодчего не верь. Он хитрейший из хитрейших, твой домоправитель купеческий, и к зодчему он, верно, не посылал. Это все ложь.

Царевна сказала:

— Посмотрим! — А сама стала придумывать, что̀ бы сделать, и наконец сказала мужу:

— Петро, моя радость, вот что̀ сделай: эти две реки текут по долине врозь; а ты их соедини, чтобы воды вместе смешались; я буду в *каике* ездить из одной в другую и буду думать о том, как и наши с тобой сердца согласны во всем и все у нас вместе, как в этих слившихся реках.

— Хорошо, — отвечал Петро; пошел в тот подвал, куда ему всегда бочки пустые приносили, и он, запираясь, со тщанием насыпал сколько нужно из пустого кошелька своего. Насыпал и, позвав людей, приказал собрать сколько можно больше народа, чтобы в три дня все было кончено.

На этом месте, где должны были рыть новое русло, жили в домах своих многие жители; они все тотчас же повиновались и оставляли жилища свои; Петро щедро одарил их золотом из своих неистощимых бочек. Одна только бедная женщина, у которой был тут небольшой домик, не хотела уйти и не брала никакой платы. Она говорила так:

— Обидеть бедную женщину легко; а золото мне не нужно. Что̀ я с ним буду делать? Здесь в винограднике моем погребены кости моего отца и матери моей, и муж мой тоже два года погребен здесь, и переносить его кости прежде трех лет нельзя; у нас это не обычай.

Петро уговаривал ее долго, угрожал и просил; но она не соглашалась, и работы остановились.

Кормилица в это время говорила царевне:

— Великую любовь имеет к тебе твой пономарь! Этой злой женщине надо бы тотчас дать палок сто, потому что ей следует с радостью думать о твоем царском удовольствии...

Царевна передала это мужу, и Петро притворился, что ему понравилось это. Он сказал:

— Да, это очень умный человек придумал. Я бы желал знать его имя.

Царевна обрадовалась и не скрыла от него, что это кормилица ее научила.

— Умная женщина твоя кормилица! — сказал Петро.

И, послав людей за тою женщиной, которая земли своей уступить не хотела, Петро приказал призвать и кормилицу, и при той вдове велел кормилице дать сто палок, и, смеясь, утешал ее, говоря:

— Попробуй и ты на себе, что̀ другому невинному человеку хотела сделать! Сладко ли?

Потом, обратясь ко вдове, которая была очень испугана этим зрелищем, сказал:

— А ты, бедная моя, подумай, что я мог бы тебе сделать то, что̀ я сделал твоей злодейке этой, и вразумись, и возьми с меня за перенос костей родителей и мужа твоего сколько хочешь денег на постройку пышного храма над

этими гробницами в новом месте. Я, царский зять, прошу тебя и низко тебе кланяюсь, ибо мне очень нравится твое уважение к этим могилам.

Вдова тогда согласилась; снесли рабочие люди ее домик и кости отнесли бережно, куда она приказала, и соединение рек произошло, но только двумя днями позднее, чем обещал Петро жене своей.

Царевну Жемчужину так рассердило обращение мужа с кормилицей и то, что не в три дня новая река была готова, что она не только кататься в каиках, но и глядеть из окна на реки не хотела. Подруги и прислужницы говорили ей:

— Полюбуйся же, царевна, на новую эту речку, которую возлюбленный муж твой тебе создал. Посмотри, как тихо течет она в мраморных берегах и как прекрасно около нее цветы цветут и травы зеленеют. Соединились теперь по желанию твоему обе большие реки, и воды их текут вместе, так же согласно, как ваши супружеские сердца.

Когда ей говорили так подруги и прислужницы, царевна к окну не шла и отвечала:

— Реки слились, но наши сердца разделились.

Она не ласкала более молодого мужа и в гневе своем не почивала с ним, а уходила к кормилице, которая после наказания проводила дни и ночи, лежа и стеная на постели своей. Царевна оставалась у нее всю ночь и прислуживала ей сама со слезами. Открывая ей душу свою, она говорила:

— Остыло сердце мое к нему, моя кормилица! Вижу я, что не всемогущ и он с деньгами своими над всеми людьми и над всеми вещами, и вижу еще, что и я не всемогуща над его сердцем. Что̀ мне в нем!

Тогда кормилица, поразмыслив, посоветовала ей смириться пред супругом, и быть ласковой, и привлечь его сердце ласковыми речами, так, чтоб он к ней возгорелся любовью такой, какой еще не было у него, и выпытать у него тайну, откуда он берет свои несметные сокровища.

— Нет ли у него неистощимого кошелька за пазухой или в обуви, или в поясе скрытого, — сказала кормилица,

которая была очень опытна, — и если узнаешь, то укради кошелек, и скроемся вместе от его гнева в первые дни. Мы дадим о том весть отцу твоему, доброму царю Агону; он обрадуется и, узнав, что Петро лишился всей силы своей в народе, прогонит его со стыдом и позором и разведет тебя с ним, и мы найдем юношу, не хуже его на свете, когда у нас в руках будет его золото. Государь, отец твой, с радостью все это сделает, ибо и ему наскучило быть как подручником зятя и бояться его. И еще я тебе посоветую, — продолжала кормилица, — изгони меня из дворца этого лицемерно, как будто в угоду ему, потому что он меня ненавидит; я уйду к отцу твоему, доброму царю Агону, и скроюсь у него, пока не придет час наш бежать с кошельком из города.

Царевне Жемчужине такой злой совет очень понравился, и демон лукавства вселился в сердце ее; она изгнала кормилицу и стала опускать глаза пред мужем, и вздыхать, и закрываться от него покрывалом, выглядывая только одним глазом потаенно, чтобы видеть, что̀ он делает и как смотрит он на нее.

Когда же Петро спрашивал у ней:

— Что̀ ты, Жемчужина, так глядишь на меня?

— Разве я могу насытиться, глядевши на тебя, — отвечала она ему.

И другой раз спрашивал:

— Что̀ ты, Жемчужина, так глядишь на меня?

Она отвечала:

— Боюсь, не сердишься ли на меня ты за что-нибудь?

Но Петро сказал:

— Нет, я на тебя не могу сердиться. Я тебе всю душу мою отдаю, и ты надо мною всевластна. Я вижу, что и ты меня любишь, ты и кормилицу свою изгнала мне в угоду.

Тогда царевна, выждав время, сказала ему:

— Ты говоришь, что я над тобою всевластна. Неправда это. Я тебе в угоду любимую кормилицу прогнала, которая мне как мать была; а ты до сих пор таишь от меня, откуда у тебя столько денег. Я думаю, у тебя кошелек неиссякаемый есть?

Сердце Петро не устояло против слов жены, и он, достав кошелек, раскрыл его пред нею, и тотчас же ручьем полились из него золотые на пол. А когда он подбирал их и снова влагал, они пропадали в кошельке без следа.

Царевна обрадовалась, узнав, что кормилица угадала тайну мужа, и сказала:

— Теперь я вижу, что ты любишь меня.

Когда же ночью Петро беззаботно уснул, она похитила кошелек и вышла тихо и прошла переодетая с одною верною рабыней чрез двор в малую дверцу стены и убежала к реке. У реки ее ждала кормилица на коне, с другими еще конями и несколькими провожатыми. Они бежали тогда быстро из города, боясь, чтобы в первом гневе их не убил Петро.

XVI

Когда Петро, проснувшись, увидел, что нет около него жены, что кошелек его похищен, он в гневе хотел отыскать ее и убить...

Потом вспомнил он, что после этого и его убьют, так как уже силы прежней у него в царстве без кошелька не будет, и умрет он в гневе и грехе без всякого покаяния, не успев даже по своей вине исполнить то дело богоугодное, для которого вышел из дома Христо и Христины.

Тогда показалось ему, что он сам один всему виноват, и начал он плакать.

И еще плакал он, говоря себе: «Жемчужина! моя Жемчужина! Ты ли это обманула меня и так наругалась надо мною!..»

Так как здесь все (думал он еще) были ему враги и самому царю Агону он не верил, то замыслил он сначала ехать скорей к царю Политекну и напомнить ему о своем тайном к нему посольстве. Но Господь пожалел его, видя его горе и раскаяние, ибо его там еще скорее, чем здесь унизили или умертвили бы, и внушил ему лучшую мысль: «на людей не надеяться, а только на Бога».

Тогда, подумав это, взял он у раба самую простую одежду, надел ее и так же, как царевна, вышел тайно из дворца и сказал себе: «Пойду без всякой дороги в горы. Пусть Бог хранит меня, как Он хранил меня до сих пор и всё прощал мне все мои грехи, которым, я вижу теперь, и счету нет!»

Он шел целый день, размышляя и сокрушаясь о своей горькой участи. Шел он, не зная сам, куда он идет. Ему было стыдно и в этом царстве остаться и стать последним человеком после величия, в котором он жил; а домой к воспитателям своим Христо и Христине возвратиться было ему еще стыднее. «Пошел без денег и пришел назад без денег, пустой человек какой!» — скажут люди.

Уже стало темнеть, когда он почувствовал голод и жажду и стал думать о том, что в таком диком месте нельзя будет и хлеба достать. И это его мучило.

Наконец подошел он к одному страшному месту; он увидал в большой горе глубокую, широкую, длинную без конца каменную расселину. Она шла туда и сюда, зияя и чернея, и, подойдя к краю ее, Петро увидал, что под ногами его летают и кричат чорные во́роны и большие орлы вылетают из кустов.

Сел Петро на краю и подумал: «Не убиться ли мне теперь? Не броситься ли мне отсюда, чтобы не видеть позора и стыда моего, чтоб эти чорные вороны съели глаза мои и чтоб орлы растерзали мое тело?..»

Но, вспомнив, что это грех и что епископ сказал ему: «Кто больше закона знает, с того больше и взыщется...», воздержался и положил на себя крестное знамение.

В эту самую минуту в глубине пропасти засветился яркий огонек, и Петро, помолившись и со слезами возблагодарив Бога, стал спускаться в ту сторону, где он светился.

Долго он шел с великим трудом и опасностью и когда спустился и подошел, то увидал, что свет выходит из малого окошечка. Около окошечка была ветхая дверь, и он постучался в нее. Тогда окошечко отворилось; из него вы-

глянул старец такой худой и истощенный, такой ветхий днями, что Петро почувствовал страх. Старец сказал ему: «Аминь!», и Петро, взошедши в пещеру его, поклонился ему в ноги и поцеловал его десницу.

Пещера была так мала, что Петро едва умещался в ней. Старец лежал в рубище на одной циновке у окошечка, и кроме горшка чистой ключевой воды, каштанов и сухого чорного хлеба в пещере не было ничего. У окошечка на стенке, на гвоздике, висела лампадка и горела.

Петро увидал еще, что рубище не покрывает ног старца и что ноги его все в больших ранах, источающих смрадный гной.

Сначала он молчал долго, и старец молчал и, не глядя на него, шептал про себя молитву.

Потом Петро сказал ему:

— Старче мой... Я очень голоден и жажду. Позволь мне взять этот хлеб и этой ключевой воды.

Но старец отвечал ему:

— Нет, не коснешься ты ни до хлеба, ни до воды этой, ни до каштанов, пока не исповедуешь мне пред Богом всемогущим и всеведущим, кто ты такой. Вот уже более века, как я не видал человеческого лица, и пищу эту мне носят во́роны, а воду орлы. И сколько времени я лежу на этом одре — не знаю, и сколько мне лет — не помню, и сколько гноя смрадного источили эти язвы — не измерил... Хочу я знать, кто ты? Сядь и скажи.

Петро сказал ему, что он зять доброго царя Агона, рассказал, как у него был неистощимый кошелек и как кошелек этот украла у него любимая жена его, царевна Жемчужина, которой он душу отдавал, потому что до брака законного, боясь греха, ни на какую девушку или замужнюю жену смотреть не хотел, и пожирало его волнение молодой крови, и не мог он иногда спать ночей от тоски.

— Хорошо, — сказал ему старец, не поднимая на него очей. — Но не родился же ты зятем царя Агона. Кто ты сам такой, расскажи...

Петро рассказал ему о Христо с Христиной, и об уходе своем, и о чорбаджи Брайко.

Старец все не поднимал на него очей, и только и видны были что белые брови его на лице его чорном от изнурения и ветхости такой, что он и сам не помнил годов своих.

Петро рассказал ему о жизни своей у попа Георгия, когда он кандильанафтом был и агу убил.

Старец опять не поднимал очей и только глубоко вздохнул, когда он кончил.

Потом Петро рассказал ему о Хаджи-Дмитрии и о грешной страсти, которую питала к нему молодая жена Хаджи-Дмитрия.

Старец отверз очи свои и с таким удивлением стал смотреть на Петро, что Петро спросил: «Что̀ ты, старче?» Но старец только вздохнул, снова опустил голову и закрыл очи свои.

Петро продолжал говорить и объяснил ему, как он жил у епископа, и как неправедно, по малодушию, дал обидеть его добрый епископ...

Тогда старец вдруг отверз совсем очи свои, лицо его озарилось радостным светом и стало как будто моложе, и он дрожащим голосом спросил:

— А после где ты был и кого видел?

И едва Петро успел сказать, как он встретил в поле мусьё Франко в большом *трикантоне* и узком платье, как старец прервал его слова тихим плачем умиления и, воздев руки к небу, сказал:

— О, Боже, чудный в делах Твоих Боже, приспел наконец час моей столь давно чаемой кончины! И я вижу, что Ты все мне простил!

Проговорив это, старец обратился к Петро с осиявшим радостью и тихим лицом и говорил ему:

— Теперь подумай, мой сын, исповедуйся мне, не было ли у тебя на душе какого особого греха и злоумышления? Как употребил ты те несметные деньги, которые получил? Построен ли тот дом и те поля куплены ли

тобою, которые должны были успокоить благих воспитателей твоих до кончины?

Вздохнув и опустив очи, молодой Петро сознался, что он медлил сделать это, ибо знал, что золото иссякнет в тот день и час, когда он купит это поле и построит этот дом для Христо и для Христины. И сознавая, что грех его велик и что сребролюбие, любоначалие и гордость обуяли его с той минуты, как он услышал в себе силу этого злата, Петро начал неутешно сокрушаться перед старцем и говорил:

— Теперь я и в той жизни душу свою не спасу за это, и в этой мне от стыда скрыться некуда. Домой мне без денег лучше не возвращаться никогда, а в царстве доброго царя Агона меня теперь не примут назад... Увы мне, грешному! в какой чорный день и час родился я! Видно в самом деле я в беззаконии зачат был и в грехе родила меня несчастная мать моя!..

Но старец велел ему утешиться и сказал:

— И не такие еще бывают грехи. Вот я ужаснее твоего грехи совершил. Я и отцеубийца, и кровосмеситель, и богохульник был, а и меня наконец простил Бог!

— Посмотри сюда наверх, Петро, — продолжал он, указывая ему высоко на стену около одра своего посохом. — Видишь эти знаки на стене?

— Вижу, — отвечал Петро.

— Это я, — говорил старец, — отмечал года жизни моей в этой пустыне... Сочти их.

Петро начал считать, счел гораздо более ста знаков и наскучило ему считать.

Тогда отшельник начал снова речь свою:

— Ты устал считать, я же давно уже устал их чертить. Мне было сказано, что я буду прощен и умру после того, как поживут у меня временно в учениках и послушниках безответных разные люди: угольщик и дровосек, пастырь овчий и кандильанафт церковный, и управитель купеческий, и епископский *ясакчи*, работник самого дьявола, и один зять царский, и один полководец, и еще один человек, богатый несметными сокровищами богач. Где

была надежда их увидать здесь всех? Но я надеялся и не смел унывать. И ждал, и долгие годы отмечал, а после перестал и помнить года и вспоминал о том, что еще один год начался и один кончился только тогда, когда весенний снег с той горы сходил водою и когда ласточки начинали вить гнезда над моими дверьми. И вот наконец пришел же ко мне ты; ты один занимался всеми теми ремеслами и ты один прошел чрез все те звания, и низшие, и высокие, о которых мне было сказано. И теперь я умру.

Кончив речь свою, отшельник благословил Петро поесть хлеба и каштанов и выпить ключевой воды, а потом уснуть у ног его. Петро подкрепился пищей, выпил воды и уснул на холодной земле около смрадных ног болезненного старца слаще и покойнее, чем тогда, когда он спал на кисейных простынях около нежной отроковицы, супруги своей, умащенной лучшими благоуханиями.

На рассвете старец толкнул Петро костылем, который стоял около него, и воздвиг его на молитву. Долго молились они вместе и оба были радостны и бодры.

Потом старец встал с одра своего и, опираясь на костыль, вышел из пещерки и повел Петро к двум яблоням, растущим неподалеку. Они были в цвету тогда, и старец сказал ему:

— Когда яблоки эти поспеют, тогда ты восторжествуешь над врагами твоими, и будет для тебя, юный сын мой, то время началом богобоязненного, спокойного и многолетнего живота на сей земле, а для меня окаянного ударит час переселения из этой земли в лучший мір, туда, где жилище веселящихся и где все озаряет свет лица самого Господа Бога и милосердого Создателя нашего. А пока ты постись со мной вместе и соблюдай все, что̀ я тебе прикажу.

Петро с радостью согласился, и прожили они так три летних месяца. Кроме воды, хлеба и диких каштанов никакой пищи и питья не видал Петро за все это время. Старец был суров и безжалостен к нему по внешности, соблюдая его душу и желая отогнать от него всякое искушение.

Сна было Петро всего три часа в день. На заре старец воздвигал его на долгую молитву; в полночь будил его костылем на чтение псалмов; ел и пил Петро пять минут и благодарил после Бога на молитве пять часов... Старец его ко всему неприятному побуждал и за все порицал; он и бил его крепко, и каждый день Петро окапывал те две яблони и поливал их пóтом своим; а за ночь все опять около них высыхало, и земля становилась как камень, и старец, заметив, что Петро устал от молитвы и что его клонит сон оттого, что ночью не дали ему уснуть песнопения и псалмы, тотчас говорил ему:

— Грешник окаянный, ты спишь и дремлешь! Посмотри, засохнут яблони и не дадут плода... Вижу я, что ты подобно мне пролежишь в язвах в пустыне бесчисленные годы...

И Петро в страхе бежал и окапывал землю вокруг яблонь спасения своего, обливая их потом труда и обильною слезой молитвы.

Как ни утруждал и ни мучил его старец, он все принимал с радостью, и протекли эти три месяца испытания, как три дня тихой радости, неприметно.

Однажды увидал Петро утром, что на яблонях созрели плоды, на одной очень большие и пурпуровые, а на другой поменьше и хуже на вид. Петро известил об этом старца, и старец в первый раз с тех пор, как стал испытывать Петро, усмехнулся ласково и сказал ему:

— Иди, дитя мое милое, и сорви по одному яблоку с каждого.

Когда же Петро возвратился с яблоком, старец посадил его и сказал:

— Ешь на здоровье большое!

Петро стал есть яблоко; оно было необычайной сладости и благоухания. Наслаждался им Петро долго, ибо оно было очень велико, и жалел даже кончить его; но едва только кончил, почувствовал он выше лба своего на голове как бы небольшую тяжесть и боль и, взявшись рукой за голову, вскрикнул: на этих местах у него выросло два не-

большие рога, величиною не более лесного ореха. Старец, глядя на ужас его, смеялся и говорил:

— Посмотри, еще растут!

И ощупал рукой Петро и увидал, что рога уже выросли такие, как у диких коз бывают, и все росли и росли. Он не знал, что̀ делать... Но старец сказал ему:

— Не бойся и скушай второе яблоко.

Начал Петро поспешно есть второе яблоко; оно хотя было и мало, однако он не знал, как бы скорее докончить его, ибо оно было нестерпимо горько и отвратительно.

Но как только кончил он его, рожки, которые выросли, рассыпались прахом, и, ощупав голову, он не нашел на ней ничего.

Тогда старец восстал опять с болезненного одра своего и, помолившись, приказал, чтобы Петро оделся в монашеское одеяние и, набрав полную корзинку больших пурпуровых яблок, отнес бы их в город, где царствовал добрый царь Агон, и чтобы неузнанный никем продал бы жене своей, царевне Жемчужине, этих яблок, от которых у нее вырастут рога, в наказание за ее коварство, гордость и своеволие.

Петро собрал яблоки так, как приказывал старец, и, приняв от него благословение, в монашеской одежде, пошел немедленно в город.

XVII

В городе многие люди были печальны и громко соболезновали о судьбе царского дома, который постигли новые бедствия. Петро спросил у этих людей:

— Какие же бедствия постигли нашего царя и весь его дом?

— Не знаешь ты видно, монах, ничего, — сказали ему эти люди. — Ты, может быть, и не слышал, что̀ у нас случилось за последнее время. Был зятем и наследником у доброго царя Агона один Петро прекрасный; лучше его, ка-

жется, не может родиться человек. Царевну нашу единственную он пленил своею красотой и смирил ее сильным духом своим. Все козни врагов своих царедворцев уничтожил; войско грозного царя Политекна победил и сына его, знаменитого воителя, унизил в единоборстве. Людей бедных обогатил у нас в городе и селах и превознес их над богатыми. Город наш украшал зданиями прекрасными; ко всем был приветлив и ласков. Но поссорился он с женою своей и скрылся внезапно... куда — неизвестно; и с тех пор и царь Агон, и Жемчужина царевна живут в неимоверной печали, и все радости в стране нашей прекратились. В иных местах народ волнуется; у царя Агона хотя и безмерно много денег теперь, но нет ни Петро у него, ни друга искусного и бесстрашного воеводы. Разбойники и неприятели опустошают страну и жгут селения; а селяне грозятся, что сами перейдут ко врагам, если не водворится мир и порядок. Они кричат: «Где царский зять, наш Петро прекрасный?» Царевна Жемчужина без молодого мужа тоскует, и мы не можем утешить ее. Вот наши бедствия... а ты не знаешь ничего и спрашиваешь, какие у царя бедствия...

Тогда Петро сказал:

— У меня есть яблоки очень хорошие, и они могут утешить царевну; когда царевна развеселится, тогда и царю старому приятнее будет. Отведите меня к ней, чтоб я мог ей поднесть эти яблоки.

— Попробуй, — сказали ему эти люди и повели его к тому загородному дворцу, где он сам жил еще недавно.

Ввели его в сад. И когда пошел он по узорным дорожкам, окруженным миртами, стало ему жалко жены и не хотел он давать ей этих яблок, чтобы не выросли у нее рога и не обезобразили ее красоту, которая ему была так дорога и усладительна.

Однако, помня заветы великого старца пустыни, он укрепился духом и предстал пред царевной, стараясь укрывать лицо свое чорным монашеским покрывалом.

Он увидал, что царевна была очень печальна и одежда на ней была простая и грубая. Она сидела на диване в

темном углу комнаты, волосы ее были распущены, и прекрасное лицо свое она держала скрытым между коленами, обвивая их руками.

Когда Петро вошел к ней и сказал: «Здравствуй, царевна, здорова ли ты?» Она, не поднимая головы, тихо и печально отвечала: «Что̀ тебе нужно, монах? Я нездорова и здорова не буду больше. Все меня тяготит теперь, одежды богатые и украшения золотые, а больше всего тяготит меня кровь моя, обременяет любовь...»

Петро сказал ей: «Скушай это яблоко, царевна, оно освежит тебя!»

Но она головы не поднимала и не хотела глядеть на него. Петро спросил у нее: «Отчего же ты, царевна, не хочешь смотреть на меня?» Царевна отвечала: «Я не хочу смотреть на тебя вот отчего. Голос твой, монах, очень приятен и похож на голос того человека, о котором я денно и нощно жалею; а взгляну я на тебя и увижу другого человека. Может быть, ты безобразен, или стар, или ходишь, как другие иноки, оборванным и смрадным... Я не хочу ни смотреть на тебя, ни яблок твоих есть. Если же тебе нужны на что-нибудь деньги, то поставь, когда тебе угодно, корзину с яблоками здесь предо мной и поди скажи кормилице моей, чтоб она велела тебе десять бочонков золота за это отдать... Только об одном я тебя прошу и умоляю, инок, скажи ты всем людям, с которыми говорить будешь, чтоб они не думали, что на золото можно все купить. Радости души на него не купить. Так им скажи!»

Петро обещал говорить так и, взяв с нее слово, что она скушает хоть одно яблоко, поставил пред нею корзинку и, не сказав ни слова никому из людей о том, что царевна приказала выдать ему десять бочонков золота (потому что на это он благословенья от старца своего не имел), ушел из города и поспешно возвратился в пустыню.

Через три дня старец на рассвете, воздвигая его на молитву, сказал ему так:

— Теперь возьми, милый сын мой, горькие яблоки и ступай лечить свою неразумную супругу. Она теперь в

ужасных страданиях. Мера наказания ее исполнилась. Правда, она и прежде, как ты видел, тосковала о тебе, но, желая возвратить молодого мужа, она не каялась еще искренно в похищении твоего кошелька, и властолюбие, и своеволие в сердце ее не исторглись с корнем. Теперь она совсем смирится перед тобою. Ты исповедай ее и прости и излечи, и, возвратив себе дар святых угодников, не вступай на прежний путь, не отдавай безумно душу юной супруге, но исполни скоро долг свой против твоих воспитателей благих Христо и Христины. Построй им спокойное жилище и поле хлебное купи. И успокойся сам и да будет над тобой благословение Божие и мое старческое. И еще я скажу тебе, благословенный мой Петро, когда все устроишь как следует, приди похоронить здесь грешное и пресыщенное жизнью тело мое. Ибо я тебя только и ждал, чтобы переселиться туда, где нет ни печали, ни воздыхания, и где присещает свет Господня лица.

Петро с радостию поспешил опять в город и нашел там людей уже не в печали, а в великом смятении.

Увидав его, люди стали кричать:

— Не пускайте, не пускайте его! Это монах! Царь Агон приказал всех монахов изгонять из города; это ведь монах принес царевне яблоки, от которых у нее выросли теперь такие рога, что уже во дворце начал потолок трещать и пошли рабочие люди на крышу, чтобы разбирать ее.

Но Петро невидимо для людей прошел сквозь толпу, проник во дворец свой и, вошедши в большую залу, предстал внезапно пред царевной Жемчужиной.

Он по-прежнему скрывал свое лицо монашеским покрывалом, и если бы даже он не накрывал его, то ей трудно было бы узнать его, до того пост и бдение изнурили его.

Она же не могла теперь прятать лица своего в коленах, как в первый раз, потому что огромные рога ее проникли давно чрез расписной потолок и разломали его, и теперь рабочие крышу разбирали, чтобы дать им простор и чтобы царевна не так мучилась болью в голове.

Когда Петро поглядел на прекрасную жену свою, ему стало очень жаль ее. Слезы лились из очей ее, и она сидела молча на ложе, не смея даже пошевелиться, ибо всякое движение ее причиняло ей нестерпимые муки.

Кругом ее сидели женщины, рыдали и вздыхали. В стороне сидел сам старый царь и печально глядел в землю, не говоря ни слова.

Все удивились, увидав монаха, и царь сказал:

— Что̀ это за человек? Не тот ли злодей, который ее погубил? Если это он, то надо сейчас же казнить его!

— Государь, — сказал Петро, — казнить меня легко. Но легко ли излечить твою дочь? Я же могу излечить ее, если вы меня с ней оставите наедине.

Царевна Жемчужина воскликнула тогда:

— Уйдите, уйдите, когда любите меня. Я думаю, что этот человек мне поможет.

Когда все ушли, она начала рыдать и умолять его:

— Божий человек!.. Скажи мне, тот ли ты монах, который дал мне эти вредные яблоки?

Петро отвечал:

— Да! Я тот самый; но у меня есть другие яблоки, которые исцелят тебя, если ты во всем, что̀ ты сделала, покаешься мне.

Царевна подозвала его поближе; он сел около ложа ее и начал исповедывать ее. Она все рассказала ему, достала кошелек из-под подушки и показала ему.

Петро тогда сказал ей,

— Каешься ли ты от всего сердца?

— Что̀ ты говоришь, старче? — отвечала она; — как же не каяться мне?

— Так отдай мне этот кошелек! — сказал он; — иначе я не могу исцелить тебя и ты умрешь в этих муках!

Но царевна Жемчужина отвечала:

— Если так, пусть воля Божия будет! но пусть я лучше умру в этих муках, а кошелек этот не отдам никому кроме мужа моего Петро, хотя бы и исцелить меня за эту жертву кто мог! Знаешь ли ты, монах, до чего я скоро

пресытилась без него этими деньгами? Ежедневно сыпала я их пред собой на ковер, и они меня не радовали. Деньги ручьем из кошелька лились, а у меня лились слезы по муже моем, и я думала: на что̀ ж мне это золото и на что̀ мне белое серебро, когда я *его* золотых кудрей не вижу и *его* белого лица не целую!

Тут только поверил Петро, что покаяние ее искренно, и, открыв лицо свое, сказал ей:

— Вот тебе твой Петро!..

Он взял у нее кошелек, дал ей горькое яблоко, и она, и смеясь, и плача, съела его скоро, несмотря на всю горечь его, говоря, что оно слаще меда.

И как только она проглотила последний кусочек, так огромные рога ее обратились в пепел и рассыпались, и стало видно небо сквозь большие отверстия разобранной крыши.

Царя позвали и женщин всех. Все благословляли Бога и радовались. Все примирились, и кормилица упала в ноги Петро, и он ее простил.

Потом он тотчас же послал гонца за Христо и Христиной и купил им земли и дом начал им строить не слишком спеша. А сам пошел с войском против неприятеля, бунтовщиков и разбойников, и тех победил, а разбойников изловил и повесил в городе.

Кончив все это, Петро сказал царю и царевне, что пора отшельника погребать теперь. Он приказал царевне разуться и нежными ногами босой идти за ним; сам пошел босой и все люди шли босые, и духовенство пошло с кадильницами и иконами и книгами. Все пошли в то дикое ущелье, где спасался старец и учитель Петро. Петро шел впереди, указывая дорогу, и нес сам лопату.

Только царя Агона покоили в пути на пышных носилках; он не мог идти по стремнинам и камням. Царевна все время мучилась без обуви, и ноги ее, которые были как пух лебедя нежны и белы, все были в крови; но она радовалась этому и не кричала, а только немножко стонала и спрашивала часто у мужа: «скоро ли дойдем?» Петро смеялся ласково над ней и говорил: «скоро!»

Под вечер дошли туда и нашли старца лежащим вне пещеры на площадке просторной. Он отошел уже к Богу, и руки его были скрещены на груди.

Петро сам вырыл могилу, и старца похоронили с великим почетом.

Пока еще дом Христо и Христины не был готов, у Петро было денег без конца. Он сделал большой запас их для государства, для церкви, для себя и для бедных; и на том месте, где скончался старец, воздвиг большую обитель иноческую с самым строгим уставом.

Потом он кончил дом для своих благодетелей. И тогда кошелек его иссяк навсегда.

С той поры они жили с царевной согласно, и она родила ему многих детей.

Царь Агон, утешенный, скоро перешел в вечность, и Петро стал вместо него царствовать и прославил царство и увеличил его.

Христо с Христиной прожили еще долго и достигли, радуясь на питомца своего, до глубокой старости.

Каждый год, в день погребения своего старца, Петро босой и царевна босая и все дети их тоже разутые ходили на поклонение в тот тихий монастырь, который построили над его могилой...

И не одной царской семье, но и всем мірским людям была польза от того, что̀ они там видели. Особенно пользовались люди, когда они сравнивали необычайную пышность и богатство церквей этой обители, облачение и утварь и красоту зданий с теснотой, мраком и сыростью монашеских келий и с пищею скудной монахов, которые жили так близко от этих несказанно пышных Божиих храмов.

«Для Бога тут все, — говорили все люди, — а для людей ничего».

И они много укреплялись этим примером в трудах и огорчениях домашней, мірской жизни своей.

СФАКИОТ

РАССКАЗ ИЗ КРИТСКОЙ ЖИЗНИ

I

Незадолго пред критским восстанием 1866 года. Весна. Большое село на одном из островов Архипелага. Белые, чистые каменные домики в зелени персиковых, апельсинных и миндальных деревьев, с плоскими террасами вместо кровель. Тихое море и дикие, пустынные скалы в стороне; по другую сторону виден целый лес маслин, узловатые стволы и седая зелень, как у вербы. Небо чисто. Вечереет. Вдали город, которого здания все больше и больше краснеют от зари, занимающейся за морем.

На дворе небольшого дома, с восхитительным видом на море и берега, сидят беседуя молодые новобрачные: Яни Полудáки и жена его Аргирó (то есть серебряная). Ему двадцать пять лет, ей семнадцать с небольшим. Он критянин, родом из Сфакийских или Белых Гор, переселился на другой остров, на родину своей новобрачной и в ее приданый домик.

Яни очень высок, легок в движениях, силен и красив; он белокурый и с голубыми глазами и потому кажется еще моложе своих лет. Но в нем виден воин по духу и паликар настоящий. Одет так, как одеваются молодцы на греческих островах, в длинную феску и широкие шальвары, подобранные под колена.

Аргиро напротив того: брюнетка, среднего роста; черты лица ее чрезвычайно нежны и строго-правильны; глаза ее велики и необыкновенно черны. В лице ее смесь чего-то простодушного, детски-серьезного и вместе с тем по временам лукавого. Одета она почти по-европейски, довольно скромно. Дикого цвета шерстяная юбка, красная гарибальдийская рубашка и темный печатный платочек на голове.

Яни сидит на дворе своем на стуле, курит и пьет кофе, возвратившсь из лавки, в которой он целый день торговал. Аргиро стоит пред ним с подносом, опершись на стол; они долго молча смеются, глядя друг на друга.

Яни, *с сияющим от счастья лицом*. — Айда! Аргиро моя, поди ко мне поближе, сядь поближе около твоего мужа. Ну, теперь тебе хорошо? Скажи мне, Аргиро, моя голубица, сколько тебе лет? Я считаю, что тебе нет еще восемнадцати.

Аргиро, *садясь*. — Перешло за семнадцать этой осенью. Что̀ тебе?

Яни. — Тебе семнадцать, а мне двадцать пять. Давай считать, у нас теперь шестьдесят шестой год, а в шестьдесят первом мне было двадцать лет. — *Молча глядит на нее и, вздыхая, приближает ее к себе*. — Ты не знаешь, собака Аргиро, как я за тебя и за чорные глаза твои умираю! Все мне в тебе нравится. Айда, милая моя, сделай еще такое сердитое лицо.

Аргиро *смеется*. — Не могу теперь, не могу.

Яни. — Знаешь, задушу я тебя когда-нибудь, анафемский час твоего рожденья! Весенний цветочек ты мой; воздух около тебя и тот для меня лучше всякой розы! Такая у меня к тебе любовь! Что̀ делать. В этом нет и греха, потому что мы венчались с тобою. Правда ведь? А то, что̀ ты говоришь про Крит наш и про братнину жену, это дело старое. Что̀ я был влюблен, это правда. И что я отравился, и это тоже правда, моя свечечка ты разубранная, разукрашенная!.. Не сердись, не сердись же, радость ты души моей, сокровище ты мое, не сердись. Не уходи с колен моих. Не

огорчай мужа, прошу я тебя, моя душенька. Посмотри сюда. Взгляни, жасмин мой садовый, чем я не муж молодой? Полюбуйся... Лицо белое и румяное у меня, ростом кто у вас выше меня? У кого глаза синие такие, как у мужа твоего, Аргиро, несчастная твоя голова! Волосики у меня белокурые, еще понежнее твоих будут, цыганка ты чорная. Рука моя... Постой немного; отодвинься, дай мне вытянуть руку эту. Гляди теперь. Разве не ужас моя рука? Только на войну мне идти, — не правда ли? — *помолчав, вздыхает.* — Я очень в тебя влюблен, Аргиро моя! На муле утром еду в город — ты на уме; думаю, как я вечером к тебе возвращусь; в лавке масло продаю, думаю о том, как я видел тебя раз под маслиной еще прежде, когда ты и не выросши была. Видишь, я честность твою в тебе люблю и обожаю. Нравится мне очень, что ты, кроме меня, жениха своего, никогда ни на одного молодца и смотреть не хотела. А мало ли у вас тут их? Все дети красивые и лихие. Все «деликанлы»*, если так, для примера, по-турецки сказать. Да! Честность твоего поведения мне нравится. И я скажу тебе, золотая моя, что если ты меня обманешь, то я к деспоту** разводиться не пойду, как другие, а возьму я тебя вот так за эту косу твою, выну пистолет из-за пояса красного моего и убью тебя. И разрежу потом мертвую псицу я тебя на четыре части и на четыре стороны далеко заброшу куски. А головку твою красивую я, за волосики взяв и слезами моими омывая, снесу и опущу в самое море, чтобы никто не видал, как она портиться будет и как будет гнить твое нежное личико... А там пусть паша сошлет меня работать в Виддин, на дальний Дунай, или пусть повесят меня за это турки у стен крепостных. И я буду висеть — молодец, как гроздие виноградное качаясь. И скажут все люди, проходя мимо: «Это тот самый наш Яна́ки, тот Полудаки висит как виноградное гроздие и качается, который жену свою милую Аргиро пистолетом, взяв за косу, умертвил и разрезал ее потом

---

* Молодцы с бешеною кровью.

** Епископ.

на четыре куска, а головку красивую в море отнес, омывая с нее слезами теплую кровь!..» Вот как я за мою честь сердит и зол... А ты ничуть даже, брѐ! не боишься, я вижу. Аман! голова твоя глупенькая! Не боишься?.. Ты ее пугаешь, а она все молчит и ласкается... А что ты не боишься моих угроз — это, пожалуй, тоже не дурно. Ты, значит это, говоришь: «Что̀ мне бояться? Могу я ему изменить разве?» А я тебе, моя дорогая, вот что̀ скажу. Влюблен я был в эту Афродиту, которая за братом моим замужем, и отравиться хотел, все это правда; только женился я на тебе все равно, как ты за меня замуж выходила, безгрешным мальчиком и таким невинным, что меня можно бы сейчас в иеромонахи на Святой Горе посвятить*... Понимаешь? апрельский цветочек ты мой, гвоздичка моя несравненная. Я согласен рассказать тебе об этих прошлых делах и о любви этой моей... Только ты не ревнуй, потому что это все прошло и теперь пусть ослепну я и пусть душа моя не спасется, если я тебе, царевна моя и супруга, обвенчанная попом, когда-нибудь даже в помысле изменю! Поняла? Слушай же! Сядь получше... Вот так!

II

Яни. — Что ж, рассказывать?

Аргиро. — Говори, говори! Давно я хочу все это знать.

Яни. — Хорошо. Расскажу все по совести. Когда наш капитан Коста Ампела́с (ты слыхала об нем? он еще жив и теперь и из первых капитанов у нас в Сфакийских горах), когда Коста Ампелас приезжал по делам своим в Канею, мы с братом Хри́сто всегда шли при нем пешие. Христо в то время было двадцать четыре года, а мне только двадцать. И были мы не одни с братом; бывало нас

---

* На Афоне в иеромонахи предпочитают посвящать людей, сохранивших целомудрие во время мірской и безбрачной жизни.

при старике капитане молодых ребят человек по шести, по семи, по восьми. Все молоденькие дети смелые, все высокие, все красивые; у всех по ружью на плече и по паре пистолетов серебряных и по большому ножу за кушаком красным; все в новых цветных шальварах и курточках, и у всех рукава выше локтя засучены, точно мы все сбираемся в кровь турецкую выше локтей руки наши сейчас погрузить. И от колен у всех ноги разуты, голые, без чулок, не потому, чтобы чулок не было дома, а так... для фигуры, знаешь! И башмаки хорошие, когда к городу подойдем, наденем. А дорогой, со своих ужасных и невиданных другими людьми гор спускаемся в таких критских высоких сапогах с мягкою и толстою подошвой, как ты у меня видела, Аргиро, и знаешь их сама.

Идем. С камня на камень и опять с камня на камень, милая ты моя, как козы летим, летим мы и веселимся страх! Коста Ампелас едет на большом муле; мул весь в красных кистях, и у старца ка́па* на красном подбое новая, прекрасная, и в высокой, превысокой феске сидит он, как настоящий ходжа-баши, с седою бородой.

Так едем мы по селам по всем; на нас смотрят люди; идем через прекрасные сады Серсепильи, на нас смотрят люди, и так мы в ворота Канейской крепости прямо вступаем!.. Да! и знаешь, что даже аскеры турецкие, стерегущие крепость, любуясь нами, завидовали... (Ах! Аргиро ты моя... лукавая... Все косточки твои когда-нибудь я переломаю тебе! должна ты, брѐ, помнить, несчастная, что̀ у тебя за муж — за молодчик...) Да! Аргиро моя! Турки завидовали и любовались нами. Едет Коста Ампелас наш в ворота городские, а мы около него все красуемся с ружьями на плечах, и фески все на бровь и на ухо вбок сбиты нарочно. «Вперед! Кто остановит?» Аскеры пропустили нас, и мы слышим, что они говорят друг другу: «Ну! гяуры! Ну, молодцы! Что̀ за дети такие! Что̀ за гяуры прекрасные».

---

* Бурнус из темного толстого сукна.

Такие мы люди, мы сфакиоты! Вот что̀! Коста Ампелас приезжал в Канею по нашим сфакиотским делам. Ты, куропатка моя, не знаешь, что мы, сфакиоты, издавна податей порядком не платили. Кому бы принудить нас? Кому бы испугать? Камень у нас в горах такой ужасный, дорожки такие крутые, что не то лошади, мулы и ослы из нижних сел к нам не ходят и оступаются, и люди, сидя на них, боятся.

Тот же, кому нужно быть у нас по делам непременно, тот нашего сфакиотского мула нанимает. Сама ты, душенька моя, видишь, как низамскому войску трудно бы было идти в наши горы, чтобы принудить нас вовремя и сполна подати царю платить, если бы мы были приготовлены защищаться. Однако два человека все дело наше испортили, и начали мы теперь платить. Скажи ты мне теперь, как ты думаешь, что̀ были это за люди? Предатели или нет? Турки? Нет. Худые люди? Не знаю, как бы это сказать... А думаю, что не совсем худые. Чужие завистники из города или из других епархий, может быть... Нет, и не предатели, и не турки, и не худые люди, и не чужие завистники... А мы с братом Христо. Вот отчего я и теперь еще вздыхаю, Аргиро моя... Родине вред мы сделали нехотя... А ты вчера приревновала к братниной жене, свет мой сладкий ты, Аргиро... Вот отчего, моя Аргиро, я вздыхаю... Родину жалко свободную, а не любви этой старой. Дай Бог и *ей*, невестке моей, Афродите, и брату моему и детям их долго жить и состариться... А мне что̀? Сама ты пойми, прошу я тебя!..

Да! Мы вдвоем с братом Христо, безбородые мальчишки, головы безумные и отчаянные, все это сделали...

Стой же, вот как это было.

Коста Ампелас приезжал не раз, говорю я, по приказанию нового паши в город, об этих делах рассуждать. Новый паша его хорошо принимал. И хотя в город людей из сел обыкновенно с оружием не пускают, но нам прощали это, и мы красовались.

Паша этот был тот самый Халиль-паша, который и теперь у нас управляет. Но теперь им очень недовольны стали; а тогда, сначала, у него не слишком дурно пошло. И первое дело, что он был обучен во Франции, учился там медицине. Стал султанским доктором, а после уж и пашой его сделали. Нашим простым греческим языком он говорил лучше нас с тобой. В обращении с людьми он был прост и все знать хотел; он обо всем расспрашивал, и сначала, приехав к нам в Крит, все как будто облегчить старался и никого не искал притеснить.

У одного из наших греков в лавке, например, все картинки висели, все наши эллинские геройства 21-го года. На одной Мавромихали, по-майносски одетый, турок пикой колет, глаза ужасные раскрыл. Тут бедного дьяка (Господи, прости его душу!) два крепких турка схватили и вязать хотят, чтоб изжарить живого. А еще на третьей сам Маврокордато, в очках и с длинными волосами и во франкском платье, с большою бумагой в руке, на городской стене стоит, город защищает. А еще на одной картинке, побольше других, Рига Фереос, который стихи писал, знаешь:

До коих пор, о, паликары!
До коих пор в горах, в лесах...

и Кора́ис, который грамматику сделал, нагую женщину с земли подымают (жирная такая, и вся в ранах). Это Эллада освобождается. Рига Фереос и сам толстый, в широкой одежде, стоит, точно монах; а Кораис худенький, худенький, согнулся, как будто ему трудно такую толстую поднять, и одет он в такую франкскую *веладу**, какую консула и другие великие европейцы на балы надевают. Паша раз ехал мимо его лавки верхом, слез с коня и вошел к нему в лавку. Человек испугался, а паша купил у него несколько вещей, посмотрел на стенки и говорит: «У тебя много картин! Нейдет только так их открыто держать,

---

* *Фрак.*

спрячь их себе в дом!» И больше ничего не сказал и ничего человеку не сделал. Вот он каким справедливым притворялся. Очень хитрый человек и очень образованный. Во все мешался сам.

Раз тоже верхом за город ехал, и бросились пастушьи собаки на его лошадь и испугали ее. А пастухи не успели удержать собак, которые были ужасно злы и рвали многих. Паша подозвал пастуха, сошел с лошади и сказал ему: «Если твои собаки на меня бросились так, то что̀ же они могут сделать с пешим и бедным человеком? Разве ты держишь их, чтобы за прохожими охотиться? Поди сюда поближе!» И сам снизошел дать пастуху три пощечины. Другой раз пешком пошел и увидал, что турок конный по сельскому засеянному пшеницей полю едет. Остановил и в тюрьму его: хлеб не топчи.

Я хвалю этого человека, хотя он и турок; но мы, христиане, должны помнить, что все это хитрость!

Ну, хорошо! Коста Ампелас к нему ездит. Халиль-паша его принимает с уважением.

— Что̀ делаешь? Как живешь?

Капитан Ампелас кланяется.

— Что̀ делаю! Кланяюсь вам, моему господину.

Дружба и дружба такая... Страх!

— А подати?

— Что̀ ж, паша-эффенди; земля бесплодная, камень, снег зимой, стужа, дикое-предикое место... Одними овцами какими-нибудь живем. Сами посудите...

— Ну, да, камень и снег... Овец иногда и чужих крадем десятками в нижних округах... И мула уводим — мул нам годится... Даже и невест богатых, и тех похищаем насильно...

Это, значит, паша так говорит, например. И говорит он еще:

— На вас, сфакиотов, все греки в городе и в нижних селах за это жалуются. Говорят, что вы ужасные разбойники.

А капитан ему вздыхает и жалуется (чтоб его как-нибудь тут в городе паша не задержал).

— Это правда, господин мой! Таких разбойников, как наши молодые ребята горные — свет не видывал. Нам за ними усмотреть очень трудно... Что̀ нам с ними делать прикажете? Прикажите, мы старшие, то и сделаем с ними, что̀ вы нам прикажете.

— Если вы не можете за ними смотреть, я начну сам, — угрожает паша.

Так это дело идет между ними понемножку. А податей все нет! И терпелив паша, не гневается. Увы! он хитрее нас был. Вышел опять случай, овец наши к себе снизу опять загнали и кой-какие дела другие молодецки обработали. Халиль-паша не ищет строгого наказания. А вот каким средним путем идет, чтобы жители другие и горожане видели, что паша хочет сфакиотов обуздать, но вдруг не может. А наши: «Вперед, ребята! еще что-нибудь давайте сделаем! Не бойтесь, у паши либо *лицо очень мягкое*, либо он хочет всем людям на острове понравиться, чтоб его все и сфакиоты и не сфакиоты любили. Айда! Вперед, паликары мои!.. Не бойтесь».

Вот глупость-то.

И больше всех глупостей мы с братом Христо глупость задумали.

Теперь смотри, Аргиро моя, начну я сейчас о любви этой говорить. И если ты хочешь правду знать, не мешай мне рассказывать, не ревнуй. Зачем тебе ревновать? Я муж твой, говорю я тебе, и люблю тебя сильно.

III

Первый раз мы с братом Христо увидали эту Афродиту, которая теперь ему жена, на арабском празднике около Канеи.

Отца Афродиты зовут Никифор Акостандудаки; у него есть дом в Канее и лавка и еще дом в селе Галата́, недалеко от города. В Галате у него есть масляная мельница, большая; виноградники хорошие; маслин целый лес

прекрасный и много овец. Видный мужчина, полный, широкий, высокий, белый, усатый; богатый человек! Одевается всегда Акостандудаки так чисто, что удивляться надо! Я никогда не видал его иначе, как в тонком цветном сукне, и шальвары, и жилет, и все. Он на вид лучшего хорошего бея турецкого. Лигунис-бей и Шериф-бей наши, право, кажется, хуже его одеваются. Это много значит, потому что старый Лигунис-бей так красоту и чистоту, и роскошь любит, что до сих пор волосы и бороду красит европейским лекарством; а старик Шериф-бей весь белый, не красится, но каждый день не иначе, как в светло-небесного цвета шальварах красуется, и когда лежит на ковре с чубуком, в своем цветнике, между фиалками и розами, так сам издали сияет, как цветок в цветниках, и феской пунцовою, и этими небесно-голубыми шальварами, и белою бородой... Он даже на одну зиму в Париж лечиться ездил — Шериф-бей; вылечился и опять приехал. Вот какие беи! А я тебе говорю, что Акостандудаки, отец Афродиты, никак не хуже их на вид казался. Немного было только лицо его оспой испорчено. А что̀ он за человек — хороший или дурной, затрудняюсь сказать я тебе. Одни хвалят, другие хулят. Говорят, что денег чужих процентами много в жизни своей съел. Но это его грех, его забота, а мне он худого ничего не сделал.

Когда мы его увидали, он уж давно был вдов, и было у него еще одно большое огорчение. Сына молодого у него в кофейне люди зарезали за спором одним, и осталась у него только одна эта Афродита, дочь. Она сначала была в Сиру на обученье отправлена, но когда убили сына, Никифору Акостандудаки стало слишком скучно одному в доме, и он возвратил Афродиту из Сиры домой.

Наш старик, Коста Ампелас, имел некоторые торговые дела с Никифором и знал его давно. Увидал его на арабском этом празднике, и стали они между собой разговаривать, а мы с братом оба смотрели на его дочь и ничего друг другу не сказали тогда. Ни он мне не сказал ни слова, ни я ему ничего не сказал.

Я очень жалею, что ты не видала никогда этого арабского праздника у нас, в Крите. Это очень смешно и очень красиво. Знаешь, стены у канейской крепости огромные, высокие, древние, у самого моря; и весь город (он не велик, всего 14 000 жителей) внутри стен. А тут море. Вот под стенами у моря есть гладкое место, песок. И тут живут арабы чорные, кажется, из *Миссúра**. Маленькая деревушка. Есть еще тут и другие арабы — арабы белые; те в шалашах, а не в домиках, немного подальше живут. Это совсем другие арабы — несчастные люди, оборванные, из Сирии. А чорные арабы — это великое утешение! Веселые люди! Ты знаешь, как женщины у них одеваются? Почти как турчанки, только не совсем. Прежде всего скажем, что лицо чорное это у нее открыто... Прятать нечего! А вместо *феред*же турецкого на них синие или какие-нибудь другие полосатые простые покрывала надеты.

И станут они все в круг, и арабы, и арабки чорные, и у каждого палка в руке, и у женщин тоже палки. Музыка — *дзиннь!!!* И начинается пляска с пением. И начинается, и начинается. За руки не берутся, а навстречу друг другу в круге танцуют и палками по палке: «дàнга! дàнга! дàнга! дàнга!» стучат.

Музыка, песни громкие, палками стук, стук... А женщины вдруг все, как лягушки в болотах, языком защелкают, ужас как громко...

Весь народ кругом тотчас же и засмеется. Другой человек и не может так особенно языком сделать, а они умеют.

Очень весело!

Франки, из самых больших городов приезжие, и те не гнушаются этим зрелищем и веселятся им.

И что̀ еще скажу я тебе, моя Аргиро, очень тогда красиво. Это то, что турчанки городские из лучших домов соберутся в это время на высокую городскую стену и от-

* *Из Египта.*

туда глядят, сидя почти все толпой, потому что стена широка наверху. Головки у них у всех в белых покрывалах, а *фередже* свои они на праздник лучшие, разноцветные наденут. Итак, что вся стена наверху... не знаю, как тебе и сказать, до чего это весело и хорошо. Цветы ли разноцветные назову это я, или как в цареградских магазинах материи дорогие на окнах разные, или... скажем, картинки такие бывают... Разные, разные *фередже* эти: красные, зеленые, жолтенькие, как лимон, и голубые, как небо, и чорные... Всякие...

А внизу, под стеной, и христиане, и франки, и евреи, и арабы эти и тоже турки и турчанки сходятся, — народу, народу! И мы стояли, смотрели и веселились.

Конечно, мы за родину нашу и за наши горы умираем — любим родину, но все же город, столица вилайета. И мы не так глупы, чтобы не могли этого понять, Аргиро моя!

Мы смотрели, но видели, что и на нас глядят люди хорошо, потому что мы, говорю я тебе, все молодцы и красивые дети были.

Вот встретились Никифор Акостандудаки с капитаном нашим и заговорили. Около Никифора мать его, старуха, и дочь. На вид ей не больше семнадцати лет, и платье у нее было короткое...

Аргиро, *прерывая его стремительно.* — А какое у нее было это платье?

Яни, *пожимая плечами.* — Какое? à la Franca платье. Хорошее...

Аргиро *с беспокойством.* — Нет, барашек мой, нет, Яни мой... Целую твои глаза, ты скажи мне, дай Бог тебе жить за это долго, какая у нее, у Афродиты, была одежда?.. Одежда моды?..

Яни, *вспоминая.* — Да! одежда моды. Я говорю, что ее в Сире учили. Стой, вспомнил. Кисейное розовое платье было на ней и косы сзади длинные. И серьги бриллиантовые. И пояс шолковый чорный, большой, широкий с бантами, с бантами. Она хорошо была одета, Афродита!

Аргиро, *с небольшим вздохом.* — Да! Это прекрасная одежда! Хорошо. А потом что̀? говори, Янаки, свет мой, говори, я тебя со всею радостью моей слушаю!..

Яни *продолжает рассказ.*

— Хорошо. Она стоит, эта девушка, и мы стоим. И мы не глядим на нее прямо, и она не глядит, конечно. А я думаю, и она нас видела. Что̀ брат подумал тогда, не знаю. Может быть, он тогда же задумал похитить ее и в горы с собою силой увезти. Но я для себя ничего такого не подумал. Может быть, что-нибудь и подумал, только не помню что̀, вот тебе Бог мой! Конечно, как это может быть, чтобы молодец двадцати лет на молодую девушку посмотрел и уж совсем бы ничего не подумал? Что-нибудь дьявол непременно внушит ему подумать. А иногда, может быть, и Бог сам внушит какую-нибудь мысль. Например, когда ты стояла три года тому назад под маслиной и ничего не говорила, а я говорил с сестрой твоею тою двоюродною, которая за капитаном Ла́мпро замужем. А я видел тебя хорошо. И думаю тогда: должно быть, хорошая будет скоро невеста эта чорненькая девочка. Что̀ за глаза Бог ей дал!.. И такая сама тихая, претихая и смиренная. Вот подросла бы хоть год еще, так бы взял ее! А может быть, и демон у нее в сердце! Кто знает! А потом отошел и забыл, и уехал. А потом приехал, увидал опять и стал просить тебя за себя. Тут судьба, конечно, Божий промысл, чтоб я счастье хорошее имел, чтобы мы жили благочестиво и приятно с тобою. А бывают, конечно, и другие мысли у людей молодых и у всякого даже человека, скажем и так.

Аргиро *проницательно, несколько тревожно.* — А какие это такие были у тебя мысли, когда ты на эту на молодую девушку глядел?.. Скажи мне...

Яни, *улыбаясь и пожимая плечами.* — Помню я разве?

Аргиро *ласково умоляет его.* — Скажи, Янаки, дай Бог тебе жить.

Яни. — Где человеку помнить это?

Аргиро. — Скажи, Яни, радость моя! Скажи мне, мальчик мой добрый...

Яни *смеется и краснеет.* — Что̀ я тебе скажу? Стыжусь я, море́, стыжусь!

Аргиро. — Ба! жены стыдишься?

Яни. — Конечно, жены-то и стыжусь я.

Аргиро, *мрачно.* — А! значит худое это?

Яни. — Худа большого не было. А помысл один, говорю я тебе, море, помысл такой пришел. Видишь, Афродите было, как сказал я тебе, всего семнадцать лет. Косы у нее висели сзади из-под капеллины* этой франкской толстые, толстые. И сама она была тоненькая, а лицо у нее было белое, пребелое и свежее, пресвежее. Я посмотрел на нее и подумал: вот эта Никифорова дочь, на что̀ она похожа? Она похожа, мне кажется, на яйцо переваренное, очень белое и очень твердое, если его облупить и вот так посмотреть.

Аргиро, *слегка смущенно, прищуриваясь с презрением.* — Ба! какие глупые вещи я слышу!

Яни. — Я говорил, что пустой помысл. Больше ничего я и не думал. Посмотрел и отвернулся. А Никифор Акостандудаки говорит капитану нашему: «Завтра, капитан, буду вас ждать к себе в Галату, к полудню. Сделайте нам честь. И с молодцами». Посмотрел еще на нас, на меня и на брата и на третьего еще, который был тут с нами, посмотрел и обрадовался. Оглянулся, видит, турок близко нет, и говорит Ампеласу нашему, головой на нас показывает: «Надежда родины нашей!» Капитан отвечает: «Дети хорошие». Тем тут все и кончилось. Больше ничего не говорили. А на другой день поехал наш капитан в гости к Никифору Акостандудаки в Галату. — *Останавливается и смотрит на Аргиро. Аргиро задумчиво молчит, играя концом пояса.*

Яни, *помолчав.* — Аргиро!

Аргиро *не отвечает.*

---

* Шляпа.

Я н и. — Аргиро моя? Что ты?..

А р г и р о *встает.* — Ничего. Дело есть в комнате. *Входит в дом.*

Я н и *остается один и думает, улыбаясь.* — Девочка еще! Мала, глупенькая. Любит и ревнует. Не рассказывай ей этого прошлого — ревнует. «О чем вздыхаешь? О Никифоровой дочери? Расскажи, расскажи». Рассказываешь, обижается. Что делать! Терпение. *Вынимает кошелек с деньгами, высыпает на стол небольшую кучку золота и серебра и считает. Потом с улыбкой.*

— Ставра́ки теперь меня проклинает. Я дорого взял с него за мула, а мул с норовом и людей сбивает на землю. Ставраки завтра скажет мне: «Ты наругался надо мной, христианин-человек! Теперь я стал человек глупый пред всеми». А я ему скажу: «Что делать, Ставраки, друг мой, зачем ты не смотрел на животное это открытыми глазами? Не правда ли, что и я должен есть хлеб». Это не вредит, и Ставраки помирится. А я куплю теперь для Аригро золотые серьги, чтоб она веселилась. Я очень люблю, когда она как коза прыгает предо мною! — *Вздыхает задумчиво и потом запевает клефтскую песню:*

Кто же видел солнце вечером и звездочку полуднем,
И чтобы девушка пошла с разбойниками в горы?
Двенадцать клефтам лет она разбойником отбыла.
Никто не мог ее из молодцов узнать, никто!
И Пасхой раз одной, и Светлым днем Великим,
Пошли играть в ножи, и камнем кто получше кинет.
И вот от молодечества ее, от нуженья лихого
Вдруг расстегнулась пуговка, и показалась грудь...
Один то золотом зовет, а серебром — другие...
И говорит разбойничек один — молоденький им молвит:
«Не серебро, ребята вы, не золото тут вовсе,
Грудь это девушки, сосцы раскрылись красной».
«Молчи! разбойничек, молчи, мой умный мальчик...
И я хочу уж мужа взять, тебя желаю мужем!..»

А р г и р о, *показываясь на пороге жилища, с притворным пренебрежением.* — Довольно тебе петь. Иди

кушать. Мы знаем, кто такая эта девушка с вами, разбойниками, по горам таскалась. Все она же, эта Никифорова дочь! Иди кушать.

Я н и *про себя:* — Она уж не сердится больше. *Идет в дом.*

IV

После обеда Яни выходит опять на двор и садится. Аргиро просит его опять рассказывать.

Я н и. — Хорошо; теперь о том, как мы познакомились поближе с этою Афродитой.

У Акостандудаки в доме в селе Галата мы пробыли до вечера. Все видели, все смотрели у него. Мельницу его масляную видели; кушали, вино пили. Афродита сама подавала капитану и нам кофе и варенье. Бабушка Афродиты, добрая старушка, сидела тут же; был еще и доктор Вафиди с женой; лучший доктор в городе и у паши в большом уважении. Акостандудаки потом за музыкой послал. Пришли подруги к Афродите и начали мы с ними на большой террасе наверху танцовать. Хорошо провели несколько часов. Я немного стыдился; а брат Христо ничуть не стыдился даже. Подошел прямо к ней, к Афродите, и ни... даже не улыбнулся ей... ничего! Просто берет ее за руку и выводит на середину, в танец с другими становит. Она встала; но вынула тоненький *лино* платочек, подает брату и тихо говорит ему:

— За платочек будет гораздо лучше! — Сама же в это время краснеет.

Брату это показалось, кажется, обидно. Я заметил. И, разумеется, это была гордость: зачем это ей, архонтской дочери, такой богатой, руку прямо в руку сфакиотскому горцу класть? Однако они танцовали долго вместе; брат за один конец платочка держит, а она за другой. Протанцовал брат; я решился вести танец; опять взял ее же. И я через платок. Она танцовала хорошо. Потом села; стали отдыхать и другие девушки. Я (не ей, потому что вижу, что она очень горда), а другим девушкам говорю:

— Устали?

— Устали немного, — они отвечают. — Впрочем теперь не лето; воздух прохладен.

Я говорю:

— У нас в горах еще холоднее.

Тогда одна из девушек спрашивает меня:

— Удивляюсь, как это вы терпите там зимою при снеге?

— Терпим! — говорю я. — Очаги зажигаем; а у вас здесь внизу, конечно, очагов не нужно.

Другая еще девушка тогда говорит:

— У нас здесь внизу все хорошо; а у вас там дикое место!

Я говорю:

— Что̀ делать! Терпение нужно! Бог нам помогает!

Никифорова девушка все молчит. Потом вдруг сама:

— От наших танцев что̀ за усталость; мы здесь тихо танцуем. От европейских танцев в Сире я уставала больше: от вальса голова кружится, а польку очень скоро иные танцуют.

Одна чорненькая ей на это:

— Ах! наши критские молодые люди такие варвары. Они таких танцев не знают совсем. Еврей Жозеф очень хорошо танцует à la франка, и польку, и вальс. Он в городе у австрийского консула писцом служит.

А маленькая Акостандудаки ей с пренебрежением ужасным:

— А! что̀ ты говоришь, Мариго! Что̀ ты нашла! Этот жид!..

И точно этот Жозеф был вещь ничтожная вовсе.

Потом вдруг Афродита ко мне обернулась и спрашивает:

— Отчего вы с братом не протанцуете ваш пиррийский танец, что̀ с позвонками на ногах? Кто видел только, его все хвалят. Это очень древний и красивый танец. Я бы желала видеть.

Я на это ей, смеясь, говорю:

— Надо к нам пожаловать... Туда, наверх. Милости просим к нам в Сфакию; там будут у нас и позвонки эти, о которых вы говорите, и мы можем для вашей чести с удовольствием протанцовать все, что̀ вы пожелаете.

Она говорит:

— Как я туда поеду! — И больше ничего не сказала.

Доктор тогда подошел к ней и говорит:

— Дитя мое! отчего ты все такая суровая? Глазки у тебя небесного цвета и волосики золотистые, приятные такие, и сама ты беленькая и молодая, а глядишь на людей все сердито... Прошу тебя, улыбнись!..

Афродита улыбнулась ему. Доктор был у них в доме давно как родной и с ней обращался как отец.

— Вот, — говорит он, — как я рад, что ты засмеялась! Меня твоя суровость с молодыми людьми огорчает.

Докторша и бабушка Афродиты за нее вступаются. — Девушка должна стыдиться и быть скромною.

А доктор:

— Пусть будет скромна! Но в благословенном Крите нашем не так, как в иных областях турецких заведено, чтобы девицы с молодыми людьми боялись говорить... Мы здесь люди иные... У нас Венеция тут была прежде... Прошу тебя, Афродита, встань для меня, который тебя еще маленькою столько раз носил и баюкал, утешь меня, встань и протанцуй еще раз с любым из этих красивых ребят...

Она сказала:

— Извольте, с удовольствием! — встала и ко мне обратилась. — Господин Яни, пойдемте с вами! — Подает руку уж прямо, без платочка, и глядит, и глядит на меня, тихо, молча все глядит... И танцовала она тоже, то опустит глаза, то взглянет немного опять на мои глаза. Это все пустяки, это ничего не значило. Так она всегда смотрит. А я тогда возгордился в уме и, танцуя, думал: «Значит из всех молодцов я ей понравился. Я сжег ей сердце... Как это приятно! Как мне это нравится, что она предпочитает меня другим!»

А все было оттого, что я к ней ближе других стоял в это время. Но я был глуп тогда и с той минуты, как подержал ее за руку в танцах, полюбил ее и стал об ней думать.

К вечеру капитан и мы все уехали в город, и больше ничего в этот день в доме Никифора у нас не случилось.

Потом мы все вместе, капитан наш, и доктор Вафиди с женой, и сам Никифор сели на мулов и поехали в город. Никифору нужно было по делу ночевать в городе.

Много дорогой шутили и веселились. Никифор с доктором опять о турках спорили. Доктор всем восхищался. — «И воздух хорош, и цветочки хороши!» В это время весной, у нас в Крите, точно так же, как здесь на вашем острове, Аргиро, по горкам и по холмикам цветет множество этих самых розовых цветов на низеньких кусточках, которые теперь ты видишь... Вот смотри прямо. Вся горка от них как будто красная стала. И на них доктор Вафиди радовался. Он говорил: «Вот, кир-Никифоре́, как приятно в таком сладком климате жить! И такие цветы по горкам видеть!» А супруга его смеется: «На что тебе цветы, врач мой? Когда бы ты был молодой, то девицам подносить хорошо. А ты уж не так молод!» — «Радуюсь!» — отвечает доктор. А Никифор ему: «Радуйся! Радуйся! А ты забыл, как в 58 году при Вели-паше нас хотели ночью турки в Канее всех перебить? Как они труп того мальчишки-христианина за ноги по мостовой волочили? Как в Сирии они поступали? Не ты ли сам тогда, в 58 году, ко мне пришел бледный, как тебя ноги едва держали, как зубами ты тогда стучал?.. Трех лет тому еще не прошло, а ты забыл это». Доктор отвечает ему: «Оставь эти печальные вещи! Что̀ тут до турок за дело, когда я говорю о цветочках и о сладости климата на родине нашей! Освободитесь, я буду рад; и я эллин; — но я говорю, что и теперь нам жить приятно; а в 58 году наши же бунтовали и 10 000 народу из гор собрали... все Вели-паша да английский консул, его друг, виноваты одни. Английский консул двери свои христианам запер, когда они бежали спастись, а другие консулы открыли». Так они всегда спорили, хотя

и были очень дружны. Нам, молодым, было очень полезно и занимательно знать мысли старших людей, и мы молча их слушали. И капитан Ампелас больше молчал и тоже слушал их. Пред самым городом, с этой стороны, в маленьких хижинках живут у нас прокаженные. Их сюда отделяют, когда на них нападает эта зараза, и они, несчастные, живут тут все вместе. Все они в ранах и болячках каких-то ужасных, и лица у них испорчены и гниют, так что смотреть очень противно и жалко. Я и не разглядывал их хорошо. Боялся глядеть. Проезжие им деньги бросают, и мы все им бросили. И капитан, и доктор, и Никифор. Докторша потом говорит мужу: «Врач мой добрый, зачем это такое дурное распоряжение начальства, что эти несчастные люди свое безобразие на дороге всем проезжим показывают? Я видеть этого не могу; их бы в другое место убрать». Вафиди говорит: «Да, это неприятно; только не мне, потому что я привык; конечно, не все доктора!» А Никифор и тут несогласен; упрямый был человек! — «Нет, говорит, это хорошо! Надо нам, богатым и счастливым людям, показывать эти язвы прокаженных. Чтобы и мы помнили, как Бог карает людей за грех!» А капитан Ампелас говорит ему: «Почем ты знаешь, кир-Никифоре, что у них больше твоего грехов? Душа у несчастных этих еще лучше нашей... Стой, я еще дам им денег! Ну-ка и ты дай, кир-Никифоре, еще»... Никифор ему: «Отчего не дать; что эти пустяки значат»... И оба довольно много бросили... И всем было это очень приятно видеть, что они по-христиански поступили оба: и капитан наш, и Никифор. Миновали мы прокаженных и подъехали к самой Канее. Чтоб от Галаты въехать в ворота крепостные, надо ехать сначала по широкой дороге около глубокого рва, и за рвом этим превысокая стена старой крепости. Слышим, играет военная музыка. Стоят турецкие музыканты на стене и так хорошо и громко играют! Прекрасно! Громко, сильно, хорошо! Что-то военное! Никифор сейчас опять затрогивает Вафиди, смеется: «Э! врач мой! Смотри-ка, твои друзья честь нам делают! С музыкой нас встречают. Айда, — сфакиоты мои, прицелиться бы вам в них

хорошо теперь отсюда и посмотреть, как бы они вниз со стены падали... Я думаю, феска бы прежде свалилась, а потом уже сам».

Капитан за нас отвечает:

— Час еще их не пришел, кир-Никифоре! Я тебе, милый мой, скажу вот что: ездил я не так давно в Вену по делам моим и видел там молодого черногорца: было ему всего, кажется, двадцать, не больше, лет; он ехал в Россию и имел рекомендательное письмо от своего черногорского начальства, где было так сказано: «Он отрубил уже пять турецких голов!» Вот, друзья мои, так бы и я желал рекомендацию когда-нибудь дать молодым сфакиотам! Зачем черногорцам лучше нас быть?

Мы говорим:

— Благодарим вас! и мы очень желаем этого.

Музыка все играет; мы все едем вдоль рва и стены шагом и веселимся. Пред тем, как налево к воротам крепостным поворачивать, на правую руку есть тут очень красивое турецкое кладбище. Много белых мраморных памятников и кипарисы стоят огромные, темные-темные и очень толстые. Трава была тогда между могилами очень жирная, густая, высокая и зеленая. И много красного маку и других цветов на этом кладбище цвело... Никифору захотелось опять пошутить над доктором; но тут уж доктор рассердился: видно, наскучили ему эти шутки и разговоры о турках. Никифор нам тихо сделал знак глазом и головой и спрашивает:

— Отчего, доктор, как ты думаешь, трава на этом турецком кладбище такая густая и жирная?

Доктор сначала еще не рассердился и отвечает, улыбаясь:

— Люди хорошие: торговали* в городе честно, жили покойно, с хорошею совестью. Жиру на них поэтому было много, и трава у них на могилах густа.

---

* Торговля в критских городах преимущественно в руках местных мусульман, *греческого же происхождения*; в этом отношении Крит не сходен с другими городами Европейской Турции, где мусульмане обнаруживают мало коммерческих способностей.

На это Никифор ему отвечает с досадой:

— Этот красный мак, что̀ такое? Это кровь христианская выступает, которую они столько времени пьют!

Тут Вафиди рассердился и закричал:

— Что̀ ты, Никифоре, сегодня все кровь и кровь... Это неприятно! Разве я не грек, не патриот? я, может быть, лучше тебя! Ты воевать не пойдешь сам с турками, не беспокойся! Я люблю свою родину и свой народ; но ненавижу тех, которые пустословят из тщеславия и вредят этим народу, возбуждая его некстати... Ты все о крови сегодня говоришь, потому что у тебя у самого кровь волнуется от вина... Много вина выпил ты, вот что̀!

Никифор еще больше его оскорбился и говорит:

— Я свое вино пил, а не чужое.

А доктор:

— Это глупо.

И начали ссориться. Капитан Ампелас и докторша мирят их... И так мы подъехали прямо к воротам крепостным. Поворотили... Вижу, вдруг остановились и капитан, и Никифор, и Вафиди. Все с мулов и лошадей соскакивают на землю... Никифор даже побледнел. Все они глядят куда-то в середку, остановились и кланяются. Сошли и мы; и вижу я, стоят аскеры под воротами. Еще какие-то люди, не шевелятся. И тот начальник, который при воротах начальствует, стоит. А сидит, свесив ноги вниз на его окошечке, на подушке, один человек из себя не молодой, красноватый, усы у него подстриженные, рыжие, и читает какую-то бумагу... В одежде простой, чорной. Это был сам Халиль-паша. Он проверял сам какие-то дела у того чиновника, что̀ к крепостным воротам приставлен был. Тут я его в первый раз увидал. Он опустил бумагу, доктору особо поклонился и оглядел нас всех и не благосклонно, и не гневно, а просто так посмотрел, и спросил Никифора:

— Вы откуда это все вместе?

Никифор точно как будто смущен, торопится:

— Это они у меня по делам в Галате были...

Потом паша как будто посуровее и очень внимательно посмотрел на нас с братом и спросил у капитана Ампеласа построже, чем у Никифора:

— Это кто такие?

Капитан ему почтительно:

— Это, паша господин мой, братья Полудаки, Христо и Яни, наши сфакиоты. Дети моего друга, который уже умер.

Тогда паша обратился к офицеру, который около него стоял, и сказал ему:

— А зачем же на них оружие, когда это запрещено? И вы сами разве это не знаете? Тебя, старик Коста, я запру надолго в тюрьму за это в другой раз. Снимите все ваше оружие и отдайте аскеру.

Что̀ делать! Вынул капитан пистолет и нож из-за пояса; вынули и мы и отдали аскеру. Э! Свобода! Свобода! Где ты? Пропала вся наша гордость и вся наша краса! Отдали оружие аскеру, и тогда паша махнул нам всем рукой: «Идите». И мы со смирением и с почтением все прошли мимо него пешие под ворота в город.

Оружие это мы никогда уже и не получили назад. Так мы должны были все купить новое пред возвращением в горы. Так неприятно этот вечер наш кончился! Никифор после говорил доктору, как слышали, так:

— Очень я теперь боюсь, что паша недоволен мною. С этими сфакиотами вместе... Ножеизвлекатели, клефты! Очень боюсь я теперь, чтобы все дела мои не испортились после этого!.. Какой анафемский час вышел мне!

И долго еще он все убивался об этом, что паша будет что-нибудь о нем в политике нехорошее думать.

V

После этого капитан Ампелас с остальными паликарами возвратился домой, а нам с братом поручил кончить в Канее и в ближних селах некоторые торговые дела. Нам это было выгодно, и мы получали с братом при этом хоро-

шие деньги. Мы думали сначала, не пригласит ли нас к себе в дом Никифор Акостандудаки, но он ничего нам об этом не сказал, и мы жили у другого человека по соседству недели две, может быть. Брат меня посылал чаще в город, а сам чаще оставался в Галате. Я тогда ничего не замечал, и даже на ум мне не приходило, чтобы можно было мне ли самому или брату жениться на Афродите. Был в городе Канее один богатый итальянец, синьор Прециозо, и у него были две дочери. Одну звали Розина, и она была уже не молода и замужем, а другую звали Цецилия. Этой Цецилии было, кажется, не больше шестнадцати лет. Она была из себя полная и веселая, только не очень красивая. У синьора Прециозо был в Галате прекрасный дом большой, и он был человек простой и старинный. Он сам уже давно жил в Крите и с нами свыкся. Его любили у нас и осуждали только за одно, за то, что он хотел помогать католической пропаганде. Лет шесть-семь назад (я думаю столько будет) приехал очень искусный *фра̀нкопапа́с** и вместе с французским консулом стал обращать наших людей в папистанов. Франкопапас уверял людей наших, что если только перейдут под папу и сделаются католиками, то они будут сейчас все французскими подданными и что император Наполеон будет защищать их все равно, как подданных настоящих. Люди толпами стали идти во французскую церковь, и франкопапас всех их записывал в тетрадку по именам. Он старался всячески угождать христианам и ласкал их. И если что случится, то сейчас и он, и купцы-католики, и французский консул, и австрийский (старичок был злой такой и скучный; он теперь помер), все франки за этих людей. Таких людей зовут унитами. «Вы будете всегда греками, не бойтесь, говорят, а только и будет, что папа... Что̀ вы боитесь, ведь и мы во Христа Распятого верим, и первым епископом Римским был сам апостол Петр, которому Христос дал ключи от Царства Небесного»... За некоторых подати заплатили туркам. Турки, ка-

* Католический священник.

жется, недовольны были, но что же они против Наполеона могли сделать? Хорошо! Постой, постой... Немного времени прошло, всего дня три-четыре, кажется. Увидал меня в лавке своей синьор Прециозо и узнал, что мы с братом поселились для дел наших по соседству Никифора. А у Прециозо дом был тоже близко. Старичок и так и этак пред нами: «Дети мои! Дети мои! Отчего вы никогда ко мне не ходите? Я вашего отца знал... Милости просим ко мне в Галате в гости...» А сам думает и нас с братом обратить во франкскую веру. Мы говорили: «Что за добрый, что за гостеприимный человек!..» И стали ходить к нему. Дочери с нами свободно разговаривали, особенно младшая. Она была очень свободна; еще когда маленькая совсем была, то всегда с греческими нашими детьми по улицам бегала и играла, и не спросясь у отца все делала. И всегда веселая, всегда смеется или поет, или кричит, или разговаривает. И простота у нее такая, что это удивительная вещь. Другие девушки купеческие гордятся, а она: «Синьор Яни! Синьор Христо! Хочешь варенья? Хочешь кофею? Я тебе принесу». Бежит, несет, угощает, как простая служанка нам служит.

И все поет: amore!.. (Ты, Аргиро, знаешь это итальянское слово: amore, это значит — *эрос*). Вот она все это слово пела; у нее все amore на уме была. С Афродитой они были дружны. Только Цецилия была проще; а наша разумнее была и тише ее. Афродита к ней часто ходила, и они вместе работали что-нибудь у окна или на террасе, или в тени, под виноградным навесом. Однажды мы с братом вернулись из города, сидим на стенке в саду и курим, не видим, что девушки подошли к окну и на нас глядят. Цецилия кинула в нас апельсином. Мы взглянули. Афродита: «Ах, что ты делаешь, сумасшедшая». И спряталась. А Цецилия: «Великое дело». Я взял апельсин и мечу в нее. Она кричит: «Стекло, Янаки, разобьешь. Отец бранить будет». А брат мой: «Не бойся, синьорина, не бойся! Брат мой, Яни, сфакийский стрелок. У него глаз верный. В тебя попадет, а не в стекло». Я бросил и точно попал в нее.

Она в нас двумя бросила. Мы опять в нее. Афродита думала, думала и тоже бросила апельсин; Христо поднял его и говорит: «Этот я не отдам, а съем его!» И начал есть, и говорит: «Боже! Что̀ за вкус». Афродита покраснела и ушла домой вскоре после этого. Цецилия удерживала ее, однако она ушла. Тогда Цецилия возвратилась и говорит нам прямо: «Смотрите! какая гордая! А сама вчера мне хвалила вас. Я вас хвалила прежде, а она начала тоже хвалить вас после. Я говорю: вот они оба какие хорошие, какие красивые, какие белые, какие у них руки и ноги красивые! Я говорю еще: какая приятная вещь, если таких любишь!» А она мне говорит: «Когда б они здешние были и купеческие дети». Я ей говорю: разве тогда бы другие были, приятнее были бы? Все равно! Мне они оба нравятся. А она говорит: «Я боюсь!» Тогда брат сказал Цецилии: «Синьора Цецилия! Вы напрасно не сказали Афродите так: пусть у братьев Полудаки денег будет много, и они будут купцы».

Цецилия говорит: «Хорошо, я ей скажу это».

Брат сочинил тогда для Афродиты и Цецилии такое маленькое письмецо:

«Мы, сфакийские молодцы и ребята из Белых Гор, Христо и Яни, братья Полудаки — это пишем. Мы очень огорчены! Есть по соседству в саду хорошем померанчик с померанцового дерева и яблочко из Италии, и мы желали бы на них полюбоваться и веселиться ими. Однако боимся, чтобы не было им от наших мыслей этих неприятностей. Если у нас есть судьба и счастье, у Христо и у Янаки, его младшего брата, то это будет. А если не будет, то мы очень огорчимся.

Христо и Яни, братья Полудаки
из Сфакии, или Белых Гор».

Цецилия прочла и смеется:

— Если ты католиком бы сделался, я бы с тобой убежала.

А хитрый брат:

— Если бы ты сделалась православной, я бы тоже тебя любил. А теперь коли ты меня любишь и нам с тобой синьора, венчаться нельзя, то хоть бы ты изволила снизойти и помочь мне, чтоб Афродита кого-нибудь из нас полюбила, либо брата, либо меня.

Цецилия говорит:

— Хорошо! Я с удовольствием постараюсь. — И стала стараться.

Сама учит брата: «Христо, цветочков ей поднеси». Брат нарвал жасмина побольше, на тонкую палочку цветок к цветку снизал и пошел к Акостандудаки в дом и отдал Афродите, но что̀ они говорили между собою, не знаю.

Только на другой день такое было нам веселье! С утра зовет нас Цецилия и говорит:

— Сегодня после обеда отец у сестрицы в городе останется, а я кухарку ушлю, и вы будете тут; Афродита придет.

VI

Мы в величайшей радости оба ждали вечера с нетерпением. Сердца наши горели. Только я больше стыдился, и пока в городе были, брату не говорю ничего, а все смотрю на него, то на часы, когда домой...

А Христо на меня взглядывает и улыбается. Потом говорит тихо, при людях: «Яни! не пора ли нам к итальянке возвратиться».

Я отвечаю и сам краснею:

— Ты знаешь...

Он говорит:

— Поедем!

Я обрадовался, и мы мигом доехали до Галаты, и точно что провели время очень приятно. — Только ты, Аргиро, опять будешь гневаться.

Аргиро. — Не буду, не буду, душенька, рассказывай. Как я такие вещи люблю слушать! как книжка!

Я н и. — У синьора Прециозо в саду была длинная дорога прекрасная; по сторонам ее были каменные столбы; и на столбах все перекладины и вился виноград, так что над всем этим местом была прекрасная тень от винограда. По этой дороге гуляли Цецилия с Афродитой, ждали нас из города. И служанку они услали вовремя, так что мы нашли их одних.

Афродита показывала некоторую суровость и не улыбалась даже ничуть. Мы их приветствовали с добрым вечером, они пожелали нам того же, и тогда только увидали мы, что Афродита держит в руке маленькую бумажку. Вижу я, брат краснеет и спрашивает ее:

— Как вы, деспосини моя, провели время?

Она тоже краснеет и говорит серьезно: «Благодарю вас, очень хорошо!» А Цецилия: «Записочка ваша, синьор Христо, нам очень понравилась. Вот Афродита держит эту бумажку; мы вам после ее покажем». А брат говорит: «Я очень рад, что вам моя записочка понравилась. Простите нашей простоте; как знаем, так и пишем».

Афродита ничего, только поднимает на брата вот так глаза кверху и спрашивает: «Вы, Христо (не говорит ему ни господин, ни синьор, а просто — Христо), вы, Христо, разве читать и писать умеете?»

Брат улыбнулся и говорит:

— Немного умею.

— Вы, значит, сами эту записочку написали?

Брат смеется:

— Конечно, сам.

— Вы где учились? — она еще спрашивает.

Брат сказал ей, что мы с ним оба сперва учились в селе нашем у священника, а потом у афинского учителя.

Девицы удивились и спрашивают: «Разве вы были в Афинах? Удивительное дело!» Тогда мы рассказали им, что года еще три тому назад выписали сфакиоты наши одного хорошего учителя из свободной Греции. Но паша никак его из города в горы выпустить не хотел, и эллинский консул сам напрасно об этом старался. Турки гово-

рили, что из Афин учители, или из России все бунтовщики бывают и все учат по селам: «Народность! Народность!» И не пускал. Тогда трое наших молодцов приехали сами вниз; переодели учителя: сняли с него европейское платье, надели на него критское; верхом ночью с ним ускакали в горы. А оттуда уж туркам где его достать!

— Вот он нас очень хорошо учил. Мы уж большие к нему ходили.

— Любите учиться? — спрашивает Афродита у меня.

Я говорю ей:

— Какой же человек это будет, который не будет желать иметь открытые глаза и не будет иметь охоты узнать все Божие вещи на этом свете.

Афродита замолчала и вдруг говорит:

— Я думаю, мне пора домой.

Тогда толстенькая эта Цецилия закричала на нее, всплеснув ручками: «Несчастная ты! Перестань ты ломаться. Не верьте вы ей!» — и вдруг вырвала у нее из рук бумажку и отдала нам: «Читайте, это мы ответ вам написали». Афродита ей: «Ах, ты какая! Что̀ ты! брѐ такая, брѐ сякая...»

А мы: «Теперь сердись, бумажка у нас...» Смотрим, а на ней написано: «Что̀ ж мы будем делать, чтобы вы были довольны?» И подписано внизу:

«Померанец с померанцового дерева и яблочко из Италии».

Мы рады и говорим:

— Дайте нам карандаш или тростник, или железное перышко написать ответ.

А Цецилия отвечает:

— На песке палочкой пишите... Мы отойдем.

И отошли обе далеко. Я говорю брату:

— Что̀ ж мы им напишем?

А брат мне говорит:

— Янаки, буду я на твои глазки радоваться, мальчик ты мой милый, возьми ты скорее итальяночку, а мне с

Афродитой поговорить нужно. Не ревнуй, дитя мое, и та недурна. А у меня есть дело, от которого и тебе будет большой выигрыш. Ты с Цецилией будь посмелее; поцелуй ее и понравься ей, она нам помощницей хорошею будет... Слушайся меня, глупенький...

Я говорю:

— Хорошо, хорошо! Жду; что̀ писать?

Брат взял палочку и написал на песке крупно: «Будем приятно проводить часы». Я запрыгал даже от радости. Бежит Цецилия назад, смотрит, и Афродита за ней тихонько идет и улыбается, а Цецилия прыгает и громко смеется, и в ладоши бьет, и поет уже свою итальянскую песню: «Amore! Amore!» и потом пишет на песке по-гречески: *Пос?* (Как?) Брат отвечает:

— Как вы прикажете.

Тогда Афродита поглядела на него и сказала очень важно:

— Так, как следует честным и благородным паликарам, чтобы девицы не оскорблялись.

Брат говорит:

— Конечно, конечно!

А Цецилия зовет меня:

— Пойдем, Янаки, со мной, я хочу, чтобы ты для меня одно удовольствие сделал.

Взяла меня под руку и увела к дому, а брат с Афродитой на дороге под виноградом остались.

VII

Когда мы с Цецилией остались одни около дома, она обняла меня и сказала мне:

— Сядем здесь.

Мы сели. И я обнял ее тоже; но ум мой был все там, где остался брат с Афродитой. Сказать и то, что Цецилия мне меньше нравилась, чем Афродита; она чернее была, и головка и мордочка у нее были как будто слишком велики;

а глаза малы и рост не велик и, кто знает, что̀ еще, только она мне не очень нравилась. Потом она мне не могла быть невестой по вере своей; а во грех какой-нибудь я впадать не хотел и боялся, потому что отец ее был человек в городе сильный. А с тех пор, как брат мне сказал: «вот бы, если бы за кого-нибудь из нас двоих Афродита замуж вышла, была бы жизнь хорошая нам всем...», я стал думать, что это возможно и очень приятно стать мужем Афродиты, и беспокоился, о чем брат с нею там говорит и что̀ они делают одни. А Цецилия уж очень глупа и проста. Все мне сказала про себя:

— Вот, — говорит, — ты, Янаки, меня не бойся. И ничего не бойся и не стыдись. Я тебе скажу, что я хоть и очень еще молода, а я уж любила одного совсем.

Я говорю ей:

— Я ничего не боюсь!..

И даже поцеловал ее, только без охоты; сам все на виноград, *туда*, смотрю. Цецилия болтает мне свое.

— Да, — говорит; — жил у нас тут мальчик в услужении, Николаки. Отец мой прибил его палкой и прогнал. Он был моих лет; я его любила; только и он сначала ужасно боялся; а я умирала от любви к нему. Красив он был, красив, красив, я сказать тебе не могу. Носил он бархатную чорную феску с кисточкой, а лицо у него было чистое, как у Афродиты, а волосы чорные, и щечки у него были как розы, и глаза большие, как черешни темные... и два пятнышка чорных, маленьких, крошечных на одной щеке были! Пришел он к нам служить из деревни и очень все печален. Прислонится спиной к стенке и поет, и поет, наверх смотрит... Я не могла его видеть; взяла бы его за горло и удавила бы. Прихожу раз к нему и говорю: «Николаки, когда ты так петь будешь, я тебя удавлю». А он: «Хорошо, я не буду петь». Я рассердилась и укусила ему руку. А он заплакал. Много я с ним мучилась. Он все боится. Потом привык. Вот сестрица Розина застала нас, когда один раз мы с ним сидели обнявшись и он рассказывал мне, что он свою мать очень жалеет; а я слушаю,

слушаю и умираю от любви к нему... Сестра нашему папаки сказала; а папаки мне дал две-три пощечины и хотел меня в Италию отослать к родным, чтобы меня там в монастырь отдали на исправление; а его палкой бил и палку сломал; и еще наложил камней в мешочек и хотел этим мешочком его бить; только Николаки стал на колени и говорит ему: «Синьор, не я виноват, а синьора Цецилия. Она все меня трогала. Простите мне». Отец начал сам плакать и отпустил его; сказал только: «Не хвастайся никому». Николаки отвечает: «Я не буду. Я сам стыжусь этого греха». Так никто этого не знает; а тебе, Янаки мой, я это говорю, чтобы ты ничего не боялся и не стыдился, потому что я хоть и молода, а все знаю...

Я ее обидеть не хотел и помнил, что брат мой сказал, чтоб я приласкал ее немного и что она помощницей нам хорошей будет; поэтому я ее поцеловал еще раза два и потом говорю: «Жизнь моя, прошу я тебя, если ты меня так любишь, пойдем тихонько послушаем, что̀ брат с Афродитой говорят одни». Она с радостию согласилась, и мы пошли тихонько за виноградом у стенки. Только такая беда, сучки и сухие листья под ногами трещат, и мы очень долго к ним крались.

Наконец я стал на четвереньки, подполз и гляжу. Они сидят рядом очень серьезно; Афродита зонтиком по песку чертит и вниз смотрит; а брат курит и тоже вниз смотрит. И оба молчат. Потом Афродита говорит: «Это невозможно». Брат мой говорит: «Отчего?» Она отвечает: «Разве я могу жить в горах? Я там от скуки умру». Христо ей на это отвечает: «Я могу внизу поселиться и торговать». А она ему: «Ба! разве мой отец на это когда-нибудь согласится; да и я не желаю. Это все одни шутки, которые все эта глупая Цецилия начала. Теперь я каюсь, что я с такою глупою девушкой связалась!»

Цецилия как вспрыгнет, как выскочит на дорожку, как закричит:

— Вот ты какая! вот ты какая! А сама хвалила их. Сама говорила мне: «Как я, Цецилия, скучаю!» А когда я

сказала тебе: «давай с молодыми сфакиотами веселиться», ты сказала: «Давай! Они мне нравятся! Только я боюсь (ты, Афродита, это говорила), что от них очень луком пахнет». А я тебе тогда сказала: «Отчего? Теперь у них нет поста. Может быть, не пахнет. А теперь я виновата? Я глупая?»

Афродита застыдилась, ничего не отвечала, встала и пошла к воротам и ушла одна домой. Цецилия погналась за ней мириться. А брат говорит мне: «Наше дело, Янаки, не хорошо идет!» Я спрашиваю: «Ты сам сватался?» А он мне: «Не совсем. Я спросил только, может ли она за горца из хорошего дома, из капитанского рода, выйти замуж; а она говорит: «Нет, не могу!»

Я подумал, что он немного лжет, но ничего не показываю и отвечаю: «Значит, кончено дело. Нельзя». А Христо не отчаивается: «Для нас нельзя, а для Бога все возможно. Есть Бог, Янаки, есть Бог... Выйдет судьба — тогда все возможно».

VIII

После этого мы раза три были у Никифора в доме, но Афродита была с нами очень сурова и тотчас уходила, как только увидит нас. А Никифор сам был с нами гостеприимен и любезен и шутил, что мы католиками скоро будем. «Посмотрите, вас скоро Прециозо франками сделает; не ходите к нему часто». И запел: «Dominus vobiscum!».

Когда мы с братом к нему заходили, он угощал нас всегда хорошим вином и сыром, и фруктами и много разговаривал с нами. Бывал также часто у него в гостях доктор Вафиди. И он с нами хорошо обращался. Нам с братом очень нравился патриотизм Никифора. Он все думал о восстании и о свободе; доктор Вафиди, хоть и добрый человек, иной раз с ним не соглашался. Он говорил иногда: «Не знаю, господин Никифор, не будет ли

хуже с этою свободой! Податей будет больше; порядку еще меньше. Теперь, когда паша умный, чем нам здесь худо жить? В газетах афинских пишут про Крит: «Эта несчастная страна!..» А я скажу, страна счастливая! Много вы боитесь турок!.. Народ лихой, смелый — все... Турки вас боятся... Посмотри в других местах как нуждается народ, как бьется, как работает... А у нас, слава Богу, все есть... Посмотрите, как хорошо у нас, как весело в селах... У вас, в Галате, в Халéппе, в Скаларие, в Анерокуру, в Серсепилии... Это рай... Домики белые, чистые, садики зеленые, виноград, овечки ходят, народ в новых цветных одеждах красуется... Не забудь (это все доктор говорит), что и собственность вся, вся земля поселян у нас в Крите в руки христиан переходит... Турки все продают, все сбывают, а христиане все покупают понемножку, все покупают... А тебе-то, господин Никифор, что̀? Тебя турки уважают, советуются с тобой... с твоими деньгами ты и несправедливости не боишься...» А Никифор ему вздыхает: «Друг мой!.. Что̀ делать, чувство у меня есть в сердце! Да! (говорит он еще), что̀ мне, например, эти сфакиотские ребята? Они мне не родные, не близкие, ничего! Но когда я вспомню, как в 21-м году восемьсот сфакиотов пред глазами 20 000 турок знамя с изображением Креста водрузили геройски, так я для них все готов сделать. Гляжу на них и думаю: разбойнички вы мои! разбойнички... Живите и здравствуйте... Да! чувство, друг мой, чувство есть!..» И пальцем в грудь себе бьет и феску уж свою высокую и на затылок собьет, и на брови надвинет, и кулаком по столу стучит, так энтузиазм его силен. А еще раз он сказал: «Крит, что̀ это такое? Это отечество Миноса! вот что̀! Тут одно племя со спартанцами жило. А спартанские матери что̀ говорили, показывая на щит, когда дети их шли на войну: «*И та̀н и эпи та̀с!..*» (или с ним или на нем). И спросил у нас, говорил ли нам об этом афинский учитель. Мы сказали: говорил, и мы это знаем. А Никифор: «Умный человек ваш афинский учитель. Он заслужил от отчизны!..» До-

ктор опять ему: «Нет, здесь народ хороший живет. Вот в Босне, в Болгарии народ притеснен — это правда. Я везде, друг мой, ездил, верь мне! В Босне беи очень сильны, в Болгарии бьют сельский народ палками без страха; а здесь? Попробуй!» Это все доктор, а Никифор: «Не о хлебе един жив будет человек! Чувство, брат, чувство необходимо! А ты, доктор мой, человек хороший, я знаю, но беи и чиновники турецкие тебе за лечение больше нашего платят. А Халиль-паша при всех в Порте сказал тебе: «Вы товарищ мне; я доктор и вы также». Ты и полюбил турок сильно за это! А вы, други, его не слушайте... А если станет здесь народ еще богаче, тем лучше — больше денег будет на оружие и на порох... Не так ли?» А мы ему: «Так! Господин Никифор... Так! Мы согласны...» Зовет дочь: «Афродита, подай Христо и Янаки кофею!» Она подает, только так глядит угрюмо и сердито на нас, что мне стыдно, а брат все не унывает и даже говорит с нею, как будто у них на этой дороге под виноградом в саду Прециозо ничего не было! Так мы тогда жили — с отцом дружно, а с дочерью не хорошо.

Я говорю брату однажды:

— Что ж это, Христо, Никифор нас все хвалит, а дочь отвращается от нас. Я же тебе скажу, что она мне и лицом и всем очень нравится. Не попросить ли ее у отца? Может, и доктор поможет... Скажем доктору.

А брат говорит:

— Глупые ты вещи говоришь, Янаки! Ты веришь Никифору, что он нас так любит! Иди проси, когда хочешь, а я срамиться не стану. — Другое дело война, или восстание, чтобы мы резались с турками... А другое дело — дочь дать нам с тобою... Он купец богатый... Не верь ты ему, когда он говорит: «Я все для них сделаю».

Я опечалился и говорю:

— Значит нет для нас Афродиты?

А брат с досадой:

— Хорошо! Сказал я тебе: что̀ нам невозможно, то Богу возможно. Только ты мне верь и слушайся меня во всем, что̀ я тебе скажу.

Я говорю:

— Пусть будет так! — и опять успокоился.

IX

— В это самое время случилось нам с братом Христо, прежде чем к себе в Сфакию вернуться, сделать одно удивительное дело... Все в городе и кругом в селах, и потом наверху у нас в горах хвалили нас и превозносили за это дело... И правда, что очень забавная была эта вещь. Я тебе расскажу все по порядку. Когда этот франкопапа́с (его фамилия была мсьё Аламбер) взял много силы в нашем месте, стал народ городской в Канее и из окрестных сел толпами ходить к нему во франкскую церковь и записываться у него в список, чтоб иметь защиту французского консульства. Люди разумные и хорошие из наших не знали, что̀ и делать, чтобы помешать анафемской пропаганде. Доктор Вафиди давно уже сокрушался и почти плакал об этом. Он приходил в лавку к Никифору и говорил ему:

— Кир-Никифоре! Совсем *зафранкствовал* народ! Что̀ нам делать? Никифор говорит: «Ты не очень пугайся, они это все хитрят, чтобы в торговых и тяжебных делах иметь облегчение. Это все твои возлюбленные турки тому причиной. Эти турки, с которых ты столько денег за дешевые пилюли берешь. Правительство слабое, расстроенное, консулов боится... Консула распоряжаются здесь, как хотят; если бы католические консула не были сильны, пошел бы разве к ним народ?» — «Друг мой! — говорит Вафиди с великою горестью, — друг мой хороший!.. Паша сам очень недоволен; он и мне поручал не раз распространять в народе, что паспортов настоящих французских выдавать все-таки им не будут и чтобы не думали, будто они от турецкого начальства будут свободны после

этого. Я, говорит, говорю каждый день; но народ у нас хитрейший, не верит, и все знает, что̀ ему нужно; знают они, что Франция имеет право в Турции католиков и унитов как своих подданных защищать, и не слушают меня. Впрочем, я с полгода тому назад начал одно дело для спасения народа, но не знаю еще, будет ли плод от моих трудов»... Тогда он не открывал, какое это дело. Но позднее узнали мы, что он на остров Сиру, где русский консул был, писал, что здесь также необходимо русский флаг поднять и тогда пропаганда эта кончится. Послушались его, и в тот самый год, как капитан Коста стал ездить с нами часто в Канею, незадолго до этого приезда нашего, приехал в Крит русский консул, и дело католиков начало портиться. Паша подружился с русским консулом, стали они вместе стараться, и паша скоро потребовал от французского консула и от мсьё Аламбера, чтоб они объявили на бумаге, что те критяне, которые унитами станут, французскими подданными от этого не сделаются, а все будут турецкими райями, как прежде. Французы эти — посмотри какое лукавство! — видев, что отказать паше в таком законном деле нельзя, написали объявление и повесили его во франкской церкви не на виду, а за дверями, в темном углу. Входят люди в церковь, дверь отворена, и объявления не видит никто. Однако Вафиди и Никифор постарались объяснить это людям; люди отыскали за дверью объявление и стали читать. «Не будет настоящей защиты от Наполеона в делах! На что̀ ж ходить к франкопапасу, только грех!» И перестали ходить и каялись у епископа, кланялись ему. Зовет тогда нас с братом Христо однажды доктор Вафиди и говорит: «Паликары мои, что̀ делать! У мсьё Аламбера остался список в тетрадке всех людей, которые записались унитами. Им теперь это неприятно и невыгодно... Не придумаете ли вы, молодцы умные, как бы эту тетрадку украсть у него». Брат смотрит на меня и смеется: «Яни может», — говорит он... Я не понимаю, что̀ он говорит... Потом, когда мы от доктора вышли, Христо говорит мне:

— Тебя итальянка маленькая любит, не украдет ли она для тебя... — А я ему на это умнее его придумал и говорю: «На что итальянка, пойдем сами; — притворимся, будто записаться хотим, и украдем... У мсьё Аламбера окно низкое, в нижнем этаже. Так займи его разговором, а я украду. Или я займу разговором, а ты возьми и в окно беги, если в дверь трудно будет...» Брат говорит: «Однако и ты умен, я вижу...» «Зачем же мне быть глупым», — отвечаю я. И мы пошли к мсьё Аламберу. Согласились было на первый раз хоть так высмотреть все и потом уж, что̀ Бог даст. Однако кончили все вдруг очень легко.

Приходим. Мсьё Аламбер принимает нас ласково; по-гречески говорит хорошо, хоть и не чисто, а все знает. Важный из себя, бритое все лицо; полный мужчина, как будто приятный.

«Добрый день вам, дети мои, добро пожаловать». Так все тихо и прятно. «Садитесь». Сели. Отсюда-оттуда начинается разговор. Христо жалобы разные на турок, на бедность нашей земли в горах... Мсьё Аламбер как узнал, что мы сфакиоты, обрадовался: «А! вы оттуда!.. Хорошо!.. Знаменитые горы ваши... Прекрасно! Прекрасно...» И от радости на кресле стал сидеть непокойно: и так сядет, и так пересядет, бедный... А мы ему уже как своему священнику: *Геронта́-му Геронта-му...**. Дело подвигается. Брат говорит, а я смотрю на стол его и на бумаги, и на окошечко, на улицу. Народ ходит... Пускай.

Наконец и о вере заговорили, зашел разговор. Христо говорит: «Клир у нас плох; ни от турок не защищает, ни жить нас не учит хорошо. Мы очень несчастны от этого. Такие помыслы бывают!.. Очень неприятно это»... Мсьё Аламбер за наших попов сейчас вступается. «Не судите строго ваш клир... Бедность, рабство, неученость... простота... Нет, есть у вас очень хорошие, очень прекрасные иереи... Почтенные; только незнание, незнание одно и бедность... Нам ведь легче, говорит, католикам, у нас свя-

* Старче мой... Старче мой...

той отец, преемник Св. Петра, он ни от кого независим... Он всегда защитить нашу паству поэтому легче может... А не достоинство это наше или пороки греческого духовенства... Что̀ же, церковь, к которой вы принадлежите, церковь апостольская тоже... Ее надо уважать... И обряды у вас прекрасные... Очень хорошие... *мегалопрета*,* говорит... Только одного у вас недостает... Надо, чтобы был один пастырь у стада... Больше ничего...»

Брат тогда прямо говорит: «Я давно это думаю, и вот младший брат со мною согласен. Запишите нас в книжку вашу».

Мсьё Аламбер встает, книжку берет и садится за стол. Я смотрю через плечо ему. Вижу, там у него Мано́ли — одеяльщик; Маврокукули Петр — столяр... Нико́ла — сеис, и все имена, имена и по-гречески и по-франкски записаны. Пока он писал, мы с братом переглянулись, и Христо показывает мне глазами и руками карту большую на стене и на себя показывает; а мне показывает на тетрадку и на окно. Я понял. Как только мсьё Аламбер кончил, Христо говорит ему: «Извините, геронта мой, я хочу у вас спросить, где на этой карте Рим и где Иерусалим написаны...» Поп любезно поспешил с ним к карте и говорит: «Это как сапог — это Италия». А брат: «Я знаю, Италия как сапог — это наш учитель говорил...»

А я в эту минуту схватил тетрадку и в окно. Слышу только мсьё Аламбер: «Боже мой! Боже!» А тут и брат за мной вслед в окно выпрыгнул.** На улице в эту минуту людей было мало: оглянулись и пошли, а мы к доктору. Его нет дома. «Где?» «У Никифора». Мы туда. «Вот тетрадка!» Вот была радость всем, и смех, и похвальба... Люди просто давились от смеха и радости... Никифор опять нас хвалил. А доктор обнял нас, целовал и сказал Никифору: «Вот паликары. Вот греки! Вот эллины! Вот христиане! Таких, таких я хочу!.. Бог видит,

---

* Пышность, великолепие.

** Истинное событие.

кир-Никифоре, что я жалею, зачем мои дочери еще малы для них... Я бы за любого из них отдал дочь и гордился... И что̀ есть денег — все бы отдал!.. Что̀ ты на это скажешь, Никифоре, друже мой?» А Никифор вдруг ему на это очень сурово: «У всякого свой вкус... и свои интересы... Расти дочерей и отдавай их кому хочешь, мне что̀... А насчет тетрадки это очень хорошо они сделали».

Тут я увидел, что брат мой правду говорит: «Нельзя свататься!» Лицо стало у Никифора ужасно сердитое.

Франкопапас бедный жаловался на похищение, но мы на другое же утро уехали к себе в горы, и нам за это ничего не сделали. Сам паша, говорят, очень смеялся нашему искусству, и люди все в городе нас хвалили за это. Паша не хотел (и доктор Вафиди так говорил) потворствовать франкам; все старался, чтобы с нами, греками, самому жить получше и заслужить у нас хорошее имя, а потом уже сжать нас крепко. И точно он был управитель хороший; но разве угодит турок когда христианину! Это невозможно... Христианин не может забыть старое зло и нового зла боится.

Ты сама, Аргиро моя, слышала много о старых турецких обидах. Я же тебе скажу только одно теперь для примера. Не помню я когда, только на островах было восстание. Знаешь ли, что̀ тогда делали турки? Они на наших монахов надевали узду и седло ослиное и ездили на них верхом и били их, заставляя бежать, пока те падали и умирали. Об этом есть в книгах. Да!

И турки тоже не верят христианам, даже и тогда, когда христиане поклоняются и служат им. Армян и жидов они больше любят.* Жил в старину, например, один паша, и пришли к нему один раз вместе жид, армянин и грек. Паша принял армянина и жида благород-

---

*У греков есть исстари привычки в просторечии *христианами* называть только *православных*, противополагая их не только туркам и евреям, но и армянам и *франкам*.

но и посадил их на диване, а грека не посадил. Был при этом один друг паши; когда они все ушли, этот друг спросил его: «Отчего ты, паша, армянина и жида посадил, а грека принял так холодно?» Паша говорит ему: «Армянину нужны только деньги мои, и мне вреда нет от этого, а греку денег моих мало, ему *нужно место мое на диване*, и он от этого ненавистен мне! Он так ненавистен мне, что я иногда желал бы *руку* себе до плеча отрубить за то, что она на нашем языке называется — *Эль* и как скажу я: «*Эль*», так вспоминаю это имя *эллин*, которым греки любят себя называть. А жид? Жид — это веселость и великое утешение человеку (это все паша другу своему объясняет)... Однажды один падишах сказал: „Отчего у меня нет жидовского войска? Я читаю в древних книгах, что жиды были великие и страшные воины. Пусть жиды богатые в Эдирне* полк соберут". Жиды в Эдирне с радостью ополчились, оделись хорошо, собрали тысячу человек с оружием и подъехали к конаку паши. Паша приказывает им ехать в Стамбул. А жиды: „Мы не можем". „Как? отчего?" „Разбойники, может быть, есть на дороге; нам нужно пять-шесть провожатых турок! " Вот что̀ такое жид. Отчего же мне не посадить его?» Видишь, Аргиро моя, так думают турки. Муж твой, не беспокойся, бедная, тоже не глупый и в политике кой-что понимает, хотя и молод еще!

Вот и Халиль-паша лет шесть или больше у нас правил, а теперь** слышно, люди у нас опять стали требовать прежних прав, тех же самых, за которые напрасно при Вели-паше и при Маврогенни поднимали оружие в 58 году. Это верно. А мы с братом Христо возвратились в Сфакию со славой. Тогда и у нас в горах, когда узнали о нашем деле с мсьё Аламбером, то точно так же, как и горожане канейские, всячески нас чествовали и очень превозносили...

---

* *Эдирне́* — Адрианополь.

** *Теперь, т. е. в 1866 году.*

X

Дорогой, когда мы ехали вместе в Сфакию, брат ничего не говорил мне об Афродите и там долго не говорил ничего. Только раз сестра наша, вдова Смарагди́ца, которая с нами жила, говорит брату Христо:

— Христо, я так думаю, что тебе время жениться...

Он отвечает и смеется: «Скоро женюсь. Только не на здешней. Мне Афродита, Никифорова дочь, понравилась. Я поеду вниз и буду ее просить».

А сестра, бедная, ужаснулась: «Что̀ это ты мне говоришь, Христо мой... Это ты такую богатую за себя возьмешь!.. Она *эмпора** хочет, человека политического. Она ученая и богатая; она за архонтского великого сына пойдет». А Христо все смеется: «За меня она пойдет! За меня. Я кой-что понял тогда и имею в уме моем нечто...»

Смарагдица ко мне обращается:

— Что̀ ты, Янаки мой, мне скажешь? Этот человек смеется или с ума сошел.

А я говорю: «Я почему это знаю?»

И внимания большого не дал всему этому делу; однако брат Христо не смеялся напрасно так.

Вечером он мне говорит: «*Яни, что̀ я тебе скажу*». — «Говори!» — «Любишь меня?» — «Конечно, люблю, разве я не брат твой?» — «Хорошо! — говорит, — украдем Афродиту силой. А кто из нас ей понравится, пусть за того замуж и пойдет. И когда помиримся с отцом ее, и если она за меня пойдет, то ты тогда проси у меня денег, сколько ты хочешь. А я дам тебе сколько могу. А если она за тебя пойдет, то ты тогда мне будешь деньгами помогать. Теперь же пока молчи!» Я согласился, так как думал, что я ей больше брата нравлюсь и все оттого, что она меня рука за руку взяла.

Мы все приготовили; молодцов других подговорили, собрали; сели на мулов своих и дня через два вниз поехали.

---

* *Эмпор* — негоциант, богатый купец.

Приехать надо было поздно, когда городские ворота турки уже запрут. Мы так и сделали.

Всех нас было четверо. Трое должны были после войти в дом Никифора, а один прежде. Первый постучался сам брат. На счастие наше никого лишнего в доме не было в этот вечер. Отворил работник; брат ему руку на рот; а мы его связали и положили к сторонке.

Мы трое остались пока в саду, а брат идет прямо в дом. В одном окошке внизу свет.

Никифор ужинать сел; служанка ему служила; а дочь в этот вечер кушать не хотела, легла на диван и говорит отцу:

— Нет мне, отец, охоты ужинать сегодня; я нездорова и полежу, посмотрю, как ты кушать будешь.

Старуха же, мать Акостандудаки, была наверху и спала уже. Она ничего не слыхала.

Брат вошел сперва один и поклонился. Акостандудаки был сначала удивлен, не встает и брата садиться не просит и говорит с досадой: «Что̀ так поздно, хороший мой, вы являетесь?» Брат с почтением, извиняясь говорит ему: «Поздний час! Что̀ делать! Посланы мы от капитана Ампеласа в город по делу; но один из товарищей ушибся, и вот мы запоздали. Простите, что я к вам зашел».

— Садись, — говорит Никифор, — что̀ делать! Покушай. А где же твои товарищи? Позови и других сюда; что̀ же им ночью на воздухе сидеть...

Пока брат Христо с ним совещается и кушает, мы сидим и все смотрим то на дверь темную, то на окно светлое, знака какого-нибудь ждем.

Работник лежит около нас на траве, не шевелится. Я говорю: «Не задохнулся ли?» Нагнулись к нему и говорим: «Василий, брат! Мы зла никакого не сделаем ни тебе, ни господину; мы не грабить пришли; мы только Афродиту увезем. Распустим мы тебе повязку на рту, только ты не кричи». И приставили ему к лицу пистолет, чтобы не кричал, а повязку поослабили. Он человек был хороший, мы его знали и пожалели.

Вышла служанка из дверей, наконец, и кричит:

— Василий, Василий! Поди позови других сфакиотских ребят в дом; пусть поужинают. Василий, где ты? Василий...

Я толкнул локтем товарища Маноли и думаю: «Бросимся на нее. Как закричит она, все дело испортит!», и говорю тихонько: «Маноли, я пойду один в дом, брату помогу, а ты ей тут два-три комплимента сделай!» Он говорит: «а Василий?»

И это правда. Пошел я к ней один навстречу, поздоровался и говорю: «Василий за воротами с другим нашим товарищем около мулов». А она говорит: «Господин приказал всех звать», и прямо с этим словом бежит на то место, где Маноли сидит в тени с Василием связанным. Тогда что̀ делать! Я как схвачу ее прямо за рот сзади рукой и говорю: «убью на месте! молчи!» Она в обморок почти от страха упала; на руки мне опустилась, и тогда мы с Маноли ее очень легко связали и рот затянули ей платком не очень крепко; рядом с Василием в тени положили, и Маноли при них обоих с оружием остался. А я скорей, скорей бегу за ворота и зову того Антона́ки, который при мулах остался. Говорю ему: «Бросай мулов! Что̀ будет — будет. Идем в дом вместе скорей».

Оставили мулов одних и побежали в дом с Антонием вместе. Входим. Никифор сидит, и брат сидит за столом и разговаривают и пьют вино. Афродита тоже села за стол и на брата смотрит.

Только что мы вошли, брат встал и говорит нам: «Айда!»

И сам к невесте. А мы к отцу. Никифор был очень силен; но... человек городской, изнеженный! Испугался и кричать не стал громко, а только руки опустил и говорит нам: «Дети, дети мои... За что̀ вы меня губите?..» Он думал, что мы убить его хотим. Я говорю: «Не беспокойся, кир-Никифоре... Позволь мне рот тебе завязать». Он говорит: «Вяжи, Яни, вяжи... Не бесчестите только мою бедную Афродиту. Я вам денег дам много». Мы с Анто-

нием его связали и на диван положили. А брат между тем сразу, как только Афродита закричать сбиралась, ей жгут в рот и потом положил ее бережно в капу большую и обвязал кругом кушаком большим крепко и понес — бегом побежал с ней, и мы за ним к воротам. Маноли выскочил тоже, и бросились мы все к мулам. Христо мне Афродиту на руки, сам вскочил на седло, я ему ее подал опять; и ударили мы все мулов и поскакали в гору по мостовой... Сейчас за поворот и вон из села... И слышим уже крик в селе. Это работник Василий кричал, развязался.

Мы слышим крик и своротили тотчас же в сторону и к городу, вместо того, чтобы своей дорогой ехать. Бежали, бежали... Христо говорит: «Чтобы она не задохнулась!» и вынул ей жгут изо рта; раскрыл капу, сказал что-то ей тихо; она молчит, а мы опять скакать пустились...

Проезжали потом мимо самого города. С этой стороны идет широкая и гладкая дорога под самою стеной, именно в том самом месте, где мы с Никифором и капитаном турецкую музыку слушали. Луной вся почти дорога освещена; только поближе к стене тень. Брат передал мне Афродиту и говорит:

— Держи ей рот теперь крепко рукой; поймет она, что места жилые, и начнет кричать.

Я взял ее к себе и зажал ей рот рукой крепко. Проехали мы под стеной под самой благополучно; потом мимо кипарисов больших и мимо турецкого кладбища направо поворотили; отыскали с трудом потом еще подальше одного шейха особая могила есть на перекрестке; она вся в лоскутках и в тряпочках, потому, что от болезни к ней турки эти лоскутики и тряпочки привязывают.

Как только мы ее, эту могилу шейха, увидали, я говорю: «Вот и шейх наш. Отсюда назад поворот нам самый лучший. Без всякой дороги прямо через поле и через горки переедем!» «Правда!» — сказал брат и все товарищи, и поскакали мы опять назад, чтобы запутать, понимаешь, людей галатских, если гнаться вздумают...

Все было благополучно, однако. Не гнался никто; мы проехали очень хорошо и не спеша слишком по большому оливковому лесу, мимо многих имений и домов беев, через два села, мимо монастыря небольшого; тишина, все спят и отдыхают, и никто не потревожил нас. И так мы ободрились и повеселели, что когда проезжали через одно из последних нижних сел, то без всякой осторожности начали кричать: «Айда, айда!» и свистать, и опять кричать молодецки и, ударив мулов, поскакали вскачь со стуком и шумом по мостовой и потом кинулись тоже вскачь по большим камням ручья, который со скалы вниз бежал, и все разом кричим на все село: «ай-да-а-а!»

Пропала было тут моя бедная головка и с Афродитой нашей вместе. Я уж своего мула и не держал совсем. Где ж держать его? Одною рукой ее пред собой держу, а другой ей рот всякий раз зажимаю, когда место жилое, а когда опять место дикое, опять открываю ей рот. Так вот мул мой всеми четырьмя ногами поскользнулся вдруг. И где же? На большом гладком камне, с наш двор величиной и вода через него бежит, и весь он мокрый. Христос и Панагия! Но сказано, мул наш сфакиотский был, не упал и опять побежал вперед. Я тогда открыл ей на лице капу, нагнулся пониже к ней и гляжу. Лицо ее при луне все так хорошо видно белое! Я гляжу на нее близко, и она смотрит на меня глазами своими большими. Мне показалась она точно маленькое дитя, которое еще не умеет хорошо говорить, а лежит на руках у матери лицом кверху и на мать глядит. Вдруг мне стало очень ее жалко, и я спрашиваю у нее тихо: «Чего ты желаешь, коконица моя? Хорошо ли тебе так лежать?» Она и слова на это мне не ответила. Все молча вверх смотрит. Я поглядел направо и налево. Брат впереди, другие не смотрят; я нагнулся еще пониже и тихонько поцеловал ее. Раз, и два, и три. Она лежит как мертвая и все мне глядит в глаза. Мне стало как будто стыдно, и я оставил ее в покое.

Взобрались мы потом потихоньку на высокую скалу один за другим; выехали на ровное место между горами,

ехали тихонько с полчаса и приехали к ручью. Брат говорит: «Пусть отдохнут теперь мулы, и она пусть успокоится, здесь на седло ее уже одну пересадим».

Так мы решили. Сошли с мулов, стали воду пить, а ее, Афродиту, развязали, коврик с седла на земле ей расстелили; брат говорит: «Посади и ее!» Я ее на руки как маленькую взял и посадил у ручья на ковре, завернул ее в капу и говорю ей:

— Не простудитесь, деспосини* моя!

Она все молчит.

Потом вздохнула и говорит: «Дай мне воды!» Мы обрадовались все, что она наконец заговорила, и друг у друга тазик серебряный отнимаем, кто напоит ее. Я напоил. Рад, что живая!

Стали ребята улаживать ей попокойнее сиденье на том лишнем муле, которого для нее взяли, наклали сколько могли помягче. А я около нее стою и смотрю, чем бы еще ей услужить и чем утешить.

Она долго опять молчала; и личика ее не видать в башлыке. Только вздыхает. Потом вдруг я слышу: «Яни! тебя ведь Яни зовут?» Я говорю с радостью: «Да! государыня, Яни слуга ваш». Она мне опять тоже: «Дай мне воды!»

Выпила и спрашивает:

— Яни, ты скажи мне, зачем вы меня увезли? Выкуп с отца взять хотите?

Я отвечал ей:

— Не знаю, милая госпожа моя, это не я, а брат мой Христо тебя увозит. Он мне старший брат, я ему помогаю. И что̀ он мне скажет, то я и делаю.

Она опять замолчала.

Когда все на седле изготовили, поднял ее сам брат Христо на руки и посадил на седло по-мужски. Она не противилась, ножки ей вставили в ремни повыше стремян, и она сама подавала ножки и говорила: «Повыше, повы-

---

* Барышня.

ше!», а потом: «Хорошо!» И сама взяла узду в руку и поехала с нами вместе.

Тут уж мы были в месте вовсе диком, и никто ее крика услышать не мог, и мы все повеселели страх... и Антоний говорит нам:

— Будем теперь песни петь!

— Будем!

И запели все громко и поехали понемножку вперед: трах-трах, трах-трах. И песни! и песни! Луна светит на дорогу. Я еду с ней рядом и думаю: «Сделали мы дело теперь!»

А она, бедная, едет, как мальчик, не жалуется ничего и ручкой своею маленькою сама узду держит.

Я гляжу сбоку на нее и думаю: «Ах, ах, ах! Когда бы она мне досталась, а не брату! Я бы ему много денег дал тогда. Кажется бы, все маслины в Галате у тестя продал и брату Христо деньги отдал, только бы она мне досталась!»

Аргиро, *перебивая насмешливо.* — Переваренное яичко.

Яни *весело.* — Да! переваренное яичко! Так мы ехали долго и очень покойно; и на рассвете уже были у себя дома. Не довольно ли сегодня рассказывать? Уже ночь. В другой раз, Аргиро, я тебе все остальное расскажу. — *Яни встает; идет запирать двери.*

Аргиро *гасит огонь.* — Однако правда, очень смелые вы люди, сфакиоты.

Яни. — Смелые! Да! только не на пользу наша смелость была этот раз. Повредила народу!

XI

(*На другой день; на том же месте*)

Яни. — Теперь о чем рассказать тебе прежде? Как брат Христо мучился с Афродитой несколько дней, чтоб она согласилась обвенчаться с ним? Или о сестре нашей

Смарагде, как она испугалась? Или о паше? Или о себе самом, может быть?

Аргиро. — О себе! О себе самом расскажи прежде всего.

Яни. — Что̀ мне о себе говорить? Я брату завидовал, вот мой разговор о себе самом. Оставь это пока. А о сестре Смарагде это гораздо любопытнее и веселее. Когда мы на рассвете на самом в дверь нашу постучались, Смарагда говорит: «Кто это?» «Кто! — говорю я. — Мы конечно!» Отперла; я сейчас Афродиту с рук долой и поставил ее на землю; она сама руками за мою шею схватилась и прыгнула, а башлык с головки ее и упал.

А сестра как закричит: «Ах! Христос и Всесвятая! Чью же это вы привезли такую?!»

Христо смеется над ней: «Я говорил тебе, несчастная! что привезу Никифорову дочь; я в слове моем тверд. Вот тебе Никифорова дочь».

Но Смарагдица вовсе не обрадовалась этому, а начала кричать и поносить нас всячески и ругать.

— Несчастие! — кричит, — несчастие! Ба! ба! ба! Из такого архонтского дома дочь увезти! Из дома купеческого, великого и богатого... Разбойники вы... Анафемский час ваш! Разбойники! воры! Мальчишки вы несмысленные! Турки вы старые! Преступники вы, чтобы души ваши не спаслись... брѐ такие! брѐ сякие!

Мы ей: «Хорошо, хорошо, Смарагдица... Что̀ делать! Постой... Постой!» Ничего и не слышит! Клянет нас и одежду свою на груди рвет. А потом уж к Афродите самой:

— Иди, иди сюда, жалкая ты моя... Иди, птичка моя... Увы тебе, бедненькой! Увы тебе, архонтской дочери... Не бойся, душечка ты моя, отдадут тебя отцу твоему, отдадут господину хорошему Никифору Акостандудаки... Не дадут тебя горным разбойникам этим в забаву... Иди со мной...

И обнимать ее начала и волосики ей рукой расправлять и целовать ее стала. Женщина простая, рукой самой себе

вытрет рот прежде, а потом уже ее в глаза и в губы и в щеки целует и ласкает.

Афродита все молчала; только тут, когда сестра так ее жалеть и ласкать стала, и она стала сильно плакать и рыдать.

Брат застыдился и гонит нас всех: «Что̀ ж вы стоите, мулов убирать надо... Идите!..»

А Смарагда увела Афродиту в комнаты и хотела ее успокоить.

У нас была одна очень хорошая комната, выбеленная, чистая, лучшая в доме. Туда сестра наша отвела Афродиту и посадила ее на подушках у очага. Я принес сухих сучьев и большое полено и растопил очаг, а брат ковры принес и говорит: «Постелем так, так будет лучше! Извольте!» А она, Афродита, отвернулась к очагу и на брата не смотрит, и все у нее слезы бегут.

Сестра говорит брату: «Иди ты вон, что ты тревожишь ее. Не видишь ты, она на тебя, как на врага, не глядит».

— Уйду! — сказал брат и ушел.

А мне Смарагда говорит: «Свари кофе скорее». Я было хотел достать из шкапчика кофей, а шкапчик над головой у барышни был, в той стене, у которой она сидела, потянулся через нее и говорю: «Извините меня!» Только вдруг Афродита как встанет на ноги, как разорвет на груди своей одежду, как схватит себя ручками за косы, как закричит громко: «Оставьте, оставьте меня! Воды я в вашем доме, в вашем этом проклятом доме... воды я пить не буду!.. Оставьте, оставьте меня... Оставьте меня умереть одну здесь, дайте мне умереть, несчастной, чтоб я глазки ваши любила, добрые вы мои люди...»

Потом стала предо мной, прямо мне в глаза глядит, ногтями себе эти белые щеки до крови царапает, потом бросилась на землю, начала кататься туда и сюда, все платьице на груди себе в клочки разорвала, и как могла только громко, кричала на весь дом:

— Папа́ки! Папаки мой дорогой! Зачем ты не защитил меня? Зачем ты покинул меня одну-одинешеньку, милый папаки мой!..

Брат было на крик ее хотел войти, нагнулся в дверь, лицо испуганное. Но мне уже так жалко стало, я его толкнул: «Ну, уж и ты тоже, куда все лезешь сюда? Не видишь, бедненькая, она убивается как... Айда! Иди прочь». Христо смутился и сказал: «Смотри, какая сердитая девушка! А я думал, она как ягненок!» Мы с ним вышли вместе, и я говорю: «Что̀ мы будем делать теперь?»

Вижу, что и Христо задумчив, вздыхает и молчит. Мы сели.

Я говорю: «А если старшие теперь и капитаны все ее требовать будут, чтобы отцу возвратить — отдадим ее или не отдадим?»

Христо мне на это: «А ты как скажешь, Яни, отдавать?»

Я тоже не хотел ему прямо сказать, и говорю: «Тебе, старшему, распоряжаться. Я не знаю».

Христо говорит: «Это правда; однако, если она меня ненавидит, возьми ты ее. Может быть, ты ей лицом больше нравишься. С тобой она говорит, а на меня даже и смотреть не хочет. Что̀ ж, возьми ты ее. Опять-таки ты мне брат, и я твоей судьбе рад буду, и ты тоже меня в богатстве и в счастии не обидишь и пожалеешь меня всегда».

Мне эти слова брата моего очень были приятны. Я обрадовался и застыдился, и покраснел, и смотреть на него не могу. А он опять: «Яни! Скажи, очень ли желаешь ты ее иметь женой твоею? Возьми ты ее, если она от меня все будет отвращаться. Что̀ ты стыдишься?» Я говорю: «Ты давно видишь, что желаю».

Тогда Христо взял меня одною рукой за руку, а другою рукой по лицу погладил и сказал так: «А когда ты, сынок мой, того же желаешь, будем все дело вместе до конца делать. Если придут старшие ее требовать, мы скажем, что и девушку убьем и самих себя убить дадим, а по согласию ее не возвратим никому из капитанов и из всех наших старших. Возьмем наши ружья, возьмем пистолеты,

возьмем и ножи и станем у дверей, где она заперта будет, а потом, как Богу угодно, так пусть и будет... Хорошо?..»

Я говорю: «Хорошо!» И мы с ним поцеловались, согласились и дали клятву друг другу.

Тогда мы стали думать об Афродите опять, что̀ она делает теперь, и беспокоились об ней; но сестра пришла и сказала, что она плакала, плакала и никаких ее утешений не слушала, и потом на ковре, как каталась, так у очага и уснула, и теперь крепко спит у огня!

Мы обрадовались и согласились так: не оставлять ее в доме одну с сестрой, чтобы сестра не выдала ее обратно; а чтобы всегда хоть один был при ней вооруженный дома. Надо было к Антонаки и к Маноли сходить и их подговорить помощь нам подать, если нужно будет. Я думал сам пойти к ним; а брат говорит: «Нет, я пойду к ним. А ты за ней смотри. Если проснется, окажи ей всякое гостеприимство и уважение, и так как она с тобой говорит, а не со мной, то тебе и легче будет узнать, кого она предпочитает. А я и твоей судьбе буду очень рад».

Он ушел к другим молодцам, а мы остались с сестрой дома. Я очень устал, не спав всю ночь и, не раздеваясь, как был, лег в углу темном на бурку, оружие около себя к стенке положил и заснул так крепко, что не помню даже, сколько часов я спал.

Сплю, и вот что̀ любопытно, вижу я во сне, что брат Христо то кладет мне венчальный венец на голову, то отодвигает его; а я будто говорю: «Благослови!» А он: «Ты все спишь и невесту во сне потерял...» Я говорю во сне: «Нет, она спит, а не я». А брат еще громче и смеется: «Потерял ты ее во сне, Янаки... Все спишь...» Я рассердился и вдруг проснулся... А брат и в самом деле нагнулся надо мной и смеется: «Проснись, паликар... ты сторож худой. Я у тебя Афродиту украл. Был у нее, и она говорила со мной... и кофей у меня кушала и варенье приняла из моих рук!..»

Я отвернулся опять к стене и сказал: «Э! ну, и хорошо тебе... А мне дай же спать еще».

Христо говорит: «Спи!», и ушел.

А когда он ушел, я уже заснуть не мог; весь сон мой пропал, и я стал думать и беспокоиться о том, что̀ она ему говорила в это время и что̀ он ей говорил. И как зверь, я вдруг рассердился, зачем я так долго спал и зачем дал брату время прежде моего заговорить с ней.

Встал, посмотрел на часы — уж время к полудню близится. Так я проспал долго... Подумал я, что̀ мне делать? И пошел в ту комнату, где она сидела, и думаю: «Может быть, я и точно лицом ей больше нравлюсь?»

Не ревнуешь ты, Аргиро? Не ревнуешь? Это хорошо. Оставь, это дело прошлое, и ты увидишь после, что она даже ненавистна мне стала, как враг... Погоди, все расскажу я тебе, мой апрельский цветок... Все расскажу!

XII

Видишь ли, милая моя, брат это шутя солгал, что Афродита с ним помирилась и кофей из рук его приняла и варенье, он все не отчаивался, шутил, а дело было иначе. Пока я спал, как дурак, Афродита проснулась; а как проснулась, так опять стала тосковать и плакать неутешно. Сестра в это время, пока она спала, приготовила кушанье, какое умела лучшее, и брат сам смотрел, чтобы все было получше и чище, и чтобы все ей было приятно. Однако она кушать не стала: даже хлеба не ела, а только опять все воду пила и молчала.

Только спросила у сестры: «Как вас зовут, кира моя?» И как узнала, что ее зовут Смарагдицей, так и замолчала опять.

— Покушайте этого. Извольте вот этого.

— Нет! Нет! Нет! Благодарю!

Наконец сестра сказала ей: «Очень ты брезгаешь нами, сельскими людьми, я вижу. А мы тебя любим, коконица ты наша. Дай я тебе чистым платком слезки твои вытру...»

Афродита еще больше стала плакать и сказала сестре: «Я вижу, у вас, Смарагдица, добрая душа. И если вы меня жалеете, спасите меня и попросите ваших добрых братьев, чтоб они меня домой к отцу возвратили».

Сестра обещала ей непременно это сделать, а брат как увидал, что Афродита на него все-таки не смотрит, ушел, и я их так и застал вдвоем с Смарагдицей.

Вижу, Афродита сидит у стенки, бледная и ничего не говорит.

Я говорю: «Кланяюсь вам, деспосини моя!» Она отвечает: «Доброе утро, Яни!» Потом вдруг встала и упала мне в ноги и начала просить меня жалобно: «Янаки мой, братец мой хороший, мальчик мой добрый, отпусти меня домой к отцу моему, милый. Отпусти, эффенди мой! Золотой мой... Даст тебе Бог за это все приятное, все хорошее и в этой жизни, и в той».

И ноги мои схватила; я нагнулся поднимать ее; она руки целовать начала.

Ах! Увы мне! Не ожидал я этого, Аргиро моя, чтоб Афродита так просила.

Пропало и ушло от меня все мое мужество, и я сказал сестре: «Что̀ будем делать, Смарагда?..» Сестра говорит: «Ты знаешь». Я отвечаю ей: «Нет, ты скажи». А она: «Что̀ ты меня спрашиваешь; разве это не грех? Разве это не жалость? Должны вы, разбойники, ее назад отцу отдать». А та все просит, все плачет, все с полу не поднимается, все руку мою держит и к губам ее подносит... и не слушает меня; я прошу ее: «встаньте, барышня, встаньте!» Но она: «Нет, Янаки мой, Полудаки мой, я не встану от ног твоих, пока ты клятвы мне не дашь, что к отцу меня возвратишь в дом...»

Всплеснул я руками: что̀ было мне делать? Брату дал клятву не уступать ее никому, убить ее даже, а ей надо теперь другую клятву давать!

И смутился я, и застыдился так, что о любви или о женитьбе не могу слова сказать, ни за себя, ни за брата. Что̀ было мне делать? Потерял я голову, оторвался от нее

и вышел вон; сел за воротами и думаю, и думаю... После этих ее просьб она мне еще больше понравилась; я очень пожалел ее после этих просьб.

В это время, когда я так думал, сидя за воротами, возвратился брат Христо и привел с собой нашего священника отца Илариона.

Я н и *останавливается и смеется тихо.*

А р г и р о: — Чему ты, Янаки, теперь засмеялся?

Я н и, *продолжая весело улыбаться.* — Я радуюсь потому, что об этом попе нашем вспомнил. Очень мы его любили. Вот ты видишь, Аргиро, что меня Бог не обидел. И сила, и рост, и плечи у меня какие... Но, я думаю, что я саранчой показался бы тебе, если бы ты попа Илариона нашего увидала. Красный, бородатый; в спине ширина вот какая. Ужас! Ходил он раз вместе с нами еще прежде в город, и увидал его там один австрийский купец, из Вены приезжал, только православный. Он по-гречески хорошо знал. Когда он увидал около нас попа, говорит нам: «Этот герой кто такой?..» Мы говорим: «Поп наш!» А австрийский купец удивляется: «Какой у вас ужасный поп. Я думал, это турок! Отчего же, говорит, он у вас не в широкой одежде, а в синих шальварах и в короткой жилетке какой-то?» Я говорю: «Так у нас в горах привыкли попы; короткое носят. Легкость в этом находят». Тогда этот купец говорит: «Отче, благословите меня». Священник ему: «Отчего же — это мы можем... Во имя Отца и Сына...» Купец пожал ему руку и еще насмешил нас. «Я, гéронта, до сих пор турецким пашам так завидовал, так завидовал их власти и чести их, что хотел потурчиться и в службу падишаха вступить, а теперь говорю, нет! Не желаю более быть турком, когда у христиан в горах священники так крупны и так ужасны... Спаси меня Боже!..» А поп купцу на это отвечает: «Не по страху человеческому тебе, мусьё мой, турчиться не надо, а по страху Божию, ибо хотя ты и в этой Австрии живешь, а все-таки Христа Распятого исповедуешь и ты душу свою пожалеть должен. А что я велик и силен, так это у Бога немного значит; Голиаф и

сильнее нас с тобой еще был, а Богу был неугоден и Господь его силу рукой отрока сокрушил. Все мы, мусьё, как трава; завтра высохнем...» Очень был умный священник и хитрейший! А смелость его паликарскую ты можешь видеть вот из чего. Незадолго до того, как нам Афродиту украсть, случилось в Канее другое дело. Сговорился один красивый, молодой и богатый купеческий сынок с девушкой молодою. Эта девушка была собой очень нежная и очень красивая, дочь вдовы Ставрулы, небогатой вдовы. Отец и мать молодца не хотели, чтоб он на дочке Ставрулы женился, а на богатой. Родители запрещают, и потому ни один священник ни в городе Канее, ни в ближних селах венчать их не может. Стал молодец искать попа подальше, и вот наш поп Иларион переоделся в фустанеллу белую арнаутскую и эллинскую длинную феску надел на голову, и набок, как отчаянный, ее сбил, и оружие за пояс. Это значит, эллин приехал из свободной Эллады по своим интересам в Крит. Очень он был велик и красив; боялись люди наши, чтобы его в городе все не заметили, и так как у него борода была огромная чорная до пояса, то боялись мы, чтобы не подумало начальство турецкое: «Не разбойник ли это бежал сюда из Эллады? Когда он приехал? Зачем? Да кто он? Да откуда он?» Однако все хорошо кончилось. Ночью с пустого берега за селом Халеппой сел он в лодку и въехал в пристань Канейскую тихо, и на берег сошел с другими не ночью, чтобы обходы турецкие не остановили их, а на рассвете, уже когда стал открывать двери свои и лавки народ. Пришел прямо в дом к Ставруле и обвенчал там молодых. Так в фустанелле и венчал, только эпитрахиль надел и что̀ еще следует все имел за пазухой. Обвенчал, взял горсточку золотых с жениха и сейчас же, не спеша, через базар прямо на дорогу; все оглядываются, и турки, и райя: «Ну, эллин!» И кулаки сжимали, то есть: «вот какой ужасный эллин!» Пошел тихонько к друзьям в Халеппу; в Халеппе переоделся, на мула и домой. Купец тот и жена его к паше, к епископу, к консулам. Никто и понять не может, откуда поп взялся.

А на этого клефта бородатого, который по базару красовался, никто и не думал.

Оттого мы все много его и любили, что он был молодец и очень умный человек.

Вот пришли они вместе, поп Иларион и брат мой Христо и застали меня в великом смущении. Я поцеловал у попа руку и сказал ему «добрый день». Сели мы потом, и поп Иларион спрашивает: «Что же ваша пленница, Янаки, здорова ли? И кого она из вас выбирает? Пусть скорей выбирает, а я обвенчаю мигом».

Я говорю: «Никого она, поп мой хороший, не желает. Она плачет и убивается по отцу, и я того мнения, что ее бы надо отправить домой опять. Насилие — что̀ хорошего — грех». Тогда поп мне ответил так: «Насилие, которое вы сделали, грех, конечно, не только тем, что это противу воли родителя ее, но и ее вы оскорбили сильно. И она права, что гневается и убивается; она, это правда, не совсем вам, простым ребятам, пара. Хотя, впрочем, и Никифор Акостандудаки, отец ее, больше деньгами, чем ученостию или званием каким-нибудь, или родом славится. А деньги — дар случайный. И я думаю, отчего бы, Христо, или тебе, Яни, не жениться на ней. Я думаю даже, что она теперь по неразумию девичью и по пустому страхованию, либо по гордости не хочет обвенчаться. Она еще глупенькая и не понимает, что честь ее все равно теперь потеряна. Люди у нас осуждать и злословить любят. Скажут: «где ее честь теперь, когда она с четырьмя ребятами лихими и красивыми по горам ездила ночью?» Не скажут люди: «чем она виновата?», а кто и скажет это, тому ответят: «Виновата, нет ли, а все уж не то! Чистоту утратила». И пусть Никифор Акостандудаки ей супруга богатого тогда ищет. Придется ему опять за своего же мальчика какого-нибудь, который в лавке служит, с великою охотой и радостью ее отдать, а не за архонтского сына. А она, глупенькая, об этом по молодости своей не размышляет. Вот что̀ вам я, поп, говорю!..»

Брат Христо на это говорит: «Я сам так еще прежде думал. Теперь, когда она будет пристыжена, отчего бы ей за нас не выйти?» А я говорю: «А я вот и не подумал об этом! И, если это так, так ты бы, геронта, так ей самой и сказал».

— Я так ей самой и скажу, — отвечает поп и говорит: — сведите меня к ней.

Мы встали и повели его к Афродите. И как ни были озабочены оба, а все-таки засмеялись, когда увидали, с каким трудом поп в низенькую дверь нагибается, чтобы пролезть к ней...

Господи Боже мой, что̀ за поп! Что̀ за зверь был большой!

XIII

Когда поп Иларион вошел к Афродите, она встала и поцеловала его десницу; однако на все речи его отвечала одно и то же: «Вы бы меня домой к отцу моему, господину Никифору Акостандудаки, отправили».

Поп сказал ей: «Тебя теперь уже все люди в городе осуждать будут. Такая твоя горькая судьба, моя дочь! Что̀ делать. И трудно будет тебе, кроме Христо, либо Яни, этих братьев Полудаки, за кого-нибудь замуж хорошо выйти».

Афродита же на это отвечала ему: «Я монахиней лучше буду, чем мне за простого деревенского человека, за горца-мальчишку выйти замуж. Я на остров Тинос уеду. Пусть Бог за мной смотрит и хранит меня, когда люди будут ко мне несправедливы». Поп Иларион вышел от нее недовольный и сказал: «Много ума и много мужества у этой девчонки. Она очень красноречива и разумна!.. Как ее убедить?»

Мы с братом посмотрели с сожалением друг на друга; но я еще скажу, что я и обрадовался, когда подумал, что она не его мне предпочитает, а от обоих нас отвращается.

Сестра Смарагдица сказала нам: «Она не ест ничего; кроме воды свежей ничего не желает... Чтоб она не умерла у нас!»

Смутился брат мой сильно; подумал и пошел к Афродите сам, и я за ним.

Брат поклонился ей с великим уважением и спросил ее о здоровье.

Она очи свои светлые возвела на нас и ответила брату кротко: «Благодарю вас. Я здорова».

Брат, не садясь, сказал ей:

— Ты ничего, деспосини моя, не кушаешь. Ты огорчаешь нас этим ужасно!

Афродита ни слова. Все сидит и молчит. Сели и мы против нее и тоже молчим. Брат говорит, улыбаясь: «Ты хоть бы, госпожа моя добрая, с братцем моим, Янаки вот этим, удостоила поговорить что-нибудь. Может быть, он тебе больше нравится, чем я?..»

Как покраснеет она, как поглядит на нас на обоих!.. Гордость, гордость!.. Боже мой... Что̀ делать! Терпение!

Так мы от нее даже ни одного доброго слова не дождались и ушли опять.

Поп ждет и спрашивает: «что̀ нового?» Я говорю: «Отчаяние!», а Христо брат: «Зачем ты говоришь — отчаяние! Я тебе еще в городе говорил: есть Бог. Я законным браком хочу соединиться с ней... Может быть, она переменит еще мнение».

Сестра Смарагда все ее защищает и нас осуждает: «Что̀ ты Христо — *брѐ*, говоришь *есть Бог!* Что̀ имени Божию делать тут в ваших воровских делах? Всесвятая Матерь Божия не на вас разбойников и злодейских мальчишек смотрит, а на людей честных и добрых... Анафемский ваш час, несчастные...»

Смарагда за нее, а поп за нас: «Грех сделан; семья девушки опозорена; поправлять браком надо, а не препятствовать. А впрочем, если она в монастырь пойдет — это разговор иной! За другого же кого-нибудь выходить ей замуж не сто́ит труда».

Пока мы так спорили, бегут Антонаки и Маноли и говорят:

— Идут к вам старшие, и капитан Ампелас сам приехал.

Тогда брат в первый раз пожелтел весь от испуга, хлопнул себя по коленке и сказал:

— Э! братья!.. Не выдайте меня теперь, добрые братья мои...

Мы все укрепились духом и сказали:

— Будь покоен! Вместе дело делали, вместе и все понесем!

Решил и я не отставать от других; иначе мне было бы очень стыдно перед другими паликарами, и хотя мне было очень жалко Афродиту, однако я побежал к ее двери и запер ее там.

Смарагда нам кричит:

— Что̀ вы хотите делать, разбойники, пожалейте вы душу невинную и меня, вдову бедную, и маленьких детей моих...

А я кричу ей:

— Прочь, глупая! Чтоб ты даже «кхх!» не смела бы сделать...

Вот пришли капитаны и старики.

— Добрый день вам, молодцы.

— И вам тоже добрый день, капитаны!

— Здоров ли ты, Христо? Здоров ли ты, Яни?

— Благодарим вас... Садитесь, капитаны!..

— Благодарим, садитесь и вы...

— Ничего, капитаны! Мы постоим. Мы за честь считаем, что вы удостоили сами потрудиться к нам...

Так приняли мы старших с уважением великим и посадили их всех на стулья, а сами стоять остались и велели сестре кофе скорее сварить.

Начали мы сами разносить кофе со всевозможными комплиментами и *селямами*.

Наконец сам капитан Коста начал так:

— У вас, Христо, новости есть?

Брат отвечает:

— Какие новости? Кажется, у нас все по-старому.

— А Никифорова дочка здорова? — спрашивает капитан Коста.

Брат молчит и глаза опустил. Старики улыбаются и просят его отвечать. Брат долго молчал и стыдился (все это, понимаешь, притворно) и наконец отвечал им так:

— Вы, как старшие, свет лучше нас, молодых, знаете. И я не смею скрыть от вас, что я Афродиту увез у отца. Только вот вам Бог мой, что я ни ей самой, этой молодой, ни ее отцу, ни даже служанке их вреда не сделал никакого... А только связали их всех, кроме Афродиты. Она же, Афродита, по воле своей со мной бежала, потому что, капитан, с того дня как мы с тобой в Галате кушали у Никифора, уже началась между нами любовь. Но так как она знала, что Никифораки, отец ее, имеет гордость и по согласию ее не отдаст мне, то и приказала себя украсть как будто силой. И все в надежде на милость Божию и на то, что Никифораки после простит нас.

Я удивился, слушая брата. Дивился его уму и какой он на всякий случай молодец и мошенник. А впрочем, стал думать с досадой в то же время: «А если и в самом деле у них соглашение было? Где же это они успели? И не знал уже, что̀ подумать. Старики сказали на это: «Что̀ ж, когда ее воля была на это, то это счастье этому молодцу Христо и нашим сфакиотам гордость, что их горожанки молодые из архонтских семейств так любят!»

Потом спросили у меня:

— А ты, Янаки, как об этом обо всем скажешь?

Я говорю:

— Что̀ мне думать? Он брат мне и старший!

— Хорошо ты это говоришь, Янаки! — сказали старики. И капитан Коста пожелал сам видеть Афродиту. «Я, — сказал он, — очень бы желал сам с ней поговорить и утешить ее, и даже я могу много для вас постараться, чтобы Никифораки вам простил».

Христо согласился как бы с радостью и сказал:

— Я только пойду посмотрю, не почивает ли она. Устала от дороги. Сейчас она вас примет.

Побежал к ней и затворился с ней. Старики сидят, говорят между собой, смеются и рады как будто этому делу; только капитан Коста вздыхает немного: «Боюсь, чтобы Никифор этот мне у паши не повредил и все дела мои не испортил, не сказал бы мне: это ты привел разбойников в мое жилище и через тебя лишился я возлюбленной и единородной дочки моей. Затруднение большое! И стыдно моей белой бороде будет слушать такие речи».

— Напишите ему письмо, — советуют ему другие.

— Я думаю поговорить с ней и от нее письмо взять. И сам поеду туда, когда обвенчают их. Когда же брата будут венчать, Янаки?

Я говорю:

— Еще не знаю я.

А все другие старики капитану закричали:

— Ни, ни, ни! Не езди туда, капитане! Ум ты потерял что ли? Тебя-то непременно по жалобам Никифора паша схватить велит, и всем нам будет труднее.

Потом старики успокоились и спрашивают у Ампеласа и у меня:

— Хороша ли она?

Я смотрю, что̀ капитан Коста ответит.

А капитан отвечает: «Э! нельзя и дурной назвать: нежная, — горожанка, архонтопула!»

А брат все нейдет.

Наконец он пришел и стал извиняться перед старикáми.

— Афродита, невеста моя, — сказал он, — очень много вам кланяется и просит извинения, что теперь никак даже видеть не может никого. Прошу вас, капитан Коста, господин мой, простите ей. Девушка! Вы сами лучше меня все это знаете... Стыдится! Очень стыдится... И я вас прошу и пренизко вам кланяюсь, чтобы за это на нее не сердились... Что̀ делать, стыдится!.. Я завтра уговорю ее,

чтоб она хоть вас, капитан Коста, повидала. Я и теперь говорю ей: «Ведь он твоему отцу друг, чего ты боишься?» «Стыжусь!» — говорит.

И начал еще просить, чтобы капитан завтра непременно бы повидался с ней.

Старшие говорят: «Конечно, так! Девушка застыдилась. Сама убежала с паликаром, разумеется, стыдно».

А старик Коста спрашивает у брата: «Скажи мне, однако, Христаки, отчего ж ты вязал отца и работника, когда она по воле убежала? Разве она не могла из дверей вечером сама к тебе выйти?»

— Все стыд, все стеснение, капитан! Девушка! Пусть лучше думает народ, что ты, Христо, силой меня унес! Что ж мне делать!

Ампелас головой покачал и сказал: «Этого я не хвалю со стороны ее. Хорошо! Люби молодца, хочешь уйти с ним против воли отцовской и обвенчаться — один грех; а из лукавства любовнику приказывать, чтоб он родителя веревками вязал насильно и рот ему зытыкал — еще больше грех... Нехорошо Афродита сделала. Но может быть, ты, Христо, и лжешь?»

Брат начал клясться капитану, что он говорит правду, все правду, и капитаны ушли.

Христо еще раз просил, чтоб Ампелас повидался с Афродитой, когда она больше привыкнет.

— Я на вашу помощь надеюсь, — сказал он ему. — Что вы у господина Никифора Акостандудаки попросите прощения за нас обоих и что он нас с Афродитой своими благодеяниями не забудет.

Капитан ничего ему не отвечал; все он брату не верил, кажется, и ушли все старшие от нас.

Ушел и поп Иларион к себе.

Брат тогда сказал мне: «Я уж отдохну теперь, Янаки! Спать хочу». Он лег, а я пошел к Антонию и к Маноли и долго у них сидел. Мы покушали там и пили вино и песни пели; но я все думал об Афродите и сказал наконец друзьям: «Послушайте, Антонаки, и ты, Маноли, я вам как

друзьям скажу. Как вы думаете, что брат мой Христо правду говорил капитанам, будто согласился прежде с Афродитой или нет, так что даже и я этого не знал?» Они подумали и сказали, что скорее лжет. Я же ободрился после этого и думал, что еще повернется дело в мою пользу; и брату решился об этом ни слова не говорить из гордости.

XIV

Дня два-три еще мучились мы с Афродитой. Сначала она все отвращалась от нас и все отвергала. Только с одною сестрой говорила и от нее принимала все. Спать одна боялась и верила только Смарагде.

— Спи со мной ты, моя милая, во имя Божие прошу я тебя.

Так она Смарагду просила. Сестра затруднялась через детей своих, мальчик был еще мал и кричал по ночам, а старшая дочь ее, хотя ей было уже пять лет, боялась спать одна без матери. Сестра говорила Афродите: «Кокоиица моя! тебе мои дети спать не дадут». Но Афродита клялась, что ей это ничего. Брат узнал об этом, велел Смарагде затвориться с нею и взялся сам детей няньчить и баюкать.

— Пусть только ей во всем удовольствие будет, — сказал он.

И как только вечер, он от детей не отходит, уговаривает, ласкает их и мальчика сам песнями баюкает и качает.

На — на,*
На — на, дитятко!
Белое, пребелое,
Сахаром кормленное,
Мускусом политое,
Пригласили в город.
Девушки две видят
Схватились, дерутся...
— Я не дам дитятко!
— Я возьму себе!!

* На — на, На — на! — баюшки-баю!

Мальчик у него спрашивает: «Это я белый?»

Христо говорит: «Ты белый».

— А ты разве не белый; не хороший?

— Нет, — отвечает брат, — и я белый, а ты еще лучше меня.

Мальчик говорит:

— А ты сахару мне не дашь?

— Если ты не будешь кричать, эта хорошая девочка, которая там спит, тебе много сахару даст.

Мальчик и молчит.

Я говорю брату: «Однако, ты, Христо, кормилица хорошая!» — Он смеется: «что̀ делать!»

Терпение было у этого молодца, чудная вещь!

На второй день сестра Смарагда уговорила Афродиту немного покушать. Мы с братом обрадовались, сами изготовили лучшее кушанье и хотели подавать ей, но сестра опять сказала: «оставьте вы ее; она хочет, чтобы только я одна с ней обедала».

После этого Афродита стала два раза в день кушать; и кушала хорошо, как следует; и кофе пила, и варенье наше кушала, а на третий день даже иголку взяла, начала сестре в работе помогать и с детьми ее немного играла; но все печальная, все вздыхает.

Мы с братом по нескольку раз в день входили к ней, все в надежде, что она простит нам и помирится с нами. Входили и оба вместе, и порознь; она здоровалась с нами благородно, но разговаривать все не хотела; всякий раз закрывала лицо платочком, прислонясь головой к стене, и молчала.

Я говорю сестре:

— Она спокойнее стала; не плачет и не сердится больше.

А сестра отвечает мне:

— Я ей сказала: «не убивайся, не заболей, глазки мои. Бог поможет. Подожди еще немного, либо твой папаки из города пришлет кого-нибудь сюда, либо капитан Коста заставит их тебя отправить домой».

Я не знал, что̀ подумать и чего нам ожидать. В селе об этом деле все разговоры и смех; одни радуются, другие

осуждают. А снизу, из города, никаких слухов, ни худых, ни хороших. Капитан Коста не показывается. От Никифора ни письма, ни выкупа, ни посланного какого-нибудь человека нет. Так прошла неделя. И к нам никто в дом не ходит. Тишина!

Я начал уже скучать и тосковать и думать: «Не лучше ли бы ее вернуть к отцу? Она нас знать не хочет, и Бог нас за насилие наше как бы не наказал».

Брат же Христо в это время то сердится, то вздыхает, то опять радуется и терпит все. То выйдет от Афродиты разгневанный, ударит себя в грудь и кричит мне: «Надо бы, Янаки, эту псицу маленькую убить! Зачем она нами так пренебрегает? Разве с деньгами и мы купцами не будем?» То опять идет к ней, старается служить ей, смирение и почтение всякое обнаруживает, стоит перед нею как раб и спрашивает:

— Что̀ вам нужно для вашего удовольствия, госпожа моя?

Но у нее один ответ: «Ты сам знаешь, что̀ мне нужно!»

Однако один раз я вернулся домой от попа Илариона и вижу, что брат выходит от Афродиты веселый, смеется тихонько. Я к нему бросился: «Что̀ нового?» А он сейчас серьезней стал опять и холодно отвечает: «Ничего».

Я спросил у Смарагды, а Смарагда с простотой говорит мне всю правду.

— Видишь, Янаки, Христо не велел тебе этого сказывать; но я тебе скажу. Он рад оттого, что Афродита сама его позвала к себе и долго с ним говорила. О чем они говорили, не знаю. Только потом она мне сказала: «Кира-Смарагда, если я вашего брата упрошу отослать меня к отцу моему, я вам за вашу доброту большие подарки сделаю: для Мариго, для вашей дочки, сделаю платье какое хотите и платочек жолтенький на голову ей куплю с бахромой хорошею. А вам серьги из золотых монет; и мальчику вашему пришлю то, что̀ вы мне прикажете. Просите и вы вашего брата».

Я спрашиваю:

— А обо мне, Смарагда, она ничего не сказала?

— О тебе она ничего не сказала, — говорит сестра.

Я обиделся, оставил сестру и подумал так:

«Я, кажется, глуп в этом деле. Не должно быть глупым. Человек должен иметь ум пробужденный. Посмотрю — не обманывает ли меня теперь брат».

И вот я дождался, когда Христо опять пошел к Афродите и затворил дверь. Я спрятался, чтоб он думал, что меня дома нет, а потом подкрался к дверям и стал в щель смотреть и слушать.

Есть песенка одна; если ты, Аргиро, у меня спросишь, из какого места эта песенка, я не могу тебе сказать, а кажется мне, что она смирниотская. В ней поется о том, как молодой один сватается за девушку. Он ей комплименты делает. А она ему с гордостью: «А ты кто же это такой?» А он ей: «Я из дому хорошего, известного». Потом она соглашается, потому что уже любит его. Понравились ей эти вещи, которые он ей говорил. Так точно и Христо с Афродитой говорил; а я в дверь все видел и слышал.

Он ей любезно, и так, и так: «Деспосини моя! Кокона моя! Коконица моя!»

А она ему: «Любопытное это дело. Разве я могу насильно тебя любить?»

Я жду за дверью и думаю, что брат скажет ей еще раз: «Может быть, тебе мой младший брат Янаки больше лицом нравится».

Но он, лукавый, обо мне уж перестал говорить, а все о себе.

— Я (говорит он ей) благодарю тебя за честь, которую мне делаешь, что приглашаешь меня сама говорить. Только не просись домой, потому что я тебя люблю!

— Деньги ты отцовские любишь, — говорит на это ему Афродита.

Брат ей на это отвечает очень умно: «Напрасно ты говоришь, что я деньги твоего отца Никифора люблю, а

не тебя. А если я тебе скажу так, что отец твой, может быть, денег и не даст нам, если мы женимся с тобою. Прогневается и не даст. А если я теперь потребую большой выкуп и отпущу тебя домой, так выкуп этот я, конечно, получу. Отец твой мне, верно, сюда с нарочным человеком пришлет. А я все-таки хочу, чтобы ты женой моею была и без денег. Теперь ты слышала? Повенчайся только со мной; а я тебе клянусь, что не стану ни слова о приданом говорить, пока ты сама не соскучишься без денег и не скажешь мне: «Христо! пойдем поклонимся отцу моему, чтоб он нас простил и денег нам дал».

Я гляжу, гляжу в щель на лицо ее — что̀ она скажет и как поглядит? Задумалась. Подумала немного и спрашивает у него очень ласково: «Ты когда ж меня полюбил, Христо?»

Он говорит: «Я тебя полюбил, Афродита, с первого дня, как увидал тебя на гулянье, когда арабы плясали. Я тогда подумал: Господи Боже! Господи Боже! Какой такой счастливый человек возьмет за себя эту девушку. Я бы, кажется, жизнь отдал, чтобы только поцеловать ее раз. Вот что̀, госпожа ты моя, я тогда подумал, когда смотрел на белое лицо твое и на ручки твои, которые в перчаточках были, и на сережки красивые. Ты мне показалась точно жасмин душистый и белый, или померанцовый цветок».

А я стою за дверьми и говорю себе: «Вот что̀ брат думал на арабском празднике, а я тогда думал, что она на переваренное яичко похожа. Его мысли лучше моих были».

Афродита в первый раз улыбнулась тогда и поглядела на брата весело. «Я думаю, ты все это лжешь, Христо!» — сказала она ему.

Встал мой брат и стал ужасно ей клясться. Она слушала его; начала вздыхать и сказала ему вот что̀: «Смотри ты, Христо мой, что̀ я скажу тебе. Вот если ты меня так любишь и жалеешь, ты должен меня отдать отцу моему

назад. Пошли за капитаном Ампеласом за старым. Он меня и отвез⟨ет⟩ домой».

— А твой отец, — отвечает брат, — пашу попросит, и меня схватят здесь старшие и запрут в тюрьму и пошлют в изгнание. Так уж если терпеть наказание, так за вину, а не за хорошие дела. А если я покаюсь и отвезу тебя, а меня все-таки накажут, какой мне выигрыш? Потом бы ты, коконица, подумала о том, что̀ худые люди про тебя скажут... Потому что ты с паликарами по горам ездила ночью. Скажут, ты согласна была на это.

Она опять молчит и вниз смотрит.

Брат ей говорит: «Что ж ты молчишь? Скажи ты мне хотя одно доброе слово».

— Вот мое доброе слово, отправь меня назад к отцу моему и возьми с него побольше денег; сколько хочешь. Он тебе много за меня выкупу даст, хотя бы мельницу и все маслины свои продать пришлось, на то он согласится, чтобы только меня у себя опять в доме видеть. Сколько ты хочешь денег, Христо, скажи мне, я тебя прошу, мой милый Христо! Скажи, скажи... Я напишу отцу — он даст, сколько ты прикажешь.

Брат говорит ей на это с усмешкой:

— А если я тебе так скажу: мне бы лучше на тебе без денег отца твоего жениться. Деньги я могу еще найти, потому что я молод и очень умен; а такую девушку приятную я не скоро найду. Я в тебя очень влюблен. Лучше я тебя без денег возьму, чем деньги возьму большие и тебя отдам.

— Что̀ ты во мне такое нашел хорошее? Ростом я мала!

— И лира золотая, — говорит брат, — гораздо меньше, чем подкова железная, но она золотая. Что̀ мне искать хорошего в большой ослице?

Афродита на такие его дьявольские слова покраснела и сказала, застыдившись: «Какие, однако, ты слова хорошие знаешь! Я думала, ты не знаешь таких разных слов!»

Потом она взяла обеими ручками своими брата за руку и заплакала тихонько, и сказала: «Вот что̀ я тебе скажу, мой бедный Христо, может быть, ты и правда в меня влюблен. Так если ты так влюблен, то пожалей меня и отошли назад отцу. И если он благословит, может быть, я привыкну к тебе и выйду за тебя замуж...»

Брат печально отвечал ей на это:

— Увы! кокона моя, если я тебя отошлю вниз, ты никогда за меня, несчастного и простого горца, замуж не выйдешь... Гордость тебе помешает.

Афродита побожилась ему, что она не имеет к нему отвращения и сказала еще так, очень для него приятно: «Если ты мне не веришь, спроси когда-нибудь у Кати́нко и у Афины, что̀ я про тебя им говорила, когда вы все у нас в Галате кушали. Афина́ говорит: „какие прекрасные паликары, все эти сфакиоты молодые". А Катинко спросила: „Который лучше? Я не могу сказать — все хороши!" И я тогда сказала: „Все хороши. Только братья Полудаки эти оба лучше всех; а из братьев Полудаки старший мне больше нравится еще, чем младший". Посуди сам, разве бы я стала твои записочки принимать без этого? Не стала бы я к Цецилии ходить, чтобы с тобою видеться. И все, что̀ эта Цецилия в саду тогда говорила, это все правда... Только я думала, что мы немного пошутим и оставим все это! Что̀ делать, Христо, я виновата, я знаю... Только, ты если меня любишь, ты должен пожалеть меня!»

И после этого она долго просила и руку его держала в своих руках. А брат сидит вот так, облокотившись, печальный и задумчивый и слушает ее.

Наконец он ей сказал вот что̀:

— Я согласен, Афродита, отвезти тебя к отцу твоему, потому что я вижу, что гордость тебе мешает за меня замуж выйти. Ты богатого купца городская дочь, а я горец сельский! Хорошо! Только пожалей же и ты меня, паликара. У меня тоже гордость и любочестие есть. Разве не стыдно мне будет, когда все скажут: «Испугался и отдал ее». Или скажут: «Она таким дураком брезгала!» Или:

«Люди отняли ее у него. Плохой паликар!» Ели уже отдавать тебя отцу, я отдам сам тебя ему, я сам отвезу тебя опять вниз, а другому никому не дам. Только дай мне время — напиши отцу своему обо мне хорошее и похвальное письмо и чтоб он ответил и поклялся, что схватить меня не велит там внизу и никакого зла предательского мне за мою вину не сделает, когда я приду сам к нему в дом с покаянием. Напишешь, кокона моя?

— Ба! а то не напишу? Конечно, напишу. И сейчас! сейчас! — говорит с радостью Афродита.

Просит бумаги и чернил, и перо. Встала, от радости почти что прыгает...

Брат ей говорит на это: «Вот ты как рада, что оставишь меня!.. Это мне очень обидно! И даже никакой награды мне не будет от тебя за то, что я пошлю к отцу твоему письмо это?»

Она сжала ручки пред ним и глаза к небу вот так подняла и начала удивляться, что он ей не верит, и еще раз сказала: «Или ты, глупенький, не веришь мне, что отец мой все маслины свои продаст и наградит тебя, когда ты ему меня возвратишь...»

Брат покраснел и в землю смотрит, на нее не глядит и молчит.

Она говорит: «Не довольно тебе этого?» Христо отвечает: «Ты все о деньгах отцовских... А я тебе другое уж сказал... Когда бы ты хоть эти дни, пока ответ от отца придет, любила бы меня, а потом как хочешь...»

Афродита тогда тоже помолчала, и сидят они друг против друга. Он вниз глядит; она на него смотрит внимательно, внимательно!

Потом она закрылась ручками и говорит:

— Может быть, ты хочешь целовать меня и ласкать... за это. Так, если хочешь, целуй...

Христо отнял ей ручки от лица, и они стали целоваться и обниматься. И она спрашивает:

— Пошлешь письмо, пошлешь, утешь ты меня, душенька ты моя?

А он: «Не письмо — я жизнь мою пожертвую для тебя... Когда ты меня хоть немного полюбишь и так поласкаешь... Ты — моя жизнь!..»

Я уже не мог больше стоять за дверьми и смотреть. Мне стало завидно и так грустно, что он ей больше моего нравится, что я ушел скоро, скоро, и стал думать о том, как бы все это их дело расстроить. Все хитрости брата я теперь понимал и задумал я в злобе моей помешать ему.

Я думал: «Ты, лукавый мальчишка, меня вначале обманывал, а теперь я тебе помешаю счастие твое получить. Подожди!»

Так я думал и скрежетал зубами.

XV

Воскресный день после литургии. Народ толпой выходит из церкви.

Яни и капитан Ла́мпро, высокий, худой мужчина, шкипер, муж старшей сестры Аргиро, выходят вместе и отдаляются в сторону от других.

Капитан Лампро. — Вчера вечером приехал из Афин Анастасий Пападаки. Он тебя спрашивал: имеет что-то передать тебе от брата твоего Христо. Я звал его сегодня к тебе; только он сказал, что ему теперь некогда; и хотел завтра утром сам к тебе в городе в лавку зайти. — *Осматриваясь кругом.* — А где же Аргиро наша?

Яни. — Она осталась около церкви с другими женщинами; она сейчас придет. Это и лучше, что ее нет; свободно поговорим о делах. Скажи мне, что̀ слышно нового из нашего Крита. Что старшины сбирались и послали свои требования Халиль-паше, э̀то я знаю. А больше ничего еще и по газетам не слышно.

Капитан Лампро, *вздыхая.* — Не хорошо! Мне не нравится все это. Не выгодно. Положим, в Европе дела запутаны... И Австрия с Пруссией на ножах. Однако На-

полеон — лисица, бодрствует, и никому неизвестно, что̀ у него на уме...

Яни. — Из Афин советуют, слышно...

Капитан Лампро *с упреком.* — Друже мой! Ты еще молод... Афины! Афины! Не видишь ты, как там падают одно за другим министерства... Несчастный! Несчастный! Пустят они ваших критян в танец, а потом?.. Остров; запрут вас турки и одним голодом замучают восставших. Что̀ делать! Что̀ делать! Видишь ты эти масличные рощи? Видишь это село наше, в котором ты дом теперь имеешь?.. Станут критские масличные деревья и критские села ваши, как эта моя рука, гладкие... Все погубят, все пожгут, все разорят и погубят турки... А деньги, где деньги? Деньги нужны...

Яни. — Хорошо! Ты все отчаяваешься... Имеют же люди сердце! Мы все будем жертвовать... Я что̀ могу, то дам... А Россию забыл?..

Капитан Лампро. — Вот разве Россия... Посмотрим... — *Приближается к дому.*

Капитан Лампро прощается с Яни у дверей.

Аргиро *в эту минуту тоже подходит и, здороваясь с капитаном Лампро, говорит ему:* — Не зайдешь ли к нам покушать немного и кофе выпить?

Капитан Лампро. — Благодарю, Аргиро, право надо домой. Дела есть. *Смеется и показывает на Яни.* Вот и он все против меня говорит; я хочу мира, спокойствия, а он желает войны, кровопролития...

Яни. — Ба! великая разница, — ты грек свободный, а я райя...

Капитан Лампро *с притворным удовольствием осматривает его с головы до ног и качает головой.* — Что̀ тебе турки делают?

Яни. — Турки! одно слово! Вот что̀ они мне сделали!

Капитан Лампро. — Пустые слова! Живешь ты хорошо с этою красоткой... Веселишься с ней... Людей в лавке своей обманываешь, деньги наживаешь... Брат богатый, все мешочки тебе присылает... Ну и будь райя, чело-

вече ты мой добрый... Я тебе говорю: бедный султан что̀ тебе сделал? *смеется.*

Яни. — Ты тоже! Я тебя знаю! Ты первый бунтовщик против султана в сердце своем. Я тебя знаю... Все шутишь...

Капитан Лампро *продолжает в том же тоне.* — Райя! Что̀ ты понял из того, что будешь свободным эллином? Министром тебя сделают? Все-таки в лавочке торговать будешь и с женой сидеть своею...

Аргиро. — А с кем же ему сидеть, как не со своею женой? С чужой он будет сидеть?

Капитан Лампро, *переменяя вдруг тон, грозно.* — На войну должен молодец идти... *С ожесточением.* Пусть все горит, пусть все пропадает, к дьяволу! Пусть будет стон, и крик и отчаяние!.. На войну! Да! *приподнимает феску.* Видишь, Аргиро, седые волосы эти... Мне пятьдесят семь лет... Ты не считала моих лет, но я считал их верно, дочь моя! И я пойду, и корабль мой сожгу, если нужно, и твою сестру, жену мою, и детей моих брошу... И дом пусть гибнет... А я пойду в Крит... А твой муж будет здесь около тебя красоваться и целовать тебя...

Аргиро *горячо.* — Хорошо! Что̀ ты хвалишься? И Янаки пойдет в Крит сражаться... Ты один, что ли, пойдешь? У тебя одного сердце в груди есть...

Капитан Лампро *притворно.* — Пустяки... Ложь... Не верю... Яни с тобой сам девушкой стал... Все любовь у него на уме... Он уж не тот, что̀ был прежде... И ты его пустишь, я поверю этому?

Аргиро. — Что̀ за беда? Пусть идет на войну.

Капитан Лампро *с видом сомнения.* — Пустишь его? Плакать и просить не будешь? Хорошо!.. Помни ты это, Аргиро моя... Помни!.. *Треплет ее по спине, гладит отечески по голове и вздыхает.* Э! Куропатка моя, куропатка!.. Не знаешь ты еще, что̀ такое война!.. Не шутка это, куропатка моя... Ты росла в мирное время и в мирном месте... И не знаешь ты, что̀ за ужас воевать христианам с турками... Я тебе говорю. Мне шестнадцать лет уж было, когда

наши бились с турками при Караискаки, при Колокотрони и при других... Страшная вещь!.. И не дай тебе Бог милосердый глазками твоими чорными и красивенькими такие вещи видеть, как начнут старикам горло разрезывать, как старушкам седые головы разрубать и детей за ноги головками вниз вешать и пополам рассекать их... Вот что̀ такое, свет мой Аргиро, война с турками... Поняла? Отпустишь мужа, теперь я тебя спрашиваю?

Аргиро *смеясь.* — Жила я жила, ничего такого еще не было, как ты говоришь. Делайте вашу войну, как хотите. Тогда увидим. Напрасно ты только почему-то не хочешь зайти к нам... У нас есть сыр молодой, и черешни, вино старое... Поди к нам, зайди, Лампро!

Капитан Лампро. — Некогда, некогда, в другой раз... *Уходит.*

Аргиро идет в дом и выносит на тарелках черешни, связанные в большую кисть; сыр, хлеб и вино. На дешевых тарелках портрет короля Георгия в национальной одежде.

Яни *рассматривает тарелку.* — Красивый паликар наш Йоргаки*. Хорошо бы, когда б его на русской принцессе поскорей женили... Дай Бог! Может быть, тогда и мы все лучше будем жить. Первого мальчика, который у них родится, мы назовем Костаки и сделаем его царем в Византии! Это называется «великая идея!»

Аргиро. — Кушай черешни.

Яни начинает есть черешни с сыром и хлебом, запивая вином. По окончании завтрака Аргиро приносит мужу кофе и уголек на медном блюдечке, чтоб он закурил папиросу.

Яни *пьет кофе и курит.* — Вот, например, на войне, кто подаст мне так хорошо кофе и огонек на блюдечке! Несчастие!

Аргиро *спокойно.* — Перестань все об этой политике и о войне! Давно уже я слышу: война, война, восста-

---

* Йоргаки — Егорушка.

ние, восстание... А никакой войны и никакого восстания все нет. Все это неправда и никогда не будет. Расскажи мне лучше, что̀ с тобой было после того, как ты на брата рассердился за то, что он с Афродитой целоваться стал.

Я н и *возобновляет рассказ свой.* — Да, Аргиро! после того, как я узнал, что брат Афродите больше чем я нравится, взяла меня такая зависть, что я не знаю, как и рассказать тебе! Тоска, скука, смерть моя приходит! В кофейню пойду, злость владеет моею душой; пойду к друзьям, к Антонаки и к Маноли, все хочу им жаловаться на брата Христо, хочу его ругать обманщиком и злодеем... зачем это он ей больше нравится! И зачем я, дурак, клятве тогда на первые сутки верен остался. Мне бы с сестрой Смарагдой согласиться, так как она очень ее жалела, и ночью бы первою увезти ее к отцу! Может быть, отец и отдал бы мне ее за мою честность... А то бы возил ее, возил бы где-нибудь по диким местам и, может быть, она привыкла бы ко мне, когда бы мы были все одни и одни с ней в горах и под деревьями бы сидели одни... И когда начинал я думать о ней и о том, что мы сидели бы с нею долго, долго одни где-нибудь в прохладе, ужасная жалость брала меня, и я вздыхал и плакать хотел.

И досада моя была тогда так велика, что на другой день было воскресенье, и я пошел в церковь к литургии и свечу большую для души моей хотел Панагии поставить и вот подрался тут же с другим молодцом... Этою свечой самою (прости мне Господь!) его прибил и свечу сломал пополам. За что̀, Господь Бог знает за что̀! За то, что он прежде меня хотел тоже свечу поставить и толкнул меня немного; а я оскорбился. Детские вещи! Однако мы начали спорить и браниться. А поп Иларион выглянул со священного порога* и воскликнул: «Стыдно, *бре*, ребята, вам! Стыдно, *бре*! Храм Господень это. Замолчите, безумные!» Мы и замолчали; и хотели нас старшие за это запереть обоих; но я знал, что виноват, и у попа Илариона, когда кончилась литургия,

* Алтаря.

просил при всех прощения и поклонился ему. Он сказал: «Бог тебя простит!»

А она, проклятая, то есть Афродита, повеселела за эти дни! Поет песни, кушает, спит хорошо, с детьми Смарагды играет. По утру рано встанет и к дверям даже выйдет сама и смотрит и с сестрой говорит: «Ничего ваше место теперь, летом; а зимой страшно, я думаю... Вот, говорит, эта большая такая, темная скала пред окнами, что̀ это такое за ужас! Что̀ за скука и за стеснение. Теперь на ней хоть травка зеленеет, а зимой ведь она у вас будет в снегу, эта скала, и все на нее смотреть?» Сестра ее утешает: «Уедешь! Скоро уедешь к папаки своему; там все городские хорошие вещи увидишь... И сады, и дома хорошие, — все хорошее»...

Раз я вхожу на наш двор и вижу, стоит у стенки какая-то наша сельская девушка, задом ко мне, и мою племянницу, маленькую Мариго, поднимает под плечи, чтоб она могла видеть что-то через стенку, и слышу, Мариго говорит: «Теперь вижу!» И вдруг у этой сельской девушки голос Афродиты, и такой нежный, любезный: «Ангельчик мой, Мариго, видишь, видишь теперь; поди, моя душка, я тебя поцелую», отпускает девочку и оборачивается. Боже мой! Это она и есть в сельском платье с толстым фартуком. Улыбается мне и спрашивает еще, демон: «Янаки, вот я сфакиоткой стала теперь. Хорошо?» Я отвечаю: «Очень хорошо!», и сам ухожу, ухожу скорей. А это вот как случилось. Платья у Афродиты другого не было, конечно, с собой, а та вся одежда, в которой мы ее привезли, еще дорогой измаралась, и ей стало тяжело в ней. Она сама попросила переодеться по-сельски, и Смарагда побежала мыть ее вещи. И по правде сказать, не знаю, в чем она мне больше нравилась: в городском платье или в этой простой одежде и в платочке на голове.

Она так ободрилась после того, как брат обещал ей послать ее письмо к отцу, что стала даже и с ним шутить: «Христо, спой ту песенку, говорит, в которой все поется: эта смугленькая, эта смугленькая».

А брат ей отвечает с насмешкой: «Крепко я хочу теперь *смугленьких*! (Потому что она была белокурая, видишь, какая хитрость!) Я хочу о белокурых петь теперь!» — говорит он ей.

А она поглядит на него вот так, снизу вверх. (Беда моя! ах! Когда бы она на меня так смотрела! Я тогда жаловался.) Поглядит сладко, очень сладко и скажет ему:

— Ну, пой про белокурых. Ты хорошо поешь.

А брат поет песенку, — знаешь:

Ты видел часом поздним
Вчера в ладью вошла
Та русая красотка —
В чужбину отплыла.

Зачем мне белый парус...
На что̀ мне та ладья...
Нужна мне лишь красотка,
Что̀ в лодке уплыла...

— А ты, Янаки, не поешь теперь? Доро́гой ты как громко пел; много пел; больше всех не ты ли пел? (Это *она* у меня спрашивает, понимаешь?)

А я, как зверь: «Не хочу петь!» И уйду.

Она веселилась в той надежде, что через несколько дней получится ответ от отца ее, что он Христо все простит и Христо сам отвезет ее домой. Иногда на нее часик-другой найдет тоска, и она говорит Смарагде: «Отец мой, боюсь я, на меня рассердился, он не простит меня теперь... Он скажет: Проклятая девочка! она сама с паликарами, развратная, согласилась и отца связать велела».

Сестра утешала ее. Сестра уж так привыкла к ней, что все хвалила ее и говорила: «Что̀ за ангел! Христос и Панагия! Ангел она, ангел. Если она уедет, как мне будет без нее скучно!» Спрашиваю, наконец, у сестры: «Что же, как она теперь с Христо?» — Сестра смеется: «Хорошо! Все целуются!» — «А письмо к отцу?» — я все спрашиваю.

— Она написала, а Христо спрятал его за кушак. Верно, ищет, кого послать, а ей говорит, что уже послал.

Ну, думаю, терпение! А где тут терпение! Посидел я на камне; пошел по хозяйству кой-что сделал, оружие свое почистил. Все неприятно! Пошел, наконец, к Антонаки и говорю ему: «Антонаки, Афродита Никифорова согласилась с Христо отцу написать, что Христо ее сам домой отвезет, и чтоб отец на него не жаловался и ничем бы ему не мстил. А сам письма не послал; говорит ей, что вчера послал, а сам положил его за пояс свой и не послал. Обманул ее. Во имя Божие, Антонаки, позволь мне открыть тебе сердце мое. Я сам в Афродиту страх как влюблен теперь. Очень хочу на ней жениться, и пускай бы отец мне и денег не дал за ней и не простил бы нас. А если я на ней не женюсь, я или ножом себя зарежу или отравой отравлюсь! Поэтому я хочу пойти к ней и сказать ей, что брат ее обманывает».

Антонаки на это сказал мне: «Что̀ ты *понял* из этого? Выигрыш не велик! Себя убить грех. А чтоб она влюбилась в тебя оттого, что брата предашь? Кто знает, влюбится ли. Может быть, и не влюбится; а если Христо ей уже понравился, а ты скажешь ей: он тебя обманывает. Она скажет: какой злой молодой этот Янаки. Что̀ ты понял из этого? Брат судьбы хорошей лишится, если она рассердится, для примера, так сказать. А сам, что̀ выиграешь? А когда она его очень полюбила, тогда опять что̀? Тогда они смеяться над тобой оба будут. И интереса своего лишишься; потому что после, когда брата твоего Никифор Акостандудаки простит и много денег ему даст, тогда брат будет на тебя злобу иметь и не даст тебе ничего».

Я рассердился и выбранил его; сказал ему: «Как брат Христо вас всех обещаниями купил! Скажи, сколько он тебе из денег Никифора Акостандудаки обещал уделить? Погодите, анафемский вам час! Он всех вас умнее, хотя у него еще и усов почти нет, а у вас большие усы, а он всех вас обманет».

И ушел я от него в гневе. А он, Антонаки, говорит мне: «Это правда, что Христо очень умен!»

Иду как зверь по улице; смотрю, поп Иларион сидит на камне около церкви и курит и веселый кричит мне: «Яни! Янаки! Иди сюда! Добрый мой!»

Подхожу я, целую его руку, сажусь около него. «Что̀ делаешь? Как живешь? Что̀ Афродита у вас? Что̀ брат?»

— Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо...

И потом я стал сидеть молча, ждать, чтоб он спросил, отчего я не весел. Он не понимает. «Хочешь сигарку?» Я ему: «благодарю, не хочу». «Хочешь, зайдем ко мне, чашку кофе выпьешь?» — «Благодарю, не хочу кофею!» Так я ему все сухо. Наконец он заметил и говорит: «Имеешь какое-нибудь сожаление или печаль?»

Я и начал: «Как же мне не иметь сожаления и печали».

И ему говорю то же, что̀ Антонию. А поп сказал мне на это так:

— Это от врага у тебя. Враг не любит, чтобы братья купно хорошо жили.

— А что брат мой все лжет, — говорю я, — это не от врага...

— Что̀ ему делать! Я еще раз тебе говорю (это поп мне так объяснял), грех уже сделан. Девушка насильно похищена и отец оскорблен. Она, я тебе говорю, неразумна еще. А честь ее, скажут злые люди и у нас, и внизу в городе, где ее честь теперь? Это ясно. Поэтому хорошо он делает, что желает жениться на ней и возвратить ей честь в міре. Ты знаешь, ястребок злой как схватит горлицу, как начнет ей, бедной, перышки из головки рвать и головку клевать. Отнимешь ты горлицу у него; улетел ястребок, нет его. А горлица уже не та. Она может заболеть и все равно издохнет. Так лучше не отнимать уж ее. Ястребок имеет указание от Бога питаться кровью и мясом. Что̀ делать, хороший мой Янаки! Да! А Христо ястребок первого нумера, и горлицу нежную и голубку белую ты лучше у ястребка так не отнимай.

Христос и Панагия! — думал я, — все они за него. И говорю попу дерзко: «А тебе, поп, брат мой за такие притчи хорошие сколько денег из приданого Афродиты обещал?»

А поп наш очень кротко отвечает: «Конечно, Янаки мой, и попу надо хлеб есть. И за требы брать попу, живущему в міру с семьей, закон никакой не запретит. И я, обвенчав их, могу взять с брата твоего деньги». Я же все сержусь: «Я думаю, что не так, как за требы платят, а за хитрость твою брат тебе, я думаю, лир десять золотых обещал». Поп улыбается и ласково мне отвечает: «Не десять, дитя мое, а двадцать пять он мне обещал за свадьбу, твой брат. Вот какое дело!..»

Вижу, все смеются надо мной, и я просто вздулся от гнева, я, говорю тебе, как дикий зверок стал... Так бы ятаганом всех и начал резать. Таскался я до самой ночи туда-сюда и все не мог успокоиться.

Наконец я решился все ей сказать и вернулся домой.

Я в мыслях моих думал так ей сказать: «Деспосини моя! Прости мне. А я жалею тебя и очень тебя люблю, от всей души моей, и скажу тебе, что брат мой, Христо, тебя обманывает; он письма твоему отцу не посылал ни с кем. А положил это письмо за кушак». Так думал я ей сказать и с этою мыслью дошел до самых дверей. Вхожу я и вижу, она сидит с сестрой и заплетает себе косу; плетет и смеется, и глядит вот так, вниз и в сторонку немножко на свою белокурую косу (а толщиной она была, право, как твоя рука, моя Аргиро). Я остановился, и как увидал эту косу ее и как она приятно расчесывала ее и так вот на нее, смеясь, смотрела, разгорелось еще сильнее мое сердце!

— Увы мне! какая она приятная! Погоди ж вы все, злодеи мои лютые!.. Погодите...

Я еще и слова ей сказать не успел, а она сейчас заговорила: «Янаки, а Янаки! Ты где пропадаешь? Брат твой ищет тебя везде. Он хочет просить тебя, чтобы ты к моему отцу письмо от меня отвез... Мы совсем помирились и очень подружились теперь с твоим братом».

Я стою; ничего не могу отвечать. Понял я, конечно, что друзья уже сказали брату все, что̀ я им говорил. А она оставила гребень и глядит на меня и любезно и приятно и потом говорит: «Добрый мой Яни. Ты паликар молодой и ничего не боишься, я думаю, на этом свете. Брат твой искал, кого послать вниз, и лучше тебя человека и не нашел. И я тоже очень прошу тебя и умоляю, и любить и обожать тебя я буду, как брата милого, душенька ты, очи ты мои, если ты поедешь с этим письмом к отцу. И он, знаешь, богатый человек, обрадуется и наградит, и угостит тебя, как только ты желаешь. И если чего желаешь, скажи мне, и я клятву тебе дам, что все, что̀ ты желаешь, я у отца тебе выпрошу. Паду в ноги отцу и скажу ему: я, отец, не встану, пока ты не исполнишь всех желаний этого Яни Полудаки, который мой друг и спаситель. Что̀ ты желаешь? Мулов хороших; оружия европейского; из одежды что-нибудь дорогое... Или денег больших... Скажи только»...

Встала и подает мне письмо: «Вот письмо, милый мальчик мой... Будь ты счастлив всегда, живи ты долго, будь здоров, чтобы мне всегда на глазки твои веселиться... Вот это письмо свези отцу моему в Галату секретно».

Я уже не смотрю на нее, а вниз гляжу и молчу; и гнев и стыд во мне кипит, кипит! Ни слова я ей не ответил и письма не взял из рук ее, и вышел вон.

Вышел я за ворота и вижу, что сестра Смарагда развешивает и раскладывает на кустики и на стенку белье Афродиты, которое она сама ей вымыла. Около сестры стоят соседки, смеются и глядят на юбки Афродиты и на рубашку ее и говорят:

— Городские вещи! нежные вещи! Посмотри то, посмотри вот это!

Смарагда по своей доброте не сердится и отвечает им на все, что̀ они спрашивают; но я уже был так рассержен, что на всех кидаться хотел, и закричал на этих женщин: «Идите к себе по домам! Что̀ вы здесь удивляетесь и смотрите? Стыдно вам! Вы хозяйки-женщины и должны

дома своим хозяйством заниматься, а не бесчинствовать здесь и смеяться. Идите! Идите!» Так просто я на них кричу, хотя все эти женщины гораздо старше меня были и хороших домохозяев жены и дочери.

Соседки обиделись, ушли и сказали сестре: «Такой безбородый мальчишка так на нас кричит! Что̀ мы сделали вам злого? Разве глаз у нас нет посмотреть!..» Одна же из них и хуже этого сказала: «Хорошо это! Вы с братом привозите себе из города распутных потаскушек всяких; и еще нас оскорбляете. Жени поскорей брата, осел ты, Яни, а то мы ее выгоним отсюда, бесстыдницу, или камнями голову ей проломим! Слышишь ты?»

И очень обиженные все они ушли; а сестра говорит мне: «Нехорошо ты сделал, Янаки, зачем ты соседок оскорбляешь так. Стыдно. Они из любопытства на белье Афродитино смотрели только и ничего для нас обидного не сказали. Теперь же вот и тебя изругали, и ее оскорбили, и брата!»

Но я и на нее крикнул: «Пропадите вы все, и ты, и соседки!»

И не знал я, куда бы еще скрыться, чтобы не душили меня ревность и злость. И соседка эта сердитая, и та сказала: «не сам женись, а брата жени скорей».

Все против меня! — думал я. — Никто меня знать не хочет.

XVI

Я н и *продолжает свой рассказ.*

— Наконец я задумал куда-нибудь уехать, так, чтобы никто и не знал куда, и лег спать с вечера в темном и скрытом месте. И еще солнце не вставало, а только я увидал, что верхушечки кой-какие, на которых снег еще с зимы оставался, засветились рассветом, тотчас я встал, вошел в дом, взял все оружие свое, взял денег из своего ящичка. Брат спит спокойно в углу на полу, и дети спят около него. Смарагды не вижу; она все еще у Афродиты ночевала.

Над головой брата ружье мое висело... Как мне достать его, чтоб его не разбудить?.. Тянулся, тянулся я, однако он проснулся немного испуганный и говорит мне: «Что̀ ты! Что̀ ты!..» А я говорю: «Ничего!.. Спи!..» и вышел. Снарядил лучшего мула и уехал из села. Куда уехал? И сам я сначала не знал куда еду... Ехал вниз и мула подгонял скорей... Чтоб их всех забыть и чтоб увидать скорее других людей и душу мою с другими людьми успокоить.

Я в дороге уж придумал, куда мне ехать. Есть около самой Канеи село Халеппа; оно у моря и место там очень веселое. В этом селе много хороших домов и садов. У английского консула в средине села большой дом с черепичною кровлей; у русского консула тоже свой дом и тоже большой, жолтого цвета, у самого моря. И другие консула нанимают там дома на лето. Дома беев турецких есть, и христиане есть не бедные, которые очень чисто одеваются и дома имеют хорошие и лавочки в городе. От Канеи близко крепость очень хорошо видна из Халеппы. И наша Сфакия видна оттуда... зимой вся в снегу. Место веселое, многолюдное, чистое, хорошее место.

За самым селом гора и за горой уж ничего не видно; только и видны, что камень и трава на горе. По горе, к селу поближе, есть маслины и большие дома беев; тут один большой каменный дом стоит на полгоре, а там другой. Они чаще пустые стоят. Есть там на горе этой один дом больше и выше всех других; он каменный и похож даже на крепость; он очень высок и по углам у него как будто башенки маленькие. Этот дом был тоже турецкий, хозяина звали Ариф-бей. Жил там сторожем один чорный арап, с которым я еще прежде имел большую дружбу и знакомство. Его звали Саали и он был очень добрый человек. Жил он наверху, в самой маленькой комнате, и весь дом стоял совсем пустой.

Саали был вдов, и жила с ним только одна дочь его маленькая, чорная, такая же, как и он. Эту девочку звали Икбаль, что̀ по-турецки значит *великое счастье*. Так ее

назвал отец потому, что очень был рад, когда она у него родилась.

Саали меня очень хорошо принял и угостил.

Сначала он, правда, немного испугался, когда увидал меня, и сказал: «Как это ты, несчастный, сюда под город приехал? Народ кипит теперь, и вас, сфакиотов, все проклинают за дело Никифора. Не узнал бы Ариф-бей! Он и меня хлеба лишит и тебя предаст. Тебя в тюрьму и будут мучить, чтобы ты все открыл. Никифор везде ходит и подписи людей противу вас сбирает. Кричит: „Пытку им надо!"»

Так я узнал, что наше дело стало делом большим и что паше все согласны жаловаться на нас. А мы наверху, в тишине и пустыне, не знали этого. Я подумал так: «Не беда! Я уеду дальше в монастыри Агия-Триада и Агие-Яни и скроюсь, а здесь только отдохну. И буду я отмщен. Предадут, наконец, наши капитаны брата Христо начальству; не захотят ему в угоду всех здешних христиан иметь врагами, а Афродиту у него отнимут, и не придется ему веселиться ею и деньгами ее отца; и еще отвезут вниз и отдадут паше и его, и Антония, и Маноли, и попа Илариона, и всех их запрут надолго в тюрьму; а я буду знать это все, и буду свободен, и я буду тогда над ними смеяться, а не они надо мной!»

Когда я сказал арапу, что я пробуду у него неделю и уеду куда-нибудь дальше (а не сказал — куда), он успокоился и обещался не предавать меня. «Бей мой, — сказал он, — очень редко ездит сюда. Ничего. Отдохни». Мы легли спать. Но я не мог заснуть; начну дремать и вдруг проснусь и не знаю, где у меня голова и где ноги; кричу во сне; Икбаль испугалась, плачет и зовет отца: «Отец, отец!.. Боюсь, Янаки этот очень кричит!» Саали мне говорит: «Что ты, бедный, что с тобой?» Я говорю ему: «Ах, Саали мой хороший... Я не могу спать». Саали встал, развел огонь, сварил кофе, и мы с ним стали разговаривать. Разговаривали долго, почти до рассвета. Сначала Саали все спрашивал у меня: «Что с тобой?

Отчего ты так скучен? Здоров ли ты? Скажи мне правду». Я стыдился сказать ему правду, а только отвечал ему все, что у него много крыс и что они будили меня. Саали тогда перестал у меня спрашивать и начал рассказывать мне разные любопытные вещи. Он был *курьезный* человек и знал все, что̀ делается на свете. Знал, кто бывает у русского консула и кто не бывает; кто служит у английского консула и за сколько лир в месяц и кто у австрийского нанимается; и почему английская консульша отпустила служанку свою мальтезу, которую она из Мальты с собою привезла... Кто кого любит и кто кого ревнует в Халеппе и в христианских домах, и в мусульманских. Мы всегда его за это любили и не раз и прежде с братом Христо заходили к нему в гости, и всякий раз он нам открывал какую-нибудь тайну или историю рассказывал. Так и теперь. Сначала он стал говорить о крысах и о том, что один бей турецкий в городе умеет делать для них кушанье с ядом и выводить их; а потом рассказывал что̀ на днях в Канее случилось. Были очень дружны между собою два турчонка. Один был побогаче, а другой победнее. Богатый был сын табачного торговца, а бедный служил в кофейне. Купеческому сынку было семнадцать лет, а кафеджи́ двадцать. Все, что̀ у них было, они делили и жить друг без друга не могли. Потом поссорились; кафеджи (тот, который был победнее и постарше) выбранил того младшего всякими обидными словами и сказал ему: «Я больше знать тебя не хочу!» А тот от огорчения достал яду и отравился; он не мог без этого друга жить. Мать послала за доктором Вафиди; Вафиди пришел и вылечил его, и он теперь жив. Но родные его чуть-чуть было не убили другого турчонка, того, который в кофейне служил. Вафиди и его спас. Кафеджи не знал, что тот отравился и умирает; соскучился без него и пришел мириться. Входит и видит, что он лежит и около него мать и доктор, и все родные. Как только кафеджи вошел, все родные бросились и хотели растерзать его на куски; однако доктор успел его отнять и увел его оттуда.

Такую историю рассказал мне Саали. И когда он кончил, я подумал:

— Вот и моложе меня мальчишка, но отравиться не побоялся, когда его оскорбили. Отравлюсь и я!

Так я задумал и Христа-Бога совсем забыл.

Утром, когда Саали собрался за провизией в город, я сказал ему:

— Принеси мне яду сильного для крыс. И я знаю, как отравлять их; я для них приготовлю кушанье.

Пока Саали уходил в город, я с его дочкой развлекался детскими разговорами; я эту маленькую Икбаль всегда любил; забавно было на нее смотреть: личико у нее было очень чорное и блестело так, как вот этот мой башмак, когда его чисто вычистишь; а зубы белые, как жемчужинки ровные... Превеселая была девочка и служить умела в доме как большая. Бей, хозяин Саали, ее тоже любил и подарил ей хорошее платьице, полосатое — белое с желтым. Я в нем ее и застал. Я с отцом говорю и слышу, что она мне шепчет: «Янаки, Яни!» — гляжу, она и стыдится так в углу, и ручками полы платьица держит и приподнимает их ко мне, то есть: «смотри, какое у меня платьице!» Ах, Аргиро, не могу я тебе сказать, как мне стало жалко тогда и девочки этой бедной, чорненькой, и самого себя, и я сказал себе: «надо скорей мне убить себя; все люди у нас надо мной смеются и считают меня теперь глупым: и поп Иларион, и соседки, и товарищи; и брат с Афродитой радуются моей глупости. Я так жить не могу. А все, что̀ есть со мной теперь денег, отдам, когда буду умирать, этой маленькой Икбаль. Пусть она радуется! Ведь это приданое ей и счастие! И скажет после отец ее: „и в самом деле, Икбаль! *Большое счастие* ей было от этого христианина Янаки...“ Пусть меня никто не жалеет; я зато этих бедных людей пожалею в смертный час мой!»

Когда Саали привез из города яду и отдал мне его, я сказал ему:

— Саали! Дай теперь мне воды. Я начну делать кушанье для крыс.

А он смеется:

— Посмотрю я, как ты это будешь делать!

И дочка говорит: «И я, папаки, буду смотреть!»

Я опять ему говорю: «Дай стакан воды». Он подал. Я высыпал яд и говорю ему еще: «Теперь сходи за хворостом, разведи огонь; я буду варить». Он вышел, а я выпил яд при девочке. Она на меня смотрит и говорит: «Пьешь?» Я говорю ей: «Так надо!» Как только я выпил его, зажгло у меня внутри огнем и что̀ со мной начало делаться — я рассказать тебе не могу! Начало меня рвать ужасно и резать внутри, как ножами, и упал я на пол и стал кататься по полу и старался я не кричать, но не мог удержаться. Девочка заплакала, бежит и кричит отцу: «Папаки! Яни Полудаки умереть хочет!»

Ужаснулся бедный Саали: «Что̀ ты сделал! Что̀ ты сделал!..» Я говорю: «Прощай, Саали... Дай тебе Бог счастье всякое за твою доброту! Прощай, Саали»... И сказал ему еще: «вынь мне из-за пояса: вот тут двадцать золотых. Это для твоей дочери... Прощай, Икбаль, моя душенька!.. Господи, говорю, прости мне»...

Яни останавливается и задумывается, Аргиро начинает плакать.

Яни. — Плачешь?

Аргиро молча плачет.

Яни *тоже молча и задумчиво глядит на нее; потом говорит с улыбкой:*

— Вот теперь ты, глупенькая, плачешь о прошлом! А если в нашем Крите будет война и я пойду туда, что̀ ты тогда сделаешь? Тогда тебе уж умирать надо, если ты о прошлых вещах так плачешь. *Помолчав еще.* Аргиро, ты бы перестала плакать теперь. Зачем?

Аргиро *сквозь слезы.* — Мне стало жалко очень тебя; как ты сказал, что тебя рвало и как ты по полу катался и деньги девочке отдавал... Проклятая эта Афродита! Проклятая ведьма! Чтоб ей душу свою не спасти!..

Я н и, *улыбаясь лукаво и самодовольно.* — Я у тебя, свет мой небесный Аргиро, спрашиваю вот что: отчего же ты не плакала, когда заходил сюда капитан Лампро и сказал: «Надо скорее восстание в Крите сделать»; отчего же ты, я тебе говорю, об этом прошлом деле плачешь, а того не боишься, что ядовитая оттоманская пуля мне прямо в уста попадет и весь рот мой полон крови будет, и зубы мои все побьет... И я буду на траве лежать мертвый, и люди скажут: «Вот какой молодой за отчизну погиб!» Или возьмут турки-дьяволы и ножом мертвому мне голову отрежут и понесут ее в лагерь свой начальству своему хвастаться... И в турецком войске скажут: «Это чья головка? Это Янаки Полудаки из Белых Гор паликар хороший!» А между нашими разговор иной будет. Наши христиане спросят: «Это чье тело без головки, так что узнать нельзя? Неизвестно, чье это тело. Турки голову унесли. Должно быть, молодец был. Да простит Бог его душу!..» Так что враги будут знать, где я, а друзья знать не будут... Отчего ты этого не боялась, когда мы с капитаном Лампро говорили, и сказала капитану: «Я пущу его, пусть идет на войну!»

А р г и р о. — Хорошо! Ты тоже думаешь, что я совсем глупая. Любопытное дело! Чтоб я не понимала, какая разница! Одно дело — отчизна, и совсем другое дело такой грех, за эту женщину злую тебе отравиться... Ах! чтобы никода глаза мои ее, скверную Афродиту эту, не видали. Я ей глаза сейчас вырву...

Я н и, *несколько веселясь ревностью жены.* — А я думаю, очи ты мои Аргиро, напротив того, тебе бы увидать ее надо. Ты бы успокоилась, потому что она с тех пор много, должно быть, испортилась в лице. И тогда даже она гораздо хуже тебя была... А теперь!.. Где!.. Далеко ей до тебя... Что ж, рассказывать?

А р г и р о. — Нет, не хочу больше! Я очень рассердилась теперь.

XVII

На следующий день Яни, возвратившись из города домой, сходит с мула. Аргиро хочет взять мула, но он, смеясь, говорит ей:

— Подожди; я мула сам уберу. Держи руки.

Аргиро. — Что̀ такое?

Яни *достает из-за пояса довольно большой мешочек, полный золотых монет, и кладет ей в руки.*

Аргиро *с радостью.* — Деньги!

Яни *все веселый.* — Подожди! Постой! *достает другой такой же и дает ей.*

Аргиро. — Боже мой! Что̀ такое! Все деньги... *Хочет бежать с ними в дом.*

Яни. — Постой! Держи еще вот это! *Подает ей конверт с векселем.* Это полегче мешочков; а силы столько, сколько в двух мешочках...

Аргиро *как растерянная от радости.* — Что̀ мне делать, куда я это все возьму! Постой, я положу деньги на стол. *Уходит в дом.*

Яни *смеется.* — Как радуется. Это хорошо, что она так рада! Хозяйка!

Убирает мула и потом идет в дом. Застает Аргиро пред столом, на котором рассыпаны деньги. Она предлагает ему считать их вместе; но Яни, прикрыв их руками, говорит ей: «Не дам тебе считать, пока ты не пообещаешь мне одну вещь».

Аргиро. — Какую?

Яни. — Не брани больше Афродиту бедную. Это ее деньги.

Аргиро. — А! Это от нее?

Яни. — Брат прислал, и письмо пишет мне она сама...

Аргиро *забыв о деньгах.* — Покажи! Что̀ она пишет, как она пишет. Покажи...

Яни *подает ей письмо.* — Тише! Тише! вексель не разорви... Теперь читай...

Аргиро *читает громко:* «Муж мой поручил мне, так как он сам уехал в Афины на месяц по делу, о котором вам скажет наш знакомый господин Анастасий Пападаки...» Как она красиво пишет, скверная!

Яни. — Опять бранить ее...

Аргиро *отдавая письмо.* — О делах торговых пишет и мне велит кланяться.

Яни. — А ты думала — о любви какой-нибудь? У тебя все женские вещи на уме. А я тебе скажу вот что̀. Деньги ты теперь оставь считать. Я их в городе счел. Запри их. А к вечеру что-нибудь получше приготовь; этот Анастасий Пападаки придет. Он человек очень хороший. *Садится у дверей дома и закуривает папироску.*

Аргиро *уносит деньги и возвращается с чашкой кофе, которую ставит на стол около мужа; потом садится сама около него с работой и говорит:* — Конечно, я не буду больше бранить Афродиту. Это глупость моя, больше ничего, и грех. Чрез нее брат твой хорошо торгует и нам присылает деньги. Дай Бог ей жить долго и радоваться на деточек своих! Что ж ты, будешь еще рассказывать об этой истории сегодня? Мне так приятно все это слышать, что я даже сказать тебе не могу!

Яни *смотрит на часы.* — Анастасий Пападаки придет. А пока он не пришел, я могу рассказать. Теперь-то, Аргиро моя, ты должна слушать с радостью о том, как меня вылечили от яду. Саали побежал в Халеппу, хотел на осле в город ехать за доктором; осел нейдет, он на улице осла бросил. Бежит... До города все-таки больше получаса. Я бы умер в это время. Но не пришел мой час. Саали бежит по селу, встретились женщины: «Куда ты, Саали? Что̀ имеешь такое, что бежишь?» А он: «Дистихия! Дистихия! (несчастие, несчастие!) Стой, стой!» Он забыл о своем хлебе и об Ариф-бее и всем рассказывает, что я у него и что я отравился. Говорят ему люди: «Доктор Вафиди здесь; он приехал из города, ищи

его». Саали в одну минуту отыскал Вафиди, и доктор сейчас поспешил ко мне. А я в это время крещусь и вздыхаю и закрываю глаза, — умирать собираюсь; только говорю: «Прости мне, Господи Боже, прости мне!» Тоска, тоска в сердце моем ужасная! Раскрою на минуту глаза и зову девочку: «Дитя мое, дай еще водицы». Она дает и все плачет.

Пришел Вафиди и сейчас мне помог, я даже до сих пор удивляюсь его науке и уму, а больше всего милости Божией, надо так сказать. Как ты думаешь, чего он мне дал? Яичный белок. Я пил при нем и мне легче стало. Приказал он еще, чтобы Саали с ним в город ехал и оттуда мне лекарство прислал. А пока вся Халеппа узнала, что я здесь лежу у Саали и что я отравился. Пришли некоторые женщины и ходили за мной. Бог да хранит их бедных за это! Ни минуты я не был один. «Хочешь того, Янаки? Хочешь этого, Полудаки?» И старики приходили, и молодые паликары халеппские, и священник отец Хрисанф ходил исповедывал меня и говорил: «Съезди после помолись в монастыри Св. Троицы и Св. Яни, когда выздоровеешь». Я скоро веселиться стал, и все люди мне стали приятны. Доктор Вафиди говорит мне: «Что̀, Янаки, я думаю, ты теперь как второй раз на свет родился?» Правда, что второй раз родился! Я его руку поцеловал и очень низко ему поклонился, и также, как и попу, все ему открыл, из-за чего я принял яд.

Вафиди удивился и говорит:

— Вот молодость! Вот глупость! Не все ли одно, что Афродита, что Катинко, что Мариго?

Потом, когда он увидал, что я стал покойнее и немного покрепче, он стал говорить, что мне надо поскорей уехать отсюда подальше, а то меня схватят, когда узнают в городе, что я здесь. И рассказал мне то же, что̀ и Саали, что все горожане за наши дела у Никифора в доме против нас разгневаны и в Порте жалуются, говоря: «Это не жизнь, если сфакиотов не накажут!»

Я хотел ехать на другое же утро в монастыри и потом еще дальше; но не позволил мне Бог исполнить этого.

Скоро узнали многие и в городе, что я у Саали живу, и о болезни моей и обо всем этом стали много разговаривать. Никифор Акостандудаки пошел к Ариф-бею, к хозяину Саали, и говорит ему:

— Что же это у вас, бей-эффенди мой, разбойничий притон Саали в доме держит? А вы не знаете? Там у вас один из погубителей дочери моей живет.

Бей на лошадь и приезжает. Я его никогда не видал и не узнаю, кто это. Вижу, пришел человек старый, сердитый, лицо красное как свекла и в серебряных очках (этот бей был очень зол и фанатик, в 58 году при Вели-паше и при Маврогенни* он возбуждал турок простых против консулов, и Сами-паша его долго в тюрьме продержал за дерзости, которые он французскому консулу сделал). Так вот я сижу и вижу — входит сердитый старик этот. Я встаю и кланяюсь, а не знаю кто. Я еще слаб был тогда, однако кланяюсь. Саали не было в комнате.

А бей как закричит на меня: «Гяур разбойник! вор! собака! Как ты смеешь тут быть, в моем доме! Саали! Саали, собачий сын... Где ты?» Саали пришел и упал ему в ноги: «Прости, мой господин, я пожалел его!» А бей: «Хорошо!» — ударил Саали в лицо раз, ударил другой. А я пошел и говорю (уж догадался я, что это хозяин): «Бей-эффенди, за что его бить, накажи меня; я виноват, а он прав». Тут бей обернулся ко мне и задрожал весь, и вскрикнул на меня: «Ты бастардико!** будешь указывать мне тут? Ты гяур, собака, ты мальчишка гадкий». И меня, и меня по лицу. А я еще был слаб и со второго удара упал на пол. Я думаю: «Что делать! Не Сфакия наша вольная тут! И ножа моего теперь нет за

---

* Смотри повесть «Хамид и Маноли», там эти исторические события описаны.

** Незаконный сын, бранное слово.

поясом, и все оружие далеко от меня, на стенке висит! Терпение!»

Бедная малютка арапочка одна только не испугалась Ариф-бея; она схватила его за шальвары и стала просить:

— Эффенди! не бей больше Янаки моего! Эффенди! буду я на твои глазки радоваться — не бей его больше!

Старик пожалел девочку и оставил меня, но сказал Саали так:

— Я тебе, старая собака, на этот раз, для души твоей девочки и чтоб она ела мой хлеб, это прощаю. А надо бы избить тебя крепко и прогнать!

После этого Ариф-бей приказал Саали взять мое оружие, которое висело на стене, посадить меня на осла и везти в город. Он хотел, чтоб я ехал на осле со связанными руками; Икбаль опять начала просить его: «Не вяжи его, не вяжи!» И я сказал ему: «Не вяжите меня. Я болен и куда я от вас двоих убегу!»

Но бей на это не согласился; руки мне связали, и мы поехали в город. Я ехал верхом на осле; Саали, вооруженный моим оружием, шел около меня, а бей сам ехал за нами на коне шагом.

Встречные люди кланялись бею, и с иными он останавливался и разговаривал, хвастаясь, что поймал меня.

Одним он говорил так:

— Вот везу в Порту одного из этих злодеев, которые у Никифора дочь увезли. Вот беспорядок у нас в Крите какой!

А другим говорил:

— Это я к паше везу его; он из тех сфакиотов, которые девиц из домов похищают. Хорошо бы повесить его для страха другим. Сегодня они из христианского дома девушку увезли; а что же они завтра в нашем доме готовы сделать!

Почти все, и христиане, и турки, с которыми Ариф-бей говорил, хвалили его и льстили ему: «Так, бей-эффенди мой! так их надо! будь жив и здоров!»

И я думал опять, что я как сирота на этом свете и что меня ни у нас наверху, ни здесь внизу никто, даже вот... никто — кроме маленькой Икбаль не жалеет!.. Маленькое дитя, как оно меня спасет и утешит?

Под самым городом Ариф-бей поздоровался еще и заговорил с одним старым турком, Ахмедом, который продавал баранки. Этот старик Ахмед всегда почти сидел или лежал у дороги под стенкой и около него лоток с баранками. Много он ходить не любил. Ноги у него были длинные-предлинные, сухие, босые и чорные. И он вытягивал их лежа на самую дорогу, так что народ должен был иногда обходить их... Мне кажется, он для кареты самого паши не отодвинул бы их. Один только этот Ахмед Ариф-бея не похвалил за то, что он меня поймал.

Бей поздоровался с ним, и старик так полюбопытствовал посмотреть на меня, что даже встал, подошел к нам и спросил:

— Это кто такой и куда ты его везешь?

Ариф-бей опять свое хвастовство.

— Это из тех сфакиотов... Я его так, я его этак!..

Но Ахмеду эта история не понравилась, и он с пренебрежением сказал:

— Удивляюсь я! Какая тебе нужда — это Никифорово дело!.. Один неверный у другого неверного дочь силой взял! Не все ли нам с тобой равно, что свинья ест собаку или что собака ест свинью!

И ушел от нас.

Так мы приехали в город; бей отдал меня под присмотр офицеру в караульню, а сам поехал к паше. Саали остался со мной в караульне; ему все еще было жалко меня оставить и он поэтому не уходил от меня долго. Потом собрался уходить. Говорит мне: «Прощай, Янаки!»

Я сказал ему тоже «прощай» и просил его известить моего благодетеля доктора Вафиди, что меня схватили, и Саали обещал тотчас зайти к нему.

Тогда я вдруг вспомнил, что я все деньги мои отдал маленькой Икбаль и что у меня теперь ничего с собою нет,

и говорю Саали: «Саали, у тебя мои деньги, которые я твоей дочери завещал, если умру. Теперь, когда помиловал меня Бог, они мне нужны...» Деньги были с ним. Он достал их и отвечает:

— Конечно, тебя Бог помиловал... а не грех тебе будет их назад у моей дочки взять?..

Мне стало жалко и денег, и девочки и его самого... И я не знал, что̀ мне делать... Саали вынул деньги, и лицо его стало очень печально. Я взял их и держал их в руке. Потом подумал: «Как же я буду без денег в тюрьме? с деньгами везде облегчение». А с другой стороны, *душевное* дело не хотелось испортить. Поэтому я оставил у Саали только две лиры из двадцати и сказал ему: «Знаешь — тюрьма! А ты моли Бога, чтоб я был здоров и чтобы меня скорей освободили. Тогда я дочке твоей еще больше дам».

Аргиро *перебивая*. — А после дал?

Яни, *вздыхая и потупляя глаза*. — Забыл!.. не дал... забыл, что̀ делать!.. *еще раз вздыхает*. Надо бы это сделать... грех... ведь грех, Аргиро?..

Аригиро *пожимает плечами с недоумением*. — Мне кажется, как будто грех. Как знаешь...

Яни. — Вот теперь мы получили много денег, слава Богу, отчего же не послать, как ты думаешь? Я пошлю.

Аргиро, *изменяясь немного в лице*. — Пошли, когда это *для души* обещано! Что̀ делать! *поднимает глаза печально к небу и качает головой*. Всесвятая Госпожа моя Богородица! что это, как в этой человеческой жизни все затруднения! Правду, правду говорил всегда мой отец: «Суетный этот свет, суетный!» Много затруднений! Э! пусть будет так! Говори, что̀ было после этого с тобою?

XVIII

Яни *продолжает*. — Сидел я в караульне долго; наконец пришли за мной аскеры и чауш от паши и повели меня в Порту.

Чауш, который вел меня, был сердитый. Дорогой он спросил меня: «Как это ты сделал, что украл из дома девушку?» И когда я сказал ему, что об этом я буду отвечать в Порте и просил его оставить меня в покое, то он рассердился, выбранил меня и сказал: «Погоди, я тебе покажу сейчас одну хорошую вещь! Она как раз для тебя, эта вещь».

И точно, только что мы поворотили в одну улицу, я увидал вдруг повешенного человека. Он был повешен просто на навесе одной лавчонки около угла, над самою дорогой, и качался. Покачнулся он немного еще, и я увидал, что это чорный арап! Ужаснулся я, и сердце мое задрожало; мне вдруг показалось, будто это бедный Саали и что пока я сидел в караульне его уже повесили за то, что он жалел меня и помогал мне. И я не знал, что̀ подумать мне и чего ожидать для самого себя! Но тотчас же я понял, что это не Саали, а совсем другой арап. У Саали была небольшая седая бородка, а у этого, у повешенного, не было бороды, и цветом он был не так чорен, как Саали.

Народу вокруг было немного. Человека два аскеров караулили мертвого, дети какие-то смотрели и смеялись. Лавочники сидели в лавках. Другие люди проходили мимо.

Чауш остановился на минуту и начал разговаривать с другими аскерами. Я стоял. В это время подошло ко мне несколько христиан и один из них спросил:

— Ты ли это Яни Полудаки сфакиот? Не ты ли взят по делу Никифора?

Я сказал: «да».

Тогда один старый лавочник, очень чисто одетый, закричал на меня: «Негодяй! Хорошо сделали, что поймали тебя! У меня тоже три дочери есть... у всякого человека есть семья. Вот с тобой что̀ надо сделать за это!»

И он тоже указал на повешенного арапа. Я молчал; что̀ мне было говорить!

После этого люди стали разговаривать между собою, и старый лавочник спросил у другого человека: «Кажется,

этот арап не здешний? Не тот ли это, из города Ираклион, который старую турчанку убил?»

А другой человек отвечал:

— Кажется, он оттуда... Я не знаю, за что̀ его повесили. Его три года все судили и все не кончали дело, а новый паша кончил.

На это старик сказал:

— Пусть живет и здравствует наш Халиль-паша. Он такой! Любит кончать дела.

Я все молчал и думал: «Видно, Бог спас меня от яда по милосердию Своему, чтобы мне не от своей руки, а от турецкого правительства умереть и чтобы не в смертном грехе застал меня последний час».

Этим я старался укрепить себе сердце; но все-таки было мне очень страшно.

Когда чауш кончил свой разговор с другим аскером, то оборотился ко мне и сказал с насмешкой, указывая еще раз на арапа:

— Видел ты это? Говори, собака, видел?

Я отвечаю: вижу.

— Гляди хорошо! С тобою следует это сделать!

Так сказал чауш, а старый лавочник очень обрадовался и закричал чаушу:

— Прекрасно ты говоришь, ага мой, прекрасно. Дай Бог тебе жить!

Привели меня после этого в конак паши и оставили в больших сенях. Народу в этих сенях было довольно много; каждый пришел по делу своему или по должности; одни сидели на полу с прошениями в руках; другие стояли у стенок; иные ходили туда и сюда; солдаты, евреи, турки, греки, женщины... всякий народ; и никому не было до меня нужды; всякий о себе думал. И я сел в углу на пол и стал тоже о себе думать.

«Неужели это в самом деле меня осудят на смерть? А брат спасется и возьмет богатую невесту, и будет жить хорошо... И что̀ же я сделал, Боже мой, чтобы мне во всем был такой дурной час и такое несчастие?»

И я смотрел то на улицу, не идет ли Вафиди, чтобы спасти меня, то на все двери по очереди — не шевелятся ли на них занавески и не выходит ли кто-нибудь звать меня к паше. Думал я также, что Саали рассердился на меня за деньги и к доктору не ходил. И я каялся, что мало оставил ему денег.

Законов я тогда хорошо не знал и не понимал, могут ли меня повесить за похищение Афродиты или нет... И какие законы у турок!.. Об этих законах я даже и не думал тогда; мне уже после доктор Вафиди объяснил, что за такое дело, как Никифорово, никто не повесит, и смеялся над моею неопытностью и страхом... А тогда почем я знал?.. И чауш, и бей, и старый лавочник, все они знали дело лучше моего, все годами были старше и все пугали меня... И я им верил и думал: «Вот паша и мусульман стал без пощады вешать... Он только сначала притворился смирным. Что́ же ему сто́ит убить меня в угоду городским христианам, как при Вели-паше убили без суда на лестнице этого самого конака молоденького грека в угоду туркам».

Вафиди долго не шел. Я утомился, перестал от отчаяния думать и начал уже дремать в углу, как вдруг на одной двери поднялась занавеска и оттуда выскочил главный драгоман паши, старичок Михала́ки Узун-Тома́.

Я его видал еще прежде не раз. Капитан Коста Ампелас ходил к нему в дом по делам и своим собственным, и сфакиотским, когда приезжал с нами в город. Он давно уже был драгоманом в Крите и служил еще при прежних пашах. Он был фанариот, из хорошего и старого константинопольского рода. Человек очень воспитанный и добрый. У нас все почти его уважали и были довольны им. Только он был очень боязлив и очень смешно было смотреть, как он хотел всем на свете людям угодить. Ко всем все с комплиментами и лестью. Сам маленький, худенький, брови седые, пребольшие и прегустые! Туда и сюда все припрыгивает, все кланяется, все руку протягивает, и большим людям, и маленьким, все равно! Всем он

«слуга», и по-турецки, и по-гречески, и по-французски. «Ваш слуга!» направо, «ваш слуга!» налево! «Дулос-сас, эффендим, дулос-сас». И по-французски так протяжно: «Serviteu-eu-eur!» Я по-французски вот и не знаю, а это слово мы все запомнили: «serviteu-eu-eur!»

Подбежал ко мне Узун-Тома и спрашивает:

— Ведь это вы Яни Полудаки? Кажется, я вас видел с капитаном Костой прежде еще?

Я встал, поклонился и отвечал почтительно:

— Да, это я, господин мой!

Узун-Тома вдруг отскакивает от меня, поднял руки кверху и ужаснулся:

— Боже мой! Боже! возможно ли это! Из почтенного дома похитить девушку силой! Отца вязать! Ужас! Ужас!

Я молчу.

Он опять:

— Такой молодой! Дитя почти! Это ужас! Ужас!

Я опять, конечно, ничего ему на это не сказал; он помолчал, посмотрел на меня и так и этак, как будто пожалел меня и говорит:

— Вы знаете, что подвергнетесь за это очень строгому наказанию?

А я отвечаю:

— Как будет угодно прежде всего Богу, а потом господину нашему Халиль-паше; я же надеюсь на Бога и на добрых людей.

Узун-Тома на это говорит:

— Что̀ тут могут добрые люди!

В это самое время, я вижу, входит Вафиди и прямо идет ко мне. Я очень обрадовался и смотрел на него как маленькое дитя на отца своего.

Узун-Тома сейчас прыгнул к нему: «Serviteu-eu-eur!» Они отошли от меня и стали тихо шептать что-то друг другу.

Вижу я, они заспорили. То Вафиди топнет ногой и рукой махнет и опять говорит ему тихо; то Узун-Тома от

доктора отскочит и опять к нему подскочит, и руки кверху поднимет, и, слышу я, опять он говорит: «ужас!»

Я жду, что̀ будет! Узун-Тома ушел. Вафиди подошел ко мне и сказал мне так:

— Тебя позовут скоро к самому паше; смотри, не будь дураком пред ним. Имей обращение почтительное и умное; а главное, говори ему всю правду; что̀ у тебя на сердце есть, то и говори. Ему это понравится и он пожалеет тебя. Он человек тонкий, и ты его ничем не обманешь, а веди себя пред ним как доброе дитя... Это я, Вафиди, твой друг, тебе, несчастный, говорю!..

Я благодарил доктора, но сказал ему так:

— Господин Вафиди! Вы, конечно, благодетель и жизни моей спаситель, и я должен теперь как раб повиноваться вам; только как же я буду все паше рассказывать, если он меня о брате и о товарищах будет спрашивать? Разве я брату и своим сфакиотам не буду предателем?

— Что̀ им там наверху могут сделать! — говорит доктор. — Они далеко! Попробуй твоего брата сюда привести! Не шутка! Ты по глупости сам отдался. Так ты и думай только о себе, человече мой!.. И какое же предательство, когда и Никифор сам, и Василий, слуга его, и служанка, все вас знают и видели, кто их вязал и кто что̀ делал!.. Говори у паши все, что̀ тебе Бог на сердце положит... Слушай ты меня, море́!

Однако я еще думал и так и иначе, и говорю доктору довольно громко:

— Как же я это турку буду все открыто про своих говорить?

Я сказал э́то доктору и сам испугался. У Вафиди вдруг побледнело лицо; он начал оглядываться и потом стал смотреть на меня как зверь, молча поскрежетал зубами и сказал мне тихонько: «осел! варвар! фанатик! осел!» и, озираясь еще на меня с великим гневом, оставил меня одного.

Я понял, что сказал непристойную вещь, и где же — в самой Порте! Положим, около нас никого близко не

было и сени были очень велики, но все-таки я очень глупо назвал пашу так грубо: турок!

Но что̀ делать! И от болезни, и от печали, и от боязни я совсем стал глупый.

Только что отошел от меня Вафиди, как пришел Узун-Тома звать меня к самому паше. С нами вошел еще один вооруженный заптие. Мы вошли и стали у дверей.

Узун-Тома тоже не двигался, стоял согнувшись, сложа руки напереди, и ожидал приказаний.

Паша сидел в креслах около длинного дивана. На диване около него было много бумаг, а пред ним стояло несколько человек чиновников и писцов.

Паша прикладывал печать к каждой бумаге и отдавал писцам и чиновникам. Они кланялись и уходили.

Наконец паша обернулся в нашу сторону и спросил у Михалаки Узун-Тома:

— Это он самый?

Узун-Тома сказал, что это я тот самый.

Паша не показал ничего, ни даже гнева, а стал опять смотреть и печатать бумаги. Потом он махнул рукой тем писцам, которые еще стояли тут, чтоб они отошли в сторону, и спросил у меня:

— Тебя как зовут?

Я говорю:

— Яни Полудаки, сфакиот.

Паша тогда сказал:

— Да! Я тебя где-то видал. Ты это увез дочь у Никифора Акостандудаки?

Я отвечаю:

— Мы, паша-эффенди мой, увезли.

— Кто мы?

Я, в намерении всю правду говорить ему по совету доктора, отвечаю так:

— Я с братом моим Христо и с товарищами.

Паша замолчал и опять начал печатать бумаги и что-то говорить по-турецки писарям. Потом, отпустив писарей, еще спросил меня:

— Зачем же ты уехал оттуда? Разве ты не для себя ее крал?

Я говорю:

— Для брата больше, для старшего.

— А ее не перевенчали еще с братом?

Я отвечаю:

— При мне не венчали, а без меня что̀ было, не знаю.

— Отчего же ее не венчали?

— Она не хотела.

Паша помолчал и спросил внимательно:

— Так ты говоришь, она не хотела? Почему же она не хотела? разве она не была с вами в соглашении?

Как только он спросил это так особенно и посмотрел на меня внимательно, я забыл весь гнев мой и всю зависть мою и сейчас вспомнил только, что Христо мне брат, а это турок предо мной. Я подумал тотчас, как бы брату вреда больше не сделать, и отвечаю не совсем ложь и не совсем правду:

— Не знаю этого; со мной и с другими товарищами она не была в соглашении, а с братом моим, может быть, и в самом деле была в тайном соглашении. Они говорили не раз прежде между собою. Я ничего не знаю. Может быть, они и согласились.

Я очень стыдился и боялся, чтобы паша не стал меня об отраве расспрашивать; однако он не спросил об ней, слава Богу, ничего, а обернулся к Михалаки Узун-Тому и приказал ему:

— Хорошо! велите пока отвести его в тюрьму.

Тогда Узун-Тома подбежал к паше, начал кланяться ему и приседать низко, и руку к феске прикладывать, и улыбался, и говорил на турецком языке жалобным голосом.

Так как я, ты знаешь, по-турецки не говорю, то и понял только немного слов... Слышал я «джуджук» (дитя) и потом «Вафиди, Вафиди!» И потом начинал Узун-Тома шептать так тихо паше, что ничего уже не было слышно. Паша все не гневался ничуть, но подставлял ему ухо и раз

даже засмеялся громко чему-то. А Узун-Тома отскочил от него тогда от радости.

После этого паша сказал громко:

— Хорошо. Я велю. Уведите его.

Мы вышли в сени с заптие, и я не знал, радоваться мне или еще нет.

Доктор Вафиди уже ждал меня за дверями и спросил:

— Э? Что̀ у вас было?

Гнев его прошел. Но я сам не понимал еще, как паша решил мое дело. Михалаки еще не выходил от него; поэтому я сказал доктору:

— Не знаю я еще ничего; а мне кажется, что г. Михалаки Узун-Тома просил за меня. Паша не был сердит и говорил со мной очень благородно.

Доктор отвел меня после этого еще подальше в сторону и начал усовещевать меня за мою грубость.

— Как же это можно (так он мне сказал потихоньку) генерал-губернатора и где же? *здесь* называть *турок!* Турок... хотя бы и тихо... Мальчик ты умный, но этот анафемский и ослиный фанатизм, который вас одушевляет, портит все дела на острове... Ты видишь, я знал, что все кончится для тебя хорошо. Эти ржавые, старинные идеи вашего молодечества надо бросить.

Я тут подумал про себя: «Что̀ же он сам, Вафиди, хвалил наше молодечество, когда мы не побоялись украсть со стола список у такого сильного человека, как мсьё Аламбер!» Но, конечно, ничего ему об этом не сказал.

В это самое время, пока мы с доктором говорили, вдруг началась в сенях большая суета.

Выскочил от паши Михалаки, побежал в другую дверь; оттуда опять назад к паше; прошел мимо нас совсем бледный и не глядел даже на нас с доктором.

Вафиди к нему:

— Постойте, постойте, кир-Михалаки!

Куда! и не слышит.

Выбежал другой человек, кричит:

— Али-бея, Али-бея зовите!..

Али-бей, офицер, побежал к паше, побыл немного у него, опять выбежал на лестницу, что-то сказал и назад опять. Как только он сказал что-то на лестнице, так сейчас забил на улице барабан и заиграла музыка... Потом стала музыка удаляться, как будто уходил полк... Люди побежали смотреть в окно. Мы с Вафиди слушали, и опять я начал чего-то бояться. Вафиди говорит:

— Что̀ такое это? Куда это полк идет? Не понимаю!

Тут вдруг аскер поднял занавеску, и вышел сам Халиль-паша. На нем была надета кривая сабля на золотом поясе, и он придерживал ее рукой. Все замолкло, утихло; кто сидел на полу, вскочил... Вафиди сейчас согнулся немного и сложил наперед руки, и я сделал так же.

— Али-бей! — сказал паша.

Али-бей подбежал.

Паша приказал ему что-то, и тот, поклонившись, хотел идти, но паша ему вслед сказал громко:

— Скорей! скорей! Сейчас!..

Али-бей пошел к лестнице, а паша осмотрел всех кругом и позвал рукой нас с Вафиди. Мы подошли и стали перед ним.

Тут одна женщина, христианка, в чорной одежде, бросилась к нему из толпы с бумагой в руке; упала на колени и закричала жалобно:

— Эффенди! Эффенди мой!

Но паша сказал ей строго:

— Подожди немного, встань...

И обернулся ко мне.

— Вот, — сказал он мне, — доктор Вафиди желает тебя взять на поруки к себе в дом. По молодости твоей и по болезни я это позволяю. Иди. Но помни, что если ты убежишь куда-нибудь, то благодетель твой, доктор Вафиди, за тебя, как поручитель, будет наказан. Иди!

Вафиди сделал мне знак глазами, показал глазами на полу паши... Я бросился и поцеловал его полу. Тогда паша взял у женщины бумагу, положил ее себе в карман и сказал:

— Успокойся... я твое дело знаю!

И ушел в другую дверь.

Я радовался своей свободе, глядел на Вафиди и мне хотелось плакать, так мне было приятно. А Вафиди ходил по сеням и все спрашивал у людей: «Что̀ такое? куда паша едет? Куда пошло войско?..» Люди говорили: «Кто знает!» Он ходил туда-сюда, и я за ним молча ходил, как собачка.

Наконец пришел опять Михалаки, бледный и как будто испуганный, подошел к нам и прямо мне шепчет, а не доктору.

— Вот вы с братом каких дел наделали... паша с войском идет в Сфакию... С утра один батальон ушел... а теперь остальное войско ушло, и мы сейчас едем... и я должен бросить жену и детей и ехать в это дикое страшное место... Это ужас!

Мы с Вафиди оба не знали, что̀ на это сказать, и молчали... Я верить не хотел, что это правда... Когда же паша ходил в Сфакию с войском и среди мирного времени, без всякого восстания и войны!..

Вафиди наконец сказал мне:

— Что̀ делать, пойдем, Янаки, домой...

И мы пошли, и всю дорогу ничего не говорили.

Как пришел я в дом к доктору, как только поздоровался с докторшей, так прислонился к стене и начал горько стонать и плакать о несчастии моей родины...

Докторша и доктор старались утешить меня. Доктор говорил:

— Сфакиоты не приготовлены. Никто не мог ожидать, что паша туда с войском пойдет и потому защищаться оружием они не будут и не будет пролития крови. Ваши капитаны покорятся и заплатят подати, как и прочие люди.

А докторша говорит:

— Не бойся, Янаки, Халиль-паша человек не жестокий. Он у вас никого убивать не будет. А только брата твоего схватят и Афродиту у него отнимут и отдадут отцу; а его в цепях в тюрьму запрут за это. И будет это ему по

заслугам! Он вас всех запутал в это худое дело. Я думаю, надо бы его помучить немного за это в тюрьме; поставить его в тесный и темный шкап в самых тяжелых цепях, чтоб он ложиться спать не мог, и жаждой помучить его, или что-нибудь горячее ему привязывать под мышки... Ты, Янаки мой бедный, я думаю, будешь рад, что Афродита никому не достанется, если она тебя так огорчила, что ты даже через нее отравился...

Но я на все эти утешения отвечал одно:

— Что̀ мне брат теперь и что̀ мне Афродита! Не прежде, а теперь мне, окаянному и жалкому, нужно бы отравиться. Я плачу о родине нашей, которой мы сделали столько вреда!

И долго я плакал так и убивался, и доктор с докторшей долго не могли утешить меня.

Дом Вафиди был на большой улице, и скоро мимо нас проехал сам паша на коне и с саблей на боку. За ним вели хорошего оседланного мула для сфакиотских дорог; ехали с ним арнауты вооруженные, в белых юбках, и небольшой отряд кавалерии. Ехал на муле и Михалаки Узун-Тома, согнувшись и вытянув шею, все такой же бледный и печальный. Он даже не посмотрел на окошко доктора, — так был испуган, что ему надо в Сфакию ехать.

Доктор с женой смеялись, глядя на него; но я уже не мог тогда ничему в свете смеяться!.. Такой дурной был для меня этот день, такой чорный день!.. Никогда в жизни моей я этот день не забуду!

XIX

После этого я прожил в доме доктора несколько дней, все ожидая вестей из наших гор. В здоровье я поправился, но все было мне скучно, и я никого не хотел видеть.

Вафиди и докторша все еще боялись, чтоб я не убил себя опять; доктор свои лекарства запирал в шкапу от меня; а докторша все оружие, которое у мужа в доме

было, куда-то спрятала. Докторша была очень добрая женщина и жалела меня как мать. Она, увидав, что у меня только с собой одна рубашка, послала купить для меня еще три рубашки и за одеждой моею смотрела, и разговорами приятными старалась меня развеселить. Шутила о невестах:

— Постой, Янаки, я тебе невесту нашла! Имею в виду одну прекрасную. Что̀ Афродита!.. маленькая и бледная! Я тебе найду вот какую! кусок!.. жасмин!.. голубочка! С ума ты сойдешь, когда ты увидишь ее.

Так шутила докторша, но меня ничто это не веселило, и я не хотел никого видеть. Когда к Вафиди приходили больные или друзья, я уходил в дальнюю комнату и там сидел один. Я желал только одного — знать, что̀ делается у нас наверху и еще, скажу тебе, я очень часто вспоминал о Никифоре и жалел его. Я все вспоминал, как я вязал ему руки и рот. Как этот сильный и высокий человек испугался меня, мальчишки, и как он смиренно и жалобно тогда сказал: «Вяжи, вяжи меня, Янаки! Только мою бедную Афродиту не бесчестите, прошу вас!»

Вот, думал я, где мой грех! Вот он где! Оттуда все мое горе и все обиды!.. Когда бы этот человек простил мне!..

Никифор был даже один раз в доме у Вафиди в эти дни, но я узнал, что он приходил ссориться и укорять доктора, зачем он взял меня на поруки и освободил из тюрьмы; и говорил ему так: «Ты пристанодержатель разбойников!» Видев его такую на меня злобу, я показаться ему не смел.

Из Сфакии все эти дни не было никаких известий; наконец приехал оттуда в Канею один сосед наш, женатый человек, и жена его с сестрой Смарагдой имела большую дружбу.

Я ему очень обрадовался, и он рассказал мне, что̀ было без меня в нашем доме.

Как только я уехал, пришло к капитану Ампеласу письмо от Никифора. Акостандудаки писал ему: «Это неправда, чтобы дочь моя согласилась с этими негодями».

И всячески он поносил и капитана, стыдил и укорял. С нарочным человеком послал из выкупа, как задаток 40 000 пиастров, все золотыми лирами, обещал клятвенно гораздо больше, если нужно, и просил капитана во имя Божие и в знак старой дружбы освободить Афродиту из наших рук, и признавался в письме, что на распоряжение начальства турецкого он ничуть не надеется. «Куда им из Сфакии дочь мою достать!»

— Вот (говорил мне этот сосед), вооружилось несколько человек и пошли в ваш дом с капитаном Коста. Капитан говорит сестре твоей Смарагде: «Вызови брата». А брат все с Афродитой затворившись сидит. Как ты уехал, так больше у них с девушкой дружбы стало (то есть у Христо). Посланный от Никифора с деньгами тоже сам с ними пришел. Когда Смарагда вошла и сказала брату об этом, Христо стал бледный совсем. Товарищей тут нет; он один!.. Что̀ делать? Однако он решился и при сестре схватил Афродиту за руку и говорит ей: «Слушай ты, Афродита! Я знаешь кто! Я Христо Полудаки, разбойник — вот кто я! Я живой не отдамся и тебя убью, если ты сама не откажешься с ними от меня уйти. Скажи им так: Вот вам Христос, что меня отцу моему отвезет сам Христо и больше никто! А я денег не возьму теперь отцовских: я сказал, что я *тебя* хочу, и если уж я тебе дал слово, что я тебе никакого зла делать не буду и сам отцу отвезу, так и ты меня несчастного не стыди и не позорь перед людьми...» И за пистолет берется.

Афродита говорит: «Милый мой, я все сделаю по-твоему, только не убивай ты ни меня, ни себя и ни в кого не стреляй!..» Брат твой согласился, и позвали всех и Никифорова человека в ту комнату, где Христо с Афродитой были вместе. Говорили, говорили, часа три кричали и спорили. Христо стоит около нее с оружием в руках и кричит: «Не бесчестите меня, оставьте! Это ее дело и мое. Я увез, я отвезу отцу, когда она прикажет». А она тоже: «Нет, уж лучше оставьте нас с ним, мы сами к отцу поедем». И посланному отцовскому также сказала: «Оставь нас, мы сами

приедем, и папаки моему доброму скажи, чтоб он мне простил. Деньги же Христо теперь не хочет». Капитан сказал: «Смотри, Христо, мы и тебя свяжем сейчас и ее силой возьмем». Но Афродита упала ему в ноги и просила оставить Христо. Все удивились и ушли. Человек Никифора с деньгами уехал; а на другое утро, только солнце взошло, слышим, поп Иларион уже венчать их пошел. Вот это дела!..

Когда сосед мне сказал это, мне опять стало очень больно и обидно, и я спросил: «Как же случилось это так, что Афродита вдруг согласилась венчаться?» Сосед стал смеяться и говорит:

— Сестра ваша Смарагда жене моей все рассказала. Что̀ ж! Все вместе и вместе целый день... Одни и одни с девушкой целую почти неделю... Надо думать, что он ей давно нравился, только она, или от гордости какой-нибудь, или противу воли отца, венчаться не хотела. А когда он понемножку уговорил ее стать его возлюбленной... Что̀ ж ей было делать? Она и сама тогда сказала: «Что̀ ж это? Надо за священником уж послать...» Сестра вошла к ней в одно утро (потому что уж три последние дня сестра твоя не спала с ней вместе; Христо уговорил ее не ходить туда, да и Афродита перестала бояться). Сестра твоя входит к ней поутру и говорит: «Доброе утро, Афродита моя, что̀ поделываешь?» А та ей: «Что̀ ж мне делать! Я думаю, надо за священником посылать скорее!.. Твой брат заколдовал меня, и теперь мне уж, Смарагда, придется просить его, чтоб он взял меня в жены и не обманул бы меня и не сказал бы мне: ты бесчестная теперь; я на тебе не женюсь». И стала опять плакать. А то все была довольно веселая все эти дни. А Христо вошел и обрадовался.

— Бегу, бегу сейчас за попом, госпожа моя, и твои глазки целую и ручки за честь, которую ты мне делаешь...

А она ему отвечает: «Нет, мой Христо, не тебе теперь, а мне уж надо твои руки целовать и господином тебя называть. Ты теперь мне глава, душенька мой... Пожалей ты меня...» А тот уж не слышит ничего, бежит за попом...

А Смарагда от радости тут же к нам прибежала и все моей жене рассказала, вот так, как я тебе говорю.

Я сижу, слушаю соседа и думаю: «Постойте, анафемский вам час, Афродита и брат мой! Теперь сам паша пошел, разведут все-таки вас. Никифор Акостандудаки человек сильный и богатый! Разведет дочь, и с деньгами, все-таки, жених ей найдется».

И говорю соседу, как будто жалея их: «Не развели бы их!» А сосед отвечает: «Это, конечно, возможно». Он ушел, а я остался один опять в большой тоске. Все было противно, точно я сам был проклятый какой-нибудь. И даже стыдился по-прежнему на людей смотреть, которые к доктору в дом приходили.

Однако раз доктора не было дома, я из своей комнаты слышу — в приемной докторша с кем-то громко разговаривает и как будто спорит. Подошел я к двери, поглядел в щель и вижу, кто-то сидит задом к дверям на кресле; вижу только, что хорошо одет по-критски, в тонком, коричневом сукне, вижу высокую феску и красный кушак. Как будто Никифор, а наверное не могу сказать. Когда я подумал, что это Никифор, мне очень захотелось войти туда, помириться с ним и попросить у него прощения. Докторша говорит: «Это все благополучно кончится». А мужчина отвечает ей (и тут я узнал голос Никифора): «Хотел бы я и сам хоть этого разбойника младшего видеть и спросить его что-нибудь, но боюсь взглянуть на него». Я тотчас вошел, поклонился ему и говорю: «Кир-Никифоре, простите мне во имя Божие. Умоляю вас! Я много виноват пред вами, и я через это уже был много наказан».

Так я сказал, но Никифор тотчас же вскочил с кресла; лицо стало багровое, глаза ужасные, и он закричал: «Убийца! Злодей! Оскорбил ты меня... Меня! меня... Рот вязать... Дитя несмышленое и злое... За мое гостеприимство!..» Докторша говорит ему: «Успокойтесь! Спросите его, он всю правду скажет вам... Я вам говорила, и муж мой объяснял вам всю правду. Успокойтесь». Я стою перед ним сложа руки, опустив глаза в землю, и повторяю:

«Простите мне, кир-Никифоре!» Он с минуту тоже постоял предо мной и глядел на меня с великим гневом и молчал; потом вдруг махнул рукой и закричал: «Нет! Нет! Я этого не могу им простить... Будь они прокляты, анафемы! Не могу, не могу!..» Закрылся руками и ушел.

А я говорю докторше:

— Нет, кира моя, пока этот человек мне не простит, и сам Бог не простит мне...

XX

Пока я жил у доктора, Халиль-паша кончал все дела свои в наших Сфакиотских горах. Люди, которые были при нем, рассказывали, как он был весел и доволен, что перессорил христиан друг с другом. Эти жалобы горожан на сфакиотов были ему великою радостью! «Христианам же, мирным торговцам, в угоду он на сфакиотских клефтов этих походом идет». Вот причина хорошая! Так он был весел, что над своим драгоманом, над этим бедным Михалаки, смеялся и пугал его.

Говорят люди, он все спрашивал его:

— Господин Узун-Тома, как твое здоровье?

— Хорошо! паша-эффендим! прекрасно!

А паша ему: «Я очень рад, что тебе прекрасно! Погоди, еще лучше будет! Сфакиоты и в древней Элладе вашей славились, как стрелки первые в свете. Тут каждый камень и каждый куст не то, что у нас внизу камень и куст. Тут человек за каждым кустом и за камнем».

А Узун-Тома: «Долг мой, эффенди, долг!.. Где вы, там и я должен за счастие и блаженство считать быть с вами!»

А паша ему: «Хорошо! Погоди, погоди! Ваши греки хуже черногорцев. Я все думаю, чтобы с тобой не случилось того, что̀ с одним другом моим, полковником... Ему на войне черногорцы нос отрубили... И тебе отрубят, уви-

дишь...» Тот все свое: «Долг, мой эффенди, долг!.. Что̀ делать!» И дрожит.

Так пугал Халиль-паша своего драгомана. Но сам он был спокоен и знал, что̀ делал. Я говорил, что он был умнее и хитрее нас! Увы!

Он все устроил, все приготовил и все сделал скоро и неожиданно.

Как только Никифор Акостандудаки принес ему жалобу на нас, он сказал ему: «Ты бы нашел себе и других людей, которые бы тебя поддержали; больше будет жалоб, больше наказания. Только не медли».

Никифор в гневе на нас великом тотчас набрал много людей; одни тоже были обижены сфакиотами, а другие предательствовали в угоду Никифору и другим богатым людям.

Паша слушал их, слушал и вдруг приказал выступить войску небольшими отрядами в наши горы. И никто не знал сначала, зачем идут и куда пошли войска. Сам же с небольшою стражей вслед за ними выехал, потом обогнал пехоту и поехал смело вперед с одною этою стражей и чиновниками.

Разнеслась везде весть: «Паша в Сфакию пошел!»

У нас к восстанию были не приготовлены. Люди побежали из жилищ своих. Только немногие оставались дома; однако везде оставляли продовольствия для войска обильно; нарочно, чтобы покорность свою показать. Такой ужас напал на людей, что не понимали, что̀ им делать теперь.

Халиль-паша везде, где останавливался и где видел хоть немногих людей, был с ними очень милостив. И посылал тех людей, которых видел, сказать другим: «Паша не войной идет, а только городские люди, и христиане, и турки, все жалуются на нестерпимые разбои ваши. Вот и Никифорову дочку силой у отца увезли из дома. Выдайте мне вот тех и тех людей; приведите сами. Вы ведь подданные султана верные и послушные». Тогда старшинам и капитанам было делать нечего. Стали они брать людей и

привозили их к паше. Иные скрылись, а иные нет. Иные сами к нему явились, чтобы краю не было чрез них худа.

Паша никого из них строго не наказал. У него хорошая политика, анафемский час его! Ему нужно было показать только, что есть дорога в Сфакию для умного человека.

Пришли поклониться ему все капитаны. И Коста Ампелас. С ними же и брат мой Христо и товарищи его приехали. И Афродиту самое Халиль-паша приказал привезти к себе. Привезли и ее вместе с братом; они уже были обвенчаны. Но брата, в угоду паше, привезли связанного; а она свободная ехала. Говорят, она упала в ноги капитанам и просила мужа не связывать. Но Христо сказал: «Пусть свяжут. Все-таки я был не прав!»

Когда их привезли к паше, паша узнал, что они уже обвенчаны, он очень удивился и велел пригласить ее. Афродита поклонилась, стала у дверей и заплакала. Паша ужасно стал жалеть ее и сказал ей: «Сядь, сядь. Не бойся, моя дочь. Я защитить тебя, а не вредить тебе пришел».

О деле он у нее и не спрашивал сначала; а стал спрашивать, долго ли она в Сире была, чему училась, по-французски знает ли. И когда она сказала, что не знает, паша говорит: «И не надо, дочь моя, и не надо! мне нравится, что ты так хорошо по-гречески говоришь. У вас свой язык лучше всех!»

Потом, когда она успокоилась и стала смелее, паша сказал ей: «Не бойся, мы этих негодяев-мальчишек накажем и тебя к отцу возвратим. И брак твой ни во что̀ сочтется, потому что он насилие... деспот-эффенди сейчас же разведет тебя. Так желал и отец твой. Он тебя с нетерпением ждет. И я обещал ему, что сейчас же тебя отправлю. Ты желаешь к отцу?»

Афродита говорит: «желаю!»

Паша хотел уже отпустить ее и приказал старику-драгоману смотреть за ней и чтобы Смарагда наша была при ней. Но Афродита поклонилась и сказала ему со слезами: «Я вас прошу, паша мой, я умоляю вас, будьте так благоутробны, чтобы моего мужа не наказывали. Потому, что я

во всем согласилась с ним». Паша даже встал, говорят, с места от удивления. «Вы разве любите этого негодяя?» — спрашивает. Она говорит: «Да! я его люблю, потому что он мне муж!»

Паша говорит: «Это любопытно!», и велел ввести моего брата.

Когда же брата ввели, и он поклонился паше и стал около нее рядом у дверей, паша осмотрел его всего и сказал только: «а!» и поглядел, говорят, на всех своих с улыбкой и еще сказал: «а? господин Узун-Тома! что̀ ты об этом скажешь?»

— Как вы прикажете! — кинулся тот к нему. Паша все улыбается: «я у тебя спрашиваю!», тогда Узун-Тома: «имеет она основание, паша господин, имеет основание!..»

— Вот и я то же думаю, — говорит паша, — что она имеет основание...

А Узун-Тома все кланяется: «молодость, физическая вещь, эффендим! физическая вещь!», а паша ему еще: «ведь и у тебя есть дочка молодая... а если она убежит так?..»

— Нет, — говорит Узун-Тома, — пока вы будете главный здесь, подобные беспорядки не повторятся. Вы в страх и трепет привели уже одним мановением вашим весь остров сей!..

Тогда паша приказал Афродиту везти все-таки к отцу; а брату Христо сказал: «я тебя велю развязать, но ты тоже должен в город ехать, и там разберем ваше дело».

Капитаны, которые были в гневе на брата за все это, говорили паше: «Прикажите в цепи самые тяжелые его заковать! он уйдет».

Но паша сказал: «Нет, пусть так с молодой женой вместе едет в город. Вот она ему цепь. Он ее не оставит. Мы теперь с вами поговорим».

Да! вот тут он начал о том, зачем приехал. И начал речь о податях, и о порядках, и о покорности, чтоб и они были так же, как другие люди острова нашего.

Люди наши смирились и начали сбирать деньги... и собрали, а паша поехал домой...

Аргиро *задумывается.* — А потом?.. Как же ты увидался с братом и с Афродитой, и что̀ вы друг другу сказали, когда увидались?

Яни. — Потом... *молчит и вздыхает* — оставим теперь это все, моя голубка, скучно мне что-то.

Аргиро уходит в дом заниматься хозяйством.

XXI

Яни *один сидит у дверей своих задумчиво.* — Анастасий Пападаки говорит правду. «Вы с братом, говорит он, все-таки вред родине сделали. Положим, что сфакиотов ваших теснить беспрестанно туркам не легко. Место ваше слишком недоступное. Однако уж и то дурно, что паша к вам дорогу узнал и с тех пор от времени до времени посещает Сфакию и не боится. Вам с братом Христо прежде всех надо за Крит наш отдать и деньги и головы ваши!.. Теперь вы разбогатели». Да! «Будет у нас скоро восстание», — говорит он. Он прямо из Афин теперь и все тайны знает. Он хотя человек и простой, а умеет, собака, дорогу ко всем великим людям находить, и Комундуроса знает, и Делгияни, и Дели-Георгия... Сколько раз со стариком Булгарисом говорил... Конечно, это правда, долгая жизнь без войны, что̀ это такое? Гнилая жизнь! Только вот, Аргиро оставить мне теперь... Только что человек взял жену молодую, узнал, что̀ такое удовольствие на этом свете, что̀ такое приятная жизнь... Боже мой и Всесвятая! Это разве не рай, теперь моя жизнь... И деньги есть и все... Что̀ делать! Увы мне! Увы мне!!! Однако и то сказать. Первый я, что ли, поеду на войну от молодой жены!.. Разве это не стыд, сокрушаться? Разве с войны люди домой не приходят? Любопытное дело, как это человек вдруг всю смелость потерять может... (*Достает письмо Афродиты и перечитывает его.*) Аргиро

не стала дочитывать письмо. Она, бедняжечка, не так-то грамотна и тяготится долго читать рукописания. Женщина, как только увидала, что ничего любовного нет, так и бросила; а тут есть нужные вещи... (*читает*):

«Любезный супруг мой и брат ваш господин Христо братски лобзает вас и, отправляясь на время в Афины, приказал мне вам еще сказать, чтобы вы Анастасию Пападаки верили во всем. Будьте спокойны: все готово для великой цели. Супруг мой, подобно другим, исполнит свой долг для свободы и славы отчизны, и он надеется, что и вы, Иоанне, последуете его примеру!» (*Задумывается опять, потом встает и делает рукой движение, как будто ятаганом.*) Раз! два! Полетели головы турецкие... Хорошо говорил Никифор тогда о том черногорце молодом, что диплом имел такой: «срубил уже пять турецких голов!» Я ведь и прежде всегда думал о том, как хорошо быть воином, и изо всех икон в церкви мне всегда больше всех нравилась икона Архистратига Михаила, воин молодой, в латах и с мечом в руке... (*Прицеливается, как будто у него в руках ружье.*) Раз! Упал!.. «Браво тебе, Янаки наш Полудаки! Браво тебе! А ну-ка вот в того, в офицера пометь... Сказано, стрелок сфакийский... Раз!.. Пропал офицер... Браво тебе, Полудаки. Что за золото у нас сфакиоты, эти разбойники... Собаки дикие они все... А лучше всех Полудаки!» Вот как надо... А жена здесь побудет с своими родными... Конечно, жалко мне! Что̀ делать! Я имею душу и люблю ее! *Запевает унылую песню.*

Аргиро *выходит из дома, снова садится около него с работой и опять просит докончить рассказ.* — Мне бы хотелось узнать, как вы с Афродитой встретились и что̀ вам с братом после турки сделали. Отчего тебя послали в изгнание, а брат в Крите остался?

Яни. — Что̀ такое Афродита! Я тебе скажу и об этом, если хочешь, только это ничего не значит. Пустяки! Вот, когда их привезли в город, то разлучили тотчас же, Афродиту отвели прямо к отцу, а брата в тюрьму заперли. Никифор в лавке был, когда ему сказали, что дочь на муле

к нему в дом прямо со стариком драгоманом проехала. Он, говорят, закричал от радости, заплакал, побежал по улице, всю свою важность и гордость забыл. Бежит по базару домой. Ничего не говорит, и слезы у него бегут, бегут по лицу... Так весь народ его видел и жалел: «Вот как его эти разбойники-мальчишки обидели! Глаза бы им вырвать надо!» А потом через день, через два люди другое заговорили. Все узнали, что брат уже обвенчан с нею и что Никифор гневается и старается развести их. Все стали говорить: «Вот глупый человек! На что ж ему теперь дочь порочная? Зять хороший молодец. Брак законный; поп венчал. Чего он теперь хочет, глупый?» Так переменились у людей скоро мысли. Никифор не уступает; к паше бежит, к епископу бежит, консулов иностранных просит; паша говорит: «Мне что! Это дело церкви. Я накажу за похищение и разбой, за бесчинство вашего зятя». «Он мне зять? Он!.. Он злодей мне! Он побродяга!..» Паша еще прибавляет: «Вам, впрочем, господин Никифоре, это по заслугам. Зачем вы, горожанин мирный, такую тесную дружбу с этими сорванцами горными водите». Идет Никифор к епископу. А епископ ему: «Брак твоей дочери по желанию ее состоялся. Оставь уж это; что Бог соединил, людям зачем расторгать!» А дочь на колени пред ним: «Папаки! папаки! Я не хочу разводиться с Христо! Люблю его! Люблю всею душой!» — «Отчего ты его любишь, псица! Псица ты анафемская! Распутная! За что? Ведь брат его, Яни, говорил доктору, что ты противу воли обвенчана, что ты все плакала и отказывалась». — «Лжет, папаки, Янаки-брат, лжет от зависти. Он сам в меня влюблен... Лжет он! Возьми, мой золотой папаки, Христо моего из тюрьмы...» — «Так, значит, негодная девчонка ты такая, твоего старого отца, ты сама теперь говоришь, вязать приказывала? А, так ты говоришь! Прочь, прочь от меня!» — «Нет, — говорит Афродита, — пусть я пропаду и погибну сейчас, если я приказывала тебя вязать. Такой грех... Богородица Госпожа моя! Разве может дочь на такое дело согласиться?.. Это они сами сделали». Никифор в словах ее путался

и не знал, что̀ подумать. Истерзали этого человека в те дни... Туда, сюда его тиранят люди. Зверь был из себя и ростом и толщиной, похудел ужасно! Кричит: «Разведу ее! Разведу!» А епископ не разводит: «Дочь сама желала!»

Пришел он к доктору Вафиди при мне, сел на диван, заплакал и говорит мне: «Янаки, другим радость, а нам с тобой обида. Помиримся, мой сын! Поди сюда, обними меня. Ты чрез псицу эту, Афродиту мою, отравился и похудел, и я вот — смотри». И подсунул руку под жилет и показывает, как у него живот уменьшился... Я хотел еще раз ему в ноги поклониться и сказал ему: «Меня, господин Никифор, Господь Бог жестоко за вас наказал, но я вас еще раз прошу простить мне». Он обнял меня и сказал: «Ты проще брата, видно, сердцем, Янаки мой». А жена доктора ему: «И тот хорош, кир-Никифоре, и Христо хороший... Простите и его... Простите». И я говорю: «Простите брата... Простите!» И доктор к нему: «Э! прости, прости, зять он тебе теперь... Да и герой он какой... Он у нас, погоди еще, полководцем будет при случае». Видишь, Вафиди даже бунтовщиком и патриотом ужасным притворился, чтобы только помирить нас всех и чтобы сказать что-нибудь в угоду Никифору. А у меня от радости, что мне Никифор простил, сердце смягчилось, и я кланяюсь ему и умоляю его:

— Вы, господин Никифор, не сами ли нас хвалили и говорили прежде, что мы отечеству надежда... Не гордитесь же, что брат не богат: он вам всячески заслужит за это после...

Никифор смирился и сказал, что он примет брата. На другой день брата паша выпустил из тюрьмы часа на три, и он пошел к тестю и к молодой жене в дом. Пошел и я туда обнять брата и поздравить его. Пили мы все там вино. Афродита всю одежду и белье на брате переменила и сокрушалась, как это ему в тюрьме быть. Никифор как выпил и говорит дочери: «Ты, птичка моя, что̀ смотришь? Поцелуй при мне мужа». Они поцеловались. Тогда Никифор топнул ногой и кричит:

— Извольте видеть! Извольте видеть разбойника! А, bastardico! И рукой своею еще придерживает ее за шею... Э! ну, воля Божия... Что̀ делать!..

И всем была радость! Брат, я видел, очень жалел меня; он обнимал и целовал, и звал меня: «Янаки мой, сын мой! Я тебя не обижу и не забуду никогда!» И уходя опять в тюрьму, приказал Афродите посещать меня без него, и чтобы сделала все, чтобы со мною примириться. Афродита приходила ко мне с большою роскошью: платье шолковое небесного цвета; шляпка белая с белыми цветами; зонтик с бахромой; перчатки, благоухания... Я ей все так холодно! Она мне ласково: «Янаки мой, Янаки мой!» А я ей угрюмо: «Кира моя, кира моя!» Неприятно мне все-таки было ее видеть. Так она и ушла. Помирились мы уже позднее. Наконец решил паша нашу участь. Наши сфакиотские начальники были противу нас за то, что Сфакия чрез нас пострадала; а Никифор и городские люди теперь уже за нас у паши старались, чтоб облегчить нам наказание. Паша решил, чтобы всех нас, которые помогали, меня, Антонаки и Маноли, в изгнание отправить. А брата в тюрьме год строго продержать, чтобы в дома не врывался для похищений. Но была тут хитрость великая! Афродита сама, по совету отца, ходила просить пашу, чтобы брата не изгонять; и хотя, по-видимому, наказание ему строже было, но ни в шкап узкий никто его не ставил, как докторша тогда пугала, ни даже цепей никаких на него не надели, и месяца не прошло, как взяли его сильные люди на поруки, и пошел он к тестю в дом, и стали они жить прекрасно. Я собрался ехать в Сиру и потом сюда, и Никифор сам принес мне на дорогу пятьдесят золотых лир и сказал уже шутя: «Это брат тебе твой посылает за то, что ты ему разбойничать у меня в доме пособлял и завязывал мне рот, на здоровье тебе». Также и Антонаки и Маноли обоим брат помог деньгами. Никифор ему все свое хозяйство поручил. Через год, не больше, всех нас простили; Антонаки и Маноли вернулись в Крит; а я остался здесь, и судьба мне вышла здесь с тобой... Вот твои

глаза чорные удержали тут меня. И с тех пор я и в Крит все не хотел... (*Останавливается и молча глядит пристально на Аргирò.*) Да! Я все не хотел... А теперь хочу...

Аргиро смотрит на него вопросительно.

Я н и. — Теперь опять хочу... (*Беспокойно взглядывает еще раз на нее.*) Если будет восстание... пусти меня!..

А р г и р о *опускает глаза на работу.* — Иди!.. (*Начинает потихоньку плакать.*)

Я н и *взволнованным голосом.* — А ты что̀ будешь делать, когда я буду сражаться?

А р г и р о. — Я? *пожимая плечами.* Мне что̀ делать одной без тебя! Я буду Богу молиться...

Стучатся в дверь. Входит полный мужчина с большими усами, Анастасий Пападаки, в европейском платье, в широкой шляпе, и говорит, обращаясь к Яни и подавая ему бумагу с величайшим энтузиазмом:

— Янаки! Читай! Пошло дело наше! Капитаны критские воззвание к оружию обнародовали... Zito!.. *Машет шляпой и обращается к Аргиро восторженно:* Не плачь, кира моя, не плачь... Будь элленидой крепкою!.. Положи себе сталь в сердце твое!.. Муж твой вернется к тебе героем, капитаном великим, кира моя! Не бойся, не бойся, милая дочка моя! Он вернется к тебе, и ты сладкими поцелуями твоими смоешь с рук его вражью турецкую кровь! Zito!

Аргиро начинает рыдать.

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ЯНИНЕ

Опять один! Опять свободными[1] мечтами,
Душа моя так сладко[2] занята.—
Опять один!... Над тихими садами,
Полудня мгла волшебно разлита.—
Широкий[3], полный дом и яркие одежды
Покорных слуг мне сердце веселят...
Опять один; опять отважные надежды
И мысли[4] зрелые кипят!
Люблю тебя Восток ленивый и отсталый
И нашей[5] власти здесь[6] и блеск и суеты...
О! сколько сил в душе отжившей и усталой
О! сколько сил незримо будишь ты!
Опять один! — любви восторги и мученья —
Где ваша власть над хладною главой?
Где ваша власть,[7] где сила и волненья...
В душе царит[8] — торжественный покой!

---

[1] свободными *вставлено над строкой*

[2] сладко *обведено карандашом и над ним надписано:* страстно

[3] Широкий *обведено карандашом; над строкой вставлено:* Просторный, пестрый

[4] *Далее зачеркнуто:* смелые

[5] *Сверху карандашом надписано:* Русской

[6] *Вписано здесь над зачеркнутым:* ложь

[7] *В строке далее зачеркнуто:* и где, *над строкой вписано, а потом зачеркнуто карандашом* скажите, где *и надписано:* где сила и

[8] В душе царит *подписано под зачеркнутым началом строки:* Над всем царит

ПЕМБЕ

Я не скажу, что ты прекрасна
Дитя восточной[1] нищеты...
Воспеть[2] твой рост и стан напрасно
Я не насилую мечты.[3] —

Но[4] милы мне одежды бедн⟨ой⟩
Восточный вкус и пестрота[5] —
Твой лик младен⟨че⟩ский и бледный,
Речей и мыслей простота. —

Души невинной и безгрешной —
В тебе не стану я искать[6] —
Не стану мыслию поспешной —
В тебе богиню открывать...

Как змейка вьется стан твой тонкий[7]
Когда ты пляшешь предо мной —
Когда даря меня улыбкой —
Из рук берешь ты золотой...

Быть может раннего[8] разврата[9]
Ты стала жертвою пустой —
И сердце мер⟨т⟩во без возврата
Для страсти чистой и простой —

Все может быть! Но нет — не верю!
Крылова едкой толстоте.—

---

[1] *Сверху написано в скобках:* изящной

[2] *В начале строки зачеркнуто:* Хва⟨лить?⟩

[3] *Далее зачеркнуто:* Но в увлеченьи пляски страстной / Скажу я смело — ты Клянусь [*три слова зачеркнуты и отчасти залиты чернилами*]; / Твой взор унылый и безстрастный. *Слово* увлеченьи *написано поверх* упоеньи

[4] *Далее в строке зачеркнуто:* мне милы твоей одежды. *Под* бедн⟨ой⟩ *зачеркнуто:* страстн⟨ой⟩

[5] *Начало следующей строки зачеркнуто*

[6] *Над строкой вписано:* я глупо не ищу

[7] *Под словом зачеркнуто:* гибкий

[8] *Надписано над зачеркнутым* ты уже

[9] *Далее зачеркнута строка:* Уже растлил тебя соблазн

ВАРИАНТЫ
И РАЗНОЧТЕНИЯ

В данном разделе приводятся фрагменты журнальных (или газетных) редакций повестей и рассказов, которые были вычеркнуты или изменены Леонтьевым. На местоположение фрагмента указывают номера страницы и строки нашего издания. Полужирным шрифтом обозначаются вставки, появившиеся в издании 1876 г. (*ИЖХ*); звездочка обозначает исправление, сделанное в *ИЖХ*, если оно совпадает с тем, что мы имеем в *СС*. Другие случаи вынесены в подстрочные примечания. Не вошли в этот раздел разночтения в отточиях: использование более трех точек.

В той или иной мере сохраняя орфографическое своеобразие текстов, вышедших из-под пера Леонтьева, мы учитываем также, что его написание не оставалось неизменным: что-то подвергалось периодическим колебаниям, в других случаях одно написание последовательно сменялось иным. Это подтверждают сохранившиеся автографы: основываясь на рукописях 1870—1880-х годов, мы передаем в публикуемых текстах эволюцию леонтьевской орфографии как черту, выразительно характеризующую его писательскую и речевую личность. Именно этим объясняется то, что написание ряда слов, грамматические формы в текстах, вошедших в данный том, отличаются от написания и форм тех же слов в текстах первого и второго томов.

ОЧЕРКИ КРИТА

Текст *РВ*: 1867. Т. LXVII. Кн. 2. С. 486—500.

С. 9

7 из гор ⟨Сфакиа⟩

С. 10

9 мила⟨;⟩ бела*
22 не смыкаются в ⟨круге⟩*
23 ⟨Апокраниотика⟩, суста, ⟨сирта во Фракии⟩*
25 человек⟨:⟩ танец ведет
30 ⟨Что̀⟩ за добродушный*

С. 11

3 ⟨Что̀⟩ за мущина!*
18 лучше других⟨,⟩ на ней*
29 оскорбить ⟨и⟩ осрамить*

С. 15

28 тепла и темна⟨:⟩ мы пошли

С. 17

6 ⟨Что̀⟩ за роскошная*

С. 18

24 подати.

⟨Около города Ретимно, в деревне, живет и теперь один зажиточный Грек. У него всего одна дочь; в 1863 г. ей было лет тринадцать. Однажды вечером, когда уже солнце село, отец собрался обедать (здесь все

обедают поздно), а дочь заснула на диване. Кто-то постучался в калитку; отец отворил и увидал рослого молодца, лет двадцати, с оружием за поясом. Он просился переночевать, говорил, что пришел издалека и запоздал, что городские ворота уже заперты, а в селении этом он ни с кем не знаком. Мирный отец семейства пригласил путника и угостил его обедом; немного погодя раздался опять стук в дверь, и вошли насильно еще несколько вооруженных горцев. Мигом схватили отца, завязали ему рот, связали ему руки, взяли девочку с дивана, завязали и ей рот, похититель сел с ней на мула и на своих руках умчал ее в горы.

Паша с радостью воспользовался этим случаем, чтобы положить хоть сколько-нибудь предел необузданности Сфакиотов. Измаил-паша человек ловкий, хитрый и смелый. Он прост в обращении, не лишен образованности, учился в Европе и был прежде доктором султана. К тому же он Грек по крови, ребенком был взят Турками и обращен в исламизм. Он умеет ласкать Греков и хорошо знает простой греческий язык. Он надеялся успеть и успел в своем отчаянном предприятии. С горстью телохранителей и несколькими чиновниками, он пустился по неприступным тропинкам Белых гор, а за ним вдали небольшими отдельными отрядами карабкалось войско.⟩

Сфакиоты не ожидали

26 обласкал капитанов⟨,⟩ и рассмотрел много затянувшихся дел⟨; освободил похищенную девочку и возвратил ее отцу; отдал под суд похитителя и *кстати* собрал и накопившиеся подати⟩.*

С. 19

37 молодежи⟨,⟩ но в Турции*

С. 23

2 и о вере ⟨проклятой⟩, и о том*

2 Турок всегда Турок

Текст *PB*: 1868. Т. LXXVI. Кн. 7. С. 24—80.

С. 25

8 Давно ли это⟨!⟩

С. 26

19 ⟨Что̀⟩ за край*
20 ⟨Что̀⟩ за милый*
29 ⟨Да что̀⟩ я тебе скажу*

С. 27

1 ⟨персичное⟩ дерево... ⟨А⟩ под оливами барашки*

С. 28

8 «⟨Что̀⟩ мне*

С. 29

18 Где ⟨ты⟩ гвоздичка моя теперь благоухаешь⟨!⟩

С. 30

22 к воротам ⟨входить⟩ по каменной лестнице*

С. 31

2 ⟨что̀⟩ же это*
18 светская власть⟨, паша в Пентальгах⟩, который говорит*

С. 32

3 смотрят ⟨и⟩ на Турок, и на Греков*
21 ненавидеть Запад⟨!⟩*
28 а у *нас другое**

С. 33

1 ⟨Что̀⟩ мне*
7 для милой сестры моей такого чистого*
22 И ⟨что̀⟩ такое*
25 ⟨Что̀⟩ такое*

С. 34

8 *за ⟨что̀⟩**
17 стремнины, и там*

С. 36

1 с тех пор как ⟨она⟩ на лето ⟨переехала⟩ в Халенну и ⟨наняла⟩ дом*
17 в самую ночь под Светлое **Христово** Воскресенье*
34 А здесь ⟨что̀⟩?*

С. 37

9 А у вас ⟨что̀⟩?*

С. 38

18 Да не забудь много⟨,⟩ много поклонов ему от меня.
22 — ⟨Что̀⟩ за росписка*
36 Стучится⟨:⟩ не отворяют.*

С. 39

31 в море, около ⟨камышей⟩*

С. 41

1 бросил⟨:⟩ это тебе*
22 и в мыслях нет⟨:⟩ но чувствую*
33 с матерью о святых местах*
34 с братьями о разных*

С. 42

30 Да⟨!⟩ мой друг*
34 от свободных братьев⟨!⟩

С. 43

9 Турки варвары*
27 ⟨И⟩ я начинаю скучать*

С. 44

17 для здешних ⟨детей⟩?...
20 Старик великий патриот
21 перекрестясь и ⟨возводя⟩ очи
23 Иерусалим ⟨святыни православной⟩*
24 византийской премудрости⟨.⟩»*
27 нередко ⟨рассказывал⟩ при нем небылицы и ⟨хвалился⟩*
30 благородного старика⟨?⟩*
31 одно есть дело⟨,⟩ восстание!*

С. 45

14 — ⟨Так⟩ поцелуйте

С. 46

9 сердце горячее⟨;⟩ отвечала*

30 на рассвете, я ⟨пробрался⟩*

С. 47

1 и зелень⟨;⟩ мне пришла*

21 я и ⟨стараюсь⟩

С. 49

23 девочка⟨;⟩ читать

С. 50

10 и сказал⟨: «⟩Ну, спасибо! ~ родным.⟨»⟩ Ушел

С. 52

18 от меня⟨:⟩ «да» или «нет».*

20 в ⟨большие кресла⟩*

С. 53

5 — А что̀ секретарь русский как теперь в своем здоровье?*

23 упрекать меня⟨;⟩ я не знал что̀ и делать*

С. 54

34 нация⟨:⟩ он кивнет

36 — ...Россия нация*

С. 55

11 ⟨Что̀⟩ с вами!*

14 — Россия нация*

22 Не угодно ли **вам** чаю?»*

С. 56

10 и перепрыгиваю **над бездной** с террасы*

С. 57

4 третьего возрождения⟨?⟩

15 где бродят ягнята, **где** слышатся **только** звуки бубенчиков*

21 ⟨что̀⟩ подозревает?*

33 показалась из калитки ⟨знакомая рука, которую он узнал.⟩

С. 58

29 постигнешь сам⟨...⟩*

С. 59

21 слушает⟨,⟩ слушает его*

С. 60

9 еще веселее⟨,⟩ Хафуз играл, Сайда плясала⟨;⟩ шевелила*
12 все четверо⟨,⟩ мы стали
19 ⟨Что̀⟩ они*
27 за ⟨что̀⟩ же?*
30 защелкала опять ⟨лягушечьим⟩ языком*

С. 62

14 что̀ ни захочу — все ⟨делает⟩
25 кожей пахнут⟨...⟩

С. 63

31 ⟨Что̀⟩ Хафуз*

С. 65

7 в консульство, ⟨и⟩ сам тотчас*

С. 66

17 — Не верь, Йоргаки⟨!⟩

С. 67

1 уже не вчерашний ⟨светский⟩ человек!*

С. 68

1 — Хорошо, Хризо.⟨—⟩ Ты дочь ⟨кириос⟩ Николаки*
3 матери.⟨—⟩ Ваше
15 желаю потурчиться⟨!⟩»
20 ⟨«что̀⟩ закон требует

С. 69

29 на колени[1] ⟨предо⟩ мной*

С. 70

6 не мне и ⟨не⟩ родным нашим
10 много жен⟨;⟩ и Богу одному*

---

[1] *В ИЖХ*: на колена.

С. 71

12 остановились ⟨пред⟩ нами.

20 по персидски.

— ⟨Арабский язык, говорил он, — язык древний, турецкий язык — военный язык, но⟩ если вы хотите узнать великую сладость, то изучите язык персидский; это язык истинных поэтов.*

34 должны были ⟨уступить⟩.

С. 72

9 схватила котенка и ⟨вскликнула⟩*

35 расспрашивала.

Около полудня.*[2]

С. 76

18 Они скоро ⟨возвращаются⟩ в Крит*

31 1866 ⟨г.⟩*

С. 77

17 1866 ⟨г.⟩*

С. 79

23 1866 ⟨г.⟩*

С. 80

12 ⟨Прекрасны⟩ как ангелы

С. 81

9 он наш».*

11 с постели⟨:⟩ дни его сочтены.

С. 83

4 500 человек⟨,⟩ Турок

32 ⟨чрез⟩переводчика

С. 84

13 в эту минуту ⟨предо⟩ мной*

С. 85

5 настоящие ⟨Османлы⟩*

6 ⟨чрез⟩него

---

[2] *В ИЖХ появляется диалог, отсутствовавший в журн. ред.*

31 пусть, **пусть**[3] сами
32 ⟨что̀⟩семью
34 не пес вонючий⟨...⟩

С. 87

30 восторга⟨;⟩ здесь*

ПЕМБЕ

Текст *PB*: 1869. T.LXXXIII. Кн. 9. С. 166—218.

С. 89

11 на горе в ⟨селении⟩ Де́львино*
18 дух албанского вождя ⟨неукротим как и прежде⟩.*

С. 91

2 женили ⟨Шекира⟩-бея*
21 нанести ⟨последний⟩ удар мятежу.

С. 93

28 был уж ⟨очень⟩ стар*

С. 94

10 или из ⟨жениного⟩ имения.
28 без перчаток ⟨и pince-nez⟩ **он** на улицу не выходил.*

С. 95

8 он только в ⟨деревне носит⟩ «простую одежду»*
22 воскликнул Петропулаки⟨, наводя на бедного Гайредина pince-nez;⟩ — благодарю
24 вижу ⟨перед⟩ собой*
29 Посмотри в Европе⟨,⟩ всякий*

С. 96

1 Гайредин в сером пальто*

С. 97

15 ⟨Что̀⟩ значит*
21 Европа мне надоела⟨; je me sens mieux lorsque je vois des choses qui ont un cachet à eux⟩... Когда я*

---

[3] *Вставка в СС.*

С. 98

2 как эта Пембе́⟨:⟩ бледных*

С. 99

1 на высоких дубах ⟨Дельвино⟩, и дальние ⟨белые⟩ села⟨, как груды мела,⟩ утопали*

33 вычеркнуть его имени из списка не ⟨посмел⟩....*

С. 100

20 хорошие⟨:⟩ а житья

29 всякого врага⟨,⟩ потому*

32 честный паша великое несчастье*

С. 101

5 жалоб крестьян на Жидов **и богатых Греков**, которые*

С. 102

28 имел ленты ⟨и⟩ Св. Анны, ⟨и⟩ Почетного Легиона⟨,⟩ и ⟨Османия 1-й степени, который дается только мусульманам⟩.*

31 который сражался **в 20-х годах** в Греции*

С. 103

3 ⟨что̀⟩ носит имя грека.

4 ⟨Ребенок⟩ Феим был красив

С. 104

29 ни папиросы, ни ⟨кофею⟩*

С. 105

20 Он кажется ⟨молод⟩, потому что

23 в фустанеллах, ⟨и⟩ у них*

32 — ⟨*Пек, пек бабарлик* (ужасное **варварство**)⟩! со вздохом*

С. 106

17 Он и ⟨часовщик⟩ оживляли*

23 остановилась ⟨пред⟩ беем

С. 108

21 *Фраза, необходимая по смыслу, отсутствует в тексте СС; восстановлена по тексту журнальной редакции и ИЖХ. — Ред.*

С. 110

23 товарища)....

С. 112

19 персидские стихи. ⟨Персидский язык это сахар языков.⟩ Стихи великое дело! ⟨Стихами и сам пророк наш написал Ал-Коран. Стих⟩ для души*

С. 113

3 обещал ⟨чрез⟩ неделю

С. 116

21 — Ба⟨!⟩ Что̀ ты говоришь!*

34 — За ⟨что̀⟩*

С. 120

27 изменить **весь** строй Европы.*

36 во ⟨времена⟩ протектората

С. 122

7 ⟨чрез⟩ забор

С. 123

14 ⟨Чрез два, три⟩ дня

С. 128

7 в гареме; ⟨—⟩ а прежде

27 ⟨чрез⟩ верных старых слуг

С. 133

18 сидела ⟨пред⟩ нею

С. 134

5 «Покорюсь⟨?⟩» думала

20 сказал: ⟨«⟩Я твою дочь

28 ⟨чубуки⟩ ломал*

С. 136

22 Вы погубили ⟨ислам⟩; вы*

С. 138

9 за банкиром Ишуа⟨;⟩ но

29 как убитый⟨;⟩ но вдруг

36 такие ⟨что̀⟩ помнят

С. 139

22 греть свои ⟨красные⟩ руки

С. 142

16 и ружья⟨;⟩ встречались*

20 рассказы⟨:⟩ Шло*

С. 143

10 и судов⟨:⟩ уголовного⟨, торгового⟩ и гражданского⟨,⟩ и подали в отставку*

С. 144

11 сожалели официально в ⟨приемной⟩ великого визиря*

ХАМИД И МАНОЛИ

Текст «Зари»: 1869. Кн. 11. С. 4—28.

С. 147

3 1858 ⟨года⟩*

22 любуется ⟨—⟩ мать поклонится*

С. 148

4 ты ⟨душка⟩ Эленица!*

25 дрянь ⟨натащит⟩ в лавку

С. 149

18 наряжаться кто медведем*

29 *Слова* завтра нет, *пропущенные в* СС, *восстановлены по журн. редакции и тексту* ИЖХ. — *Ред.*

С. 150

6 душа, ⟨Катинько⟩*

20 не сохранишь честь ⟨—⟩ либо

С. 151

3 беспутный мальчик⟨;⟩ не злой*

17 моему ⟨свекру⟩ покойному*

29 жмет.⟨—⟩ Как поживаешь

С. 152

13 Туда⟨,⟩ сюда бросается*

23 турецком языке⟨,⟩ — безумный Хамид*

С. 153

17 шел султан ночью⟨,⟩[4] сам ⟨осматривать⟩ город
28 — О⟨,⟩ падишах!

С. 154

2 сидело ⟨перед⟩ кофейной*
9 разберем дело»⟨.⟩*

С. 155

13 молча ⟨перед⟩ ним*
15 кровь у Маноли ⟨из⟩ рта*
16 много ⟨Арапов⟩ и Турок*
17 Один ⟨Арап⟩*
18 молодого ⟨этого⟩ бить так⟨,⟩[5]
21 и ⟨Арапам⟩ сказал*
29 В один год⟨:⟩ и мать скончалась*
32 сказал ⟨—⟩ надо радоваться*

С. 156

8 не побоялся и своей высокой должности*
19 Сперва⟨,⟩ матушка заболела
24 плакал;⟨—⟩ совсем*
33 с Вели-Пашей⟨; —⟩ обедают друг у друга; гуляют вместе;⟨—⟩*
35 и дивимся⟨; —⟩ как это Турок ⟨—⟩ с Англичанкой*
36 Такого Паши ⟨—⟩ у нас*

С. 157

11 счастью тут быть⟨?⟩
15 будто бы он ⟨был⟩ человек не злой⟨,⟩ и с большим воспитанием
27 видел⟨—⟩ (кто был*
31 *Миноса*⟨!⟩

С. 158

8 права;⟨—⟩ Меттерних*
21 сбираться;⟨—⟩ и мой Янаки*
27 ⟨через⟩ два дня*
29 люди⟨,⟩ а прямо*

---

[4] *В ИЖХ*: ночью, — сам осматривать.
[5] *В ИЖХ*: так;

С. 159

8 Не могла⟨,⟩ и работы*
11 С ⟨твоей⟩ ли мордой*
17 «Гречанка⟨;⟩ к несчастью*
21 зовут; ⟨—⟩ хорошо*
23 поднос с ⟨кофеем⟩*
27 Давай-то́*
31 в доме⟨;⟩ — пирог*
32 принесут им⟨;⟩ мать
36 шутить со ⟨мной⟩*

С. 160

2 идти⟨;⟩ а делать нечего*
17 христианин был⟨;⟩ а еще хуже Хамида распутный*
28 чем Бог помог⟨.⟩ Куртка*[6]
28 хорошая;⟨—⟩ подперся*
29 спроси⟨,⟩ «Откуда — ты?»*
30 из ⟨Пелопонеза⟩!»[7]
33 приезжал⟨;⟩ в тюрьму

С. 161

29 вот ⟨этой⟩ палкой*

С. 162

19 Перивольи.⟨—⟩ Их было
23 люди⟨:⟩ — во времена
24 это.⟨—⟩ Стали
28 не боялись бы.⟨—⟩ «Мы
29 не с вами.⟨—⟩ Вы критские

С. 163

7 везут⟨;⟩ а мущины
10 жить им нечем⟨;⟩ работ
13 толстые;⟨—⟩ ворота*
14 некуда;⟨—⟩ разве
19 обещанные⟨?⟩»*
21 сказала я — голодные ⟨—⟩ злые⟨;⟩ теснота*
22 негде;⟨—⟩ у кого*

---

[6] *В ИЖХ*: помог; куртка

[7] *Так же в примечании автора*

23 не было родных⟨?⟩
23 в жару в ⟨этом летнем⟩
29 из митрополии;⟨—⟩ за ним*

С. 164

6 окрестным?— боятся;⟨—⟩*
15 кладут⟨—⟩ вместе с ребенком
18 *море́*⟨-⟩Катинко!
19 у нас⟨—⟩ не бойся!»
31 со всех сторон.⟨—⟩ Огонь
32 в домах.⟨—⟩ Женщины

С. 165

25 консульство;⟨—⟩ русского*

С. 166

4 отпирать⟨:⟩ не знаю*
18 мы⟨,⟩ как будто ⟨,⟩ немного
25 речь.⟨—⟩ Один
32 стихло⟨—⟩ как будто.*
33 «стук⟨!⟩ стук*
37 ⟨перед⟩ этим*

С. 167

7 сильнее.⟨—⟩ Вбежал
10 собрались ⟨перед⟩ конаком*
13 говорит⟨,⟩ судом
14 турки⟨—⟩ и стали
15 паши.⟨—⟩ Что̀-то
17 нашем⟨.⟩ «Уж лучше*
30 ⟨судьбой⟩ своей.*
31 ⟨Христи Пипадаки⟩*

С. 168

1 учит ⟨Христи⟩*
5 а ⟨Христи⟩ свое продолжает*
6 в Элладу.⟨—⟩ Ты
14 и ⟨убежим⟩ вместе;
26 биться и падать ⟨стали⟩ — *восстановлено по РВ и ИЖХ; в СС:* начали
30 отдай⟨!!⟩»

С. 169

6 ⟨Перед⟩ каждым*
11 ⟨побежал⟩ к окну.
13 шуты ⟨маскерадные⟩*
16 страшно было⟨!⟩*
22 из Халеппы⟨;⟩ он в серебряных очках всегда ⟨ходит⟩.

С. 170

3 из ⟨Периволии⟩*
13 Ах⟨!⟩ вы деревенские*
16 против Франков была⟨?⟩
20 не хочу⟨;⟩ все вижу ⟨—⟩*
25 нарочно⟨—⟩ не заплачу ли?*
32 которыми ⟨нянчут⟩ детей.*

С. 171

8 (девочка моя ⟨уж⟩ уснула)

ПАЛИКАР КОСТАКИ

В издании 1876 г. изменены имя и фамилия одного из героев повести: купец Маноли Сакелларио стал Стефаном Пилиди. Далее приводятся только те случаи разночтений, где вместо имени этого героя в тексте *ИЖХ* и *СС* находим фамилию.

Текст *РВ*: 1870. Т. LXXXIX. Кн. 9. С. 219—261.

С. 173

3 ⟨Лёна⟩ Боцарис
6 ⟨Лёна⟩
26 *Злая Сулия*⟨!⟩*
34 он ⟨сбирался⟩ за Греков

С. 174

4 герои⟨!⟩»
19 позволение петь⟨?⟩
25 вот за ⟨что⟩.*

С. 175

7 под ⟨Миссалонгами⟩*
10 ⟨полковником⟩ греческой службы

19 — За ⟨что̀⟩*
20 — За ⟨что̀⟩?*

С. 176

24 ⟨Что̀⟩ вы видите!*

С. 177

13 ⟨Что̀⟩ ты делаешь?*

С. 178

3 Ужасно любит **этого**[8] Костаки
32 И нельзя иначе⟨!⟩ Фанатизма*

С. 179

21 не умом и ⟨не⟩ смелостью

С. 181

11 ⟨что̀⟩ у нас за счастье*
14 А старичок ⟨дервиш⟩ уж только вздохнул
24 на проценты ⟨были розданы⟩*
25 пропало ⟨чрез⟩ злодейство людское и ⟨чрез⟩ неправосудие

С. 182

13 истории о любви⟨:⟩ у других*
14 я был, например⟨;⟩*
21 В ⟨Босне⟩ тоже*
22 не только христиане, ⟨а⟩ и Турки
30 на танцы или **на**[9] свадьбу чью
32 сбираются ночью⟨;⟩ и кроме попа*

С. 183

6 пока девушка еще не выросла
30 Покраснела Софица⟨;⟩ на учительшу глядит*

С. 185

1 задумал. Так и прошло*

С. 187

1 ⟨Что̀⟩ ж ей*
10 Франкорафту ⟨что̀⟩?*

---

[8] *Вставка в СС*
[9] *Вставка в СС*

10 ⟨Славу⟩ Богу!
32 И вот ⟨что̀⟩*

С. 188

21 кого надо⟨!»...⟩
28 тоже Франкорумыс*[10]

С. 189

7 такой ⟨негодный⟩ был
31 Вот ⟨что̀⟩ я!»*

С. 190

15 Вот ⟨что̀⟩ я такое!*
24 Взошли мы ⟨тихонько⟩ на лестницу
26 венчает.⟨—⟩ Ведь этот
27 бессовестный и что̀ выдумал*

С. 191

13 повеселились сегодня⟨.⟩*
18 веселость⟨?..⟩ А у нас*

С. 192

2 ⟨Куце⟩-влах*
8 Мне ⟨что̀⟩*
14 с ⟨короной⟩*
16 ⟨пред⟩ пашей*
20 с Рождеством ⟨его⟩ поздравить.

С. 195

17 — А ⟨что̀⟩*
29 ⟨Захотел⟩, чтоб я*
31 ⟨Что̀⟩ ж это*
34 скверное⟨;⟩ Эллада*

С. 196

2 чтоб я на разбойников ⟨кипелякам⟩ показывала?»*
21 кира-⟨Катинке⟩.*
28 ⟨собой⟩ красивая.*
31 — ⟨Что̀⟩ же*

С. 200

1 раз поутру бежит
24 в Египте или ⟨в⟩ Молдавии*

---

[10] *Так же в примечании автора*

С. 201

16 у них с ⟨Манулаки⟩*
18 говорит ⟨Манулаки⟩*
21 — Так ⟨что̀⟩ ж*
25 — ⟨Что̀⟩ ж ты*
26 кричит ⟨Манулаки⟩.*

С. 203

3 я так, да ⟨эдак⟩!
12 — ⟨Я⟩ вдова, паша-эффенди!*
20 — Ты ⟨что̀⟩*

С. 204

21 И нам ⟨чрез⟩ это было хорошо.
26 Аббедин⟨-⟩сердечный

С. 206

29 вот он ⟨что̀⟩!*
37 на меня⟨: «как ты

С. 207

12 говорит мне⟨: «⟩Иди
13 Успокойся⟨».⟩*
23 С утра объявили ⟨—⟩ а вечером на пароход*
26 и крику ⟨—⟩ сколько мы слышали
27 не кончилось⟨,⟩ дожди*

С. 208

19 дорогах.⟨—⟩ А бей
23 Мученье великое!⟨— и⟩[11] всегда было худо⟨;⟩ а все-таки*
32 в судах ⟨—⟩ в этих правильных
35 Куда это дойдет⟨,⟩ Богу известно.*

С. 211

8 И ⟨Манулаки⟩ дом до тла*
12 базар ⟨уж⟩ не спасем
13 ⟨Манулаки⟩ все еще надеялся.*

С. 212

2 Не хорошо, что̀ не тушите⟨?⟩

---

[11] *В ИЖХ*: — И всегда

С. 213

21 чтобы ⟨пред⟩ светом хвалиться

С. 214

8 Пришел я после пожара к ⟨Манулаки⟩.*

27 кричит ⟨Манулаки⟩*

С. 216

2 «⟨Эдакие⟩ дьяволы![12]

5 *в ИЖХ*: ⟨чрез⟩ добрых

16 и пошли к ⟨Манулаки⟩.*

19 и варенье и ⟨кофей⟩*

23 ⟨чрез⟩ пашу и доктора...

С. 217

4 говорит⟨: «⟩Это дело

16 к другому⟨:⟩ все боятся.*

21 от патриарха зависит. ⟨Мешаться я не имею права!⟩

27 говорит⟨: «⟩Хорошо⟨;⟩ три с половиной

С. 218

1 ⟨Манулаки⟩ боится*

11 Поп ⟨уж⟩ готов.

21 У ⟨Манулаки⟩ за городом*

23 и сам старик ⟨Манулаки⟩ в *сирто**

С. 219

12 и дом в ⟨деревне⟩ хороший имеет.*

13 и над лестницей ⟨представляет⟩ сад*

16 приобрел⟨;⟩ газеты читает*

23 идти ⟨чрез⟩ это.

АСПАЗИЯ ЛАМПРИДИ

Текст *РВ*: 1871. Т. XCIII. Кн. 6. С. 739—773. Т. XCIV. Кн. 7. С. 144—183. Кн. 8. С. 427—469. Т. XCV. Кн. 9. С. 72—99.

С. 220

7 под турецкою ⟨властию⟩*.

12 о дальней⟨,⟩ великой⟨,⟩ холодной*

---

[12] *В ИЖХ*: диаволы

С. 221

19 крестьянин ⟨Ионец⟩*
27 ⟨безо⟩ всякой

С. 222

8 он весь сплошная*

С. 223

1 как ⟨того⟩ желал

С. 225

3 встретите везде ⟨—⟩ и в церкви
9 и затрогивают его. ⟨—⟩
16 обнажив саблю ⟨пред⟩ ротой
20 Впереди, ⟨пред⟩ музыкантами
20 оборванные ⟨мальчики⟩
22 ⟨пред⟩ войском...

С. 226

35 ⟨пред⟩ военною музыкой

С. 228

13 Бедный отец⟨.⟩*
28 умерла едва ⟨родивши⟩*

С. 229

19 Сестра ⟨же⟩ нанесла первый удар*
23 скифским⟨,⟩ северным мраком

С. 230

1 «спеши ⟨медленно⟩»*
26 Астропидес*[13]

С. 231

10 и походка ⟨отличалась⟩*

С. 233

30 Тогда Алкивиад ⟨это⟩ понял, что*
31 не ⟨что̀⟩ иное*

С. 235

15 Он не ⟨спорил⟩ что беспорядки*

---

[13] И далее в тексте *РВ*

С. 238
26 — ⟨Надеюсь,⟩ я вижу, что ты*

С. 240
1 она ему ⟨нравилась⟩.*

С. 241
12 про себя:
— Неужели

С. 242
22 — Вот он⟨,⟩ самый друг

С. 245
12 Только это ⟨велика⟩ обида*

С. 246
3 Алкивиад и Астропидес опять*

С. 247
15 буду молчать⟨!⟩»*
34 в самом ⟨Цареграде⟩.*

С. 248
6 Каково же было купцу ехать в Триест*
29 живут между ⟨собою⟩ хорошо*
33 допустит Салаяни *поклониться**

С. 249
15 ⟨через⟩ кого знаешь*
22 сдержать слово⟨,⟩ и дал знать ⟨через⟩ него*

С. 250
18 турки-⟨хаджи⟩*

С. 251
29 край? ⟨—⟩ Вы хотите
30 Хорошо. ⟨—⟩ Прекрасная

С. 252
3 для новых надежд⟨....⟩*

С. 253
33 вареньем и ⟨кофеем⟩. ⟨Отдохнувши⟩, император*

С. 254

5 без ⟨галстука⟩*

С. 255

8 принять их⟨?⟩*
10 угодно⟨;⟩ хоть сейчас же!
25 с дивана⟨;⟩ но принял*

С. 256

8 не четвероногое этот ⟨телеграф⟩?*
11 почтительно ⟨стал пред пашей⟩.
15 осыпал проклятиями ⟨телеграф⟩.*
24 кланяясь, ⟨ответил⟩ писец.
34 *меймурлик* свой.⟨—⟩*

С. 257

4 Эта мода гибель для всех нас.*
5 истинную правду⟨!⟩
13 про Афины и Грецию⟨,—⟩
37 премудрости и сладости⟨!⟩

С. 258

2 простились с ⟨пашей⟩.
11 и ⟨не⟩ сокрушался*

С. 259

11 и бросьте ⟨ваш⟩ взгляд*
25 и только в ⟨эту⟩ минуту

С. 260

6 отец ⟨Козма⟩*[14]
11 охотно ⟨—⟩ о своих
15 улыбаясь ⟨ответил⟩

С. 261

12 ⟨Поистине⟩ простая!*
20 ⟨ответил⟩ старик
25 татар ⟨нагайских⟩
33 — Так охота есть, ⟨отче⟩?

---

[14] И далее в тексте *РВ*

С. 262

15 в Никополь⟨?⟩ сказал ей смеясь⟨:⟩ ⟨«что̀⟩
16 устать⟨!⟩*
31 много **и** красы и величия*

С. 263

7 манера⟨;⟩ без всяких*
9 о чем попало⟨—⟩ сбила*
17 людей и страны⟨!⟩

С. 264

15 другим!⟨...⟩
20 ⟨Пред⟩ отъездом
21 Мутесариф **в** этот день*

С. 266

3 обучил;⟨—⟩ ⟨Нурредем⟩-бей*
4 *в ИЖХ*: взял⟨: —⟩ тот взял
5 люди.⟨—⟩ Вот тебе
15 не могут.⟨—⟩ На недовольных
20 опять, ⟨забывши⟩*
33 живете.⟨—⟩ Привыкли
35 ⟨заспешил⟩ Алкивиад...*
36 сказал: «Э!

С. 269

25 крест, ⟨«⟩что

С. 270

21 час с небольшим **ходьбы** — *восстановлено по РВ и ИЖХ — ред.*

С. 271

22 ⟨через⟩ стены*

С. 272

3 ⟨через⟩ полчаса*
33 «Зачем же ⟨мы⟩ ему не ⟨открылись⟩?*
33 он ⟨сердится⟩

С. 273

6 ⟨но⟩ за собственную жизнь*
10 и он не ⟨поспеет⟩ везде
15 Шемю*

16 ⟨Хуста⟩-паша*
16 Шемю*

С. 274

11 монастырей в России⟨.⟩

С. 275

11 не спал⟨;⟩ он*

С. 276

5 Болгары ⟨так⟩ простодушны
26 демагогу защищать*

С. 277

11 ⟨О⟩ *неблагоразумном*

С. 278

13 путники ⟨въехали⟩ в Рапезу.*

С. 279

4 было много народу
34 Дети⟨!⟩ ты говоришь...
35 их разуму⟨...⟩*

С. 280

23 ⟨пред⟩ высоким стариком

С. 281

10 *в ИЖХ*: ⟨Чрез⟩ месяц

С. 282

1 ⟨красотой⟩ твоей, ⟨улыбкой⟩*
9 Что она вдова, ⟨ты это слышала;⟩ ты это помнишь

С. 283

12 ⟨что̀⟩ ни шаг...
30 дальше⟨,⟩ уныло-преуныло

С. 285

1 ⟨полуразрушенной⟩ стеной*
29 он ⟨поднимет⟩ голову
30 *исправлена опечатка, было*: Потупит, замолчит
32 Тодори ⟨по нескольку⟩ раз

С. 286

32 и с ⟨женой⟩ своей*

С. 288

32 глухой брат в столовой*

С. 289

1 в очаге ⟨кофей⟩*

прим. Чево ⟨то же⟩ от *Прасковьи*

С. 290

36 он ⟨любил⟩ чтобы

С. 291

2 не работает⟨; она вяла и слаба здоровьем⟩; надо

С. 292

22 старик у каймакама — *исправлена опечатка, было*: у Кайтласкома

С. 293

4 ⟨Что̀⟩ ты сделаешь

С. 294

1 — ⟨Что̀⟩ же?

25 каждого эллина⟨...⟩*

С. 295

21 Аспазия⟨;⟩ умоляю*

С. 297

29 *В ИЖХ*: ⟨чрез⟩ пять лет

С. 298

4 ⟨пред⟩ ним один.

4 «За ⟨что̀⟩*

С. 299

21 чем вам⟨?⟩ Пастухам*

35 ⟨Чрез⟩ несколько дней

37 *люди* ⟨полагают⟩ что*

С. 300

32 ⟨уж⟩ меньше

С. 303

14 уже ⟨подписанные⟩ решения.

С. 304

8 страха ⟨пред⟩ архонтами
27 свободой и жизнью⟨:⟩
35 стать ⟨пашей⟩

С. 305

8 уравнение прав ⟨нам⟩ и нужно.
13 то, ⟨что̀⟩ дядя*
16 за Греками?⟨—⟩ Но

С. 306

14 ⟨доверие⟩ не восстановите...*
20 не убьете в нем веру⟨:⟩ он

С. 307

3 обычай эпирских вдов носить*
15 и когда⟨,⟩ однажды⟨,⟩ Алкивиад

С. 308

11 плодами⟨:⟩ мечтал
29 в сорок ⟨осьмом⟩ году»
31 С тех пор и я в садах

С. 309

3 с тех **пор** прошло*
14 с ⟨другой пожилой⟩ дамой*
27 возле себя⟨;⟩ вместо*
28 за ⟨решетчатой⟩ перегородкой*

С. 311

13 исполняли ⟨церковные⟩ обязательства*

С. 312

22 ⟨чрез⟩ эту грязь

С. 314

11 дитя роскоши.
⟨И тому подобное⟩*

С. 315

36 деликатностями заниматься⟨!⟩*

С. 316

11 умеет быть ⟨мужествен⟩
17 в чем дело⟨;⟩ кинулся

25 — ⟨Что̀⟩ говорить!*
37 с ⟨этим⟩ *хамалом*

С. 317

2 если он соперник⟨!⟩...*
3 предпочла Петалу⟨...⟩*
7 борода,⟨—⟩ стихи
20 за пятьдесят лет⟨;⟩ а младшему*
23 ⟨безо⟩ всякой обиды*
24 ⟨безо⟩ всякой причины*

С. 318

1 а трое Греки.*

С. 319

3 ⟨Что̀⟩ делать!
12 старух⟨,⟩ и Турчанок
12 Арабок⟨;⟩ отыскали*

С. 323

4 не в силах ⟨защитить⟩

С. 324

34 Кто ⟨ж⟩ ты такая

С. 326

1 не ⟨кормит⟩ его собаку.

С. 327

28 Один раз ⟨и⟩ Ламприди
32 ⟨что̀⟩ это*

С. 328

13 а кто и[15] на муле.
30 как ⟨бы⟩ мужу не знать⟨?⟩

С. 329

1 и ⟨чрез⟩ несколько дней
5 говорил ему ⟨и⟩ о том*
25 о нем разноречиво⟨;⟩*

---

[15] *Вставка в СС*

С. 330

6 на окнах⟨;⟩ а только*
27 В Загорах⟨:⟩ мір иной, другая жизнь⟨;⟩*

С. 332

4 *оттуда*⟨,⟩ *сверху**

С. 333

5 для Греков⟨,⟩ это принять

С. 334

8 «Это не ⟨эллинисты⟩, а ⟨православные⟩!»*

С. 335

3 и Загорец лукавый⟨;⟩
12 о Турках?⟨—⟩ Нового
15 «*четыре раза* ⟨пронзенный⟩ человек»*
прим. *Четыре раза* ⟨*пронзенный*⟩*
31 А ⟨свободы⟩ теперь
32 переждав грозу,⟨—⟩ человек

С. 337

9 Когда доходила
22 другом его ⟨отцу⟩...*
36 ⟨своей⟩ провизией*

С. 338

20 сказать⟨.⟩ То и в этом

С. 339

3 был долго ⟨пашей⟩
35 почтения».⟨—⟩ Вот

С. 340

27 спросил его: «Кто он?»
34 — А кто же ⟨он⟩ такой?

С. 342

3 но даже с ⟨радостью⟩*

С. 344

28 из настоящих ⟨Османлов⟩*

С. 346

35 с ⟨расспросом⟩ и участием

С. 347

29 поставили ⟨пред⟩ ним

С. 348

8 заметил это ⟨и⟩ подошел*

12 сказать⟨:⟩ что

С. 349

3 ⟨«Братец (она писала)⟩ если ты, наконец*

С. 351

35 в Афины⟨:⟩ марш!*

С. 353

32 Она ⟨улыбнулась⟩*

С. 355

24 выгоняются ⟨и⟩ чиновники.*

С. 356

5 за Алкивиада. ⟨«Теперь уже ~ худого?»⟩

9 решили так⟨.⟩ Петала*

12 двести лир добавочных⟨.⟩

13 сделать сестре добро⟨:⟩

С. 358

4 и дадим **ему**[16] записку.

13 снес в город **и** заложил бы.*

25 ⟨Божья⟩ Матерь*

С. 359

14 говорил⟨: «Поминайте

С. 360

3 сказал⟨: «Я лучше знаю

25 тропинки⟨.⟩ «Как бы*

С. 361

30 ⟨через⟩ полчаса*

32 под Вувусой ⟨собрались⟩.»

прим. *Вот тебе**

---

[16] *Вставка в СС*

С. 362

27 *в ИЖХ*: ⟨Чрез⟩ полчаса

С. 363

14 одна из ⟨его⟩ рук

С. 364

29 край ⟨—⟩ такой человек

С. 366

14 и ⟨приказывал⟩ снять
17 *в ИЖХ*: ⟨чрез⟩ несколько дней

С. 369

10 ⟨пред⟩ Фоминой неделей
34 Александра посмелее*

С. 370

13 захотели петь⟨, пели...⟩*
30 И ты **мой** Пан-Дмитриу*

С. 371

19 Не ⟨говорили ль мы,⟩ Мехмед-паша,/**И вы все бре́—меджлисы.***
26 Тебе хвала, **наш** Пан-Дмитриу!»*

С. 372

18 уже ⟨и⟩ вприсядку

С. 373

15 Через два ⟨дни⟩*

С. 374

1 ⟨пред⟩ отъездом
11 в ⟨платьях⟩ вышитых*

С. 376

3 ⟨что̀⟩ особенно*
10 ⟨чрез⟩ Превезу
30 стояла ⟨пред⟩ ним

С. 378

26 ⟨чего⟩ может ожидать*

С. 379

17 под влиянием России⟨.⟩ **Но и то на время!..***

Текст *МВ*: 1875. № 114. 7 мая. С. 4—5. № 115. 8 мая. С. 5.

С. 381

34 несчастный ты!» И потом*
35 «⟨что̀⟩ ж!*

С. 382

8 скажем хижину⟨;⟩
8 две кастрюли⟨;⟩ имеет
13 домик подожжет⟨,⟩ взял оружие*
35 это значит⟨,⟩ «моя ~ Моя команда!*

С. 383

15 не ⟨через⟩ ссору*
22 Однажды⟨,⟩ я осмелился*
24 сказал ⟨вздохнувши⟩*
прим. По *разбойничьи*⟨; —⟩*

С. 384

20 когда ⟨вспоминал⟩ об этом
21 с бедною старушкой одною*
35 говорит: — ⟨«Вот тебе

С. 385

17 отцом будет⟨.⟩

С. 387

8 *Исправлено возможное повреждение текста; было*: в газетах эллинских писали и многие Греки наши⟨.⟩ Сотираки, который его предать хотел

С. 388

21 всем лудил⟨:⟩ бедным*
29 останавливался ⟨пред⟩ ним

С. 389

25 переносит ⟨через⟩ снег*

С. 390

25 и утешались⟨,⟩ и старики*
29 А мать ее часто*

С. 391

[25] и ⟨эдак⟩ качну.

[29] Сказано замужняя

С. 392

[27] ⟨Постелил⟩ мне[17]

С. 393

[20] вот надо ⟨что̀⟩*

С 394

[7] бедных⟨;⟩ но в делах

[9] *Возможное повреждение текста исправлено в соответствии со смыслом контекста; было*: «Подожди, подожди еще!» сказал ему Василий, — наконец что-то, может быть и грубое

С. 395

[9] ⟨Через⟩ сколько-то*

[10] а ⟨жених⟩ в город*

[11] Нужно Илии было руки помыть*

[13] скажу⟨?⟩ Можно?

[15] — Увы⟨!⟩ мне бедной

[18] а без ⟨жениха⟩*

С. 396

[18] У него она была записана.*

[34] вселенную⟨,⟩ с самых*

С. 397

[32] задуматься своею ⟨загадкой и⟩ двусмысленною политикой...*

С. 398

[13] выбрился опять молодец⟨,⟩ чистую*

ДИТЯ ДУШИ

Текст *РВ*: Т. CXXIII. Кн. 6. С. 571—645. Т. CXXIV. Кн. 7. С. 197—271.

С. 400

[1] была женщина⟨;⟩ но все-таки*

---

[17] *В ИЖХ*: Постлал мне.

13 жалеет⟨;⟩ а жена*
22 дитя, чтоб ⟨он⟩ ⟨кормил⟩ и ⟨поил⟩ нас

С. 401

20 младенца, ⟨но⟩ долго еще

С. 402

22 волосики ⟨у⟩ мальчика
25 как ⟨шнурочки⟩ темные

С. 404

17 в дом их ⟨и⟩ раздор*

С. 407

17 пойти ⟨—⟩ или зимой за угольями

С. 409

36 сполна ⟨восемнадцати⟩ лет.*

С. 410

8 ⟨осьмнадцать⟩ лет тому назад.*
17 сочтя ⟨года⟩ и месяцы*
18 ⟨осьмнадцать⟩ лет*
22 и ⟨севши⟩ сам ⟨противу⟩ них*
24 ⟨осьмнадцать⟩ лет тому назад*

С. 411

3 заклинаю тебя ⟨—⟩ исчезни*[18]
12 Севóстица*
36 в ⟨эту⟩ же ночь.

С. 412

1 великое ⟨счастье⟩».*
7 ⟨Чрез⟩ несколько дней
32 ⟨печальны⟩ и задумчивы.*

С. 413

3 на другой день ⟨вставши⟩*
28 не сказала ему⟨,⟩ по материнской ⟨своей⟩ любви.

С. 415

2 над бедною ⟨головою⟩ моей*
19 где цветам⟨,⟩ там разноцветные.*

---

[18] *В ИЖХ без знака препинания*

С. 417

7 возьму только ⟨белые⟩*

22 не должен ⟨:⟩ а жене

С. 418

5 нет ничего⟨,⟩ ни креста*

24 было много и высоких

С. 421

10 стуча в двери ⟨скобкой железною⟩*

С. 422

6 ⟨Пе́тру⟩ соблазны.*

24 стуча ⟨скобкой железною⟩*

32 и жене его ⟨Хри́стиной⟩

С. 423

28 и ⟨Хри́стиной⟩

С. 424

18 ⟨грозный⟩ янычар*

С. 426

4 над черною ⟨судьбой⟩*

С. 427

2 — ⟨Что̀⟩ ты*

С. 428

9 Выберешь ты **ту,**[19] которая пляшет, без песни и без ⟨тамбурата⟩*

С. 430

13 и ⟨рукой своею⟩*

25 под ⟨командой твоею⟩*

С. 431

4 стуча ⟨скобкой железною⟩*

С. 434

35 не раскрылась ⟨как-либо⟩ истина.*

С. 435

18 бежали за ним, ⟨кидали⟩ в него ⟨камушками⟩*

---

[19] *Вставка в ИЖХ*

С. 436

22 Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩
прим. кормилица, *вместо матери*.*

С. 437

26 меня ⟨прогоняли⟩.

С. 438

27 персидский ⟨*тюмбеки*⟩*
31 и мать его парамана*

С. 439

11 писарь и мать его парамана*
27 И мать его парамана*
37 разведет тебя с ⟨женой⟩!*

С. 440

17 ⟨пред⟩ епископом
19 стали ⟨пред⟩ ним

С. 441

5 и всею ⟨душой моею⟩.*

С. 443

15 Петро спросил ⟨у⟩ другого.*

С. 444

13 ⟨пред⟩ собой
33 увидит ⟨пред⟩ собой

С. 445

34 пешком до лесу ⟨пошел⟩.

С. 447

15 рассыпал ⟨пред⟩ ним

С. 448

31 по ⟨камушкам⟩ прыгали.*

С. 449

33 жене его ⟨Хри́стиной⟩

С. 450

9 по кусточкам и ⟨камушкам⟩*
32 увидал он ⟨пред⟩ собою
33 к Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩.

С. 451

13 это вот от чего⟨!⟩*[20]

С. 456

28 благодетелям моим Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩

С. 457

15 плодов не иначе⟨*⟩

⟨* Предание о древних Турках и об их честности между христианами Фракии. *Авт.*⟩*[21]

С. 461

1 и ⟨чтоб⟩ они не роптали.*

27 и снял осаду⟨?⟩*

С. 462

26 и с ⟨конницей⟩*

С. 463

34 тебя попрошу⟨....⟩*

С. 464

3 мальчик ⟨ты⟩ мой любезный

13 уже свечерело⟨;⟩ и в неприятельском лагере*

С. 466

1 плакали и ⟨обещались⟩

С. 468

24 о Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩

С. 469

15 Ты мне дочь ⟨пожалуста⟩ отдай свою.*

С. 472

9 а в ⟨середке⟩ киоск*[22]

28 «Жемчужина **ты**[23] моя

С. 473

13 а про ⟨иного⟩: «Что за сокровище

23 На другой день же вошла*

---

[20] *В ИЖХ знак отсутствует*

[21] *В ИЖХ примечание отсутствует*

[22] *В ИЖХ*: в середине

С. 474

22 и никто его не ⟨узнал⟩

С. 477

14 ⟨покапавши⟩ на пол воску*

С. 478

34 стала ⟨пред⟩ ним

С. 480

10 ⟨пред⟩ простым человеком
20 все равно что̀ гвоздичка⟨-цветок!⟩*

С. 483

9 ⟨наволокой тюлевою⟩ покрытые.*
20 ⟨говоря⟩ ей тайно:
37 Что̀ ⟨ж⟩ ты спрашиваешь?

С. 485

5 письмо и ⟨благословенье⟩*

С. 486

34 деньги на ⟨отстройку⟩

С. 488

2 — ⟨Возвратись⟩ скорее
3 смирялась ⟨пред⟩ ним.
37 господину моему, ⟨служить⟩.

С. 490

17 твоим ⟨благословеньем⟩*

С. 491

20 Так ⟨приказал⟩ царь*

С. 493

1 шумя и ⟨звоня⟩
25 взял бы меня ⟨горний⟩ Харон*

С. 494

2 мой сын любимый ⟨и⟩ единственный*

С. 495

22 Ты ж ⟨сам⟩ делай

С. 498

36 и вдруг ⟨обратившись⟩ на юных детей

---

[23] *Вставка в СС*

С. 499

23 Вот ⟨что̀⟩*

С. 501

21 ⟨Что̀⟩ я тебе*

С. 505

18 твоему величию сообразнее⟨!⟩*

С. 506

5 ⟨решеткой узорною⟩*

С. 508

10 снаружи ⟨осмиугольные⟩

С. 509

3 обе ⟨осьмигранные⟩ великие
7 снаружи ⟨золоченые⟩*
20 либо тоже ⟨золоченые⟩*

С. 511

1 ежедневно⟨, встав⟩ обременять*

С. 512

13 разумнее⟨;⟩ и успокоилась
16 Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩

С. 514

33 домой к Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩

С. 516

4 издали ⟨пред⟩ стражей

С. 517

21 *дитя души* Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩
24 другого к Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩

С. 518

22 к Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩ ездил
26 у ⟨Хри́стиной⟩ язвы

С. 520

33 сказал ⟨ей⟩:
— А ты*

С. 525

17 взять ⟨этого хлеба⟩

С. 526

29 чудный в делах Твоих⟨!⟩ Боже*

С. 527

9 сокрушаться ⟨пред⟩ старцем

С. 528

10 Кончив ⟨наставление свое⟩*

С. 529

5 за все порицал — *восстановлено по смыслу контекста; было*: прощал

С. 530

29 постигли ⟨вашего⟩ царя*

С. 531

8 с ⟨женой своею⟩*

С. 532

34 ⟨Чрез⟩ три дня

С. 533

6 смирится ⟨пред⟩ тобою.

10 благих Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩.

С. 536

6 дом Хри́сто и ⟨Хри́стиной⟩

29 и с ⟨пищей скудною⟩*

СФАКИОТ

Текст *РВ*: 1877. Т. CXXVII. Кн. 1. С. 395—426. Кн. 2. С. 579—622. Т. CXXVIII. Кн. 3. С. 45—79.

В данный раздел не включены ремарки, которые в тексте *РВ* давались в скобках, снятых в СС.

С. 541

21 Так едем мы⟨,⟩ по селам по всем

С. 545

33 мельница большая

С. 552

33 Я⟨....⟩ (не ей

С. 554

1 наверх. ⟨—⟩ Милости

С. 555

4 ⟨В⟩ вечеру⟨,⟩ капитан

30 Что̀ тут до ⟨Турков⟩ за дело

36 спастись⟨:⟩ а другие

С. 556

25 что ⟨это⟩ пустяки⟨, значит⟩...

С. 557

2 потом уже сам⟨...⟩»

С. 559

29 о нем в политике ⟨не хорошо⟩ думать.

С. 568

20 у стенки⟨;⟩ только такая беда⟨.⟩ Сучки

С. 571

7 человек ⟨очень⟩ хороший

19 ничего ⟨и⟩ не было!

С. 572

1 тебе⟨,⟩ что̀ нам

24 *Фраза, необходимая по смыслу, отсутствует в СС, возможно, ошибка была допущена при наборе. Восстановлено по журнальной редакции. — Ред.*

С. 574

5 ⟨Ты⟩ займи его разговором

С. 585

28 одежду на груди своей рвет.

С. 588

2 Хорошо⟨?⟩»

С. 589

8 делать? ⟨и⟩ пошел

24 не стала⟨;⟩ даже хлеба

С. 592

32 ⟨чрез⟩ базар прямо

С. 596

13 ⟨пред⟩ другими паликарами

С. 598

29 извиняться ⟨пред⟩ стариками.

С. 601

28 платочком, ⟨прислонялась⟩ головой к стене

С. 602

15 стоит ⟨пред⟩ нею

С. 614

33 Спрашиваю ⟨я⟩, наконец

С. 619

28 никто ⟨не узнал⟩ куда

С. 622

33 умирает⟨:⟩ соскучился

С. 625

4 сделать»⟨,⟩ отчего же

С. 627

26 я могу ⟨расказывать⟩.

С. 638

27 Я тебя где-то ⟨видел⟩.

С. 639

11 — Так ты говоришь⟨?⟩ Она не хотела⟨!⟩

С. 641

20 стали ⟨пред⟩ ним.

С. 643

22 доктора⟨,⟩ так был

С. 645

26 ⟨пред⟩ людьми

С. 646

20 Сестра ⟨твоя⟩ вошла к ней

С. 647

12 стыдился ⟨я⟩ по-прежнему
15 слышу в приемной
36 стою ⟨пред⟩ ним

С. 649

35 людей⟨:⟩ приведите сами.

С. 650

15 обвенчаны⟨;⟩ он очень

С. 652

16 и не боится⟨....⟩
32 не приходят⟨?..⟩

С. 653

3 как только ⟨увидела⟩
14 ⟨что̀⟩ диплом имел
20 Янаки наш⟨,⟩ Полудаки!
21 стрелок ⟨Сфакиотский⟩...
32 в Крите остался⟨.⟩

С. 654

3 по базару домой⟨...⟩
12 хочет, глупый⟨!⟩»
13 к епископу бежит⟨;⟩
20 водите⟨...⟩»
28 и отказывалась⟨...⟩»
35 тебя вязать⟨...⟩
37 сами сделали⟨...⟩»

С. 655

10 вот смотри⟨...⟩»
15 сердцем⟨...⟩ Янаки

С. 656

1 Извольте видеть⟨,⟩ разбойника!
35 ⟨Чрез⟩ год

КОММЕНТАРИИ

ИЗ ЖИЗНИ ХРИСТИАН В ТУРЦИИ

Произведения, вошедшие в трехтомное собрание повестей и рассказов «Из жизни христиан в Турции», Леонтьев называл «восточными повестями». Думается, это определение подразумевало не только экзотическую тематику, но и художественные особенности этих повестей и очерков, нечто новое, появившееся в стиле Леонтьева (лишь намечавшееся в его первом романе), — то, что в одном из писем Вс. С. Соловьеву он назвал «внутренней музыкой». «...Я ⟨...⟩ хотел попробовать себя на этих акварелях, на этих «фарфоровых чашечках» Хризо, Пембе ⟨...⟩ Я хотел, чтоб повести мои были похожи на стихи...» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 30 об., 32).

«Вкус мой сформировался ⟨...⟩ давно, но как творец я никак не мог долго даже и приблизиться к тому идеалу, которого жаждал. Ему удовлетворяют до известной степени только мои Восточные повести, — писал Леонтьев в «Моей литературной судьбе». — Хризо я недавно для исправления опечаток, перечел три раза и ничем не возмутился; ничто мне не напомнило в этой повести современную русскую пошлость» (*ЛН*. Т. 22—24. С. 464). «Хризо», «Хамид и Маноли» и другие маленькие повести были для писателя опытом «возврата к душистой старинной простоте стиля» (письмо Т. И. Филиппову от 3 марта 1876 г. // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 10).

Замечательная характеристика собственного эстетического идеала дана Леонтьевым в цитированном выше письме Вс. Соловьеву от 18 июня 1879 г.; приведем здесь еще несколько фрагментов из него. «Прошу Вас обратить внимание на Хризо, Пембе и т. п... Там все характеры *нарочно* намечены чуть-чуть, слегка, как в старинных повестях, особенно французских, которых манера и міросозерцание мне нравятся больше, чем слишком го-рельефный, раскрашенный густо и вместе с тем забрызганный грязью — прием почти всех наших писателей» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 28 об.). «Я стал искать теней, призраков и чувств. — Я желал,

чтоб повести мои были похожи на лучшие стихи Фета, на полевые цветы, собранные искусной рукою в изящно-бледный и скромно-пестрый букет; на кружева «настоящие» на «point-carré», на фарфоровые белые сосуды с бледным и благородным рисунком... Я *возмечтал* быть примером, учителем, я хотел (вообразите!) открыть другим глаза... Я вознесся в своем уединении до того, что мнил положить конец — *Гоголевскому влиянию*, которое я признаю *во всех*, исключая пожалуй Толстого, который по крайней мере давно уже борется против гоголевщины — отрицанья, комизма и т. п. в самом *содержании* своем. ⟨...⟩ Но я мечтал в гордости моей, в моем уединенном самолюбии, что я призван — обновить и *форму*... Напомнить *простые* и *краткие* приемы ⟨...⟩ Выбросить все эти *разговоры*, все эти *хихиканья* и т. п...» (Там же. Л. 29—29 об.).[1]

В письме матери от 19 ноября 1870 г. Леонтьев так определил задачу, поставленную в повести «Паликар Костаки»: «*ясно и просто* представить здешний быт, здешние убеждения и страсти» (цит. по: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 40). Эти слова могут быть отнесены и к другим произведениям цикла.

Этнографическое значение своих повестей Леонтьев ценил не меньше «художественного». Свидетельством этому могут служить строки из документа, написанного им в 1887 г. от третьего лица (для «Всеподданнейшего доклада» министра внутренних дел): «Этнографическое значение их, не говоря уже о литературном, несомненно ⟨...⟩ Большая хроника его «Записки Одиссея Полихрониадеса, Загорского Грека» — имеет по отношению к жизни не только эпирской, но и вообще Ново-Греческой такое же почти научное значение, какое имеет сочинение Мельникова «В лесах» — по отношению к Староверческому быту и «Семейная хроника» С. Т. Аксакова по отношению к жизни русских помещиков конца прошедшего столетия» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 7). Леонтьев гордился тем, что барон А. Г. Жомини считал его повесть «Аспазия Ламприди» более точной, чем сухие консульские донесения; в одном из писем А. А. Фету он приводил порадовавший его отзыв М. К. Ону: «...он в моих Греческих Повестях находит гораздо меньше ошибок и больше знания местной

---

[1] Ср. с признанием в письме Н. Н. Страхову (октябрь 1875 г.): «Только — *Хризо* и всех других *мелких* Восточных повестей — я не стыжусь, а горжусь ими, ибо в них одних не осталось уже ни искры *Гоголевщины*, от которой избавиться не мог у нас до сих пор никто вполне...» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 52 об.).

жизни, чем в большинстве ученых сочинений о Турции и Греции» (РО ИРЛИ. Ф. 337. Архив А. Фета. 20 284. Л. 18).[2]

Но при этом Леонтьев нередко говорил о содержании греческих повестей несколько отстраненно или даже с осуждением его: «...Но содержание *Восточных повестей* — увы! — о! это совсем не то, что я бы мог и желал бы сказать, если бы не имел несчастия быть Русским нашего времени!..» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 56 об.).

Иногда писатель признавался, что эти произведения создавались только «для денег». «Восточные повести и статьи о Востоке дают верные деньги; а повести мои из Русской жизни и *общие* статьи встречают, как ты знаешь, вечные затруднения!» — писал он племяннице в марте 1873 г. (цит. по: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 50). «Я ли виноват — что мои *Восточные повести* находят всегда более или менее верный сбыт, а другие мои сочинения лежат по году в Редакциях ⟨...⟩ Рад бы забыть все *эротическое* и не писать об этом вовсе, но что делать... ⟨...⟩ Поневоле не бросаешь повестей...» (из письма Страхову от 16 июля 1875 г. // ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 47—47 об.)

По свидетельству М. В. Леонтьевой, первая повесть («Хризо») была начата еще на Крите, завершена она в Тульче; но большая часть повестей была создана после переезда в Янину. «В Янине он еще глубже (если можно так выразиться) был погружен в эту пеструю жизнь Восточных христиан — и талант его на много лет был посвящен воспроизведению этой жизни в повестях и рассказах» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 27). «Впечатления Востока давали ему матерьял совершенно новый. — В первый год (1869-ый) в Янине им написана повесть *Пэмбе* и *Хамид и Маноли*...» (Там же. Л. 38).

Большинство повестей было опубликовано в «Русском вестнике». Замысел издать «восточные повести» отдельно возник у Леонтьева еще в 1870 г., когда было создано пять произведений: «Хризо», «Пембе», «Хамид и Маноли», «Паликар Костаки» и «Аспазия Ламприди» (последнее существовало только в рукописи). 19 ноября 1870 г. он писал Страхову: «После святок я хочу издать особо *Восточные повести*...» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 37 об.).

Леонтьев надеялся, что такое издание может быть осуществлено Катковым; переговоры были поручены племяннице. Результатом их явилось письмо секретаря редакции *РВ*, Н. Дюбюка, дати-

---

[2] Письмо М. К. Ону от 26 апреля 1889 г. (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1034. Л. 1—2) см. в 4 т. настоящего издания.

рованное 22 ноября 1871 г.: «В ответ на Ваше письмо редакция Русского Вестника честь имеет уведомить Вас, что, вполне ценя рассказы и повести Вашего дяди, которым она охотно давала место в своем журнале, тем не менее никак не может взять на себя отдельное их издание...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 357. Л. 1). 30 ноября, пересылая этот ответ автору повестей, М. В. Леонтьева писала: «Прилагаю ответ Каткова. — Хочешь ли ты, не ради денег, а ради статьи, — печатать отдельное издание Восточных повестей. — Издатель сейчас найдется вот на каких условиях: он отпечатает известное число экземпляров, первые продажные экземпляры пойдут на уплату расходов по изданию, а деньги от продажи тех, которые продадутся по покрытии этих расходов, — будут разделены пополам. — Об денежных выгодах, конечно тут и думать нечего. — Но зато можно ждать статьи об них» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1031. Л. 5 об.). К этой же теме возвращается она и в письме от 7 февраля 1872 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 172. Л. 3 об.).

В начале января 1872 г. С. А. Юрьев говорил с М. В. Леонтьевой о своем желании печатать в «Беседе» греческие повести Леонтьева. Однако новые произведения цикла появились значительно позже и публиковались Катковым.

К мысли об отдельном издании повестей Леонтьев возвращается осенью 1874 года. Ф. Н. Берг, по его поручению, начал искать издателя, вел переговоры с А. Ф. Базуновым (1825—1899). 19 ноября он писал: «...Базунов до Марта не желает входить в новые отношения ибо занят другими изданиями...» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 3). Об этом же речь идет и в нескольких письмах, которые по содержанию можно датировать 1875 годом: «Об изд⟨ании⟩ Ваших сочине⟨ний⟩ я хлопочу и напишу. Кажется дело улаживается, хотя очень трудно и не особенно выгодно. Пришлите мне письмо (официальное) разрешающее продать Ваши сочин⟨нения⟩ на условиях каки⟨е⟩ будут мн⟨ою⟩ найдены удобными» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 39). «...Хлопочу об Вас. Базунов и дру⟨гие⟩ *раньше* осени и говорить об издании не хотят» (Там же. Л. 40).

3 октября 1875 г. Берг писал М. В. Леонтьевой: «...Базунов не прочь кажется начать переговоры об издании всех соч⟨инений⟩ К. Н. но не ранее Октября месяца. О последствиях переговоров я сообщу немедлено. Это будет числа около 20-го Октября» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 354. Л. 1 об.). 11 октября он сообщает ей же: «Изданием Восточных повестей К⟨онстантина⟩ Ник⟨олаевича⟩ я тоже займусь прилежно и думаю, что при насто-

ящих событиях это более чем возможно и об этом я Вас также тотчас извещу» (Там же. Л. 3).

Но, очевидно, известий не было, и Леонтьев уже предполагал, что ему придется самому хлопотать об издании.«Если Берг в Петербурге ничего не устроит для отдельного издания моих *Восточных* повестей, — писал он К. А. Губастову 15 ноября, — то можно будет попробовать, что-нибудь и самому сделать, отдавши $^1/_2$-ну на помощь Герцеговинцам» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 29). 24 декабря 1875 г. Леонтьев с иронией рассказывал Губастову: «Ф. Н. Берг все еще усердно *хлопочет* об издании моих *Восточных повестей* и все *еще не продал их*» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 31 об.). По-видимому, вскоре были начаты переговоры с Катковым.

В 1876 г. типографией Каткова был издан трехтомник «Из жизни христиан в Турции. Повести и рассказы». В первый том были включены небольшое предисловие, «Очерки Крита» (своеобразный пролог), и три повести — «Хризо», «Пембе», «Аспазия Ламприди»; во второй (с нарушением хронологической последовательности) — «Паликар Костаки», «Хамид и Маноли» и «Капитан Илиа». Сюда же вошло и начало романа «Одиссей Полихрониадес», печатавшегося с 1875 г. в *РВ*. Эти два тома были выпущены в феврале. Третий том, вышедший в самом конце 1876 г., составило продолжение «Одиссея» и сказка «Дитя души».

В 1877—78 гг. были опубликованы повести «Сфакиот», дополнившая «критский» цикл, и «Камень Сизифа» — четвертая часть «воспоминаний загорского грека»; в 1882 г. Леонтьев напечатал еще один «забытый» фрагмент из «Одиссея» — «Я купец!». Место действия и некоторые мотивы объединяют с повестями 1870-х годов и незавершенный роман «Египетский голубь», первая часть которого была опубликована в *РВ* в 1881—1882 гг.

Неполнота «катковского» трехтомника[3] вызвала намерение подготовить новое дополненное издание восточных повестей. 7 января 1889 г. Леонтьев писал В. А. Попырниковой: «Я намереваюсь издать вторым,* исправленным изданием мои Ново-Греческие повести и прежде всего (в виде опыта) большую хронику мою «Записки Одиссея Полихрониадеса», которая никогда вполне не была издана. Некоторые друзья мои, дипломаты и знатоки Востока, живущие теперь в Турции, взялись дополнить мои исправления

[3] См.: Список сочинений К. Леонтьева с характеристикой (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 7).

* Первое, весьма неполное, в 76 году было Катковское

своими, самыми строгими примечаниями, и 1-я часть этой хроники на днях посылалась с этой целью в Царьград. — Я, видите — не спешу, а хочу сделать так, чтобы мой труд, сверх литературного имел бы и этнографическое достоинство» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 9—9 об.).

В 1889 г. Леонтьев думал о возможности представить «Одиссея» или все «ново-греческие повести» на соискание премии Академии наук; для этого также было необходимо отдельное издание.[4] Вероятно, в это время и была сделана в трехтомнике и на оттисках «Русского вестника» та правка, на которой основывался о. И. Фудель при подготовке собрания сочинений.

В 1890 г. Леонтьев через М. К. Ону вел переговоры о переводе повестей на греческий язык;[5] 10 января 1891 он послал в Афины 2 повести («Хризо» и «Капитан Илия»). «Я исправил кой-какие опечатки и сделал 2—3 *особых замечания* для переводчика. Пусть Г. Рангаве[6] потрудится прежде над маленькими и сам он увидит тогда, стоит ли ему трудиться над „Одиссеем"» (Цит. по: *Киприан*, архим. Из неизданных писем Константина Леонтьева. Париж, 1959. С. 29).

По словам племянницы Леонтьева, его «имя как талантливого писателя, было в первый раз упомянуто русской критикой именно по поводу его Восточных рассказов» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 27). Правда, появились рецензии только в середине 1870-х годов.[7] «К. Н. печатал подряд: Пэмбе, Паликар Костаки, Аспазия Ламприди — критика не хотела их замечать.....» (Там же. Л. 28).

«Заметили» эти произведения только после выхода первых глав «Одиссея Полихрониадеса». Рецензируя июньскую книжку *РВ*, В. Г. Авсеенко напомнил читателям не только о «восточных»,

---

[4] Письмо Фету 14 авг. 1889 г. (РО ИРЛИ. Архив А. Фета. 20 284. Л. 18). Впервые в письме Страхову от 18 сент. 1886 г. (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 54—54 об.). 27 сентября Страхов отвечал, что премии «даются только за стихотворные произведения» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 234. Л. 6—6 об.).

[5] Намерение это возникло пятью годами раньше; см. письмо Леонтьева Губастову от 13 апреля 1885 г. В этом же письме, а также 9 августа 1885 г. шла речь о переводе на европейские языки (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 118 об., 135—135 об.). Еще в 1878 г. Л. обращался с просьбой о переводе повестей к О. С. Карцовой.

[6] Племянник поэта А. Р. Рангависа.

[7] Исключение составил лишь отзыв в «Journal de St.Petersburg» (1871. № 340. 31 dec.).

но даже о русских повестях Леонтьева; повести «из современной греческой жизни» были оценены здесь чрезвычайно высоко (*А. О.* [В. Г. Авсеенко] Очерки текущей литературы // Русский мір. 1875. № 96. 11 июля. С. 1—2). Леонтьев считал эту рецензию первой статьей о себе (письмо Вс. Соловьеву от 18 июня 1879 г. // РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 33 об.). В «Новом времени» (1875. № 205. 14 авг. С. 1—3) появилась рецензия на первую часть «Одиссея» А. П. Чебышева-Дмитриева, петербургского профессора уголовного права, писавшего под псевдонимом Экс; в «Journal de St. Petersburg» (1876. № 56. 29 fevr.) было напечатано обозрение L. V. (М. А. Загуляева) с благоприятным отзывом о новых главах романа.[8]

Трехтомник «Из жизни христиан в Турции» вызвал отклики Вс. Соловьева и В. С. Неклюдова. Рецензенты были единодушны: отмечали своевременность появления книги (при общей заинтересованности Восточным вопросом, в России так мало знают подлинный Восток — даже «единоверный»), подчеркивали оригинальность и высокие достоинства Леонтьева-повествователя. «У г. Леонтьева автора почти и не видать; вы забываете о нем. Ввел он нас в изображаемую им среду и сразу вы сроднились с личностями его рассказа» (*Неклюдов В.* Литературная заметка // *МВ*. 1876. № 100. 24 апр. С. 4).[9] «Его действующие лица не манекены в местных костюмах, не иллюстрации, а живые характеры, соединяющие в себе и верно подмеченные, общечеловеческие движения, и яркий национальный отпечаток» (*В. С-в* [Соловьев Вс. С.]. Современная литература // Рус. мір. 1876. № 112. 25 апр. С. 2).

Автора восточных повестей особенно обрадовало наблюдение «непрофессионального критика» — дипломата Неклюдова: «...Не скажет он вам, что вот у такого-то «рука мясистая», а у того «худощавая»; не подкарауливает он каждого мускульного движения лица, чтоб объяснить вам анатомически все наитончайшие помышления или побуждения. Нет! Он ставит пред вами действующих лиц без всякой искусственной подготовки и заставляет их самих отвечать за себя» (*МВ*. 1876. № 100. С. 4). В письме

---

[8] Подробнее см. в комментарии к 4 т. настоящего издания.

[9] Ср. в рецензии Вс. Соловьева на первую часть «Одиссея»: «На всей этой картине лежит своеобразный местный колорит, из-за которого ни разу не выглядывает автор-европеец» (Рус. мір. 1876. № 98. 1 апр. С. 2). О рецензиях Соловьева и Неклюдова Леонтьев писал Губастову 17 апреля и 24 мая 1876 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 38, 40 об.).

Губастову Леонтьев с удовольствием вспоминал об этом «намеке» на Льва Толстого (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 40 об.).

Леонтьеву часто приходилось самому заботиться о появлении отзывов на свои книги.[10] Так, 15 января 1877 г. он писал Вс. Соловьеву: «Несмотря на застой книжной торговли — повести мои *понемножку* начинают здесь продаваться и судя по этому, можно ручаться, что если бы в январе, феврале и марте были бы в разных местах и *статьи* и *объявления*, то издание пошло бы очень хорошо, несмотря на дурные обстоятельства. — Но день идет за день и если никто за это горячо *теперь* не возмется, то мало-помалу настанет лето и опять надо будет ждать будущей зимы... Отчего бы в *Ниве* не попробовать устроить [что-]нибудь? — У нее так много подписчиков! Редакции «Русск⟨ого⟩ Вестника», по-видимому очень желательно, чтобы Авсеенко написал статью о повестях моих...» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 51—51 об.).

Статья Авсеенко появилась только в 1878 г.[11] До этого, в сентябре 1877 г. о восточных повестях Леонтьева напомнил рецензент «Голоса», откликнувшийся на выход первых трех глав «Камня Сизифа» (продолжения «Одиссея»). «При авторских приемах г. Леонтьева, напоминающих, по обилию деталей и тщательной их отделке, манеру голландских живописцов, изображаемые им бытовые картины выдаются с замечательною рельефностью и типичностью» (Голос. 1877. № 230. 29 сент. С. 1). Отмечалось здесь и умение «воплощаться» в своих героев, заставляя читателя забыть об «авторской индивидуальности». Об этой благожелательной рецензии (не в «дружественной», заметим, газете) Леонтьев писал своей племяннице 13 октября 1877 г.: «Петербургские газеты все почти начинают обо мне говорить; даже «Голос» очень хвалит Одиссея» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 20).

Но подчас еще большее значение для писателя имели устные отзывы людей, чьим мнением он дорожил. Так, в автобиографических заметках, написанных для Вс. Соловьева, Леонтьев вспоминал о разговоре с Л. Н. Толстым, состоявшемся при их знакомстве. «...Он спросил: — «Отчего меня не *коробит* только от ваших повестей; — а самые лучшие авторы наши чем-то претят?» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 56 об.).

---

[10] Однако он с негодованием отверг предложение Н. А. Любимова «самому написать отзыв о повестях» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 34).

[11] *W.* [В. Г. Авсеенко] Литературное обозрение // Рус. мір. 1878. № 13. 15 янв. С. 1. [рецензия на «Камень Сизифа»]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Автограф неизвестен.
Датируется 1876 г.
Впервые: *ИЖХ*. Т. I. С. I—III.
Вошло в *СС* (Т. II. С. 3—5).
Печатается по *СС*.

С. 7. *...собранные в эти две книжки...* — Речь идет о первых двух томах издания 1876 г. Третий том составило окончание романа «Одиссей Полихрониадес» и повесть «Дитя души».

С. 8. *Купер* — Джеймс Фенимор Купер (1789—1851), американский писатель.

С. 8. *Бичер-Стоу* — Гарриет Бичер-Стоу (1811—1896), американская писательница.

С. 8. *...в каких-нибудь очерках Брет-Гарта...* — Фрэнсис Брет Гарт (1836—1902) — американский писатель; Л., вероятно, имеет в виду его «Калифорнийские рассказы» (1857—1871).

ОЧЕРКИ КРИТА

Автограф неизвестен.
Датируется 1865 г. (по письмам к М. В. Леонтьевой).
Впервые: *РВ*. 1867. Т. LXVII. Кн. 2. С. 486—500.
Подпись: Н. В-в.
Вошло в *ИЖХ* (Т. I. С. 1—21) и *СС* (Т. II. С. 7—24).
Печатается по тексту *СС*.

«Очерки Крита» (название было дано редакцией *РВ*) написаны в Адрианополе. Первое упоминание об этом произведении

встречается в письме М. В. Леонтьевой от 25 сентября 1865 г.[1]: «Я уж давно жду Записки о Крите и еще что нибудь хорошее» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 71; копия Е. Гениевой).

В ноябре 1865 г. в Петербурге были получены две статьи, которые Леонтьев намеревался отдать в аксаковский «День». «Радуюсь, радуюсь я, что вы так много написали. — Слава от вас не уйдет ⟨...⟩ — писала 10 ноября М. В. Леонтьева. — Дай вам Бог только терпенья, да терпенья» (Там же. Л. 76 об.). Из ее декабрьского письма мы узнаем названия этих статей: «Записки о Кандии» и «Раскол Пантелеймона во Фракии».[2]

«И *записки о Кандии* и *Раскол Пантелеймона во Фракии* я, конечно, прочла ⟨...⟩ Да, хорошо было у вас в Кандии; захотелось и мне туда, когда я прочла в письмах ваших то место, где вы описываете сады Серсепильи.[3] — Картина эта у вас великолепна. Только я что-то не понимаю кончены ли письма ваши совсем или еще будет продолжение. У вас в конце не подписана фамилия» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 54).

Не известно, отправлялись ли очерки Леонтьева в Москву. 31 января 1866 г. племянница написала ему о закрытии аксаковской газеты: «*День* закрылся совершенно ⟨...⟩ Куда теперь поместить ваши письма о Крите — не знаю» (Там же. Л. 78).

После этой неудачи В. Н. Леонтьев начал переговоры с редакцией *ОЗ*. «Ходил отец к Дудышкину, говорил с ним об письмах Критских. — Дудышкин испугался *числа* этих писем; — он не понимает, что̀ можно написать в 8—10 письмах об одном Крите. — Поэтому он просит вас в кратких словах написать ему, что будет во всех 8—10 письмах; по двум первым он не может судить об остальных» (Письмо М. В. Леонтьевой от 11 марта 1866 г. // Там же. Л. 28).

13 июля М. В. сообщала о новых затруднениях: «Письма о Крите Дудышкин держал месяц и наконец прислал ответ, что они напечатаны быть не могут потому что написаны в славянофильском духе. — Вы знаете, что Русское Слово и Современник запрещены, следовательно и тут нет дороги. — Но отец говорит, что все-таки постарается их, если будет возможность, поместить хоть в новый журнал *Дело*, который издает Шульгин ⟨...⟩ Если вам

---

[1] Год в копии не указан; датируется по содержанию.

[2] Статья о расколе утрачена. О священнике Пантелеймоне см. *СС*, IX, 296.

[3] В публикацию *РВ* данный фрагмент не вошел.

все равно куда их не поместить, то отец попробует» (Там же. Л. 80).

В октябре 1866 г. через Г. Теохорова «Письма о Кандии» были переданы Каткову. 18 октября М. В. рассказывала об этом: «Теохоров взял ваши письма о Кандии; в них есть ошибка, впрочем, исправимая; вы озаглавили вместо *4-ое письмо — Продолжение 4-го письма*, тогда как начала этого письма нет, но судя по отношению к 3-му письму то, что вы озаглавили *продолжением*, и есть начало 4-го письма. Если у вас целы черновые, не жгите их, лучше пришлите мне» (Там же. Л. 103 об.).

27 февраля 1867 г.: «...письма о Кандии помещены в Русском Вестнике, под названием *Очерки Крита* и, как мне помнится, сокращены. — Отец как-то спросил у Страхова читал ли он их, не говоря, что вы их написали. — Страхов сказал, что это очень милая вещь и после не хотел верить, что она была в руках Дудышкина и не напечатана в Отечественных Записках» (Там же. Л. 91 об.).

В письме от 19 августа 1867 М. В. напоминала о том, что необходимо написать Каткову о гонораре за очерки (Л. 99 об.).

Любопытно, что об этом произведении Леонтьева не знали даже его константинопольские друзья, К. А. Губастов и М. А. Хитрово. 16 мая 1867 г. Губастов писал в Тульчу: «В Февральской книжке Русского Вестника за этот год напечатаны «Письма о Кандии», за подписью А. В. Содержание их: греческая тамошняя свадьба, экономическое положение христиан и содержание 3-й главы забыл. Тут был поднят вопрос: Ваша статья эта или нет? Кумани[4] и Екатерина Димитриевна[5] спорили, что это Ваша — я и Хитрово оспоривали. Кто прав?» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 12 об.). 30 мая Леонтьев отвечал: «Письма о Крите мои, кажется только Катков испортил их» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 1).

Об истории первой публикации очерков в «Русском вестнике» Леонтьев вспоминал в «Записках отшельника»: «В 68 году ⟨...⟩ я приехал в Россию в отпуск, несколько раз виделся с Катковым и подолгу беседовал с ним ⟨...⟩ Незадолго перед этим я прислал ему для «Русского вестника» небольшую статью «Очерки Крита». Я был в восторге от Крита и от критских простолюдинов и нахо-

---

[4] А. М. Кумани (1833—1897) — первый секретарь посольства в Константинополе.

[5] Е. Д. Игнатьева — мать Н. П. Игнатьева (посла России в Константинополе).

дил в них множество поэзии» (СС, VII, 349—350). Здесь же цитируется по памяти или по сохранившемуся черновику последняя глава, отброшенная М. Н. Катковым при публикации. Она была посвящена одежде и живописному облику критян, а также сопоставлению восточного и западного міра, представленному в таблице (СС, VII, 351—352).[6]

«Полгода в Крите, — вспоминал Леонтьев, — были каким-то очаровательным медовым месяцем моей службы; там я гулял по берегу морскому, мечтал под оливками, знакомился с поэтическими жителями прелестной этой страны, ездил по горам ⟨...⟩ Критская жизнь приезжему казалась тогда благоуханною эклогой, непостижимо, однако, грозящею перейти в кровавую народную драму, весенним ясным днем на заросшем цветами поле старых битв, виноградником веселым и мирным на краю утихшего на время вулкана...» (СС, IX, 265).

«Очерки Крита» можно рассматривать как «конспект» некоторых будущих произведений восточного цикла. Например, из журнальной редакции «Очерков» при подготовке издания 1876 г. автор исключил эпизод с похищением девочки горцем-сфакиотом (см. раздел «Варианты и разночтения»), но вскоре использовал его в повести «Сфакиот». Критское восстание 1866 г. так или иначе вспоминается во всех остальных повестях цикла. Некоторые произведения связаны упоминанием реальных обитателей Крита (Вели-паша, священник отец Хрисанф, Лигунис-бей, консулы). И наконец, именно в «Очерках Крита» Леонтьев обосновывает выбор, предопределивший его писательскую судьбу на целое десятилетие: *поэтические* люди и события «из жизни христиан в Турции».

Позднее Леонтьев вспоминал: «Я с радостью всегда встречал на Востоке всякую, даже неопрятную и очень бедную, лишь бы не европейскую одежду, и помнил еще живо тот сердечный отдых, какой почувствовал впервые на острове Сире, где в первый раз

---

[6] «Таблица ваша оригинальна, — писала об этой главе М. В. Леонтьева, — но мне кажется сравнения не все верны. — Слишком вы одной стороне приписываете много поэзии, а другую много обвиняете в пошлости. — Напр⟨имер⟩: сравнение старушки-отшельницы в пещере сталактитов с набожной немкой-булочницей, по-моему, резко. — Немка уж что-то очень каррикатурно выходит в сравнении с старушкой. — Старушка поэтическая картина, а немка — каррикатура. — Тут, мне кажется, даже сравнения не может быть» (РГАЛИ. Ф. 2980. Ед. хр. 1032. Л. 54).

после Петербурга, Вены и скучного Триеста увидал, наконец, на улицах толпу *не западную*, а какую-то для меня новую и приятную. В первый раз я в Сире увидал, что не всегда только театр может быть похож на жизнь; но есть еще места, где жизнь может походить на оперу или очень красивый балет... Так это весело, после всей этой казенщины XIX века!» (СС, IX, 244).

С. 9. *Халеппа* — селение на Крите, в котором находился дом русского консула; место действия повести Л. «Хризо»; упоминается Халеппа и в других восточных повестях.

С. 9. *Сфакиоты* — жители Сфакии, горной части Крита; потомки древних дорийцев. Ко времени жизни Л. на Крите в округе Сфакия было 27 деревень.

С. 9. *...портрет короля Георгия I...* — Георгиос I (1845—1913) король Греции с 1863 г.; в национальной политике ориентировался на Англию, что нередко осложняло отношения Греции с Россией.

С. 10. *Апокорониотика, систо, сиртo* — греческие танцы. Апокорониотика — от названия Апокорона (северо-восточный округ Крита); сиртос (другое название каламатианос) — старинный круговой танец. Систо — вероятно, то же, что суста, старинный священный воинский танец, созданный, по преданию, сыном Ахиллеса Пирром (отсюда другое его название — пиррийский танец[7]); позднее на Крите суста стала парным танцем с любовной темой. «...Сельские национальные танцы двух родов: плавный и быстрый. Плавный танец встречается вообще повсюду на острове; а быстрый — преимущественно в западных округах: последний называется суста. Этот танец очень похож на древнегреческий пиррихий (πυρρίχιος). Как в древности греки плясали пиррихий во всеоружии и во время пляски с удивительною ловкостию подбрасывали щиты и копья; так и теперь критяне выплясывают свою сусту в полном вооружении, ударяют ногу об ногу, ловко и высоко подпрыгивают вверх и делают разные телодвижения очень красиво и искусно» (*Пападаки Эммануил.* Остров Кандия. Несколько заметок кандиота о географии, истории и нынешнем состоянии острова. СПб., 1867. С. 58—59).

С. 11. *...Ахиллес и Парис пляшут с субретками!* — Персонажи греческой мифологии, герои троянской войны; субретка (гор-

---

[7] По другой версии, название «произошло от слова „пира" — костер, вокруг которого будто танцевал Ахилл при похоронах Патрокла» (*Худеков С. Н.* История танцев: В 4 ч. Ч. 1. СПб., 1913. С. 214).

ничная) для Л. — одна из характерных фигур пошло-буржуазного быта Европы.

С. 12. *...наш добрый отец Хрисанф...* — вероятно, имя реального критского священника; упоминается также в повести «Сфакиот».

С. 12. *...серебряные талеры...* — монета; вероятно, имеется в виду австрийский талер.

С. 12. *...был за это заперт в тюрьму...* — ср. упоминание об участи критского священника о. Анатолия в повести «Хризо» (С. 35).

С. 13. *...приятель мой Б.* — возможно, имеется в виду драгоман (переводчик) русского консульства на Крите, племянник консула С. И. Дендрино, Константин Иванович Булгаридис. Его письма Леонтьеву хранятся в ГЛМ (Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 94).

С. 13. *...с Ионических островов.* — Семь островов, расположенных вдоль западного побережья Пелопонесского полуострова; с 1816 г. находились под протекторатом Англии, территорией Греции стали в 1864 г.

С. 14. *Смирнский танец* — смирниотика; от названия города Смирна.

С. 16. *...и молодой человек отравился.* — Сходный эпизод Л. использовал позднее в повести «Сфакиот».

С. 16. *...в Канее случилось романтическое приключение.* — Канея — административный и торговый центр Крита; «приключение», описанное здесь, вспоминается в повести «Сфакиот».

С. 16. *Фустанелла* — греческая и албанская мужская одежда в виде юбки.

С. 18. *Во время войны за независимость...* — война греков за освобождение от турецкого завоевания (1821—1829).

С. 18. *...слово клефт ~ и у нас стало достоянием поэзии.* — Его употребил уже А. С. Пушкин в повести «Кирджали» (1834), внимание Л. оно привлекло скорее всего в «Новогреческих песнях» А. Н. Майкова: «Поцелуй» (1860), «Олимп и Киссав» (1860), «Сорок клефтов на зимовки...» (1862), а также в стихотворениях Н. Ф. Щербины «Девушка у Харона» (1854), «Клефты» (1840) и др. Поэтические, обрядовые, исторические, фольклорные, этнокультурные материалы в этих вещах, возможно, оказали некоторое влияние на Л. Слово «клефт», как писал Н. В. Берг, «значит первоначально вор, разбойник, но грек облагородил это слово во время войн за независимость...» (Песни разных народов. М., 1854. С. 181).

С. 18. *Капитан* — у греков «начальник дружины клефтов», как поясняет Н. Ф. Щербина в своих примечаниях к «Сценам из жизни греков» (1841).

С. 18. *...одно такое похищение наделало много шуму...* — этот эпизод стал основой повести Л. «Сфакиот».

С. 18. *Измаил-паша* — см. С. 666.

С. 18. *...при Вели-паше...* — генерал-губернатор Крита до восстания 1858 г.

С. 21. *Аба* — сукно.

С. 21. *...умолял нашего консула...* — русским консулом на Крите был в то время С. И. Дендрино.

С. 22. *...события последнего времени.* — Имеются в виду события, предшествующие критскому восстанию 1866 года.

С. 22. «*Les grands parleurs sont toujours des petits faiseurs*» — Большие говоруны всегда бывают маленькими деятелями (*фр.*).

С. 22. *Parleur* — говорун; *faiseur* — деятель (*фр.*).

С. 23. *Семь месяцев прожил я в Халеппе...* — Л. жил на Крите с декабря 1863 до июня 1864 г.

ХРИЗО

ПОВЕСТЬ ИЗ КРИТСКОЙ ЖИЗНИ

Автограф неизвестен.

Датируется 1864—1868 гг. (на основании воспоминаний М. В. Леонтьевой и автора).

Впервые: *РВ*. 1868. Т. LXXVI. № 7. С. 24—80. Подзаголовок: Рассказ из критской жизни.

Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в *ИЖХ* (Т. I. С. 23—96), *СС* (Т. II. С. 25—90).

Переиздавалось в 1897 г. в журнале «Читатель» (Кн. 20. С. 5—77).

Печатается по тексту *СС*.

29 февраля 1868 г. Леонтьев писал К. А. Губастову: «Отправил в Петербург роман из критской жизни, который будет продаваться в пользу критских семейств, и будет вероятно переведен по гречески. Меры приняты хорошие. Не знаю что будет» (*Сборник*. С. 198).

По воспоминаниям М. В. Леонтьевой, работа над этим произведением была начата на Крите.[8] «Еще на острове Крите, бывши там секретарем консульства, он под первым впечатлением Востока, — написал рассказ *Хризо* ; он был напечатан в Русском Вестнике. — Во время своего зимнего отпуска в Петербург он слышал похвалы этому рассказу» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 27).

Однако история публикации этого произведения была не так проста. В одном из писем (датируется по содержанию весной 1868 г.) М. В. Леонтьева обращалась к автору повести: «Я вижу, по тому что вы думаете поместить *Хризо* в От⟨ечественных⟩ Зап⟨исках⟩ — что вы не знаете, что редакция их совершенно изменилась. — Теперь на месте покойного Дудышкина — заправляют делами Некрасов и комп⟨ания⟩. — Поэтому вашу повесть не примут. — Есть тут новый и хороший журнал Вестник Европы. — Туда отправим и если не примут — то тогда в Русский Вестник — больше некуда. —

Об отдельной продаже теперь думать нечего, так как вы верно не захотите пускать книгу летом. А жаль, что вы немножко запоздали с нею. — Кандийский вопрос уже не в моде» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 110).

В следующем письме (30 июня) она объясняла, почему от повести отказался «Вестник Европы»: «В нем все *ученые* и *серьезные* статьи по разным предметам ⟨...⟩ а беллетристические вещи они печатают только подписанные известным именем» (Там же. Л. 106).

26 июня 1868 г. Леонтьев делился с Губастовым хорошими новостями: «Недавно я получил от Каткова телеграмму о том, что мой критский роман уже печатается; он послал мне также письмо с объяснениями на счет отдельного его издания, но я его еще не получил. Я не думаю, чтобы эти объяснения были отрицательные. Если же он не издаст отдельно, то в Одессе издадут в Греческом братстве» (*Сборник*. С. 202).

---

[8] Отразились в повести и некоторые адрианопольские впечатления. Так, одна из героинь повести — Ревекка (невестка банкира) — носит фамилию Нардеа. Адрианопольский ростовщик Соломон *Нардеа*, по словам Губастова, был главным кредитором Леонтьева (*Сборник*. С. 198); писатель упоминал о нем в «Моих воспоминаниях о Фракии». Кроме того, о «романе с еврейкой» шла речь в одном из писем Леонтьева к племяннице (см. ее ответное письмо от 30 июня— 2 июля 1868 г.: РГАЛИ. Ф. 2980. Ед. хр. 1032. Л. 109).

Телеграмма Каткова от 24 июня гласила: «Роман будет послан ускоренным письмом вместе с приложением для отдельного издания» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 144. Л. 2). Вскоре пришли новые известия: «Отдельное издание даст мало потребует много» (Там же. Л. 3). Об этом отказе Леонтьев писал Губастову 18 августа (*Сборник*. С. 203).

В письме Н. Н. Страхову от 26 декабря 1868 г. Леонтьев называет это произведение «ничтожной повестью» (речь, впрочем, идет исключительно о ее небольшом размере) и отмечает, что слышит похвалы ему от читателей.[9] Именно «Хризо» он считал лучшим произведением восточного цикла. Не случайно для перевода на греческий язык в 1889—1890 гг. им была предложена в первую очередь эта повесть.

С. 25. *Св. Стефан* — Сан-Стефано (Ешилькёй), город недалеко от Константинополя.

С. 26. *...к Св. Спиридону...* — т. е. к мощам св. Спиридона, епископа Тримифунтского (ок. 348 г.).

С. 26. *...до Сиры...* — Сира — один из Кикладских островов в Эгейском море.

С. 26. *Кандия* — одно из названий острова Крит, а также — другое название г. Ираклион, города-порта на Крите.

С. 27. *...повстанцы бьют русское войско...* — речь идет о польском восстании 1863 г.

С. 28.*«la societé»* — «общество» (*фр.*)

С. 29. *Внизу, в саду у моря...* — источник цитаты не установлен.

С. 30. *...из люстрина...* — Люстрин — шерстяная ткань с лоском (Даль).

С. 31. *Мегало-Кастро* — букв.: Большая крепость (*греч.*)

С. 31. *«Крафт-унд-Штофф»* — «Сила и материя», книга немецкого естествоиспытателя и философа Людвига Бюхнера (1824—1899), популярная в России в 1860-е гг.

С. 31. *...Кандию турки осаждали 25 лет...* — В 1645 г. турки завоевали города Канею и Рефимно; г. Кандию удалось взять в 1669 г. великому визирю Кеприли.

---

[9] В обозрении «Journal de St. Petersbourg» (1871. № 340. 31 dec. P. 2) говорилось о том, что первая восточная повесть Леонтьева произвела сенсацию.

С. 31. *...под стенами ее погиб герцог де-Бофор...* — Франсуа де Вандом, герцог Бофор, внук Генриха IV, был убит в 1669 г. в войне с турками.

С. 31. *«le roi de la Halle»* — «король Рынка» (*фр.*)

С. 31. *«la colonie européenne»* — «европейская колония» (*фр.*)

С. 31. *...чуть-чуть не обагрились кровью...* — Имеется в виду восстание 1858 года и события, описанные в повести «Хамид и Маноли».

С. 32. *...какие-то новые люди...* — возможная аллюзия на роман Чернышевского «Что делать?».

С. 33. *...в сады Серсепильи...* — оливковые рощи недалеко от Канеи.

С. 33.*...«la sainte alliance des peuples!»* — священный союз народов (*фр.*); историческая аллюзия на Священный Союз, заключенный Австрией, Пруссией и Россией в Париже 26 сентября 1815 г.; позднее к нему присоединилась Франция и другие государства.

С. 34. *...похищают их ночью с оружием в руках...* — подобное похищение учителя описано в повести «Сфакиот».

С. 37. *Все поли-кало́ и поли-кало...* — много-прекрасно (*греч.*)

С. 38. *Пиастр* — разменная монета в Турции, составляющая 1/100 лиры или 40 пара.

С. 38. *...в 21 году было в Крите восстание...* — В 1821 г. критяне участвовали в греческом освободительном движении; восстание было подавлено вице-королем Египта Мегметом-Али (1769—1849).

С. 38. *...в Рефимно...* — Рефимно (Ретимнис), город на Крите, центр 4 округов.

С. 38. *Инсургенты* — повстанцы.

С. 40. *Паликар* — мо́лодец.

С. 40. *Наргиле́* — кальян, восточный курительный прибор.

С. 41. *...от Суды (это бухта)...* — «залив Суда (Амфимальский) на северном берегу, почти в самой середине западной половины острова...» (*Пападаки Э.* Остров Кандия. СПб., 1867. С. 9).

С. 42. *...когда бездушный Меттерних оторвал нас от свободных братьев.* — Имеются в виду решения Адрианопольского мирного договора (1829), оставляющие Фессалию, Эпир, Самос и Кандию (Крит) частью Турецкой империи. Клеменс Венцель Лотарь Меттерних-Виннебург (1773—1859), князь — австрийский государственный деятель и дипломат.

С. 44. *...людей, чающих движения воды.* — Ср.: Ин. 5: 3.

С. 46. *Я слишком стара, чтобы только шутить...* — измененная цитата из «Фауста» Гете (Ч. I. Сцена «Рабочий кабинет Фауста»).

С. 48. *Кавасс* — охранник консула и других дипломатических агентов, а также высших турецких сановников.

С. 49. *Франки* — так в Турции и Греции называли европейцев-католиков.

С. 54. *...с одним купцом из Фессалии...* — прообразом этого героя мог быть неоднократно описанный Л. Хаджи-Кириаджи, см. подробнее прим. на с. 732—733; Фессалия — область на востоке Греции.

С. 54. *«la haute politique»* — «высокая политика» (*фр.*)

С. 54. *Je me recueille* — Я сосредоточиваюсь («собираюсь»); *«nous recueillir»* — «сосредоточиваться» (*фр.*). Аллюзия на слова кн. А. М. Горчакова «La Russie ne boude pas. La Russie se recueille» («Россия не дуется. Россия сосредоточивается») из циркулярной депеши в Российско-Императорские миссии от 21 августа 1856 г. (Греческие и неаполитанские дела // Сборник, изданный в память двадцатипятилетия управления министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова. 1856—1881. СПб., 1881. С. 5. 2 паг.).

С. 55. *Наваринская битва* — морское сражение между соединенными английским, французским и русским флотами и турецко-египетским флотом 20 октября 1827 г.

С. 55. *...уступка Ионических островов...* — Ионические острова были признаны республикой, находящейся под протекторатом Англии; управлял государством лорд-комиссар. См. также прим. на с. 722.

С. 57. *...в храме Св. Софии...* — Святая София — храм, построенный императором Юстинианом I Великим в 532—537 гг. на месте храма, существовавшего со времен св. Константина Великого (сгоревшего и отстроенного вновь в 415 г. при императоре Феодосии). После захвата Константинополя Св. София обращена мусульманами в мечеть.

С. 57. *Recueillez-vous! Recueillez-vous!* — Сосредоточивайтесь! Сосредоточивайтесь! (*фр.*)

С. 60. *О! мой длинный, острый меч...* — гимн, написанный поэтом Стефаном Канелисом. «Греческой марсельезой» чаще называли «Военный гимн» Ригаса Фереоса (см. прим. на с. 743).

С. 61. *à la Franca* — по-европейски (*фр., греч.*)

С. 61. *Adieu, mademoiselle!* — До свидания, сударыня! (*фр.*)

С. 62. *Гаремлык* — женская половина дома у турок.

С. 62. *Фередже́ и яшмак* — женская турецкая одежда; см. прим. Л. к повести «Пембе» на с. 112.

С. 64. *Ходжа* — человек, совершивший хадж, паломничество в Мекку или Медину.

С. 65. *Райя* — турецкий подданный — немусульманин; букв.: стадо (*тур.*).

С. 65. *...у Лигу́нис-бея...* — возможно, реальное лицо; упоминается также в повести «Сфакиот».

С. 65. *Конак* — дом, зд.: приемная.

С. 65. *Меджлис* — совещательное собрание, городской совет.

С. 65. *Арнауты* — турецкое название албанцев.

С. 66. *mon cher m-r Yorgaki* — мой дорогой господин Йоргаки (*фр.*)

С. 66. *Une fois que les femmes et les prêtres s'en mêlent, il n'y a pas de force qui y tienne.* — Когда вмешиваются женщины и священники, не в твоих силах что-либо сделать (*фр.*).

С. 66. *Il faut avouer cependant que ce diable de Hafouz n'a pas mauvais gout! Elle est charmante votre soeur!..* — Однако, надо признаться, у этого дьявола Хафуза неплохой вкус! Ваша сестра очаровательна!.. (*фр.*)

С. 67. *Муфти* (муфтий) — высшее духовное лицо у мусульман, имеющее право решать религиозно-юридические вопросы.

С. 67. *Et vous, m-r Yorgaki, vous allez bien aussi, j'espère?* — А вы, господин Йоргаки, вы тоже хорошо поживаете, надеюсь? (*фр.*)

С. 67. *Parfaitement bien, excellence...* — Вполне хорошо, ваше превосходительство... (*фр.*).

С. 67. *Драгоман* — переводчик.

С. 67. *...дервиш из секты ревущих...* — Ревущие (воющие; руфии) — исламская секта, участники которой в экстазе пляшут, кружатся с ревом, нанося себе раны.

С. 69. *...от неосторожного слова «гяур»...* — Начиная с середины 1850-х гг. турецкое правительство стремилось к достижению веротерпимости и равноправия подданных, принадлежащих к разным исповеданиям и конфессиям. В связи с этим произносить в присутственном месте оскорбительное для христиан слово было «неосторожным».

С. 69. *Деспо́т-эффенди* — обращение к православному епископу. Деспот — владыка.

С. 70. *И у патриархов было много жен...* — Имеются в виду ветхозаветные патриархи (у Иакова, напр., было две жены).

С. 71. *Ракú* — турецкая водка.

С. 72. *...кончила свою эпитимью...* — Эпитимья (епитимия) — покаянное правило, состоящее обычно из молитв, поклонов, поста, запрета на причастие на определенный срок.

С. 72. *...на пароходе Ллойда* — пароходе австрийской пароходной компании.

С. 73. *Кокона* — женщина, госпожа (о христианке) (*тур.*).

С. 73. *Мечеть султан-Ахмета* — Мечеть с шестью минаретами, построенная султаном Ахметом I, находится на Атмейдане (Мясной площади), бывшем Ипподроме.

С. 73. *Ай-София* — храм Св. Софии.

С. 74. *...о страшных днях Вели-паши...* — см. прим. на с.

С. 74. *Чубукчи* — слуга, подающий чубук. «Известно, что вельможи имеют у себя целый класс служителей, исключительно занятых смотрением за чубуками и состоящих под ведением одного *чубукчи-баши* » (*Базили К.* Босфор и Новые очерки Константинополя. Ч. I. СПб., 1836. С. 18).

С. 75. *...свободу веру менять.* — Имеется в виду великая грамота (гатти-шериф) султана, данная в 1856 г., в которой все подданные признавались равными и декларировалась возможность менять вероисповедание.

С. 75. *Каик* — лодка из букового дерева.

С. 75. *Кефалониты* — жители острова Кефалония, одного из Ионических островов.

С. 75. *Кандиоты* — жители Крита (Кандии).

С. 77. *...в тесной Пере...* — Пера — «европейский» и торговый район Стамбула.

С. 78. *Битва при Садовой* — сражение прусских и австрийских войск 3 июля 1866 г., в котором последние потерпели поражение.

С. 80. *...благородное воззвание к державам...* — Вероятно, имеется в виду «Мемуар о движении на острове Крите», поданный послам европейских держав греческим министром иностранных дел в августе 1866 г.

С. 80. *...битва на горах у Проснеро* — одно из первых сражений на Крите в августе 1866 г., в котором турки потерпели поражение

С. 81. *Зимвракаки* (Зимбракакис) — греческий министр обороны, возглавил один из отрядов во время критского восстания; Л. упоминает его также в статье «С Дуная» (1867).

С. 83. *Битва при Вафé...* — сражение 24 октября 1866 г., в котором восставшие потерпели поражение.

С. 83. *...наш молодой король* — Георгий I; см. прим. на с. 721.

С. 84. *Барба-Яни! ~ Спаси меня! Где ты?* — Реминисценция из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» («Батько! где ты? Слышишь ли ты?»; гл. XI). Барба — борода, бородач; турецкое обращение к пожилым грекам.

С. 85. *...настоящие османли...* — «природные» турки; в отличие от критских турок, ведущих происхождение от «потурчившихся» греков и часто не знающих турецкого языка. Название «османские турки» происходит от имени султана Османа, образовавшего первое турецкое государство в Вифинии.

С. 86. *...на вашей «Тамани»* — Пароход «Тамань» находился в распоряжении русского посольства в Константинополе и, по свидетельству современника Л., отличался «истинно черепашьим ходом» (*Скалон Д. А.* Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите Великого Князя Николая Николаевича в 1872 году» // *РВ*. 1876. Кн. 6. С. 524).

ПЕМБЕ

ПОВЕСТЬ ИЗ ЭПИРО-АЛБАНСКОЙ ЖИЗНИ

Автограф неизвестен.

Датируется 1869 г.

Впервые: *РВ*. 1869. Т. LXXXIII. Кн. 9. С. 166—218. Подзаголовок: Рассказ из эпиро-албанской жизни.

Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в *ИЖХ* (Т. I. С. 97—166), *СС* (Т. II. С. 91—152).

Печатается по тексту *СС*.

Зимой 1869 г. Леонтьев был назначен консулом в Янину. «Город этот совершенно турецкий; — вспоминала племянница писателя, М. В. Леонтьева, — лежит в долине, окружен горами, на к⟨ото⟩рых снеговые вершины не тают и среди лета; есть огромное озеро, на котором остров и крепость; на этом острове убит альбанцами христианами знаменитый в Альбании Али-Паша. Озеро по мнению жителей имеет очертание как бы двуглавого орла, что давало повод кавассам-грекам русского консульства строить предположения, что когда-нибудь это место будет принадлежать России. — ⟨...⟩ Улицы в городе совсем узкие; поэтому экипажей нет

⟨...⟩ Садов в городе нет; зелени почти не видно. При домах дворики внутренние; разводят там цветы, но обилия их нет. — Все дома с окнами, в к⟨ото⟩рых постоянно закрыты жалюзи ⟨...⟩ Мечетей несколько и с них в известные часы раздаются голоса мулл, призывающих на молитву. Есть кофейни турецкие ⟨...⟩ Дома не больше как в два этажа; некоторые пестро выкрашены. — Есть развалившиеся какие-то здания и на тех развалинах, которые повыше, аисты вьют гнезда ⟨...⟩ Церковь греческая одна и не особенно большая. — Все в ней мало благолепно» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 34—35). В этом городе Леонтьевым было создано несколько повестей из новогреческой жизни.

В письме к Н. Н. Страхову (июнь 1869 г.) Леонтьев, перечисляя свои «дела» в Янине, упоминает «повесть Каткову» и «*поэтические* отношения к одной 15-летней турецкой баядерке» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 11 об.). Речь здесь идет о работе над повестью «Пембе». В неопубликованных воспоминаниях М. В. Леонтьевой подробно описан эпизод, ставший «завязкой» будущей повести: встреча на еврейской свадьбе с пятнадцатилетней цыганкой-танцовщицой по имени Пэмбе.

«На свадьбе этой была музыка так называемых там *цыган*; только цыган на самом деле не было, а музыканты были родом и турки и греки; было их человека четыре; играли на флейте, скрипке, кларнете и в бубны. — Была еще при них лет 15-ти девочка, очень худая и бледная; мы долго не могли понять по выражению ее лица — юноша ли это был или девочка; — до того лицо ее было серьезно, почти мрачно. — Стала она танцовать ⟨...⟩ вся она как-то изгибалась как змейка и как-то по временам вздрагивала и как будто встряхивала всем своим худеньким станом. — Не скажу, чтобы мне нравилась эта манера танцовать, но, как новость, очень занимала. — Никто из присутствующих не мог дать себе отчета ясного, что это: цыганка, или цыганенок. — Дядю танцовщица очень заинтересовала более всего тем, что он, как и другие, предполагал, что это переодетый мальчик. — Через несколько дней Петраки (воспитанник дяди) розыскал квартиру этих музыкантов и узнал, что танцовщица — девочка-турчанка и зовут ее *Пэмбе*; кроме тетки — старой турчанки — она никого родных не имеет. — Она-то и дала К⟨онстантину⟩ Н⟨иколаеви⟩чу мысль написать повесть из греческой жизни, названную ее же именем *Пэмбе*. Не раз в продолжение лета музыканты с этой турчанкой играли у нас и она плясала; вообще ее танцы вошли в моду временно этим летом; кроме нашего дома — она и еще кое

у кого плясала в домах. — К нам же она раз или два приходила в гости, но уже с закрытым лицом, как настоящая турчанка. — ⟨...⟩ танцуя в нашем доме, она приобрела немало денег; а года через два — она сделала прекрасную партию: вышла за турецкого чиновника, служившего на телеграфе; лихорадка, изнурявшая ее отроческий организм, прошла, и к 17-ти годам она стала цветущей девушкой, пресчастливо зажила с своим мужем и, как говорили, постоянно молилась за дядю и за нас» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 25—27).

М. В. Леонтьева точна в своих воспоминаниях: замужество янинской танцовщицы состоялось действительно через два года после создания повести о ней. Леонтьев узнал об этом из письма секретаря консульства И. П. Крылова (16 мая 1871 г.): «Пембе больше не видима: вышла за телеграфчи замуж и сидит как подобает доброй турчанке, в гареме. И плясать бросила. Не много же, бедняга, выплясала. Ее сестры по ремеслу (танцев, извините, я не считаю искусством) побольше ногами добывали: голова Крестителя не мало стоила и Император Юстиниан ничего себе был «бугарска глава дебела». И в Петербурге до сих пор ногами добывают головы, хоть и далеко не такие «дебелые», но ничего, сносные» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 4 об.—5).

Эти же «поэтические отношения» к «турецкой баядерке» стали основой одной из сюжетных линий в романе «Одиссей Полихрониадес» (танцовщица Зельха).

Некоторые герои повести также появятся вновь в «Одиссее» (доктор Петропулаки — доктор Коэвино; Джимопуло — Хаджи-Хамамджи). Прототипом Петропулаки (Коэвино в «Одиссее»), вероятно, был янинский врач, о котором вспоминала М. В. Леонтьева: «Греки местные — бывали в праздничные дни у Консула; между ними были, конечно, люди не глупые, — но кроме местных интересов торговых, или политических, — они ничем не интересовались. Говорили все только по-гречески ⟨...⟩ только один Грек доктор, окончивший курс в Италии; в университете, знал французский язык, хотя говорил на нем плохо, но свободно. Он был уж не молод, — но человек не без воображения, фантазер и расположился к К⟨онстантину⟩ Н⟨иколаеви⟩чу и его семье. — Он довольно часто бывал у К⟨онстантина⟩ Н⟨иколаеви⟩ча; — они и расстались в добрых отношениях» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 36—37).

Прототипом Джимопуло (Хаджи-Хамамджи в «Одиссее») послужил фракийский негоциант Хаджи-Кириаджи (см. «Мои

воспоминания о Фракии»; *СС*, IX, 270).[10] В цитированном выше письме Крылова среди других янинских знакомых Леонтьева упомянут некий Януто Джимопуло (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 5). Араб, слуга Гайредин-бея, носит то же имя, что один из тульчинских кавассов Леонтьева — Юсуф (*СС*, IX, 326; *Сборник*. С. 197). Отзывы о нем встречаются в письмах секретаря консульства Н.О. Глизяна от 30 октября 1868 г. и 10 февраля 1871 г. «Юсуф ведет себя хорошо. Я снял с него фотографию в большом формате. Портрет удался хорошо и Арап-ага в восторге» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 40. Л. 1 об.). «Юсуф, по свойственной ему небрежности к своим обязанностям, постоянно оставляет дом днем и ночью на произвол судьбы» (Там же. Л. 6).

31 декабря 1871 г. в «Journal de S.-Petersburg» в обозрении «Русские журналы» упоминалась эта повесть, «в которой автор проявил новые черты своего таланта: тонкую наблюдательность и глубокое знание нравов и обычаев Востока» (№ 340. P. 2; перевод Л. В. Дмитриевой).

Еще в 1870 г. повесть была издана в Лейпциге в серии «Русская библиотека». Уже после выхода *ИЖХ* 13 апреля 1876 г. Леонтьев просил Губастова переслать письмо «Лейпцигскому издателю», имени которого он не знал (Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 35). 17 апреля 1876 г. писал: «...Узнайте *наверное имя* и адрес Лейцинского издателя *Пембе*. Я из Кудинова не спеша напишу ему» (Там же. Л. 38). Вероятно, он хотел просить о переводе «Пембе» на немецкий язык.

В 1883 г. повесть была издана в переводе на сербский (Пембе: Приповетка из епирско-арбанашскога живота. Београд, 1883). В 1903 г. Г. Фоустковой она была переведена на чешский язык и вышла в Праге.

С. 89. *Битолия* (Монастыр) — город в Западной Румелии.

С. 89. *Эпир* — область на западе Греции с центром в г. Янина.

С. 89. *...в городе Дéльвино...* — Дельфино, город в Эпире.

С. 91. *В сорок восьмом году восстала против султана вся южная Албания.* — Вероятно, имеется в виду восстание 1847—1848 гг., подавленное Омером-пашой.

---

[10] Хаджи-Кириаджи упомянут также в письме К. А. Губастова Леонтьеву от 12 октября 1868 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 48) и в письме И. А. Иванова от 14 декабря 1872 г. (Там же. Ед. хр. 129. Л. 5).

С. 91. *Аргирокастро* (Аргирион) — город в Албании, к северу от Дельвино.

С. 91. *Сераскир* — турецкий главнокомандующий, военный министр.

С. 91. *...в Берат, в Тепелен...* — города в Албании.

С. 91. *...в 52 году на войне против черногорцев.* — Имеется в виду подавление восстания в Черногории и Герцеговине в 1852—53 гг.

С. 92. *...держать Рамазан* — пост во время девятого месяца мусульманского лунного календаря (в месяц Рамазан был ниспослан Коран).

С. 92. *В 54 году, когда Гривас хотел освободить Эпир...* — Теодораки Гривас (1796—1863), греческий государственный деятель, участник освободительной войны 1821 г., член греческого народного собрания, генерал-инспектор армии; во время восстания Эпира против Турции в 1854 г. возглавил отряд, насчитывавший ок. 1500 человек, но вскоре потерпел поражение и бежал в Фессалию.

С. 92. *...с отрядом баши-бузуков принял участие в нападении Абди-паши на селение Коцильйо...* — баши-бузуки — иррегулярные части, набранные из вооруженной черни воинственных племен, использовавшиеся Турцией в войнах. Абди-паша — турецкий военачальник, черкес по происхождению, упоминается в «Турецких анекдотах» Садык-паши (М. С. Чайковского) (М., 1883).

С. 93. *Пушт* — педераст (*тур.*)

С. 97. *...делал сирийскую экспедицию...* — в 1860 г. французский корпус был послан в Сирию для наведения порядка после резни маронитов (христиан-сектантов), произведенной друзами и турками.

С. 97. *...надо видеть Фанни-Эльслер...* — Фанни Эльслер (настоящее имя Франциска; 1810—1878; по другим сведениям 1884, 1888), австрийская балерина; в 1848—51 гг. гастролировала в Петербурге и Москве.

С. 97. *Tandis que cette petite morveuse de Pembé me semble...* — Тогда как эта маленькая соплячка Пембе, мне кажется... (*фр.*)

С. 98. *Ah! la pauvrette! Elle est bien heureuse maintenant.* — Ах! бедняжка! Она очень счастлива теперь (*фр.*).

С. 98. *Vous le croyez?* — Вы полагаете? (*фр.*)

С. 99. *...«там юные девы будут глядеть скромными очами ~ Они будут подобны гиацинту и жемчугу»* — реминисценция из Корана (Сура 55, ст. 56—57).

С. 99. *Вилайет* — административно-территориальная единица в Турции с 1866 г.

С. 101. *Улемы* — исламские духовные наставники, окончившие медресе, образованные уважаемые люди, готовящиеся к гражданской или духовной службе; от «улама», ученые (*араб.*).

С. 101. *...Фуад и Аали-паша...* — Мегемед Фуад-паша (1814—1869), Мегемед-Эмин Аали-паша (1815—1871), турецкие государственные деятели. В описываемый Л. период Фуад-паша был министром иностранных дел, Аали-паша — великим визирем.

С. 102. *...имел ленты Св. Анны, Почетного Легиона и Меджидие...* — т. е. русский, французский и турецкий ордена. Аннинская лента — красная с желтой каймой; лента ордена Почетного Легиона, установленного в 1802 г., — красного цвета. Орден Меджидие был установлен султаном Абдул-Меджидом в 1852 г. Его лента была пурпурно-красной с зелеными полосками.

С. 103. *...когда султан Махмуд обагрил цареградские камни кровью великих янычар.* — Махмуд II (1784—1839), турецкий султан с 1808 г.; в 1820-е гг. задумал реформировать корпус янычар; встретив сопротивление с их стороны, объявил против них священную войну. В 1826 г. в Стамбуле были уничтожены тысячи янычар.

С. 104. *...а русского ~ принял с распростертыми объятиями...* — возможно, автобиографическая деталь; ср. с многочисленными упоминаниями о расположенности турецких пашей к русским дипломатам в мемуарных очерках Л.

С. 104. *Croyez moi, mon cher consul, qu'un russe et un turc s'entendrons toujours mieux entre eux qu'avec ces messieurs'là... Nous sommes plus larges, plus genereux, moins mesquins...* — Поверьте мне, мой дорогой консул, что русский и турок всегда лучше договорятся друг с другом, чем с этими господами... Мы более щедры, более великодушны, менее мелочны... (*фр.*)

С. 105. *Шейх-уль-ислам* — дословно «старейшина ислама» (*араб.*), почетный титул главы исламского духовенства.

С. 105. *Бекташи* — секта «нищенствующих» дервишей; бекташи были особенно близки турецким янычарам, многие из них были казнены в 1826 г.

С. 105. *Шииты* — от араб. «ши'а», представители одного из направлений в исламе, признающие за Али (двоюродным братом и зятем Мохаммеда) исключительное право на духовное и светское руководство в мусульманском міре.

С. 106. *Корфиот* — житель острова Корфу; об их особенностях см. в современном Л. очерке: *Молчанов А.* Остров Корфу // *РВ*. 1879. Кн. 4. С. 872.

С. 107. *Где ты? Где я? Огонь и кровь! О ужас!.. ~ Вонми!..* — источник цитаты не установлен.

С. 108. *Evviva!* — Да здравствует! (*итал.*)

С. 108. *Zito!* — Да здравствует! (*алб.*)

С. 110. *...не что иное, как древние пелазги.* — Пелазги — доисторический народ, населявший эллинскую территорию, в частности, Эпир; в «Илиаде» — союзники троянцев.

С. 111. *Несчастные критяне!* — Намек на критское восстание.

С. 113. *...на остров Янинского озера, где монастырь Св. Пантелеймона.* — Это место неоднократно упоминается в романе «Одиссей Полихрониадес».

С. 113. *...убит знаменитый Али-паша Янинский.* — Али-паша (ок. 1744—1822), правитель (с 1787) части Балканского полуострова, в 1820 г. восстал против турецкого султана Махмуда II и 1 февраля 1822 г. был предательски убит.

С. 116. *...под устцы...* — архаическое написание, ср.: Словарь языка А. С. Пушкина. Т. 4. М., 1961. С. 751.

С. 116. *Папас* — священник, от греч. πάππας, батюшка.

С. 117. *...он видит «как чорная мурашка чорной ночью ползет по чорному камню!»* — источник цитаты не установлен.

С. 118. *Аман! аман!* — Увы! увы! (*тур.*)

С. 120. *...в округе Аграфы показались клефты...* — Аграфа — округ, граничащий с Эпиром; клефты — см. прим. на с. 722.

С. 120. *...Пруссия, Америка и Россия решились изменить весь строй Европы.* — В 1866 г. Пруссия выиграла войну с Австрией и присоединила к себе Шлезвиг-Голштейн, Гессен-Гомбург, несколько Баварских округов и др.; с этого времени усиливается ее противостояние с Францией, приведшее в 1870 г. к войне; Россия в 1867 г. была готова к новой войне с Турцией; Америка в том же году приобрела у России Аляску, американские дипломаты начинали в это время все больше участвовать в европейской политике.

С. 120. *...в Корфу, во время префектората...* — т. е. до 1864 г., см. прим. на с. 722.

С. 121. *...у раки Св. Спиридона...* — см. прим. на с. 725.

С. 121. *Сеис* — конюх.

С. 123. *...в стороне Загор...* — Загоры — область Эпира.

С. 124. *Тескере* — документ (*тур.*); эд.: разрешение на проезд по стране, проходное свидетельство.

С. 124. *...мечтаний о «великой идее»* — греческая политическая доктрина, связанная с восстановлением независимости всех исторических греческих земель, захваченных Турцией и особой

ролью Греции в судьбе Европы; в широком смысле слова — мечта о восстановлении Византийской Империи.

С. 124. *...во мне течет кровь мильтиадов и аристидов!* — Мильтиад и Аристид — знаменитые афинские полководцы VI—V вв. до н.э.

С. 127. *...Сардин-девлет воюет!* — Имеется в виду участие в Восточной войне в 1854 г. Сардинского королевства (государства в Италии, занимающего Пьемонт и о. Сардинию).

С. 127. *...Фридрих был краль знаменитый...* — Фридрих II Великий (1712—1786), король Пруссии.

С. 128. *...арнаутской крови...* — т. е. албанка.

С. 128. *Кади* — судья шариатского суда.

С. 128. *Байрам* — мусульманский праздник: разговение после поста Рамазан.

С. 130. *...в хане...* — на постоялом дворе.

С. 132. *Замерзло озеро в Янине ~ Москов первый пошел...* — Здесь описан реальный эпизод, к которому Л. возвратится и в романе «Одиссей Полихрониадес».

С. 135. *...от Превезы и до Шкодры...* — т. е. по всей Албании; Превеза — город вблизи Янины, Шкодра (Шкодер) — город на озере Шкодер в Албании.

С. 135. *...к вали-паше...* — к губернатору.

С. 136. *à la Turca* — как турок (*фр.*, *греч.*)

С. 139. *Там наш пророк родился...* — речь идет о Мекке, месте рождения пророка Мохаммеда.

С. 142. *...церкви нашей даны права в первый день падения Византии самим султаном-Магометом-завоевателем* — султан Магомет II после завоевания Константинополя в 1453 г. даровал патриарху Геннадию Схоларию титул «милет-баши» (глава нации) и право заседать в диване.

С. 142. *Юз-баши* — сотник, воинская должность.

С. 144. *pese et vainc!* — взвешивает и побеждает! (*фр.*)

ХАМИД И МАНОЛИ

РАССКАЗ КРИТСКОЙ ГРЕЧАНКИ ОБ ИСТИННЫХ СОБЫТИЯХ 1858 ГОДА

Автограф неизвестен.
Датируется 1869 г.
Впервые: Заря. 1869. Кн. 11. С. 4—28.

Подпись: К. Леонтьев.
Вошло в *ИЖХ* (Т. II. С. 59—89), СС (Т. II. С. 153—179).
Печатается по тексту СС.

Повесть, основанная на критских впечатлениях Леонтьева, была написана в Янине. В июне 1869 г. Леонтьев сообщал редактору «Зари» Н. Н. Страхову о том, что осенью пришлет «Восточную повесть, где *героиней будет мальчик* и где прольется много крови» (РО РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 11 об.).

К событиям 1858 г. Леонтьев неоднократно возвращался в других произведениях.

С. 147. *...около Ханьи...* — Ханья — другое название г. Канеи.

С. 148. *Всем нашим девушкам царица...* — источник цитаты не установлен.

С. 150. *Я тебя убью, собака ты, Катерина!* — источник цитаты не установлен.

С. 152. *...из округа Селимно...* — Селимно (Селино), округ на юго-западе Крита.

С. 153. *...при султане Мураде...* — Мурад IV (1609—1640), султан, известный жестокостью и разгульным образом жизни.

С. 153. *...с Искендером-двурогим.* — с Александром Македонским.

С. 155. *Апостол Иаков сказал: «надо радоваться всякому горю и искушению. В горе и искушении терпенье человеческое видно»* — неточная цитата из Иак. 1: 2—3.

С. 156. *Поликандилья* — паникадило, многосвещник; люстра для храма.

С. 156. *... на остров Тинос...* — на этом острове Эгейского моря находится посещаемая тысячами паломников церковь Всесвятой Благовестницы (Παναγια Συαγγελιστρια) с чудотворным образом Божией Матери.

С. 156. *...поднялись на Вели-пашу...* — описывается начало волнений на Крите в 1858 г.

С. 157. *...задумал, как паша египетский, от султана особенно царствовать...* — Имеется в виду Мегмет-Али-паша (1769—1849), вице-король Египта, то воевавший с султаном, то помогающий ему в войнах.

С. 157. *...на острове Самосе князь Аристархи...* — Самос, один из главных островов Эгейского моря, около западного берега Малой Азии, с 1832 г. был вассальным княжеством, находящимся под охраной России, Франции и Англии. Князь-грек назначался Портой.

С. 157. *Чериго* — итальянское название острова Кифера, самого южного из Ионических островов.

С. 157. *...отечество Миноса...* — Минос, в греческой мифологии, сын Зевса и Европы, царь Крита.

С. 158. *Кафеджи́* — содержатель кофейни.

С. 158. *Меттерних ~ много грекам зла сделал!* — см. прим. на с. 726.

С. 158. *Димогеронтия* — совет старейшин.

С. 158. *...и апостол Павел сказал, что вы лжецы.* — Напоминая апостолу Титу о пороках критян, св. ап. Павел не сам обвиняет их в лживости, но приводит распространенное тогда мнение: «Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо» (Тит. 1: 12—13). Это мнение приписывалось полулегендарному критскому мудрецу Эпимениду (VII-VI вв. до н. э.).

С. 159. *Скило-франки* — собаки-французы (*греч.*).

С. 160. *Мораит* — житель Мореи, Пелопоннеса.

С. 162. *Маврогенни* — Маврогени, один из критских капитанов.

С. 162. *...в Киссамо...* — Киссамос (Киссам) — округ на северо-западе Крита.

С. 165. *...русского тогда у нас в Крите еще не было...* — Русское генеральное консульство на Крите появилось в 1861 году.

С. 166. *...все консулы, кроме английского...* — Английским консулом в это время был Диксон; он, действительно, был единственным дипломатом на Крите, вставшим на сторону турок.

С. 168. *...в Патрасе...* — Патры — город в Греции, на севере Пелопонесского полуострова.

С. 169. *Сами-паша* — возможно, Абдуррахман Сами-паша (1795—1878), турецкий государственный деятель.

С. 170. *Нашего маленького, маленького балованного...* — источник цитаты не установлен.

ПАЛИКАР КОСТАКИ

РАССКАЗ КАВАССА-СУЛИОТА

Автограф неизвестен.
Датируется 1870 г.
Впервые: *РВ*. 1870. Т. LXXXIX. Кн. 9. С. 219—261.
Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в *ИЖХ* (Т. II. С. 1—58), *СС* (Т. II. С. 180—231). Печатается по тексту *СС*.

12 марта 1870 г. Леонтьев писал Н. Н. Страхову: «...Скоро вы получите еще один маленький очерк из восточной жизни. — Катков платит мне по 100 рублей и еще дает вперед; но душа моя в «Заре» и я все-таки не забуду ее *моей милостью*» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 26 об.). Возможно, речь здесь идет о «Паликаре Костаки». Повесть, написанная в Янине, была послана все же не в «Зарю», а в «Русский вестник» Каткову. Поскольку публикация задерживалась, Леонтьев намеревался забрать рукопись и передать ее через племянницу в журнал «Заря». М. В. Леонтьева писала Страхову 8 октября 1870 г.: «...еще в Марте месяце дядя послал к Каткову, в Рус⟨ский⟩ Вес⟨тник⟩ восточную повесть *Поликар Костаки*. — У них с Катковым, как я вам кажется и говорила, были свои счеты; в уплату *чего-то*, право не знаю чего, дядя и послал ему эту повесть. — Повесть же с Марта месяца не помещена до сих пор. — Объяснить это ничем другим нельзя, как положительным нежеланием Каткова напечатать ее. — Быть может в ней много сочувствия Востоку, чего Катков, кажется, не любит. — Я этой повести не знаю, потому что она послана к нему помимо меня. — Но дело не в этом. — Повесть *полгода* не печатается, значит дядя имеет право требовать ее назад. — Писал он к Каткову о возвращении ее, прося объяснить причину ее непечатания, писала я к Каткову. — Катков не отвечает никому. ⟨...⟩ Вот потому-то я обращаюсь к вам, многоуважаемый Николай Николаевич, не знаете ли вы какой-нибудь дороги, не знакомы ли вы с кем-нибудь из его сотрудников, к которому можно было бы обратиться с просьбой о выручке повести. — Дядя хочет, чтоб эта повесть была помещена в Заре, но вот уж $1^1/_2$ месяца мы с ним стараемся выручить ее от Каткова, а все напрасно. — Как только я могла бы ее выручить, тотчас передала бы ее в редакцию Зари. — Вероятно, в конце Октября, или в начале Ноября дядя пришлет и еще что-нибудь в Зарю. — Посоветуйте, Николай Николаевич, что мне сделать, чтоб ее выручить. — Дяде из Турции еще трудней хлопотать об этом, чем мне здесь, да и он писал уж сколько раз об ней к Каткову. И никакого ответа» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 18. Л. 7—7а об.).

Один из персонажей повести, купец, ставший в финале тестем главного героя, в журнальной редакции носил имя Манулаки Сакелларио. Так звали драгомана адрианопольского консульства, с которым Леонтьев был в приятельских отношениях (полное

имя — Эммануил). «...Манолаки был политик даже до поэзии...» (СС, IX, 305). «Этот невзрачный, серолицый, сероглазый, приземистый фракиец Манолаки Сакелларио, всегда так скверно одетый, в домашнем быту своем, по правде сказать, злой и лукавый, был чрезвычайно даровит, верен и тверд в делах и политике. Положение его было скромное; поприще узкое; но способности его были удивительные» (Там же. С. 308).[11] Готовя отдельное издание повестей, автор изменил имя и фамилию этого героя. Сакелларио стал позднее прототипом драгомана Михалаки Канкеларио в романе «Египетский голубь».

С. 172. *Сулиот* — житель Сулии, горной части Эпира.

С. 172. *Акарнания* — западная окраина северной Греции.

С. 172. *Марко Боцарис был сулиот...* — Марко Боцарис (1789—1823), герой греческой освободительной войны.

С. 172. *...сестра его Еленко сражалась с турками...* — Речь идет о событиях 1823 г. Когда Али-паша, воевавший с сулиотами, обманом убил или захватил в плен всех мужчин Сулии, войну продолжили женщины под предводительством Елены Боцарис. Окруженные около горы Залонго, они умерли, танцуя и по очереди бросаясь с утеса.

С. 172. *Арта* — город недалеко от Янины.

С. 173. *Все капитанши, все черноглазые ~ И в руки турок живая не отдамся!* — источник цитаты не установлен.

С. 173. *...в долине Лакки...* — долина у Сулийских гор.

С. 173. *...тиран эпирский Али-паша хотел завоевать Сулию...* — Имеются в виду события 1820 г.; Марко Боцарис принимал участие в сражениях с войсками Али-паши.

С. 173. *...лорд один великий хвалит...* — Речь идет о Д.-Г. Байроне.

С. 173. *...игумен в монастыре Св. Илии, что в Зице...* — Монастырь близ Янины, в котором неоднократно бывал Л. «Часть лета 69-го года К⟨онстантин⟩ Н⟨иколаеви⟩ч с семьей проводил ⟨...⟩ в монастыре Зице. — От Янины он находился часах в 4-х—5-ти езды, конечно, медленной, ибо по горным дорогам рысью ехать нельзя. — Монастырь этот на высокой горе и местоположение его величаво-живописное. — Горы покрыты огромными платанами, грецким орехом; а по склонам виноградники. — В «Чайльд-Гарольде» Байроном описана Зица; он провел в ней несколько времени. — Почти столетний Игумен монастыря

[11] См. также: СС, IX, 260, 287.

рассказывал К⟨онстантину⟩ Н⟨иколаеви⟩чу о пребывании поэта в обители; кажется это было во время войны Греции за независимость в 30-м[12] году» (*Леонтьева М. В.* Янина // РГАЛИ. Ф. 2980 Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 37 об.).

С. 173. *...три дня гостил...* — Монастырь упоминается в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» (Песнь 2, строфы 48—52).

С. 173. *...в Миссалонге умер...* — Байрон умер 19 апреля 1824 г. в сулиотском селении Миссалонги.

С. 174. *...в своих сочинениях ~ хвалил сулиотов...* — ср. «Песнь к сулиотам» (1823) и «Паломничество Чайльд-Гарольда» (Песнь 2, строфа 72).

С. 177. *...яниоты или загорцы...* — жители г. Янины и округа Загоры.

С. 177. *...сала три ока...* — окка — мера веса, равная 1, 283 кг.

С. 179. *...был в 54 году в делах замешан...* — Имеется в виду восстание албанцев 1854 г.

С. 180. *...в Османли-девлете...* — в Турецком государстве.

С. 180. *...суд мехкеме...* — суд по Корану.

С. 182. *...ашик называется.* — Ашик (*тур.*) — влюбленный, возлюбленный; ср. повесть М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб».

С. 184. *Проснись и не спи, / Моя золотая канарейка!* — Источник не установлен.

С. 185. *...люди Гриваса...* — см. прим. на с. 734.

С. 189. *à la bracetta* — правильно: a braccetto — под руку (*итал.*)

С. 193. *Лаккиотка* — жительница долины (лакки) Сулии.

С. 195. *Ханджи* — содержатель хана, постоялого двора.

С. 202. *Каймакам* — от араб. каим-мака́м (наместник), правитель санджака (округа), подчиненный вали (губернатору), стоящему во главе вилайета.

С. 205. *...вздумали прошлого года турки эллинам объявить войну...* — Речь идет о событиях 1868 г., когда Греция активно поддерживала критских повстанцев; греческий посланник и греческие подданные были высланы из Стамбула, в Фессалии была сосредоточена армия Омера-паши, готовая к началу военных действий, Греция также начала приготовление к войне. На международной конференции в Париже в январе 1869 г., собравшейся для обсуждения «греческого вопроса», были поддержаны требования Порты.

---

[12] Должно быть: в 20-м году.

С. 219. *Рига Фере́ос* — Константинос Ригас Фереос (ок. 1757—1798), поэт, участник греческого освободительного движения, расстрелянный турецкими властями.

С. 219. *Лучше час один свободной жизни...* — строка из «Военного гимна» Ригаса Фереоса. Ср. с переводом М. Л. Михайлова: «Дохнуть и час свободой / Отрадней, чем в тюрьме / Прожить хоть полстолетья / В невольничьем ярме».

С. 219. *Номарх* — начальник округа. В 1833 г. Греция была поделена на 10 номов.

АСПАЗИЯ ЛАМПРИДИ

ГРЕЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Автограф неизвестен.

Датируется 1870 г. (по письму Н. Н. Страхову).

Впервые: *РВ*. 1871. Т. XCIII. Кн. 6. С. 739—773. Т. XCIV. Кн. 7. С. 144—183. Кн. 8. С. 427—469. Т. XCV. Кн. 9. С. 72—99.

Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в *ИЖХ* (Т. I. С. 167—353), *СС* (Т. II. С. 232—399).[13]

Печатается по тексту *СС*.

Повесть написана в Янине; Леонтьев предполагал напечатать ее в «Заре»[14], но переменил свое решение. «...Не послал я ее в *сочувственную* Зарю, — объснял он С. А. Юрьеву, — потому что редакция ее нестерпима по личному составу. — Кашпирев очень глуп и ничего не понимает; а Страхов, который у них единственный даровитый человек, невыносимо вял, слаб и робок. — Они утомили меня и проволочками и неаккуратностью и неумением исполнять свой нравственный долг относительно людей, ко-

---

[13] Сокращенный пересказ повести опубликован в журнале «Нева» (1912. № 1. Стлб. 9—66).

[14] «Мы с нетерпением ждем Вашей повести, а почему бы в следующем году Вам не явиться и с большим романом?» — писал Леонтьеву в сентябре 1870 г. Н. Н. Страхов (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 233. Л. 8).

торые им сочувствуют и нашли бы 1000 средств сделать пользу их направлению» (РГАЛИ. Ф. 636. Оп. 1. Ед. хр. 319. Л. 2 об.—3). «Аспазия Ламприди» упоминается в письме Страхову от 19 ноября 1870 г.: «...на будущей неделе посылаю не вам, а Каткову в награду за его со мной рыцарство и потому, что я уверен, он скорей «Зари» сделает для меня добро...» (РО РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 37 об.—38).

Первый отзыв о повести, подписанный S. N., появился в газете «Journal de St. Petersburg». В письме М. В. Леонтьевой от 8 января 1872 названа фамилия его автора — Николаевский. «...Он мне подал газету с тем, чтобы я переслала тебе. — Я вырезала тебе его отзыв о твоих повестях. — Конечно вовсе не серьезный отзыв, — но ведь и писал не критик. По моему, он все-таки справедливее всех молчащих до сих пор» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 172. Л. 2).

По мнению рецензента, повесть Леонтьева, «имеет полное право именоваться романом по обширности замысла и по успеху его исполнения». Особенно выделена в рецензии «глубокая политическая идея» произведения. Недостатками повести автор отзыва считал неполную обрисовку женских характеров и «неточное» название: «Аспазия Ламприди не является героиней повести, более подошло бы для названия имя действительного героя, Алкивиада» (Journal de St. Petersburg. 1871. № 340. 31 dec.).[15]

Более серьезный недостаток был отмечен Вс. С. Соловьевым в отзыве на *ИЖХ*: «...Автор оказывается как бы подавленным изобилием материала, хранящегося в его памяти. Отсюда происходит масса вводных эпизодов, мешающих цельности повествования и надолго прерывающих движение основной поэмы. Это особенно заметно в большой повести «Аспазия Ламприди», представляющей яркий калейдоскоп всевозможных картин и сцен». Правда, оговаривался критик, «каждый вводный и эпизод и сцена постоянно интересны сами по себе и служат прекрасным дополнением к широкой картине местной жизни, рисуемой автором» (Русский мір. 1876. № 112. 25 апр. С. 2).

«Политическая» идея «Аспазии Ламприди» обратила на себя внимание некоторых представителей дипломатического корпуса. В одном из писем Т. И. Филиппову Леонтьев приводил отзыв бар. А. Г. Жомини, «который говорил, что из 200 консульских донесений меньше понял политическое настроение Греческой среды в 70-х годах, чем из одной «Аспазии»...» (РГАЛИ. Ф. 2980.

[15] Перевод Л. В. Дмитриевой.

Оп. 1. Ед. хр. 1024. Л. 121. Машинописная копия). Об этом же он писал в 1887 г. в «Списке сочинений К. Леонтьева...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 7).

С. 220. ...*красных мундиров*... — т. е. английских войск.

С. 220. ...*свирепых людей*... — турок.

С. 221. *Пол-óвола* — мелкая монета.

С. 222. ...*об избрании Альфреда*... — Эрнест Альберт Альфред (1844—1900), герцог Эдинбургский, сын королевы Виктории, в 1862 г. был избран королем Греции, но отклонил корону; в 1874 г. вступил в брак с Великой Княгиней Марией Александровной.

С. 222. ...*о присоединении к Элладе семи островов*. — Речь идет об Ионических островах. См. прим. на с. 722.

С. 222. ...*заслуг Каннинга ~ Наваринскую битву*... — Джордж Каннинг (1770—1827), английский государственный деятель; в 1807—1809 и с 1822 г. — министр иностранных дел. См. также прим. на с. 727.

С. 222. ...*дело жида Пачифико*... — В 1832 г. Греция должна была выплатить Турции за Акарнанию 40 млн. пиастров и заключила заем, большую часть которого взяли на себя державы-поручительницы; в 1844 г. Англия требовала уплаты процентов по этому долгу, Греции удалось добиться отсрочки. В январе 1850 г., когда международные отношения обострились в связи с конфликтом Австрии и Турции (после «венгерских беспорядков»), Англия вновь «вспомнила» о греческом долге и направила эскадру к Афинам. Одним из требований было возмещение убытков, понесенных английским подданным, португальским евреем Пачифико (его дом был поврежден). Греческое правительство ответило отказом, что привело к блокаде греческих гаваней, снятой под давлением других стран лишь через месяц. В 1851 г. специальная комиссия выяснила, что Пачифико имеет право на вознаграждение не больше 150 фунтов стерлингов. Этот эпизод мог быть одним из поводов к войне.

С. 222. ...*смерть Каподистрии*... — Иоаннис Каподистрия (1776—1831), граф, российский дипломат, греческий государственный деятель, первый президент Греции (с 1827 г.)., был убит 9 октября 1831 г. Георгом и Константином Мавромихали.

С. 222. ...*севастопольский погром* — взятие Севастополя во время Восточной войны союзными войсками.

С. 223. ...*вагабонда-Наполеона*... — Имеется в виду император Франции Наполеон III (1808—1873).

С. 223. *...варвара Агу...* — т. е. турецкого султана; с 1861 г. правил султан Абдул-Азис (1830—1876).

С. 223. *Долгое занятие островов русскими войсками...* — В 1797 г. остров был захвачен французскими войсками. Во время Средиземноморского похода в ноябре 1798 г. крепость была осаждена русскими войсками и в феврале 1799 г. сдалась.

С. 223. *Имена Ушакова и других генералов...* — Федор Федорович Ушаков (1744—1817), адмирал, один из создателей Черноморского флота, одержавший ряд побед в русско-турецкой войне.

С. 223. *Русские учредили епископскую кафедру в Корфу.* — Митрополия на Корфу была восстановлена в апреле 1799 г.

С. 223. *...не венецианцы.* — Ионические острова в XIV—XVIII вв. принадлежали Венеции.

С. 225. *...предсказания «Агафангела»...* — книга пророчеств, выпущенная монахом Феоклитом Полиидом (1750).

С. 226. *...вести о поражении французов.* — Речь идет о событиях франко-прусской войны 1870—1871 гг.

С. 226. *Бисмарк* — Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен Бисмарк (1815—1898), князь, первый рейхсканцлер германской империи.

С. 226. *Наша Ольга...* — королева эллинов Ольга (Великая Княгиня Ольга Константиновна; 1851—1926), супруга короля Георга I (с 1867 г.).

С. 227. *...с кавалерским крестом Спасителя...* — Орден Спасителя установлен королем Оттоном I в 1833 г. в память освобождения Греции. Он представляет собой восьмиконечный белый эмалированный крест с изображением в центре Спасителя и королевской короны на фоне венка из дубовых и лавровых листьев.

С. 228. *...при королеве Амалии...* — Амалия (урожд. принцесса Ольденбургская) (1818—1876), супруга короля Греции Оттона I Баварского (с 1836 г.).

С. 229. *Бобелина* (Боболина) — героиня освободительной войны греков 1821 г., снарядила на свои средства три судна, командовала кораблем при блокаде Навплии, погибла в 1825 г.

С. 229. *...разбить глиняные ноги этого мрачного кумира...* — образ из книги пророка Даниила (Дан. 2: 33).

С. 231. *...в движении против короля Оттона...* — Оттон I Баварский (1815—1867), король Греции с 1832 г., был низложен в 1862 г.

С. 231. *...оправдывал Мавромихали...* — убийцу гр. Каподистрии; см. прим. на с. 745.

С. 231. *...название русской батареи, направленной против Турции и Европы.* — В романе «Одиссей Полихрониадес» Л. вновь приводит эти слова Г. Д. Т. Пальмерстона (1784—1864), британского министра иностранных дел.

С. 232. *...о «великой идее»...* — см. прим. на с. 736—737.

С. 232. *Фемистокл* (ок. 525 — ок. 460 до н.э.) — афинский полководец.

С. 232. *Каир* — Феофил Каирис (Кайра) (1784—1853), греческий философ, создатель системы «теосевизма». Л. упоминает его в статье «Плоды национальных движений на православном Востоке».

С. 233. *...мрачным Ариманом Севера...* — речь идет о России; Ариман (Ахриман) — в зороастризме верховное божество тьмы и первоисточник зла.

С. 234. *Мисолонги* — см. прим. на с. 742.

С. 238. *le milieu* — среда (*фр.*)

С. 238. *Dixi!* — Я сказал! (*лат.*)

С. 238. *La jeunesse est un défaut dont on se corrige bien vite.* — Юность это недостаток, который исправляется очень быстро (*фр.*). Сходный афоризм приписывается американскому дипломату, поэту и публицисту Джеймсу Расселу Лоуэллу (1819—1891). См.: Афоризмы по иностранным источникам. 3-е изд.; перераб. М., 1985. С. 385.

С. 243. *Рапеза* — город в Албании.

С. 247. *Таким* — сервиз (*тур.*).

С. 248. *Фирман* — указ султана.

С. 251. *...жалкий европеец...* — примененное здесь к европейскому консулу, это выражение напоминает о столкновении Л. с французским дипломатом Дерше; за оскорбительные слова о России последний также был назван «жалким европейцем». См.: *Сборник.* С. 61—62.

С. 251. *...во времена Гриваса...* — см. прим. на с. 734.

С. 251. *...славную Пету, где покоятся кости филэллинов* — Филэллинское движение — агитация в литературе и обществе Западной Европы в пользу освобождения Эллады от турецкого владычества. Филэллинские союзы собирали денежные пожертвования и отправляли в Грецию добровольцев. В сражении при Пете 16 июля 1826 г. был разгромлен филэллинский отряд под командованием генерала Нормана Эренфельса.

С. 251. *...на развалины Никополя...* — Никополь — древний город на южной оконечности Эпира.

С. 252. *...Превезу посетил австрийский император.* — Император Франц-Иосиф I (1830—1916).

С. 252. *Пилав* — плов.

С. 254. *...едет к нам из Корфу Великий Князь Константин.* — Великий Князь Константин Николаевич (1827—1892).

С. 254. *Славяне и панславизм — самые опасные враги наши.* — Этим распространенным в Греции того времени воззрениям посвящены статьи Л. «Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне».

С. 255. *Хахан* (хахам) — титул раввина у восточных евреев.

С. 258. *Мыс Акциум* — мыс на северо-западном берегу Акарнании, около которого 2 сентября 31 г. до н. э. произошло морское сражение между Октавианом, с одной стороны, и Марком Антонием и Клеопатрой, с другой. В память о победе Октавиан основал напротив мыса Акциум город Никополь.

С. 258. *...принес парфянскому царю голову Красса, разбитого Суреной...* — Марк Лициний Красс (ок. 115—53 до н. э.), римский полководец, погибший во время войны с парфянами. Князь Сурена — великий визирь парфянского царя Орода.

С. 258. *...с царем армянским...* — царь Атавазд, перешедший на сторону парвян.

С. 258. *...трагедию Эврипида* — согласно описанию Плутарха, это была трагедия «Вакханки».

С. 259. *«О, прекрасная Греция! ~ ограбленной могилы!»* — переложение строф 73, 92 и 93 из второй песни поэмы Д. Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». Возможно Л. пользовался здесь французским прозаическим переводом A. Pichot, который был у него в Янине (см.: *Леонтьева М. В.* Янина // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 19 об.).См.: Oeuvres de Lord Byron, traduction de M. Amédée Pichot. Vol. I. Paris, 1830. P. 174, 181.

С. 264. *...для твоего хатыра...* — из уважения к тебе, тебе в угоду; хатыр — уважение, почтение (*тур.*).

С. 266. *...у гегов в северной Албании...* — Геги — одна из двух главных групп албанцев, сформировавшихся во второй половине XVIII — начале XIX в.; от названия области Гэгерия на севере Албании, от границы с Боснией и Черногорией до Берата.

С. 266. *...с Аали-пашой...* — см. прим. на с. 735.

С. 269. *Приехал в Константинополь Великий Князь Константин, нашей Ольги отец...* — Великий Князь Константин Николаевич прибыл в Константинополь 25 мая 1859 г. во время своего большого заграничного путешествия 1858—1859 гг.; первый раз он был в Константинополе летом 1845 г. в 17-летнем возрасте. Торжественный прием, оказанный ему в турецкой столи-

це, Великий Князь описал в письме своему брату, Императору Александру II (Российский Архив. История отечества в свидетельствах и документах. II—III. М., 1992. С. 206—207).

С. 273. *...доходы «преклоненных» монастырей, да бесчеловечный Куза ~ посягнул на эту собственность...* — «Преклоненными» назывались монастыри, находящиеся в зависимости от какого-нибудь большого монастыря или епархии; Александр-Иоанн I (Александру Йоан Куза) (1820—1873), князь, господарь соединенных княжеств Молдавии и Валахии в 1859—1862 гг., Румынии в 1862—1866 гг. В 1864—65 гг. он решил конфисковать приписанные к греческим монастырям имения.

С. 274. *...болгарский вопрос...* — греко-болгарские церковные нестроения, приведшие к самовольному отделению Болгарской Церкви от Вселенской патриархии. Подробнее см.: *Косик В. И., Кремнев Г. Б.* Греко-болгарский вопрос // *Леонтьев К. Н.* Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 793—794.

С. 276. *«Первые будут последними и последние будут первыми»* — Мф. 20: 16; Лк. 13: 30.

С. 278. *Три птички малые сидят на старом мосте...* — ср. с песней «Смерть Кицоса Боцариса» (Chants populaires de la Gréce moderne... par C. Fauriel. Paris, 1824—1825. T. 2. P. 345), песней «Сулийские войны», переведенной Н. В. Бергом (Песни разных народов. М., 1854. С. 187—189) и «Цавелихой» А. Н. Майкова (1860).

С. 281. *...с нимфой Эгерией, которая учила мудрости Нуму Помпилия.* — Эгерия — в римской мифологии пророчица, нимфа ручья, из которого весталки черпали воду для храма Весты. Нума Помпилий — второй царь Древнего Рима.

С. 281. *Перикл* (ок. 490—429 до н. э.) — афинский полководец и законодатель.

С. 281. *Демосфен* (ок. 384—322 до н. э.) — афинский ритор.

С. 281. *Леонид Спартанский* (508/507 —480 до н. э.) — царь Спарты, погибший в сражении у Фермопил.

С. 282. *...паросский мрамор* — с Пароса, одного из Кикладских островов.

С. 286. *...про сына его Латхтара и любовницу его Евфросинию...* — правильно: Мухтар (ошибка была исправлена Л. в романе «Одиссей Полихрониадес»); об этой истории см.: Характер и жизнь Али-Паши // Вестник Европы. 1817. Ч. 93. № 12. С. 293—294; *Феоктистов Е.* Борьба Греции за независимость. СПб., 1863. С. 16—17.

С. 289. *...Парасхо, Саломо, Суццо, Рангави...* — Ахиллес Парасхо (1838—1895), граф Дионисий Соломос (1798—1857),

Панагиотис Сутцо (1796—1868), Александр Сутцо (1803—1863) и Александр Ризо Рангавис (1809—1892) — новогреческие поэты-романтики.

С. 289. *Женщины все жалуются...* — источник цитаты не установлен.

С. 289. *...греческого перевода «Павла и Виргинии»...* — роман Жака Анри Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814) «Поль и Виргиния» (1787).

С. 290. *...до мужества Леонида, до изящества Алкивиада?* — Леонид — см. прим. на с. 749; Алкивиад (ок. 450—404 до н.э.) — афинский полководец, перешедший позднее на сторону Спарты. Леонид Спартанский и Алкивиад принадлежали к наиболее любимым историческим персонажам Леонтьева.

С. 290. *...как Демосфен противился Филиппу...* — Демосфен призывал греков бороться против македонского царя Филиппа II (отсюда — «филиппики»).

С. 290. *...Саламин озарялся вечною славой...* — в 480 г. до н. э. около острова Саламин в Эгейском море был разгромлен персидский флот.

С. 290. *...Константин Палеолог умирал...* — Константин XI (1403—1453), последний византийский император, погибший при обороне Константинополя от турок.

С. 290. *Ипсиланти, Караискаки, Миаули...* — князь Александр Ипсиланти (1792—1828), находился на русской службе, участвовал в войне 1812 г., в 1817 г. стал генерал-майором русской армии; в 1821 г. возглавил восстание в Дунайских княжествах, ставшее началом освободительной войны. Димитрий Ипсиланти (1793—1832), офицер русской армии, в 1822 г. был избран председателем Законодательного корпуса Греции; с 1828 г. — главнокомандующий войсками Восточной Греции. Георгиос Караискакис (ок. 1780—1827), участник освободительной войны, с 1826 г. — главнокомандующий войсками континентальной Греции. Андреас-Вокос Миаулис (1768 или 1772 —1835), участник освободительной войны; адмирал Греции.

С. 292. *Петр Бонапарте оправдан!* — Пьер-Наполеон, принц де Канино (1815—1881), племянник Наполеона I, находился в 1870 г. под судом за убийство на дуэли журналиста Виктора Нуара и был оправдан.

С. 293. *«Небесный твой взгляд как магнит...»* — источник цитаты не установлен.

С. 293. *«Не плачь, прекрасная девушка!..»* — эта новогреческая песня была использована Л. и в повести «Исповедь мужа».

С. 294. *Сафо бросилась с Левкодского утеса...* — о. Левкас (Лефкас) в Ионическом море; здесь, по преданию, бросилась в море поэтесса Сапфо (VII—VI вв. до н. э.).

С. 300. *...нашему аге...* — т. е. султану.

С. 300. *...в 29 году и поближе приходил взглянуть на друга...* — Речь идет о русско-турецкой войне 1828—1829 гг., когда русские войска взяли Эрзерум, Карс, Эдирне (Адрианополь), одержали ряд побед в Болгарии и подошли к Константинополю.

С. 303. *Фукидид* (ок. 460—400 до н. э.) — древнегреческий историк.

С. 306. *Султан Махмуд* — Махмуд II; см. прим. на с. 735.

С. 306. *...Фуад покойный...* — Фуад-паша; см. прим. на с. 735.

С. 308. *Гионни-Лекка* — см. прим. Л. на с. 91.

С. 311. *Хидудье* — пограничное войско.

С. 321. *«Она белокурая и черноглазая»* — эту же песню Л. приводит в повести «Хризо» и в романе «Одиссей Полихрониадес».

С. 323. *...поклоненный разбойник Сотирий...* — имя и первоначальный «род занятий» этого героя напоминают о реальном лице, описанном в очерке Л. «Разбойник Сотири» (Нива. 1884. № 19—21).

С. 330. *...селение Врадетто...* — селение недалеко от Янины.

С. 330....*ущелье Монодендри...* — селение Монодендри находилось недалеко от Янины.

С. 331. *Марко Боцарис* — см. прим. на с. 741.

С. 331. *...мирный эпирот Зосима...* — О шести братьях Зосима (Зосимас), уроженцах Янины, известных жертвователей на училища и храмы (XVIII в.) см.: *Стурдза А. С.* Евгений Булгарис и Никифор Феотокис, предтечи умственного и политического пробуждения греков. М., 1844. С. 14—15. Наиболее известен из них Николай Зосимас, скончавшийся в Нежине в 1842 г. (*Николау Н. Г.* Греция: Лингво-страноведческий словарь. М., 1995. С. 117; Река времен. Кн. 4. Русский провинциальный некрополь. М., 1996. С. 157). В Янине существовала школа имени братьев Зосима.

С. 332. *Едино стадо и един пастырь!* — Ин. 10: 16.

С. 334. *...похоронила с почетом в Одессе тело патриарха Григория...* — Константинопольский патриарх Григорий V (в миру Георгий Ангелопулос) (ок. 1745—1821), подозреваемый в сношениях с восставшими греками, был низложен в первый день Пасхи и 22 апреля 1821 г. повешен на воротах патриархии в полном архиерейском облачении, с ним было казнено три митрополита. После поруганий его тело было брошено в море, затем обнаружено моряками, привезено в Одессу, где покоилось до перенесения в Афины (1871).

С. 334. *...в первый раз въезжал русский консул в Эпир.* — Русским консулом в Янине с 1862 г. был Александр Семенович Ионин (1837—1900).

С. 335. *Пинд* — горная система в Греции.

С. 335. *Меццовский* — Мецца — название албанской части Пинда, здесь находится город Мецов.

С. 341. *Тескере* — см. прим. на с. 736.

С. 342. *...гробом Али, Магометова зятя.* — Али — двоюродный брат, приемный сын и зять Мухаммада, особо почитаемый шиитами, последователями «партии Али»; далее у Л. речь идет об албанской секте, в которой Али признавался не только святым, но земным воплощением Бога.

С. 342. *Арнауты-бекташи* — см. прим. на с. 735.

С. 345. *...анатолийских турок...* — из южной Турции, около г. Антальи (Анатолии).

С. 349. *caro mio* — мой дорогой (*итал.*)

С. 359. *Намаз* — молитва, мусульманский религиозный обряд (*араб.*).

С. 364. *Грозили ссылкой в Виддин...* — Видин — город в Болгарии, на Дунае.

С. 368. *...с параманой монастырской.* — старицей, помогающей вести хозяйство в монастыре.

С. 371. *Хюкумат* — тюрьма (*тур.*).

С. 375. *Амвракийский залив* — Амвракиос, Артский залив — залив Ионического моря у западного берега Греции.

С. 378. *...об ужасном для всей Греции событии при Марафонском поле.* — Имеется в виду убийство разбойниками из шайки Тако Арванитаки секретарей английского и итальянского посольств; об этом событии Л. вспоминал в очерке «Разбойник Сотири» (Нива. 1884. № 19. С. 447). Марафонское поле — место сражения 12 августа 490 г. до н. э., в котором греки одержали победу над персами.

КАПИТАН ИЛИА

РАССКАЗ ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Автограф неизвестен.

Датируется 1874 г.

Впервые: *МВ*. 1875. № 114. 7 мая. С. 4—5. № 115. 8 мая. С. 5.

Подпись: Н.
Вошло в *ИЖХ* (Т. II. С. 91—115), *СС* (Т. II. С. 400—422). Печатается по тексту *СС*.

16 июля 1875 г. Леонтьев писал кн. К. Д. Гагарину: «*Одиссей* — вы знаете, печатается в Русск⟨ом⟩ Вестнике. — Маленький очерк мой Греческий *Капитан Илиа* — вы вероятно прочли в Московских Ведомостях зимою» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 7). Именно это указание, несмотря на небольшую неточность, помогло выявить для настоящего издания первую публикацию рассказа.

Очевидно, об этом очерке идет речь в письме И. Ф. Красковскому от 7 декабря 1874 г.: «Посылаю небольшой очерк для *Газеты*. — Но предупреждаю, что он писан нарочно для денег. — У меня нет их вовсе; — а они нужны ⟨...⟩ попросите Павла Михайловича и Воскобойникова, чтобы *Очерк* сейчас бы напечатали ⟨...⟩ я уже говорил и П. М. Леонтьеву и самому Г. Каткову, что такие мелкие вещи мне необходимо печатать от времени до времени для первых нужд за *чистые деньги*» (ОР РГБ. Ф. 141. К. 1. Д. 21. Л. 3—4).

В 1875 г. Ф. Н. Берг писал: «Капитан Илиа — прелесть!» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 40). Возможно, об этом рассказе говорится в письме Берга от 13 июля 1875 г. (в это время готовилось отдельное издание восточных повестей Леонтьева): «Простите то, что я Вам напишу — мне казалось бы необходимым начало Вашего рассказа несколько изменить, устранив сценическую форму, в которой я его читал в отдельных главах в №№ газеты. Эта форма будет непонятна и поразит странно. Если же Вы находите, что это вздор, то как хотите — пусть я это и не говорил» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр.. 86. Л. 9).

В сентябре 1883 г. Берг вспоминал о понравившемся ему когда-то рассказе: «Не выйдет ли у вас для «Нивы» небольшой очерк вроде «Капитана Илии», теперь именно это было бы нам с руки» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 14).

С. 381. *...в Виотии...* — Беотия, область Греции с центром в городе Фивы.

С. 386. *Харан* — имя языческого Харона используется в значении «смерть».

С. 388. *Тодораки Гривас* — см. прим. на с. 734.

С. 390. *...«о Джаке»...* — источник не установлен.

С. 390. *...о том как две горы ~ спорят...* — Песня «Олимп и Киссав» переводилась на русский язык Н. И. Гнедичем (под названием «Олимп»), Н. В. Бергом и А. Н. Майковым.

С. 390. *Киссам (древняя Осса)* — другое название Пелеон, гора в Греции.

С. 390. *Керкира* — другое название о. Корфу, одного из Ионических островов.

С. 390. *Как ветер лист увядший, пожелтелый...* — Источник цитаты не установлен.

ДИТЯ ДУШИ

Автограф неизвестен.

Датируется 1875 г.

Впервые: *РВ*. 1876. Т. CXXIII. Кн. 6. С. 571—645. Т. CXXIV. Кн. 7. С. 197—271.

Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в *ИЖХ* (Т. III. С. 260—422), *СС* (Т. III. С. 127—271).

Переиздавалось: *Леонтьев К.* Египетский голубь. Дитя души. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1954.

Печатается по тексту *СС*.

«Вчера кончил одну вещь, которая *по моему* в 20 раз лучше *Одиссея* », — писал Леонтьев К. А. Губастову 15 ноября 1875 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 30 об.). Т. о. мы знаем точную дату окончания работы над сказочной восточной повестью. Но еще раньше первая часть произведения была послана Ф. Н. Бергу (в то время редактору «Нивы»), который писал 3 октября М. В. Леонтьевой: «Когда будет печататься сказка К. Н. не могу сказать. Вообще не раньше присылки окончания. Мое положение в журнале довольно зависимое и тяжелое» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 354. Л. 2).

Леонтьев мог рассчитывать и на публикацию в редактируемом Бергом «Русском міре». Но, видимо, уже после получения всего произведения Берг сообщил ему: «Дитя Души не может быть у нас помещено. Мы уменьшили цену газеты и стараемся выгадать на всем. Такие цельные большие вещи нам неудобны. Нива тоже журнал маленький» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 38). Оставался неизменный «Русский вестник», но предварительно Леонтьев решает обратиться за советом к Т. И. Филиппову.

2 января 1876 г. Филиппов писал: «Прочел я «Дитя души» с большим удовольствием, зачитался так, что не мог заснуть, и кончил залпом в 6 часов утра; но решительно не знаю, какой бы журнал мог взять повесть такого содержания и направления. Если бы не некоторые сцены, то это было бы большим подарком для детей высшего возраста и с этою целью могло бы быть помещено в журнале Кашперовой.[16] А теперь я пока в совершенном недоумении. И от чего это Русскому Вестнику не взять бы Вашу повесть? То, что Вы печатаете там свое другое произведение, разве может препятствовать помещению этой?

Подумайте сами: «Вестник Европы», «Отечественные Записки» — ну, как они примут Вас и как Вы к ним пойдете? А еще-то и нет ничего? «Гражданин» не может взять по недостатку средств. Если Вам угодно, я попытаюсь провести Вашу вещь в Вестник Европы; но прежде считаю долгом спросить на это Вашего разрешения» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 2).

В феврале, когда два тома *ИЖХ* уже находились в типографии, Катков принял решение напечатать «Дитя души» в своем журнале (письмо Леонтьева Филиппову от 5 февраля 1876 г. // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 4).

Однако исполнение этого решения откладывалось. Леонтьев написал Каткову, но получил датированный 13 апреля ответ не от него, а от сотрудника редакции *РВ*, К. Цветкова. «По приказанию Михаила Никифоровича имею честь известить Вас, что ответ на Ваше письмо может быть дан тогда, когда вопрос о помещении Вашей Волшебной Повести будет окончательно решен. Я имею поручение уверить Вас, что редакциею приняты меры, чтобы решение это не замедлилось; по всей вероятности окончательный ответ Вы получите на сих днях» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 275. Л. 7).

Повесть была напечатана в июньской и июльской книжках журнала. 14 августа 1876 г. Леонтьев писал Губастову: «...Я постараюсь напечатать к осени и 3-й том. — Читали Вы мою сказку «*Дитя Души*»? Как вы ее находите?» (РГАЛИ. Ф. 290. оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 50 об.).

О новом произведении Леонтьева с похвалой отозвался в обозрении «Современная литература» Вс. С. Соловьев: «...Это фантастическая и с обычным талантом автора переданная сказка. Но среди баснословного міра, исполненного самыми неожиданными явлениями и приключениями, можно проследить неизменные до

---

[16] С. С. Кашпирева издавала журнал «Семейные вечера».

сих пор черты нравов и быта славян ⟨...⟩ Среди полной бездарности наших журнальных повестей и романов сказка К. Н. Леонтьева невольно обращает на себя внимание и сразу увлекает читателя живостью и яркостью рассказа» (Русский мір. 1876. № 203. 25 июля. С. 2; см. также: Русский мір. 1876. № 217. 8 авг. С. 2).

В «Санкт-Петербургских ведомостях» была напечатана рецензия В. В. Маркова, упрекнувшего автора за неуместную назидательность и «разглагольствования». «Либерального» критика оттолкнули излишние, по его мнению, набожность и смирение главного героя, «готовность его быть ветошкою, попираемою ногами» (1876. № 230. 21 авг. С. 1). Резкость отзыва смягчалась похвалой точности в описаниях «нравов» и «понятий».

Леонтьев сохранил в своем архиве еще один отзыв об этом произведении — письмо О. Д. Нелидовой[17], адресованное Губастову (с пометой последнего «Нелидовой — отзыв об сказке «Дитя Души»).

«...прошу Вас передать Леонтьеву, что я от всей этой сказки в самом искреннем и неподдельном восторге. Такая прелесть — как уже давно не было печатано: Настоящее совершенство, которое ни с чем и сравнить нельзя, разве с „Тысячью и одной Ночью".

И уж право не знаю что больше хвалить — правдивость ли этой восточной картины или пышность этого художественного воображения.

А язык* — это просто музыка! мой довольно тонкий и даже избалованный слух от него в восторге, до того он наивен и прост и в то же время в высшей степени изящен.

Одним словом „Одиссей" был хорош, но „Дитя Души" это просто „Жемчужина" и самая приятная.

Сравню ее с богатейшим Турецким ковром, где чего чего нет, — а все-таки гармония. На одну только минуту рассказ слабеет, это после того как „прекрасный Петро" был у Мусье Франко и вступает в волшебный мір приключений. Четыре первые картины до того докончены и восхитительны, что после них трудно было продолжать — даже Леонтьеву. И вот почему первое появление Доброго Царя Агона и врага его Царя Политекна немало огорчает. Но со второй же части прелесть снова охватывает вас вполне. И прихоти Царевны, и их счастливое житье, где „все подавалось им чистое", и волшебный дворец Жемчужины, и наконец это вполне удовлетво-

---

[17] Жена А. И. Нелидова, советника посольства в Константинополе.

* который Леонтьев себе чисто создал

ряющее окончание, и этот старец, который „воздвигал его на молитву", все это прекрасно и в высшей степени совершенно. Не знаю, довольно ли у нас хорош вкус, чтобы общество сразу поняло и оценило Дитя Души — знаю только, что во мне Леонтьев нашел самого восторженного критика. И знаете что? — Он до того хорошо смотрит на Восток или скорее видит и чувствует его, что его право нужно бы было снова водворить сюда и «воздвигнуть» его на новую картину, новое совершенство.

Так и скажите ему от меня» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 331. Л. 1—2 об.).

В 1883 г. Леонтьев намеревался издать свою восточную сказку для детей и вел об этом переговоры со знакомым ему еще по «Русскому вестнику» В. К. Истоминым, издававшим в то время журнал «Детский отдых». 31 марта, возвращая посланный ему оттиск, Истомин писал: «Чем более я вдумываюсь в эту прелестную повесть, тем более убеждаюсь, что именно для детей она может быть незаменима. У нас на русском языке *дети* почти не знают чистого художества, пока не приступают к чтению для взрослых. Но *Вампира* нельзя оставить и все прочее по части.....» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 134. Л.1).

Еще в 1879 г. Леонтьев напоминал Филиппову о его желании издать «Дитя души» в виде «книги для народа» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 17). В 1886 г. через А. А. Фета он предложил свою сказку Л. Н. Толстому для издания в «Посреднике» (см. письмо Толстого к В. Г. Черткову от 16—17 янв. 1886 г. // *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 85. М., 1935. С. 308), однако этот замысел также не был осуществлен.

С. 405. *...хóджу в чалме белой...* — белую чалму носят мусульмане, совершившие паломничество в Мекку или Медину.

С. 406. *Палка ~ из райского сада, сказано, вышла.* — Источник цитаты не установлен.

С. 408. *...чтобы сеть не порвалась от множества рыбы ~ как Петр апостол, рыбу ловить счастлив!* — аллюзия на Лк. 5: 5—6; Ин. 21: 11.

С. 415. *Крин* — лилия.

С. 416. *Адамант* — алмаз.

С. 418. *Юнак* — герой, молодец.

С. 419. *Чорбаджи* — правильно: «чорбаджия», хозяин, господин (*болг.*); во время турецкого ига так обращались к богатым землевладельцам.

С. 421. *Крахт-кандильанафт* — кандиловжигатель (*ц.-сл.*), возжигатель светильников, пономарь.

С. 421. *...первого числа каждого месяца по домам святить...* — обычай совершать в начале каждого месяца водоосвящение впервые появился в придворной Константинопольской церкви и получил распространение на Востоке.

С. 421. *...выходя из северных дверей и вступая в царские...* — Через северные (иначе «пономарские») двери в иконостасе проходят во время малого и великого входа на литургии в царские (средние) врата.

С. 428. *Скажи, о скажи мне, прекрасная птичка...* — источник не установлен.

С. 430. *Беджыклык* — сарай для разведения шелковичных червей.

С. 435. *Юхгá! юхга!* — правильнее: юка; восточный уничижительный возглас.

С. 438. *Тюмебкú* — правильно: тюмбеки; крепкий персидский табак для кальянов.

С. 441. *...всем сердцем моим и всею душою моей.* — С обратным смыслом использована цитата Вт. 6: 5; Мих. 6: 8; Мф. 22: 37; Мк. 12: 30; Лк. 10: 27.

С. 442. *...на земле живых...* — распространенное в Священном Писании речение (Иов. 28: 13; Пс. 26: 13; Пс. 114: 9; Пс. 141: 5; Ис. 38: 11; Иез. 26: 20 и др.).

С. 443. *...на Николин день, на Св. Димитрия Солунского и Св. Георгия Победоносца.* — т. е. 6 декабря, 26 октября и 23 апреля юлианского календаря, в дни памяти особо почитаемых святых IV века.

С. 444. *...не как добрый пастырь ~ а как наемник бегал от лютых волков...* — ср. Ин. 10: 11—13.

С. 445. *...только принуждающие себя восхитят царство небесное.* — реминисценция Мф. 11: 12.

С. 455. *...любил столько же, сколько Иаков любил Вениамина и не хотел его отпускать от себя.* — Иаков не хотел отпускать в Египет младшего и любимейшего своего сына Вениамина (Быт. 42: 4, 36—38).

С. 475. *Моско-ливан* — вид ладона.

С. 482. *Аджéмский* — персидский.

С. 489. *...чтобы народ его как Авессалома любил...* — Авессалом — третий сын царя Давида, любимый народом за красоту (2 Цар. 14: 25) и поднявший против отца восстание в Хевроне.

С. 508. *...на благорастворение воздуха и на обилие плодов земных* — цитата из великой ектении.

С. 515. *...по прозванию Синдонит...* — прозвище юродивого напоминает о св. Серапионе Синдоните, о котором рассказано в «Лавсаике» Палладия, епископа Еленопольского (гл. 68).

С. 527. *...я в беззаконии зачат был и в грехе родила меня несчастная мать моя!..* — ср. Пс. 50: 7.

С. 528. *...туда, где жилище веселящихся...* — «идеже всех есть веселящихся жилище», цитата из третьей стихиры чина погребения, написанной, по преданию, св. преп. Иоанном Дамаскиным (VIII в.).

С. 533. *...туда, где нет ни печали, ни воздыхания, и где присещает свет Господня лица.* — Цитата из последования панихиды («Со святыми упокой...»), молитвы «Боже духов и всякие плоти...», читаемой священником во время ектении об усопших, и ектении заупокойного всенощного бдения: «Еще молимся ⟨...⟩ яко да Господь Бог наш вселит его в месте светле, в месте покоя и прохлаждения, отнюдуже отбеже всякая болезнь, печаль и воздыхание, в недрех Авраама, Исаака и Иакова, идеже присещает свет лица Его...».

СФАКИОТ

Автограф неизвестен.

Датируется 1876 г.

Впервые: *РВ*. 1877. Т. CXXVII. Кн. 1. С. 395—426. Кн. 2. С. 579—622. Т. CXXVIII. Кн. 3. С. 45—79.

Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в *СС* (Т.III. С. 1—125).

Печатается по тексту *СС*.

Повесть, не вошедшая в трехтомник *ИЖХ*, завершает «критскую» тему в творчестве Леонтьева.

В письме Т. И. Филиппову от 5 февраля 1876 г. упомянут наполовину готовый «очерк для Русского міра» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1023. Л. 8). Еще в мае 1875 г. редактор этой газеты Ф. Н. Берг советовал Леонтьеву: «Пишите очерки, непременно беллетристические и из русской жизни. За это я Вам головой отвечаю. Восточные тоже отлично будет» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 7). Он обещает, что такие произведения «будут тотчас напечатаны и оплачены» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1.

Ед. хр. 87. Л. 41).[18] «Бога ради пишите «Сфакиота» ⟨...⟩ я Вас уже объявил», — просит он в другом письме (Там же. Л. 33).

Весной 1876 г. Леонтьев пишет Губастову о своих делах с Бергом: «он разрешил мне кончить очерк в Кудинове» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 33).

20 августа 1876 г. Берг сообщает о том, что газета закрыта на 3 месяца. «Но я надеюсь, что через месяц ее разрешат (имею данные) и потому, пожалуста, поправляйте как хотите Вашего «Сфакиота», только чтобы он был готов числу к 20-му» (Там же. Л. 16). 3 сентября он написал о том, что газете разрешено выходить и напомнил о своем ожидании нового леонтьевского произведения (Там же. Л. 21).

Но вскоре редактор «Русского міра» меняет свое решение. В недатированном письме (вероятно, конец 1876 г.) он просит скорее прислать *«повесть из Болгарской жизни»*: «По получении этой повести тотчас вышлю по Вашему желанию *Сфакиота* Каткову. Без этого не могу, ибо мы обещали подписчикам и что-нибудь нужно в этом же месяце Ваше» (Там же. Л. 35—36).

15 января 1877 г. Леонтьев писал Вс. Соловьеву: «*Сфакиот* будет скоро напечатан, но когда именно не знаю» (РГИА. Ф. 1120. Ед. хр. 98. Л. 51).

6 мая 1877 г. (год устанавливается по содержанию) Берг, передавший, как обещал, повесть Каткову, писал ее автору: «Читал Вашего «Сфакиота» и *местами* сильно восхищался. Прелестно и все потеряло бы в газетном дроблении» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 9).

Сам автор относился к повести иначе, 24 октября 1877 г. он писал племяннице: «Я каждый день встречаю все больше и больше людей, которые восхищаются «Одиссеем» и «Сфакиотом» (последнее напрасно)...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 24).

С. 539. *...сошлет меня работать в Виддин...* — см. прим. на с. 000.

С. 541. *Ходжа-баши* — старейшина (*тур.*), см. прим. Л. на с. 336.

С. 541. *Аскеры* — стража.

С. 543. *...Мавромихали, по-майносски одетый, турок пикой колет...* — Петро Мавромихали (Петро-бей) (нач. 1760-х—1848) — уроженец Майноса (остров в Мраморном море), участ-

[18] Ср. в письме Леонтьева К. А. Губастову от 1 октября 1875 г.: «Берг сердится в письме, что я до сих пор не кончаю для *Русского Міра* очерка какого-нибудь....» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 19).

ник освободительной войны, в 1823 г. — президент временного правительства, в 1827 г. — член триумвирата; был противником гр. Каподистрии.

С. 543. *Маврокордато* — Александрос Маврокордатос (1791—1865), участник освободительной войны, президент Греции в 1822—1823 гг., в 1844 и 1854—55 гг. — премьер-министр.

С. 543. *До коих пор, о, паликары!* — «Военный гимн» Рига Фереоса, переведенный на русский язык Н. И. Гнедичем и М. Л. Михайловым.

С. 543. *Кораис, который грамматику сделал...* — Адамандиос Кораис (1748—1833), греческий публицист и филолог.

С. 551. *Кто же видел солнце вечером и звездочку полднем...* — один из вариантов баллады «Дева-клефт» (см., напр.: Амарантос, или Розы возрожденной Эллады. СПб., 1843. С. 43); ее переложение вошло в «Новогреческие песни» А. Н. Майкова («Победу клефты празднуют, пируют капитаны...»).

С. 553. *...пиррийский танец...* — Пиррихий, древний воинский танец; см. также прим. на с. 721.

С. 555. *...как в 58 году при Вели-паше нас хотели ночью турки в Канее всех перебить.* — см. «Хамид и Маноли».

С. 555. *Как в Сирии они поступали?* — Имеются в виду события 1860 г.; см. прим. на с. 734.

С. 561. *amore* — любовь (*итал.*)

С. 564. *Деспосини* — владычица, госпожа (*греч.*), ср. с прим. Л. на с. 583.

С. 569. *Dominus vobiscum!* — С вами Бог (*лат.*); католический богослужебный возглас.

С. 570. *Тут одно племя со спартанцами жило.* — Сфакиоты считаются потомками древних дорийцев.

С. 571. *Не о хлебе едином жив будет человек!* — Мф. 4: 4; Лк. 4: 4.

С. 573. *...приехал в Крит русский консул...* — см. прим. на с. 723.

С. 582. *Коконица* — уменьш. от «кокона», молоденькая девушка, барышня (*тур.*).

С. 592. *...Голиаф и сильнее нас с тобой ~ Господь его силу рукой отрока сокрушил.* — Имеется в виду победа над великаном Голиафом, одержанная отроком Давидом (1 Цар. 17).

С. 591. *Все мы ~ как трава; завтра высохнем...* — аллюзия на Пс. 102: 15.

С. 592. *...вдовы Ставрулы...* — ср.: в «Моих воспоминаниях о Фракии» Л. упомянул о единственной семье русских подданных

на Крите: «вдова гречанка, г-жа Ставрула, с тремя красивыми дочерьми» (СС, IX, 265).

С. 594. *...на остров Тинос...* — см. прим. на с. 738.

С. 596. *...со всевозможными комплиментами и селямами* — т. е. церемонными приветствиями.

С. 600. *На — на / На — на, дитятко!..* — Источник цитаты не установлен.

С. 608. *И Австрия с Пруссией на ножах.* — Речь идет об австро-прусской войне 1866 г.

С. 609. *Наполеон — лисица, бодрствует...* — Наполеон III, император Франции.

С. 611. *...бились с турками при Караискаки, при Колокотрони...* — Имеются в виду события освободительной войны 1820-х гг. Караискаки — см. прим. на с. 750; Теодорос Колокотронис (1770—1843), греческий полководец и государственный деятель, в 1825—1827 гг. — главнокомандующий греческими войсками Пелопоннеса.

С. 611. *...портрет короля Георгия...* — см. прим. на с.

С. 613. *...в которой все поется: эта смугленькая...* — Имеется в виду песня «Τὸ μελαχρινούτσικο»; см.: *Marcllus M., de.* Chants du peuple en Gréce: en 2 vol. Vol. 2. Paris, 1851. P. 362—365.

С. 614. *Ты видел часом поздним...* — Одно из ранних стихотворений Д. Соломоса «Ксантула» («Белокурая»), ставшее народной песней.

С. 621. *...в монастыри Агия-Триада и Агие-Яни...* — монастыри Святой Троицы и Святого Иоанна.

С. 635. *Узун-Тома* — эту фамилию носил слуга Л., Петраки. См. письмо К. А. Губастову от 6 августа 1878 г. (РГАЛИ. Ф. Оп. Ед. хр. Л. 82 об.).

С. 652. *...Комундуроса знает, и Делгияни, и Дели-Георгия...* — Кумундурос, глава парламентской оппозиции, в 1867 г. возглавлял греческое правительство; Делигеоргиос — в описываемое время министр иностранных дел; Феодор Делианис (Делигианис) (1826—1905) — посол Греции в Стамбуле, Париже; с 1863 до 1878 г. 9 раз был министром (внутренних дел, иностранных дел, финансов).

С. 652. *...со стариком Булгарисом...* — Димитрий Булгарис (1803—1878) — греческий политический деятель, участник освободительной войны; занимал посты министра финансов, внутренних дел, неоднократно возглавлял кабинет министров; после 6 февраля 1868 г. был главой правительства Греции.

С. 657. *Будь элленидой...* — дочерью эллина.

ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ

ПЕМБЕ

С. 672. *pince-nez* — пенсне (*фр.*)

С. 672. *je me sens mieux lorsque je vois des choses qui ont un cachet à eux* — я чувствую себя лучше, когда вижу вещи, имеющие на себе некую печать (*фр.*)

С. 673. *...Османия 1-й степени...* — орден Османие пяти классов в виде семиконечной звезды был учрежден в 1862 г. султаном Абдул-Азисом в честь восшествия на престол.

С. 674. *Стихами и сам пророк наш написал Ал-Коран* — Коран написан рифмованной прозой.

ПАЛИКАР КОСТАКИ

С. 681. *Кипеляки* — уничижительное прозвание турок.

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ЯНИНЕ

Автограф черновой — РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 4—4 об.

Датируется: 1869—1871 г.

Не публиковалось

Печатается по автографу.

В «Хронологии моей жизни» Леонтьев отмечал: «Февраль 69 года. Отъезд в Янину через Италию. В апреле (?) приезд в Янину Лизы и Петраки» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1006. Л. 4). Не исключается, хотя и менее вероятна, датировка январем 1871 г., основание для чего — запись в той же «Хронологии...»: «Новый 71-ый год в Янине один» (Там же. Л. 5). Возможно приурочить стихотворение и к осени 1870 г., когда после отъезда жены в Одессу для лечения, Леонтьев писал матери 19 ноября 1870 г.: «Я теперь в Янине один в своем большом доме, здоров и очень занят. — В мои года это главное и нужно: здоровье, простор и занятия. Об увеселениях я думать перестал...» (копию письма приводит М. В. Леонтьева в своих воспоминаниях — РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 38—39).

ПЕМБЕ

Автограф черновой — РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 16. Л. 3—3 об.

Датируется 1869 г.

Не публиковалось.

Печатается по автографу.

В 1869 г., будучи в Янине, Леонтьев уведел на одной местной свадьбе пятнадцатилетнюю танцовщицу-турчанку, Пембе, кото-

рая, видимо, произвела на него очень сильное впечатление. Эта встреча, по мнению М. В. Леонтьевой, «определила новое направление таланта К. Н.» Подробности ее находим в неопубликованных воспоминаниях М. В. Леонтьевой (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1042. Л. 25—27). В одноименной повести Леонтьев дал развернутый образ Пембе в колоритной обстановке эпиро-албанской жизни. Черты этой девушки нашли отражение и в образе Зельхи в романе «Одиссей Полихрониадес». В «Хронологии моей жизни» Леонтьев под 1869 г. отмечает «Пишу: *Пэмбе, Хамид и Маноли.* — Отъезд Маши к отцу в августе. *Пэмбе* (не повесть, а девушка). — Печальная зима» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1006. Л. 5).

С. 662. ...*Крылова едкой толстоте.* — Иван Петрович Крылов, секретарь русского консульства в Янине, позднее консул в Скутари, судя по его письмам к Леонтьеву (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 162, 163), отличался ироничностью и даже язвительностью. См. на с. 732 его отзыв о Пембе.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРХИВОХРАНИЛИЩА

ОР ГЛМ — отдел рукописных фондов Государственного литературного музея (Москва)

ОР РГБ — отдел рукописей Российской Государственной библиотеки (Москва)

ОР РНБ — отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (СПб)

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

РГИА — Российский Государственный исторический архив (СПб)

РО ИРЛИ — рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (СПб)

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ИЖХ — Леонтьев К. Н. Из жизни христиан в Турции: В 3 т. М., 1876.

ЛН — «Литературное наследство»

МВ — «Московские ведомости»

РВ — «Русский Вестник»

Сборник — Памяти Константина Николаевича Леонтьева. († 1891. Литературный сборник. СПб., 1911.

СС — Леонтьев К. Н. Собр. соч.: В 9 т. М., 1912—1913.

СОДЕРЖАНИЕ

Из жизни христиан в Турции 5

Предисловие 7
Очерки Крита 9
Хризо 25
Пембе 88
Хамид и Маноли 147
Паликар Костаки 172
Аспазия Ламприди 220
Капитан Илия 380
Дитя души 399
Сфакиот 537

Незавершенные произведения 659

В Янине 661
Пембе 662

Варианты и разночтения 663

Комментарии 707

Список сокращений 766